

НОВЫЙ  
МИР

5

---

1935



**Н О В Ы Й**

**М И Р**

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

**Ж У Р Н А Л**

К Н И Г А  
П Я Т А Я  
М А Й

---

**М О С К В А**

**1 . 9 . 3 . 5**

НА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЗАПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ  
ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ИЗДАТЕЛЬСТВО  
СООБЩАЕТ, ЧТО ВТОРАЯ КНИГА РОМАНА

*М. Шолохова*

## **ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА**

БУДЕТ НАПЕЧАТАНА В «НОВОМ МИРЕ»  
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 1935 ГОДА.

Издательство  
«ИЗВЕСТИЯ ЦИК СССР и ВЦИК»

## СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр</i>
1. МАКС ЗИНГЕР. — Гольфштрем, <i>роман</i> . . . . .	5
2. А. ГАРРИ. — Испанская новелла . . . . .	32
3. ВС. ИВАНОВ. — Похождения факира, <i>роман</i> , продолжение .	53
4. ТИЦИАН ТАБИДЗЕ. — Два стихотворения . . . . .	100
5. РАЙСА АЗАРХ. — Пятая армия, <i>роман</i> , книга первая . .	102
6. КОНСТАНТИН ЧИЧИНАДЗЕ. — Чучело цапли, <i>стихотворение</i> . . . . .	123
7. А. ПЕРЕГУДОВ. — В горах Алтая, <i>рассказ</i> . . . . .	124
8. М. ЧУМАНДРИН. — Год рождения 1905-й, <i>хроника одного детства</i> , продолжение . . . . .	141
9. Н. МХОВ. — Коломенский завод . . . . .	182
10. К. ЧУКОВСКИЙ. — Илья Репин, <i>воспоминания</i> . . . . .	195

### **ЛЮДИ И ФАКТЫ:**

11. В. КАНТОРОВИЧ. — Чародинская дорога . . . . .	213
---	-----

### **ЗА РУБЕЖОМ:**

12. АНАТОЛИЙ КАНТОРОВИЧ. — Америка и Китай . . . . .	226
13. МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА . . . . .	253

### **НАУКА И ТЕХНИКА:**

14. Б. КУКАРКИН. — Астрономические очерки . . . . .	257
---	-----

### **ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:**

15. А. СТАРЧАКОВ. — Заметки об историческом романе . . . . .	265
16. В. БОГДАНОВ-БЕРЕЗОВСКИЙ. — Б. В. Асафьев . . . . .	275
17. ПИСЬМА СТЕНДАЛЯ О ЛИТЕРАТУРЕ, перевод, предисловие и примечания Н. Славятинского, окончание . . . . .	288

### **КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:**

С. ИВАНОВ. — Вольтер, «Орлеанская девственница» . . . . .	301
С. БАЛЕЗИН. — А. К. Вольтер, «Атака атомного ядра» . . . . .	302



Статформат Б/5 178 × 256.

Уполн. Главл. Б—1455.

Тир. 57.425.

Объем 19 печ. лист. по 64.000 знам.

---

Сдано в набор 7/V—35 г. Подписано к печати 1/VI—35 г. Зак. 1067.

---

Тип. им. И. И. Скворцова-Степанова. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.

# Гольфштрем

Роман

МАКС ЗИНГЕР

Часть первая

«Так как на Севере постоянные льды и хлебопашество невозможно и никакие другие промыслы немислимы, то, по моему мнению и моих приятелей, необходимо народ удалить с Севера во внутренние страны государства, а вы хлопчете, наоборот, и объясняете о каком-то Гольфштреме, которого на Севере быть не может, такие идеи могут приводить только помешанные».

(Резолюция генерала Зиновьева, ведавшего северными окраинами Российской империи, на ходатайстве группы «деловых» людей об организации ряда промыслов на Севере)

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

**К**рутой человек был судохозяин Лгалов, нрава вздорного, озорного. Прозвали его в становище Пургавиным, за то, что пьяный он был лих, как пурга. По вечерам он доставал из стенного шкафчика в своей каюте дюжину цветных граненых рюмок, английский ром, купленный в Норвегии, разливал его по всем рюмкам, и, поднимая одну за другой, чокался с каждой по очереди, приговаривал:

— Ну, давай, что ль, Иван Семеныч, выпьем по маленькой!

В каюте никого не было, он пил сам с собой, но для развлечения сажал мысленно против каждой рюмки своих далеких от него собутыльников. Чокаясь и выпивая, он обходил все рюмки и потом наполнял их снова. Глаза его наливались кровью, он стоял страшный, трясся и мотая лысой, сверкающей головой, и вдруг принимался злобно стучать ногами о палубу.

— Дошел наш хозяин! — сочувственно говорил тогда старший матрос.

С Пургавиным отправился из Архангельска в Норвегию зук<sup>1)</sup> Евстахий Малыгин. Ему в ту пору было девять лет. Мать приехала из становища на проводы сына. Она напекла ему в дорогу шанежек, благословила образком и, безутешно плача, долго вслед махала рукой. В первый раз уходил Евстахий на чужую сторону.

Как только шкуна Лгалова вышла в открытое море, где был сильный взводень<sup>2)</sup>, Евстахия укачало. Хозяин подошел к зуйку и дал ему из кружки морской воды.

— Пей! Это со Святоносского суоя!<sup>3)</sup> Хворь от нее как рукой снимет, и море навсегда тебя бить перестанет! — строго сказал хозяин.

От соленой воды зуйку стало еще хуже, тогда хозяин приказал ему пить дрова.

— Работать не будешь, от цынгги проладешь! — наставительно говорил Пургавин.

<sup>1)</sup> Мальчик — помощник матроса (по морское слово).

<sup>2)</sup> Волнение (поморское слово).

<sup>3)</sup> Сувоиное течение, сутолока.

В работе Евстахий совсем забыл про качку.

— А хлеб печь умеешь? — спросил его под вечер Пургавин.

— Видал, как мамка тесто ставила, — ответил мальчик.

И стал зук ко всему хлебопеком. Он всегда старался с вечера намесить столько теста, чтобы выпечь хлеба на два дня. Но с хозяином были в рейсе два сына, команды на судне пять человек, хлеба ели много, и приходилось печь ежедневно. В кадку с тестом девятилетний Евстахий ронял каждый вечер слезы и капли пота.

В первое же утро, проснувшись после короткого и тревожного сна, Евстахий нашел на себе жирную платяную вошь. Он видел, как рыбаки, лежавшие рядом с ним, обирали вшей. На другой день, словно сельдь в запоре, кипели вши на самотканной рубаше Евстахия. Он стряхнул их за борт, но тут же получил такой щелчок, что привскочил от боли.

— Нельзя живую вошь в море кидать! — крикнул на него Пургавин. — Бросишь вошь в море, обязательно шторм выпадет, и судно мое еще опружит!<sup>1)</sup>

Когда полный штиль останавливал парусник Пургавина в море, хозяин вызывал зуйку и говорил:

— Иди, парень, поскреби мачту ногтями! Да смотри, поскреби с той стороны, с которой нам ветер нужен!

Этим скрежетом дразнили ветер в море, словно живое существо.

Двенадцать суток шли от Архангельска до Вардехуза. Как только показался норвежский порт, хозяин приказал зуйку лезть в пустую смоляную бочку.

— Прячься скорее, сейчас норвежский тольбекент<sup>2)</sup> придет, тебя арестует! Сиди в бочке, пока не кликну!

Евстахий послушно залез в бочку и притих, ожидая страшного тольбекента. Судно стало на рейде. С берега на борт прибыли власти. Зук, притаившись в бочке, слышал обрывки короткого норвежского разговора, а по хриплому голо-

су сразу узнал своего хозяина, закричавшего вдруг:

— Эй, парень, вылезай!

Зук вылез из бочки, и на судне все заржали, словно сытые кони. Когда Евстахия сажали в смоляную бочку, то на него будто по неосторожности высыпали чайчьего пера. Евстахий вылез весь в смоле и облепленный перьями. Люди посмеялись и ушли. Зук остался один на палубе, сел на боченок и залился от обиды слезами. Но плакать долго было нельзя. Глухо пробили склянки. Подходило время варить обед.

Первый день мальчика не спускали на берег, а на второй день старший матрос — доверенный человек судохозяина — сказал зуйку:

— Слышишь, Евстахий, хозяин велел тебе завтра утром к мамке домой сходить, за шанежками, твои, небось, все давно кончились.

Евстахий недоверчиво посмотрел на матроса.

— До вашего стана<sup>1)</sup> здесь близко. Вон за той горой и Архангельский город виднеется! Только подняться с горы на гору, — ты и дома! Побудешь денек-другой в стане, мамку увидишь, с ребятишками поиграешь, и на судно возвращайся, хозяин разрешает! Я дорогу хорошо знаю, могу тебя и проводить, если хочешь.

— Проводи меня, дяденька! Век за тебя буду бога молить! — сказал Евстахий. Он обрадовался близкому свиданию с матерью и родным станом.

Весь вечер готовился мальчик в путь. Пургавин дал ему в дорогу два каравай хлеба, мешок дров на плечи для костров, в одну руку медный чайник с пресной водой, а в другую — колокольчик. В сумку положил. Пургавин два кирпича и строго наказал старшему матросу:

— Станете огонь раскладывать, обязательно положите кирпичи на землю, чтобы она не горела. А ты, парень, — сказал, обернувшись к Евстахию, хозяин, — пойдешь по городу, брякай в колокольчик! Чтобы люди знали: вот,

<sup>1)</sup> Опрокинет.

<sup>2)</sup> Таможенник.

<sup>1)</sup> Дома.



мол, идет человек в родной стан за шанежками. Будешь брякать в колокольчик, никогда не потеряешься!

Матрос с зуйком ушли далеко в горы. Матрос шел налегке, жуя табак, а зук часто останавливался, меняя занемешную руку. Долго без отдыха бродили по кустарникам да по кочкам, с горы на гору, и все по безлюдью. Зук так утомился к середине дня, что едва брел за матросом.

— А мы, парень, верно сбились с дороги! — сказал старший матрос. — Будем ли искать твой стан или повернем обратно к судну?

— Давай лучше повернем, — робко предложил зук.

— А будем греть чай или нет? — спросил матрос.

— Пойдем без чая, только позволь мне из чайника воду вылить да дров из мешка и кирпичи бросить, а то мне их не донести, — взмолился зук.

— Бросай! Скажи хозяину, что чай варили и все дрова пожгли, — согласился матрос.

На судне зуйка встретили возгласами:

— Ну, как? Мать видел? С ребятами играл? Шанежки принес?

За день в бухту пришло несколько русских рыбацких судов, и среди них Евстахий признал парусник, на котором плавал отец зуйка — Гервасий Малыгин. У мальчика сердце защемило от радости. Но как свидеться с отцом? Как добраться до парусника? Шлюпку зуйку никто не даст, а докричать нехватит силенки. Но все же мальчик решился пойти к старшему матросу, который водил его в горы за шанежками, и стал просить шлюпку, чтобы съездить к отцу.

— Сперва научись голанить <sup>1)</sup> вокруг судна, тогда ступай к хозяину и прося! — сказал старший матрос, закладывая в рот изрядную порцию жевательного табаку, так что щека раздулась, будто от флюса.

Вместо того, чтобы ночью спать, Евстахий голанил до самого рассвета в шлюпке-тузике и, только научившись

управлять шлюпкой, получил на следующий день разрешение ехать к отцу.

Мальчик быстро подошел к паруснику, на котором плавал Гервасий Малыгин, и робко постучал в борт веслом.

— Кто там? — крикнули на боте.

Евстахий с'ежился от омика.

— Зук какой-то приехал, — недовольно ответил подошедший к самому борту матрос.

Зук поднялся на палубу, спросил отца. Мальчика проводили в кубрик, где, не раздеваясь, в пропахшем рыбой рокане <sup>1)</sup> спал на койке Гервасий Малыгин. Увидев отца, Евстахий бросился к нему на грудь и заплакал от радости. Прослезился и Гервасий Малыгин, взглянув на худые ручонки оборванного и изможденного работой сына. Хоть был он одиннадцатым у батьки, но тот все же его любил.

— А я, тата, к мамке ходил, да не дошел, силенок нехватило, — сказал смущенно Евстахий.

— С колокольчиком ходил? За шанежками? — спросил отец.

— С колокольчиком! Чайник брал с собой, дрова, кирпичи и два каравая хлеба.

— Злые люди поиздевались над тобой, Евстахий, — сказал отец, гладя русую голову сына. — Море — это горе, а без него, кажись, вдвое. Всегда так над зуйками измываются. Ай, как измываются! И я, как и ты, ходил к мамке своей за шанежками, невдомек мне было тогда, что до родного стана тысяча верст будет. Мал был и глуп. Поверил людям. А люди круг меня были лиходеи.

Гервасий встал с койки, погладил шершавой рукой шелковые волосы сына и, порывшись в просторных карманах, достал ему леденец. На прощанье обещал купить сыну у норвегов <sup>2)</sup> 'рокан, буксы <sup>3)</sup> и ботинки из зубаточей кожи. И верно, к вечеру следующего дня приехал сам на шкуру Пургавина.

— Вот тебе грумаланские <sup>4)</sup> ботинки!

<sup>1)</sup> Проолифленная рубаха.

<sup>2)</sup> Норвежцев.

<sup>3)</sup> Проолифленные брюки.

<sup>4)</sup> Грумалан — зимовщик на Шпицбергене (Груманте).

<sup>1)</sup> Юлить.

Смотри, какая сила! Век их не износишь, меня помнить будешь! — сказал отец повеселевшему Евстахию.

Недолго пробыл в Вардехузе Гервасий Малыгин. Он ушел вскоре на паруснике в Амарфис, как звали поморы северный норвежский городок Гаммерфест. И снова одиноким остался Евстахий у чужих берегов. Мальчик ложился спать за полночь, а к пяти часам утра был уже на ногах, еще налитых усталостью. Он месил квашню, варил чай, будил матросов и с ними становился на работу: подрывал и подкидывал с палубы рыбу на чердаки и подносил соли в ведре. Бойкий матрос так быстро солил рыбу, что зук не успевал одновременно подносить соль и подрывать. Только зук отлучался на камбуз, чтобы посмотреть за пищей, стоявшей на тагане, как матрос уже кричал:

— Парень, соли!

Побежит зук с полным ведром к трюму, да рассыплет немного соли. А хозяин был дерзкий на руку и бил крепко. Так и бегал зук от камбуза к трюму, от трюма за солью, волоча меж ног тяжелое полное ведро. Белье от поту прилипало к телу.

В спокойное время после работы матросы ели на люке из общей чашки большими деревянными ложками и то и дело гоняли зуйка: «Подай! Принеси!» Сварить полагалось ровно столько, сколько сможет с'есть команда. Если каша оставалась, зук обязан был сам ее доесть, чтобы она не позеленела, не замедилась в нелуженой кастрюле. Выкидывать кашу за борт хозяин не разрешал. Вода была прозрачна настолько, что ясно виднелся грунт. Заметив кашу на грунте, хозяин не пощадил бы зуйка. Трезвый на ус мотает, а пьяный руки в ход пускает. Пургавин был пылок под пьяную руку.

Крадучись от хозяина, Евстахий по просьбе матросов сварил суп «по мысам». Так называлось варево из жирной мозговой кости палтуса. Наелись матросы досыта вкусного супа и к пшенной каше не притронулись. Как ни молил зук матросов хоть сколько-нибудь отведать каши, но те и слушать его не хотели, покурили и залегли отдыхать.

Каша осталась полная кастрюля. Зук сварил ее круто, по-бурлацки, и с ужасом думал о том, что всю большую кастрюлю придется теперь ему с'есть одному. И не успел он подумать, как увидел позади себя Пургавина. Хозяин был бледен, лицо его распухло. Он накануне всю ночь чокался с неприсутствовавшими в каюте друзьями. Пургавин тяжело дышал, словно больной одышкой, и рука его со скрюченными пальцами потянулась к уху зуйка.

— Ешь! — протяжно сказал хозяин, топнул ногой и сильно потянул зуйка за ухо.

— Я с'ем, только не тронь меня! — сказал Евстахий и принялся есть кашу большой деревянной ложкой, а слезы стекали по лицу в ложку и кастрюлю. Поел немного, поднял умоляюще глаза и снова увидел перед собой хозяина, да не одного. Возле него собрались все люди с судна.

— Не могу больше! — простонал зук, показывая на свой раздувшийся живот.

— Оттого не можешь, что кашу сухо сварил, — наставительно сказал Пургавин. — Эй! — крикнул он старшему матросу, — принеси-ка ему кружку воды, он кашу захлебывать будет. Наварил крутую кашу, говорит, не идет каша в рот!

Ест зук и запивает водой. Немного поел и опять отказывается. Живот — словно барабан. Тогда хозяин говорит зуйку:

— Ложись голым брюхом на люк!

Зук послушно лег, и его стали катать по палубе, приминать раздувшийся живот. Пургавин и старший матрос весело и протяжно смеялись. Покатают его по палубе, «выровняют» желудок и снова заставляют мальчика есть.

Зук так каши не доел. Всю ночь он был на палубе, пока с берега на крики не приехали норвежцы и не забрали его в больницу Вардехуза. Через несколько дней Евстахий вернулся и рассказал, как норвежцы у него всю кашу обратно доставали кишкой.

Хозяин стал строжить <sup>1)</sup>:

<sup>1)</sup> Строго говорить.

— Если ты, Евстахий, наваришь еще раз так много каши и матросы ее не сядят, опять тебя есть заставим! Помни: норвежцы голодом живут, увидят, что у русского живот раздулся, достанут всю кашу из твоего нутра, начисто поедят!

Вернувшись осенью в родной стан, зук рассказал, как над ним измывались в рейсе и за всю летнюю работу заплатили три рубля деньгами. Отец решил отдать сына другому судовладельцу, Власу Котову, которому кличка была Задорный. У него была своя фактория в Териберке и зверобойные суда. Он хаживал на звериный промысел и скупал также рыбу на Мурмане и в Норвегии, в Варде, Гаммерфесте и Тромсе.

Влас Котов был с виду тихий и богобоязненный. Идет, сутулится и глазками мышинными поглядывает; говорит, словно пилит, да потихоньку, как тупая пила. Редко голос возвысит, но от его тихого, нудного выговаривания люди обалдевали, как от самого резкого колокольного звона.

— Вот, Влас Моисеевич, мне бы с вас денежок получить? — просил Задорного старый помор-матрос.

— Зачем тебе деньжишек, когда ты сам золото? — спрашивал, тихонько улыбаясь, Задорный.

— Да вот хотел сынишке галошки купить в Архангельском.

— Галошки, говоришь? Вон что? А может быть, я у своих ребят тебе подберу?

Он подбирал старые галошки, а потом всю сумму за них полностью, как за новые, вычитал из матросского жалованья.

Хозяин без угодников да без апостолов никуда не выходил. Всегда звал их себе на помощь. Кормщик<sup>1)</sup> выкидывает яруса, а он стоит рядом и приговаривает:

— «Святые апостолы Петр и Павел, Андрей Первозванный, верховые апостолы, первые рыболовы, помолитесь со святыми угодниками пресвятой госпоже богородице. Есть на святом престоле золотые ключи. Возьмите, ключи, и

отомкните, ключи, темный погреб рабу божьему Власу Котову, пригоните в сети крупной и мелкой рыбы. Сети мои шелковые, яруса мои медовые! Я здесь, рыба! Тут есть море святое, дно золотое. Ловитесь и попадайте и меня не забываете! Во имя отца и духа. Аминь!»

Утром Влас Котов выходил на бак и перебирал якорную цепь. Матросский кубрик был в носовой части шкуны. Хозяин гремел прямо над головами матросов, чтобы те скорее просыпались.

Когда убирали рыбу с палубы в трюм, хозяин спрашивал матроса:

— На палубе рыба есть?

— Вся!

— Дурак! Не вся, а вперед бог даст!

В рейс Задорный ходил вместе с сыном—ровесником Евстахия. Варили пищу на тагане, а над ним для просушки матросы всегда развешивали носки-головки и жирные от рыбы рукавицы. Как-то раз Евстахий варил на тагане треску, и в котел упала грязная сшившаяся рукавица. Зук не заметил этого и подал хозяину, как полагалось, первому отведать. Задорный нащупал ложкой в ухе рукавицу, подумал, что это вязига, так разварилась рукавица, но стал ее кусать—зубы не берут, стал отдирать от зубов, видит—нитки тянутся. «Э-э-э! — решил Задорный, — тут не вязигой пахнет!» — И вызвал к себе в каюту зуйка. Евстахий вошел, оглядываясь по сторонам. Задорный — к нему навстречу:

— Ты чего же мне принес!

— Треску, — сказал зук, пятясь от наступавшего хозяина.

— Вот тебе треска! — крикнул Задорный и хватил горячей жирной рукавицей мальчика по лицу.

— Ступай, да вперед так не подавай мне! — Открыл каюту и пинком вытолкнул зуйка, тот едва не пролетел за борт.

Перед отходом судна из Норвегии хозяин с'ехал на берег за пивом, это было в селеньи Лагольм, в северных норвежских шхерах.

— Ты, Евстахий, олады пеки, а мы скоро вернемся! И чтобы все было до нас готово!

<sup>1)</sup> Старший матрос, глава на промысле.



Зук пек оладьи и одну попробовал. — Ты зачем же чужие оладьи ешь! — схватил его за рукав присматривавший за ним из каюты сынишка Задорного. — Тебе не полагается!

— Мне не полагается? Да я же сам их пеку! — удивился зуек.

— Не ешь оладьи, отцу скажу! — пригрозил хозяйский сын.

— Не полагается? Так возьми ее себе! — и Евстахий накрыл большой горячей оладьей голову молодого Задорного, залепив ему волосы сырым, непропеченным тестом. — Эх вы, воры, воры! Вам только бы норвежских фильманов обвешивать да норвежским лопарям под скалки песку накладывать!

Норвежцев обмануть было нелегко. Судохозяева обычно обвешивали норвежских лопарей. На сто весов скрадывали сто рыбин. Это было незаметно для лопаря, но прибыльно для судохозяина. В каждой рыбине выходило до двух килограммов весу.

Сынишка Задорного все рассказал про Евстахия вернувшемуся из города отцу. Тот вызвал зуйка к себе в каюту и стал бить его, как попало. На крики прибежал один из матросов, который в рейсе подружился с зуйком.

— Тебе что? — встретил прибежавшего матроса рассвирепевший хозяин.

— Ты парня не трогай! — тихо сказал матрос.

— А что? — спросил, отступая, Задорный.

— А то, что я тебе рожу набью самому!

— Рожу набьешь? Ты?

— Да хотя бы и я!

— Хозяину — слуга?

— Вот вам хомут и дуга, я Власу Котову не слуга! Хоть сейчас давай расчит!

Матрос был самым толковым на шкуне. Расстаться с ним Власу Котову никак не хотелось. Он отпустил зуйка, но в море, когда напивался пьяным, ходил за Евстахией с кулаками и приговаривал.

— Ах! Вон оно как! Это мы-то воры! Мы-то жулики! Мы-то фильманов обвешиваем!

Но рукам воли не давал. Боялся заступника-матроса.

Когда шняки<sup>1)</sup> и парусники Задорного приходили с промысла в становище, снасти были обычно спутаны. И тонкие детские голоса, тянувшие заунывные песни, слышались далеко по становищу. Это зуйки отвивали спутанные после промысла тюки.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Жизнь Евстахия Малыгина тянулась однообразно, нудно. Он прошел к двадцати годам суровую поморскую науку. Он был зуйком, весельщиком<sup>1)</sup>, тяглом<sup>2)</sup> и наконец кормщиком. Он сменил два десятка хозяев. Среди них были кудрявые и лысые, богомольные и безбожные, пьяницы и трезвенники. Всяких повидал хозяев на море Евстахий Малыгин. Хозяева говорили ему: «Будь гол да не вор, беден да честен», «Бог терпел, да и нам велел». Рыбаки, что помоложе да победнее, говорили: «Богатый, как хочет, а бедный, как может», «Без денег везде худенек». И разлетались молодые поморы ежегодно с корабля на корабль, со шкуны на шкуну, к разным хозяевам, ища счастья.

Евстахий Малыгин поступил в самый канун двадцатого века к известному архангельскому промышленнику Тимофееву, но не ужился и перекинулся вскоре к Язикову, петербургскому промышленнику. Говорили, будто ходил он когда-то с лотком рыбы по петербургским дачам, потом открыл ларек, потом снял в рыбном корпусе место на Сенной. Когда подросли его сыновья, он открыл сначала два магазина, потом третий, четвертый, потом склад рыбы на Забалканском, потом склады во всех районах Белого моря и на Мурмане — в Коле и Печеньге. Жил он в палатах каменных, все перед ним гнули шею и в Архангельске, и на Мурмане, и даже в самом Санкт-Петербурге. Родом Язиков был из Вологодской губернии, и люди у него подобались большей частью вологодские. Лучшие кадры, самые надеж-

<sup>1)</sup> Рыбопромышленная морская лодка.

<sup>2)</sup> Матрос-гребец.

<sup>3)</sup> Матрос, помощник кормщика.

ные и уживчивые, по десять лет и больше работали у Язикова в его фирме. Он летунов не любил, а старых мастеров одаривал под рождество и пасху.

Евстахий перестал плавать и пошел к Язикову рыбным мастером по обработке семги. Но тут немецкая фирма, узнав про рыбное мастерство Евстахия Малыгина, переманила его к себе на Камчатку, посулив большие деньги за обработку лососевых пород семужьим способом для русского рынка. До Малыгина в Усть-Камчатске был принят способ японского чердачного сухого посола под открытым небом. При Малыгине впервые построили на Камчатке чановое хозяйство. Но вот грянула русско-германская война. Один из немцев — хозяев камчатского рыбного дела — успел вовремя скрыться за границу, другой компаньон остался военнопленным. Промысла заглохли. Уехал Малыгин снова в родной Архангельск и стал работать у Спаде.

Капитан дальнего плавания Спаде был авантюрист и универсальный человек, ходил на парусных судах, имел связи в морском министерстве, «имел голову на плечах», но не имел денег. Но за этим дело не стало. Он втянул в свое предприятие каких-то великих князей и удивил вскоре весь Архангельск четырьмя траулерами, которые впервые показали на Севере. Своим траулерам он дал названия четырех ветров: «Север», «Юг», «Восток» и «Запад». Это были первые русские рыболовные траулеры. Они оказались рентабельными, дело Спаде стало развиваться. Импералистическая война ничуть не смутила моряка, она дала лишь новое направление его мыслям, как в наикратчайший срок получить наибольшие барыши. Он брался за все: за лесное дело, за постройки, за доставку военных грузов к любому месту назначения. Он привлекал к себе работников высокими окладами, хорошим содержанием, квартирами, подарками. Сам одевался по-европейски, усики подстригал коротко, говорил на нескольких языках, — не даром был капитаном дальнего плавания. Рассказывали про него, что некогда он содержал бродячий цирк.

Война сделала Спаде богачом. В связи с блокадой Финского залива Спаде предвидел громадное поступление сельди в Россию через порт Архангельск и построил в Архангельске склады-хранилища. Никто в городе не знал и не понимал, зачем чужак Спаде строит склады в хиреющем порту, склады, которые были обречены пустовать годами. Но, когда привалила импортная сельдь в блокированную Россию через Архангельск и некуда было импортерам деваться с товаром, все вспомнили вдруг о пустовавших складах Спаде. А он того и дожидался. Каждый из импортеров старался заарендовать для себя склады Спаде, но он не торопился сдавать их в аренду. Высоко набили цену импортеры на пустовавшие склады. Спаде получил в один день с шотландской компании семьдесят тысяч рублей отступного. Кроме того, компания обязалась выплачивать Спаде ежегодную крупную арендную плату. Он купил в Архангельске собственный шикарный выезд, ездил в енотовой шубе с молодецком на облучке, сорок лошадей держал в конюшнях для военных перевозок, построил собственный каменный дом и, храня на текущем счету крупные деньги, женился на красавице—гувернантке архангельского купца.

Недолго заведывал Малыгин приемкой и хранением рыбы на складах Спаде. Служба была денежная, хозяин ласков, но скучно показалось помору без моря. Своенравный Евстахий разошелся со своим новым хозяином и разошелся неласково. Женился Малыгин незадолго до войны. Было у поморов поверье: идущий снег при выезде новобрачных из церкви — предвестник несогласной супружеской жизни, сильный ветер с воем и свистом предвещает бурную жизнь, маленький снежок при тихом ветре—богатую, счастливую жизнь, ясная погода — тихую, мирную, но небогатую жизнь.

В тот день, когда выезжали новобрачные Малыгины из церкви, шел маленький снежок при тихом ветре, однако Малыгины зажили — хотя тихо, но небогато. Перед самой войной родился у них сын Спиридон.

Направил как-то Спаде Евстахий Малыгина на выгрузку сельдей. Заупрямился помор.

— Не пойду!

— Почему?

— В море хочу, на промысел!

— Я здесь распоряджусь, дорогой мой! — сказал Спаде. — И ты мне не указывай!

— Ваше дело!

— Так ступай на выгрузку!

— Не пойду!

— Пойдешь! Помни, что сейчас война, что ты работаешь у меня на оборону, если ослушаешься, сниму с учета, на фронт пошлю!

— Ваше дело!

Спаде снял Малыгина с учета работавших на оборону. Военский начальник мобилизовал помора на другой же день и приказал ему, как знатоку Мурманского побережья, идти лоцманом с экспедицией судов в Кольский залив, к Семенову острову, где строился город Романов-на-Мурмане<sup>1)</sup>. Туда направлялись с экспедицией судов пружы из Архангельска.

Корабли шли с потушенными огнями. Немецкие подводные лодки шныряли в Баренцевом море и много топили торговых судов. Немецкие подводные лодки заходили даже в Кольский залив, к Торосу-острову, отстаивались от штормов, а снабжались рядом, в Норвегии, несмотря на то, что норвежский нейтральный флот сильно страдал от немцев. Они никому не давали пощады на море, если можно было безнаказанно производить налет.

У Семенова острова, куда подошел Малыгин с экспедицией судов, была небольшая, первая, как говорили поморы, «шутовая» пристань. К ней мог пристать всего лишь один пароход, остальные стояли на рейде. Выгрузка производилась медленно, с большими трудностями. На берегу не было еще никаких построек. Жили на судах, где было и жилье, и канцелярия, и ресторан. Железная дорога в то время еще не связалась с Кандалакшей. Только с семнадцатого года перешли люди с па-

рохода на берег в бараки. К этому принудила необходимость. В трюмах парохода, где жил всю зиму Евстахий Малыгин, возник пожар. Случайно Евстахий отлучился на берег. Далеко видно было красное пламя над пароходом и слышались крики и стоны заживо горевших людей. На пароходе жило почти все население будущего городка на Мурмане. В трюмах лежал военный груз, взрывчатые вещества, снаряды, патроны. Когда открыли люки, то от сильной циркуляции воздуха пламенем охватило единственную лестницу, по которой из жилого трюма люди сообщались с волей. Людям некуда было деваться. Борта горевшего парохода раскалились от огня и стали вишнево-красными. Суда опасались подойти к нему близко на помощь. Когда начали на горевшем пароходе рваться снаряды, весь народ с Семенова острова бежал кто в горы, кто в город Колу. Живьем сгорела вся смена, находившаяся внизу, в трюме, на работах.

Города Мурманска не было еще и в помине. Только на Сееновой корге стояла одинокая сутулая избушка рыбака. В писцовой книге 1603 года говорится: «Тоня Семенова Корга... что было прежде сего тоня Муномошского же лопина Осипка Семенова, сына Корожного... До этого тоней владел его отец». Первым «хозяином» этого места и был кильдинский (муномошский) лопин Семен Корожный.

В тот год, когда пришел к Семенову острову Евстахий Малыгин с экспедицией судов, на корге жили только «крестьянки», как называли ратников ополчения. Здесь не было еще порта, место считалось военно-морской базой, где стояло пять-шесть тральщиков, вылавливавших немецкие мины.

В тот год, если видели в поселке Семеновском женщину, то говорили:

— Смотри, смотри, женщина идет! Женщина!

В июле 1917 года траулер «15», на котором плавал Евстахий Малыгин, ушел обратно в Архангельск. Не успел траулер ошвартоваться у места назначения, как пришли на судно воен-

<sup>1)</sup> Будущий Мурманск.



ные люди, перевернули всю койку Малыгина в матросском кубрике и, ничего не найдя, все же арестовали Евстахия.

— За что же вы снимаете у меня лучшего моряка? — спросил капитан.

— За большевистскую агитацию, — коротко ответили капитану.

Капитан замолчал.

Евстахий Малыгин сказал на траулере в кубрике за день до ареста:

— Если ты из рабочих, записывайся в российскую социал-демократическую рабочую партию большевиков, а если ты из крестьян, то все равно записывайся в нее же, — самая подходящая партия!

Таких слов говорить не полагалось.

Октябрь освободил из тюрьмы Евстахия Малыгина и разрешил ему свободно говорить. Евстахий Малыгин снова пошел на траулер «15», но уже его комиссаром.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В Мурманске около совдепа, у кругого обрыва, собралось все население молодого городка. На повестке дня стоял вопрос: «Кто с союзниками до победного конца». Председатель совдепа Юрьев запрашивал по прямому проводу Кремль, как поступить. На Мурманском рейде под союзными флагами враждебно главенствовали английский крейсер «Кохрен» и броненосный французский крейсер «Адмирал Об».

Еще 2 марта 1918 года меньшевистско-эсеровское руководство мурманского совдепа заключило «словесное соглашение о совместных действиях англичан, французов и русских по обороне Мурманского края». В Мурманске был создан военный совет, в который вошли представитель Англии — майор английской пехоты Фоссет, представитель Франции — начальник французской миссии капитан де-Лагартинери и представитель мурманского совдепа. Высшее командование всеми вооруженными силами района возлагалось на этот военный совет и фактически оказалось в руках англо-французов. Девятого марта в Мурманске высадился десант в ко-

личестве двухсот английских солдат с двумя орудиями. На бараках, прозванных за свою форму «чемоданами», англичане расклеили листовки:

«Русские люди! Мы хотим принести экономическую помощь вашей разоренной и страдающей стране. Наше желание — помочь развитию промышленности и естественных богатств вашей страны, а не эксплуатировать их в нашу пользу. Русские люди! Присоединяйтесь к нам для защиты ваших свобод, ибо единственное наше желание — видеть Россию сильной и свободной».

Юрьев с малолетства плавал на пароходах, где служил в нижней команде сперва масленщиком, а потом кочегаром. В Мурманске он появился в ноябре семнадцатого года на пароходе «Вологда», где был старшим кочегаром. До революции сочувствовал анархистам, после Октябрьской революции считал себя большевиком. Судовая команда избрала Юрьева членом мурманского совдепа. Юрьев был звонким митинговым оратором, и эта способность при безлюдьи на Севере дала ему быструю возможность стать во главе мурманского совета. В разговорах с Кремлем Юрьев держался высокомерно, грубил или отмалчивался, считая правильной линией своего поведения. Ленин, Сталин и Чичерин предлагали Юрьеву всячески протестовать против захватнических действий союзнических десантов и командования. Юрьев полагал, что ему виднее, чем Москве, как действовать. Мурманский совет, руководимый Юрьевым, заключил соглашение с союзным командованием. По линии пошла телеграмма Юрьева:

«Согласно постановления исполкома мурманского совдепа от второго марта, ввиду угрозы нападения со стороны немцев и финнов, Александровский уезд и полоса отчуждения дороги Мурманска до Званки объявлены на осадном положении. Всем чинам администрации и комитетам предписывается остаться на своих местах и исполнять свои обязанности, беспрекословно следуя указаниям мурманского совдепа, высшего воинского командования и французов по оборо-

не района. Высшая власть района принадлежит мурманскому совдепу, высшее военное командование под верховенством совдепа принадлежит военному совету в составе первого помощника крейсера «Аскольд» лейтенанта Брике, майора английской пехоты Фоссета, начальника французской военной миссии де-Лагартинери при трех комиссарах от совдепа, Центромура и железной дороги. Приступлено к формированию Красной армии для организации отпора германским империалистам, коварно напавшим на Россию с целью задушить завоевания революции, уничтожить советскую власть. В этой борьбе англичане и французы оказывают мурманскому совдепу всевозможное содействие. Всем совдепам и комитетам предлагается приступить к формированию отрядов Красной армии и взять на учет находящиеся в их районе оружие и военное снаряжение. О ходе формирования и снаряжения Красной армии срочно, вне очереди, сообщать: Мурманск, в народную коллегия. Выражаем надежду, что пролетариат и крестьянство района встанут на защиту социалистического отечества — Советской республики — и что каждый гражданин, кто бы он ни был, исполнит свой долг.

4 марта. 55177».

На линии телеграмма Юрьева была принята с недоумением. Олонецкий совдеп, а также исполком совета Мурманской железной дороги запрашивали: «Даны ли Советом народных комиссаров мурманскому совдепу такие широкие полномочия на объявление всей линии на ссадном положении, и призыв, носящий характер диктования способа действий всем совдепам и комитетам Мурманской железной линии?» Запрашивавшие требовали экстренного ответа, «...так как с ним связан вопрос об отзыве из мурманского совдепа делегатов от железнодорожников». «Мы считаем, — писали они, — единение с империалистами для защиты Советской власти явлением совершенно новым».

Юрьев продолжал атаковать Кремль по прямому проводу. У прямого провода в Кремле телеграфную ленту читал Сталин.

— У аппарата Сталин. Отвечайте сперва на два вопроса. Потом дадим ответ. Вопрос первый: договор, заключенный вами с англо-французами, представляет из себя письменный договор с соблюдением формальностей или устный?

Алексеев (Юрьев). — Это словесное соглашение, запротоколированное дословно.

— Вопрос второй: какими силами ваш совдеп располагает без Англии и Франции?

Алексеев. — Имеем 100 человек и дорожную охрану, которая формируется, а также могут быть мобилизованы до 200 моряков военного флота, обслуживающего суда мурманской флотилии.

Сталин. — Еще вопрос: продовольствие дано англичанам даром или в обмен?

Алексеев. — В счет кредита из Главного управления заграничных заказов, так же, как и уголь.

Сталин. — Еще ответьте на один вопрос. Англичане никогда не помогают зря, как и французы. Скажите: какое обязательство пришлось взять совдепу за военную помощь со стороны англичан и французов?

Алексеев. — Помощь оказывалась и оказывается Мурману и Мурманскому пути потому, что им так же, как и России, необходимо сохранить и развить этот край и путь, ибо в настоящее время это — единственный путь сообщения России с Англией, Францией, Америкой. Сохраняя Мурман, они делают это не ради краевых интересов, но ради своих интересов в России. Никаких обязательств поэтому от нас не требуется и не требовалось. Вот текст словесного соглашения...

Сталин. — Примите наш ответ: нам кажется, что вы немножечко попались, теперь необходимо выпутаться. Наличие своих войск в Мурманском районе и оказанную Мурману фактическую поддержку англичане могут использовать при дальнейшем осложнении международной конъюнктуры как основание для оккупации. Если вы добьетесь письмен-

ного подтверждения заявления англичан и французов против возможной оккупации, это будет первым шагом к скорой ликвидации того запутанного положения, которое создано, по нашему мнению, помимо вашей воли. Ленин. Сталин.

Слова Ленина и Сталина сбылись. При дальнейшем осложнении международной конъюнктуры наличие своих войск в Мурманском районе союзники использовали как основание для оккупации. Уже к июлю 1918 года десант одних только англичан составлял на Мурмане свыше десяти тысяч человек. Десант, высаженный с военных судов союзников, начал наступление по линии железной дороги, занял Кемь, Медвежьё гору и стал подвигаться к Петрозаводску. На Мурмане появились красные партизанские отряды и части Красной армии. Образовался фронт. Мурманское и Белое море, Мурманск и Архангельск были в руках оккупантов. Активный пособник интервенции, Шекльтон, писал из Мурманска помощнику генерал-губернатора Северной области Ермолову:

«Я испрашиваю от вашего правительства концессию на нижеследующее: аренда некоторого числа участков г. Мурманска на 99 лет. Некоторую часть побережья, не менее 800 метров длиной и 150 метров глубиной, для доков и складов на период 99 лет... Русское правительство должно предоставить моему обществу возможность установить станции для рыбных заготовок и промыслов, также дать право ловли в озерах и право участвовать в развитии морских рыбных промыслов».

Незадолго перед этим командующий британскими морскими силами в Белом море адмирал Кемп намеревался получить советский траловый флот, предложив в обмен рыболовные принадлежности. Он полагал облагодетельствовать «союзную» Советскую республику щедрым даром рыболовных крючков и сетей, захватив весь северный траловый флот. «Я надеюсь, — писал адмирал Кемп в Совет народных комиссаров в Москву, — что вся рыба, пойманная переданными нам тральщиками, пойдет в

исключительное пользование русского народа в то время, когда пищевых продуктов мало, а все усилия должны быть направлены к тому, чтобы не упустить возможности увеличить их количество».

Союзники желали видеть Россию сильной и свободной. В одном Мурманске интервентами было устроено пять тюрем, в которых содержалось около тысячи человек. Кроме того, выросли тюрьмы на скалистом Торос-острове, в Александровске-на-Мурмане, Печенье и в Иоканге, прозванной «Полуостровом смерти».

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Белые ворвались в Архангельск с моря. Советский траулер «15» стоял в Соломбале. Отчаянные были на нем моряки. Они решили не сдаваться на милость врага, а пробиваться вверх по Двине на Бакарицу, к красному фронту, к своим боевым товарищам. Захваченный интервентами ледокол открыл огонь по траулеру, разгадав его замысел. Осколками снаряда убило командира траулера и одного матроса. Разбило рулевую рубку. Отстреливаясь и получив пробоину ниже ватерлинии, траулер «15» выбросился на берег, чтобы не затонуть. Моряки прыгнули на сырой песок и исчезли в вечерней мгле. В тот самый момент, когда расстрелянное судно коснулось грунта, снарядом ударило в левый борт «пятнадцатого». Контуженный комиссар Евстахий Малыгин свалился у разбитой рулевой рубки. Его подобрала белая. Он очнулся в тюрьме, где было тесно и многолюдно. Вместе с другими арестованными его повели наутро за тюремные ворота, приказав не поднимать глаз, чтобы не примечать дороги.

«Дай бог лбу здоровья, а глаза вывертят» — думал Малыгин, примечая улицы. Он хорошо знал город.

«А ведут, должно быть, на баржу. Утопят, как щенят!» — решил помор, когда увидел перед собой вечерний серебристый блеск Двины.

Арестованных пересчитали и посадили на баржу в глубокий трюм. Люки закрыли. Затарахтел слабосильный мотор, потянув баржу с людьми в неиз-



бестность. Евстахий забылся в полусне. Сквозь чуткую дремоту ему слышались шумные всплески волн о борт баржи. Удары накатов были отрывисты и мерны: помору грезилось, что он в родном стане и сынишка Спиридон стучит по столу деревянной ложкой.

Помора разбудил хриплый окрик: «Вылезай!»

Евстахий вышел на палубу. Перед ним лежал остров Мудьюг. Малыгин хорошо знал этот остров, не раз ходил на шняках по этим местам.

Арестованных развели по землянкам, где было сыро, грязно и холодно. Кормили впроголодь. Белье носили по месяцу, потом выворачивали наизнанку и снова надевали на себя. Мыла не выдавали, стирать белье было нечем, да и не разрешали стирать. Перед сном арестованные садились обирать вшей. В тюремных землянках кипела вошь. Малыгин не давил вшей, а стрясывал на улице, — так много их было у него на рубахе.

— Разве это вши! Вот вши: с головы скатятся да драться схватятся, — то вши! — говорил помор.

Люди умирали от голодного тифа. Но землянки не пустовали. Белый Архангельск присылал новых людей на голод и смерть. Рядом с Евстахием Малыгиным жил в землянке старый помор. Он упал духом, иссякла в нем сила, не выдержал он страданий и спросил начальника: долго ли придется сидеть на Мудьюге, нельзя ли как выслужиться? Ему ответили, что тюрьма пожизненная, выслужиться никак нельзя, никакой тяжелой работой, ничем не искупить своей вины перед царем и отечеством.

Был среди арестованных северянин Стрелков. Лучше него никто не знал края. Он предложил бежать. Утром, задолго до обычной побудки, разбудил товарищей. Часовой спал. Евстахий Малыгин подкрался к нему, взял из рук сонного часового винтовку, связал его, в рот напихал тряпок.

— Теперь двигай, ребята, потихоньку к берегу! Там карбаса должны стоять, — сказал Стрелков, когда Малыгин выполнил свое задание. Синие силуэты людей быстро продвигались в мгlistом

предраассвете. И навстречу беглецам бесшумно ползла цепь солдат.

— Стой! — скомандовал своим Стрелков. — Нас продали! За мной! Обратно к землянкам!

Солдаты не стреляли.

У Сухого моря близ острова Мудьюг пас стадо старик Есема. Плотный, коренастый, живой не по летам старик никогда не умывался, носил черную, смоляную бороду. Лицо у него было темное, как у ненца. Он давно знал Стрелкова. Есема слышал о всех мытарствах заключенных и предложил помощь земляку: в условном месте заготовить карбаса для побега, только бежать советовал, таючись, не объявляя никому до самой последней минуты, «чтобы опять не получилось продажи». Карбаса приходили на остров с материка за сеном и не могли вызвать подозрения стражи.

Есема сказал Стрелкову, что если удастся ему подойти с товарищами к красному фронту, то пароль будет:

— Кто ты такой?

На который отвечать:

— А ты кто такой?

В назначенное утро Стрелков рано разбудил товарищей и объявил: «Кто хочет бежать, пусть следует за мной!»

Не все решились второй раз бежать. Боялись, что опять изменит кто-нибудь, и пойдут еще большие строгости по тюрьме. Хотел было остаться и Евстахий Малыгин, да усовестил его Стрелков. Сам вернулся за ним в землянку, как только снял часового и открыл вперед дорогу. Перебив охрану и расхватав оружие на складе, люди двинулись к карбасам. Тюремная стража открыла огонь по бежавшим. А те были уже далеко. Уже виднелись им стоявшие под берегом карбаса. Был час отлива. Вода сильно убывала, оголяя песчаное дно — «обсушку». Старик Есема следил за карбасами, он не давал им оставаться на грунте, а передвигал одновременно с уходившей водой подальше от обсушки. Ружейным огнем тюремщиков много людей положило у колючей проволоки. Но кто перемахнул через нее, оставив на железных рельейниках клочья своей

ветхой одежки, тот бежал, что было сил к Сухому морю, к карбасам, возле которых, как часовой, стоял чернобородый старик Есема. Карбасы были на воде. Если б не Есема, обсохли бы во время отлива карбаса, остались бы на обсушке, — пропадать тогда всем беглецам.

Грести под ружейным огнем было опасно. Малыгин приказал скренить карбаса на один борт. Пули изрешетили верхний набор карбасов, не затронув людей. Ветер был с острова. Парусило к материку. Когда стрельба затихла, беглецы выровняли карбаса, налегли на весла и быстро достигли материкового берега. Здесь, у Межгоры, перерезали телефонные провода и двинулись вперед на соединение с красным фронтом, куда Есема обещал послать гонца с вестью о победе.

Перед отрядом беглецов растянулось топкое, кочковатое болото. Обходить его было нельзя. Пришлось ползти на четвереньках с зыбуна на зыбун. Люди простыли в холодной воде. Сначала приглушенно, потом, словно ветер, поднялся ропот.

— По плохому грунту ты нас ведешь! Себя загубишь и нас всех здесь положишь! — говорили Стрелкову.

Но часть людей стояла за него. Одни пошли с новым руководителем чуть северней, другие со Стрелковым.

Вон показались огни какого-то селения. Оставив людей под прикрытием леска и темной ночи, Стрелков и Малыгин пошли в село на разведку, узнать, кто владеет селом: белые или свои. Постучались в дверь крайнего дома. Им долго не откликались. Потом слышно стало, как завозились в избе и громыхнуло впотьмах покотившееся ведро.

— Кто это? — спросили за дверью.

— Свои!

— Какие там свои! Не знаю я вас! Проходите с богом! Никого нет дома!

Говорил молодой женский голос, и Стрелков решил спросить напрямик:

— Скажи, кто здесь в селе? Белые или красные?

— В первый раз вы здесь, что ли, не знаете будто? Ясно, что белые! Все сей-

час на вечере в крайней избе! Ступайте туда, там и расспросите! — сказала девушка.

Пошли Стрелков с Малыгиным на другой край села, навстречу им летят кони, гудит от конского топота земля. Спрятались разведчики под взвоз, по которому сено завозят на повесть. Лежат в луже, натекшей после дождя, не шелохнутся. Кони подскакали к дому, возле которого спрятались товарищи. Не слышно ни говору, ни брани. Выглянул Малыгин из-под взвоза, а кони ходят вольные и щиплют при дороге траву.

Пошли опять товарищи улицей, крадучись, навстречу им человек. Потайным фонариком светит в лицо. Белый патруль.

— Что? Своих не узнаешь? — спросил дозорного Стрелков нарочно громко, словно старого знакомого.

Их не задержали, они вернулись в лесок к своим. Утром собрали ягод и грибов, закусили и пошли дальше.

Издали заметил Малыгин дымки. Это был фронт. Бойцы жгли костры. Стрелков оставил своих в леске и пошел один к кострам.

— Кто ты такой? — спросил человек в кожанке, вставая из-за костра.

— А ты кто такой? — спросил Стрелков, как называл старик Есема.

Мудьюжских беглецов давно поджидали красные фронтовики Севера. Они встретили мудьюжан приветливо, обогрели, накормили и стали спрашивать, что так мало пришло их к фронту. Рассказал Стрелков о том, как разделились беглецы на две партии и пошли в разные стороны. Людей развели по палаткам. Наутро каждому выдали оружие. Предстояло драться за Архангельск, за советский рыбный Мурман, еще надо было гнать интервентов с поморских берегов. Вторая партия так и не объявлялась, пропали все без вести.

В родном стане Евстахия Малыгина считали уже покойником. Нежданно в весеннюю ночь, когда по стеклу шелестел, будто тополь листвой, мелкий частый дождичек-бус, вошел в родной стан Евстахий. Темная борода его светилась двумя серебряными лучами, волосы свисали с головы густой прядью.

Только глаза попрежнему были быстры, но под ними глубоко залегла паутина морщин. Хозяину не сразу открыли дверь. От крепкого стука проснулся сынишка Спиридон, олерся локотками на потертую пальтушку и пытливо смотрел на дверь, которую суетливо отпирала мать.

— Татка! Татынька! — крикнул Спиридон и камнем скатился с печи к ногам отца, обутым в рваные, грязные сапоги.

Евстахий Малыгин подошел к жене, обнял ее, накрест с ней поцеловался, а Спиридона прижал к груди. На глазах отца Спиридон заметил непривычные слезы. Мать поставила самовар, зазвене-ла на столе незатейливая посуда. Сахара в стане не было. Пили чай с морошкой. И в эту ночь, которая показала-сь короткой, Евстахий поведал о красном фронте.

— Теперь Архангельск и Мурман наши. Мы никому их больше не отдадим! — сказал Евстахий.

Глаза Спиридона горели огоньком от любопытства и гордости за отца. Отец казался сыну древним сказочным богатырем, победившим своих неисчислимых врагов. Всю ночь мальчику снился красный фронт, такой, как рассказывал о нем в стане отец. Сын подносил отцу патроны. Спиридону слышался пулеметный треск, размеренные выстрелы пулеметной очереди, — это дождь барабанил по оконному стеклу и тикал на комоде старинный, купленный еще дедом в Норвегии, будильник.

Евстахий Малыгин был назначен комиссаром тральщика «15», направлявшегося в Мурманск, и получил от комиссара морской обороны Мурманского района следующее предписание:

«С получением сего вам надлежит помимо возложенных на вас обязанностей временно вступить в исполнение обязанностей комиссара тральщика «15», направляющегося сего числа из Архангельска в Мурманское море на охрану промыслов от заграничных хищников, а посему с вашей стороны должно быть проявлено максимум энергии и коммунистического духа.

Военком обороны Корнеев».

Комиссар Евстахий Малыгин выполнял на траулере одновременно и обязанности старшины-рулевого. Он спал в капитанской каюте, держа шифр под подушкой, а когда шел на вахту, то засовывал его к себе за пазуху.

Стоя на капитанском мостике у штурвала, он говорил беспартийному капитану:

— Товарищ командир! Следуйте влево!

И капитан повторял ему:

— Лево руля!

— Есть лево! — принимал команду рулевой Малыгин.

Так друг другом весь рейс и командовали. Траулер шел в трехмильной полосе от берега, разыскивая хищников.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Незаметно ушли годы, высеребрив виски и широкую бороду Евстахия Малыгина. Он жил с семьей в Мурманске на тралбазе. Своего единственного сына Спиридона ему не пришлось отдавать чужим людям. Исчезли судозозяева на Мурмане. Кормщик взял с собой десятилетнего Спиридона на промысел в море «привыкать». Мальчик изучил немудреное дело: отвивать тюки, наживлять крючья и в то же время рядками укладывать их в ящик. Таких ящиков в ёле<sup>1)</sup> было до пяти. Случалось и так, что в море при подеме спутывались три-четыре тюка и комом шли к борту ёлы.

— Это, зук, тебе посылочка идет из дома! — посмеивались добродушно старшие в ёле. — Тебе ее кавать<sup>2)</sup> придется!

— Кавай! Кавай! Не ленись! Поскорее шевелись! — торопил Евстахий сына.

В первый раз Спиридон ходил на шкуне с отцом в становище Восточную Лицу. Сначала море сильно било зуйка, его тошнило, а потом немного полегчало, паренек стал привыкать к качке и даже в сильный шторм от пищи не отка-

<sup>1)</sup> Промысловая лодка норвежского типа.

<sup>2)</sup> Распутывать.

звался, а, наоборот, ел больше, как и другие поморы. Зимой Спиридон учился в семилетке, а летом ходил с отцом на тресковый промысел. Мать напекала им в дальнюю дорогу шанежек.

Спиридон оставался один в летнем стане на мурманском берегу, прибирал помещение, таскал дрова и воду. Отец уходил в море часов на пятнадцать, смотря по погоде. Спиридон забирался днем с другими зуйками на угор<sup>1)</sup>, где был глядень<sup>2)</sup>, и оттуда высматривал море. Далеко было видно, как проходили пароходы с лесом из Архангельска на запад, и ёлы и шняки медленно тянулись на промысел и с промысла. Каждый из ребят смотрел с глядня, не идет ли отец с моря. Надо было приготовиться к встрече: вытопить тепло стан, чтобы можно было промокшему и иззябшему рыбаку просушиться, согреться и напиться досыта горячего чаю.

— Ты, Спиридон, настоящей жизни не видал, — говорил Евстахий Малыгин. — Я вот зуячил на парусных судах. В наше время на деревянных кораблях плавали железные люди. Мы в Норвегию тогда еще ходили за рыбой. Теперь рыбу у норвежан не берем совсем, а тогда, в старину, свою рыбу мало промышляли. Наберем в Норвегии груз полно судно, все трюма набьем, а хозяин не разрешает брать рыбу в пищу, только одну заваль выдает команде. Ночью воровски возьмешь треску или палтуса. Да у хозяина был старший матрос, — все доносил ему проклятый. Это сейчас на советских судах команда ест свежью, да и тем подчас недовольна. А тогда хозяин и соленую рыбу матросам жалел. Даст на семерых котелок каши. Кто проворней да сильней, тот сыт остается. Пока до зуйка очередь дойдет, полезет он за кашей и стукнет ложкой о пустой котелок, а хозяин сейчас зуйка за ухо или в лоб щелкнет да пристрожит:

— Не стучи, парень, о котелок ложкой! Судно мое может из-за этого разбить!

<sup>1)</sup> Место, идущее в гору.

<sup>2)</sup> Место наблюдения — высокое, открытое.

Верили в бога, верили и в чертей. Мне мой хозяин Пургавин говорил, что одна колдунья хотела ему передать ключевые слова, чтобы он после ее смерти мог заниматься заговорами. Велела старуха ему прийти в полночь в баню. Когда он пришел, оглянулся, весь пол под ним разобран, а сам он на одной мостине стоит. Тут старуха сказала свои заклинания.

А он испугался и в бег бежал к себе домой. Благословясь, закрыл дверь. И стали черти к нему в окно ломиться, не дают покою.

— Чего вам, черти, надо? — кричит он им в окно.

А они у него работы просят. Захотел Пургавин от них избавиться, заказал им свить веревку из песка и принести ему в избу. Веревку черти совьют, а принести в избу никак не могут, рассыпается у них песчаная веревочка. Так до сих пор все вьют веревку и все носят в избу, — рассказывал нам Пургавин. А мы, дураки, слушали хозяина, рты разебали, — говорил сыну Евстахий, — Запугивали нас хозяева богом и чертями. Люди верили и богу, и чорту, и хозяину.

Любил Спиридон в свободное время ловить треску на поддев. На длинную леску подвязывалось тяжелое грузило пунда — свинцовая рыбка с большим крючком. Крючок не наживляли. Зук бросал со шняки свою леску с поддевом и часто дергал ее. Треска, обманутая игрой блесны, бросалась на нее, крюк вонзался в мясистое тело рыбы и зуек, почувствовав тяжесть в руке, быстро вытаскивал треску на поверхность. Это называлось ловить рыбу на поддев. При хорошем подходе рыбы три человека в ёле тягали на палубу за короткое время до двух тонн крупной трески.

Спиридон по-разному ценил рыбу. Одну называл дурной, глупой, другую, наоборот, хитрой. Самая дурная рыба, по мнению Спиридона, была треска, — она хватала все. Семга, камбала и сайда казались зуйку похитрей. А глупее корюха Спиридон не встречал рыбы. Если только корюх захватывал сеть зубами, то не отпускал уже ее больше. Корюха

наверх тянут, он уж залился, а все не отпускает сеть. Другая рыба ячеится, головой вошла в сетевую ячею, жабрами зацепилась и только тогда затихнет, а корюх — дурной.

Научился молодой помор различать ветры и каждому ветру знал название. Север<sup>1)</sup>, полуножник<sup>2)</sup>, обедник<sup>3)</sup>, лето<sup>4)</sup>, шалоник<sup>5)</sup>, запад<sup>6)</sup>, побережник<sup>7)</sup>. Знал он и все стрики<sup>8)</sup> и приметы знал от стариков-поморов. Когда чайки, кружась, уходили высоко под облака, «вили колокольню», это было к шторму. При безветрии, откуда облака несли, оттуда следовало ожидать ветра. Осенью, когда реки и ручьи наполнялись водой быстро, он знал, что вскоре будет и замороз, и в продолжение промыслового сезона до самого января не жди оттепелей. Сухое лето предвещало снежную зиму. Если осень была теплая и протяжная, то будущую весну следовало ожидать холодную и тоже протяжную. Если солнышко закатывалось весной в ясный горизонт — к дождю, а осенью — к хорошей погоде. А если оно весной закатывалось в темень, то к хорошей погоде, а осенью — к дождю. Северное сияние в зимнюю ночь означало близкую метель.

Больше всего Спиридон любил море в межонное<sup>9)</sup> время, когда на Мурмане было светло, как днем, редко выпадали дожди, и смолкшие ветры не перепыхивали золотую дорожку незаходящего солнца.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Артур Калнин — капитан флота — предложил Малыгиным перегнать срочно в Иокангу новый парусный бот, только-что спущенный судоверфью. В Иокангу густо пришла сельдь,

и нехватало тоннажа для уборки рыбы.

В стане было безмятежно тихо. Мамка укладывалась спать. На комодике тикал старинный будильник, купленный еще дедом Гервасием в Норвегии. Свернувшись калачиком, в старой шапке-ушанке, спал на стуле серенький котенок. Напившись чаю, Малыгины набили кисеты табаком и тихо вышли из стана. По заливу гуляла небольшая волна. Но только поморы миновали на новом паруснике остров Кильдин, как набежал вдруг пылкий и неожиданный шалоник. Ветром отодрало бот от берега и стало уносить в голомень, далеко в море, неизвестно куда. Полярный день кончился давно. Не светило полночное солнце. Ночи были темные, погоды осенние, ветреные, туманные. У старого Малыгина не было даже компаса. Сотню раз хаживал старик вокруг Мурманского носа, держась всегда берега. Кормщик знал все бухточки и становища, все приметные мысы. Он был родом из Койды, с Мезени, где почти все поморское село носило древнюю фамилию Малыгиных.

Диким шалоником несло бот по безвестным морским дорогам. Евстахий Малыгин стоял у руля. По приказу старика легли в бейдевинд, шли галсами, но, видя беспечность лавировки, кормщик решил лечь в дрейф, носом на волну.

— Сухарей у нас хватит надолго, а пресной воды припасено малость, — сказал Евстахий, обращаясь к находившимся в боте.

— Сухари-то с плесенью, татынька! — заметил Спиридон.

— С плесенью — это лучше, это все равно, что глину с якоря есть, — никогда не утонешь.

Синее море потемнело. Будто взрывы, вспыхивали кругом пенные беляжи. Соленая морская пыль стояла над морем от шалоника. Море пенилось и шумело. Вторую ночь не спали моряки.

— Порато<sup>1)</sup> много ветра выпало! — сказал Спиридон.

<sup>1)</sup> Северный.

<sup>2)</sup> Северо-восточный.

<sup>3)</sup> Юго-восточный.

<sup>4)</sup> Южный.

<sup>5)</sup> Юго-восточный.

<sup>6)</sup> Западный.

<sup>7)</sup> Северо-западный.

<sup>8)</sup> 32 ветра всех румбов

<sup>9)</sup> Долгие летние дни.

<sup>1)</sup> Очень.

— В нашем море штиль два раза в год бывает, когда черти свой день рождения празднуют. Они тогда все на дне собираются, и некому воду волновать, — ответил отец.

— А ветер-то крепчает, пылко становится несосветимо! — снова оказал Спиридон, глядя на почерневшее, расхолодившееся море.

Ветер срывал пенные гребни волн и пылил серебристой хлесткой пылью над черно-зеленым морем. От этой морской пыли солоньи становились губы. Молодой Малыгин то и дело облизывался и сплевывал за борт.

— Вот у нас случай был: девушка из Зимней Золотицы хотела реку переехать со стороны на сторону, — сказал Евстахий Малыгин. — Весла в лодке не было, девушка гребла доской. Течение было сильное, время осеннее, вот такое же, беспокойное, ветра выпало много. Не смогла девушка пересилить течения. Захватило ее лодчонку и понесло течением-то. Прошла лодка одну деревню, другую, третью. Время ночное, темное, люди в станах сидят. В окнах огоньки светятся. А на улице — никого! Никто не слышит девушки, а она кричит в голос, надрывается. Вынесло ее в море. На ней была ветхая пальтушка да бахилы<sup>1)</sup>. Стало на море шлюпку волной заливать. Сняла она бахилы и давай ими воду из лодки вычерпывать. На Терский берег, к самым Трем островам ее отнесло. Продовольствия, питья никакого с ней не было. Если бы рыбаки ее во-время не заметили, конец бы скоро ей пришел.

— Тата! А долго мы так штормовать будем? — спросил отца Спиридон.

— А кто ж его знает, у бога всего много! Может, ветер на день выпал, а может, и на неделю, — ответил старик.

Проолифленный рокан был дырчат и пропускал воду, которая студила тело. Суднышко поднимало на гребень волны и опускало так низко, что у Спиридона, привыкшего к морю, захватывало дух и щемило сердце. Вспомнил Спиридон серый стан на тралбазе, старушку

мать, котенка в отцовской шапке и затосковал вдруг безотчетно.

— Умоблено ты мое! Эдак ли в море бывает! Ко всему надо привыкать! — участливо сказал отец, почуя сыновнюю тоску.

Евстахий Малыгин берег пресную воду. Люди умывались соленой забортной водой. На третий день ветер умерил свою силу. Старик оплеснул утром лицо морской водой и вдруг воскликнул:

— Эх, куда нас занесло! Братцы, мы в самом Гольфштреме! Вода-то совсем теплая!

По теплой воде океанского течения старый помор узнал как далеко от берега унесло бот в голомень. От спасительного Гольфштрема до берега было сто с небольшим километров. Кормщик встал у руля, каждый занял свое место, и судно легло на лето, на юг, к материку. Вечером в дымке тумана открылся мутнофиолетовый берег. Вдали виднелись ходовые огни ботов, шедших в Иоканьгу на сельдяной промысел.

Гольфштрем выручил Малыгиных из беды в штормливую погоду. Гольфштрем и раз'единил отца и сына. Евстахий остался в Мурманске, а сын ушел на тральщике в синий Гольфштрем на рыбный промысел. День-два бывал Спиридон на берегу, затем по месяцу — в море на промысле. Штормовая погода задерживала траулеры в порту. И вот в эти долгие штормовые вечера, когда в стане было тихо, любил молодой Спиридон послушать отцовы рассказы о недавней суровой жизни на Мурмане.

До пятнадцати лет Спиридон проходил зуйком вместе с отцом на ботах, помогал отцу. Но потом, набрав с годами ловкость, силу и знания, пытливый мальчик ушел на зверобойном боте к берегам Новой Земли промышлять зверя. Три месяца шныряло судно по новоземельским становищам, промышляло зверя, снабжало местных рыбаков — промышленников разным грузом. Работа была нелегкая. С судна на шлюпках перевозили мешки с мукой на берег. Плотили плоты из меченых бревен для стройки новых домов близ мыса Меньшикова. Увидел Спиридон на Новой Земле горы высокие, на которых свер-

<sup>1)</sup> Поморская обувь, сапоги с голенищами на помочах.



кающими полосами лежал по крутым склонам нестаявший снег. Ледники спустились прямо к морю. Бот был небольшой, команда дружная и, когда туманы задерживали поморов у новоземельских становищ, далеко слышались песни с маленького бота. То пели старшие товарищи Спиридона, и он подтягивал им своим менявшимся голоском:

Из-за устья, устья,  
Из-за устья Лодейного,  
Со ходу корабельного,  
Там невелик,  
Малый садик плывет;  
В этом садике немного людей;  
Еще семеро гребцов-молодцов;  
Еще в восьмых коршичек,  
Во девятых носовщичек,  
Во десятых хозяин молодой;  
По суденышку похаживает,  
Русы волосы зачесывает,  
Да сам свой лук натягивает,  
Калену стрелу накладывает,  
Сам ко стрелы приговаривает:  
— Ты лети, лети, моя калена стрела,  
Выше лесу стоячего,  
Не застрели, моя калена стрела:  
Белу-лебедь на заводи,  
Серу-утицу под кустышком,  
Селезня на камешке,  
Красну-девицу в высоком терему.  
Бела-лебедь — забава моя,  
Сера-утица — кушанье,  
Селезенюшко — игрушка моя,  
Красна-девица — невеста моя.

В Карском море зверобойный бот встретил льды, ослепительно отражавшие солнечный свет осеннего неожиданно ясного дня. Бот проходил в каменных высоких теснинах Маточкина шара — изумительного новоземельского пролива, но ничему не удивлялся Спиридон, все для него казалось обычным. Только вот новоземельский ветер восток <sup>1)</sup> признал Спиридон действительно сильным. Белую губу, куда пришлось зайти зверобойному боту, морозом прихватило в одну ночь. Четырнадцать суток стояли моряки во льду, ладили камельки, обкладывали их кирпичом, чтобы было теплей зимовать. Но подул вдруг сильный ветер, раскачал губу, разломал лед в крошево и вынес ботишко вместе со льдом на чистую воду в голомень, в открытое море.

Вернувшись в Мурманск, Спиридон решил сходить в рейс на траулере. Мо-

лодого помора не сразу приняли на судно. Недели две он числился в резерве, шкратил суда, ходил на доковые работы. А потом получил назначение на РТ <sup>1)</sup> 55 «Кета».

Трудновато сначала пришлось Спиридону на «Кете». «Медведем показало», как говорил он сам своим товарищам по кубрику. Во время подема трала на палубе все стонало от крика, все бежало торопливо, ругались крепко. Спиридон не понимал причины этой спешки, не понимал, куда бежит народ. Но после третьего подема он присмотрелся к делу. Один из земляков — мезенцев сказал ему ласково:

— Ты не робей, Спиридон! Они кричат, и ты кричи! Ладно будет!

Скоро привык Спиридон к неизбывному шуму на траулере, вечным крикам, постоянной спешке и суматошной жизни. И без этого шума в тихом маленьком деревянном Мурманске молодому помору становилось не по себе.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Возле наклеенной на стене Мурманской «Полярной коммуны» теснилась толпа людей.

Раскачиваясь из стороны в сторону, соскакивая то и дело с досчатого тротуара на немошеную и грязную дорогу, проходили, надрывиво распевая сиплыми голосами, два моряка.

После каждого куплета один из пьяных останавливался, бил себя кулаком в грудь и разводя руками, и притопывая громко, кричал:

— Разве мы не рыбаки!

Внимательно просмотрев мореходную книжку штурмана Николая Дорошенко, начальник управления тралового флота распорядился принять его старшим штурманом на РТ 55 «Кету». По скользкому деревянному настилу тралбазы шел моряк к своему траулере, разыскивая его в шеренге выстроившихся у причала судов, расцвеченных разными колерами. Здесь были и огненно-красные, и зеленые, как весенняя трава, и

<sup>1)</sup> Восточный ветер — восток.

<sup>1)</sup> РТ — рыболовный траулер.

черные, и выкрашенные шаровой — серой — краской. Плакаты кричали:

«Страна требует рыбы, и мы должны ее дать!»

Ничего японского не было в лице Николая Дорошенко, хотя он был сыном японки и украинца. Отец Николая Дорошенко плавал матросом в Тихом океане и часто заходил из Владивостока в японский порт Хакодате, откуда и вывез дочь японского ресторатора. Она принесла ему светловолосого сына Николая и вскоре умерла от родильной горячки. На память сыну от неизвестной ему матери осталась лишь маленькая карточка, снятая фотографом-пушкарем во Владивостоке. Отец Дорошенко переехал с сыном в Одессу. Там на второй своей родине маленький Николай продолжал расти возле моря. Кончив семилетку, он поступил в морской техникум. Летом плавал штурманским учеником в водах Черного моря, отбывая учебную практику. Он много читал книг о Севере. Север с детства манил его. Знакомые капитаны часто привозили мальчику на память о Чукотке выделанные из моржовой кости фигурки полярных зверей — нерп, моржей, песцов и белых медведей. Полярники рассказывали мальчику о Северном море и северных людях, об их необычайной жизни. Мальчик, затаив дыхание, слушал моряков, озадачивая их вдруг неожиданными пытливыми вопросами. И вот теперь Дорошенко впервые видел Север. Моросил осенний мелкий дождь; как туман, он висел над городом. Штурман Дорошенко несгорно разыскал траулер «Кету».

— Откуда вы? — спросил Дорошенко старый помор, капитан Логинов, когда молодой моряк впервые пришел к нему на судно.

— Из Владивостока.

— А не из Одессы ли? — недоверчиво спросил капитан. — Выговор у вас одесский. Не одессит ли вы?

— Я долго на юге прожил. А почему, собственно, вы спрашиваете об этом, товарищ капитан? — недоуменно спросил Дорошенко.

— Спрашиваю потому, что из Одессы к нам на Мурман много волосанов приезжает не работать, а загорать. На-

род нам портят. Привыкли у себя на Черном море загорать, думают, что и на Мурмане такой же загар. А у нас, прощения просим, работать надо много, по-поморски. Работа тяжелая. Страна требует рыбы, и мы должны ее дать, — закончил капитан.

— Я приехал не загорать, а работать и учиться у вас, поморов, как плавать и промышлять на Севере, — сказал Дорошенко.

Опытные капитаны знали в Гольфштреме рыбные и нерыбные изобаты. И тот, кто знал их, у того трюмы были полны к концу рейса. Попав на рыбу капитан старался точно по компасу заметить ее стоянку, чтобы держаться на рыбе, не срываться с нее. Он ставил на якорю заметный знак — буй и ходил курсами, распахивая Баренцово море цепким тралом. Рыба держалась чаще всего в ямах, котловинах или вдоль завала, по склонам неровного грунта. На камнях обычно располагались ракушки, которыми питалась треска. У этих камней подстерегала треска и мелкую рыбу. Если промысловая рыба вдруг неожиданно пропадала и вместо пятитонных подьемов следовали один за другим «нуль», капитан делал промеры, чтобы узнать, не сбилось ли судно с рыбной изобаты. И случалось так, что сбитое сильным течением судно теряло рыбную изобату, капитан настойчиво отыскивал ее, и снова траулер поднимал крупную придонную рыбу, и вахты становились жаркими, нехватало времени, чтобы убрать во время добычу с палубы в трюмные чердаки.

Из всех капитанов на Мурмане лучшим считался Логинов. Он знал море, как отличный навигатор и как сын старого помора, деды и прадеды которого выросли в пылких штормах Мурмана. Не было случая, чтобы капитан Логинов приходил в порт с пустыми трюмами. Туманы и штормы не мешали ему выполнять задание.

Когда директор Рыбтреста Кремнев спрашивал его:

— Как это ты, Логинов, так ловко промышляешь? Взял бы у меня, что ли, десяток капитанов из треста на выучку?

Логинов только отвечал:

— Счастье! Счастье! Прущий я человек. Прет оно ко мне, счастье!

Небольшая зыбь шла от зюйд-веста. Три тральщика уже ходили с тралами, несколько поодаль в бинокль виднелся французский траулер. Француз-капитан, неся впереди себя огромное брюхо, прохаживался по верхнему мостику и то и дело хлопал рукавицами.

— Холодно французика, — сказал Спиридон, обращаясь к Дорошенко. — А как их суденышко называется?

— «Святые Пьер и Поль», или, по-русски выразиться, «Святые Петр и Павел».

— Так это у них те же святые рыбку промышляют, что и у наших поморов, — сказал Спиридон. — Отец мой работал у Задорного, Ивана Григорьевича, так тот без апостолов рыбу не промышлял. Только у него, кроме Петра и Павла, еще помогал Андрей Первозванный — верховные апостолы, первые рыболовы. Ишь ты, и французы тому верят, чудно мне это!

Перед тем как спустить трал, старик Юдин ходил с прядиной и длинной деревянной иглой чинил все сетевые изьяны. Трал опустили неловко, получилась заvertка. Много времени ушло на распутывание.

— Плохо вы, корешки <sup>1)</sup> работаете! — укоризненно говорил матросам старик Юдин. — Страна рыбку просит, а вы загорать, я вижу, сюда пришли!

Первый подьем был около тонны.

— Не по рыбе ходим, — сказал капитан старшему штурману. — И мелочь, и крупная в мешок попала, значит, мы не вдоль косяка ходим, а пересекаем разные косяки. Мы по разным изобатам ходим, потому и рыба такая пестрая. Ходите, как вам было указано, и не мудрите, иначе мы будем время терять и полного груза к сроку не наберем! Вы мне рейс сорвете! Из первых траулеров мы попадаем с вами в последние!

Остроголовая крупная треска беспомощно раскрывала рот на шалубе, била хвостом и вдруг перебежала скользом по мелкой рыбе из края в край ящика, по-

том затихала, ложась на бок. Рыбный ящик искрился весь в ярких бликах ярного и морозного дня. Матросы ловко вспарывали брюхо каждой рыбине, шкерили ее, потроха бросали на палубу под рыбодел, а воюксу, скользкую, жирную тресковую печень, — в корзину, поставленную у самых ног. Матрос-салогрей перед концом каждой вахты подходил к рыбоделу, перемывал морской водой трепещущую печень и таскал ее корзинами в бак на вытопку медицинского жира. Корзины были так тяжелы, что салогрей елочил их, держа на-весу между ног. Слово масло, белела в плетеной корзине не воюкса. В чане, где мыли рыбу, вода была яркокрасной от рыбьей крови.

Мимо «Кеты» прошел тральщик «Касатка». Капитаны шутливо громко, по-старому, по-поморски, приветствовали друг друга:

— Много ли рыбы ловишь, где добычу продаешь?

— Мало рыбы поднимаем!

— В море боле, это верно!

Траулеры разошлись каждый своей дорогой.

Навстречу «Кете» приближался «Пьер и Поль».

— Держи правей! — сказал рулевому капитан. — Если подрежем трал у иностранца, переписки не оберешься, время потеряем, а рыбы не наберем.

— А чего они к нам на Мурман ходят? — задорно спросил Дорошенко.

— Море общее. Вольно им ходить сюда! — ответил капитан.

— Ну, а если мы к ним пойдем, как им это понравится?

— А чего к ним ходить? Если они к нам ходят, значит, у нас рыбы больше, — сказал Логинов, теребя короткие усы.

Штормовые погоды начались с середины рейса и не давали морякам хорошо промышлять. Рыбу часто вымывало в море волной из ящика. Но капитан не сдавался. Он не в первый раз видел штормливое море и не собирался уходить с неполным грузом. Когда все чердаки были забиты рыбой, капитан снял свой приметный знак — буй и пошел в порт.

<sup>1)</sup> Приятель.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В семьсот двенадцатом квадрате Баренцова моря, там, где «Кета» промышляла треску, Дорошенко подружился со Спиридоном Малыгиным. Их сдружила молодость. На траулере не было ни одного матроса с Зимнего берега, кроме Спиридона, и никого из южан, кроме Дорошенко. Дорошенко часто слышал на траулере бранное слово «одессит». Штурман старался усиленной работой снисказать к себе уважение поморов. Он приходил на вахту по склянкам. В солнечную погоду его часто можно было видеть за секстаном. Он «ловил» солнце и определял местонахождение траулера в открытом море. В свободное время, подражая капитану — помору Логинову, он надевал на себя широценные буксы и рокан, широкополую зюйд-вестку и выходил к рыбоделу шкерить рыбу вместе с матросами.

Дорошенко записывал меткие слова Спиридона в записную книжку, запоминал их. Он увидел за ними столетия, новгородскую вольницу, ушкуйников, первых людей, которые селились на унылых берегах сурового Мурманского моря.

Дорошенко присматривался к спуску и подему трала, следил за искусной работой старого тралмейстера Юдина и вслушивался в приказания капитана. Дорошенко замечал, как ловко, несмотря на свои годы, спускался капитан в трюм, помогал рыбному мастеру солить и укладывать рыбу. В свободные от вахты часы Дорошенко тоже спускался в трюм, где учился у рыбного мастера хитростям посола, кладки и браковки. После такой работы вначале ломило спину, но он превозмогал боль и усталость, и матросы одобрительно поглядывали на него.

Он пытался вступить с капитаном в разговоры о промысле. Капитан либо отмалчивался, либо объяснял свои успехи на промысле «счастьем».

— Я человек прущий. Мне счастье прет, ко мне треска сама в трал идет. Старше меня по стажу в тресте нету капитана, но что же я знаю? Рыбу ловить — не грибы собирать! Это грибы

можно каждый год искать по знакомым местам, а рыба движется, и, как я замечаю, почти каждый год по-разному. Вот откуда рыба появляется, как она движется, где ее ожидать, — мы старые капитаны не знаем. Это — дело науки!

Старый капитан хитрил. Это понимал Дорошенко. Ему приходилось плавать с такими капитанами, которые часами ходили по мостику, ни слова не сказав вахтенному штурману, и, сверив по компасу курс, направлялись к себе в каюту, оставляя медовые запахи пахучего трубочного табака — кепстена. Плавал Дорошенко и с такими, которые имели непреодолимое желание все и всегда пояснять штурману, входили во все мелочи судовой жизни и любили рассказывать бесчисленные эпизоды из своей жизни. Но таких, как Логинов, штурман Дорошенко встречал впервые.

— Он из неговорких самый молчаливый! — шутя говорил про капитана Спиридон Малыгин.

Дорошенко всюду на траулере встречал неутомимого капитана, всюду слышал его хриловатый голос и никак не мог понять, когда же и где капитан отдыхает. Радист траулера Евменов говорил Дорошенко, что Логинов отдыхает иногда в радиорубке, где центр всей работы на промысле. Радист был одним из немногих на судне, с которым угрюмый капитан пускался в разговоры. Здесь, в радиорубке, принимались указания флагманского траулера, руководившего промыслом всего тралового флота в Баренцовом море. Здесь невидимые нити с далекого материка и с разных концов океана. То слышалась дробь судовых морзянок, то доносилась отдаленная игра джаз-банда завечеревшей Европы, то Мурманск передавал последние распоряжения начальника тралового флота Герантия Чунина.

Дорошенко интересовался местами наибольшей концентрации рыбы и причинами этого скопления.

— В старое время, в осенние месяцы, у Канина носа, — неохотно отвечал капитан, — рыба косячилась настолько густо, что мы за полчаса набирали полный трал. Теперь о таких условиях лова там и не мечтают. На Кильдинской бан-

ке рыба держалась раньше по два и по три месяца, а сейчас она через эту банку идет мимоходом. Три-четыре года назад в 942-м и соседних квадратах по этой параллели не было совсем рыбы, а в прошлом году она вдруг обнаружилась, а сей год ее там совсем нет. Кто же ее знает, почему она появляется и почему вдруг неожиданно исчезает? — загадочно говорил капитан.

Заканчивая вместе с Логиновым третий рейс на траулере РТ 55 «Кета», Дорошенко чувствовал, что капитан знает, почему появляется и почему исчезает рыба в том или другом квадрате. Штурман видел, как в каждом квадрате, куда приходил на промысел траулер, капитан очень часто рассматривал после под'ема, что приносит вместе с рыбой траловый мешок. Логинов ощупывал частицы грунта, захваченные траловым мешком, бережно разминал их в своей заскорузлой ладони и рассматривал пристально, как драгоценность. В разных квадратах моря грунт был неодинаков. Грунт — песок, желтый песок, черный ил. И по этому грунту капитан знал, словно по карте, где находится его траулер. Течением или ветрами часто сносило траулер на норд-ост во время промысла. Если в трал попадала черная губка, это было для капитана Логинова верным признаком того, что здесь, в Гольфштреме, и держится рыба.

Капитан спускался с мостика вниз к рыбному ящику и разглядывал дары моря, цвет грунта. Старый помор определял промысловость квадрата по ракушкам, морским звездам, ежам, медузам, захваченным с различных глубин. Эти ракушки, звезды, шарообразные морские ежи обитали в известных районах моря и, наоборот, совершенно не появлялись в других.

— Надо собирать коллекции губок, раковин, кораллов с каждого квадрата и записывать все это, создать картотеку Баренцова моря, вот было бы толковс, — думал Дорошенко, наблюдая за капитаном.

В желудке зубатки Дорошенко часто находил ракушки, мелкую трещечку — ее корм. Он замечал, что рыба движет-

ся с запада на восток. Если траулер отклонялся к западу, рыбы становилось мало, под'емы заметно уменьшались. А на востоке рыба «клевала». За час траления поднимали тонну-полторы рыбы.

Тралмейстер Юдин был равнодушен к промыслу. Он болел душой, когда рыба вдруг неожиданно «отказывала». Юдин был старый промышленник-помор. В молодые годы он ловил на Новой Земле гольца вместе с Евстахием Малыгиным. На траулере старый помор смотрел, чтобы все было в порядке и всегда наготове.

Команда, набранная из северян-поморов, сторонилась как-то старшего штурмана, держалась обособленно. Только Спиридон Малыгин, часто стоявший на руле, охотно говорил с Дорошенко. Старший штурман привык к его торпильному северному говору. Примечал Дорошенко, что летом ветер ночью с берега, а днем на берег. Зимой дули зюйд-весты, а летом — северные ветры. Когда стадо касаток играло, прыгало, то обязательно следовало ожидать скорого шторма, и именно с той стороны, куда шли звери. Старый тралмейстер Юдин рассказывал Спиридону Малыгину, что раньше, при безветрии, когда парусом нельзя было идти, а моторных судов не было, то ложились в дрейф и считали «до сорока плешей». Сначала пересчитывали всех плешивых на судне, их было обычно немного, а затем мучительно припоминали остальных своих плешивых. Счет вели на палочке по зарубинам — отметкам. Считали иногда день и два. И когда доходили до сорока зарубин, бросали палку с отметинками в море, — безветрие должно было кончиться.

Дорошенко старался показать капитану и команде, что он не лодырь, как привыкли думать о южанах на Севере. Он не собирается «загорать» на Мурмане.

Как-то раз при под'еме трала Дорошенко попал между мешком и вантами. В мешке было тонны две рыбы, только-что поднятой со дна моря. Мешок был на-весу. Волной качнуло траулер. Мешком ударило штурмана и свалило в рыбный ящик. Лежит Дорошенко, никого к себе не допускает, только ру-

ками машет. Хотели матросы взять его в кубрик, — не дается. Минут пятнадцать пролежал в ящике, не стонал, только слышно было, как скрипел крепкими зубами. А потом отдышался подъялся, зашагал тихонько к рыбоделу<sup>1)</sup> и стал шкерить вместе с матросами.

При первых подемах тралового мешка Дорошенко расспрашивал Спиридона про каждую рыбину, невиданную им дотолу. Темносерая с прозеленью, белобрюхая треска запомнилась сразу своим хищным видом, острой мордой. Случалось не раз находить в ее брюхе проглоченных рыбешек. Зеленая зубатка с черными подпалинами напоминала леопарда. Зубатки попадались пестрые, синие (вдоеицы) и полосатые.

— Что это за рыба? — спросил Дорошенко, увидев впервые синюю зубатку.

— Это вдовушка! — ответил Спиридон.

— Как вдовушка? — удивился Дорошенко.

— А так, у ней был муж, да утонул, а она на тральщик с горя попала, — сказал улыбаясь матрос.

— А это что по-твоему, будет, Дорошенко? — спросил Малыгин, показывая на небольшую плоскую рыбу.

— Камбала.

— Не камбала, а ерш, по-нашему, называется. Камбала-то с пятнами, а эта, видать, ровного цвета. А вот синекорый палтус, из него жирные и вкусные пироги получают.

Дорошенко заходил к Спиридону в носовой кубрик. В кубрике было дымно от махорки и на полу черно от угольной пыли. По койкам лежали свободные от вахты матросы и «травили» перед оном. «Травить» — это значит по-морскому выпускать исподволь. Травят обычно якорную цепь, а в переносном смысле травить — рассказывать всякую небывальщину. На каждом судне находился мастер «потравить» в свободное время. Не часто только было это свободное время. Каждый раз, когда траулер держался на рыбе, не сбиваясь с нее, морякам едва хватало времени

для сна. Приходили в кубрик пьяные от работы и в эти дни знали только рыбодел и койку.

Тральщик «Кета» возвращался из осеннего штормливого рейса. Перед заходом траулера в Кольский залив навалил такой густой туман, что капитан и отвернул в голомень, в открытое море.

— К нашим туманам вам, южанам, надо привыкать, — не без чувства гордости сказал Спиридон Дорошенке. — Здесь, у входа в Кольский залив, был раз такой туман, что финн рыбацк воткнул в него рукавицы, да и забыл про них. А случилось ему через полгода в тех же местах побывать, вспомнил он про рукавицы, подехал да из того же тумана достал. Полгода туман в том месте простоял и рукавички никому не делись.

— Вот это траванул, так траванул! — сказал, смеясь, Дорошенко.

Три дня дрейфовал траулер «Кета» в туманном море за островом Кильдинс. Вход в Кольский залив был закрыт. Скучно было на траулере без дела. Больше всех тосковал капитан. Вечером вызвал он к себе старшего штурмана. На маленьком столике в каюте стояла сковородка жареной свежей трески, бутылка водки и два стакана.

— Пейте, Дорошенко! — сказал капитан.

— Спасибо, я в рейсе не пью!

— Пейте, раз капитан вас угощает, — сказал Логинов, подставляя стакан ближе к штурману.

— Да нет! Спасибо, товарищ капитан!

— Это вы хорошо делаете! Я вас испытать хотел. Моряк в море пить не должен. Плохой тот моряк, который в море будет пить. Ступайте!

Дорошенко застал у себя в каюте Спиридона. Тот принес штурману свежей трески, дотемна поджаренной на русском масле.

— Испробуйте! Моего приготовления. Красота, а не рыба! Лучшая рыба — это треска. Не пройдет и двух рейсов, как вы вместе с нами будете говорить: «Без рыбы не обед!»

<sup>1)</sup> Доска для разделки рыбы



Два товарища принялись дружно за свежую, рассмачатую треску.

— Проклятый остров этот Кильдин, — сказал Спиридон, заедая треску свежим репчатым луком. — Есть у поморов поверье, будто жила на Мурмане колдунья, бабушка Марья. Озлилась она раз на семгу, решила запереть ей вход в реку Воронью, куда рыба ходила нереститься. Отломала старуха от полуострова Рыбачьего большой кусок земли, поплыла на нем к востоку, к устью реки Вороньей. Чтобы никто не примечал, куда она путь держит, напустила такого тумана, что сама сбилась с пути, потеряв направление. Камень, на котором плыла бабушка Марья, задел о грунт и остановился. Стоит он по сию пору. Это и есть остров Кильдин, около которого мы дрейфуем. На этом острове возвышался сейд — камень «Маресь-Аканчъ». Лет десять назад одно военное судно сделало по сейду выстрел и разбило его верхушку. У нас здесь про каждый остров да какое-нибудь предание существует, — продолжал Спиридон Малыгин. — Я еще зуйком был, дед мой Гервасий Малыгин глубокий был старик, любил про старину рассказывать, про мурманских разбойников. Разбойничал на Мурмане Аника, проходу не давал никому. Увязался раз с народом на промысел неизвестный человек, одет был бедно, неказисто и просил людей взять его ради бога с собой на промысел в море. Посмотрели на человека поморы, видят, что он если не богатырь, то пол-богатырь обязательно будет, и порешили между собой взять его в море рыбу промышлять. Рассказывал Гервасий, будто приезжал к нам на Север из Санкт-Петербурга важный чиновник, все записывал, как поморы живут, какие у них поверья и легенды существуют. И зачем ему вся эта глупость была нужна, дед не знал. Но только очень тот человек интересовался узнать побольше про Анику.

— Да, так вот пришел, значит, Аника-разбойник к тому месту, где люди с пареньком промышляли, и говорит поморам:

— Давно я вас здесь, братцы, поджидаю! Давайте мне, что положено!

А паренек тот в ветхой пальтушке к нему:

— Ну, уже это, — говорит, — нечестно оставь думать! Не видать тебе, Аника, промыслов наших! — Да как ударит по уху-то его. Схватились богатыри и давай по берегу кататься, то на головы станут, то на ноги угодят, и все колесом, колесом... У народа от страха в глазах зарябило. Люди православные стоят, крестятся. А паренек подходит к ним и говорит:

— Убил я вашего врага совсем!

Да и пропал сам неизвестно куда, и благодарить некого было за избавление. С тех пор острова и зовутся Аникиевыми. Малый Аникиев и Большой. Местные жители указывают на возвышенное место, где сложен правильный круг из камня, под которым и похоронен, говорят, Аника. Местный колонист Фридрихсен рассказывал, что кости Аники оказались вдвое большими, чем у взрослого человека, и будто одна из этих костей хранится ныне в Норвегии в Бергенском музее.

— Ну, в общем это было давно и неправда, — сказал Спиридон Малыгин. — Ну, а треска какова, правда, что важная рыба?

— Богатая рыба, — согласился с ним Дорошенко. — Я охотно записываюсь в трескоеды.

Наутро ветром разогнало туман. Траулер «Кета» повернул на юг и полным ходом пошел к Кольскому заливу в порт Мурманск.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Баренцево море было разбито на квадраты. Каждый из них был занумерован, как дом на городской улице. Двадцать пять рыбных траулеров ловили рыбу в Гольфштреме, в семьсот двенадцатом квадрате. Путь траулеров вился по густым изобатам — линиям равных глубин, на которых обычно держится рыба. В одном квадрате траулеры вертелись иногда по две и по три недели, опуская и поднимая тралы. Порой косяки трески шли такой узкой полосой, что два тральщика, идя рядом, делали разные подьемы: один поднимал «нули»,

а у другого траловый мешок, наполненный рыбой, плавал на поверхности.

Если подьемы были небольшие, — команду не вызывали на подвахты, и матросы отдыхали по кубрикам, и кто-нибудь обязательно «травил» — рассказывал о небывалых случаях из своей жизни. Когда к концу рейса все рассказы были исчерпаны, дошла очередь и до Спиридона Малыгина. Он сказал стеснительно, по-детски улыбаясь:

— Отодрало нас с татой раз от берега в голомень, в самый Гольфштрем попали. А так у меня случаев в жизни не было! Я бы и сам хотел какую-нибудь шутовую аварию получить, где-нибудь в таком месте, чтобы не совсем загорбиться!

Ребята на койках в кубрике загоготали.

В каюте штурмана Дорошенко висело несколько застекленных фотографий. Здесь, в полярных широтах, они рассказывали о жарких берегах Кавказского Черноморья. Веера пальм вносили неощутимое тепло в маленькую каюту. На всех фотографиях было одно и то же. Море, шальмы, он и она. Он — моряк Дорошенко, она — Милица, комсомолка, студентка медицинского техникума в Одессе. В коробке, усыпанной ракушками («память Крыма»), лежали письма Милицы. Моряк часто перечитывал их. Последнее письмо штурман перечитал раз десять. На почтовой бумаге, где едва проступали бледноголубые линейки, мелким почерком было написано:

«Милый Колиха! О! Наконец наступило для меня радостное время, сегодня я получила от тебя два письма сразу. Как я их ждала, как мучилась из-за неизвестности, плохо спала ночи, чего не передумала. Скоро мы с тобой встретимся. Ты увидишь своего Володьку. Он окреп и подрос, весь в папку, такой же молодец! Я рассчитываю выехать в Мурманск недельки через две, чтобы угадать к окончанию твоего рейса. Колиха, ты просишь написать о том, что я буду чувствовать при встрече после нашей долгой разлуки? Я не представляю совсем, что будет со мной от радости. Ведь я встречу живого Колиху, которого сейчас только вижу на фотографии и

представляю только мысленно. Я буду с Колихой ходить, говорить. Как хорошо! Я прямо брошусь к тебе на шею и повисну. А вдруг я не застану тебя в Мурманске. Море задержит тебя на промысле. Но нет! Мы встретимся все равно, я верю. Колиха, я встречу тебя так, как люблю.

Все мне удивляются. Говорят, я стала монашенка. Был физкультурный праздник и я участвовала конечно в нем. Но я ни с кем не танцевала, как ты и просил меня об этом перед своим отъездом.

Колика, милый, ты бы хоть телеграфировал приблизительно, когда вернешься с рейса в Мурманск, чтобы мне подоспеть к тебе.

Володька и я крепко тебя целуем.

Верная тебе, Миля».

Старшего механика «Кеты», Иванова, никто не звал по фамилии. Спросил как-то его капитан в первый год работы:

— Ну, как там у тебя в машине?

— Никирим-куку! — ответил механик. Это означало, что все в порядке. У него всегда и все было Никирим-куку, все обстояло благополучно. Он был большой «газогон»<sup>1)</sup>. Без «газу» он никогда не выходил в море. Про Никирим-куку в судовой стенгазете в отделе «Что кому снится?» было написано:

«Старшему механику два литра газу и Никирим-куку!»

Когда он был трезвым, то жалел о том, что был накануне пьян. Но, и будучи навеселе, часто говорил одно и то же:

— Машина должна работать в рейсе, как часы, и Никирим-куку!

Никирим-Куку часто заходил в каюту Дорошенко. Механик не был северянином, не чувствовал себя связанным ни с каким краем и ни с какой областью. Он работал там, куда забрасывала его судьба. Никирим-Куку любил говорить:

— Я хоть и пьяный, но всегда трезво смотрю на вещи!

И он часто плакал пьяными слезами.

<sup>1)</sup> Любитель выпить.

Если его принимались утешать товарищи, то тем самым они увеличивали невероятную силу его грусти. Он, пьяный, грустит, потому что дважды был обманут женщиной.

Осень стояла мгlistая и штормливая, как всегда. Море рябило, все в белой пене. Темное облачное небо низко нависло над морем и будто давило его. Завязался пылкий шалоник, стал пылить по морю.

— Ишь, темень какая оразу стала, это перед бурей, — сказал тралмейстер Юдин.

Спиридон стоял среди матросов у рыбодела. Как и все вахтенные, он был в широких проолифленных парусиновых штанах — буксах. Буксы топорщились и непослушно сгибались в коленях, словно жестяные. Широкий парусиновый рокан облегал сильные плечи молодого помора. Ловко за один прием отсекал Спиридон ножом-головорубом большие тресковые и зубаточьи головы. Густая липкая кровь стекала с рыбодела на палубу, на буксы и роканы моряков. Хваченное ветрами, чуть смуглое лицо Спиридона было все в алых росинках рыбьей крови.

До смешного маленький, заботливый юнга-поваренок, которого все любили, приносил каждый час к рыбоделу в разгар работы целую пригоршню заготовленных им цыгарок. Для закурки никто не отрывался от работы. Чтобы не портить цыгарок мокрыми руками, курильщики захватывали их открытыми ртами. И каждому вахтенному маленький юнга подносил зажженную, спрятанную в ладошках, спичку.

Моросил мелкий дождик — бус. Третьи сутки он туманил иллюминаторы траулера. Погода была самая рыбная, подьемы были хорошие. Всем хотелось набрать побольше рыбы, с полным грузом итти в порт. Приход траулера в порт с полным грузом живо обсуждался мурманской «Полярной коммуной». Газета помещала портреты матросов — ударников промысла, отличившихся на рыбном фронте.

Ночью ветер отвернул к востоку и подул с неслыханной силой. Капитан приказал выбрать трал на борт. Матросы подобрали сетки, подвели штропы.

— Подай фиштали! — крикнул тралмейстер Юдин, руководивший подьемом.

Несколько человек бросилось к фишталям. Спиридон остался у мешка подде сьмого борта. Как вдруг валом накрыло верхнюю палубу у трюмов, где работали матросы. Накатилась большая волна, встала стеной у борта, рухнула на палубу и раскидала всех, кого за лебедку, кого за мачту, одного матроса воткнуло в коридор носового кубрика. Спиридона подняло вместе с мешком и выплеснуло далеко за борт, волной оторвало от штропа. Ловит руками Спиридон мешок, хочет за него ухватиться, да волна не пускает, оттаскивает, уводит дальше от судна. Ноги запутались в сетках. Ночь темная. В этой ночи на судне ярко горят огни над опустевшим рыбоделом. Тяжело матросу в буксах, рокане да сапогах. В пресной воде сразу бы топором пошел ко дну, а соленая вода держит еще человека.

Кто-то бросил с траулера спасательный круг, бросил чуть в сторону, чтобы не убить утопающего. Стало круг уносить от судна. В холодной воде коченеет тело Спиридона. Он видит уходящий круг — свое спасение. Плыть к нему — значит удаляться от корабля. А на траулере — яркий свет люстр, там люди! Траулер большой, его легче увидеть, чем маленький спасательный круг, который уходит в ночную темень. Ближе к людям! Ближе к траулеру! И помор плывет к траловому мешку, пытается ухватиться за него. Но тяжесть вдруг одолевает. Спиридон погрузился с головой в воду. Вот снова на миг показалась при свете люстр его голова. Увидели его с корабля, кричат, подбадривают. А у матроса последние силы уходят.

— Сейчас перестану двигать руками и — конец! — думает Спиридон. А сам саженками пробивается к кораблю. Волны гулко ударяют о борт траулера.

— Держись, Спиридон! — донесло вдруг ветром с корабля.

Штурман Дорошенко, расталкивая людей, сбежал с мостика вниз к рыбоделу, где стоял тралмейстер Юдин. Опясал себя Дорошенко дважды веревкой, завязал крепким морским узлом,

крикнул Юдину, чтобы держал свободный конец, и бросился, разбежавшись по палубе, в студеную воду.

Волна чуть сбавила свою силу. С борта закричали штурману:

— Правей держи! Праве-э-э-эй!

За волной не видно было головы Спиридона.

Николай Дорошенко не раз брал призы за далекие заплывы в Одессе. Но плавал он обычно в штилевую погоду, когда море было гладко. С палубы траулера все смотрели теперь на штурмана и на Спиридона, который, почуяв приближение помощи, собрался, видимо, с последними силами и отчаянно работал руками. Дорошенко нес скоро настиг Малыгина. Держась за конец, штурман набрал слабину и намотал ее Спиридону на руку до самого локтя, чтобы не отодрало волной. Когда волна накатилась снова, на судне стали подбирать конец к борту, а со второй волной подтянули людей к самому планширу и схватили под руки. Дорошенко держался крепко, что-то еще говорил, а Спиридон не сказал ни слова, только руки

перебросил через плечо старика тралмейстера и прислонился к нему, как к родному. Второй штурман поднес Спиридону стакан спирта. Молодой помор до того ни разу не пробовал спирта, а сейчас, не поморщившись, осушил залпом стакан. Хватил и Дорошенко полстакана. Ожгло. Пробежал штурман до своей каюты, разделся, растерся досуха полотенцем и лег на койку под серое одеяло, накрывшись полушубком. Южанин и помор в разных концах корабля скоро заснули. От спирта сон был крепок, а утром, когда пробили склянки, Дорошенко снова вахтил на мостике, рядом же у штурвала стоял молодой матрос Малыгин.

Старший механик Иванов, выйдя из машинного отделения на верхнюю палубу подышать свежим воздухом, увидав Спиридона за штурвалом, поднялся на мостик и спросил:

— Ну как, Спиридон? Никирим-кужу?

— Вот она и шутовая авария со мной приключилась! — сказал Спиридон.

*(Продолжение следует)*

---

# Испанская новелла

А. ГАРРИ

I

Тем временем монастырь продолжал пылать. Тридцатиметровая башня, устоявшая некогда против натиска сарацинов, рухнула теперь на мостовую, перегородив площадь грудой бесформенных каменных обломков. Два дня тому назад из-за этой естественной баррикады отстреливались последние инсургенты. Сейчас на площади царил необычайная и как бы торжественная тишина.

Профессор Монтэнь подошел ближе к пожарищу. Покрытые копотью руины были величественны и в часы агонии. Очистительный огонь уже слизал с серых каменных плит зеленоватую плесень веков. Старинный монастырь вырос в свое время на развалинах римских укреплений, заложенных императором Траяном в первом веке нашей эры. Некогда монастырь служил и крепостью. Высокие ее бастионы командовали над всей низменностью, расположенной вокруг: над цветущей долиной Тахо, над развалинами старого моста. Мост этот, построенный римскими легионерами из гранитных глыб, был отбит у долго владевших им мавров войсками короля испанского Альфонса IX. В эпоху наполеоновских войн мост был дважды взорван и восстановлен уже на деревянных креплениях. Сейчас сырое дерево пролетов лениво тлело, догорая. На глазах у профессора Монтэня обугленные стропила, шипя и поднимая густое облако пара, обрушивались одно за другим в мутножелтые воды реки.

Двое низкорослых и усатых часовых отряда волонтеров с комическим достоинством охраняли безлюдное пожарище. На их лицах написано было тупое и сытое самодовольство собственника, отбившего свое добро. Ростовщичи, кабатчики, скупщики скота,—волонтеры наслаждались очередной победой над деревенской беднотой. Неуклюже прихватив винтовку локтем, они охраняли пожарище так, как они привыкли сторожить по ночам свои виноградники, свои хлева, свой стог сена.

Часовые, повидимому, стегли и чейто труп. Тело убитого лежало ничком, у стены, там, где этого человека застала смерть. Руки повстанца были раскинуты, будто бы он не падал, а летел в землю. Он был расстрелян: глаза его были завязаны грязной тряпкой, узел которой прикрывал залитый запекшейся кровью затылок. Труп был полуприкрыт бараньей курткой, которую в этих местах носят жители гор.

Шпик в штатском, сопровождавший профессора Монтэня от самого Мадрида, вздохнул:

— Этой крепости,—сказал он,—около тысячи лет. Со всего мира приезжали сюда туристы. Безумные мальчишки разрушили монастырь в одну ночь. Они обливали его керосином, они рвали его порохом. Это—смутьяны и варвары, им не должно быть пощады!

— Война,—возразил профессор Монтэнь холодно,— всегда влечет за собой бессмысленное разрушение. Монастырь, который для туристов являлся всего лишь любопытным памятником старины, для инсургентов служил, по всей

вероятности, символом ненавистного для них духовенства. Во время войны нелепо считаться с камнями, как бы достопримечательны они ни были...

Потом профессор Монтэнь отошел прочь, и шпик безмолвно и почтительно последовал за ним.

Французский ученый, ставший небольшим свидетелем гражданской войны в Испании, старался смотреть на все то, что он здесь увидел, взглядом объективного наблюдателя. До этих пор он никогда не бывал в Испании и имел о ней самое поверхностное представление. Несколько лет тому назад ему удалось удачно оперировать мизинец парижской любовницы испанского короля и спасти совершенство форм этого, пожалуй, действительно вполне красивого мизинца в угоду последнему отпрыску царствующей в Испании династии. По этому всякий раз, как он слышал об Испании, в его представлении возникала прежде всего эта совершенно анекдотическая операция, о которой он с презрительной усмешкой рассказывал в кругу своих коллег. Он получил тогда неслыханный гонорар и приобрел в связи с этим роскошный гоночный автомобиль, который ему, в сущности, был вовсе не нужен. Позже министерство двора прислало ему и орден. Этот кусочек эмалированного золота он, не глядя, бросил в один из нижних ящичков своего письменного стола, где еще со времен безмятежного его студенчества хранились брошюры и гравюры, которые не принято демонстрировать в обществе светских женщин.

Профессор Монтэнь не думал, что его своеобразная дружба с испанской династией может ему когда-либо пригодиться. Тем более, что в Испании с тех пор произошла революция и тот самый опереточный король, который некогда прислал ему орден за пустяковую операцию, позировал сейчас перед фотоаппаратами, уже в качестве экс-короля, на пляже какого-то модного английского курорта.

Когда знаменитый хирург получил телеграмму, что умирает Луи Шарпантье, он позвонил в испанское консульство по телефону. Ему ответили, что в связи с беспорядками выдача виз

частным лицам прекращена, тем более, что нет сведений о восстановлении регулярного железнодорожного движения.

Тогда он достал из письменного стола орден, протер его одеколоном, надел на фрак, в петлице которого уже красовалась красная бутоньерка Почетного легиона, и направился в консульство. Ему выдали визу без рассуждений и лишь предупредили, что консульство может взять на себя ответственность за благополучное путешествие знаменитого хирурга только до Мадрида. Что касается дальнейшей части пути, точные данные можно будет получить в испанской столице: телеграф с Астурией не работал.

Путешествие до Мадрида прошло бесцветно. Профессор Монтэнь не обратил внимания на странный состав своих спутников по вагону, на подозрительность полевой жандармерии у испанской границы, точно так же, как не заметил он, что на перегоне у большого тоннеля в Пиренеях в голову курьерского поезда поставили блиндированный вагон. Известие о том, что Луи Шарпантье умирает, настолько безраздельно владело мыслями хирурга, что образы окружающей обстановки как бы не доходили до его сознания.

Конечно в этой смерти не было ничего невероятного, ни даже преждевременного. Шарпантье было около восьмидесяти лет. В безмятежном, но твердом сознании своего превосходства над толпой, то-есть над окружающими ему людьми, прожил свою спокойную жизнь этот своеобразный мудрец: ибо в его сознании между понятием о толпе и понятием об обществе всегда свободно умещался знак равенства.

Отец его, крупный специалист по ирригационным работам, был одним из ближайших сподвижников Фердинанда Лессепса. Панамский канал, несколько раз приводивший этого незаурядного инженера на скамью подсудимых, в конечном итоге обогатил его непомерно. Инженер Шарпантье оставил единственному сыну, воспитывавшемуся вдали от него, сначала в привилегированном лицее Генриха IV, а потом в Сорбонне, значительное состояние, которым порядоч-



ный человек считает себя вправе пользоваться лишь благодаря свойству денег не издавать никакого запаха.

Луи Шарпантье был очень богат еще в бытность свою студентом. Он рос почти без надзора взрослых и, презирая их беспечность, слишком рано и слишком горячо полюбил книги. К технике он питал сильное отвращение, естественное для сына рыцаря техники, которому его профессия едва не стоила жизни и чести. Оставшись сиротой, он не нашел себе никакого применения в жизни. Его происхождение и богатство создали ему положение в обществе, которым он однако не пожелал воспользоваться. Он пристрастился к книгам. Он скупал отдельные уникамы и целые библиотеки, сосредоточив в своем уединенном парижском особняке целую сокровищницу. Он вел переписку со всеми библиотеками мира и был известен в обществе как человек вполне светский, богато одаренный, разносторонне образованный, но совершенно никчемный.

С профессором Монтэнем его связывала старинная дружба их отцов, больше друзей у него не было, не было у него и близких знакомых. Он не оставлял после себя никакого литературного наследства и никогда впрочем к этому не стремился. Шутя, он любил сравнивать себя с Сократом, когда его обвиняли в том, что он не хочет ничего писать.

— Друг мой, — сказал он как-то профессору Монтэню, — Сократ тоже в жизни ничего не написал, ни единой строчки. Он ронял крупички своей мудрости, которые, увековеченные на вощеных таблицах его поклонниками и учениками, живут вот уже в течение двух тысячелетий. Я — безвреднее Сократа, поскольку я не занимаюсь даже политикой, — слабость, которой греческий мудрец иногда грешил. Разрешите же мне немного быть... Сократом и не обременять мировой науки своими исследованиями, которые вряд ли, кстати сказать, смогут представить какую-либо ценность...

Приспосабливаясь к звериному лицемерию общественного мнения, он был филантропом в широком смысле этого слова: жертвовал деньги на детские ясли,

на приюты, на дело просвещения. Впрочем он предпочитал дарить не деньги, а книги. Целый ряд библиотек во французских провинциальных школах носили его имя, тем не менее его холодный и циничский ум создал ему в обществе большое количество врагов.

Когда вспыхнула мировая война, Луи Шарпантье послал на фронт несколько библиотек, которые не были туда допущены военной цензурой. Он категорически отказался финансировать санитарные поезда и прослыл герmanoфилом. Узнав, что на выделенные им под давлением общественного мнения денежные суммы куплено несколько дивизионных библиотек, составленных из книг религиозно-патриотического содержания, он написал возмущенное письмо в редакцию одной из газет. Письмо это конечно не было напечатано.

Поскольку на его деньги генералы пытались отравлять солдатскую массу ядом религии, он поссорился с правительством. Во Франции шли тревожные дни, когда страна, изнемогая в последних судорогах войны, не считалась ни с какими авторитетами для того, чтобы побороть пораженческие настроения и добиться победы.

Инцидент с чудаком-миллионером был доложен Клемансо. Запахло скандалом. Афоризмы и каламбуры Шарпантье, которыми в течение нескольких десятилетий питались изысканные вкусы модных парижских салонов, сделали имя философа очень популярным в свете. Премьер был рассержен, ему почтительно объяснили, что Луи Шарпантье — безбожник и вольтерьянец.

— Сегодня родина не нуждается в вольтерьянцах, — отрезал Клемансо, — население делится на патриотов и... изменников.

Луи Шарпантье был слишком крупным человеком, чтобы его об'явить изменником. Клемансо вызвал его к себе, и после получасовой беседы с Тигром философ уехал из Франции навсегда. Он приобрел в небольшом испанском городке домик какой-то монашеской конгрегации, бывшее книгохранилище. Он купил этот дом вместе с ценным собранием средневековых книг, переселился в

Испанию и ушел навсегда из света.

Каждый год он возвращался на родину лишь на несколько недель для того, чтобы пройти курс лечения в Виши. Там профессор Монтэнь виделся с ним, прерывая для этих свиданий все свои бесчисленные дела. Общество старого друга всегда на долгий срок укрепляло его душевное равновесие. Профессор Монтэнь был также очень одинок, и насмешливая философия добровольного изгнанника поддерживала в нем бодрость духа, которую он утратил в результате значительных внутренних противоречий, омрачавших его душевный покой во все годы его зрелости...

## II

Один только вид мадридских улиц сразу же вывел профессора Монтэня из того состояния замкнутой независимости, которая регулировала его мироощущение последние десятилетия: впервые в жизни увидел он так близко гражданскую войну. К частым уличным беспорядкам в Париже он относился со спокойным равнодушием буржуа, который, зевая, мирится с тем, что народ не может время от времени не бить стекло и не стрелять в полицию. Не был он и поклонником существующего буржуазного государственного строя; время для царства Разума, по его мнению, еще не наступило. Он считал, что вопросами постепенного и целесообразного переустройства мира должны заниматься другие, поскольку он сам достаточно загружен тем, что судьба взвалила на его плечи обязанность исцелять физические недуги человечества.

Воспитанник парижской Медицинской школы, бедный студент, упорством, самозабвением и природными способностями добившийся всеобщего признания, он полагал, что Вольтер — чересчур монархист, Дидро — чересчур республиканец, а Руссо — чересчур мистик. Эти три философские иконы в его представлении составляли совокупность всех дерзаний человеческой мысли. После них и вне их он ничего не читал: нужно было сдавать зачеты по основным дисциплинам Школы. Что касается

Маркса, то в представлении хирурга Маркс и его последователи были лишь идеологами... экспроприации, дерзновенно покушающимися на частную собственность. Свое личное, стихийно возникшее, богатство профессор Монтэнь не замечал. Его собственностью были: чемоданчик с набором инструментов, богато оборудованный кабинет, автомобиль, в котором он делал визиты, собственные его, профессорские, ночные туфли; он считал неразумным, чтобы вся эта, частная, профессора Монтэня, собственность — стала достоянием блузников с завода Ситроен...

Он провел в Мадриде два дня, и с каждой минутой пребывания в этом городе, с улиц которого еще не вполне исчезли остатки баррикад, его охватывало все большее и большее беспокойство, никогда не испытанное им еще до сих пор. Его утомляли бесконечные переговоры с различными военными канцеляриями: сначала ему ни за что не хотели давать пропуска. Однако имя Луи Шарпантье было хорошо известно в испанском обществе, тем более, что умирающий философ в своем завещании оставил значительную часть своей бесценной книжной коллекции Мадридской публичной библиотеке. И в конце концов профессор Монтэнь был врачом, а не журналистом. Он был слишком известен как хирург для того, чтобы в настоячивых требованиях допустить его в Астурию власти могли усмотреть любопытство замаскированного разведчика европейского общественного мнения. Он был настолько благоразумен, что нанес необходимые визиты своим коллегам — светилам испанского медицинского мира, не обойдя и временного министра здравоохранения. Его предупредили, что путешествие может быть очень беспокойным, так как полное умиротворение в Испании еще не наступило. Но пропуск ему выдали в конце концов, приставив к нему шпика в штатском, как уверяли власти, для его же собственной безопасности.

Поспешность и настойчивость, с которой он добивался пропуска, объяснялась еще и тем, что в мадридских газетах промелькнули сообщения о насилиях

учиненных повстанцами над известным библиофилом Шарпантье. Газета католиков сообщала, что божественное провидение в конце концов обрушилось на этого закоренелого атеиста: инсургенты разрушили библиотеку ученого и всячески издевались над ним. Профессор Монтэнь слишком хорошо знал жизнь для того, чтобы верить буржуазным газетам. Однако во всех этих сообщениях несомненно должна была быть доля истины, и он очень опасался, что не застанет своего друга в живых.

В город, где пылал еще подожженный инсургентами монастырь, он прибыл в странном поезде, состоящем наполовину из товарных вагонов, наполовину — из блиндированных. Специфические связи шпика, его сопровождавшего, обеспечили ему номер в недавно отстроенной для туристов гостинице. Над крышей гостиницы развевался флаг правительственных войск, во дворе стояли оседланные лошади и двуколки с пулеметами, большая часть номеров была занята офицерами и волонтерами.

В комнате пахло сапогами и дешевыми сигарами. Оставив дверь в коридор открытой настежь, профессор Монтэнь распахнул дверь, выходящую на балкон, для того, чтобы проветрить воздух в номере; хирург был очень щепетилен в вопросах гигиены своего личного быта и в частности любил дышать свежим воздухом.

Он вышел на балкон и оперся на старинную бронзовую баллюстраду, видимо, купленную по случаю и совершенно выпавшую из общего модернизированного стиля, в котором выдержано было все здание гостиницы.

В центре квадратного двора журчал фонтан, скрытый за толстыми стволами и густой листвой деревьев. Старые платаны поднимали свои мощные стволы почти до уровня четвертого этажа гостиницы. С гор подул легкий ветерок, он нежно шелестел в густой и сочной листве, наполнявшей двор зеленой волнующейся массой. Журчание фонтана и шелест листьев напомнили профессору Монтэню одно незабываемое видение прошлого, и от этих воспоминаний хирургу стало бесконечно грустно.

Профессор Монтэнь воскресил в своей памяти обстановку первых своих университетских каникул. Беззаботным юношей, заряженным несокрушимой жизнерадостностью и энергией, приехал он поздней весной в Сан-Ремо. Город этот не был тогда, как сейчас, фешенебельным международным курортом. Молодой студент без всякого труда разыскал комнату в недорогом пансионе. Как и сейчас, он вышел тогда на балкон и открыл настежь двери для того, чтобы проветрить комнату. Но было это около сорока лет тому назад, и вместо седого и бесконечно утомленного жизнью старика во двор глядел в этот день голубоглазый юноша, вся жизнь которого, со всеми своими причудами, неожиданностями и счастьем, была впереди.

Неслышно опустился в этот день на маленький приморский городок густой и пряный сумрак южной ночи. Во дворе пансиона тоже журчал невидимый фонтан и нежно шелестела сочная листва платана.

Впервые в этот год молодой Монтэнь был свободен от опеки старших. Отец его был человеком, хотя и с небольшими, но достаточными средствами, он щедро снабдил сына деньгами для первого его взрослого отпуска, и молодой студент ощущал себя едва ли не миллионером.

Потом неожиданно во дворе пансиона грозвучали мелодичные звуки арфы. И почти тотчас же, как ракета фейерверка-сюрприза, к балкону, на котором мечтал юноша, взлетел всплеск женского смеха. Студент боялся пошевелиться, чтобы не нарушить таинственного очарования этого незабываемого вечера. В его воображении и звуки арфы, и женский смех связывались воедино. Конечно все это было не так: на арфе играл слепой старик-нищий, а женщина, засмеявшаяся в темноте, не только не имела никакого отношения к этой музыке, но, возможно, даже и не слышала ее.

Она вышла вскоре из гущи платанов, окруженная веселыми молодыми людьми. Со своего балкона молодой Монтэнь увидел, как мелькнул ее силуэт в белом платье. И когда она, проходя под балко-

ном, снова засмеялась, студент вернулся в номер, смахнул пыль с ботинок и почти бегом спустился с лестницы на улицу...

Вскоре эта женщина стала женой доктора Монтэня. Так бывает иногда и в романах, и в жизни. Они жили довольно счастливо, он много работал, она — много развлекалась. У них родился сын.

Потом молодой доктор Монтэнь потерпел страшную жизненную аварию, от которой люди холодные черствеют, люди с чувствительной душой бывают ранены незатягивающейся раной — навсегда.

Жена покинула его неожиданно, нелепо и грубо, бросив ребенка, наплевав на мужа, на общество, на весь мир. Она убежала с кучером. Она оставила ему на письменном столе его кабинета пустую, живую и хитрую до наивности записку.

Он был очень образованным врачом и во время модных в то время салонных споров вокруг причин неудачных браков привык высмеивать теорию, которая объясняла участвовавшие случаи крушения буржуазной семьи чисто физиологическими причинами. Во всяком случае здесь он не хотел верить в физиологию. Он почувствовал себя бесконечно оскорбленным, униженным, раздавленным. Но он был тогда здоровым молодым человеком, с крепкой нервной системой. Он примирился с жизнью и ушел с головой в работу. Быть может, крушение его семьи послужило одной из основных причин того, что он очень скоро стал выдающимся хирургом, мировой известностью.

След жены вскоре отыскался. Она уехала со своим любовником в Бразилию. Там они повели скромную и уединенную сельскую жизнь, совсем как в известной новелле Мопассана. Он никогда не смог понять, как она решила предпочесть фермерскую идиллию прелестям парижского света.

Он был джентльменом в самом лучшем значении этого слова и, как только узнал ее адрес, стал посылать ей деньги, с каждым годом — все больше и больше, в соответствии со своими возрастающими возможностями. Она принимала эти деньги, посылаемые покину-

тым и оскорбленным ею мужем, с изяществом истинно светской женщины: ни о чем не спрашивая и ничего не обещая.

Она не вернулась к нему. Она и ее любовник состарились там в своей бразильской ферме и умерли наконец почти в один и тот же день. Сын остался у него, потом и он погиб нелепо и бессмысленно. Семья, таким образом, исчезла, остались только — клиника, лекции, операционный стол, труд, слава, дерьги....

Профессор Монтэнь не хотел больше вспоминать. Он вернулся в номер.

Профессор Монтэнь успел лишь умыться и, охваченный беспокойством, поспешил на розыски друга. Прислуга в гостинице не смогла дать ему никаких успокаивающих сведений: по мнению одних, Луи Шарпантье, которого в городе знали все, был еще жив, другие, наоборот, утверждали, что он скончался еще накануне.

В другое время Монтэнь вероятно не расстался бы так скоро с необычным зрелищем, которое представлял собою пылающий монастырь. Хирург последние годы жил настолько замкнуто, настолько отдаленно от всяческих житейских бурь, что живые образы гражданской войны не могли не отзываться самым чувствительным образом на его внутренних переживаниях. Но сейчас тревога за судьбу друга безраздельно владела всеми его помыслами. С большим трудом преодолев баррикаду, образованную на площади обрушившейся башней, поддерживаемый под локоть своим спутником, профессор углубился в крижые улицы города.

Стены домов носили свежие следы артиллерийской перестрелки, улицы были пустынные, ставни опущены. Кое-где из-за приотворенных ворот мелькали осунувшиеся лица жителей. В течение двух недель город сопротивлялся войскам с тем необычайным, унаследованным от отцов мужеством, с которым он в свое время оказал сопротивление войскам Наполеона. Судя по всему, торжествующие победу правительственные войска были озлоблены и не склонны щадить мирное население. Жители города притаились в своих комнатах в не-

человеческом ужасе, подавленные воспоминаниями о недавно еще происходивших здесь зверствах.

С большим трудом профессор Монтэнь разыскал нужный дом: прохожих на улице не было, спросить было не у кого. Все окна нижнего этажа были выбиты, тяжелый бронзовый молоток, служивший повидимому звонком, был оборван и валялся на ступеньках крыльца, дверь была не заперта. Шпик остался внизу, в вестибюле. На мраморной лестнице профессора встретила повидимому предупрежденная о его приходе старуха, повязанная до глаз черным платком, и молча повела его наверх. Монтэнь раздвинул тяжелую бархатную портьеру и вошел в библиотеку.

Необычайность обстановки, в которой угасала жизнь Луи Шарпантье, философа и библиофила, глубоко потрясла профессора. Он провел рукой по лицу, на минуту прикрыв глаза, как делают люди, когда они хотят окончательно прогнать остатки неприятного сна. Но это была явь. Сном было скорее все то, остальное, недавнее прошлое: Париж, особняк профессора Монтэня, хирургическая клиника, почтительные ученики в белых халатах, бульвары, трамваи, автобусы, метро.

Угол библиотеки, в которой на простом кожаном диване, обложенный со всех сторон не вполне чистыми подушками, умирал Луи Шарпантье, был начисто снесен взрывом артиллерийского снаряда. Зияющая дыра в стене была наполовину прикрыта дорогой китайской ширмой. Сквозь тонкий шелк просвечивал, колеблясь, багровый отблеск пожара, и крылья вышитых на ширме пестрым шелком бабочек как будто трепетали.

Луи Шарпантье дремал. Осунувшееся его лицо носило отпечаток той неестественной фарфоровой свежести, которая бывает у дорогих чашек, вечно стоящих за стеклом буфета, потому что они слишком ценны для того, чтобы ими пользоваться. Кругом на полках громоздились книги.

Книги... Тяжелые фолианты, заключенные в овиную кожу, маленькие, изящные томики начала XIX века, Кон-

фузий в стилизованном — под Китай — переплете с вычурным золотым тиснением, целая полка Вольтера, энциклопедисты, классики древности. Мудрость нескольких поколений глядела с застекленных полок в изуродованную взрывом комнату. Передовые люди нескольких веков оставили здесь потомству результаты своих исканий, свои афоризмы, свою полемику в защиту и против бога, следы изысканной игры своих страстей.

Целый раздел библиотеки занимали мемуары. Плечо к плечу, как пехотинцы, сомкнувшие строй для того, чтобы отразить дерзкое нападение, стояли на полках эти памятники человеческого раскаяния. Публичные женщины и мудрецы, полководцы и люди искусства, царедворцы и алхимики, отцы церкви и шуты в дневниках, воспоминаниях и письмах, опубликованных после того, как они десятилетиями лежали под спудом, пытались в более или менее искреннем изложении событий овоей жизни оправдать или изобличить эпоху, в которой протекало их существование.

«Вот, — подумал Монтэнь, — дремлет старик, постигший всю мудрость, заключенную в миллионах этих печатных страниц. На его долю выпало счастье изучить следственный материал гигантского обвинительного заключения по делу продолжающегося из века в век насилия человека над человеком. Он прочел показания подсудимых, речи свидетелей, защитников и обвинителей. В его воображении живет целый отрезок истории человечества. Между тем старик этот умирает, и я—врач и друг—ничего не могу сделать для того, чтобы предотвратить эту неизбежную смерть...»

Монтэнь вспомнил юношу, расстрелянного на площади у монастыря. Он не рассчитал своих сил, ни он, ни его единомышленники. Они покушались на твердоию установившихся человеческих отношений, казалось бы, незыблемую, как мысли, заключенные в этих книгах, они мечтали о справедливости и сражались за переустройство мира. Как будто мир не состоит издавна из слабых и сильных, из умных и глупцов, из палачей и жертв! Так было, так будет...

Умиравший открыл глаза и тихо застонал. Потом, увидев Монтэня, он слабо улыбнулся.

— Как вы добрались сюда, мой друг, ведь здесь воюют. Это было вероятно очень трудно. Когда люди воюют, то есть с заранее обдуманым корыстным намерением и более или менее организованно убивают друг друга, они обычно сгибаются свидетелей. Отсюда — все эти военные тайны, пропуска, пароли, ограничения...

Умиравший вздохнул, ему, видно, было тяжело говорить, но профессор Монтэнь не осмелился прервать хода его мыслей. Философ продолжал:

— Я столкнулся впервые с этой неожиданной для убийц застенчивостью, когда в годы мировой войны мне вдруг взбрела в голову фантазия поехать на фронт и посмотреть... Так как я не был ни шпионом, ни депутатом, изучающим войну для того, чтобы впоследствии лучше скрыть правду о ней от общественной совести, ни банкиром, финансирующим войну для того, чтобы на ней обогатиться, ни юродствующим меценатом, покупающим марлю и медикаменты для того, чтобы залечить раны случайных недобитых, ни священником, с одинаковой готовностью благословляющим и убитых, и их убийц, — меня не допустили тогда на позиции... Как вы проникли сюда, мой друг? Расскажите же...

Профессор Монтэнь опустился в глубокое кожаное кресло у изголовья умирающего. Он рассказал ему вкратце о своих приключениях, поделился с ним своими сомнениями относительно происходящих в Испании событий. Потом они помолчали немного.

Всегда в присутствии этого человека хирург чувствовал себя глупцом и мальчишкой. Несмотря на многолетнюю дружбу, которая их связывала, самолюбие Монтэня бывало в присутствии этого человека глубоко уязвлено. Хирургу недавно минуло шестьдесят лет. Это было нелепо: в шестьдесят лет... чувствовать себя мальчишкой.

Подумав, Монтэнь рассказал своему другу о том, что он видел по пути и в Мадриде. Он признался, что никогда не

придавал значения газетным сообщениям о беспорядках в Испании до тех пор, пока сам не стал их очевидцем. Он признался, что ему неясно, на чьей стороне правда, что все эти события и намечающееся во всем мире обострение противоречий внутри общества немало его тревожит...

Философ улыбался. Слушая своего собеседника, он одновременно продолжал внимательно смотреть как бы внутрь себя, ни минуты не отрываясь от спокойного и насмешливого созерцания собственных переживаний, последних биений пульса своей угасающей жизни. Эта усвоенная им давно манера невнимательного внимания всегда особенно сильно раздражала хирурга.

— Признайтесь, друг мой, — заговорил наконец философ, — что вы немало людей отправили по неосторожности своим ланцетом на тот свет. Вам, действительно, пожалуй, пора стать мистиком. Не стесняйтесь... Это происходит на старости лет и с врачами...

Монтэнь перевел разговор на другую тему. Нащупав пульс у умирающего, он осведомился, в какой степени соответствует действительности сообщение печати о том, что в дни своего кратковременного пребывания в городе повстанцы произвели над Шарпантье ряд неслыханных насилий.

Философ слабо повел рукой.

— Это неправда, друг мой, — сказал он, — неправда, как и большинство тех сведений, которые распространяют газеты. Как видите, легкомысленный снаряд едва не разрушил моего последнего убежища. Но я не знаю точно, чей это снаряд: правительственный или инсургентский. В руках различных политических партий динамит обладает совершенно одинаковой разрушительной силой... Рядом с моим домом стоял патруль. Ночью повстанцы продрогли, но они не решились развести костер из моих книг. Они пощадили книги; их командир, обвязанный пулеметными лентами, похлопал Вольтера по переплету, как у себя в горах он вероятно привык хлопотать по спине своего ишака. — Они еще нам пригодятся, — сказал он при этом.



Тем временем профессор Монтэнь уже мысленно поставил диагноз: застарелая сердечная болезнь, осложненная тяжелым нервным потрясением, общий упадок сил, неизбежная смерть. Его не удивляло, что этот светлый ум угасает в полном сознании. Он как врач хорошо знаком был с организмом умирающего, ничего другого нельзя было и ожидать.

Профессор Монтэнь осведомился, насколько больному обеспечен постоянный врачебный уход. Кстати он спросил и о том, куда девались бесчисленные женские портреты, которые обычно украшали стены комнаты, в которых жил философ. Хотя он был завзятым холостяком, профессор Монтэнь знал доподлинно, что это были портреты живых женщин, которые в тот или иной период времени сопутствовали жизни его друга. И сейчас как врач интересовался, с точки зрения нормального ухода за больным, не столько портретами, сколько их оригиналами.

— В этом городе есть всего лишь один врач, — ответил философ, — но я его никогда не приглашал к себе, тем более, что он пользуется с одинаковым успехом и людей, и ишаков: поскольку этот врач не психиатр, повидимому большой разницы это не составляет. За мной присматривает старуха, которую вы встретили в вестибюле. Я вполне удовлетворен ее заботами обо мне, тем более, что мне ими, должно быть, недолго придется пользоваться...

Он приподнялся на локте и поправил за спиной сползшую подушку.

— Что касается нескольких портретов, о которых вы спросили с тактом истинно светского человека, то я уже несколько лет тому назад приказал отнести их на чердак. В последнее время я предпочитаю спать с книгами. Это конечно значительно скорее утомляет ум, но зато я имею возможность брать с собой в постель несколько книг одновременно, без риска быть обвиненным в безнравственности. Потом книгу можно захлопнуть в любой момент, и она не обидится. Книги не стареют и поэтому не напоминают вам о собственной вашей старости. И наконец каждой из книг,

которыми вы владеете, можно изменять безнаказанно, в то время как книги не изменяют вам никогда.

Философ закрыл глаза, повидимому он устал. Врач слушал его внимательно, удивляясь необычайной жизненной силе, которая не покидала этот незаурядный организм даже в предсмертные часы. Казалось, что философ проснулся после обычного своего дневного сна. Казалось, что он встанет сейчас, наденет увековеченный в стольких карикатурах современников красный халат и перейдет в столовую для того, чтобы там за стаканом теплого вина продолжать начатую беседу.

Но сомнений быть не могло, долголетний врачебный опыт не мог обмануть хирурга: он несомненно имел дело с умирающим, быть может, с самым выносливым умирающим, которого ему приходилось встречать в своей врачебной практике.

— Я был уверен, — продолжал философ, — что вы доберетесь до меня, если это вам удастся. Я хотел попроситься с вами и сказать вам, своему единственному другу, несколько слов, поскольку вы еще не собираетесь умирать... Я хотел спросить вас: думаете ли вы, что мы с вами действительно жили так, как следовало бы жить передовым людям эпохи? Не опасаетесь ли вы, что мы — отвратительные себялюбцы? Дело в том, что, когда снаряд оторвал добрую треть моего кабинета, мне впервые пришлось в голову, что в мире существует целый ряд образов, понятий, процессов, которые, быть может, гораздо значительнее, чем все то, что мой ум впитывал в себя на протяжении всей моей сознательной жизни... Я никогда не был сантиментальным. Вы знаете, я очень уважаю и люблю вас, друг мой. Мне не хотелось бы, чтобы вы умирали с чувством тяжелого недоумения, которым я в настоящий момент охвачен... Я, по моему, никому в жизни не причинил зла. Но, быть может, и это само по себе было злом?

Профессор Монтэнь с каждой минутой все больше и больше чувствовал себя во власти необычайного волнения. Вся несоответственность обстановки, в

которой умирал его друг, события последних дней, пробитая стена библиотеки, сквозь которую просвечивал отблеск пожара, все это фантастическое нагромождение необычных явлений нарушило его душевный покой.

Между тем философ продолжал говорить, речь его становилась все медленнее, голос тише...

— Я наблюдал за инсургентами в течение нескольких часов. Они хозяйничали здесь, у меня в доме. Они несомненно менее образованны, чем, скажем, мы с вами, но они не глупее нас, а жизнь, быть может, знают лучше нас. Они никогда не читали Вольтера и, быть может, никогда не прочтут его, тем не менее — они его пощадили. Эти люди, ворвавшиеся в мой дом, были конечно грубоваты, но они повидимому слишком уважали окружающие меня книги, для того чтобы меня обидеть. Не опасаетесь ли вы, мой друг, что эти люди правы, и что мы с вами прожили жизнь, заблуждаясь? Не правы ли они, несмотря на все их кажущееся невежество, которое отделяет их от нас? Подумайте об этом, друг мой... А сейчас я устал, идите. Заходите снова, мне будет приятно покидать этот чудовищно непонятный мир в вашем присутствии...

Шпик задремал внизу, сидя на мраморном пьедестале, на котором повидимому раньше стояла статуя. Пыль густым слоем легла вокруг свежего пятна, на котором ранее покоился постамент. Старуха, повязанная черным платком, все так же молча проводила профессора Монтэня и прикрыла за ним входную дверь.

### III

В гостинице хирурга ожидал неприятный сюрприз. Как сообщил ему перепуганный коридорный, у дверей номера, который занимал профессор Монтэнь, уже в течение двух часов безотлучно дежурил адъютант коменданта города.

Офицер был кадровый, из штабных. Революция в Испании повидимому очень мало изменила внешний облик штабных офицеров армии: тот, который дождался профессора Монтэня, во всяком случае был затянут, очевидно в корсет,

напомажен, с нафабранными усами и едва ли не с подведенными глазами. Офицер этот однако по-французски из яснялся неважно и притом с немецким акцентом. Ощущая недостаток в словах, он заменял их непрерывным шелканьем шпор, округлыми движениями локтей, передергиванием плеч, неопишимо разнообразной мимикой лица. При всем этом офицер говорил высоким тенорком, так что профессор Монтэнь долго не мог разобраться в этом птичьем щебетаньи.

Наконец хирург понял, что начальник гарнизона и комендант города просят его прибыть в тюрьму для совершения в тюремной больнице какой-то ответственной операции важного политического заключенного. Профессору Монтэню меньше всего конечно хотелось заниматься таким делом. Он не мог при данных обстоятельствах не вспомнить насмешливых высказываний по этому поводу своего умирающего друга, под обаянием беседы с которым он находился до сих пор.

Полиция, медицина и церковь, — говорил обычно Луи Шарпантье, — это составные элементы одного и того же целого: полиция увечит, медицина отправляет на тот свет, а священник готовит место в раю каждому, кто слишком открыто и непринужденно позволяет себе высказывать недовольство буржуазным строем.

Попросив сверкающего всеми цветами радуги адъютанта подождать в коридоре, в связи с чем офицер поклонился до земли, одновременно, как на шарнирах, повернув туловище на сорок пять градусов, хирург зашел в свой номер для того, чтобы обдумать создавшееся положение.

Врачебный долг, или, вернее, то представление о врачебном долге, которое усвоено было профессором Монтэнем еще со школьной скамьи, требовало от него исполнения просьбы военной администрации города. С другой стороны, он в течение всей своей медицинской деятельности привык относиться свысока к властям, как гражданским, так и военным. Он был гостем в Испании, в городе был местный врач, и, в сущности го-

веря, никто не мог его, французского подданного, хирурга с мировым именем, заставить исполнять требования каких-то провинциальных вешателей.

Хирург услышал мелодический звон шпор. Изящный офицер повидимому в нетерпении прогуливался по ковру коридора. Чувствуя потребность хоть как-нибудь, по мере своих сил, унижить этого вполне светского палача, профессор Монтэнь решил не торопиться со своим решением. Он толкнул ногой дверь балкона, которая была незаперта, и вышел на свежий воздух. На город опустилась уже тяжелая южная ночь. Небо было звездное. Вдали, уступами вверх, в горы, тянулись огни костров, разложенных повидимому сторожевым охранением гарнизона. Время от времени изда-лека доносились одинокие ружейные выстрелы.

В городе горели только одиночные огни, жители повидимому предпочитали не выдавать победителям своего присутствия, даже самого факта своего существования. Прежде чем принять решение, профессор Монтэнь вспомнил, как вел бы себя в аналогичных обстоятельствах его учитель в области хирургии, знаменитый парижский профессор Гартман, который для Монтэня до этих пор всегда служил образцом врача и гражданина.

Он вспомнил, как несколько десятков лет тому назад на открытие новой хирургической клиники, директором которой был назначен профессор Гартман, приехал президент Французской республики Фальер. Сам Монтэнь в это время, числясь на одном из старших курсов Медицинской школы, работал у Гартмана в качестве ассистента, стажировавшись в его клинике. Профессор Гартман как-раз проводил обход палат, когда ему сообщили о прибытии президента республики. Он выслушал это сообщение совершенно равнодушно и с невозмутимым видом продолжал осмотр больных. Во двор клиники, где стояла лакированная карета президента, в это время сбежался весь персонал и несколько сот зевак. Стоя на подножке кареты, держа цилиндр в левой руке и правой рукой вытирая платком потную лысину,

президент говорил стандартную, бесцветную речь, и все слушали его в почтительном молчании. Профессор Гартман спокойно продолжал обход больных, и лишь после того, как меценат, наблюдавший за строительством новой клиники, чуть ли не со слезами на глазах умолял знаменитого хирурга не оскорблять президента своим невниманием, Гартман с отсутствующим видом спустился в вестибюль и приветствовал президента едва уловимым наклоном головы.

В чиновных кругах ведомства здравоохранения после этого инцидента некоторое время держался слух, что карьера профессора Гартмана окончена. Однако вскоре самому президенту потребовалась серьезная операция, приглашен был тот же Гартман, операция прошла блестяще, и строптивый ученый непосредственно вслед за этим награжден был высшим знаком Почетного легиона.

Монтэнь был тогда еще очень молод, но незначительное это событие оставило в нем глубокое впечатление на всю жизнь: он впервые убедился тогда в том, что в таком несовершенном обществе, как Французская республика, отдельные личности, поднятые над уровнем толпы своими заслугами перед обществом, могут не считаться даже с такими авторитетами, как президент республики. Сейчас профессор Монтэнь был не менее знаменит, чем в свое время Гартман. Ему очень не хотелось даже своей врачебной деятельностью в какой-либо степени иметь прикосновение к совершающимся в Испании событиям. Его положение и имя давали ему на это фактическое право, но, имел ли он моральное право отказаться от исполнения своего врачебного долга, он не был вполне убежден.

Между тем адъютант коменданта города повидимому устал ждать и осторожно постучал в дверь. И в этот момент, когда профессор Монтэнь окончательно принял решение отказаться от исполнения просьбы, он неожиданно открыл дверь в коридор и сообщил офицеру, что немедленно последует за ним. Это решение, в корне противоречащее всему предыдущему ходу мыслей,

он принял исключительно из чувства острейшего любопытства ко всему тому, что творилось вокруг него. Неутолимое это чувство, как он совершенно неожиданно для себя уяснил, овладело им всецело с того самого момента, как он увидел у подножия горящего замка труп расстрелянного карательным отрядом повстанца.

Они вышли на улицу. В вестибюле гостиницы прислуга с нескрываемым любопытством провожала их взглядом. В выражении лица портье было даже своеобразное злорадство по поводу того, что неизвестно зачем прибывший сюда важный французский барин безропотно подчиняется молодому испанскому офицеру. Цель посещения адъютанта была конечно персоналу гостиницы неизвестна.

Профессор Монтэнь поднял воротник пальто и надвинул шляпу на самые глаза. Ему стало вдруг холодно, и потом он ощущал почему-то непреодолимый стыд при одной мысли о предстоящем посещении тюрьмы. Впервые за всю жизнь приходилось ему переступить порог подобного учреждения.

Офицер шел впереди него, изгибаясь, как кошка, мягко звеня шпорами и предупредительно освещая темные углы карманным электрическим фонарем. Так, в абсолютном молчании, шли они около получаса, спустившись с горы, перейдя через деревянный мост над бурной горной речушкой, который охранялся сонным патрулем, и снова взобравшись на гору.

Подъем был крутой и, как показалось профессору Монтэню, продолжался бесконечно. Хирург даже ощутил некоторую свежесть воздуха, какие-то особенные горные ароматы. Тюрьма явилась им неожиданно, преградив путь унылой каменной громадой своих зданий. Хирург поймал себя на мысли, что повстанцам следовало бы сжечь и это здание. С тайной радостью он представил себе даже, как пылало бы оно, как рухнули бы вниз, под откос, его разрушенные огнем бастионы.

Часовой проверил пароль и условным знаком постучал в старинные железные ворота, которые сейчас же отворились.

Неизменно вежливый офицер пропустил вперед своего спутника, и они вместе вошли в мощный двор, освещенный одиноким керосинокальным фонарем, скрипя раскачивающимся на ветру. Окна внутренних тюремных зданий были защищены решетками и островерхими листами железа. В середине каждого листа было вырезано отверстие в форме сердца. Профессор Монтэнь подумал, что в камерах этой тюрьмы в яркий солнечный день должно быть совершенно темно. Сейчас вся тюрьма погружена была во мрак. Одинокий огонек мерцал только в центре, в подвальном караульном помещении и в крайней левой башне. Подождав отставшего в воротах хирурга, штабной офицер, повидимому превосходно ориентирующийся в обстановке тюремного двора, направился прямо к этой башне.

Они долго поднимались по узкой и душной винтовой лестнице, на каждой площадке которой, едва различимой в темноте, стоял сонный часовой. Профессор Монтэнь почувствовал, что у него бешено колотится сердце не то от волнения, не то от крутизны подъема. Потом офицер, зацепившись за что-то шпорой, выругался вполголоса и грубо кулаком толкнул деревянную дверь. Они вошли.

Вершина тюремной башни была разделена на две комнаты. Узкое окошко, пробитое в метровой стене, было наглухо затянуто густой решеткой. В первой комнате у накрытого клеенкой дубового стола сидело трое военных и один штатский, которые встали при входе профессора и офицера. Комната освещена была большим старинным бронзовым канделябром, в котором горело около десятка восковых плетеных свечей.

Каменные стены задней комнаты были выбелены известкой. Окна здесь не было вовсе, это была наглухо закрытая каменная коробка. На потолке качался тусклый керосиновый фонарь. В углу на железной кровати, на тюфяке, обшитом какой-то грубой материей, неприкрытый, в одном тюремном белье, лежал арестант. Он был повидимому без сознания. В противоположном углу на деревянной табуретке сидела монашка, скре-

стив руки на груди. Она дремала, широко раскрыв рот и похрапывая. Больше в комнате не было никого.

Приспособив свои глаза к полумраку камеры, профессор Монтэнь обратил внимание на то, что арестант лежит навзничь в очень неестественной позе: заложив за спиной согнутые в локтях руки. Когда арестант, потревоженный шумом шагов, застонал и повернулся на бок, хирург с содроганием услышал глухой звон железа: руки арестанта были скованы. Тогда профессор Монтэнь снял шляпу и повернулся к офицеру.

— Чем могу служить? — спросил он сдержанно, удивившись хриплости собственного голоса.

Ад'ютант, продолжая вращать туловищем во все стороны, сообщил, что арестант, заключенный в этой башне, является главнокомандующим всеми повстанческими отрядами, действующими в Астурии. Партизанский командир ранен в грудь выше сердца, он пойман вчера в горах и сейчас умирает. Командование правительственными войсками обращается к знаменитому хирургу с просьбой привести арестованного в сознание, отдалив хотя бы на несколько часов неизбежную смерть, и тем самым дать возможность судебным властям допросить одного из главарей восстания. Офицер добавил многозначительно, что показания этого важного злоумышленника могут в значительной степени способствовать ликвидации последних остатков антиправительственного движения и водворению полного успокоения не только лишь в одной Астурии, но и во всей Испании.

Тогда профессор Монтэнь принял решение. Он снял пальто, швырнул его на табуретку, освобожденную разбухшей монашенкой, снял пиджак и засучил рукава. Потом он стал командовать уверенным и спокойным голосом, так, как он привык это делать в течение нескольких десятилетий у себя в операционной, в клинике, в Париже.

— Свету! Воздуху!

Один из военных, сидевших в первой комнате, внес канделябр, но поставил его на пол. Камера башни была так мала,

что трепетного пламени десятка свечей было достаточно для того, чтобы осветить вполне всю палату этой невероятной тюремной больницы. Штатский же стал медленно водить взад и вперед, обеспечивая таким образом своеобразную вентиляцию.

Засучив рукава, профессор Монтэнь подошел к постели. Перед ним на грязном тюфяке в окровавленном тюремном белье лежал юноша, которому не могло быть больше двадцати пяти лет от роду. Уродливо изогнутые его руки были связаны у крестца ручными кандалами. Кисти побагровели. Юноша был бледней той оливковой бледностью, которая бывает у очень смуглых людей. Жадно вглядываясь в черты заключенного, знаменитый хирург почувствовал, как у него подкашиваются ноги. В густой синеве под глазами, в длинных загнутых ресницах, в гордом, слегка горбоносом профиле профессор Монтэнь нашел неуловимые черты сходства с другим, дорогим и незабываемым лицом, которое он в течение последних трех десятилетий упорно старался позабыть. За исключением некоторых деталей, внешность арестанта имела почти абсолютное сходство с лицом родного сына профессора Монтэня, умершего около двадцати пяти лет тому назад.

Знаменитый хирург был человеком очень сильной воли. Нечеловеческим усилием он подавил охватившее его волнение, которое на первых порах было так сильно, что ему трудно было даже удержаться на ногах, и стал осматривать рану. Арестант был в забытьи. Профессор Монтэнь снял неуклюжую повязку и обнаружил, что юноша ранен в левое легкое с осложнением в виде подкожной эмфиземы. Опытной рукой проведя по спине раненого под лопаткой, хирург нашел, что подкожная клетчатка, под которую просочился выходящий из раненого легкого воздух, трещит под пальцами, как накрахмаленная. В условиях своей роскошной клиники в Париже профессор Монтэнь, быть может, и решился бы на рискованную операцию. Здесь это было конечно совершенно немислимо. Обдумывая создавшееся положение, он неожиданно сообразил, что

его пригласили сюда отнюдь не для того, чтобы спасти эту человеческую жизнь, тем более, что она принадлежала повидимому уже палачу, а лишь для того, чтобы в интересах правосудия продлить эту жизнь на несколько часов. Тогда через плечо он бросил приказание:

— Расковать!

Потом, не глядя на окружающих, он быстрыми шагами прошел в первую комнату и опустился на табуретку около стола с клеенкой, на которой чьи-то услужливые руки успели поставить большую церковную восковую свечу. Хирург подпер голову ладонями, делая вид, что он обдумывает предстоящую операцию: на самом деле ему сделалось дурно...

Пока вызванный кем-то снизу тюремный сторож, гремя ключами, расковылывал заключенного, адъютант коменданта города сообщил профессору Монтэню, что все готово для операции. Хирург невнимательно осмотрел доставленные в тюрьму походный хирургический несессер с примитивным набором инструментов, пакеты с перевязочными средствами, шприц, ампулы с морфием и строфантом. Монашенка, оказавшаяся сестрой милосердия, принесла тем временем ведро с горячей водой.

Собравшись с силами, профессор Монтэнь встал и вернулся в импровизированную палату. Как-раз в это время раненый начал бредить. Знаменитый хирург очень поверхностно знал испанский язык, но в эти минуты мозг его работал настолько напряженно, что сознание подсказывало ему почти все непонятные слова невнятной испанской речи.

— Мы ушли далеко в горы, — бредил умирающий, — о, мы ушли так далеко, что они нас не скоро найдут... Нет, я никого не выдам... Оружие, спрятанное в пещере, будет в полной сохранности... Педро проникнет туда на рассвете и запрячет его еще лучше...

Окаменев, профессор Монтэнь слушал. Умирающий застонал и захлебнулся кровью. Монашенка подбежала к нему с мокрым полотенцем в руке. Как-раз в эту минуту за спиной профессора Мон-

тэня раздался слабый сухой стук. Хирург мгновенно обернулся и почти у себя под каблуками увидел закатившееся туда самопишущее перо. Неизвестный в штатском все время записывал бред умирающего и сейчас, вероятно, от волнения уронил на пол ручку.

Врач в течение нескольких минут с нескрываемой ненавистью разглядывал лицо этого следователя. У него была внешность театрального злодея, маленькое круглое бесцветное лицо, черные подстриженные сухонькие усики. Большие роговые очки с синеватыми стеклами натерли на переносице у следователя глубокую красноватую впадину. Мясистые уши его топорщились и как будто шевелились от сильного напряжения. Встретив холодный взгляд хирурга, следователь подобострастно изогнулся и, коснувшись пальцами пола, снова завладел своей ручкой.

Все дальнейшие свои поступки профессор Монтэнь совершил в состоянии почти полной невменяемости. Выпрямившись во весь свой рост, он спрятал взгляд своих глаз под седьми ресницами и сказал отрывисто:

— Посторонних прошу выйти. Операция очень серьезная, я не отвечаю за жизнь пациента, но попробую во всяком случае.

Штабной офицер вышел последним, плотно прикрыв за собой дверь. Уходя, он еще раз вежливо поклонился профессору и беспомощно развел руками, как бы соглашаясь с тем, что операция несомненно очень трудная и что нужно быть готовым к самому худшему. В комнате остались только монашенка и хирург.

Пока профессор Монтэнь готовил шприц, умирающий снова начал бредить.

— Педро, — стонал он, — зачем ты так неосторожен, вот видишь, они уже ранили тебя... Брось ружье, оно все равно не нужно тебе уже, и спасайся... Дай сюда мешок, он слишком тяжел для тебя... Не беда, если я его уроню по дороге... Рабочие Мадрида пришлют нам новый шрифт, сколько угодно шрифта... О, мы расскажем всем в новой прокламации, что это за звери...

Профессору Монтэню казалось все время, что он бесчестно подслушивает чей-то разговор у запертой двери. Много раз в жизни ему приходилось быть невольным слушателем бреда оперируемых пациентов, но вряд ли он тогда, во всех тех предыдущих случаях, мог хотя бы через пять минут передать и приблизительное содержание этого бреда. Здесь каждое слово умирающего тяжело и неизбежно оставалось в его сознании. Ему было стыдно, как будто бы он подслушивает, как будто бы он предательски ворует чужие мысли, доступные ему случайно как врачу.

Быстрым движением проведя ваткой, смоченной эфиром, по бескровной коже, хирург взял в руки шприц и наполнил его доотказа. Смертельная доза в шесть сантиграммов морфия переливалась в тонкостенном цилиндре из градуированного матового стекла. Профессор встретил взглядом глаза монашенки. Это были красные кроличьи глаза, они не выражали ничего. Впервые с момента, когда он делал свою первую самостоятельную операцию, давно, в далекой юности, он почувствовал, что шприц дрожит у него в руках и стальная игла никак не может проникнуть в нежный юношеский кожный покров...

Через минуту все было кончено. Офицер и следователь вернулись в камеру. Заключенный спал, раскинув отекавшие в кандалах руки. Зеленоватое лицо его было безмятежно спокойно, он дышал ровно, без хрипа. Все молча наблюдали за ним. Один только профессор Шарль Монтэнь, главный врач хирургической клиники св. Варфоломея в Париже, декан хирургического факультета Медицинской школы, командор ордена Почетного легиона, кавалер множества иностранных орденов и член-корреспондент четырех мировых академий, знал наверняка, что арестант никогда уже не проснется.

В первой комнате догорела тяжелая церковная свеча, заливая клеенку душистым желтым воском. Знаменитый хирург констатировал смерть заключенного. Он расписался на акте самопишущим пером, которое с вежливым покло-

ном подал ему маленький следователь с лицом дегенерата...

#### IV

Профессор Монтэнь покидал тюрьму уже на рассвете. Штабной офицер был занят, сопровождать хирурга до гостиницы было приказано тому самому тюремному сторожу, который ночью расковал умирающего. Согнувшись под тяжестью своих мыслей, шел профессор по мощеному двору тюрьмы, в своем элегантном пальто выделяясь странным светлым пятном на фоне мрачной каменной ямы. Знаменитый хирург чувствовал огонь десятков взглядов, следивших за ним сквозь железные листы, прикрывающие окна камер. Кто-то из арестантов, изловчившись, ухитрился плюнуть через решетку, и, хотя плювок шлепнулся очень далеко от профессора, Монтэнь ощутил жгучую, несмываемую обиду. Конечно он мог бы остановиться, снять шляпу, поклониться этим закрытым окнам и, став посреди двора, произнести защитительную речь, в которой он разъяснил бы, что недавно убил товарища и вождя всех этих людей, ожидающих казни, лишь из чувства глубочайшего уважения перед силой тех идей, которые питали их движение, из чувства преклонения перед их молодостью, их пылом, священным огнем ненависти, который горел в их сердцах. Но сделать это конечно было нельзя. И потому, еще ниже нагнув голову, ощущая почти физическую боль в спине от направленных на него со всех сторон ненавидящих взглядов, профессор Монтэнь ускорил шаг.

Он не ошибался, — тюрьма действительно проснулась. В тот момент, когда служитель неожиданно маленьким ключом, неестественным для таких больших ворот, отпирал замок, врач услышал, как вся тюрьма нестройным, захлебывающимся хором грянула похоронный марш. Испанские слова этой песни не дошли до сознания профессора Монтэня, он не разобрал их. Но мелодия была интернациональна, приговоренные к смерти провожали своего товарища величественными звуками песни, которой угне-

тенные всех стран провожают в последний путь своих мучеников и героев.

Когда хирург заперся наконец в номере своей гостиницы, у него стучало в висках. Он снова, как и ночью, вышел на балкон и лег грудью на каменную балюстраду. Он снял шляпу и подставил влажный лоб свежему дуновению ветра, спускавшегося с гор. Ветер нежно шелестел, запутавшись в его седых волосах.

Громадное багровое солнце медленно поднялось из-за каменистого кряжа; в сиянии его лучей горные вершины нежно розовели. Гребень гор был каменистым, солнечные лучи открыли на глыбах отполированного веками диорита пестрые сверкающие блики. Каменный кряж опоясан был густой лентой синеватого леса. Ниже спускались светлозеленые пастбища, лиловые виноградники, окутанные прозрачной дымкой утреннего тумана. Город, спрятанный от северных ветров подковообразным горным кряжем, еще спал. Вряд ли он проснется так скоро. Горы, защищая жителей города от непогоды, вместе с тем служили и убежищем для повстанцев, которые готовили миру новые потрясения и с которыми профессор Монтэнь впервые в жизни столкнулся лицом к лицу.

Хирург всегда думал о себе как о гуманисте. Он был воспитан традициями нескольких поколений французских буржуазных либералов. Так, в глазах профессора Монтэня его прадед Непомюсен Монтэнь служил образцом гражданского мужества и независимости идей. Прадед хирурга был известным поэтом и драматургом, он занял в Академии кресло Корнеля для того, чтобы после своей смерти уступить это кресло Виктору Гюго.

В литературе академика Монтэня уже успели забыть. Он был в свое время последним могиканом французского классицизма в поэзии и драматургии, уже во второй половине XIX столетия победоносное шествие романтизма рассеяло память о нем. Однако в семье хирурга Монтэня кропотливо собирались легенды, мемуары и воспоминания об этом передовом человеке своей эпохи, и

правнук его еще с детства привык мечтать о том, как при аналогичных обстоятельствах он сумеет быть достойным своего прадеда.

Академик Монтэнь прожил свою жизнь в самое бурное для Франции время. Девятнадцати лет от роду он прочел свою первую трагедию артистическому коллективу Французского театра. Ученик Давида, он, кроме стихов, занимался еще и живописью, и первые его эскизы пользовались большим успехом на любительских выставках. Творческий рост будущего академика был прекращен на время террором. Целыми часами, как свидетельствуют современники, просиживал юноша в первых рядах клуба якобинцев, прислушиваясь к выступлениям ораторов. Никакого активного участия в политической борьбе он не принимал, он только слушал и впитывал в себя новые идеи, образы, выражения. Впоследствии его попытки спасти жизнь некоторым священникам и аристократам заставили директорию взять будущего академика под гласный надзор полиции. Тем не менее уже в 1797 году новая трагедия Непомюсена Монтэня, «Агамемнон», была премирована правительством и принесла автору национальную славу. Вскоре будущий академик подружился с генералом Бонапартом, и с этого момента начались его политические злоключения, преследовавшие его уже до конца жизни.

Драматург сделался другом молодого генерала, едва ли не его интимным советником. Он был одним из многочисленных свидетелей брака первого консула с Жозефиной. Он читал ему все свои новые произведения и очень считался с его советами. Но будущий академик, разгадав честолюбивые замыслы Бонапарта, пытался всячески отговорить его от попытки реставрировать во Франции абсолютизм. Еще за несколько дней до провозглашения Империи Монтэнь говорил Бонапарту:

— Ну что ж, будьте королем, будьте императором: тем самым вы постелите ложе Бурбонам, но сами никогда не будете в нем спать!

В день провозглашения Империи драматург возвратил Наполеону орден По-



четного легиона, сопроводив его дерзким письмом, Император конечно не забыл обиду. Слава пришла к Монтэню, но вся дальнейшая жизнь его полна была самых утонченных и разнообразных преследований со стороны правительства. Семья Монтэня была разорена, драмы и трагедии его то и дело в административном порядке снимались со сцены. Ученик XVIII века, республиканец и вольтерьянец, академик Монтэнь так же холодно отнесся к правительству Реставрации, как к правительству Империи. Он скончался в 1840 году очень знаменитым и почти нищим, не поступившись в течение всей своей жизни ни одним из своих политических убеждений, не принеся в жертву личному благу ни одной из идей, которым он служил.

Хирург не случайно вспомнил прадеда. Исполнив требование испанских властей и в конечном итоге впрыснув заключенному революционеру смертельную дозу морфия, он в течение нескольких секунд совершил единственный раз в своей жизни тяжелый проступок против врачебной этики, с одной стороны, против закона — с другой. Для такого человека, как профессор Монтэнь, тяжесть совершенного им преступления казалась непомерной. В частности совершенно точное представление о врачебном долге он усвоил едва ли не со школьной скамьи.

Прежде чем стать одним из самых знаменитых в Европе хирургов, ему пришлось пройти очень длинный и сложный путь, измеряемый десятилетиями. Сначала, уже с первых курсов Медицинской школы, работа экстерном в хирургических клиниках Парижа: присутствие при операциях, подготовка инструмента, подготовка перевязочного материала. Вместе с тем — упорная и кропотливая работа в анатомическом театре над препарацией трупов. Тут делается обычно первый шаг к завоеванию карьеры: нужно только добиться должности помощника прозектора. Без этого ни один студент, как бы талантлив он ни был, не может мечтать о славе и богатстве. Все знаменитости парижского медицинского мира должны были прой-

ти по этому долгому и утомительному пути.

После этого — работа интерном в продолжение пяти лет, хирургические операции второстепенного значения, тяжелый труд дежурного хирурга в клиниках, приват-доцентура, лекции, научные работы, начало частной практики. Добившись упорным трудом должности прозектора анатомического театра, Монтэнь в течение года успевал препарировать не менее двухсот трупов. Это воспитало в его руке ту невероятную уверенность и силу, которые впоследствии принесли ему едва ли не всемирную славу.

В эти годы, работая днем и ночью, он почти не имел времени думать о самом себе. Когда вспыхнула мировая война, он был уже знаменитостью. В первые же дни пребывания на фронте ему пришлось столкнуться с вопиющими несправедливостями социального строя, господствующего в его стране. Бездельники, не отказывающие себе в удовольствии проходить ежегодно в мирное время лагерные сборы, ухитрились захватить большие чины. Легкомысленный кутила и шарлатан, несколько лет тому назад работавший у профессора Монтэня ассистентом, на войне оказался едва ли не корпусным врачом, генералом, в то время как профессору Монтэню в первые же дни пребывания на позиции предложили чуть ли не мыть полы. Он знал, что это явление временное, что правительство и военные власти одумаются, что они поймут всю нелепость положения, при котором чисто случайное наличие соответствующего количества нашивок на погоне давало безграмотному недоучке власть над выдающимися врачами с многолетним теоретическим и практическим стажем.

Действительно, эта перемена наступила в конце концов, но профессора Монтэня она на фронте не застала: воспользовавшись своими обширными связями в тылу, он еще задолго до реорганизации санитарного дела во французской армии возвратился в Париж и занял должность главного врача в аристократическом тыловом военном госпитале, организованном на средства

известной благотворительницы, герцогини Камастра.

Это было в дни, когда фронт подходил к Парижу так близко, что раненых прямо с позиций подвозили к госпиталям на трамваях. Занятый по горло своим делом, профессор Монтэнь мало задумывался над судьбами Франции в эти годы. Он был патриотом конечно и искренно желал своей стране — победы, немцам — поражения. Но в глубине души он был горд сознанием, что высокое звание врача дает ему возможность в такой ответственный момент, как отечественная война, исцелять человеческие недуги, вместо того, чтобы их порождать. Как врач крупного тылового госпиталя он конечно знал многое из области того, что неизвестно было тем безыменным сотням тысяч, которые в эти дни погибали на фронте. Но тем не менее, когда его друг Луи Шарпантье, поссорившись с правительством, удалился в добровольное изгнание, профессор Монтэнь не мог полностью оправдать этот поступок. Позже, когда угар войны прошел, Монтэнь почувствовал большую усталость и невероятное облегчение; вместе с целым рядом легкомысленных мечтателей он был глубоко убежден, что эта война была последней очистительной войной и что вслед за четырехлетней бойней наступит всеобщее успокоение.

Последующие события в международной политике должны были, казалось, разрушить у профессора Монтэня эту иллюзию. Но в последние годы он до такой степени удалился в самого себя, что даже такие события, как успехи СССР или разгул фашистского террора в Германии, он воспринимал с таким же вялым интересом, как судебную хронику в вечерних газетах или же хронику уголовных происшествий.

Он был очень богат, в достаточной степени знаменит и стар. Он считал, что личная жизнь его конечно не удалась, но что вызванную этим некоторую неудовлетворенность с лихвой компенсируют его заслуги перед обществом. Он знал, что его научные работы будут служить руководством для многих хирургов будущего, что отдельные проде-

ланные им операции войдут в историю медицины. Он считал себя вполне честным, полезным и хорошим человеком, добросовестно справившимся с той жизненной нагрузкой, которую на его плечи взвалила судьба.

В эту ночь произошло полное крушение его установившегося мировоззрения. Несколько дней тому назад жизнь его казалась насыщенной и богатой, сейчас — он чувствовал себя опустошенным.

Бесконечно прав был его друг, умирающий сейчас, должно быть, в своей полуразрушенной снарядами библиотеке: в жизни существовали явления и процессы гораздо более значительные, чем те, которые до сих пор впитывал ум передовых людей эпохи. Да полно, был ли он на самом деле передовым человеком? И не было ли его представление о служении обществу в корне неправильным? Не ошибался ли он и не перепутал ли он второстепенное с главным, правильно ли он в свое время поставил диагноз человеческих отношений?

И тогда вдруг, необычайно ярко, он вспомнил сына. Сын пришел к нему в тот страшный день прямо из школы. Он вошел в кабинет, сел на диван и заплакал.

Он не любил этого мальчика. Прежде всего его внешность слишком напоминала мать. Потом он не был вполне убежден, что это действительно его сын. И наконец, если он действительно привязался бы к этому, как он думал, чужому ребенку, — он слишком много стал бы думать о ней.

Сын пришел к тому, кого он считал своим отцом, в очень трудную для себя минуту жизни. В школе один из его товарищей разбил стеклянный колпак от микроскопа. В течение нескольких дней преподаватель физики и вся школьная администрация не могли найти виновника. Потом его внезапно обнаружили. Когда колпак был разбит, в физическом кабинете, кроме виновника этого проступка, находился только сын доктора Монтэня, оказавшийся таким образом случайным свидетелем. Мальчики решили, что именно он донес на их товарища. Между тем маленький Монтэнь ни на кого не доносил, он не имел представле-

ния о том, как все это дело обнаружилось.

Он сидел на большом кожаном диване с необычайно серьезным для своих одиннадцати лет выражением лица, заплаканный и жалкий. Отец почти не слушал ребенка, он думал о другом. Он смотрел на его черные брови, на чуть раскосые глаза, на нос с маленькой горбинкой и думал о том, что может делать сейчас эта женщина там, в Бразилии. И потому, не дослушав сына, он сказал ему холодно:

— Доносить на товарищей вообще некрасиво. Я могу завтра тебя взять из этой школы, а сейчас пойдя к себе в комнату, я занят!

Ночью мальчик повесился. В ванной комнате. Он оставил записку: «Лучше не жить совсем, чем так жить. Ты, папа, мне тоже не поверил, а я тебе сказал правду: я не доносчик».

И, странное дело, доктор Монтэнь наутро, когда прислуга обнаружила в ванной комнате уже остывший труп ребенка, не почувствовал себя убийцей. У него не было ни раскаяния, ни угрызений совести: та женщина ушла от него, пусть умрет и ее ребенок. Это было логично и закономерно. Сейчас, вспоминая этот страшный день, знаменитому хирургу сделалось бесконечно стыдно. Он пришел к выводу, что в камере тюрьмы вчера он убил второй раз в своей жизни. Он усмеялся: известный целитель физических недугов человечества — убийца! Это было чересчур нелепым.

Не раздеваясь, профессор Монтэнь бросился на кровать. Он спал тяжелым сном без сновидений около двадцати часов и проснулся глубокой ночью. Стекла дрожали от гула приближающейся артиллерийской перестрелки. Чья-то нервная рука стучала в дверь.

Вчерашний штабной офицер был все так же неизменно вежлив; быть может, только был несколько бледнее обыкновенного. Жестикуюлируя и кривляясь, он сообщил знаменитому хирургу, что друг его Луи Шарпантье, библиофил и философ, скончался два часа тому назад. Одновременно адъютант сообщил с брезгливой ужимкой, что в районе горо-

да возобновляются военные действия и что власти рекомендуют уважаемому профессору как можно скорее покинуть город, благо через полчаса в Мадрид отходит очередной блиндированный поезд.

Хирург не заставил себя долго просить. Сборы его были несложны. Подняв воротник осеннего пальто и надвинув на самые глаза шляпу, он снова, как и сутки тому назад, прошел вслед за офицером по темным улицам. Город был мертвым, лишь гул взрывов потрясал эхо окрестных гор. На вокзале знаменитого хирурга усадили в классный вагон, в котором ехали какие-то генералы. Поезд отошел тотчас же, тяжелые блиндированные вагоны неуклюже громыхали на стыках рельсов. Похудевший и изнуренный профессор Монтэнь дремал в своем купе, без желаний, почти без мыслей.

В Мадриде он немного пришел в себя, заехал в гостиницу, принял ванну и после незначительных хлопот и обильных даров портье и комиссионерам добыл себе купе в экспрессе. Только в вагоне этого международного поезда, в котором проводники ходили в войлочных туфлях для того, чтобы не беспокоить пассажиров, и где испарился окончательно всякий след гражданской войны и страшной действительности, профессор Монтэнь окончательно собрался с мыслями.

Он возвращался в Париж другим человеком. Его покинули самоуверенность, беспечность, едва ли не человеческое достоинство. Друг его умер, он оставался совершенно одиноким на свете. Отдать себе полный отчет в событиях истекших двух суток профессор Монтэнь не мог, это было свыше его сил. Для того, чтобы полностью осознать то, что с ним произошло, необходимо было изучать науку о жизни с самого начала, с азав, и изучать ее совершенно поновому.

Знаменитого хирурга беспокоило сердце, он чувствовал неприятный укол в левой части груди. Он знал, что ему шестьдесят лет, что по состоянию своего здоровья он может в нормальных условиях прожить еще лет двадцать. Но но-

вую жизнь начинать с начала было уже во всяком случае поздно.

— Поздно, — повторил профессор Монтэнь вслух.

Он нажал бронзовую кнопку, и синяя бархатная штора тотчас же бесшумно поползла кверху, обнажив зеркальную гладь оконного стекла. Мимо окна тянулись огненные нити искр. Ночь была темная, безоблачная, — черная ночь в черных горах. И только на востоке, там, откуда должно было взойти солнце, дымные тучи были как будто окровавлены.

Профессор Монтэнь позвонил. Проводник, вежливый и бесстрастный, в мягких войлочных туфлях, исполнил причуду важного французского барина. Он раскрыл окно, и ночь, влажная и насыщенная невидимым электричеством, которое распространяла приближающаяся гроза, вошла в купе. Профессор Монтэнь положил голову на спущенную раму, которую только что вытер замшевой тряпкой услужливый проводник. Знаменитому хирургу было плохо, сердце кололо невыносимо.

Поезд мчался к Пиринеям, на север, к Парижу, к мирному бытию, к асфальтированным бульварам, к культуре. Мимо разоренных гражданской войной деревень, мимо водопадов и пастбищ летело шесть залитых электрическим светом вагонов, унося в мировую столицу несколько десятков человек, которых происхождение и богатство временно избавили от необходимости вникать в некоторые отрицательные стороны житейской действительности. Большинство этих людей с высоты своего социального положения привыкли рассматривать мир в телескоп, почему все явления жизни казались им бесконечно маленькими. Судьбе угодно было, чтобы профессор Монтэнь, много раз рассматривавший в лупу возбудителей различных человеческих болезней, посмотрел сквозь микроскоп на жизнь маленького испанского городка, об'ятого пламенем гражданской войны. И то, что он увидел в этот микроскоп, показалось ему неожиданно громадным и непонятным.

Поезд мчался в ночь. В шести роскошных вагонах ехали разные люди, мо-

лодые и старые, мужчины и женщины, почти все очень богатые или кажущиеся богатыми, почти все — более или менее знаменитые: фабрикант оружия, сын парижского банкира со своей любовницей, известный тенор, внук марокканского султана, знаменитый укротитель зверей с молоденькой девочкой, которую он выдавал за свою дочь, крупный международный жулик и спекулянт, возвращавшийся в Париж для того, чтобы умереть там от застарелой болезни печени. Все это были разные люди. Об'единяла их только одна черта: обреченность.

А на задней площадке заднего вагона монтер поезда обнимал упирающуюся буфетчицу из ресторана, и им вдвоем было наплевать на весь мир со всеми его потрясениями. Задний вагон швыряло на стыках рельсов из стороны в сторону. Свет потух, дверь была открыта, узкую площадку затопила необ'ятная приренийская ночь.

Экспресс все выше и выше продвигался в горы. Профессор Монтэнь поднял седую голову и оперся подбородком о полированную раму окна. Конечно, вернувшись в Париж, он мог бросить все и уйти в народ, в революцию. Он сейчас уже не сомневался, что и в Париже, где-то там, под спудом видимых общественных отношений, действовали и росли те же силы, лицом к лицу с которыми он столкнулся в маленьком испанском городке.

Профессор Монтэнь вообразил себя шагающим по улицам Парижа во главе рабочей демонстрации, под алым знаменем, рядом с седой бородой Шарля Раппорта. Ему стало страшно: конечно и это не было выходом. Поздно, сейчас ему уже никого не обмануть, в том числе и самого себя.

— Поздно, — сказал еще раз профессор Монтэнь.

Черное небо разорвала молния, удар грома не слышен был за шумом поезда. Экспресс мчался в ночь, мимо скал, мимо оврагов и ущелий, мимо маленьких горных станций, погруженных во мрак.

На высокой скале стояла одинокая лиственница, возле нее на поваленном последней грозой дереве сидел громад-

ный орел. Он замер, как изваяние. Красноватые его глаза, затянутые белой пленкой век, обращены были вниз, в ущелье, по которому вилась тонкая ленточка рельсов, в которых то и дело тусклыми бликами мелькало отражение молнии. Орел не сдвинулся с места и тогда, когда рыча промчался под ним тяжелый поезд — шесть стальных коробов, увозящих в неизвестность беспокойных людей.

Шесть вагонов прогремывали мимо. Сквозь окна лился матовый голубой свет ночников. Пассажиры поезда почти все спали или готовились ко сну. И только одно окно было раскрыто. Из этого окна глядела в ночь чья-то седая голова. Профессор Монтэнь держался рукой за сердце. Он уже ни о чем не думал.

На задней площадке последнего вагона монтер и буфетчица уже свалились на пыльный ковер. Дверь была по-прежнему раскрыта, вагон раскачивало из стороны в сторону, а они катались по полу, не чувствуя боли от непрерывных ударов, и небо, испещренное молнией, было им крышей, а брачным ложем —

весь сотрясаемый ударами грома мир.

Когда поезд вошел в тоннель, профессор Монтэнь закрыл окно и спустил штору. Он почувствовал, что ему на самом деле очень плохо. Привычным движением он стал пальцами правой руки искать кисть левой для того, чтобы нащупать у себя пульс, но левой руки ему уже поймать не удалось: неестественно согнувшись, хирург с дивана сполз на ксвер, судорожно глотая воздух раскрытым ртом.

Он упал на колени и задохнулся. Последним усилием воли профессор Монтэнь выпрямил левую ногу: он был побежден, но ни за что в жизни он не согласился бы умирать коленапреклоненным. Это нечеловеческое усилие вывело все его тело из состояния равновесия. Он рухнул вперед, ударившись лбом о бронзовую плевательницу.

И когда уже в Париже, взломав в присутствии жандармов дверь, проводник ворвался наконец в запертое изнутри купе, ему показалось сначала, что важный французский барин, занявший в Мадриде купе-люкс, согнувшись в три погибели, ищет что-то под диваном...

# Похождения факира

Роман

ВС. ИВАНОВ

Часть третья

ФАКИР ВХОДИТ В ЦИРК

(Продолжение <sup>1</sup>)

21

**В** Обжорном ряду я ел варено из брюшины, любуясь таинственными ларями старьевщиков, блеском овощного ряда, узелками и корзинами покупателей.

Возле стола остановился повар Софроний.

— Ды ты что, не в тюрьме? — спросил он меня совсем равнодушно.

— Выпустили на поруки — так же равнодушно ответил я. — Погуляю, надо полагать, денька два, а потом погонят домой этапом.

— За револьвер?

— За всякое.

— То-то наш хозяин в полиции заявил: умру, говорит, но в тюрьме его сгною. Городовой, говорит, имеет за двадцатипятилетнюю непорочную службу серебряную медаль, ему сам генерал повесил, а он на эту медаль поднимает руку.

— Городовой в нашей драке не участвовал!

Софроний вяло махнул рукой и зевнул. Лицо у него усталое:

— Э, все равно, бил ли ты, не бил, а пропащий ты человек. Да и я тоже

пропащий. Меня вон хозяин хвалил, что как кухня улучшится и гостей больше появится и пить от едкой лищи будут крепче, так и жалованье мне повысит. Пьют они, верно, крепче, жалованье мне повысили, а мне все так же скучно. Мне, поверишь ли, даже и рыбачить не хочется. Кушанья пробовать не способен, разве молока когда выпьешь.

— Ты бы полечился.

— Чего там лечиться! Подлоги да кражи, измены да примиренья. Хозяйская жена поймала Фиофелакта с большеглазой полячкой, с панной этой самой, прямо в постели. Мало того, тут же в комнате, в кресле, да в корсете, сидит и любитесь на них канатоходец Антуанет. Тоже профессия, прости ты меня господа! Ну, повыла наша хозяйка, повыла день, а на другой день муж ей брошь купил. Успокоилась. А того ей и не подумать, что не брошь ей, а погребальный венчик пора. Лицо-то совсем черным-черно.

Когда я отвернулся от него и пошел, он, больше из вежливости, чем из любопытства, вяло сказал:

— Зашли бы, Сиволод, в полпивную.

— На каторге, не только что в тюрьме, и то мне не пить, Софроний.

Он сказал уныло:

— Нашел, чем хвастаться. Жираффа

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн. кн. 1, 2, 3 и 4 с. г.

вон тоже не пьет, а шея-то у ней все равно длиной в семь футов.

Сообщения повара встревожили меня. Совсем стало тяжело смотреть сквозь пыльные окна, зеленоватые, с шелковичным блеском, на подводы, непрерывно въезжающие во двор развесочной. Липкий пар котлов слепил меня. Окрики соседей: «В мастера лезешь!», из-за бесед с китайцем, теперь горько обижали, и мне больно было подумать, что мое круглое лицо напоминает китайцу его родину и что запах этих черных листьев, эта блестящая темнозеленая пыль более близки мне, чем волосатым и высоким уральцам.

— Кто лезет в мастера? — воскликнул я.

Но мне не хотелось обижать доброго Кан-си, и я сказал ему:

— Зрение мое ослабло. Меня должен осмотреть доктор. Достаньте мне паспорт, господин Кан-си, и в счет жалованья три рубля.

— Разве доктор требует паспорт?

— Глазной — обязательно.

— Весьма удивительная страна, — сказал Кан-си, делая отметочку в своей книжке. — Видимо, очки здесь указывают ученую степень, и доктор, так сказать, производит своим осмотром негласный экзамен.

— Приятно, что вы так догадливы, господин Кан-си. В нашей стране паразитического больше, чем даже в Китае. Кроме чая конечно.

Я моргнул ему. Прищелкивая пальцем, я тихонько пропел:

В Китае,  
Кроме чая,  
Удивительного мало.  
Мы чай  
Отдали в Китай,  
Нам удивительнее сало.

Мои стишки показались ему чрезвычайно обидными. Я их исполнил потому, что хотя мне действительно требовались очки, но я о них думал почти так, как предположил Кан-си.

И перед тем, как уйти из развесочной, в особенности после разговора с поваром, я долго рассматривал свое кольцо. В розовое утро этот камень горел громадным зеленым куском, в полдень стано-

ваясь почти синим. Иногда он был совсем прозрачно-голубоват. Я как бы приобрел кусок моря, который постоянно носил с собой. Оно даже лучше моря, а что встречается реже, то это уже самая настоящая правда. В нем нет ни одной трещинки и нет мутности! Расположение плоскостей в нем таково, что стоит только взглянуть, как перед тобою встает пламенная игра цветов. Свет ударяется в него, падает, кувыркается и никак не может оставить его. Иногда блеск его походит на блеск зубов из-под свежей вздернутой губы, иногда он, словно темный глаз, смотрел на меня, прищурившись. Молчание его несколько угнетало меня. Я наблюдал за ним чересчур пристально и в конце концов стал думать, что взгляд его гораздо милостивее взгляда его хозяйки. Но это предположение требовало проверки.

Я встал с рассветом и пошел к ее дому, говоря самому себе, что иду для того, дабы посмотреть, как она пойдет в церковь, а кроме того, мне, вспоминая наставление Софрония, пора кинуть этот город.

Это был длинный белый дом, стоявший глубоко во дворе. Акации густо росли, так что узкая дорога, по которой еле могла проскользнуть крошечная коляска, едва вырывалась из садика. По матовому желтому песку часто ступают ее атласные туфли. Черный пес, лоснящийся и лохматый, что дремал у ворот, встречает ее, размахивая хвостом. Пес лениво лает, и по этому лаю домашние узнают, что она вернулась из церкви, где встретила милого знакомого, отчего розный розоватый цвет волнения покрывает ее лицо.

Колокол уже призывал ее.

Я долго ходил мимо дома, который мне казался неподвижным, и неподвижным почти навсегда. Вспоминая нашу поездку по озеру, я думал, что действовал тогда неправдоподобно медленно. Как я мог пропустить наиболее важный поступок, свершенный в ту камчугу? Как я мог принять это кольцо спокойно, будто мне кольца дарили каждый день и каждый час? Я пристально изучал вывеску. Она напоминала своими очертаниями те клейма, которые постоянно

встречались на ломовых подводах. Меня удивляло только, что они расплывчивы и малы, причем расплывчивость эта увеличивалась с каждым днем.

Я перешел на другую сторону улицы и, боясь, что не узнаю хозяйку моего кольца, спросил у прохожего:

— Видите ли вы отсюда, что напечатано на столбике возле дома?

— Вижу-с, — ответил он мне несколько поспешно.

— А что же именно?

Он прочел:

— Дом № 42 Мавры Степановны Патрушевой по Луговой улице.

— Весьма вам признателен. Я вот не смог прочесть.

— Неграмотен или близорук?

— И то, и другое.

— Сразу видать... — но он не пожелал высказать свое определение, которое появилось в нем еще при первом моем вопросе. Я и не настаивал.

Не из-за близорукости ли я так плохо удерживаюсь на ногах? Приобретая очки, может быть, я более твердой ногой буду стоять на своем месте? Так как Мавра Степановна не очень торопилась к обеду, то я имел возможность размышлять о том, где и когда я не стоял крепко и почему мне надобно пристальнее глядеть в мир. Изобилие предметов не отклонит ли меня от главного? Если близорукость могла меня привести к дому М. С. Патрушевой, то ясный взор не заставит ли меня увидеть иные дома, кроме этого?

Я подумал даже, что хорошо бы написать письмо Мавре Степановне, которое бы связно излагало все эти многочисленные соображения. Но, странное дело, стоило мне только подумать о письме, как я пришел к глубокому убеждению, что письмо должно начаться таковой фразой: «Изумруд — несомненно тайный знак, указывающий на некое, может быть, несуществующее, но совершенно необходимое сообщничество желающих исчезнуть в Индию». Чертовски странная особенность! Едва лишь я брался за бумагу, как мысли, до того казавшиеся простыми, вдруг начинали толстеть и, не сдерживай я их изречениями великих людей как бы частокон-

лом, кто знает, до каких бы размеров они выросли.

Жара мешает ей! Из-за жары ей скучно итти в церковь. Уже давно отзвонили, а она все еще размышляет: с кем бы это пойти, дабы разговором отогнать духоту. Да и сердцу душно что-то! Предчувствие какое-то меня томит, бабушка!

В окно дворничкой было видно, как мужик с толстым лицом поставил на стол чашки, подумал и убрал их. Затем он постелил праздничную скатерть и вновь поставил чашки, но симметрия их казалась ему мало убедительной, и он переставил их. Дворничиха побежала за водкой, той особой вихляющей рысью, которую я прекрасно изучил на постоялом дворе. По лицу дворника я понял, что он скоро выйдет и скажет мне со скукой:

— Проваливай, проваливай! Тут тебе не трактор и не стойка.

Мавра Степановна появилась на улице. Зубы ее сияли совсем высокаторжественно. Кружевной розовый зонтик плыл над ней, светлофиолетовое платье обнимало ее.

Если, предположим, ей неприятно, что я кланяюсь ей на базаре, то вряд ли она возмутится, когда я поклонюсь ей почти наедине, так как нельзя же считать за свидетеля рысистую походку дворничихи и широкий рот непрерывно зевающего дворника.

— Здравствуйте, Мавра Степановна, — сказал я.

Она вздрогнула, но не остановилась, да я и не хотел остановки. Мгновенная неподвижность ее ног указывала бы на робость, которая была мне нежелательна. Нет, эта женщина смелая!

Она холодно взглянула на меня и, прикрывая лицо свое зонтиком от солнца, — рядом с которым очутился и я, — сказала:

— Поди к дворнику. Он выдаст.

Теперь она закрывала глаза зонтиком явно от меня.

— Он выдаст, — повторила она.

Она пошла солидным церковным шагом. Я смотрел вслед на ее удивительное фиолетовое платье с кружевными оборками и размышлял о дворнике. Она сказала так вовсе не потому, что видела в дворнике единственную защиту от блед-



ного оборванца, который остановил ее. Голос ее и напоминанье о дворнике холодны потому, что если являться сейчас, то надо являться в более приличном виде, а являться в неприличном стоило тогда, когда вы получили кольцо. Расстояние во времени требует хорошей одежды. Кто знает, не искала ли она меня, не приходила ли десятки раз в «Золотой рог»? Ах, она не нашла меня, а нашла другого!

Я стоял у окна дворницкой. Дворник, мужик с жесткими усами, с запахом укропа столь сильным, что от него даже и через окно щемило в носу, все еще размышлял над чашками. Чашек много, а гостей мало. Дворнику надоело пить из рюмок, он с радостью употребил бы для этого дела чашки, что и здоровье позволяло. Мешало этой мысли, так же, как и увеличению гостей, отсутствие денег. До известной степени дворник мог сочувствовать оборванцу, который несомненно пропил все свое состояние из чашек. Вот почему дворник милостиво спросил меня:

— Ты меня?

Услышав его голос, я подумал, что может быть, у дворника давно лежит письмо, составленное ею. Гордость ее вправе обижаться, потому что я долго не являлся за письмом, оно ведь начинается невероятно толстой мыслью, полой на слона: «Изумруд, не правда ли, это — тайный знак, указывающий, что мы с вами должны исчезнуть в Индию!»

— Меня послала Мавра Степановна, — ответил я дворнику, когда он уже начал пить водку из рюмок и когда вокруг него плотно расселись гости а дворничиха опять лихой своей рысью побежала за свежей бутылкой.

Хозяин допил рюмку, крикнул, сплюнул с ловкостью, свойственной дворникам, так, что плевок, перелетев через окно и улицу, с гулом скрылся в обширных просторах заросшего травой пожара.

— Что она тебе сказала?

Я повторил ее слова, наполнив их той нежностью, которую не высказала Мавра Степановна, но которая сияла «за холodem ее зубов»:

— «Пойдите к дворнику, он выдаст».

— Ага, — сказал дворник, опуская в рюмку жесткий ус.

— Ага, — повторили его гости, тоже опуская часть усов в свои рюмки.

— Ага, — повторила его семья, опуская губы к блюдечку, потому что семейство пило, как и подобает всякому семейству, чай, а не водку.

Рябая девка встала из-за стола. Она открыла длинный ларь. На меня сильно пахнуло прокисшим хлебом, но девка была так широка, что заслонила не только ларь, но и все свойственные ему, горькие запахи.

— Хватит?

Рябая подала мне краюху хлеба.

В ларе хранились оставшиеся от обеда куски, предназначенные для нищих.

— Вполне хватит, — сказал я, — благодарю вас за внимание.

— Иш ты, какой, — сказал дворник, — может, сивухи хочешь?

— По праздникам не пью, — ответил я.

— Зарок дал? А нам без подбитой скулы и без вытья — скучно. Может, все-таки выпьешь?

— Благодарю вас за внимание.

— Иш ты, какой, — повторил дворник. — Ну, если дал зарок, бери свою краюху и убирайся, еще упрешь чего, гляди.

## 22

Стыдно выбросить этот большой, тяжелый ломоть хлеба! Он должен постоянно напоминать мне о распущенном и распутном моем воображении. Кусок нужно превратить в сухарь, чтобы он постоянно, как вечная книга мудрости, лежал против меня, напоминая о моих ошибках. Его переплести в драгоценный кожаный переплет! Я нищ и гол. Откуда в тебе эта мечта о миллионерше? Откуда взял, что ты настолько близорук, что не смог прочесть гигантской бронзово-бурой, чуть ли не выше дома, вывески: «Фабрикант крупчаточной муки М. С. Патрушева?»

Я шел, держа на отлете краюху. Мне хотелось есть, но я убеждал себя, что краюха заплесневела. Я бранил себя, но где-то в уголке я потихоньку думал, что

случилась ошибка. По застенчивости и сказал дворнику «подите» вместо «поди». Не скрывалась ли в этих двух буквах, прибавленных мною, «те», громаднейшая разница между любовным письмом и краюхой хлеба? Но теперь уже нельзя вернуться. Дворник совсем пьян, где ему разобрать разницу, а кроме того, он больше привык выдавать краюхи, нежели любовные письма.

Очки, которые я получу от доктора, несомненно заставят дворника обращаться со мною вежливее, а кроме того, помогут мне узнать ценность и подлинную красоту сияющего на безымянном пальце левой моей руки изумруда, да и ювелир будет со мной разговаривать почтительнее.

Доктор посадил меня в кресло и опустил мне на нос широкое деревянное сооружение. Он попеременно вставлял стекла в это сооружение, и я смотрел сквозь них на длинный лист бумаги, усаженный разнокалиберными буквами. Мне мучительно хотелось быть близоруким.

— Ну, а теперь?

Вдруг из тумана передо мною всплыл очень четкий и ясный мир! Я увидел весьма мелкий шрифт, в котором, в сущности, никакой мне надобности не было. «Близорук, близорук» — напевал я про себя.

Вслух, дабы доктор не слишком много взял за визит, я сказал:

— Подобаает ли вообще уточнить наш мир?

— Какое образование?

— Одноклассная сельская школа.

— Индивидуум имеет право размышлять, получив только среднее образование, — сказал доктор. — У вас три диоптри. Если хотите, я вам пропишу пенсне, но вообще вам можно жить и так. Предполагаю, что вы уточнили мир и без очков.

За рубль восемьдесят копеек я купил пенсне, снабженное длинной черной лентой. Стекла соединяла стальная черта, которая, казалось, придавала металлический блеск моим бровям, да и вообще взор мой стал серьезнее и тверже, так что я решил не возвращаться в развесочную, а, взглянув последний раз на кольцо, направился к ювелиру.

Коротконогий, весь, казалось, в желтоватом отливе окружающего его золота, ювелир недоуменно и слегка боязливо встретил меня. Торопясь, дабы он не сказал «бог подаст», я протянул ему руку:

— Освидетельствуйте, сколько стоит такой камень первого класса?

В руках его длинная тряпка, передничек прикрывает его животик. Очень раннее утро, и ювелир от нечего делать сам вытирает пыль. После моих внушительных слов взгляд у него делается сладким и свежим, хоть варенье готовь из такого взгляда:

— Первого класса? Смарагд несомненно рядом с алмазом и рубином принадлежит к первому классу, и только позади толпится разная мелочь: циркон, топаз, опал...

Он отложил лупу в сторону, стукнул ногтем по моему кольцу, лицо его успокоилось, и он сказал:

— На толкучке пятьдесят копеек дадут.

В крайнем изумлении я спросил его:

— За это кольцо пятьдесят копеек?

— Оно фальшивое — и по металлу, и по камню, и по намерениям. А ты думал, что изумруд украл?

Он расвирепел. Размахивая тряпкой, он крикнул мне:

— Уходи, уходи, а не то полицейского позову. Тоже с драгоценностями ходит, знаем мы все ваши махинации, фармазоны!

Я шел, держа этот перстень на ладони. Он прав, этот коротенький ювелир с мохнатыми бровями. Вряд ли перстень стоит и полтинник! Позолота в том месте, где ободок соприкасался с ладонью, уже стерлась, и виден какой-то жалкий и белый металл, даже не похожий на серебро. Эта тугая и холодная дама, в фиолетовом платье и с дивно сияющими зубами, подарила мне кольцо так же, как предки ее некогда кидали ороченам и самоедам, остякам или вогулам жестяные погремуски. Там они выменивали стада оленей, а здесь она выменяла мое сердце!

О, это мое тщеславие! Когда же я избавлюсь от него? И тут же я вспомнил моего отца, черный выгон, желтый самовар, сапог над самоваром и множество

изречений о тщеславии, которые мы употребляли оба и которые были справедливы; но, как вода, текущая по канаве, не годится для питья, так и эти изречения не принесли нам никакой пользы.

Я разыскал на толкучке ломовских родственников:

— Где балаган стоит? «XX век»?

— В Ирбите, — ответили они. — Не долги собирать?

— Свататься.

— То-то. Невесту еще получишь, а что касается долгов или работы, так смазывай ноги к другому.

Купив на четвертак хлеба, я зашагал. В моем кармане болтался револьвер, и только теперь я понял, как много изменилось в моей жизни. Иногда я сворачивал от линии железной дороги на шоссе. У меня, должно быть, такой был смелый вид, что если возчик вез поклажу без друзей, то он стремился обехать меня. Я уходил в сторону, пренебрежительно обругав его:

— Эх, вы, рохли!

Я чрезвычайно радовался, что покинул Екатеринбург, обиженных хозяев, тюрьму, плохие куплеты. Подмышкой у меня громадный каравай хлеба, глиняная чашка заменяла мне горшок и чайник, хотя в этом горшке варить нечего. Я поймал было ежа, но выпотрошить его мне не удалось. Я кипятил в чашке крепкий чай и размачивал корки хлеба. Я вспоминал женщин, которые недавно стояли передо мной в балагане, возле замка Синей Бороды, предлагая разделить с ними брюкву и ложе.

Вот и город Ирбит. На базарной площади темнел балаган. Была поздняя ночь. Мне бы переночевать в лесу, ночи очень теплые, но уж больно хотелось узнать, как поживают и как играют в карты мои друзья.

Римские цифры «XX», сколоченные из жердей и покрашенные багровой краской, стояли возле ворот балагана. Цифры обвешаны разноцветными флажками и столь серьезны, что даже ветер не колеблет их. Я дотронулся до них рукой. Они теплы и неподвижны. Балаган тих и пустынен, и даже не слышится дыхания Нубии. Я постучал в ворота.

Ирбит очень тих. Всюду на базарной

площади безмолвно дремлет множество коней. Творожные облака медленно ползут над деревянным городом. Теплая луна уперлась в соборный крест.

Я влез на раус и попробовал раскачать эти толстые доски. Они не поддавались. Мне захотелось спать. Я расстелил соломенную свою собаку, но перед сном решил закусить, и под руки мне попала краюха, полученная от патрушевского дворника. Я снял свое изумрудное кольцо, этот смарагд, который уже потерял весь свой изумительный блеск. Я воткнул этот смарагд в краюху. Кольцо вошло с большим трудом, потому что хлеб от жары совсем засох.

Я встал, чтобы угостить краюхой первого встречного коня, но тут из-за балагана послышался треск колотушки, и легкой своей походкой, сняя зубами и куdryми под лунным светом, совсем ультрамариновым, вышел Петр Захаров.

— Господин директор! — воскликнул я.

— Здравствуй, факир.

На Петре Захарове такая же, как и на мне, пожалуй, более изношенная, бурая ливрея.

— Видно, не пришлось купить коней у Коромылова? Видно, плохо играли в шантане?

— Не всякая игра, Всеволод, быстро кончается. Но наша игра, кажется, окончена. Что же поделаешь? Не отрежешь и не бросишь свой нос, хотя он и вонюч. Но я тебе советую, Всеволод, прислушаться. Конским дыханием наполнилась земля и небо. Кони принадлежат скотоводам!

Захаров указал колотушкой на площадь.

— Не ты их купил, Петр, не тебе и продавать, не тебе и хвастаться.

Он поднялся на раус и облокотился о перила.

Я встал рядом с ним. Великое множество коней просыпалось. Едкий запах конского пота донесся к нам.

— Хорошая торговля? — спросил я.

— Торговля, Всеволод, такая, что сам себе позавидуешь. Скотоводы Платониду замуж за своего приказчика выдают. Вот и пир сегодня идет по этому случаю...

— А тебя попросили караулить?

— Выяснилось, что стучать в колодушку не так-то просто, Всеволод. Если задуматься, так посредством колодушки ты передашь лучшие свои мысли. Вообще много изменилось, Всеволод. Начнем с того, что в Екатеринбурге мы подыскали «сплавку». По общему мнению, оказалось, что пассажир наш крепкий, и сплавка выходила. Но тут появился язык, — и уговорили мы опять наших скотоводов вернуться в Ишим. Я не знаю, в чем тут дело, Всеволод, должно быть, они при конях имеют свое счастье. Короче говоря, Похлебаев проиграл гуртовщикам сначала балаган, а затем и актеров.

— И тебя проиграли, Петр?

— Мало, меня проиграли. Талыга проиграл!

Он рассмеялся:

— Но какая игра была, Всеволод, какая прекрасная игра. Пять суток не вставали из-за стола! Скотоводы мечут банк. Сто тысяч! Сто сорок тысяч в банке! Я проигрываю свой ад и свой рай! Сто семьдесят тысяч в банке! Талыг сорвал банк. Как только он увидел, что выиграл сто тысяч, то так ошалел, что забыл все свое искусство, и почувствовал себя равным скотоводам. Пора, — подумал он, — пора переделывать уральскую природу! Ну, и начал играть без жульничества.

— И Нубию проиграли?

— Мало, Нубию, Всеволод. Я проиграл все свои знания, весь свой экстерьер. Они имели право превратить меня в раба! Они дали мне должность фельдшера, Всеволод, с тем, чтобы в свободное время я караулил балаган.

— Зачем им нужен балаган?

— Выиграли. Купить бы они никогда не купили, а теперь вот и будут его с собой возить. Из Ирбита поедет мы, кажись, в Монголию. Это тысяча восемь верст?

Он вздохнул.

— Признаюсь, не хочется мне в Монголию.

Он вдруг взял меня за плечи, приблизился к моему лицу и, выкатывая глаза, сказал:

— Ты, Всеволод, единственно непро-

игранный! С тебя мы опять начнем игру. Я сорву у них банк!

— Не придется тебе играть на меня, Петр. Хватит.

Захаров опять вздохнул:

— Да, пожалуй, не стоит. Вряд ли ты вызовешь у них азарт.

Он с отвращением посмотрел на свою колодушку.

— Неужели я ради этой штуки прочел множество книг, мечтал о далеком путешествии, почитал тебя, Всеволод?

Он указал колодушкой в переулок, по которому шел тоненький человечек, протяжно и громко всхлипывая:

— Вот только пашкину морду не хотели они принимать среди прочего имущества, но Пашка так испугался, что не может отойти от балагана. Морда эта внушает им великое отвращение, и они его бьют походя. Пашку теперь многие бьют, и, чем больше его бьют, тем он делается отвратительнее.

Он опять схватил меня за плечи:

— Всеволод, надо поднять твой дух. Ты, знаешь, обмелечал. Подумай, на тебя не хотят играть! Да ты Пашка, что ли? Из киргизских степей, Всеволод, только-что пригнали табуны необъезженных коней. Здесь нет подходящих мастеров, которые бы знали киргизский язык, а лошадь, как тебе известно по Нубии, понимает часто родной язык гораздо лучше, нежели ловкость наездника. Вот на чем ты поднимешь свой дух!

— Я не буду объезжать диких коней, Петр.

— Хочешь, чтобы тебя били скотоводы?

— Теперь ты, Петр, уже не директор, и командовать придется другим.

— Да, и в этом есть правда, Всеволод.

Он склонился к моему уху и сказал:

— Пора, Всеволод, спастись. До меня они еще не осмеливаются дотронуться, потому что я проделал множество упражнений...

Захаров вдруг протяжно замыкал.

Из-за угла показалась разноцветная голова Нубии. Конь выступал очень осторожно, как бы на щыпочках, все время оглядываясь и прислушиваясь.

— Видишь? Скотоводы способны так удивительно с'ездить в морду, что ты будешь ходить обалделый до конца твоей жизни и так и не догадаешься, чем бы им отомстить! Это, брат, великого ума и великого кулака люди. Я изучал экстерьер по книгам многих мыслителей: Армана Гюбо, Густава Бори; знаю «Иппологию» магистра ветеринарии Марвиновича; графа Строганова и князя Щербатова об арабских лошадях так же, как и сочинения леди Анны Блюи, майора Уптома, Томаса Сотой, барона Эдуарда Нольд, генерал-майора Тведи; как видишь, это — аристократическое занятие, Всеволод, но ни один из этих авторов не объяснит, зачем скотоводы пригнали в Ирбит табуны киргизских коней. Я — русский дворянин...

— Первый раз слышу, что ты — русский дворянин, Петр.

— Это всем известно. Повторяю, я — русский дворянин и не позволю, чтобы скотоводы били меня по морде! Наша Нубия пойдет впереди киргизских табунов...

Он сказал шопотом:

— ... прямо через Туркмению по пещам Кара-Кум и через Персию в Турцию. Турки, Всеволод, оценят качество киргизской лошади...

— В Индию? — спросил я таким же горячим шопотом: — Угнать табуны?

Петр только и ждал этого восклицания. Он крепко жал мою руку. Глаза его наполнились слезами. Он осматривал с рауса этих вороных, рыжих, саврасых, серых, буланых, игреневых, пегих, гнедых, чалых коней, которые уже принадлежали ему и недостатки которых он уже видел. Многие из них не вытерпят длинного пути и не дойдут до Персии, но стоит им попасть в Турцию, как... какой мы торг устроим!

Сердце мое сжалось. Киргизы гикнули и, размахивая укрючинами, двинули табун на водопой. Я вспомнил родину. Киргизы как бы накинули петлю на мое сердце. Я безмолвно подхватил их гиканье и восхищенно смотрел, как ловко они катят громадный табун к реке. Я понял все великолепие коней, только когда они двинулись, поднимая умбровую пыль.

Петр Захаров вскочил на Нубию и помчался, наполненный желанием обогнать табуны.

— Наддай, наддай! — кричал я ему.

— Гей, гей, догоняй! — отвечали нам киргизы.

Табун ускакал.

Балаган спал попрежнему.

Знакомое тяжелое дыхание подняло мои слипшиеся было веки.

Возле рауса стоял Филиппинок. Он нимало не удивился, увидав меня. Наверное он подумал, что я тоже проигран в карты и теперь явился по требованию скотоводов. Лицо у него было раздраженное, ему хотелось сказать, что каждое утро его будят эти бешено скачущие мимо лошади, но вместо этого он скучным и вязким голосом проговорил:

«— Итак, свадьба Манечки с Вадимом не состоится?»

— Да, она посоветовала ему быть бережливым, а он начал с того, что подарил ей фальшивые бриллианты».

«Ночью на постоялом дворе случился пожар. Все перепуганно кричат:

— Пожар! Горит! Воды!

Один из скотоводов, остановившийся на постоялом и накануне изрядно хвативший, проснулся от этой суматохи и, услышав слова: «Воды, воды», неловко расправил совсем корявыми пальцами одеяло на постели, схватил и, посасывая потухшую цыгарку, закричал во все горло:

— А мне квасу, только похолодней!»

В руке он держал громадную ложку, деревянную и свежую.

— Кто же вас кормит, Филиппинокский? Впрочем кормят вас плохо, раз еще лак не сошел с ложки.

Не отвечая мне, он поднялся на раус. Филиппинокский повернулся лицом к солнцу и поднес ложку ко рту. Ему, должно быть, не хотелось делать то, что он должен был делать, и поэтому он сказал:

«Скотоводы толкуют о том, нужно ли бить жен. После долгого обсуждения склоняются к тому, что бить надо. Один худенький приказчик говорит:

— Я ни боже мой! Ни пальцем.

— Что же, твоя жена особенная, что ли? — восклицают хором скотоводы.

Приказчик встает, кланяется, выпивает чашку с водкой до дна и опять садится. Глаза у него сонные, и, щупая свои голенища, он говорит:

— Не особенная, а посильнее меня. Вот бить и не приходится».

«— Ты куда, чорт собачий, в лес с ружьем идешь? Охотиться здесь воспрещено.

— Да я и не охотиться.

— А ружье-то?..

Перебирая тонкими и прозрачными пальцами подол пиджака, встречный сказал ружьюму обездчику:

— Застрелиться хочу.

— Ну так бы давно и говорил».

Вспомнив, что я совершенно ловко использовал его анекдоты на таком же раусе, Филиппинский вдруг поднес ложку ко рту и промолвил:

— Вот, Иванов, доказательство гибкости наших телес. К любому делу можно их пристроить. Рост у меня подходящий...

Филиппинский закинул голову так, что затылок его прикоснулся к позвоночнику. Филиппинский широко разинул рот:

— Надо, чтобы рука не дрожала и весь ты держался трезво.

Он глубоко запустил ложку в глотку. Дыхание его остановилось, лицо налилось кровью. Он продолжал вталкивать ложку. Тошнотворно было на него смотреть. Тело его колыхалось, живот вздулся. Секунд через десять он вытащил ложку обратно. Икая, поспешно убежал он за балаган.

Когда он вернулся, лицо у него было попрежнему скучное и ленивое.

Я спросил:

— Хотите, Филиппинский, достигнуть анестезии слизистых оболочек горла, пока вас не кормят?

Он ответил больше самому себе, чем мне:

— Мало да помалу, получается практика. Привычка! Там, глядишь, ложку заменишь саблей или ножом. Саблю надо вводить рукою, до задней стенки гортани, а затем быстрым движением просовывать ее в пищевод. Вот уж тогда мне не скажут, что я зарабатываю себе пищу посредством аппаратов этого дурака Михайлова!

Он опять двинул ложку в горло. Гортань его пустилась в такие судорожные движения, что он поспешно отбросил ложку и надолго ушел за балаган. Вернувшись, он спросил меня:

— Жену мою в Екатеринбурге не встречали? Обиделась, что проиграли балаган, и ушла. Кассиршей в бани поступила. А?

Он не спускал с меня глаз. В голосе его чувствовалась тоска. Он не верил, что она способна приехать к нему. Он упражнялся только для того, чтобы можно было покинуть этот балаган и перейти с глотанием шпаг в настоящий цирк, туда, где жена будет уважать его. При одном воспоминании о ней он захмелел. Мне стало жалко его, и я сказал:

— Ехали бы вы, Филиппинский, ж ней.

— Не могу ехать. Пол-ложки только всунул.

Он подобрал свою ложку и, делая ногой тяжелые круги, пошел через площадь к собору.

Я лег на доску рауса. Надо мной было фарфорово-синее небо, сухое и чудовищно-высокое, над балаганом носились щеголеватые голуби, возле реки ржали кони. Солнце мешало мне спать, но оно грело как-раз настолько, чтобы можно было придумывать стихи.

## 23

— Ты балаган наш представил совсем дряхлым, Всеволод, а на дряхлой лодке ум пропадает от страха, — сказал Петр Захаров, когда я проснулся и пытался прочесть ему стихи, сочиненные во сне.

Он вскочил на ноги, сделал скачок назад и принял кулак противника в открытую ладонь правой руки, а левой рукой ответил. Под его мысленным ударом, который сопровождался шагом вперед, кто-то нырнул и откатился в сторону. Движениями своими он мгновенно разогнал смутность души, вызванную сонными стихами. Он улыбнулся и сказал:

— Луны не закроешь подолом, Всеволод, и правды от себя не утаишь.

Я ответил ему поговоркой и с той же легкостью, с которой обычно говорил он:

— Бывает и ложь как правда, бывает и вор приятелем.

— Но нельзя гордиться приятелем вором, Всеволод, ибо кровь смывается не кровью, а водой.

Он рассмеялся, совсем развеселился и крикнул проходившему мимо графологу:

— Тиунцев, зайди погадай.

На раус поднялся графолог Тиунцев с лицом, так похудевшим, что от него осталось только одно, да и то самое плохое, название.

— Дай, руку, господин Захаров, наверно у тебя наметились на ладони свежие линии.

Я сказал:

— Графология — наука, пытающаяся узнать характер по почерку, а вы смотрите на его руку. Это уже хиромантия.

Тиунцев, закрывая неправдоподобно длинной бородой захаровские руки, оглянулся на меня.

— Никакой разницы между графологией и хиромантией, если вы даже прочтете, господин Иванов, все пергаментные книги! Насчет почерка вы сказали правильно, но откуда взяться почерку, если большинство людей, которым я гадаю, неграмотны? Следовательно, вся их письменная способность остается неиспользованной в руке. Дайте вашу руку, господин Иванов. Ваша коническая форма последнего сустава мизинца говорит о любви к искусству, но любви чисто платонической. Впрочем не берусь утверждать, так как вы имеете почерк, и, может быть, ваша иная любовь к искусству более резко обозначена в почерке. Палец ваш лопатообразен, а большой палец слегка отогнут взад, бугор луны сильно развит, и вы обозначите себя в драматическом искусстве. Кроме того, четырехугольная форма второго сустава намекает на пристрастие к руководству животными...

— Стоп, Тиунцев!

Петр Захаров вдруг перекувырнулся через голову, затем побежал в балаган сзывать друзей. Никто не пришел на раус, но волнение Захарова от этого только усилилось. Захмелевшими глазами он смотрел на меня. Мы слушали его, задерживая дыхание.

— Положительно, Всеволод, ты способствуешь моей выдумке! До сегодняшнего утра Тиунцев пытался прочесть по моей ладони будущее балагана. А сейчас я подумал, что я обязан сам проводить

черты и на своей ладони, и на ладонях других! Пора действовать, Всеволод. Ты ведь не принес денег?

— Нет, — ответил я.

— И не нужно. Тиунцев, ты будешь предсказывать безработным, где они могут найти службу. Каждый безработный способен найти двугривенный, чтобы купить билет на сеанс графологии! Мы еще обыграем скотоводов, Всеволод.

— Обиращать безработных?

Петр не слушал меня:

— Кроме того, балаган наш открывает лотерею, билеты на которую будут выдаваться бесплатно на сеансах графологии. Лицо, получившее право первого выигрыша, будет доведено Всеволодом до места работы, так как только он волен уйти из балагана, куда хочет.

— Без разрешения моих хозяев, — сказал важно графолог, — гадать мне невозможно.

Петр Захаров возбужденно перечислял заводы, по которым мы разошлем безработных. Важно только подметить те характерные особенности, которые существуют у каждой профессии, а разобратся в этом он, Петр Захаров, сможет. Разве трудно отличить каменотеса от экипажника, мастера, приготавливающего дерево для хомутов, от дегтекура, плетельщика кружев от изготовителя колоколов, гранильщика камней от скорняжника?

— Разглядеть — разгляжу, — подтверждал графолог, — но все-таки без разрешения хозяев можно впасть в большое горе.

— Наша жизнь, Тиунцев, всякая и сложная, как часто происходит это в архитектуре, где соединение балок, подставок, столбов и задвижек поддерживает одно другое без видимого упора на основание.

Петр Захаров рассмеялся:

— Скотоводы запугали балаганщиков своими миллионами! Кроме того, к ним сегодня приехали офицеры, которые командуют ингушами, охраняющими заводы. Дела нет, рабочие бастуют, Всеволод, ингуши размахивают нагайками. Разве тут не найдет человек двугривенного, чтобы в этой суматохе хоть сколь-

ко-нибудь разобраться? Смешно! Счастье он увидит за двугривенный!

Он достал из кармана толстое письмо. Я узнал почерк моего отца. Петр Захаров сказал задумчиво, рассматривая письмо моего отца:

— Что такое счастье?

Видимо, воспоминания о моем отце вызывали в нем размышления о «счастьи и смысле жизни», о которых часто любил говорить отец.

— Счастье ли, если ты, Всеволод, пошел целовать пани Марину, а вернулся в наш балаган непроигранным?

— Целовал пани Марину другой.

— По всем человеческим расчетам ты должен был целовать ее, Всеволод. Иначе зачем же мне догадываться о твоём адресе, сообщать о нем Вячеславу Алексеичу? Догадываться также и о том, что поцелуи ее утомили тебя, вместе с разговорами о Польше, освобождение которой еще далеко, так же, как и любовь к тебе пани? Ее поцелуи были только воспоминаниями о Павлодаре. В твоём возрасте, Всеволод, безразлично, чем вызваны поцелуи. Они остаются поцелуями.

— Я не целовал пани Марину.

Петр сказал, разрывая конверт:

— Что такое счастье? Допустим, мы просим тебя выйти на манеж и рассказать о счастье, которое ты получил благодаря графологу Тиунцеву. По твоему лицу видно, что ты человек честный, что ты вернулся только для того, дабы рассказать в балагане об этом удивительном чуде. Ты получил замечательную работу с жалованьем сорок рублей в месяц. Кратким и простым своим рассказом ты заставляешь безработных поверить в чудеса Тиунцева. Сорок рублей! Смешно — не поверить!

— Я не целовал пани Марину.

— Твоя лож, может быть, через три дня уже окажется правдой. Ты поведешь рабочих, предположим, на Кизеловский завод. Ты совершенно ничего не ждешь там, кроме ударов по горбу, которыми наградят тебя обманутые безработные. Вдруг конторщик говорит: «Здравствуйте, господин Иванов! Для вас приготовлено место в сорок пять рублей месячного оклада. Завтра можете выхо-

дить». Не я ли угадал, куда твоему отцу посылать письма?

— Но ты обманулся, когда думал, что мне придется целовать пани Марину.

— Ты ее еще поцелуешь, Всеволод! Допустим даже, что ты не получишь работы. Можешь мне поверить, что я укажу правильные признаки гнева на лице безработных, увидав которые, тебе придется убежать, дабы предупредить нас. Вернувшись, безработные будут бить нас жестоко! Казалось бы — горе! Ан нет, тогда-то волей-неволей мы угоним табуны коней, которых догонит ли лошадь полицейского? Что такое счастье, Всеволод? Не в скачке ли оно?

— Я не буду рассказывать о счастье.

— Ты выйдешь без всякой подмазки на лице, без фрака. Ты будешь рассказывать не в стихах, а самой простой прозой. Вначале ты расскажешь о счастливых людях, встреченных тобой...

— О счастливых людях?..

Я разглядывал громадное письмо моего отца. Конверт заклеен клейстером, который отец мой обычно приготовлял по воскресеньям. У него была склонность все готовить самому. Если бы можно, он и планету бы сам приготовил. Утром отец мой заваривал клейстер, а письма заклеивал им после обеда, когда хорошо наедался мясного супа. Не без основания он считал, что после воскресного обеда могут собраться мудрые мысли, которых рыбные супы в течение остальных шести дней недели собирали плохо. Он вписывал эти мясные мысли, заклеивал конверт и долго выбирал место, куда бы приклеить марку так, как ее не приклеивает никто. После этого он хватал кота, вытягивает у него язык и об этот язык смачивал марку, так как считал, что слюна рода кошачьих обладает наилучшей крепостью. Письмо лежало возле божницы, ожидая, когда мимо, звеня бубенцами, помчится тройка, в которой на баулах, поддерживая широкую шашку, сидит почтальон, посеребрённый пылью. Отец мой подает письмо. Почтальон опытными пальцами взвесит его и скажет, что, пожалуй, адресату придется доплатить. Тогда отец мой ответит, что адресат обладает достаточными средства-



ми, дабы оплатить хоть целый баул пше- сем. Почтальон сделает под козырек. спрячет письмо, лихо поднимет свою шашку, положит ее на колени и бойко скамандует: «Погоняй!» И так, письмо ждет почтальона. Из миски пахнет необыкновенно вкусно. Рядом с миской возвышается горшок со сметаной. Отец мой любит класть сметаны в тарелку супа, сколько ему хочется. Иногда это одна ложка, иногда десять, потому что сметана, по утверждению моего отца, помогает остроте мыслей. И если их недостаточно в письме, то их, по крайней мере, должно быть достаточно в супе, так как мысли должны быть приятны и легко усваиваемы, подобно сметане. Рядом со сметаной лежат капустные пироги, еще дальше клокочет самовар, который отец мой особенно тщательно раздувает по воскресеньям. Счастливые люди? Встречались счастливые люди, но каждый из них тоже со своей занозой. Вот разве не счастливый человек Петр Захаров? Но его горе—это излишняя симпатия к людям, так что если он сам счастлив, то он все-таки испортит свое счастье тем, что немедленно найдет ужасно страдающего человека и так воткнется в эти страдания, что, имея Петр хоть океан счастья, все равно наперсток найденной горести превратит этот океан счастья в океан уксуса. Кроме того, заключается ли счастье в преследовании или в обладании? Если же рассуждать о счастье применительно к тому положению, в котором мы находимся, то-есть лежа на раусе и голодая, то несомненно, что счастьем является то, когда человек...

Я добавил вслух:

— Счастлив человек, имеющий сегодня свою краюху.

Петр Захаров подтвердил, вздыхая:  
— С хорошим супом!

Тогда я углубился в письмо моего отца, потому что если разбирать счастливых людей, то, несомненно, самым счастливым был мой отец. Он счастлив и тогда, когда у него имеется хлеб, и счастлив, когда его нет, потому что излишнее потребление хлеба, по его мнению, способно выпустить те мысли, которые иногда необходимо задержать.

Кроме того, во время недоеданий он радовался тому, что видел свое духовное превосходство над прочими голодающими, которые думают только о пище, тогда как он продолжает думать о том же, о чем он думал всегда. Отец мой, будучи голодным, попрежнему весело ожидал, что девочка Губонька внесет ему конверт, совершенно точно указывающий местонахождение клада, который изобавит и его, и многочисленных его друзей от всегдашних мыслей о хлебе. Весело начиналось его письмо! Лебязье, так же, как и вся страна, наполнено жарой, но в Лебязьем тем хорошо, что рядом колышется Иртыш с его широкой влагой и с его неистребимой красотой, которая постепенно переходит на людей. Эта влага позволяет моему отцу непрерывно копать алебастр, гора которого постепенно увеличивается. Отец мой сообщал дальше стишки, переведенные им с французского. Стишки эти:

Повсюду вздохи. Фу, как душно!  
Изныли люди и скоты.

К мольбам природа равнодушна,  
О тени тщетны все мечты.  
Все почернели хуже ваксы,  
Все очумели от тоски,  
И даже понтеры и таксы  
Чуть дышат, свесив языки... —

красными чернилами, мелким почерком, он сообщал на полях письма, которое было посвящено издевательствам над рядчиком В. Е. Петровым, благодаря которому до сего времени не удалось организовать Лебязинский банк, а следовательно, подумать о молодости человечества в то время, как приближается его старость, то-есть война. Дальше отец мой приводит диалог: «Как сегодня биржа?» — «А что такое?» — «Сильно упали бумаги». — «Ничего подобного!» — «Почему вы так думаете, что должны упасть бумаги?» — «А убийство австрийского наследника?» — «Это не повлияет на нашу биржу, скорее — наоборот. Он был такой воинственный». Хотя эта беседа происходила между случайным держателем дивидендных «игровых» бумаг и крупным банковым деятелем, но все же, — продолжал мой отец, — тебе следует знать, Всеволод, что в Сараеве не напрасно пролилась кровь эрцгерцога

Франца-Фердинанда и его супруги, герцогини Гогенберг. Отец мой удивлялся, что весь мир попережнему занят жизнью немецкого авиатора Бассера, побившего мировой рекорд полета на аэроплане — 18 час. 12 мин. Интересует также мир открывшаяся в Лейпциге выставка печатного дела (отец мой приложил вырезку из газет, изображающую русский павильон в древнем стиле, с башенками у входа с полукруглыми узкими окнами), но гораздо меньше, чем спорт. В Малаховке даже, дачной местности под Москвой, где когда-то, проходя в Иерусалим, отец мой ночевал неподалеку от станции и где рыжая собака слегка укусила его, — даже здесь преподают гимнастику Далькроза, а в Реймсе спортивное общество устроило олимпиаду, причем участники в античных костюмах передали упражнениями пластическую красоту, завещанную нам классиками (отец мой прилагал два снимка: игру девушек в мяч и триумф победителя в борьбе). Спортом человечество пытается найти свою молодость! В городе Ажане (Прованс) общество сохранения старинных народных костюмов устроило состязание чепцов. «Действительно, жалко, — писал мой отец, — если исчезнет изящный провансальский кружевной чепчик, который мне пришлось тоже видеть в Иерусалиме. Как он прекрасно оттеняет смуглую прелесть южнофранцузских женских лиц, почитателем которых несомненно является господин президент республики, четвертый по счету, который посетил нашу страну, этот самый Пуанкаре». Казаки в Лебяжьем точат свои сабли, и господин Пуанкаре наверно приехал посмотреть, достаточно ли они остры. Отец мой сожалел, что он не потерял свой военный опыт, который все еще позволяет ему заметить острие сабли. «Если бы не этот проклятый подрядчик Петров, Лебяжинский банк был бы давно выстроен, и, занятый банковскими операциями, я бы не предавался ненужным воинским мыслям, и алебастр, правда, в ином виде, в бумажном, так сказать, повез бы во Францию идеи о речной красоте, ибо французским женщинам больше, чем другим, свойственно размышлять о том, что, «когда женщина

перестала быть хорошенькой, она долго способна не делаться безобразной». А это должно происходить без косметики, потому что, кто желает маэями улучшить кожу лица, — это неподражаемое по изяществу работы произведение природы, — тот похож на садовника, который захочет украсить свой сад фальшивыми цветами и растениями: чем больше усердия, тем яснее обман». Последнее изречение отец мой приводил на пяти языках, добавляя изречение по-арабски, но преимущественно о смысле садов. Вообще мнение моего отца о садах было до некоторой степени странным. Он не разводил сада, так как считал, что сад удаляет человека от подлинной мудрости, показывая эту природу лживо, так же, как и домашнее животное. Дикая природа наведет тебя всегда на самые неожиданные размышления, а кроме того, помогает человеку быть самостоятельным, давая ему возможность идти, куда он хочет, а не направляя его по паршивым песчаным дорожкам. Когда отец мой вспоминал о садах, то ему немедленно приходили в голову сады, встреченные им в Палестине. Он вспоминал ту чертовски трудную работу с тяжелыми камнями и глинистой почвой, которую проделывают паломники, понуждаемые монахами. Отец мой был глубоко убежден, что дикие сады на Востоке выдаются за домашние. Этим только объясняется появление восточной мудрости, иначе быть бы ей такой же смиренной и глупой, как домашнее животное или как европейская мудрость, которая в убийстве эрцгерцога Фердинанда видит только спорт. Здесь отец мой опять обрушился на подрядчика Петрова и на эту проклятую алебастровую гору. «Что такое молодое лицо? Почему к нему применяют определение «алебастровое»? От белого матового цвета. Следовательно, есть сходство между алебастром и молодостью? И нельзя ли предожить стареющим женщинам, потерявшим алебастровый цвет лица, копать этот алебастр и таскать его на себе, как таскаю я?» Впрочем отец не настаивал на этой идее. Сущность его письма заключалась в том, что он хотя и занимается спортом, — таская алебастр, — но все же видит

острие казачьих сабель, поэтому ему надо скорее открывать Лебяжинский банк. Отец мой предлагал или прислать в распоряжение Лебяжинского банка от театра «XX век» 25 рублей, необходимые для первоначальных расходов по открытию банка, или же напрасно не трепать банковское имя, говоря, что театр существует на субсидии Лебяжинского банка. И без того банк тратит большие деньги для того, чтобы советоваться письменно с далеким сыном своего директора.

Письмо отца встревожило меня. Видимо, ему жилось совсем плохо, если он так уменьшил сумму, необходимую для открытия банка. Горестно оглядел я наш балаган и еще более горестно прислушался к пустому гулу его, тогда как был полдень и надо было открывать дневное представление.

Публика гуляла возле собора. Мальчишки играли в бабки. Юноши ударяли мяч лаптой. Более пожилые мужчины глотали водку, а люди неопределенного возраста уже спали пьяные по канавам. Ярмарка великолепной степной рысью, появившейся сюда вместе с табунами киргизских коней, бежала мимо нас.

— Как ты думаешь, Петр, если бы мы пригнали табуны в Персию, могли ли мы их выгодно продать?

— Ручаюсь тебе, Всеволод, всем своим знанием экстерьера, что здесь в табунах удивительные кони, и я бы умер со стыда, если не нашл бы на них тысячи. Я опасаясь только одного. Продав табуны, мы приобретем множество денег, и тогда появятся люди, снабженные огнестрельным оружием для того, чтобы отнять деньги.

— Я невероятно сомневаюсь насчет того, чтобы у нас отняли деньги.

Медленно я положил руку Петра на мой карман, в котором лежал пистолетный снаряд.

Петр Захаров весь зардел.

Некоторое время он размышлял, постукивая пальцами о перила рауса. Стук этот то становился крупнее, то мельче, то ускорялся, то замедлялся, так что по этому стуку можно было понять все течение его мыслей. Под конец стук этот

перешел в бешеный галоп, и лицо Петра Захарова побагровело.

— Я знаю, что такое счастье, Всеволод! Смелость — вот счастье. Тяжесть, которая оттягивает твой карман, совсем переменяла мои сегодняшние размышления о счастье. Я понимаю, почему ты не хотел обижать безработных. Я тоже не хочу их обижать. Тиунцев, уйди. Сегодня вечером я скажу тебе твое будущее с точностью почти чудовишной, притом не заглядывая в черты твоей ладони.

— Слушаюсь, господин директор, — сказал Тиунцев, потрясенный неслыханной бодростью и смелостью, которые звучали в голосе Петра Захарова. — Но без разрешения хозяев я не открою лотереи.

— Она отменяется. Уйди, пока я и тебя не отменил.

Тиунцев поспешно ушел.

— Мы немедленно угоним табуны, Всеволод. Ты уговоришь киргизов, охраняющих эти табуны, на их родном языке. Если купцы погонятся за нами, мы отстреляемся!

— Достаточно ли получим мы денег, чтобы имело смысл отстреливаться? Имей в виду, что если мы плохо отстреляемся, то попадем на каторгу.

Петр сказал, не задумываясь:

— Мы получим со всеми скидками от пятидесяти до семидесяти тысяч. Каждый выстрел будет, таким образом, стоить нам десять тысяч. Сумма отличная. Мне точно известно, что скотоводы выехали из Оренбурга, имея в чемаданах триста тысяч рублей. Если ты помнишь, мы стали с ними играть, когда они уже имели сто семьдесят пять тысяч. Допустим, что они пропили двадцать пять, но и тогда на коней израсходовано сто тысяч рублей.

— Но могу ли я получить в мое личное распоряжение часть этих денег?

— Всеволод, револьвер твой. В крайнем случае, угрожай револьвером, ты не дашь нам ни копейки, но мы несомненно не будем думать так. Мы рассчитываем на твое благородство.

Я решил открыть Лебяжинский банк! Но я умолчал об этом моем решении, а вслух сказал:

— Опасаюсь, что Павел Ковалев перепугается и перепортит все наше конюшничество.

— Пашку обманем. Мы ему скажем по секрету, что скотоводы проиграли все свои деньги и, желая спасти хоть часть их, предложили нам угнать табуны.

— Когда же мы погоним их?

— Погоним завтра. Маршрут у меня готов по всем восьми направлениям. Для отвода глаз мы сегодня соорудим великолепное представление в нашем балагане для завтрашнего вечера. Мы пообещаем фейерверк, пантомимы, иллюминации, бал-маскарад и еще что-нибудь не менее грандиозное! Кроме того, нужно сделать так, чтобы завтра скотоводы напились до полусмерти. Не можешь ли ты вспомнить, как устраивалась камчуга, которой Челпанов прославился на весь Урал?

— Я не помню камчуги.

— Ты ее еще поцелуешь, Всеволод, не огорчайся, — сказал Петр Захаров, по-своему поняв мой отказ говорить о камчуге.

Петр проверил мой револьвер. Он пожалел, что мало патронов, но тут же догадался, что при первом же выстреле по купцам количество наших патронов заметно увеличится, так же, как и количество револьверов.

— Надо добавить, Всеволод, что, проживши в балагане и присмотревшись к игре, как артистической, так и картежной, я приобрел некоторые странные мысли о собственности.

— Это заметно.

— Но собственность, как мы с тобой уже вывели из сегодняшнего разговора, не есть счастье. Повторим еще раз, что счастье — смелость. Будем жить так, чтобы, даже утопая в холодной воде, мы могли найти в себе силы рассмеяться! Вот почему ты завтра выступаешь факиром. Филиппинскому кажется, что только факирство способно спасти балаган, и он пытался, утерев твои шпаги, обучиться глотать их в натуральном виде, потому что мастер Иоанн сооружает сейчас только одни шулерские приспособления. Но у Филиппинского от ложек воспалена глотка, и туда не толь-

ко не войдет шпага, но и приближение ко рту даже твоей складной шпаги вызовет рвоту.

Я сказал небрежно:

— В последнее время я больше занимался стихотворством, чем чудотворством. Пока я делал чудеса и предметы, вокруг меня не было стихов. Когда я стал делать стихи, у меня появились чудотворные предметы.

Я положил в карман свой револьвер и хлопнул по карману рукой.

Петр Захаров сказал мне голосом, который некогда чудился мне в телеграммах, получаемых мною из Омска прямо в курганскую баню:

— Ты — Леонардо да Винчи. Давай составлять афишу.

## 24

Опять в двери балагана в неподвижном, жарком воздухе повис огромный розовый щит. Далеко через площадь говорят темнозеленые буквы о том, что сегодня, 21 июля 1914 года:

«Новое невиданное выступление бесмертного факира, показывателя счастья, и неуязвимого дервиша Бен-Алибея».

Выступая впервые после долгого перерыва, я, в сущности, ничего не прибавил к тому десятку булавок и гирек, с которыми орудовал два года назад, наоборот, я стал гораздо беднее, чем даже весной. Не прибавилось во мне и любви к этим снарядам и булавам, не вызывает удовольствия даже то, что скотоводы, узнав о поступлении в балаган нового актера, назначили мне за выступление 5 рублей.

— А если соберешь зрителей, так получишь, парень, и больше, — сказал мне старый скотовод Шабаршин с лицом седым, низким и сплюснутым настолько, будто лицо ему было совсем не надобно, но вот вспомнила природа: как же так без лица? — и соорудила ему первое встретившееся.

Тут же старик Шабаршин отдал распоряжение киргизу о том, как поступить с жеребьятами, и, вынув длинный бархатный кисет, набил махоркой толстую трубку. Он разжигал ее, краешком гла-

за наблюдая за мной, и я подумал, что нам будет чрезвычайно трудно угнать табуны.

Балаганщики смотрели на меня несколько смущенно и до некоторой степени чувствовали ко мне уважение, потому что никак не могли объяснить, зачем я появился в «XX веке».

Один мастер Иоанн не заметил, что я покидал балаган. Как всегда, он нетребователен и весьма умерен в пище. Балаган голодал, а он ухитрялся отдавать свои пять копеек, которые получал от скотоводов на пищу, для пропитания Нубии. Сам он кормился крошечным ломтиком хлеба в день и редькой, которую ему дарили ирбитские жители «из-за воспаленного роста». Редьки в этом году уродилось много, да и от прошлого года осталось. Мастер Иоанн нарезал ее маленькими ломтиками, обильно солил и ел, запивая холодной ключевой водой. Ходит он попрежнему «в галоп», быстро поднимая необыкновенно длинные ноги. Он склоняет ко мне свой упорный етулкообразный подбородок и говорит, не спуская с меня глаз:

— Кажись, вседельный снаряд-то я нашел. И скажи ты, пожалуйста, у кого он находится? Скотоводы имеют! Разве потому, что из кержаков они, умеют тайну хранить.

— Зачем он им нужен?

Он склоняется ко мне еще ниже, хлопает себя руками по узкому заду и восторженно дышит на меня едким запахом редьки:

— Изготавливать фальшивые бумажки!

Иоанн самолюбив, и мысль о фальшивых бумажках кажется ему весьма ценной и нужной:

— Значит, ты, Иоанн, согласился бы делать фальшивые бумажки?

— А к чему я пристрою его, вседельный снаряд?

И у мастера Иоанна тоже, видно, получились «странные размышления о собственности». Мне они не нравятся. Однако я считаю, что спорить нам не нужно и что лучше вначале угнать табун, а затем попробовать вседельный снаряд и фальшивые бумажки.

— Куда только они его девают? — говорит он задумчиво. — И какого он

размера? Он ведь способен быть и с ноготок, и с чемодан.

— Я все узнаю, Иоанн.

Иоанн ходит за мною всюду. Мы решили надеть пельменей, чтобы скотоводы, приглашенные в гости, от неожиданности этого зимнего кушанья перепились «до окаменелости». Когда они сильно напьются, но еще не потеряют сознания, я спрошу их о вседельном снаряде. Они осмеют его существование, мастер Иоанн поверит им — и, приведенный в ярость, угонит вместе с нами табуны!

Я стою у входа. Продано 8 билетов на 3 р. 60 коп. Полдень. Для начала хорошо. Мне весело, и я думаю, что не так-то плохо быть факиром, стоять у входа в балаган и смотреть на площадь, где цыгане пробуют лошадей, идет высокий коновал, увешанный всевозможными снарядами, и возле «стрелы» толпятся мальчишки. Солнце играет на «стреле» и на козырьке фуражки почтенного шулера Талыга.

Через площадь быстро скачет всадник. Он размахивает длинными белыми листками бумаги, и, только когда он проскакал, я пытаюсь понять, почему он так бешено гонит коня и почему скачет от почтового отделения, где собрался народ, которому высунувшийся в окно чиновник объясняет что-то. Соборный колокол гудит. К паперти рысят офицеры, которых сопровождают ингуши, покрытые, несмотря на жару, бурками. За ингушами скачут четыре телеги, плотно набитые городовыми.

— Забастовка, что ли? — спрашиваю я у проходящего мимо обывателя.

— В нашем городе забастовок не бывает, — неожиданно разозлившись, отвечает мне обыватель. — Тебе приказано забавляться, ты и забавляйся, а в казенное дело не лезь.

Обыватель поворачивает ко мне длинную голову, похожую на дыню, и говорит, сильно обнажая бурые зубы:

— Слякоть, облизьяна!

Его неожиданная брань, а в особенности то, что каждое бранное слово он сопровождает крестным знаменем, заставляют меня итти за ним следом. Я иду, он оборачивается и через плечо

ругает меня. Таратайка провозит мимо нас исправника. Нас догоняет грозный мастер Иоанн. Он смотрит на колокол, который гудит сипло и как-то спростонья. Лицо у мастера хмурое, и он, видимо, чувствуя большую тоску, спрашивает меня:

— Тебе отечество надобно, Сиволод?

— Размышлял бы ты о снаряде, а не об отечестве, Иоанн.

— Отечество тоже труда стоит. Вот я в Петербурге ученых видел. Они в бобровых шапках по Невскому любят гулять, а мы мимо целой ротой идем. Ученые они, учились долго. Они царя уважают, они этому учились. Они знают, почему надо убивать гренадерского полка запасного Ивана Михайлова.

— Кто тебя собирается убивать, Иоанн?

— Немец.

Степан Ломов, клишник, бежит рядом с нами, заглядывая к нам в лица:

— Семья-то готовится к представлению? — спрашиваю я его.

— Какое уж там представление, господин Савицкий. Манифест слушать надо. Это хорошо, брат, что мы стеклянный цирк не выстроили. Полопались бы от орудийного грома не только «верхние светлы», но и стеклянные фундаменты.

— Отчего полопаются?

— От немецких орудий, — отвечает Иоанн Михайлов. — Да ты что, не понимаешь?

Обыватель опять оборачивается и визжит:

— Чего он понимать способен? Ты посмотри на его лицо! Он еще к такому лицу лаковые ботинки обул!

— А ты не лезь в чужое горе, — вдруг озлившись, говорит мастер Иоанн. — Я вот тебе такую на морде облизыню выпишу, что ты сто лет будешь помнить балаганную работу.

Обыватель отскакивает. Заложив назад тяжелые руки и наклонив голову, грозный мастер степенно шагает к собору. Я иду за ним ошеломленный. Несмотря на яркий солнечный день, набат мне кажется темной и усталой тропой, по которой никто не хочет идти, но по которой идут, потому что больше идти

некуда. Вот, зачем мне например идти в церковь! Но куда я пойду, если сегодня мое представление отменено. И я бегу вслед за всеми, и, чем быстрее я бегу, тем страшнее, запутаннее эта набатная дорога, вязкая и глинистая, как проселок в осенние дожди.

Плечистый полосатый поп с усами, закрученными в кольца, не без одобрения поглядывая на сабли офицеров, читает нам манифест Николая II. Читает он плохо, в нос, хотя рот раскрывает старательно. Он размахивает левой рукой, в которой зажат носовой платок с красными каемками. В соборе тесно, горит множество свечей. Толпа молчалива. Поп делает паузы после каждой запятой, не обращая никакого внимания на точки:

— «Ныне предстоит уже не заступиться только за несправедливо обиженную родственную Нам страну... но оградить честь... достоинство... целостность России... положение ее среди великих держав, Мы неколебимо верим... что на защиту Русской земли дружно и самоотверженно станут все верные Наши подданные...»

На паперти большоголовой городской раздает напечатанные манифесты. За его спиной наклеено широкое, бледное объявление о мобилизации. Возле объявления стоит толпа. Мне обидно думать, но я все-таки думаю, что полезнее б им читать с таким вниманием мою афишу, нежели царскую.

Я бегу в балаган.

— Раньше б ехать нам в Индию, Петр!

Петр щелкает шамбарьером с рауса. Нубия стоит без узды. Петр спрыгивает на землю и бросает туда рваное свое пальто.

— Индия сама по себе, Нубия сама по себе, а самое главное — смелость. Раз, два, три, алле!

Нубия хватается зубами рукав пальто и помогает Петру натягивать его.

— Зачем ты ее выучил этому, Петр? Разве ты надеялся получить манеж?

Он опять щелкает бичом:

— Как ты полагаешь, существует ли разница между манежем Урала и манежем Польской земли? И различит ли

Нубия мое пальто от моей казачьей шинели?

— Ты собираешься на позиции?

— Если вдуматься, то, по совести говоря, трудно теперь, Всеволод, когда в городе военное положение, война и вдобавок ингуши, — угнать табун. А если я пойду в добровольцы, то я этим самым уплачиваю свой карточный долг. Разве скотоводы смеют удерживать меня? Конечно дорога в Берлин — не дорога в Калькутту, но кто предскажет далекие рейды казачьих дивизий?

Он скрестил руки, закинул назад курчавую голову и сказал, улыбаясь:

— Юный доброволец, казак и дворянин, Петр Захаров, вступил в действующую армию. «Ура» Петру Захарову!

Он любовался собой, лихими поворотами шамбарьера, гулом соборного колокола и тем, что, уходя на войну, он закончит успешно свое учение, хотя и не окончит Омского сельскохозяйственного училища.

— Нубия, алле!

Нубия легла на землю.

— Для казачьих походов годится?

Петр Захаров решал все затруднения быстро и умело. Едва он услышал слово «война» он, еще не зная, с кем предстоит воевать, уже мысленно уехал на войну. После этого он стал обдумывать, почему же все-таки он решил уехать, и тут вышло, что это единственный способ выручить себя и своих друзей. Скотоводы отпустят конечно не только героя, но и его приятелей, а карточную игру можно возобновить и на фронте.

— Все вы, дорогой мой Всеволод, несомненно попадете на войну. Вам будет трудно оторваться от своей профессии, и вы еще растеряетесь, а ты знаешь, как опасна растерянность на войне. Я же к тому времени освоюсь и смогу достойно встретить вас.

— Надо бы вначале подумать о смысле войны, нежели ехать.

Я вспомнил, сказав это, письмо, полученное от моего отца. Я вынул конверт, но лицо Петра Захарова так сияло, он был так доволен своей смелостью, что я положил письмо обратно. Кроме того, на середину площади выехали офицеры, которые проверяли коней. Ското-

воды стояли рядом с ними, и тогда нам стало понятно, зачем пригнали в Ишим эти киргизские табуны.

Офицеры одеты в голубые мундиры. Пуговицы и галуны отражают солнце весьма тщательно. Алешка Жулистов, увидев это галунное сияние, раскрыл рот и пошел к офицерам.

— Оказывается, Всеволод, скотоводы-то предусмотрительнее нас. А мы еще посмеивались над ними. Я уважаю людей, которые видели впереди себя войну, Всеволод. Война, Всеволод, дает такое количество движений, которых ты не испытаешь нигде. Мне нравятся животные, в частности кони. Там я увижу множество животных. Я буду им помогать, властно передвигать их! Война, Всеволод, — это смелость и щедрость. Там даже смерть, и та щедра. Там проявляются лучшие качества русского народа! Надо же наконец подумать о том, что я русский.

— Ну, какой же ты русский, Петр?

— Нет, я русский. Это ты, Всеволод, индус, а я русский.

— Но ты тоже ехал в Индию?

— Я ехал из любопытства, а ты, Всеволод, ехал на родину.

Он улыбался всем своим пряничным лицом, поправляя свои песенные русые кудри и был чрезвычайно доволен тем, что о России думает сейчас так же, как и все. Смеясь, он смотрел в хмурое лицо Иоанна Михайлова, который, как для работы, стоял, приготовив фартук и мешок с инструментами.

— Хотя ты и не дворянин, Иоанн, но тебе надо бы порадоваться тому, что Россия охвачена сейчас смелостью.

Лицо мастера Иоанна было неподвижно, и серые губы его едва шевельнулись, когда он сказал:

— Моему году на пункт приказано итти.

Он думал о чем-то напряженно. Эта мысль как бы запахнула его лицо. Чтобы к нему не очень приставали, он всем говорил:

— Моему году на пункт приказано итти.

— А как же наши представления, — спросил я, — навсегда отменяются?

Петр засмеялся.

— Глубокая мысль, Всеволод. Представление отменяется! Казалось бы, пустиак, но я прошу тебя вдуматься. Миллионеры-скотоводы прогорели на «XX веке» так же, как прогорели и мы, обыкновенные балаганщики. Прошу запомнить, Всеволод, что война принесла нам победу над скотоводами! Они думали — выиграли, балаганщики будут теперь служить. А кто будет служить, когда всех мобилизовали?

— Их-то не мобилизовали?

— Кого их?

— Их! — громко воскликнул Иоанн Михайлов. — Их, которые при снаряде! Значит, снаряд при них останется? Они от войны откупились скотом, и снаряд я опять не получу?

— Нет такого снаряда, Иоанн, — сказал Петр Захаров. — Если б они имели снаряд, зачем им скупать скот? Они бы напечатали денег...

— От начальства во время войны деньгами не откупишься, ему от купцов требуется снаряжение. Есть у них снаряд! Этот снаряд печатает не одни деньги, он и соображения создает. Вот ты, Петр, превзошел все науки, всех ученых знаешь по именам, ты даже коновальскую науку вытвердил, она самая трудная на земле, наши коновалы приобретают ее не меньше, как к сорока годам, а тебе и двадцати нет, а ты знаешь конские пороки и достоинства лучше любого пятидесятилетнего коновала. А все-таки никакой пользы от наук для тебя нету, а шагаешь ты, как простой рядовой, на войну, хотя и говоришь, будто ты доброволец. Так! Теперь посмотри на купца, на скотовода. Он тебе наставит этот вседельный снаряд на коня, посмотрит в дырочку и увидит этого коня и снаружи, и изнутри, как тебя и жена твоя никогда не увидит и не поймет! В снаряде самое главное — это надо уметь видеть отверстие.

Как бы пытаясь остановить движение своего тела, которое повиновалось приказу о мобилизации, он положил мешок с инструментами возле своих длинных ног. Он переминался с ноги на ногу. Ноги его спешили. Тогда он положил мешок на носки сапог. Он стоял неподвижно, высокий, мускулистый и, вытя-

нув к нам втулкообразный свой подбородок, говорил с тоской и злостью:

— Где теперь мне этот снаряд разыскивать? Если царь приказал, ученые подтвердили, значит, пора мне отправляться на войну. Перед отъездом девицу будет мне эту повидать...

— Шадринскую?

— Шадринскую. Да вряд ли ее увидишь, воинские начальники в любовь не верят. С фронта тоже не скоро вернешься: гвардию двинут первой против немцев.

Он выпятил грудь, стукнул в нее кулаком и гордо сказал:

— Гвардия всегда идет первой!

Гордость быстро исчезла, и он опять проговорил грустно и тихо:

— Написать ей письмо, что ли. Напиши-ка, Всеволод. Кто знает, найдется ли такой письменный на фронте, который так быстро пишет, как ты. Вот куда ты поднялся: без всякого снаряда составляешь письма.

## 25

Узнав приказ о мобилизации, грозный мастер Иоанн еще сильнее полюбил бледную дочь кожевника Измалкова. Он теперь не скрывал этой любви. Неподвижно стоял он на раусе, глядя в ту сторону, где, по его мнению, находился Шадринск. Он глядел и не мог наглядеться. Он поминутно оправлял платье, как бы собираясь итти, переступал с ноги на ногу и сдержанно ударял кулаком о кулак.

Мне жаль грозного мастера Иоанна, жалко его и Петру Захарову. После того как я согласился написать любовное послание мастера, Петр шепнул мне на ухо, чтоб я писал подольше. Петр побежал к скотоводам.

Иоанн Михайлов принес длинный лист бумаги. Мастер стоял возле меня, нахмурившись и натужившись, как всегда натуживался он перед тем, как приступить к большой работе.

И в тени было попрежнему нестерпимо жарко. Иоанн Михайлов стоял в пиджаке, в фартуке, инструменты блестя у него в руках.



— Пиши: «Драгоценная... мы все живы и здоровы, чего и вам желаем. Еще кланяемся мы отцу вашему...»

Он думал долго перед каждым словом. Он положил инструменты на землю, снял фартук.

«Еще кланяемся мы...»

Фартук метался из руки в руку. Превратив его в комок, он кинул его себе под ноги и, схватив мешок, быстро переложил туда инструменты. Мешок загремел, голос у него тоже гремел, но все-таки он ничего не смог придумать! Он писал то же самое, что писал домой, когда служил еще в армии, когда жива была еще его мать и не было невесты. Он писал то, что множество лет множество солдат писало домой. Хотя он еще и не явился к начальству, но он уже сообщал, что начальство у него хорошее, не обижает. Иногда он отскакивал, взмахивал мешком над головой, и мне казалось, что мастер Иоанн сейчас скажет новые слова, но этот белый четырехугольник как бы держал его мысли в тех пределах, дальше которых в казарме не приказывали выходить; тогда я думал, что как бы он по ошибке не спустил инструменты на мою голову!

— «Еще кланяюсь»? Нужно, Иоанн, писать не о поклонах, а о тех чувствах, которые ты к ней испытываешь.

— Которые я к ней испытываю?

— Да, все описывают чувства, которые испытывают к любимой.

— Что я испытываю, она и без того должна догадаться! Если я кланяюсь всем ее знакомым или папаше, значит, я не зря кланяюсь. Тут вот ты записал Евграфа Николаевича. Я ему тоже кланяюсь! А он мне должен семьдесят рублей, и работу я эту делал ему в долг, ради уваженья к нему. Или вот Александр Максимович Симонов, он — кассир в казначействе. Я ему тоже в долг железный ходок сделал, он ей родственник. Одни обиды и насмешки получал я от него!

Он достал из мешка редьку, отрезал ломоть и посолил ее из деревянной са- модельной солонки. Жевал он редьку с отвращением, подняв голову кверху, к пустому и невероятно жаркому небу.

— Чувства наши, Всеволод, не клейстолярный. Не умеем мы с ними обращаться: напишешь, — она все-таки барышня, у ней, глядишь, от обиды насморк произойдет.

— Тогда давай, Иоанн, я сам придумаю.

Мастер отбросил редьку и побагровел.

— Ты надо мною, Всеволод, не смейся! Все равно тебе меня не побороть. Ты пиши, что тебе приказываю, в чувствах ты, по-моему, не разбираешься. И что ты, если вдуматься, за человек? Какие в тебе могут быть чувства? Казак ты, не казак, — стекла на глазах носишь, мещанин ты, не мещанин, — водку не пьешь. Пиши: «Еще кланяюсь многоуважаемой Анне Григорьевне...» Это вдова. Фамилия у нее Половинкина, одноэтажный дом у нее, рядом с Измалковыми. Тоже гадость большая! Иду мимо, она постоянно смеется, будто одежда у меня такая, что не способна даже греха прикрывать. Пиши: «Еще кланяюсь дорогому Павлу Андрониковичу и жене его Катерине Илларионовне и деткам их — Вере, Самсону, Васе, Анастасии, Параскеве, Ефиму, Андрею и племянникам ихним Ананию Кузьмичу, Ивану Егоровичу и матушке ихней Ирине Хрисанфовне и сестрице ихней троюродной Зинаиде Васильевне и ихнему троюродному братцу Варфоломею Никитичу с супругой Ксенией Васильевной, а также ихнему квартиранту Петру Филипповичу и ихним друзьям Михаилу Максимовичу, Елене Макаровне, Андрею Сергеевичу...»

Я писал тщательно. Письмо лежало передо мной на доске, и для того, чтоб писать быстрее, мне приходилось наклоняться очень низко, опираясь всем телом на локоть. Иоанн тщательно следил за движением моей руки. Назвав фамилию, он повторял ее несколько раз, но вскоре возвращался к ней, чтобы проверить, правильно ли я написал.

Когда я кончил письмо, мастер долго рассматривал его со всех сторон. Затем он отошел в сторону, осмотрел его издали и велел мне перечитать. Я его перечитал несколько раз. Этого ему показав-

лось мало, и он дал прочесть письмо клоуну Щукину, хористке Скуковой и графологу Тиунцеву. У тех тоже имелось свое горе, мобилизовали и друзей, и родственников, но, страшась огромной, напряженной фигуры грозного мастера, взметнувшего над ними свой втулкообразный подбородок, они поспешно брали письмо.

— А ты не торопись, не торопись,— говорил мастер.— Читай подробно.

Балаганщики, дрожа от злости, исполняли его требования. Мастер, прослушав последний раз письмо, вложил его в конверт и заклеил столярным клеем. Он взял конверт двумя пальцами за краешек и приказал мне итти за ним.

Мы долго ходили по Ирбиту, разыскивая подходящий почтовый ящик, так как все почтовые ящики казались мастеру Иоанну сделанными недостаточно крепко. Стоило ему легонько постучать рукой, и ящики либо трескались, либо вдруг обнаруживали щели, из которых сразу же выпадали письма. Тогда я предложил ему сдать письмо заказным на почту. Мастеру жалко было истратить четырнадцать копеек, но он пошел на почту. Ящик внутри почтового отделения оказался крепко сделанным, и мастер опустил туда письмо.

Однако мастер Иоанн не покидал меня. Ему, должно быть, казалось, что я способен написать такое письмо к дочери Измалкова, какое мне кажется правильным. Он ходил за мной до самого вечера. Ему в два часа дня являться на сборный пункт, а он отложил до вечера, потому что вечером ждали немецкий погром.

— Да здесь, в Ишиме-то, и немцев нету,— сказал я.

Иоанн обиделся.

— Как немцев нету? С кем же нам воевать? Они должны быть везде. Или шпионы, или другие неприятели.

— Какие такие существуют другие неприятели?

Он багровел:

— Ты надо мною, Всеволод, не смейся. Я—гвардеец и защитник отечества, а ты— просто та-ра-ра.

Ему нравилось это слово. Он широко разводил руками, неумело улыбался и по поводу всего непонятого говорил:

— Это такая та-ра-ра.

Он ужасно надоел мне, и я предложил ему пойти искупаться. Он не любил купанья, потому что считал, что нельзя на такое пустое дело тратить время, которое нужно для хорошей работы, а тут согласился даже пойти со мной к реке.

Возле обрыва, на корнях сосны, сидели Филиппинский и Пашка Ковалев. В реке Петр Захаров купал Нубию и еще какого-то высокого черного коня. Захаров сиял, весь покрытый водою. Филиппинский застегнут наглухо, но попрежнему торчит вата из подмышки. Пашка Ковалев напряженно смотрит на реку.

Я бросился в воду:

— Хорош конь!

Конь, фыркая, косо взглянул на меня. Он злобно тряс вороной своей головой, тело его вздрагивало, ему было давно выскочить из реки, но мешает удовольствие купанья.

— Близко не подходи, Всеволод, не обезженный. На нем и узда еще, как рана. Нубию держу возле него для психологии, авось, передаст, что я отличный хозяин. Лошади имеют свой язык, Всеволод. Свифт знал, о чем он писал! Но у этого коня, к сожалению, язык киргизский.

— Уташил, что ли?

— Когда скотоводы узнали, что грозный мастер Иоанн призван в гвардию, они ему пожаловали пол-империала золота. Иоанн, у меня в кармане штанов пол-империала лежит! Возьми. Когда они узнали, что я юный доброволец-казак, они подарили мне коня. Вот я его сейчас намучаю хорошенько в воде, затем сяду верхом, и он, изможденный, хочет, не хочет, а признает меня за хозяина. Опасаюсь одного, что он, не понимая духовных достоинств Нубии, еще подумает, будто это мы довели ее своими надсмехательствами до такого телесного унижения.

Он крикнул сидящим на берегу:

— Братцы, разрешите мне побеседовать с вами из воды, потому что если

конь мешает мне говорить с вами здесь, то на суше он постарается совсем оглушить меня.

Он сказал мне:

— Передай мне фуражку, а сам облокись и слушай. Я пылаю, Всеволод, и мое пыланье будет чрезвычайно полезно для твоего и ихнего будущего.

Мы уселись на корни.

Захаров подвел коня к берегу, но река тут оказалась глубокой. При его склонности к производству речей он понимал, что речь его затянется, но так как из-за жары ему не хотелось, чтобы его слушали стоя, то он, отведя вороного коня на мелкое место и взяв его за узду, начал свою речь. Он шел и говорил до тех пор, пока можно было идти, а когда вода поднималась выше подбородка, он плыл, держа уздечку в руке, а другой уцепившись за гриву Нубии, которая рядом с ним плыла без уздечки. Ее длинные уши свисали на сострадательные и мокрые глаза.

Вот почему он выговаривал средину фразы, — которая как-раз приходилась тогда, когда он ровнялся с нашими корнями, — низким и усталым голосом, как бы из ложбины. Случалось, что он в это время глотал воды, и тогда многочисленные обрисовывались в виде желтоватых пузырей. Конец фразы обычно он выкрикивал высоко, так как в это время он чувствовал под ногами дно реки:

— Я — русский дворянин, а вы... находитесь в положении мещан. Я люблю все русское, а слово... «мещанин» происходит от слова «мешанина». Мещане! Я обожаю все русское... радуюсь всякому проявлению русского гения. Я радуюсь этому проявлению и в тебе, Филиппинский, и в тебе, Ковалев, и в тебе, грозный мастер. Кто знает, может быть, в Индии ты тоже, Всеволод, проявишь какие-нибудь русские черты, которых в тебе еще нет. На прощанье мне хочется... просто в силу того, что я способен более быстро мыслить и разбираться в той чепухе, которая происходит вокруг нас, я хочу дать вам... несколько важных выдумок.

Я значительно сокращаю его речь, потому что он вставил туда огромное количество цифр, фамилий ученых, поэтов и промышленных деятелей, кроме конечно названий различных пространств, мимо которых и через которые когда-либо проходил русский гений. К сожалению, я забыл все эти фамилии и даты, и потому, что была сильная жара, и потому, что я волновался, так как вновь глубоко верил и уважал Петра Захарова.

— Предлагаю Филиппинскому: попробовать торговать теми запасами мяса, которые имеются и в нем самом, и во всей мясистой Сибири!

Он тронул коня, так как конь стремился вытащить его на сушу. Он опять поплыл:

— Павлу Ковалеву необходимо уничтожить... заразу, охватившую его. Зараза эта заключается в том... что он убежден, будто ему следует сбывать женщин туда, куда их никому не подобает сбывать. Я понимаю тебя, Павел, ты боишься попасть на фронт. Я советую тебе пойти в аптеку. Аптека, даже самая походная, никогда не бывает на фронте. Есть у моего папаша аптекарский генерал по фамилии Пышминский. У него бородавка на верхней губе, похожая на сливу. Они — друзья еще по кадетскому корпусу... Генерал живет в Перми. Пожалуй, я дам тебе записку, чтобы он тебя пустил в аптечное дело. Мастеру Иоанну... не искать вседельного снаряда на фронте... лучше ожидать моего появления. Я укажу, где он находится, Иоанн! Что же касается тебя, Всеволод...

Вороному коню надоело плавать, и он на самом глубоком месте вдруг резко повернул к берегу. Курчавая голова павлодарца надолго скрылась под водой, чтобы всем своим пряничным великолепием удариться в прибрежную грязь. Однако Петр Захаров необыкновенно бодро вынес это унижение. Он мгновенно вскочил на ноги, вспрыгнул на вороного коня, конь поднялся на дыбы. Размахивая мокрой фуражкой, Петр Захаров крикнул:

— А в общем война окончится через три месяца, Всеволод! Для тебя полез-

нее быть в балагане, ибо ты войну воспримешь, словно козел, которого поставили к овсу, а он перешел к соломе, потому что та, по его мнению, блестит веселее!

Здесь наша военная беседа прервалась, потому что вороной конь умчал Петра Захарова, а в городе послышался набат немецкого погрома.

Возле соборной площади из переулка нас встретил на взмыленном вороном коне Петр Захаров. Нубия скакала за ним. Он кричал:

— Совсем было поскакал к Екатеринбургу, но вспомнил, что случайно у гуртовщиков со стола захватил бумажник, так что пусть они не подозревают других. То, что позволительно воину, то никак нельзя частному человеку! Кроме того, Всеволод, твое пропитанье—лоб, а мое—сабля и руки. Еду в Екатеринбург. Там пресса на весь Урал, а здесь какая газета вместит мое геройство? Добавим также, что в Екатеринбурге сон — чудо, а ум — полчуда!

Он взмахнул бумажником, который утащил у скотоводов. Вороной конь принял этот бумажник за нивесть какой страшный предмет, рванул, ударил всеми копытами, и Петр Захаров надолго ускакал от нас.

Мы услышали рев толпы. Мастер Иоанн ринулся туда.

Толпа колыхалась возле низкой кирпичной ограды водочного завода. Сторож убежал, но никто не смог сорвать громадного замка с ворот, а в крошечную калитку нельзя проскользнуть, так как запасные напирала друг на друга. Гремели ведра, приготовленные для водки. Из переулков к заводу бежали, подтыкая юбки, женщины.

Мастер Иоанн закричал:

— Пропустите меня, я все замки умею раскрывать!

Голосу его сразу все поверили. Он еще ничего не пил, но лицо у него было пьяное. Его пропустили к замку. Он так ловко ударил колом, что не только замок, но и ворота распахнулись медленно.

Бурая толпа хлынула в ограду.

Двор завода странно большой и пустынный. В самом углу, возле карет-

ного сарая, сидело на телеге несколько ребятишек, которые с большим интересом ждали, когда толпа поровняется с ними. Хлопая в ладони и радостно крича: «Погром, погром!», они весело сообщили нам, что охрана и чиновники разбежались.

Мастер Иоанн сшиб еще несколько замков. Толпа кинулась вниз по ступенькам в погреб. Электричество потухло. Запасные, тяжело дыша, бежали по гулким ступенькам узкой лестницы, зажигая спички.

Впереди, подпрыгивая, мчался мастер Иоанн. Он хмельно вопил кому-то:

— Я тебе говорю, не взорвется! Мне ли не знать водочного снаряда?

Запах водки пьянил меня. Вернее сказать, таким я представлял себе людское опьянение: господство зеленоватой и рыхлой пустоты, так что человек делается поразительно легким. Казалось, дотронуся до меня пальцем — и я, покинув ступеньки, приподнимусь вверх.

Едкое дыханье запасных окружило и отрезвило меня.

Кто-то оттолкнул меня в боковой проход. Я остановился возле мокрой, прохладной, темной стены. Гул шагов замер. Пьяное равнодушие покинуло меня, и мне стало страшно. Я кинулся вслед за толпой. Я бежал вниз.

Внезапно я услышал позади себя булькающее бормотанье. Я остановился. Сверху на меня лилась со ступенек острая струя водки. Я привык к темноте, и мне казалось, будто струя эта увеличивается, утолщается, и было чрезвычайно странно и смешно, что я впервые присутствую при наводнении, но наводнение это водочное.

Должно быть, я спустился слишком глубоко вниз. Запасные разбили цистерны или открыли краны, где-то выше меня. Я кинулся вверх по ступенькам, навстречу водочному ручью. В боковых проходах, размахивая фонарями, сустились женщины. Они черпали водку ковшами в тусклые зеленые ведра. Какая-то низенькая старушка катала по коридору громадную бочку, а фонарь «летучая мышь» был привязан к ее шее.

— Бабушка, как же ты ее вверх поднимешь?

— Православные помогут, — деловито ответила она мне.

Ручей мешал мне идти. Я скользил и однажды упал, меня окатило водкой. Наконец я выбежал в низкое зало, где, по колено в водке, распевали запасные. Высоко у сводов горел фонарь, освещая пьяную толпу, которая пила водку, черпая ее пригоршнями. Краны были сломаны, и водка, наполнив углубление, которым обладало зало, переливалась через порог.

Запасный в длинной рубахе, с косматой головой и темным носом, чудовищно пьяный, упирался затылком в стену и, выставив вперед голый живот, по которому он бил мокрыми ладонями, пел ствратительным дискантом:

Полюбил всей душой я девицу!..  
Жизнь за нее готов я отдать!..  
Вирюзой разукрашу светлицу!..  
Золотую поставлю кровать!..  
С той любовью в вагоне поеду!..  
И ограблю я сто городов!..  
И с отвагой я вновь к ней вернуся!..  
И отдам это все за любовь!..  
Но, когда подозренье вкрадется!..  
Что красавица мне неверна!..  
Наказанью она подвергнется!..  
Содрогнется и сам сатана!..

Я с трудом пробрался к мастеру Иоанну.

— Вот не думал, что водка пену имеет, — сказал он. В голосе его чувствовалось томление. Как бы стараясь побороть себя, он выхватил из-за пазухи бутылку спирта, отломил горлышко ударом о каблук и вылил спирт в фуражку. — Освещения мало!

— Маловато, — закричали запасные. Они с хохотом смотрели, как он повесил фуражку на крюк и зажег ее. Погреб осветился дрожащим небесно-голубым пламенем. От этого страшного пламени и от того, что мог произойти взрыв, запасные совсем охмелили. Они срали, не уставая, о том, что «она» подвергнется ужасному наказанию, от которого «содрогнется и сам сатана», и было понятно, что «она» совсем не та «она», о которой говорится в песне.

Высокая баба появилась на ступеньках. Увидав пламя и пол, залитый вод-

кой, по которому плясали запасные, она вдруг высоко взметнула руки и закричала в страхе:

— Ванечка, миленький, встань, утешь!

— Пей, — отозвался из толпы Ванечка.

Повинуясь голосу своего мужа, который ее сегодня покидал, она прыгнула в лужу водки и стала пить горстями так же, как и запасные. Густое, глинистое равнодушие охватило меня. Я прислонился к стене. Спокойно смотрел я, как из фуражки капаят в лужу огненные капли. Фуражка раскачивалась, того гляди, упадет...

— Вот тебе и сомневайся, что снарядов нету, — бормотал возле меня мастер Иоанн. Из гигантских своих пригоршней он угощал какого-то низенького и широкого запасного, который, глотая водку, жаловался, что призыв сорвал у него весь успех сапожных дел. — Будешь починять сапоги на фронте. Что сапоги, милый? Я вот вседельный снаряд потерял.

Он выхватил из кармана деньги.

— Получайте!

Он скопил эти гроши, голодая, чтобы купить или подарок своей невесте, или билет, по которому он бы уехал в Шадринск.

— Получайте! Слышите вы! Пятаки, вместе с пол-имперьялом. Слышите?

Но никто не заметил этих раскиданных пятак. Неподалеку от нас дрались двое запасных, несколько человек танцовало, а часть упала прямо в водку и, приложив головы к стене, спала. По лестнице все еще бежали запасные. Рыча и ругаясь, они толкали, опрокидывали друг друга, черпали водку, пили и разбегались в боковые коридоры или еще ниже, в глубину подвала.

Мастер Иоанн положил мне руку на плечо.

Я согнулся под его раздумьем.

— Так тебе, значит, надобно отечество, Сиволод?

Лицо у него наполнено тревогой и безумием. Мне показалось, что он сейчас схватит меня и бросит под ноги к этим прыгающим с лестницы людям.

Голова моя кружилась. Тяжело дыша, я ответил:

— Ищу.

— Ищешь? А на фронт все-таки не идешь? Может быть, Петр про тебя правильно говорит, что ты не имеешь отечества? Перехитрить меня хочешь! Нет, Сиволод, тебе меня никак не победить. Оглянись на мои руки!

Он положил на грудь ко мне громадные свои руки. Испуганно я подумал: «Конец». Мне хотелось сказать ему, что обижаться он на меня не должен, если я понимаю по-другому его отечество. Но тяжелые его руки мешали мне дышать.

— Нет, тебе меня не победить, Сиволод.

От слабости и страха я закрыл глаза, но тут он внезапно схватил меня, поднял на руки и, высоко поднимая ноги, побежал к лестнице.

— Расступись,—кричал он:— Парню плохо!

Он расталкивал людей ногами, и, словно во сне, я видел, что люди мгновенно падали. Кто-то, ушибленный им, закричал и полез драться. Тогда мастер Иоанн, освободив на мгновенье руку, ударил кричавшего наотмашь, и тот шиб своим телом нескольких человек.

— Нет, Сиволод, тебе меня не побороть!

Воздух мгновенно оживил меня. Мне стало совестно, что я, как младенец, лежал на руках у мастера Иоанна. Щупая руками веселый и теплый булыжник двора, я, все еще не имея сил подняться, сказал ему:

— Твое отечество — рота. Иди к ротному и не пытайся размышлять о высоком смысле родины. Воинский ждет тебя.

— К воинскому успеху, Сиволод.

Нам следовало бы еще идти так дружно, как мы прошли эти несколько лестниц. Уже сейчас мы чувствовали друг к другу большое уважение, но помешали смущение и гордость, свойственная обоим нам.

— Успею!

Мимо нас бежала баба в розовом платье и желтых чулках. Она тащила, обняв, три четверти водки.

— Мужика надо обнимать, баба. Не ту посудину!

Мастер Иоанн выхватил у бабы четверть. Остальные тоже выскользнули и с приятным легким звоном разбились о булыжник. Бабе, видимо, казалось законным то, что водку отбирают у ней, — она, даже не взглянув в лицо мастера, повернула обратно. Мастер Иоанн сбил ногтем сургуч, вышиб пробку и прокинул струю сивухи к себе в рот. Он пил, громко хлюпая губами, закрыв глаза, и мне было невыносимо тяжело смотреть на него. Что я мог ему сказать? Зачем ему моя Индия? Да и вообще, кому она нужна теперь?

## 26

Алешка Жулистов, оказалось, уже рассказывал в балагане, что после ухода моего в Екатеринбург я увел оттуда в Индию целый полк разбойников. Он путал мои беседы с походами Наполеона и с проектами Павла Первого. Наполеона он переселил в Омск, сделав его казачьим генералом. Несмотря на голод, ему снились хорошие, певучие сны. Увидав меня, он очень обрадовался и, смеясь, сказал:

— Теперь ты мне во сне перестанешь сниться. Теперь я буду все пишу во сне видеть, она там пушистая, легкая, такой формы, что и есть невозможно!

Узнав о войне, он вышел на раус и долго смотрел на небо. Облака шли над ним, наряженные в пышные формы, воюя между собой. Пожив в балагане и порасспросив зрителей, он пришел к убеждению, что русские мундиры лучше прочих на земле способны пройти через все «океаны», которые он особенно уважал, потому что океаны наряжены в самую красивую форму.

Он спросил меня:

— А через какие страны могут пройти еще русские?

Я назвал ему множество стран. Он замолк и опять уставился на облака:

— А какой еще океан есть?

Ему казалось, что через страны уже шли русские войска с развернутыми

знаменами, с барабанным боем, похожим на гром, и впереди этих войск шагают усатые офицеры, залитые в золото:

— Великое множество подвигов совершится для России. За каждый подвиг пожалуется свежая форма. Где совершаются эти подвиги, Всеволод? Ты мне скажи точно. Какие полки пойдут и в какие страны? Мне надо выбрать самый лучший полк с лучшими подвигами.

— Уходил бы ты тогда вместе с Петром.

Но он уже все перепутал.

— И через Курган пойдут непременно. Через Курган все пути проходят! А я, Всеволод, Курган-то покинул. Значит, не увижу прохода победных войск?

Рядом с ним корзина с голубями. Он держал голубей, дабы их не съели балаганщики, у поповского сына. Сын ушел в добровольцы, поп рассердился и потребовал, чтобы его избавили от «голубинового воспоминания».

Голуби ворковали, потряхивали перышками. Алешка Жулистов длинными пальцами трогал ивовые прутья корзины и говорил:

— Подарить государству? Пускай носят почту. На крылышках отмечу черпильным карандашом: Лева Лоцевский. Вот, жалко, не догадался, надо бы Петру Захарову дать несколько штук. Он увез бы их на фронт и оттуда сообщил бы нам сразу же, в тот же день, какую форму ему выдали за подвиг.

Облака скрылись. Небо стояло над нами цвета дымчатого топаза. Алешка загрустил:

— Прощай, Всеволод!

Он привязал короб на спину. Мне казалось, что Алешку влечет призрак какой-то необыкновенной, сияющей формы! Голуби за его спиной сидели смиренно, словно зачарованные этим видением. Он уходил в жаркий и высокий день по жаркой и прямой дороге. Дорога была совсем порфировая, так что на нее трудно было смотреть. Мне было приятно, что Алешка уходит, что он уносит вместе со своим коробом другой ко-

роб — чудесных рассказов обо мне и моих подвигах.

Уход Алешки Жулистова сразу превратил балаган «XX век» в пустой, темный, пахнущий керосином и крысами сарай. С омерзением смотрел я на Пашку Ковалева, который, вдруг ожившись, подолгу стал шептаться с шулером Талыгом.

Пашка Ковалев получил три телеграммы. Размахивая бумажками, он ласково сказал мне:

— Вот теперь ты меня не осудишь. Всеволод. Мамаша ринулась скот закупать. Надо бы подумать ей об этом раньше, но все же что-нибудь да успеет.

Он слушал, как сестры Ломовы расхваливали скотоводов. Скотоводы, узнав, что со стола пропал бумажник, сообщили, что бумажник подарен ими Петру Захарову. Ломовы считали, что скотоводы поступили «высоко», да и Петр Захаров тоже поступил правильно: надо же ему экипироваться.

Я разговаривал с сестрами, держа в руке большую репу, с которой снимал тонкие ломтики. Я держал эту репу не для возобновления разговора возле замка Синей Бороды, а потому, что мне хотелось есть. Женщины балагана не снились мне! Эти почти бестелесые от голода фигуры, которые как бы уже прикрывает земля и пепел, эти едва наведенные черты, словно природа уже предвидела их раннюю гибель, казались мне удивительно бесстрастными и тоскливыми. Разве водка иногда заставляла их одеваться в чужую печаль и в чужую радость! Горько видеть, что одежда спадает с их тела такими складками, как она способна спадать только с прилавка. Я сказал им:

— Тяжелая штука! Можно утешиться тем, что после мобилизации легче найдется работа. Но я не знаю, что тяжелее, потерять ли любовь, или найти работу. Не берусь утешать вас, но мне хотелось именно сейчас прочесть вам стихи, не покажись они мне во сне!

— Репка, — воскликнул язвительно Пашка: — в руках репка и на языке. Нет, не заменить, Всеволод, тебе Петра Захарова!

— Тебе бы в ущелье жить, Пашка.

— Читай стихи,—сказала Платонида.

Я прочел стихи. Удивительно, но, прослушав эти стихи, Пашка прослезился. Должно быть, ему было очень тяжело. Он боялся войны, и он спрашивал по телеграфу Ковалиху, где ему и как спастись. Он перечитывал письмо Захарова, чувствуя, что письмо это увезет его в Пермь к «аптечному генералу». Он боялся этого генерала! Когда я дочитал стихи, Пашка утер слезы, перекрестился и сказал:

— Поп блудит и сбивается с дороги, глядя на чужой хлеб. Вот тебе моя репка, Всеволод. Кабы не такие размышления о попах, я бы давно молился в монастыре. Ты говоришь — живи в ущелье. А если меня здесь, на открытом месте, поминутно жалят, то что же мне придется встретить в ущелье?

Филиппинский тоже страдал. Он смотрел на блестящую деревянную ложку и говорил:

— Жена сообщила из Екатеринбурга — «выезжаю». А что, с чем я ее встречу? С ложкой? Вот Петр Захаров правильно говорил, что нет тебе почета от жены, потому что она видит твое тело, и от родственников, потому что они знают твои мысли. Еще бы не видеть ей моего тела, когда стоит мне поднести ложку ко рту, как оно начинает извиваться.

Не столько поразило Филиппинского изречение Петра, сколько мысль о том, что Петр дал правильный совет: торговать мясом. Все же Филиппинскому не хотелось покидать балаган. Странно, он любил его! Его прельщала эта копеечная таинственность, этот оркестр из мандолин и гитары и слепого гармониста, эти жестяные полусферы, которые окружали керосиновые лампы возле края сцены, эти акробаты, жонглеры, чревовещатели, куплетисты! Ему хотелось владеть этим балаганом, и он с радостью согласился, когда скотоводы предложили ему в аренду «XX век».

Филиппинский страдал: одобрит его жена затею или нет. Круги, описываемые его ногой, ложились возле меня.

— Петр Захаров — герой. Ему войсками распоряжаться, а не балаганом. Тебе, Всеволод, надо составить программу покрепче. Что шпаги! Смешно. Каждому известно, что их делают в Шадринске. Тебе надо сделать черный кабинет, Всеволод.

— Что шпаги? — спросил я, разглядывая свои шпаги: — Шпаги — это смешно для тебя, но мне грустно. На афишу войдет твоя подпись, Филиппинский, но мой номер прошу заменить другим.

— В добровольцы уходишь?

— Я с детства числюсь добровольцем, только я завоевываю совсем другую страну, чем вы.

Дорога оживленная. Распевая унылые песни, в Екатеринбург шли запасные. Тянулись длинные обозы. Веза обгоняли веза, пьяные «слегка» — чересчур пьяных. Знакомые и незнакомые перекликались, расспрашивали о хозяйстве. Иногда казалось, что люди едут на большую ярмарку, но вот заплакала баба, и ее плач заглушается дикой песней, гоголем взводных шуток, причитаниями матерей.

Почтенная бабушка, рассматривая мои успешные шаги и мою молодость, спрашивала:

— Доброволец?

Мне хотелось есть, да и не было большой лжи, если понимать слово «доброволец» так, как я его толковал Филиппинскому:

— Доброволец.

— Родителей нету, что ли?

— Родители есть.

— Вот плачут-то, сердешные.

Меня угощали пивцей и водкой. Когда я отказывался от водки, ко мне начинали чувствовать почтение, предчувствуя в моем воздержании чудовищные подвиги, кончающиеся смертью. Меня спрашивали:

— Война-то быстро пройдет?

Приходилось отвечать петькиными словами:

— По утверждению военных специалистов, война затянется не больше, как на три месяца.

Меня подсаживали на телегу, хлопали по плечам, кричали:



— Раз не пьешь, так ешь!

Я пьянел от пищи, от предстоящих боев, от знамен русской славы, которые уже витали надо мной, от великих битв, которые предстоит увидеть на полях Восточной Пруссии и в Карпатах. Я совсем охмелел от треска гармошек, которые шли рядом с телегами, от оркестров пожарных команд, которые встречали запасных возле волостных правлений. Поэтому, не очень торопясь в Екатеринбург, я шел окружным путем, часто сворачивая в сторону, и вместо десяти километров, которые мне следовало бы пройти, я крутил по пятьдесят или по сто. Я шел от одного завода к другому, и, если лесистая дорога казалась мне мрачной, я выбирал шоссе в безлесной горной долине. Профессия добровольца казалась мне приятной. Зачем торопиться? Война дело серьезное, всегда успеешь умереть, а количество сражений мне мало привлекало меня. Кроме того, мне нужно просто-напросто поспать. Я отлично и долго спал, разложив возле себя костер. Если мимо проезжали воза, я спрашивал:

— Добровольцев среди вас нету? Могу составить компанию.

Мужики удивлялись моей бешеной храбрости и с большим сожалением отвечали, что добровольцев нету, но, чтобы вознаградить себя за знакомство с таким безумно храбрым человеком, они дарили мне множество пищи. Я лежал, ел, вставал, насколько это требуется для человека, опять ложился и опять спал. Жаркое и безводное небо попрежнему качалось надо мной, пока я не почувствовал себя обладателем достаточного количества сил, необходимых для появления в воинском присутствии.

Вид Екатеринбурга, если присмотреться, поражал обилием царских портретов и церковных гимнов. Каждый день архиерей благословлял с амвона добровольцев. Пройдя мимо разгромленного винного склада и немецкого часового магазина, я как-раз уперся в соборную паперть с ее золотым крестом в архиерейской руке, покрытой малиновой парчой. Добровольцы стояли перед папертью на коленях. Архиерей, мяси-

стый и властный мужчина, рыдал от умиления.

Благодаря скушанной пище я был добродушен, и мне подобало б, согласно бесед с обозами, присоединиться к этой толпе. Однако я размышлял. Ну, добро был бы я религиозен, добро бы не вспомнил, как записывался мой отец в русско-японскую войну, добро бы на мне не было очков, что несомненно унижает казака, а главное, надо вспомнить, что в Екатеринбурге я человек подозрительный, подравшийся с двумя хозяевами и укравший револьвер.

«Ага, вы хотите быть добровольцем? Проверьте его гражданское состояние. Ага? По справке выходит, что вы, Иванов, спасаетесь от тюрьмы. Ага?»

Все эти обстоятельства заставили меня пройти мимо толпы прямо к вокзалу. Я сыт, но денег на билет я не имею. Движение аксельбантов, украшавших груди вокзальных жандармов, встревожило меня.

— Ты чего, Сиволод, здесь делаешь?

Я обернулся на этот тихий вопрос. На скамейке сидели в солдатской форме и с мешками трое карманников, ярмарочных подручных Талыга.

— Мобилизовали?

— Пришлое, — ответили они.

— Ну, под пушечный грохот легче в карманы лазить.

— Откуда в тебе таков веселье? Доброволец? — спросил белокурый воришка, которого мы именовали «Накрест».

— Чорт вам доброволец, а не я, — сказал я карманникам гордо.

Полагаю, мой ответ внушил им почтение ко мне, потому что лица их изобразили некоторую растерянность. Тогда я сказал:

— Еду в Петербург, где все выяснится. Устройте-ка.

Они скучали и поэтому высказали желание охотно помочь мне. Кроме того, им тоже нужны деньги на дорогу. Они решили посмотреть в карманы соседей, не валяется ли где-нибудь там билета до Петербурга. Мы обошли весь вокзал, высматривая тех лиц, которые, по нашему мнению, могли ехать в Петербург, но, к сожалению, все лица бы-

ли местного следования. Наконец нам удалось рассмотреть господина, упершегося в кожаный чмодан, с лицом, вытянутым на многие тысячи верст. Господин, вытаращив пробковые глаза, стоял в очереди возле кассы, так напряженно держа руку, как будто хотел взять билет на луну.

— Смотри, Сиволод, как это делается, — сказал белокурый карманник.

Я смотрел на его работу без особенного любопытства. К тому же револьвер беспокоил меня, то-есть, собственно сказать, он беспокоил меня всегда, но тут беспокоил в особенности. Стремительный господин купил билет, положил сдачу вместе с билетом в длинное серое портмоне и неторопливо отправил его в карман брюк.

Отойдя от кассы и, видимо, еще не доверяя себе, что он осмелился ехать в такое дальнее расстояние, господин со стремительным лицом полез в карман проверить, тут ли его бумажник. Лицо его мгновенно остановилось и стало до удивления бесформенным.

Господин шарил по карманам, причем обнаружилось, что их у него штук двенадцать. Белокурый карманник остановился возле:

— Потеряли?

Белокурый помогал господину рассматривать пол, и оба они старались всячески обнаружить на грязном цементе утерянный бумажник. Тем временем я размышлял о Петербурге. Стоит ли мне ехать туда? Не лучше ли вернуться домой и через Семипалатинск, купив там осла, направиться в Туркестан? Я поднимусь на Среднеазиатские горы, а затем перевалю в Индию. Но если я пойду этим путем, то, значит, я согласился с Петром Захаровым и с мастером Иоанном, что у меня нет родины. Это чрезвычайно странно, если человек не имеет родины! Может быть, увидав Петербург, столицу России, я пойму и почувствую наконец свою родину?

— Получай.

Карманники вывели меня на площадку, что возле вокзала.

Билет лежал в моей руке. Карманники отошли от меня. Зажав билет, дабы

его случайно не узнал подлинный владелец, я тем самым решил уехать в Петербург. Карманники вернулись. Лица у них были растроганные. Они обняли меня. Они со скорбью думали; удастся ли нам встретиться снова в балагане, где так приятно пахнет свежими сосновыми досками, блестят только-что вбитые молодые гвозди, где такие веселые и ловкие люди! Я поцеловал их. Пока они говорили мне ласковые слова, заслоняя своими спинами вокзал, я, взглянув на билет, проговорил:

— А почему же на билете напечатано, что он до Владивостока?

— Он и есть до Владивостока.

— Мне надо ехать в Петербург, а Владивосток совсем в другой стороне.

— Владивосток совсем в другой стороне, — сказали карманники. — Но что поделаешь, если в Петербург имеют желание ехать только те, у кого бесплатные билеты?

Я вновь поцеловал их. Я вспомнил кстати, что Петька Захаров говорил, будто Роальд Азгарц уехал с цирком Коромылова в Тюмень и что пани Марина рыдала возле циркового вагона. Вместе с билетом карманники на всякий случай выкрали мне и документы господина со стремительным лицом. Среди документов лежало удостоверение, что Федор Степанович Шугарев есть сотрудник «Тюменской коммерческой газеты», пишущий под именем «Провинциал». Не поехала ли пани Марина прощаться с Азгарцем в Тюмень? Он несомненно запасный. Не зайти ли мне в «Коммерческую газету», чтобы вернуть найденные документы, а кстати, предложить куплеты об екатеринбургских «камчугистах»?

— Еду во Владивосток.

Ворихи давно покинули меня, потому что их пришел провожать М. Талыг. Они хотели посоветоваться: стоит ли и как воровать на фронте?

Я вышел на перрон. Поезд цвета сердолика горел медью и свежей краской. В вагон-ресторане пили чай люди в цветных халатах, с круглыми лицами. Этот поезд не имел третьего класса, для которого только и годился мой би-

лет. Я мог бы обождать и следующего поезда, который приходил через полчаса, но мне нет смысла ждать, потому что когда я сунулся в карман, то билета в нем не оказалось, так же, как не оказалось на перроне ни карманников, ни Талыга.

И смешно, и обидно! Карманники решили, что я обладаю кое-какими деньгами, а может быть, нашелся покупатель на билет. К счастью, мой паспорт был припрятан булавками к внутреннему карману фрака, а револьвер они не осмелились украсть.

«Что такое родина? — размышлял я. — Вот сейчас Россия хочет уничтожить Германию. Что такое Россия? Это страна, в которой я живу и на языке которой меня ругают и кулаками, возвращенными в этой стране, меня колотят. Пища, которая произрастает на полях этой страны, проходит мимо меня, дети и женщины смеются надо мной. Всем понятно, что я не только должен уйти из этой России, но что она рада будет избавиться от меня. Что такое Германия? Еще меньше, чем о России, я знал о Германии. Зачем мне ее уничтожать, зачем мне стрелять в ее народ, в ее города? Я знал, что в Германии делают типографские машины, да видел еще марку «Гамбург» на моих шпагах, да помнил еще Ирму Шмидт, встреченную мною на павлодарских улицах, возле прогимназии. Встречал я, правда, немецких колонистов в Сибири. Это были смиренные и работающие мужики, которым нравились темносиние ситцы с белыми крапинками».

Все эти размышления были и грустны, и немножко страшны. Покачивая желтыми аксельбантами, мимо блестящего поезда ходили громадные жандармы, и, приглядевшись к ним, я сразу почувствовал тяжесть моего револьвера. Как-никак я стоял здесь один-одинешенек, не согласный со всей Российской империей, со всеми ее генералами, швейцарами, пушками, содержателями ресторанов, епископами, бандершами и даже с государственной думой! Я презирался и с уважаемыми писателями, и с царскими портретами, которые непрерывно таскали по улицам торговцы, и с

гимнами оркестров, и со звоном бокалов. Я спорил даже с теми подвигами, которые свершал русский народ на этой войне, хотя мне было слегка совестно, ибо, как вам известно, я не отличался особенным излишком смелости. Я спорил, а мимо меня на поля Галиции и Восточной Пруссии неслась вооруженная армия, проходили полки за полками, ржали казачьи лошади, на лафетах, прикрытые брезентом, стояли пушки, горели красными крестами тихие санитарные поезда, офицеры в гибких сапогах пили кофе, на ходу покупая папиросы, солдаты, размахивая чайниками, то и дело толкали меня, свистели кондуктора, ежеминутно раздавались третьи звонки...

Размышляя, я обошел лакированный поезд. Так как мне все равно не иметь билета, даже если следующий поезд придет и через пять минут, то я, увидев под вагон-рестораном длинный ящик с дверцей, у которой вместо замка сыromятный ремешок, я быстро влез в него. Ящик узкий, метра в полтора длины, пахнет в нем невероятно кисло, и внутри он весь скользок, словно сплошь вымазан маслом. Я схватился за сыromятный ремешок, прикрыл дверцу, и в ту же минуту, точно ремешок этот был рычагом, обладающим способностью двигать паровоз, поезд тронулся.

Приятно, черт побери, двигаться, — хотел было подумать я, но тут же огромное и чрезвычайно противное ощущение тяжести в боку охватило меня. Проклятый револьвер очутился подо мной! Так как я крепко держал ремешок, то я не мог перевернуться, пока поезд не остановится. Если б я вздумал перевернуться, то коротенький ремешок непременно выскользнул бы из руки, — и ящик выкинул бы меня под откос. Поезд вез какую-то восточную миссию и поэтому шел с достаточной скоростью, откосы же возле Екатеринбургa обладают таким количеством камней, о которое с успехом разобьется голова и не с таким разумом, как у меня. Причины, по которым отсутствовал во мне разум, как видите, были вполне серьезные, но все-таки мне хотелось ра-

доваться, и я старался думать, что грусть зависит также и от моего природного тяжелого характера, способного часто скорбеть тогда, когда все остальные люди, а в особенности мой отец, предаются неистребимому веселью. Вот отец мой например обязательно испытал бы от этой поездки колоссальное удовольствие, даже если б ему не пришлось об этом и рассказывать. Я же полагаю, весьма не одобряя себя, что если б на мою поездку в ящике смотрело десять тысяч человек, то я б не грустил, а испытывал удовольствие, тогда как мой отец мог это удовольствие долго хранить в себе и рассказать его десяти тысячам слушателей, да еще так, что получалось, как будто они ехали вместе с ним в этом темном ящике, пахнущем селедкой, и вдобавок могли наблюдать красоты уральской природы со всеми восходами и заходами ее многочисленных солнц, с коровами, дремлющими на лужайках, с томпаковыми лунами, дрожавшими над горами, с жирными медведями, которые раскачиваются на надломанных деревьях, с тетеревами, которые призывают своих подруг, с охотниками, которые, прищуря глаза, идут по узким тропам, с широко-ветвистыми сохатыми, которые выходят на поляны, покрытые звучными цветами. Я и колоть-то себя мог только перед толпой, тогда как отец мой, если бы поколол себя хоть однажды, собрал бы после этого своими рассказами такие толпы слушателей, каких мне не собрать, даже если я вонжу в себя лом. Великое ли дело наловить на уху котелок ершей? Стоит вспомнить, как отец мой ловил этих ершей. Должно напомнить, что казаки занимаются рыбалкой, а где уж пленить их описанием рыбалок, — надоели! Однако отец мой умел находить о рыбалках такие слова, что его рыбная ловля казалась столь удивительной, будто он каждый день вытаскивал золотую рыбку. Беседу о рыбной ловле отец мой начинал с утверждения, что краткость и красота речи состоит в выражении своей мысли возможно наименьшим количеством слов и подбором наиболее точных выражений. Ум стремится узнать! Нет ничего нетерпеливее

ума, когда ему предлагают ожидания. Однако краткость, а значит, и красота зависит много и от выражения вашего голоса. Вы можете сказать слово «рожок», а его поймут или как обделанный коровий рог, снабженный соской для кормления младенцев, правда, заменяемый часто стеклянной бутылочкой, или как маленькую трубу для игры, или как трубочку, на которой держится пламя зажженного газа. Ясности и красоте речи способствует осмысленная жестикуляция! Но для этой жестикуляции необходимы упражнения. Одним из лучших способов для укрепления жестикуляции отец мой считал рыбную ловлю. Вот почему моего отца увлекало не столько количество рыбы, пойманной им, сколько те положения, в которые она ставила его руку и его лицо. Выходило, размер удочки, а значит, и размер рыбы, как ни странно, могли управлять чувствами! Отец мой удочку на удилице предпочитал переметам, так как она разнообразит чувства. Напомню еще раз, что наши места, по свидетельству великого географа, «лежат в однообразной, лишенной почти всякой растительности, равнине на правом высоком берегу Иртыша с несколькими улицами небольших деревянных домиков», и однако эти места отец мой мог украсить так, что мы не сомневались в истине, когда он вместе с Декартом утверждал, что «обыкновенно ошибки наших снов состоят в том, что сны представляют нам различные предметы, точно так же, как представляют их наши чувства, но не в том важность, что ошибка эта дает повод сомневаться в истинности подобных идей: мы можем впасть в заблуждение, и не только тогда, когда спим, но спим ли мы, или бодрствуем, мы должны доверяться очевидности нашего разума, так как страдающие желтухой видят все в желтом свете, а звезды и отдаленные предметы способны казаться нам более мелкими, чем они есть на самом деле». Отец мой только добавлял, что очевидность нашего разума бывает доступна нам после долгих упражнений. Без упражнений вы будете понимать в плодах сладость только то-

гда, когда они созрели, а это чрезвычайно однообразно, хотя, — говорил отец, — в мире весьма мало однообразия, а все дело объясняется положением вашего тела в отношении к предмету, который вы созерцаете. Самое странное положение тела дает вам сон. Так как вы не способны всю жизнь спать, то следующее странное положение вашему телу придаст вам рыбная ловля. Здесь вы быстро достигнете очевидности! Отец быстро, скажем, брал ерша под жабры и подносил его на уровень своих глаз. Ерш трепыхался, и через его плавники тополя и песчаный плес представлялись голубовато-пламенными и чудесными. Отец радостно свистел. Свистел он не очень сильно, но с таким искусством, что ершу было трудно выносить эту радость, и он прекращал трепыхание, а иногда даже умирал от разрыва сердца. Надеюсь, что вам теперь ясно, какое значение придавал мой отец страсти, вкладываемой рыбаком в свое дело. Казалось бы, совсем простое занятие — плевать на червяка, но отец мой сначала плевал слева, затем справа, а в середине с такой яростью, что червяк под водой извивался много часов, пугая рыб положением своих колец, но так как среди рыб имеются смелые существа, хотя и не в достаточном количестве, что относится также и к людям, то рыбы хоть и ловились, но все-таки отец мой редко возвращался с котелком, которого бы хватало на уху. Если рыбы и не хватало на уху, то вполне хватало для рассказов. За столом, перед тем как обмакнуть ложку в эту жидкую уху, отец мой вспоминал множество красивых деревьев, виденных им во время этой ловли, или о том, какие необыкновенные узоры ветер оставляет на песке, так что, если к ним присмотреться, будь для того время, несомненно можно прочесть то чудесное письмо, которое все еще не принесла Губонька. Рассказы моего отца делали наш черный вязкий хлеб легким и съедобным. Он возмущался: только дураки могут говорить об унылости пейзажа! Какая унылость, когда скоро вокруг Лебяжьего вырастят эвкалипты, хлопок, кедры, тюльпаны, виноградники. Там, где теперь перека-

ти-поле и горькая полынь, протянутся развитые гряды, — и лозняк, годный пока для порки и для плетения «морд», перерастет в приятную виноградную лозу. Ведь вот заполнены же все огороды подсолнечниками! А известно ли вам, что подсолнечник из Мексики попал в Россию в 1830 — 40 годах? О, мой отец умел делать деревья даже из облаков, а этого материала везде достаточно! Иногда, когда обед был особенно жидок, он выходил на крыльцо и, показывая нам на облака, описывал свою удачу, когда ему однажды пришлось видеть через окно, как лакеи носят блюда. Порядок обеда по способу а la russe отличается от английского тем, что у нас кушанья на стол сразу все не подаются, а приносятся слугами постепенно одно за другим, по мере того как их кушают. Неудобен этот способ тем, что он требует много прислуги, и рассказ отца был иногда так великолепен, что даже облаков не хватало! — и нам в темноте приходилось слушать, как против хозяйки дома ставят суп в миске, а буфетчик, держа под рукой множество глубоких тарелок, наливает в каждую по одной суповой ложке и передает тарелки лакею, который разносит их гостям. По утверждению моего отца, казакам растительность потому кажется однообразной, что они переметы предпочитают удочкам! Чего тогда удивляться и жестикуляции, и краткости, и красоте отцовских рассказов? И правду сказать, у моего отца краткость фраз и жестов достигала иногда столь потрясающего воздействия, что не только женщины, но и поселковый атаман закрывали руками глаза, а чем он больше и ярче делал жесты, тем крупнее он ловил рыб! Вполне понятно, что возле конца рассказа он утверждал, будто якорь есть, в сущности, та же удочка, и если б на якорь делать наживу, то это было б более подходящим занятием для мореходов, нежели перевозка грузов. Капитан Лянгасов например сознался, что бросил свои занятия мореходством, когда однажды, спустив якорь в море, поймал на него такую рыбу, которой не смог вытащить. Как же после этого, — восклицал капитан, — уло-

треблять якорь на то, чтобы цеплять им за дно? Стыд! Отец мой не одобрял этого поступка капитана Лянгасова. Здесь, по мнению моего отца, проявилась славянская натура, как известно, развращенная на ловле сетями, а следовательно, и однообразием пейзажа. «Нужно кап. Лянгасову удить удой!» — и отец мой, склоняясь над удочкой, касаясь глазами воды, подсмеивался над убогим славянством, попадавшимися ему в монастырях и палестинах, над всеми этими великоруссами, поляками, сербохорватами, русинами, чехами, моравцами, болгарам, кто избалован и употребляет преимущественно сети, а не удочки! Однако мне казалось, что отец мой втайне радуется этому «сетевому» пороку, свойственному славянам, ибо другие племена он знал плохо и по доброту своей не брался судить о их пороках. Радовался он потому, что до тех пор, пока казаки обладают «сетевым» пороком, а значит, и ленью, его тщательно выработанная жестикуляция и краткость фраз могли прикрыть отсутствие подлинной повести, которую он тем временем продолжал искать. Но, радуясь своим легким победам, отец мой горевал о другом: «Если для Иртыша и достаточно моих речей, — говорил он, вздыхая, — если казакам довольно воскликнуть «ура», чтобы они поняли смысл движения как людей, так и коней, то остальные люди могут от меня однажды потребовать более ясной и глубокой повести!» Вот почему отец мой часто уходил на рыбалку, надеясь встретить там междометие более трогательное, чем «ура», и жестикуляцию более едкую, чем кукиш. Рыбалки, вследствие такого желания моего отца, делались все продолжительнее, а наша уха — более жидкой, так как в поисках яростных поз и жестов отцу моему приходилось скатываться по песчаным склонам, висеть на штанине над обрывом, стоять по горло в воде, а рыба тем временем плыла мимо! Отец мой впрочем эту жидкую уху ел с таким же удовольствием, как и щи станичного атамана, сваренные им в первый день пасхи, которые однако отвечат моему отцу еще не пришлось...

Вагон качало. Невыносимый звон поезда тряс меня, а было еще противно и оттого, что поезд норовил почаще ударять меня головой о стенку ящика. Скрюченные ноги сводила судорога. Сыромятный ремень от страха и волнения, которое казалось бесконечным, намок в моей руке.

Повороты круче и круче.

Крышка отходит. Образуется уже щель толщиной с палец. В щель несется пыль и мелкие камушки, напоминающие мне, что такое — если его осязать — бегущее мимо тебя пространство, что такое буро-грязная земля, по которой скачут тюлевые стрелы шпал.

Судороги сотрясали меня. Тело мое болело, а главное, по всем суставам разливалась непреодолимая дремота. Иногда я думал, что, пожалуй, лучше, если откроется дверка и меня выкинет, но вслед за тем я хватался еще крепче за сыромятный ремень не только пальцами, но и зубами, причем если я мог управлять пальцами и чуть-чуть разжимать их, то зубы мои никак не разжимались, что дало мне право подумать, — хотя и гораздо позже, — что человек при страхе не всегда стучит зубами. Дыхание мое спиралось, я засыпал, наполненный чудовищным напряжением, будто меня растягивали, пытаюсь сделать таким же длинным и таким же скачущим в липкую бесконечность, как этот поезд.

Вдруг вагон остановился!

Сотрясение было столь велико, что я разжал зубы, а пальцы еще раньше выпустили ремень. Дверца раскрылась. По нетерпеливому пыхтению паровоза было понятно, что поезд скоро отойдет. Хорошо, если ближайший поворот случится неподалеку от станции и я выкачусь под откос, пока поезд не успел разбежаться. Но я тотчас же вспомнил, что возле станции всегда наткано огромное количество столбов. Мне стало страшно. Я почувствовал себя худым и утомленным. В голове всплыла фраза, сопровождавшая меня всегда, как только ко мне подходило ужасное бедствие: «Не забывают никогда бедного Пима».

Фраза эта вызвала слезы. Мне не хотелось говорить, но вместе с икотой я сказал:

— Не надо забывать несчастного Пима!

Белая рука приподняла крышку ящика.

Я зажмурился от радости. Сильное, высокое и веселое солнце и медлительный и спокойный ветер равнин сразу убрали фразу о бедном Пиме.

Мне и зажмуряющему был виден длинный повар с розовым лицом и усами, посыпанными мукой, который спрашивал меня:

— Ты как сюда залез?

Не открывая глаз, я ответил ему:

— О поваре Софронии слышал? О Софронии Сосна? Так я его сын.

Этой жалкой ложью о знаменитом французском поваре мне хотелось приблизиться к сердцу, прикрытому белым халатом, которое могло меня оставить в ящике, тогда как мне хотелось, чтобы оно рассердилось и выбросило меня.

— Со сна? Как же ты со сна туда залез?

— Это какой город? Тюмень?

Но, к сожалению, я не мог сказать, что мне пора вылезти, тому мешал револьвер, который, воспользовавшись тем, что остальные боли моего тела несколько утихли, с чудовищной силой напомнил о себе, заставляя думать, что если повар выволочит из ящика, то он, револьвер, тоже выкатится, и тогда не миновать тебе, хозяин, суда и этапа!

Белый халат очень хорошо, должно быть, знал Софрония Сосну. Он необыкновенно растрогался тем способом езды в поездах, который употребляет сын шантанного повара. Он слегка прослезился и вымолил:

— До Тюмени тебе, милый, придется еще полежать.

Он закрыл мою крышку и повесил на нее замок, так что теперь у меня не было нужды держаться за сыромятный ремень, и все-таки я чувствовал неугасающую расслабленность всего тела настолько, что не имел сил ни перевернуться, ни вытащить револьвер. Отчетливо ощутить свое путешествие я сумел только после того, как меня ударило но-

сом в скобу, причем как-раз в то место, откуда выходил сыромятный ремень. Нос мой покраснел до тех жидких пределов, дальше которых эта краснота не идет. Краснота моего носа сопровождалась качкой, то-есть таким поворотом поезда, который походил на тошнотворную волну, взбрасывающую меня так высоко, что я видел явственно перед собою пологую пропасть, гладкую и кроваво-красную. Стоило этой волне исчезнуть хотя бы на мгновение, как меня со всех сторон охватывала такая боль, что я с радостью ожидал момента, когда вновь подкатится волна. К тому же было чрезвычайно обидно испытывать боль, потому что мне совсем не грозила опасность выкатиться из ящика.

— Ну, приехали, — сказал розовый повар, открывая дверцу.

В руке он держал миску супа, которым, видимо, хотел меня угостить. Поперек миски неподвижно лежал кусок хлеба. Эта хлебная неподвижность огорчила меня, потому что весь остальной мир все еще качался.

— Ты чего не вылазишь?

Повара испугало мое неподвижное молчание.

Я сердился, что он запер меня, и, чтобы поугаать его, я слегка прикрыл глаза, хотя, между прочим, я закрывал их также и от счастья, что поезд остановился, придя-таки в Тюмень.

— Ски? Ишь ты, все еще икает!

Повар схватил меня за плечо и, поддерживая коленом, бросил на землю. Вы отлично понимаете, что для поддержки меня коленом он должен был встать на одну ногу, а так как ему некуда поставить миску, бледность же моих щек и закрывшиеся глаза ошеломили его, то естественно, что суп опрокинулся на меня, и это обстоятельство позволило мне раскрыть глаза. Миска оказалась вместительной, а так как я лежал скорченно, то это способствовало тому, что суп окатил меня с головы до ног. На груди у меня остался ломоть хлеба и коротенькая баранья косточка, с которой уже срезано мясо. Баранина заставила меня вспомнить, что в поезде мчались монголы, несомненно имевшие дело с интендантами, может быть, даже

с теми гуртовщиками, которые выиграли балаган «XX век».

Поезд давным-давно ушел, а я все еще лежал скорченно, хотя уже пытался грызть хлеб.

Я немедленно выпрямился, как только увидел, что по перрону ко мне шагает мускулистый жандарм. Я вспомнил также о своем револьвере.

Перевернувшись через голову не для того, чтобы восстановить равновесие в кровообращении, а с тайной надеждой, что наконец-то этот проклятый револьвер выскочит из кармана подальше, я рассчитал, что, пока жандарм спешит за этим вещественным доказательством загадочного преступления, которое суждено ему открыть, я должен по необходимости найти в себе силы для бегства.

К сожалению, револьвер остался при мне, а кувырки и без жандарма восстановило мои силы, потому что я ударил со скоростью, несколько не уменьшавшейся от присутствия револьвера.

Быстро обойдя четыре тюменских типографии, я весьма удивился, что и при войне в Тюмени нельзя найти работу.

Дабы как-нибудь объяснить свой вероятно грязный вид, а также придать ему солидность, я говорил факторам, что свершаю паломничество в Индию, многозначительно добавляя, что дал себе некоторые зароки. Факторы, улыбаясь, говорили мне:

— Наведывайтесь. При первой же вакансии устроим. Надо помочь, раз мощи открылись. Газет я читаю много, а не слышал, что в Индии православные мощи обретаются. Вы из духовных?

— Архимандричий сын, — отвечал я. Шея у фактора багровела, и он говорил:

— Экая безобразная личность.

Я поселился на постоялом, возле площади, на которой играл цирк Коромыслова. Со злорадством я заметил, что цирк хотя и имеет еще лошадей, но уже формой своей и жалким бытом приближается к цилиндрическому балагану. Сержка Трошин, рыжий капельдинер, уже живет теперь не на хлебах, а на постоялом дворе и уже сразу узнал меня.

— Даже цирковая бедность способствует совершенствованию человеческого рода, — сказал он грустно.

Трошин пощупал мою мускулатуру, и то, что его мускулатура была богаче, слегка утешило его.

Из циркачей на постоялом проживали барабанщики и два китайца-фокусника. Барабанщики, худые, скелетообразные, желчные, ненавидели Сержку Трошина и всегда, когда чувствовали, что еще недостаточно устали от битвы в барабан, били моего бывшего друга. Барабанщики били сосредоточенно, ловко и тщательно прислушиваясь к тем ударам, которые под их кулаками испускало трошинское тело.

Старший барабанщик Грехнев удивителен был тем, что постоянно мучился затруднительным течением мыслей, как будто его голова обладала множеством порогов, через которые река еле находила сил перепрыгнуть, но он все-таки не верил этому. Поэтому он предпочитал больше говорить о внутренностях, о пищеварении, и если иногда говорил о чем-нибудь отвлеченном, то не дальше полотенца, флакона духов и бумажных ниток. Второй барабанщик, унылый Никанор Лазарев, наполнен злобой, развлекаемой постоянно льющейся изо рта влагой. Он радуется случаю, когда можно выместить на рыжем и важном капельдинере эту злобу. Третьим избивателем капельдинера был человек со стороны, Василий Логинов, безработный приказчик «Торгового дома Второв в Томске». У него голубые и юные глаза. Он понимает и радуется, что у него такие хорошие глаза, и все, кто на него посмотрит, тоже радуются этой удаче, но пройдут шаг—и забудут. Так он и шел — окруженный только на один шаг вниманием. Логинов во всем искал пользы для своих чувств. Когда я, достаточно насладившись унижениями капельдинера, закричал на них, что не позволю избивать, Логинов объяснил:

— Избивание во мне например развивает смелость. Кто знает, когда я потеряю надежду найти работу, то, может быть, на-смерть избыю всех старших приказчиков.



— Не приказчиков ты б избивал, а хозяев!

— Смелости еще нехватает, и примет- мяшают.

Примет у него множество: на шею болтается целая связка ладанок. Он всерьез, укладываясь спать, каждую ночь спрашивает меня:

— А как вы думаете, господин Иванов, тяжел у чорта хвост или легок?

Он ухмыляется странным своим мыслям:

— Усмешкою, господин Иванов, не откажешься от чорта и от бога. Нет, вы объясните, имеет ли хвост чорта такой смысл, как крысиный? Ведь известно, когда крыса прыгает, то опирается на хвост. Или же он болтается у чорта зря, вроде собачьего? А главное, к чему я вижу во сне не самого чорта, а только его хвост?

Он прислушивается.

За перегородкой крошечные «номер». Там, смеясь, раскладывают постели Елизавета и Серафима, жены китайцев. Они взвизгивают, перешептываются, и Серафима повторяет особым, жаждущим голосом, который не даром будоражит приказчика:

— Ой, кошмар! Ой, какая у него прилипчивость!

Приказчик сплевывает и говорит:

— Всякие имею амулеты, господин Иванов. Добился даже амулета от Григория Ефимовича. Однако и он не обладает таким амулетом, который способен защитить от баб. Ему также приходится горько, как и всему городу Тюмени, хотя его защищает весь царский двор. Заметили вы эти «колики», господин Иванов?

Еще бы не заметить! Город заполняют подводы. Они привозят мобилизованных запасных. Бабы сопровождают их. Мужики, переодетые в казенную, вдруг вспоминают те страдания, которые они испытывали в молодости на военной службе, когда еще при них не было жен. И подолгу лежат они с рыдающими бабами на телегах: возле казарм, в канавах, в кустах; особенно много вздыхает их возле кирпичной стены монастыря, куда с приказчиком Логиновым я бесплат-

но хожу обедать в постные дни: среду и пятницу.

Нам выдают миску грибного супа. Монах читает длинную молитву, несо- размерно объемную по сравнению с обе- дом. Я крещусь мелкими крестами, как бы стараясь этим несколько уменьшить подлость своей души, потому что нере- лигиозному стыдно обедать в монасты- ре. Монах, коренастый, в засаленной рясе, оборачивается ко мне и грубо кри- чит:

— Очкастый, не горох собираешь, крестись шире! С кем ведешь беседу? Господь бог позволяет тебе беседовать с ним!

Тут он вспоминает, что сейчас война, и начинает читать длинную молитву о даровании победы на поле брани. Часто нам не дают доесть обед, — купец за- кажет экстренное молебствие, и весь мо- настырь должен спешить в церковь. В таком случае коренастый монах говорит нам:

— Еще успеете наесться. Молитесь! Понять требуется, что сподобились из нашей епархии Григория Ефимовича выпустить! Кто знает, кем кому сужде- но быть.

Ему чудилась в глазах моих усмешка, и он грозил мне громадным рыжим пальцем:

— Тебе, очкастый, золоторотцем быть!

Если голод особенно мешал нам, при- казчик Логинов, нарисовав тоненьким угольком морщины, брал «подписной лист» и шел по магазинам. Этот лист, переписанный весьма аккуратно, изла- гал страдания приказчика, уволенного по ошибке Второвым. Мне казалось, что страдания эти изложены плохо. Этим я объяснял, что ничего не дают, и только почему-то однажды в мануфактурном магазине Тезяковых ему отрезали пол- тора аршина бархата. Бархат оказался гнилым, на толкучке за него и пятака не давали, мы подарили его Серафиме, жене фокусника Чин.

Но Логинов не верил в свой плохой слог. Тогда я сочинил свой подписной лист на четырех страницах. Подробно я рассказывал тяжелую жизнь факира и

дервиша, который в далеких степях Киргизии почувствовал себя родственником Индии, но тяжелые встречи и жестокие личные страдания помешали ему поехать в любимую страну, и он застрял в Тюмени. Дальше я нашел необходимым похвалить тюменским жителям и даже похвалил их город, в заключение сказав, что им, привыкшим к родным домам, здесь жить приятно, но мне чрезвычайно трудно и даже опасно. Мне необходима помощь! Я верну ее, как только доберусь до истинной работы и истинной родины.

«Милостивый государь, господин Коромыслов! Прошу вас внимательно прочесть эти страницы, в них столько правды, сколько вы вряд ли встретили за всю свою жизнь...» — так начинался мой подписной лист.

Я раздумывал, стоит ли мне идти к циркачу, но дело в том, что цирк вот уже как пять дней зарабатывал хорошие деньги на том, что поставил военно-пиротехническую пантомиму «Переправа сибирских казаков и сражение на реке Гнилой Липе». Мне казалось, что пантомима составлена не без участия Петра Захарова, потому что на одной любочной картинке, свежей и яркой, я видел, как казаки гонят немцев, а впереди казаков с пикой наперевес и с «георгием» на груди мчится неустрашимый курчавый павлодарец. Я узнал даже под ним разноцветную нашу лошадь Нубию. Мне было горько, что я не имею пятака для того, чтобы купить этот лубок. Несомненно, что, при его гениальном провидении, Петр Захаров знает, что я приду в цирк Коромылова, увижу пани Марину и получу от нее письмо моего друга. Нельзя обижать предвидение удивительного человека! А помимо всего прочего, мне непрестанно хотелось есть, и было бы совсем глупо, если «сибирские казаки», хотя бы цирковые, не накормили меня. Правда, Сережка Трошин давал мне иногда утром ломоть хлеба и чашку молока не потому, что сострадал мне, а в надежде, что я изобью барабанщиков. Он отлично помнил грабеж, который некогда возле кинематографа «Заря» мы совершили с ним!

Сережка Трошин встретил меня возле дверей цирка. Голос у него опять важный, грудь выпяченная:

— Вам кого?

— Мне господина директора.

— Он принимает просителей у себя на квартире. Не затрудняйте движение, господин. Цирк способствует совершенствованию человечества, а вы, упиравшись в двери, мешаете другим наблюдать это.

Я быстро нашел квартиру господина директора.

В маленьком коридорчике по свежекрашенным желтовато-бурой краской полам пола, очень напоминавшим ту землю, где скакали, согласно плакату, сибирские казаки, предводительствуемые моим другом, вышла горничная. Она стряхнула пыль с чистого передника и сдула пушинку с белого воротничка.

— Передайте, пожалуйста, подписной лист.

— Готово-с, — сказала она, необыкновенно быстро вернувшись.

Горничная дула на поднос, на котором лежал гривенник, слегка звеневший, — видимо, горничную тревожили грязные фалды моего сермяжного фрака и узкие лаковые ботинки, которые вызывали боль и страшные гримасы, похожие на рубцы, пересекавшие мое лицо! Я пощупал гривенник:

— Где описание моей жизни?

— Описание вашей жизни осталось у господина директора, — ответила горничная, робко дуя на поднос.

Эта ее робость вызвала вдруг во мне то напряжение, которым мучились мобилизованные мужики. Я держал гривенник в руке, смотрел на ее теплое, творожного цвета, лицо, и мне не хотелось уходить. Коридор так приятно сиял, и так приятно сняли робостью ее глаза, и дыхание у ней было такое приятное. Я размышлял: бросить гривенник или отдать на-чай? Если отдашь на-чай, то горничная примет тебя не за страдальца, а просто за шутника, но, с другой стороны, в достаточной ли степени мой взгляд вызвал в ней то «мужичье» напряжение, которое позволя-

ло бы уцелеть моему гривеннику. Насытюсь ли я?

Я ухмыльнулся и положил гривенник в карман.

— Унижение не для тебя, сибирский казак, а для Коромыслова, который хочет гривенником отмахнуться от сибирского казака, — сказал я.

— А ты что же, жаждешь сто рублей получить? — сказала горничная, улыбаясь той вялой улыбкой, в которой столько нуждался я.

— Поцелуй стоит иногда и дороже ста рублей. Вас как зовут?

— Маша.

Дальнейшему нашему разговору помешал голос Коромыслова, который заорал так, как он орал на лошадей, щелкая шамбарьером:

— Настя, гоните его к чорту!

Даже горничная осмеяла меня. Ее зовут Настя, а не Маша. Я ушел.

Пантомима показывалась десять дней, но циркачи так задирали нос, как будто она шла уже целый год. Некоторые из них переехали с постоялого в номера, а Коромыслов выпустил афишу о том, что в его цирк едет чемпионат борцов вместе с великим чемпионом Северной Америки негром Сальваторм Бамбуло!

В комнате у нас ночевало человек по семьдесят. Все мы явственно слышали из-за перегородки жизнь китайских фокусников, занимавших два «номера» нашего постоялого.

Фокусник Чин с лицом столь жирным, что оно, казалось, того и гляди, расплывется, с руками и ногами необыкновенно тонкими, как будто природа все свое напряжение истратила на лицо, а остальным обвила это лицо, словно паутиной, — этот фокусник обладал высокими и прекрасными чувствами. Он понимал, что эти чувства встречаются довольно редко, и потому, отпуская их людям, требовал и от тех тоже хороших чувств.

— Если я вас нежно обнимаю, зачем вам бить меня по уху?

Хозяин его, господин Коромыслов, все же считал, что об'ятий для всех нехватит, а кулаков еще может хватить, поэтому жалованье фокусник Чин получал довольно редко и преимущественно на-

турой, потому что купцы иногда платили в цирк за билеты вместо денег мукой или свиным салом. Изредка мне перепала от Чина пища. Держа в руках эту приятную тяжесть, я говорил:

— Весьма вам признателен, но было б гораздо лучше, если б вы обнимали меньшее количество народа.

— Надо обнимать всех, господин Иванов.

— А если эти все прыщавые?

Серафима, его жена, была здоровенная женщина, с глазами, наполненными той особой зеленью скошенной травы, которая вот-вот превратится в сено, но где еще сохранились могучие запахи молодости, хотя уже подошла и сухость, свойственная зрелости. Серафима из трепета перед общественным мнением, каковым для нее являлась наша компания, выполняла все вежливые обязанности, необходимые, по нашему мнению, для жены китайца. Было забавно смотреть, как она осторожно входила к нам, проверяя себя: не ошиблась ли она в чем-нибудь? Ее мучили страсти, свойственные сейчас городу Тюмени, но она рассчитывала перетерпеть, тем более, что Чина не призвуют на фронт. Однако Серафима постоянно и подозрительно тихо шепталась с Елизаветой, женою фокусника Лу.

Елизавете нравилось поднимать большие тяжести. Она таскала хозяйские кули с мукою, снимала крестьянских телят с телеги, которых привезли продавать на базар, втаскивала в комнату громадные мужицкие сундуки, охотно помогала хозяйкам носить дрова и постоянно удивлялась этой своей страсти:

— Мне бы подловчиться, так я бы, кажись, всю землю подняла и понесла! Экая холера уродилась! И ни разу ведь не вздохну!

Лицо у ней круглое, пухлое, с ямочками и возвышениями, все в какой-то розовой дымке, чересчур юное, так что порой и не верилось, что существуют такие приятные и круглые лица, как будто стоит слегка щелкнуть по нему, и оно весело всю жизнь будет катиться по земле, вплоть до самой могилы, но и перед этой ямой оно все равно остановится розовым и пухлым и, как всегда,

сверкнет глазами, говоря: «Ах, как хорошо! Ах, как я всем довольна!» Муж ее, фокусник Лу, тоже доволен ею. По профессии ему должно быть инженером-химиком, и он часто мне говорил:

— Я стремился, господин Иванов, к обстоятельному, систематическому и планомерному изучению химии. Я обучался этому в Петербурге и вернулся в Китай, но не нашел применения своим химическим знаниям, так как всегда существовал самостоятельно.

— В чем же выражается ваша самостоятельность, господин Лу?

Лу не объяснил мне, да я бы и не поверил ему. Он — упорный пьяница, хотя даже и у пьяного фокусы выходят отлично. А, помимо этого, я путал химию с пиротехникой, чему он очень обижался. Когда я спрашивал у него объяснения, как делают «саксонские солнца», Лу устремлял на меня свои столь чудовищно-черные глаза, что хотелось дотронуться до них, настолько казались они страшнее ночного погребца, виденного вами в детстве:

— В тесном смысле, господин Иванов, под «саксонским солнцем» пиротехники разумеют различные механические устройства, которые силою вращающегося форса, приделанного к ним, вертятся кругом, отчего огонь форса представляется огненной сферой. Я делаю основание огненного колеса двигающимся около неподвижной точки, так что вылетающий огонь вращает назад гильзы...

Лу наблюдал, как я записываю его сведения в тетрадь, и, дыша на меня водкой, говорил, слегка заикаясь:

— И Китай, и Россия одинаково невежественны. Если я в Китае не смог быть инженером, то что толку, если я, научившись инженерству в России, а не в Китае, смог быть здесь, в России, только фокусником? В России любят учиться, но не любят работать.

Серафиму и Елизавету я уважал за стремление к «выходу», хотя оно и выразилось только в том, что они вышли за китайцев и были им верны. Но вскоре они обидели меня.

Я сидел, читая Брет-Гарта, возле пятилинейной копилки. Серафима высушила голову. Большинство обществен-

ного мнения, то-есть шестьдесят восемь человек, ушло на базар или на воинский пункт, поэтому она вдруг сказала Сержке Трошину:

— Ходи ко мне, чего по коридорам шипаться!

Этим она мстила за свой страх перед общественным мнением, а, кроме того, ей трудно одолеть то напряжение, которое и не старается одолеть весь город. Вот почему она только проворно расмеялась, когда Сержка в ответ на ее уговоры сдержать свои широкие движения, сказал так, как будто я глубоко спал:

— Э, плюнь, мало их, нахлебников!

Слышать мне это было обидно, но вместе с тем я радостно почувствовал, что поступил прекрасно, когда не избил за него барабанщиков. Обрадовало меня также и то, что Сержка, несмотря на показную широту, оказался непригодным, потому что вскоре после его ухода явилась Елизавета, и Серафима жалобно сказала ей:

— Давай напишем негру записку! Сажень ростом, девять пудов весу, такого тебе Елизавета не поднять.

— Поднять-то что, но куда его поведешь? На постоялый? Всю жизнь будут судить и пересуживать. Одно слово-то какое — негр! Еще китайца они прощают, китайца, видишь ли, надеются побелить, а негр не дает им такой надежды. Разве вот к директорской горничной пойти? Я им сегодня на кухню сто семьдесят пудов зерна и триста пудов картошки перетаскала. Хозяева, сказывают, думают запасы хлеба иметь, чтобы перепродать. Война, сказывают, нескоро кончится...

Они быстро и нервно одевались. Они, как и весь город, думали о войне и об невиданном в Сибири негре Сальваторе Бамбуло. Как и весь город, эти женщины охвачены любопытством и стремлением в последний раз испытать то, что беспощадно уничтожала война — болезнями, голодом, взрывами снарядов, ударами сабель и штыков. Негритянская любовь, в особенности саженьного роста, казалась им способна выяснять до отвращения смысл вздохов и любовных объятий. Я понимал их и хо-

тя до известной степени был сам охвачен тем, чем мучились все, но я из уважения к фокусникам не приставал к женщине, а чтобы избавиться от напряжения, шел на вокзал и смотрел на поезда, которые непрестанно провозили мимо меня бородатую, широкоплечую, скуластую, узкоглазую Сибирь.

— Ты чего здесь делаешь?

Я увидел белокурого воришку «Накрест», который летом украл для меня билет и который выкрал этот билет обратно:

— Навоевался?

— В побывку. Ранен.

— Талыг тоже вернулся?

— Зачем ему возвращаться? Его в денщики два полковника друг у друга вырывают. Там играют в карты больше, чем здесь, а что крупнее ставка, так и говорить не стоит. Он меня и в отпуск устроил, и ранение придумал. Очень скучно, Сиволод, на фронте без девушек.

— Возле какого балагана работаешь?

— Возле того же.

— Разве Филиппинский здесь?

— Третьего дня приехал. Ой, Сиволод, какая ж у него супруга отчаянная. Друг ихний, Пашечка, тоже из Перми приехал, но, увидав Тюмень, вздрогнул, и тогда ихняя супруга кричит: «Оставить его на вокзале, пусть хранит возле камеры хранения наши, на всякий случай оставленные, вещи!»

— Где же Пашка?

— Так вот он и сидит возле камеры хранения. Отойдет, на скамеечке подремлет и опять сядет. Хочешь повидаться?

— Ни с кем я не хочу видаться. Всем буду бить морду!

— Ой, какой ты жуткий!

## 28

Хоть я и сказал, что мне не надобно Филиппинского, но все же мне хотелось увидеть его и потому, что пани Марины не было в цирке Коромыслова, и потому, что я не знал, где Петр Захаров, и потому, что отец мой давно не присылал мне писем. Но я не мог

шляться по балаганам, так как меня наконец приняли в типографию верстать и корректировать экстренные выпуски телеграмм.

Почтальон выкидывал из твердой черной сумки на столик передо мной узкие пачки телеграмм, еще сырых от клейстера. Расписки я заготовлял утром на целый день, чтобы не задерживать почтальона, который спешил в другие типографии, так как все тюменские печатные машины выпускали срочные телеграммы.

Я поспешно расставлял точки и запятые.

Возле типографии волновались мальчишки.

Телеграммы для дешевизны и привлекательности выпускались на разноцветной бумаге — пунцовой, травянисто-зеленой, ультрамариновой. Вот набрали, вот печатник приправляет гранки, вот машина стучит, и вот мы опять ждем прихода почтальона со свежими сообщениями.

Наборщики дремлют пока на тюках бумаги. Я доливаю чернил, меняю пропускную бумагу в пресс-папье, похожем на колесо, а если почтальон запаздывал, я выходил на порог встречать его.

Двери типографии на улицу.

Попрежнему из лесов на подводах едут мужики, попережнему великий бабий вой наполняет город.

Оступаясь с деревянных тротуаров, обняв женщин за плечи, по эту и по ту сторону улицы, мимо типографии идут бородатые люди в тулупах, полушубках, шинелях, и очень странно видеть их распухшие, пожилые заплаканные глаза. Я устал от этого потока горя и любви!

Вдруг улица прервала обьятия. Глаза ее устремились влево.

С крыльца спрыгнули мальчишки. Из типографии выбежали наборщики и фальцовщики. Голубая метель поднималась вдалеке. Я подумал, что это ведут пленных, так как в другие уральские города уже привезли много австрийцев.

Метель приближалась к нам.

Вдруг из метели выскочил верхом на коне железистого цвета в длинной шинели, скривив рот и вытаращив глаза, тюменский исправник. Он скакал пря-

мо к нам, страстно и в то же время с великим достоинством держа руку ладонью вниз у виска.

— Земляк, старик катит! Григорий Ефимович! Российская епархия.

Рыжий опухший босяк выкрикивал это возле нашего крыльца, подняв кверху руки, приплясывая и плюя.

Исправник приближался. Толпа раступилась и кинулась к стенам домов, ругая его и смеясь:

— Пышно старик катит! Прямо в рай.

— На такой тройке только в рай и катить.

— Бог увидит эту тройку, все грехи ему простит, допустит в рай.

— Попробуй не допустить, когда нашей армии десять миллионов! Как наведем пушки да как трахнем, так весь рай и рассыпется.

— Ха-ха-ха-а!..

Об этом ужасном сибирском мужике в Тюмени говорили много, особенно после того, как его ранила ножом странница. Подробно передавали, как к нему в больничную палату тайно приходил царь с царицей, как плакали у койки, а он, закрыв глаза, тихо говорил: «Идите вы все к чорту!» Царицу он бьет смертным боем, а царевен посылает за водкой.

В неподвижном морозе как бы рассыпалось, искрясь, солнце. Умножая эти искры, тройка коней промчала мимо нас тобольского губернатора. За губернаторской тройкой в широкой кошеве степенно ехал Распутин. По бокам его сидели две женщины, укутанные оренбургскими платками. Ноги его согревала медвежья полость. Кучер свистел. Кони откидывали головы в стороны. Как я ни присматривался, но Распутина я не видал, и передо мной в мехах мелькнул только клочок заиндевевшей бероды.

— А царя-то и нету!

Рыжий босяк замахал опухшими руками быстро-быстро:

— Царю не полагается столько заплаканных морд наблюдать!

Бабы опять взяли руки мужей в свои теплые пальцы. Опять двинулись телеги, опять заголосили матери, опять отцы утешали детей.

Передо мной уже лежали новые пачки телеграмм. Поспешно разрывал я наклейки и рассортировывал телеграммы: где начало, где продолжение, где конец. Улица взяла у меня много времени. Нечего разглядывать ее, мало ли шляется колдунов, мало ли скачет губернаторов!

Штаб верховного главнокомандующего сообщал, что русские войска «в результате упорного боя взяли много орудий запятого пленных и в бою выгнали противника из львов тире галича точка противник отступает в панике». Я сдал телеграмму в набор. Печатник, работавший сдельно, торопил меня. Быстро я придумал заголовок, красота которого б несколько не страдала от быстроты, поэтому я вместил большим шрифтом, размером в квадрат, краткую, но огромную новость:

*Громадная победа русских войск! Тысячи пленных! Взято три города: Львов, Тире, Галичо!*

На другой день в «Тюменской коммерческой газете» было напечатано «Письмо Провинциала». Этот странный Провинциал очень удачно отомстил мне за то, что я не принес ему выкраденное моими приятелями удостоверение. На протяжении ста строк пети́том Провинциал издевался над типографией, которая открыла доселе неизвестный всему миру город Тире. Провинциал спрашивал весьма ехидно: какие головы населяют этот город Тире, сколько пролито чернил для этого, чтобы занять этот город? Дальше Провинциал сообщал свои изыскания в «Словаре дураков». Этот словарь сообщал сведения об основании города Тире. Основан он одним из побочных внуков глумовского градоначальника, а заселен в основном пошехонцами, которые даже в пошехонских краях признаны идиотами.

Меня рассчитали.

Я вышел из типографии без копейки. Провинциал своим письмом произвел огромный вычет из моего жалованья.

Я шел, думая со злостью, что, пожалуй, мой город Тире более реален, чем ваш город Тюмень, по улицам которого

раз'езжают уже совсем неправдоподобные люди, вроде коновала Григория Распутина. И Распутину, и вашему городу Тюмени место только в очень дурной и глухой солдатской сказке! Что это за город? Вот молодой прапорщик, сияя погонами, скрипя новыми и длинными сапогами, ведет свою роту в баню. Подмышками у солдат торчат венники, завернутые в полотенца. На снегу после них остаются сухие березовые листья. Рота поет что-то удалое, дикое, а глаза у ней тоскующие и в слезах.

Я ждал, когда рота минует меня, чтобы перейти улицу и вступить в горькую участь постоялого двора.

— Прошу вас поосторониться, — вежливо сказал расклещик.

Это тоже вояка! Фуражку его, выцветшую, с красным когда-то околышем, стягивал ситцевый платок, обернутый вокруг сизого лица.

— Тоже дворянин?

Расклещик, макая кисть в ведро, из которого шел обильный пар, ответил мне пропитым голосом:

— Как вам нравится, на морозе клею дурацкие афиши! Вы тоже дворянин?

— Плебей. И навсегда.

Уныло я рассматривал эту афишу. «Первый передвижной театр XX века под руководством К. С. Филиппи» сообщал, что он покажет в Общественном собрании драму «Соколы и вороны».

— Кто же из вас сокол? А кто же из вас ворон Нувермор? — спросил я у расклещика.

Расклещик обиделся на мой горький тон, поспешно свернул афиши и торопливо прикрыл тряпкой ведро.

— Это, братец ты мой, — сказал он презрительно, — сортирует жизнь, а не твои восклицания. Цистерну водки выпьешь, тогда, пожалуй, поймешь.

Я ответил ему так же презрительно:

— И шапки сортирует жизнь, подобно головам, которые ласкают Распутину.

— Не смей обижать моего императора!

Я показал ему кулак. Он плюнул на него, поддернул штаны и скрылся мелкой рысью, размахивая ведром.

— Вымазал бы я тебе харю клейстером, да некогда, заказ срочный, — крикнул он мне издали.

У нар, возле моего мешка, сидел, пытая, Филиппинский. Подлости, которые он совершал, он прощал самому себе быстро, полагая, что так же быстро прощают ему эти подлости остальные люди. Теперь, если он глядел на меня вытаращенными глазами, с багровыми щеками, то это происходило по другой причине. На коленях у него лежала бумажка, из которой он вынул знакомую мне ложку. Вата попржежнему торчала из прорези рукава.

— Куда ни помотришь, Всеволод, все наживаются. А у меня опять анекдоты. Я ложку ко рту теперь подношу, но все равно: поблую и опять рассказываю.

Я, смеясь, смотрел, как он уперся ложкой в толстые губы, натужился, но анекдот оттолкнул эту ложку:

«Солдат, отслуживший свой срок, возвратился в деревню.

— Хорошо ли, — спрашиваю его, — довелось служить?»

— Хорошо. Почитай всю Россию обошел. Везде побывал и чудес видал всяких. Примерно — на Черном море. Вот это море! Чудо.

— Чем же чудо?

Солдат утерся, достал из кармана табакую целую осьмушку и, пытая, стал вертеть толстую, с палец, папиросу. Мужики мусолили во рту щепочки, потому что не решались попросить табакую у солдата, а солдат сказал сквозь зубы, переменяв голос почти на приказание и вытянув вперед толстую руку:

— А тем, что черное. Сапогов чистить не надо. Такое оно черное, что сапоги только окуни в него — и сейчас же вынимай их, будто начистил самой лучшей ваксой».

«Привезли с позиции интенданта, раненного тем, что ему дали мало заказов, а мало заказов дали потому, что он мало давал взятку. Интендант расхвастался в семейном кругу:

— Налетел я на германского офицера, вышиб из его рук шашку, а своей так хватил его по шее, что голова сразу отлетела. Покатилась голова по земле и говорит: «Погубил ты мою головушку, Митрий Митрич».

— Ну этого быть не может!

— Как быть не может! Да вы что, сводкам не верите? Из немцев многие говорят по-русски».

«В казармах командир полка спрашивает мобилизованного, чем он занимался до службы:

— А ты кем был?

— Столяр, ваше высокоблагородие!

— Мне что-нибудь сумеешь сделать? — улыбаясь, говорит командир.

— Так точно, ваше высокоблагородие!

— Что же ты, собственно, делал?

— Гробы, ваше высокоблагородие.

Долго ждал я, когда Филиппинский остановится. Наконец, он замолчал. Он сидел передо мной, ослабевший, весь покрытый потом, с еле шевелящимися губами, которые уже выговаривали теперь не все слова во фразе. Он вздыхал, вздыхал и смог все-таки высказать то, что пригнало его в Тюмень:

— Жена... рыдает. Опасности... большие страдания... все наживаются...

Губы его пришли в знакомое мне положение, по которому можно было понять, что сейчас они выпустят анекдот, но я уже устал и прервал его:

— Так как любовь мучает людей, то она мучает и вас, Филиппинский, заставляя забыть мечту об оркестре, а заниматься интендантством.

Он улыбнулся и сказал:

— Оркестр-то у меня уже есть, но сборов нету.

Он искал не меня, а моего изобретательного друга Захарова, чтобы с его помощью попытаться соединить балаганное дело с интендантским. Ему жаль было балагана! Я смотрел на его лицо и думал, что не пора ли мне доказать ему, что я обладаю выдумкой не меньшей, чем у Петра Захарова, а кроме того, мне хотелось есть, опять ходить по свежим доскам рауса, греметь бубном, привязывать бороду «балаганного деда» и составлять рашники.

Я сказал ему резко:

— Захаровский адрес нам не знаком. Герои не сидят на одном месте, в особенности, если они увековечены в лубках.

— Верю. Иначе бы ты, Всеволод, не жил в такой клоповности.

— Живется отлично. Жалованье тридцать рублей, кроме сверхурочных! — соврал я.

Мне пришлось быстро раскаяться в своей лжи. Филиппинский тотчас же

поцеловал меня, причем выяснилось, что он соскучился по мне, что ему приходится ставить старинные пьесы, тогда как цирк Коромылова наживается на пантомиме.

— Да, и воронов ваших, и соколов вряд ли пожелают смотреть.

— На пантомиму, Всеволод, деньги нужны, — ответил Филиппинский.

Он раздражал меня, этот медлительный и толстый дурак!

— Не деньги, а нужна голова! Пьесу надо ставить сегодняшнюю. Понял? Такую, как телеграммы на первой странице!

— Например?

В газетах и журналах я читал, что Москва и Петербург с большим удовольствием смотрят патриотическую пьесу Мамонт-Дальского «Позор Германии». Журналы печатали клише, по которым было видно, как германские офицеры издевательски убивают беззащитных жителей.

— Вот тебе выгодное дело: поставь «Позор Германии».

Филиппинский выпустил из себя с силою столько воздуха, что его хватило бы на семиэтажный дом:

— Поставить легко. Даже костюмы достану: пленных австрийцев привезли. И офицерские, и солдатские. Ружья даст воинский начальник, любителей на патриотическую пьесу подберем... Но откуда достанем мы текст, Всеволод?

— Текст?

Я смотрел на него, нагло ухмыляясь. Я наслаждался чудесным своим умом и низким унижением Филиппинского. Я простил ему все его подлости за то настоящее удивление, с которым он сейчас смотрел на меня, оборванного и грязного паренька, сидевшего возле своего мешка — соломенной собаки — в убогом постоялом дворе.

Он спросил меня ласково:

— У тебя что же, Всеволод, текст имеется?

Я улыбнулся милостиво и, помолчав, сказал важно:

— Текст?

И я указал на свою голову:

— Вот где текст.



Так возникло удивительное представление «Позор Германии», надолго отучившее меня от драматургических опусов и поставившее меня в более близкие отношения к Германской империи и к той войне, которую союзные державы вели против Германии. Филиппинский купил мне четверик свечей, а сам бросился в бараки к пленным австрийцам, чтобы получить напрокат костюмы, жен балаганщиков он направил собирать любителей драматического искусства.

По примеру того, как я прежде составлял пьесы для нашего балагана, то есть, взяв название, автора и номер-цензурного разрешения, я составил знаменитую драму «Позор Германии», где рассказывалось о том, как на старинный замок в Польше с привидениями и с древними старушками, которым управляет графиня Владычек и во дворе которого расположились приехавшие по мобилизации из деревень русские мужики со своими бабами и отцами, внезапно нападает германская дивизия. Страстно описывал я любовь и слезы прощаний, которые наблюдал в сибирском городе Тюмени! Жены грубо и наивно клялись своим мужьям быть верными. Мужчины надеялись на быстрое окончание войны. Но вот появляются германские солдаты. Пленительные их мундиры заслоняют то горе, которое только-что испытывали женщины. Кроме того, так как замок взят в плен, то женщины полагают, что война окончилась, а следовательно, клятвы утерjali свое значение. Во дворе замка происходит обычная комедия ревнивых мужей, которые сердятся, что немецкие солдаты только благодаря своей форме пользуются успехом среди баб. Русские мужики сожалеют, что им нельзя надеть те мундиры, о которых они еще несколько часов тому назад думали с омерзением! Позор Германии, по моему мнению, заключался в том, что немецкие солдаты оказались с низкими душами, и там, где нужно было проявить благородство, то-есть отказаться от баб, они лихо воспользовались преимуществом своих мундиров! Но в конце концов русские перехитрили их. Мужики украли у немецких солдат мунди-

ры, переоделись, и благодаря темноте польской ночи и короткому блеску крошечных свечей, при которых они пришли на свидание, русские мужики получили обратно своих баб. Пьеса заканчивалась тем, что русские мужики в немецких мундирах издеваются над немцами, которые вынуждены одеться в лапти и благодаря этому утратить всю привлекательность, женщины признают правоту своих мужей, а тем самым и позор Германии...

Пьеса, прочтенная балаганщикам и любителям драматического искусства, получила полное одобрение, и только один слесарь, мужчина грудастый и уса-стый, избежавший войны благодаря грыже, сказал:

— Потребуется ввести немецкого генерала: у меня грудь есть и голос.

— Без генерала не обойтись, — сказала Ирина Терентьевна. — Но вот я не понимаю, господин Иванов, почему пьеса описывает позор Германии, а на сцене будут действовать только одни австрийцы? Ведь немецких-то мундиров у нас нет! Кроме того, воинский начальник дал солдат с винтовками, патронами и в шинелях. Их куда девать?

Я быстро превратил немцев в австрийцев, ввел генерала и придумал для конца пьесы «апофеоз русского войска». Но теперь совершенно лишним получился позор Германии, который незаметно для нас превратился в австрийский позор. Тогда я провел через двор замка графини Владычек телеграфный кабель, и действиями австрийских мужиков и офицеров стал распоряжаться германский генеральный штаб. Апофеоз заключался в том, что молодой русский офицер, изображать которого полагалось мне, вбегает на сцену и кричит: «Руки вверх! Долина занята русскими». Генерал, роль которого мы дали рослому слесарю, отвечает: «Есть! Горе нашему позору, мы сдаемся под благородство славного русского оружия».

С гордостью проходил я по Тюмени, любуясь на афиши «Позор Германии». Гордость моя еще была увеличена тем, что билеты продали в два дня.

Ни на одном представлении ни одной моей пьесы, вплоть до почтеннейшего Художественного театра, что под непосредственным наблюдением К. Станиславского, я не испытал такого успеха! Публика чрезвычайно сочувствовала тому, что творилось на сцене, хохотала, аплодировала! Она сочувствовала и русским мужьям, но не меньше сочувствовала и обольстительным австрийцам, которыми командовали страшные невидимые германцы, своими касками повисшие где-то далеко над проходами. Во дворе замка графини Владычек прятались под телегами, в плетеных коробках, в мешках из-под картофеля русские бабы. Австрийские солдаты и офицеры искали этих баб на сеновале, и даже сам австрийский генерал полез туда, но юнжер по ошибке отдернул лестницу, и генерал застрял на сеновале. А как смеялась публика, когда молодой чех Станислав по ошибке вместо гимназистки, гостившей в замке, объяснял в темноте свою любовь дряхлой графине Владычек! В пылу своей страсти он грозил ей, если она откажет ему, то он разрушит все строения на пятьдесят верст кругом, и старуха, чтобы спасти свой замок, целовала его. «Крепче, крепче!» — восклицал чех Станислав. А как восторженно заревела и застучала ногами публика, когда зажегся фонарь и чех Станислав увидел перед собою страшный портрет своей возлюбленной. Утомленный путаницей, уличенный в любовном приключении с кухаркой, австрийский генерал махнул рукой на все свои заслуги и согласился отказаться от завоевательных планов подлой Германии. Но в это время за сценой вспыхнул бенгальский огонь «на 1 руб. 75 коп.», и ввалились солдаты во главе с молодым русским офицером:

— Пли! — закричал я дико.

Солдаты саданули в потолок из боевых патронов.

Публика задрожала от восторга и испуга. Тесный зал Общественного собрания наполнился дымом. Солдаты падали и падали. Публика дрожала и дрожала. Я думал презрительно, что вот как они, тюменские обыватели, нюхают запах боевого огня!

Балаганщики были счастливы. Меня целовали и называли братом. Ирина Терентьевна Филиппинская обещала подарить мне одно из вынянченных ею несчастных животных. Я отказался. «Вы еще полюбите их» — сказала она. Я отказался и от предстоящей мне любви. Балаганщики тем временем решили поспешно выстроить балаган, чтобы перенести туда представление нашей пьесы. И то правда, маленькая сцена не вмещала моих замыслов, и офицер вместо отпущенных сорока выводил только пять русских солдат.

Но тут к нам в уборную вбежал чиновник в мундире акцизного ведомства. Угловатый лоб его покрывал пот негодования. Он заикался и вздрагивал от неудержимого патриотизма:

— Это позор России, а не Германии! — воскликнул он.

Филиппинский сунул ему под нос несколько штук анекдотов, а затем лениво и холодно спросил:

— Вам что, актеры не нравятся? Вот вы и поезжайте в Художественный театр и смотрите «Вишневые сады».

— Я видел «Вишневый сад»! Я сам писал об этом в нашей газете под псевдонимом «Провинциал».

— Мало ли какие провинциалы бывают, — еще спокойнее сказал Филиппинский.

— «Провинциал» надо понимать иронически! — в глубоком негодовании вскричал чиновник: — А кроме того, я только что приехал из Петербурга, где видел подлинный «Позор Германии».

— Ну и поезжайте вы обратно в Петербург, — сказал Филиппинский, — а нам не мешайте готовиться к повторному представлению.

Через день в «Тюменской коммерческой газете» появилось письмо Провинциала. На протяжении двухсот пятидесяти строк петита Провинциал сообщал удивительный факт «к истории города Тире». В этом чудовищном городе Тире, — писал он, — происходили странные театральные представления. Если вспыхивала вторая Отечественная война, то драму великого народа, защищавшего свою родину от вторжения тевтонов,

глупые актеры сводили к гнусному фарсу с переодеванием и обманами. На фоне пожаращ родимой земли они находили возможным показывать только своих полуголых девиц, которые более годны для развлечения возле канав, чем для театральной сцены. Мало этого, гнусный свой фарс они прикрывают благородным именем русского патриота, который показывает в Петербурге пьесу, написанную с шекспировской силой, пьесу, которая останется в репертуаре русского театра на столетия, — «Позор Германии». Дальше Провинциал рассказывал о беседе, которую вел с ним Филиппинский в артистической уборной тюменского Общественного собрания. «Всякие случаи бывали в городе Тире, — заключал автор статьи, — но такого отвратительного случая не бывало никогда, а горечь событий увеличивается еще тем, что тюменское общество, благодаря вере в петербургский авторитет, радовалось и восхищалось грубой подделке, которая подло издевается над русской армией, проливающей ныне кровь на полях великих битв».

Едва мы дочитали статью, как появился околючный, арестовал нашу кассу и повел нас к исправнику.

Сердце мое похолодело. Я судорожно кинулся осматривать свой гардероб, чтобы предстать возвышенным поэтом. Бурый мой фрак и невероятно узкие лаковые ботинки мало утешали меня. Тогда я тщательно пригладил свои длинные волосы. Филиппинский сказал, отдуваясь:

— Надо полагать, исправник примет тебя за петербургского автора и разрешит представление. Какого им лешего от нас нужно? Скажи, что «Позор Германии» ведь не один. У ней наверно случилась и тысяча позоров, которых и тысячи авторов в тысячу лет не выскажут.

— На афише значится, — сказал я, — что автор Мамонт-Дальский. Какой я Мамонт-Дальский?

Филиппинский отглядел меня и пощупал мой фрак:

— Разные бывают Мамонты-Дальские. Скажи, что ты из тех, которые похуже.

Тюменский исправник и за столом своим, покрытым сукном ежевичного цвета, скакал к нам с таким же напряженным лицом, как и по тюменским улицам. Скривив большой, резко очерченный багровый рот и держа тонкие руки над блестящей чернильницей, он как бы натягивал поводья бешено скачущей лошади.

Указывая рыжей бородой на меня, на мой невероятно измятый фрак, на туфли, которые жали мне ногу так сильно, что мимо ушей несся непрерывный пасхальный звон, исправник закричал исправно:

— Почему такой фрак? Почему, да еще безобразный? Теперь наступила Отечественная война, все надели шинели, а ты?

Он поднес бороду к «Тюменской коммерческой газете», которая затрепетала под бурными волнами его голоса:

— И почему они у вас на представлении ходят все во фраках?

— Извините меня, ваше превосходительство, за поправку, — сипло сказал я, переступая с ноги на ногу. — Я страдаю от ботинок, мне трудно говорить связно, но уверяем вас клятвенно, что ни один актер «Позора Германии» не ходит во фраке.

— А ты почему во фраке? А почему ты обращаешься к начальству и путаешь чины? Если война, так умей считать чины, чуйкин ты сын!

Мы обидели его намеком на то, что он еще не видал нашего представления. Ярость его увеличилась — с величайшей свирепостью он словесно скакал мимо нас:

— Вам известно, что в мой город пригнали пленных? Таким образом, фронт Отечественной войны уже подходит к Тюмени! Следовательно, вы смеете издеваться над армией в прифронтной полосе? Каково!

— Разрешите мне...

Филиппинский раскрыл было рот. Мы внутренне задрожали: он мог рассказать анекдот, совсем не подходящий к событиям, которые происходили в длинном белом кабинете тюменского исправника.

Но тут исправник нашел в своей голове удивительнейшую мысль.

Исправник осадил коня. Перекинув повод в левую руку, он правую вознес высоко над своей головой:

— А если?..

Он крепко натянул повод и чудовищно высоким, как соборная каланча, голосом возопил:

— А если вы германские шпионы?

Он кинул повод, заложил руки за спину и сказал решительно:

— Выхать из Тюмени в двадцать четыре часа, пока еще не преданы военно-полевому суду. Чечулин, наложить арест на их кассу!

Чечулин, околоточный с невероятно прямой осанкой, снабженный лицом детского овала, показался позади нас. Он заглянул в наши лица и, видимо, не удивившись их содержанию, устало проводил нас не только до нашей пустой кассы, но и до вокзала.

*(Продолжение следует)*

---

# Два стихотворения

ТИЦИАН ТАБИДЗЕ

## I. ПОЭТУ

Говорят, сюжетов нет... Оставьте!  
Для тебя предела нет, мой стих.  
Никогда еще, сказать по правде,  
Не было возможностей таких.

Темы есть, певцы не поредели,  
Но подчас, наперекор уму,  
На словах лишь с веком, а на деле  
Ни строки не жертвуют ему.

Все должно быть в песни разодето,  
И вся жизнь в стихи перелита,  
Но нередко нового поэта  
Оплетает старая мечта.

Нет, мой спутник, нет, мой современ-  
ник!

Светят небывалые лучи.  
Ни любви, ни соловьев весенних  
На седом Парнасе не ищи.

Облысел старик Парнас и высох,  
Гор таких в Союзе — тысяч сто,  
А кому палящий век не близок —  
Не воспламенит того ничто.

Что за плач на реках вавилонских,  
Отчего унынье и тоска  
И тетради ямбов эпигонских  
У старообрядцев языка?

Некуда от хныканья деваться!  
Стих и в прошлом лелся веселей,  
Например Ильею Чавчавадзе,  
Что искал сияющих путей.

Кто не прекратил слезливых жалоб  
И велений долга не постиг,  
Тем навек запомнить надлежало б  
Этого поэта острый стих:

«Лишь овладевая настоящим  
И развеяв прошлое, как дым,  
Мы светило вольности обрящем  
И стране грядущее дадим».

Отстрани поэтов нелюдимых  
И для поднимающихся пой.  
Много стихотворных недоимок  
Накопилось, друг мой, за тобой.

Поэтическое бездорожье  
Заменили ясные пуги.  
В наше время сладкогласной ложью  
Молодых бойцов не провести.

У грузинских рек русло иное —  
Не одну загородила гать.  
Если где и выжило бывшее —  
Поспеши окорее закопать.

Кто остался чужд светилам новым,  
Кто врагу не перечел обид,  
Кто своим товарищеским словом  
Тружеников стройки не бодрит,

Кто, вниманьем век не удостоив,  
Не слышал воззвания «восстань»,  
Кто хвалы жалеет для героев, —  
У того да высохнет гортань.

Подражать певцам глухим не будем.  
 Надо речью века метить стих,  
 Чтоб она в сердца врезалась людям  
 И, как солнце, радовало их.

Так давай же скажем слово правды,  
 Языком огня заговорив,  
 И перед эпохой будешь прав ты,  
 Пробуждая бодрость и порыв.

II. ОВАНЕС ТУМАНЯН<sup>1)</sup>

Хоть память о прошлом из сердца гоню,  
 Она не уходит и ропщет...  
 Ущельем навстречу весеннему дню  
 Идет вереница усопших.

Не плачет твоя героиня Ануш,  
 Раздоры навек присмирели.  
 И будит тростник отдаленную глушь,  
 И дружны поэтов свирели.

Встречаю улыбку твою, Ованес,  
 Негаснувших взоров сиянье.  
 И вижу кудрей серебристый венец,  
 Как пенистый вал на Севане.

Из гроба твердишь ты, что песня жива  
 Одним лишь вниманьем народа,  
 И нынче, как встарь, Ованеса слова  
 Нам слаще лорийского меда.

Свершилось: костер неприязни потух,  
 Армяне братаются с нами,  
 Страной управляет вчерашний пастух,  
 Воспетый твоими струнами.

Слепец, кто, вражду затаив глубоко,  
 Не верит прозревшим впервые...  
 Учитель! Ты — нашего стяга древко,  
 И мертвому внемлют живые.

<sup>1)</sup> Армянский поэт XIX в.

Перевел с грузинского БОРИС БРИК.

# Пятая армия

Книга первая

МОСКВА 1918 ГОДА

Роман

РАИСА АЗАРХ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Обсбияк купцов Шляпниковых стоял у Покровской заставы. Его разыскал начальник пулеметной команды из Крутицких казарм. Но когда пулеметчики пришли в Совет, радуясь находке, оказалось, что квартира в этом доме только вчера отведена товарищу Марине Лерс.

В Симоновском районе крупных домовладельцев не было, все — мелкие торговцы заставы. Дом Шляпниковых, купцов-мебельщиков Зарядья находился в небольшой улочке, называвшейся Пустой, и ничем от остальных домов не отличался. И если бы непытливые пулеметчики, так и стоял бы он попрежнему тихо, наружу боковым фасадом, с глухими воротами, заржавленной калиткой, примкнутой на большую цепь, не снимавшуюся в эти тревожные дни. Сквозь щель виднелся большой двор, залитый асфальтом, дом со множеством окон, крепкая парадная дверь, сад в глубине. Стоило толкнуть калитку, как тотчас же начинали заливаться лаем два огромных сторожевых пса.

Окна двух этажей были наглухо зашпательны, подвальные, где размещалась прислуга, огорожены железными решетками. Сюда-то и переместилась жизнь

всего дома. Ежедневно в подвальном этаже служили молебны о падении большевиков, а у огромной кафельной плиты, отделанной медью, делались сообщения о текущих событиях. Все комнаты густо пропитались запахами щей.

Магазины уже были всюду отобраны, и, изредка прогуливаясь мимо своего, Евтихий Евграфович Шляпников видел, как приказчики нехотя считают товар. Знакомства резко оборвались, многих выселили, других уплотнили, в церковь или монастырь без особой нужды тоже не пойдешь, — мало ли какие случайности...

Дочери связывали дом с внешним миром, который, по мнению обитателей особняка, временно был сорван с петель и незамедлительно должен возвратиться на законное место; надо только спокойно держаться, а главное — ничего не растерять из накопленного добра, куда все не стаёт по-старому.

И вдруг события ворвались в самый дом, и не в форме уже рассказней, слухов, сообщений, а в виде хорошо одетых вооруженных людей, которые не испугались ни исступленного лая потревоженных псов, ни окриков старшего дворника Кинашки, настаивавшего на том, что хозяев нет дома и что посторонних впускать он не может; при этом за спиной Кинашки стояли два рослых парня, его помощники. Обменявшись с дворником

немногими словами, посетители оправили кобуры маузеров. Киначка вспомнил тут, что «барыня, кажется, пришедши», и пошел справиться.

Пулеметчики подождали немного. Киначка не возвращался, стук в калитку усилился. Последовал приказ впустить незваных гостей. Самый старший из всех, видимо, начальник, извинился за беспокойство и показал разрешение на осмотр дома; бегло оглядев его, пришельцы выбрали три комнаты наверху и сообщили хозяйке, что все они холодные и особого беспокойства от них не будет. Из всех дверей, щелей, углов за вооруженными следили острые, полные ненависти, глаза.

По уходе гостей началось длительное заседание семейного совета. «Мягко стелют, да спать как придется,—высказался Евтихий Евграфович.—Впустим пятерых, а потом пятьсот расположится, им только пробраться, в дом затесаться».

Тотчас же дочери были отряжены в Совет, где в каждом отделе сидели их приятельницы. Через них обитатели дома узнавали о каждом шаге новой власти.

Машинистки, секретарши, деловоды объединились в одном тротательном порыве — спасти от захвата особняк Шляпникова, ни в одном списке не обозначенный. План действий был тщательно обсужден, взвешен и наконец окончательно утвержден домовым совещанием особняка. План этот сводился к теории «наименьшего зла».



Марина Лерс была очень удивлена, когда к ней вошла хорошо одетая, вся в черном, незнакомая дама и, ласково улыбаясь, предложила ей поселиться в ее доме. Марина и вовсе растерялась, когда увидела в нескольких минутах ходьбы от Совета отличный дом. После полутемного, врытого в землю барака, где она жила со своим малышом, больше всего взволновало ее здесь и порадовало обилие солнца. Осмотрев особняк и решив, что для заселения рабочими семьями он мало пригоден, Марина с благодарностью согласилась.

Шляпникова предложила ей комнаты наверху, которые были намечены пулеметчиками: так называемую классную, хотя уже прошло пять лет, как здесь перестали учиться хозяйские дети, учительскую, хотя учителей и в помине не было, и библиотеку, где на двух полках пылились разрозненные приложения к «Ниве» и потрепанные учебники. Хозяйка со вздохом, поджав губы, спросила:

— Мебель вам не нужна?

— Нет, нет, нам ничего не надо, у нас все есть, — ответила холодно Лерс.— Здесь будет моя комната, там сына, а эта совсем лишняя. Нам хватило бы и одной.

— Пожалуйста, занимайте все три, мы решили немного потесниться, — великодушно сказала Шляпникова, перед глазами которой неотступно стояли вооруженные пулеметчики.

## 2

В двадцать первом бараке, где жила Марина, собрались ее друзья: Козловский, Грицевич, Настя, — все бюро ячейки. Обсуждался переезд.

Маленький барак был разделен на четыре, так называемые семейные, квартиры. Фанерные переборки образовывали крохотную квартирку Лерс. В самой большой комнате была детская.

Прошлым летом, тотчас по переезде, Марина занялась уборкой на глазах любопытных, столпившихся у окон; а потом приучила к чистоте и всех беженков; в бараках чистили, мыли, скребли. Постепенно поселок освободился от гор мусора и грязи, в нем стало домовито и уютно.

Возвращаясь сегодня домой, Марина впервые почувствовала, что ей грустно с ним расставаться, что все здесь ей дорого и близко.

— Сами не маленькие, подросли, многому научились, это во-первых. Второе — не за границу, небось, уезжаете, в районе остаетесь, — говорил, чуть запинаясь, Грицевич. Литовец не совсем свободно говорил по-русски, и его чуть тронутое оспой лицо от напряжения слегка порозовело.



В стену постукали от Козловских: там были мать и невеста Козловского. Сегодня старуха всплакнула, она опасалась заранее присутствия и шума чужих, которые придут потом в комнаты Марины, ставшие для нее своими. Сколько раз в бессонные ночи ждала она возвращения Марины, ее легкого постукивания в окошко, сколько таких ночей с замиранием сердца она выстаивала перед «маткой ченстоховской» на коленях. Чем позже становилось, тем сильнее и сильнее одолевала ее тревога. Она выходила на тропинку, идущую к Окружной железной дороге, и снова возвращалась. Через белую занавеску комнаты Лерс она видела: нянька укладывает ребенка, рассказывает ему что-то и тоже ждет, встревоженная, настоятельная...

Старуха шла тогда в контору беженцев, где теперь главным был ее сын, бывший пастух, потом рабочий фабрики Прево в Лодзи, и тихо говорила ему:

— Встретить пойти бы к заставе...

— Хорошо, мама.

Осмотрев затвор винтовки, Козловский шел по самой опасной дороге к городу через Окружку. Чтобы сократить расстояние, Марина часто возвращалась здесь. Вот он скрылся у насыпи. Стало совсем тихо. И по двум дорогам к городу ходили долго он и мать.

...Козловская первая узнала о предложении Шляпниковой и терпеливо ждала решения.

Марина живо отозвалась на стук в стену:

— Ждем вас, Наталья Ивановна.

Она вышла в коридорчик встретить соседок. Грицевич распорядился:

— Переезжать надо, решили. Вы тут завтра с Аннушкой уложите: подводу добудем и перевезем; а вы, товарищ Лерс, прямо с работы к себе на новоселье.

— В гости ко мне когда? — спросила Марина жалобно, предчувствуя свое одиночество в чужом, вражеском доме, и, как ребенок, прижалась к Козловской.

— Да как мне в эти хоромы вступить? Уж лучше вы к нам повидаться придете.

— Наталья Ивановна! Если так, то я совсем не поеду. Вы меня просто с рук сбываете.

Все весело засмеялись.

## 3

Путру Марина забежала узнать, не передумали ли в особняке. Время было раннее, ее не ждали. Лестницы и коридоры так загромодили вещами, что протиснуться можно было только с трудом. Прислуга выносила в амбары зашитые в рогожи атласные стулья и диваны, двери были открыты, и Лерс диву далась, сколько там еще сундуков, шкафов, диванов.

Шляпникова в ситцевом капоте, непричесанная, стоя посреди своего добра, бессвязно и растерянно пыталась объяснить:

— Освобождаем комнаты, —

но потом, спохватившись, что все это добро в верхних комнатах никак не уместилось бы, поправилась:

— Сверху вниз перенесли, а снизу ненужное в амбар ставим.

Марина, сдерживая улыбку, поднялась наверх. Комнаты стояли пустые и грязные, из них было унесено все, до оконных штор включительно. Обнажились грязные подоконники, пыль и паутина по углам.

— Ордерочек не забудьте сегодня захватить, — напомнила Шляпникова, успевшая переодеться.

Марина зашла за ордером в Совет к Иванову, который перед всеми хвастался, как отлично ему удалось устроить Лерс: — «Сами владельцы пригласили, — чего же лучше!» — Он неохотно отбирал дома, избегал скандалов, не выносил жалоб, а пуще всего боялся слез: «Эх, кабы все по-хорошему, по добру, по здорову». — Он разрешил осмотр района пулеметчиками, думая, что все равно они ничего подходящего не найдут.

Войдя к Иванову, Лерс нерешительно остановилась. Тот громко спорил с незнакомыми, одетыми в военное. Двое помоложе, видимо, из красногвардейцев, кричали в один голос. Иванов в чем-то убеждал их, все время обращаясь к

третьему постарше, сдержанному и молчаливому.

— Нет, вы скажите... можно ли так? Говорю же вам, вселяется боевой товарищ с маленьким дитем... Горлов ваш и подождать может.

Старший пожал плечами и сказал:

— Военному коменданту надо к частям поближе быть.

— Я Горлова знаю не первый день и за свои слова отвечаю.

Иванов начал терять терпение.

— А вот и истинная виновница происшествия, — обрадовался он, увидя Лерс. «Теперь все сразу сладится, — подумал он, — поговорят с ней, сами откажутся».

Марина смутилась. Молодая женщина, она мало походила на боевого товарища; она стояла молча и злилась на Иванова, который с гордостью рассказывал о ее подвигах. Это еще больше усилило ее обычную застенчивость. Марина несколько не удивилась, когда пулеметчики не поверили Иванову, а самый младший даже крикнул что-то насчет красивых баб. Иванов пришел в бешенство, и в общем шуме уже ничего нельзя было разобрать.

Лерс поняла, что Шляпникова ее обманула. Первым ее движение было медленно отказаться от комнат, но, подумав, она решила, что уступить нельзя: «Почему вот этот белокурый имеет большее право на светлое жилье, чем ребенок?». Она недружелюбно оглядывала высокого военного в отлично пригнанной гимнастерке и хорошо начищенных сапогах. Чем-то знакомым и одновременно чужим веяло от него. «Где я его встречала? Верно, из бывших офицеров, а теперь с нами... немного их пришло, приезжих».

Марина подошла к столу, сразу сделавшись строгой и деловой.

— Сколько вам нужно комнат? — спросила она у спорящих.

— Все, сколько есть, — запальчиво ответили они, — мы ведь только начали формирование, командный состав будет все прибывать.

— Сколько комнат нужно сейчас? — повторила вопрос Марина.

Иванов обозлился.

— Ни одной комнаты в этом доме я им не дам. Чтобы они рядом с вами помещались! Да ни за что! Так сметь вырваться о товарище! Мы еще вас и не знаем!

На шум пришел председатель Совета Латышев.

— Товарищ Лерс должна пересечь немедленно. Подождите, потрудитесь меня не перебивать, — строго остановил он командиров. — Красную армию создаем мы все. Мы не можем оставлять нашего лучшего товарища за городом, в беженском бараке. Враг знает, кого ненавидеть, и не раз уже на нее покушались. За неуважение к женщине товарищу, если вы настоящие пролетарии, вам должно быть очень стыдно, — мягче закончил Латышев.

— Да, нет, мы ничего, сгоряча. Обидно, столько времени помещение искали...

— Теперь уж мы сами для вас поищем. Ты, Иванов, впредь этого не позволяй. Товарищи в районе новые, могут произойти недоразумения. Вон у рожковцев анархисты особняк захватили, их оттуда теперь и не выдворишь.

— Мы не анархисты. Революционный порядок знаем, дисциплина — первое дело, — сказал старший.

Марина быстро обернулась. Знакомый, хорошо знакомый голос, мягкий баритон. Где она его слышала?.. Она пыталась что-то осилить в себе, от него-то освободиться... Неприятно было, что дала себя Шляпниковой провести. «Пусть-ки. Все устроится. Вот барам назло все в доме и разместимся».

— Комнат хватит на всех, — сказала она громко, — верх совсем пустой, его можно занять без ущерба.

— Сколько человек вам надо поселить? — спросил старшего Латышев.

— Шесть командиров, в том числе и я. Седьмой — комендант, товарищ Горлов, — почтительно ответил он.

— Я его знаю... — Она быстро, как спутанные документы былых дней, перебрала воспоминания, отстраняя все ненужное. — «Где, когда? Нет, это только так кажется... Нет, видела, слышала, разговаривала».

— Вы правы, товарищ председатель, — продолжал старший, стоя, —

неудобно нам ходить и самим себе квартиры подыскивать. Это должны сделать органы власти, комендант, военный округ, конечно все через вас. А если в доме на Пустой и нас поместите, мы будем очень благодарны. Так, значит, братцы, и решим, — обратился он к своим спутникам и... растерялся.

Все замолчали, переглянулись: отеческое и снисходительное «братцы» прозвучало здесь непривычно, казалось принесенным из забытого прошлого.

Старший оглянулся, пробежал по лицам, ставшим неожиданно холодными и зоркими, и вдруг встретился впервые с глазами Лерс; она глядела на него пристально, напряженно припоминая. И вдруг лицо Марины засветилось глубочайшей радостью; она протянула руку через стол и, казалось, вся плеснулась ему навстречу.

Да, это был он. Давно, очень давно. Нет, недавно, вчера, третьего дня, в 15-м году. Память совсем не нащупывала дней. Она видела ушедшее до мельчайших подробностей, слышала раставшие звуки, отзывавшие слова...

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### (Отступление)

Шел первый акт «Грозы». Марина пришла к поднятию занавеса, заняла место в первом ряду. Это лучше скрывало ее от филеров, которые уже пятый день охотились за ней.

Стул рядом был свободен. Марина немного встревожилась. Она отлично помнила, что взяла последний билет. Не мог же филер предвидеть, что она возьмет место именно в первом ряду. Ладно, своих «спутников» она сразу узнает. Явится необходимость, тогда примет решение, а сейчас только отдохнуть, забыться на несколько минут... Кажется, стоит только закрыть глаза — и поплывешь в высоту!

Гаснет свет, и на плохонькой сцене появляются герои Островского. «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, — беззвучно шепчет сидящая в первом ряду девушка, — пожалуйста, говорите дольше, шумите громче, пожалуйста, от-

влеките от меня внимание. Я уже засыпаю...» Опять вспоминается недавнее: Георгий Рубисов, примчавшийся на велосипеде за 18 верст, в экстазе выкрикивал:

— Марина, вам надо немедленно скрыться. Исправник говорил моему отцу, что Берг в Петрограде поднял на ноги все министерство торговли и промышленности, когда вы, врач, закрыли во время оспы завод. Губернатор Протасев либеральничает, заигрывает с земством, которое хвастает вашей работой. Жандармерия злобствует...

... В Лютовке арестован санитар, из Грайворона приехала полиция, пришла в холерный барак, не побоялась. Курские, они отчаянные...

... Что это за шум? Крестьяне громят холерный барак. Надо прямо ехать в толпу. Меня не тронут...

... Несколько дней тому назад она одна с санитаром хозяйничала в деревне, оставленной разбежавшимися от страха жителями: в одну ночь умерла от холеры семья приехавшего на побывку солдата, сколачивали гробы, копали на кладбище яму, заливали дворы. А потом кормили брошенный скот и птицу. Нет, ее не тронут. Расступились...

... Где-то звон на колокольне... совсем близко...

Проснулась. «Жандармы? Нет!»

Сидящая подле парочка спокойна. Место рядом занято. Офицер Уральского казачества, на погоне три звезды, на шашке георгиевский темляк, орден Станислава с бантом. Переодетый жандарм?!

Несколько минут сна подкрепили Марину. Офицер внимательно рассматривает ее, задерживает взгляд на значке врача, приколотом слева, и потом глядит на сцену.

Так проходит первый акт. Марина вычитывает, сколько еще томительных антрактов, во время которых надо быть на чеку, и сколько минут можно будет вздремнуть во время действия.

Сосед держит в руках программу, читает и делает неуловимое движение, как бы приглашая Марину взять программу.

Девушка мгновенно настораживается, лицо ее становится холодным и безраз-

личным. «Посмотрим, как он будет вести себя. Если шпик, то попытается познакомиться, заговорить. Если в самом деле казачий офицер, из кадровых, перейдет в более решительное наступление. Все равно, лишь бы на мгновение вздремнуть».

Марина дремлет с полукрытыми глазами. Веки кажутся стопудовыми. Вот сомкнулись. Хорошо и безмятежно. Она открывает глаза. Офицер глядит в упор.

Марина старается не замечать соседа. Она думает только об одном: из теплого помещения надо итти в холодную, неизвестную, морозную ночь; и чуть заметно вздрагивает.

Наклонившись к ней, офицер спрашивает: «Вам холодно?» Марина отворачивается. Он смущен, нервно тербит темляк и виновато рассматривает бахрому кресла.

Уже Катерина на сцене сказала все, ушла из дому и погибает...

Публика, наполовину состоящая из военных, немного похлопав, шумно спешит к выходу.

Марина старается задержаться: сначала она идет к среднему проходу, а потом, как бы смущенная большим количеством людей, возвращается обратно и смешивается с другим потоком. Офицер следит за ней.

Волна людей их раз'единила.

Марина облегченно вздохнула. И на этот раз все обошлось благополучно. Но как быть дальше?

До рассвета, когда придет первый поезд из Двинска и откроют вокзал, осталось четыре часа; надо их провести, гуляя по городу. Это уже третья такая ночь! Девушка заранее вся с'ежилась. В раздевалке она почти последняя. На лице такое высокомерие, что два безусых подпоручика, попытавшиеся было поволочиться, махнули на нее рукой.

Марине показалось, что на углу улицы ее поджидают. Офицерская шинель, но ни формы, ни погонов в полутьме не разобрать; это не сосед по театру, тот ростом чуть пониже; нет, пошла другой дорогой.

Вокзал в другом конце города, туда пешком часа полтора. На улицах ни ду-

ши. Можно итти, подпрыгивая, танцуя, веселясь. Ночь ясная, прозрачная. Мороз обнимает и чуть покусывает щеки. Хорошо жить.

Она пересекла напрямик Дворцовую улицу, освещенную ночными кабаками. Ночью по ней одной пройти опасно; самое лучшее итти переулками, хотя там тоже страшно — Марина с детства боится темноты.

Перед вокзальной улицей ей делается грустно. И немножечко жаль себя. «Можно повернуть обратно, — думает она. — Почему? Дойзу до вокзала, и выйду с другой стороны. В переулке боязно! Ну, чего тебе бояться! И кому понадобятся твои меховые одежды, — глядя на свое ветром подбитое пальто, издевается она над собой. — Все-таки, — оправдывается девушка, — хулиганы не знают, нападут, ударят, обидят. Что я смогу им сказать, как защититься?» Борясь сама с собой, она стоит молча несколько минут. «Пойду назад» — решает она, быстро переходит на другую сторону и идет обратно.

Из соседнего переулка на свет выходит офицер. Они почти сталкиваются. Театральный сосед. Ей теперь видно и лицо, и погоны. Уральский сотник.

Девушка на секунду задерживается. Она готова к аресту. Где-то в подсознании: «Все равно, сон и тепло».

Офицер смотрит на нее пристально, потом нерешительно подходит ближе, и они идут почти рядом.

— Разрешите? — щелкнув шпорами, спрашивает он.

Марина глянула поверх его головы и пошла быстрее; она решила держаться, как женщина, к которой пристают на улице: «Посмотрим, — упорно твердила она, — ни одной лишней улики...»

Они прошли Вокзальную и вышли на Дворцовую.

— Вы знаете, который час? — сказал офицер, вынимая часы. — Второго двадцать пять.

Лерс молчал, однако незаметно для себя стараясь итти в ногу с офицером, когда они проходили мимо ночных кабаков.

Из одной двери вместе с клубами пара и звуками вальса «На сопках Ман-

чжурии» вывалилась группа офицеров с двумя сестрами. Кавалеры поддерживали дам.

— Извозчик! — пьяным дискантом закричал один из них.

— Веселые ребята! — презрительно сказал сотник, отвечая на приветствие пьяных офицеров. Марина молчала. Вдруг он отстранился и на этот раз козырнул первый. Прямо на них шли двое. Лерс увидела погоны капитана и подполковника. Подполковник был окончательно пьян; захлебываясь и икая, он бормотал: «А, капитан... ик, ик, капитан, почему вы не задержали ту канашку... ик, ик, аппетитная канашка, черноокая жидовочка, хватило бы ее на двоих, поделился бы, кля-нись». Он заржал.

Вдруг подполковник остановился, приняв очевидно Марину за сбежавшую канашку. Она испуганно попятилась к сотнику.

— Извините, господин полковник! — сказал он, стараясь пройти.

Подполковник стоял, растопырив руки и раздвинув ноги.

— Сотник, а, сотник, как же это вы под носом у старших, ик, ик, к-ха. Не хорошо, ой, как нехорошо, — говорил он заплетающимся языком и чирливо прозил указательным пальцем.

Уралец, опираясь на саблю, козырнул еще раз и ничего не ответил.

— Дайте пройти! — с этими словами Марина, оттолкнув подполковника, быстро пошла вперед.

— Не наша, похоже, жена сотника, «георгий» на темляке, — разочарованно сказал капитан.

— Что мне жена! Я здесь старший! Подать ее сюда! — заорал подполковник. — Городовой!

Марина свернула в переулок. «Вернуться бы к своим, рассказать все, что видела в эти дни, что передумала в эти долгие ночи. Кто уцелел? — думала она, быстро шагая. — Выудить жандармам ничего не удалось, работа была чистая, ни одной бумажки на руках».

Спутник все шел поодаль.

На углу показался небольшой двухэтажный домик. Он стоял в полумраке, мягкие тени от дальнего фонаря пада-

ли на желтоватую входную дверь. Марина привычно подошла к крыльцу. «Тяжелы ступени чужого крыльца» — вспомнилось ей. Она прикоснулась к звонку, не нажимая кнопки.

Офицер остался на другой стороне. «Вот сейчас подойдет и арестует, свистнет постовому городовому или агенту, чтобы в квартиру зайти вместе, если думает, что я действительно пришла домой. Нет, стой, не шевелится, только пристально глядит. Странный какой-то».

Мороз крепчал все сильнее и сильнее. Марина чувствовала, как от застывших ног потянулись кверху судороги, как сводит спину. Вот ногам стало жарко, а потом они сразу окоченели. Стоять нельзя, надо двигаться. Попыталась слегка притоптывать, но испугалась, как бы из дома не вышли на шум. «Пойду, пройдуся до угла, вроде — жду, когда откроют». И пошла быстро, вприпрыжку, что-то безмятежно напевая.

Сотник нерешительно пошел за ней следом по другой стороне улицы. Марина вернулась.

Офицер подошел ближе и сказал:

— Давайте, я постучу, вероятно звонок испертился.

Лерс на него и не поглядела. Он повторил свое предложение — так же вежливо. Она подумала с озорством: «А что, если в самом деле перебудить мирных обывателей?» Постояла еще несколько минут, потом, махнув рукой, легким шагом пошла в обратную сторону. «Может быть, где-нибудь проходной двор найдется. Нет, от такого не уйдешь. Но как он учтив! Наверно, для того, чтобы оставить за собой свободу действий при дальнейших разговорах».

Она шла, офицер на два шага сзади — за нею. Только сейчас она почувствовала, как все внутри ее оледенело. «Буду колесить по городу, надест ему, замерзнет, сам вернется или арестует. Хоть бы скорей какой-нибудь конец! Надо только не думать, а лучше всего считать и считать — до тысячи, до ста тысяч».

Город переходил в предместье, пошли хибарки окраины, а дальше занесенное снегом бесконечное поле.

В каком-то тушике раскорячились под-слеповатые домики, маленькие, ни звонков у них, ни парадных.

Марина беспечно повернула обратно. Офицер, уже чему-то радуясь, подчеркнута предупредительно шел за ней. Девушка заметно слабела, шла неровно, то замедляя, то убыстряя шаги.

— Свернем опять на Главную, — дружески посоветовал сотник. — Там меньше дует и мало снега.

Она опять не ответила, собрала все силы и быстро-быстро пошла.

— Не надо так, ведь вы совсем изнеможете, — ласково сказал офицер.

Марине казалось, что голова у нее сделалась большая-большая, а перед глазами завеса, отделяющая от нее весь мир.

Из соседней улицы выехал извозчик, до глаз закутанный в шарф, в полушубке и меховой шапке.

Марина расслышала идущие откуда-то издали слова офицера:

— Окажите мне честь... Сядем в сани, вы отдохнете, согреетесь. Я даю слово офицера ничем вас не беспокоить.

Марина, овладев собой, презрительно улыbnулась. Офицер недоуменно глядел на нее, стараясь что-то понять.

«Это арест, извозчик все время ездил за нами». На колокольне пробило три. Скрыться, уйти — некуда, сопротивление бесполезно. «А может быть, — зашептала надежда. — Попробую не сесть, что он сделает?..» Но ноги не двигаются, она делает резкий взмах руками и как будто начинает плыть по морозной реке.

— Не хотите ехать, возьмите мою шинель. — Офицер быстро снял пояс, отстегнул шапку.

— Разве ваша шинель мне впору? — рассмеялась Марина. — Сами простудитесь, — неожиданно добавила она. — Уж лучше поедем...

— Подай, — по-мальчишески радостно крикнул сотник, голос его рассек морозный предутренний туман. Задремавший извозчик обрадованно стегнул лошадь и очутился подле. Марина упрямо вздернула голову, как бы отгоняя что-то, и села в сани. Офицер пристроился на кончике сиденья, укутал

ее одной полрой шинели, заботливо завернул ноги.

— Куда прикажете? — Сотник наклонился к Марине.

— К вокзалу, — еле слышно ответила девушка.

Сначала она как будто согрелась, а потом ее стало знобить еще сильнее. «Это холод выходит» — вспомнила юна мудрость деревенских ребятишек.

Офицер заметил ее дрожь.

— Вы простудились. Вам надо немедленно выпить горячего, лечь в постель. Скажите, куда отвезти, я немедленно вас доставлю. Никто вас не обидит, я не отойду от вас ни на шаг, — говорил он шопотом, волнуясь и спеша.

Марина молчала.

— Вам некуда ехать? Вы поссорились с мужем?

Девушка улыbnулась.

— У меня нет мужа.

Сотник несколько мгновений напряженно думал. И вдруг спросил:

— Скажите, — совсем тихо, наклонившись, но не касаясь ее: — Вы, вы нелегальная?

Марина знала, что он это спросит. Молчала. «Пусть толкует, как хочет...»

Он заговорил сердечно:

— Я офицер военного времени, бывший учитель из деревни под Уральском. Здесь я на несколько дней с денщиком. В гостинице у меня два номера. Возьмите один из них.

«Непонятно, отчего так стало жарко» — подумала она и сказала:

— Нет, я лучше пойду. Скоро откроется вокзал.

— Через час. За это время вы совсем окоченеее. Я только вручу вам ключ от комнаты, и можете тотчас забыть обо мне.

У нее было одно желание: согреться, уснуть, хоть на минуту, на один час. Тогда сразу все будет хорошо.

— Ладно, — беззвучно сказала она.

— К «Европе»!

Марина вздрогнула. Это гостиница, в которой ей в последний раз отказали. Сначала отнеслись с большим уважением: «Такая молодая, и уже докторица». В этом притоне она была лишней: «Нет номеров». Что скажет сейчас хо-

зьяка, толстая, расплывшаяся еврейка, увидев ее ночью с офицером в его комнате?

В коридоре тускло горела дымная лампочка. При входе офицера сонный коридорный вытянулся и оторопел. Докторица, приветливая докторица, что так похожа молодостью на его дочь, она шла с офицером. И она не спрашивала себе комнату. Нет, Янкелю снился дурной сон.

— Дверь между моими комнатами запирается? Где ключ? Чтоб через десять минут был.

Янкель не посмел открыть рта, но взгляд его красноречиво спрашивал...

— Ко мне приехала невеста, — расгоряжался сотник. — Вскипятите чай, сделайте чистую постель, затопите пожарче печь, мы продрогли. Невесте устройте мою комнату.

Подождав в маленькой комнате, она медленно вошла в большую, где Янкель возился у кровати. Лерс осторожно положила озябшие руки на плечи старика. От неожиданности Янкель сделал резкое движение и слегка толкнул ее. Лерс с изумлением расслышала, что он бормочет по-еврейски: «Майн готт, майн готт!» — «И майн тоже, Янкель, один бог честных людей». — «Бог евреев, — поправил Янкель. — Бог всех бедных, и называется он — счастье». — «Ваше счастье — русский офицер жених, казак, жаль вашей матери», — добавил он, тяжело вздыхая, покосившись на дверь.

Марина улыбнулась ему хорошей, доброй улыбкой.

— Дверь хорошо запирается, можно и умывальник подставить, — вдруг выпалил Янкель и ушел, сразу успокоенный.

Лерс заперла двери и прямо в пальто и шляпе присела на сомнительной чистоты постель.

Очнулася, когда в комнате ярко блистало солнце; дуло от дверей. Поутру остыли печи, и ветер, свободно разгуливающий по коридору, забирался и в комнаты. Сразу вспомнила все, что произошло, вскочила, осмотрелась. Офицер, ночь, Янкель. Но при солнце все казалось проще и ясней. Скорей на вокзал,

взять вещи, выпить чаю, отправиться в Земский союз. «Надо ли проститься с любезным хозяином? «Либерал наш уютельный», — вспомнила она слова какой-то песенки. — Нет, «свободно-мыслящая, критическая личность». Ей хотелось весело и звонко смеяться. «С этим приключением надо разделаться как можно скорее...»

Оглянула перед уходом комнату с занавеской в помпончиках, с диваном у печи, выдавшим виды, с затасканным ковриком у постели. Как она устала от случайных гостиниц и вокзальных комнат, от железнодорожных вагонов...

В дверь постучали.

— Вы уже встали? Можно к вам на минутку? Чай готов.

«Сбежать. Неудобно. Может быть, он еще и пригодится!» — думала Марина, недовольная и в то же время любопытная.

— Вы уже в пальто? — Офицер вошел в комнату.

— Я его не снимала, так сразу и занула, — доверчиво ответила Марина. — Сейчас мне нужно уходить.

— Куда?

— Куда нужно, — прубо ответила Марина.

— Не надо так. Я ведь в вашем полном распоряжении. Если вам негде быть, поедте ко мне.

— Что-о-о?

— Да, ко мне в сотню. В полку найдем вам работу. Я ведь приехал в город за врачом. Скажу в Земском союзе, что ко мне неожиданно приехала невеста, врач, — пусть командируют...

— Спасибо, я пока отказываюсь. Мне надо свои дела устроить. Если обойдусь без вас, будет отлично, если положение станет безвыходным, придется принять ваше предложение.

Но тут Марина подумала, что, явись она в Земский союз с казачьим офицером, там не станут ждать ответа на запрос о благонадежности врача Доры Роттенберг, по чьему удостоверению она сейчас жила. А ей надо продержаться до получения связей. «Но зачем же к нему ехать? — спрашивала она себя недовольно. — Потому, что это надежней и просто».

Все устроилось, как нельзя лучше, Сокол, — так звали сотника, — распорядился уверенно и точно.

— Простите, я по-мужски и как старший. Мною руководит, — он на минутку задумался, чтобы честно сказать, что же им руководит, и не мог сказать ничего. — Значит, вы из Харькова? — продолжал он. — У нас есть два харьковских зауряд-врача...

— Кто? — быстро спросила Лерс.

— Шней и Близищенко.

Сокол не мог конечно видеть, как рванулось и запрыгало ее сердце, он не заметил, как заискрились ее глаза, как потеплел голос.

— Везет же мне, — с неожиданной мягкостью произнесла она, — земляков встречу.

Сокол не знал, что земляки эти дальние, из Сибирского землячества.

— С моей легкой руки! Мне на счастье.

— Это будет видно после, — по-женски, с едва уловимой насмешливой интонацией, произнесла она.

— Я готов ко всему, — серьезно сказал офицер.

«Ехать или не ехать? — Опять сомнения охватили ее. — Но... волков бояться, в лес не ходить. Да и волк ли он? Скорее ягненок», — усмехнулась Марина.

\*\*\*

Тройка несется по белой равнине, гладкой и пустынной.

— Далеко еще?

— До нашего фольварка, где стоит штаб сотни, верст восемь. Мы едем по деревням, где расположен наш полк.

На горе замаячил в огнях дом.

— Вот и наш фольварк. Ишь, какую иллюминацию устроили.

Несколько казаков выбежали встречать. Узнав, что к командиру приехала невеста, бабы ахнули от любопытства и придвинулись ближе.

Марина не стала раздеваться.

— Велите седлать коней, нам сегодня же надо в штаб полка, — напомнила она.

Офицер растерялся, впервые за все время знакомства, и уставился на девушку.

— Как, в ночь, сейчас?

— Да, немедленно, сейчас.

Она самой себе не смогла бы объяснить этой поспешности.

— Мне надо поговориться с околотком, с людьми. Обязательно сейчас, — настойчиво и требовательно повторила она.

Офицер уже успел узнать характер своей знакомой. Перечить ей было безрезультатно. Он велел седлать лошадей.

— Провожатых не нужно, мы поедем вдвоем.

Девушка исподтишка следит за всеми движениями офицера и, повторяя их, незаметно перекладывает повод в левую руку.

— Вы поезжайте вперед, я ведь не знаю дороги, — предлагает она Соколу. Ее лошадь, почуявшая неопытного седока, сразу переходит в галоп. Марина напрягает все силы, чтобы удержаться. И, когда конь спотыкается, она все же удерживается.

— Сколько верст до местечка?

— Двенадцать.

Они ехали по недавно проложенному следу полозьев.

— Скажите, вы давно ездите верхом?

— В первый раз сегодня взобралась на лошадь, и мне адски неудобно.

Сотник в порыве неудержимого веселья пригнулся к девушке и обхватил ее за талию.

— Уберите немедленно руки прочь, слышите! — сказала резко Марина.

— Если вы пошевелитесь, лошадь вас немедленно сбросит, а я поеду сзади, — хохотал сотник, радуясь, как ребенок, но руки принял.

Они ехали молча, как бы боясь спугнуть шорохи ночи.

В высоте — переключка воздушных светил... Свод неба матово-васильковый, а звезды на нем — как кашка среди полей.

Офицер думал о случае, который свел его с этой необыкновенной девушкой. Он знал, что существуют революционерки, читал о народовольцах... Но то были героини совсем необычные, и вид был у них, вероятно, как у овятых. А это — живая женщина, такая простая и родная. Он знал одно: пойдет за ней на



край света, ничего не потребует, ничего не захочет. Влюблен? Вздор...

Странное чувство, и Сокол не хочет противиться ему. Зачем? Ему кажется, что он всегда ждал Марину... Учительская семинария, он слышал о революционном движении из чужих слов, из третьих рук... А теперь — война, новые люди, новые знакомства...

— Ну, невестушка, вам опять за свою роль приниматься, — крикнул он Марине, когда они въехали в последнюю деревню.

Кое-где в избах светились огоньки, гуляли казаки. Марину, «невесту», поместили в спальне сотника. Сам он, к недоумению денщика и денщицкой жены, устроился на диване в столовой. В окне у Марины закатывался месяц; где-то ржали кони, лаяли собаки. «Одна, в ста верстах от позиции, в казачьей сотне 1-го Оренбургского полка. Для всех — невеста командира, для командира — желанная женщина...»

Девушке сделалось страшно. Может быть, впервые за свою короткую жизнь она испугалась по-настоящему. Несколько минут прислушивалась. За дверью было совсем тихо. Чуть слышно потрескивали дрова в печке. Марина подошла к двери, осмотрела замок. Маленький крючок... От хорошего напора с той стороны сам отлетит. «Но если я ему доверилась, то надо быть последовательной до конца. Если были сомнения, не нужно было ехать». Она быстро разделась и юркнула под одеяло. И по-детски сразу и безмятежно уснула.

Ощущение полного солнца заставило ее открыть глаза. Солнце золотисто-белой пылью покрывало одеяло, ее волосы, руки, шею. Марина порывисто вскочила, посидела мгновение и опять легла. Не хотелось прерывать блаженного состояния легкости, ясности...

Дверь чуть приоткрыта. Она помнит — захлопнула ее плотно. Легкий стук.

— Можно к вам? Не бойтесь...

Девушка молчала, но в этом молчании не было протеста. Так он и понял.

Сокол вошел и сел поодаль в кресло.

— Я всю ночь не спал. Знал, что взяла на себя тяжелую обязанность. Бо-

ялся, выдержу ли. Было мгновение, сорвался, пошел. Толкнул дверь, и она открылась сама. То, что вы мне так доверились, даже не заперли двери, меня сразу отрезвило. И мучительно захотелось быть достойным вашего доверия. Теперь я уважаю себя, и за это благодарю вас.

Марина, уткнувшись в подушку, с замиранием сердца слушала это неожиданное признание. Она понимала все пережитую опасность, но знала — ее внутренняя сила должна подчинить!

Полусерьезно, полусхутом она сказала: — Это собственность приучает друг от друга все запирает и самим запирается. Вам это еще не понять... Для вас это было, поди, какое геройство!

Несколько баб и казаков где-то за стеной выводили:

Правда, нас не тысяч сорок,  
Чем же хуже мы донцов,  
Золотник хоть мал, да дорог.  
Это нам завет отцов.

— Эту песню наши уральцы в пику донцам сложили, мы лучше и человечнее.

— Ой ли... Ну, выходите, буду вставать.

Марина потянулась к солнечным зайчикам, что золотились, голубели на одеяле, на стенах, на окнах, на снегу.

\*\*\*

Да, это был он, командир казачьей сотни.

«Но какое превращение! Совсем с нами!» — все это вихрем понеслось у нее в голове.

\*\*\*

В доме поселились и Лерс, и пулеметчики.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Когда поселковые дроги остановились у ворот, все обитатели особняка бросились смотреть. Папаша с мамашей, три дочери, два сына заняли наблюдатель-

ный пункт у окон, выходящих во двор: три горничных, две кухарки, старый повар, три дворовых человека притаились у лестницы.

«Это скарб ее прислуги» — единодушно решили все, когда Грицевич и Козловский внесли железную кровать с досками и сенником, потом три стула и два начисто выструганных стола, старенький туалет, к которому на поселке был приспособлен крашенный в желтую охру табурет. Появилась детская кроватка с колыбелькой внутри и белыми сетками по бокам (Марина затратила на нее свой месячный заработок). Потом тяжелые ящики трудно потащились вверх по лестнице. Тут дворник Кишашка не выдержал, его подмывало любопытство и желание рабочего человека помочь. Но определить, чем нагружены ящики, ему так и не удалось. Дворня встречала их многозначительным переглядыванием.

— Самой еще нет, вот с нею главное награбленное и прибудет, — давала пояснения старшая дочь, по мужу Зимица, у которой уже отобрали особняк.

— Вещей-то наверно сундуки ломятся, — уверяла домочадцев Евдокия Степановна.

До темного вечера дом был в любопытстве и тревоге. Обозы с имуществом однако не прибывали.

— Может, при свете не хотят, — рассуждали в людской. — Когда молодую нашу выдавали, то все вывозили затемно, чтоб людям в глаза не бросалось. А ведь то было свое, горбом заработанное. А здесь что? Грабители...

Только к ночи пришла «грабительница». Она вприпрыжку взлетела по черному ходу в свою комнату, бросилась к няньке на шею, мигом оглядела все и тихо, на цыпочках, подошла к постельке ребенка. Припала осторожно к его изголовью.

— Как чудесно у нас, — радовалась Марина.

— Пусто только, хоть собак гоняй, — ворчала крестьянка. — А у буржуев добра! И все они куда-то прячут, куда-то тащат...

И, набравшись храбрости, она сразу выпалила:

— А што, если бы нам немного лихфицировать? — Марина недоуменно на нее уставилась. — Лихфицировать, горюю, не понимаешь, забрать, что ли?

— Взять у них их вещи, старый хлам! Нет, родная, нам этого не надо. Ты лучше погляди вокруг, как просторно и вольно.

— Раз тебе хорошо, то мне и по давню... Соседи к нам переехали, — докладывала няня. — Имущества — тоже кот наплакал, рак навиствал, нашему под-стать. Чемоданчики, ружье да пистолет. Один приехал — нашенский, помнишь, на поселок приезжал воров ловить...

— Это кто? — удивилась Марина.

— Я, говорит, комиссар всего города и порядок охраняю, а дома у меня даже телефона нет!

— Да неужели Горлов?

— Вот, вот, Горловым он и назвался. С маленьким поиграл...

— А другие не заходили?..

Ей хотелось знать, как держится Сокол, переехал ли он.

## 2

Так началась жизнь Марины в особняке, ничем не отличная от жизни на поселке; так же рано начинался день, с солнцем подымался малыш, и его пробуждение сопровождалось задушевным журчанием няниного голоса:

— Зоренька моя ясная... Соколик ты мой прекрасный... Ландыш белый на лугу...

Рано начинался день и у пулеметчиков: в семь часов утра, осторожно ступая по лестнице, чтобы не разбудить сонный дом, они уходили.

К двенадцати возвращалась Марина, чтобы второй раз покормить сына. При ее появлении дворня, ютившаяся на кухне у большой плиты, как тараканы, бросалась наутек по углам, а потом осторожно столзалась вновь.

Марина жила замкнутой жизнью, не общаясь ни с хозяевами, ни с соседями. Разве только с хозяйским мальчиком Колей, у которого была сухотка ноги.

С Колей Марина познакомилась на кухне. К няне Аннушке из деревни

приехала сестра и привезла гостинец — кусок телятины. Дело было в воскресенье; стряпней занялась сама Марина.

Когда на кухне вкусно запахло мясом, из-за выступа лестницы показался мальчик. Прихрамывая, он заковылял к выходной двери; потом, осмелев, свернул к плите. Он давно уже заметил, что жиличка смотрит на него приветливо, и был уверен, что, если подойдет, его угостят.

Увидев в руках у мальчика «Тома Сойлера», Марина спросила, есть ли у него продолжение. Коля узнал от Марины, что Марк Твен — американский писатель, который пишет не только для детей. Никто с Колей так дружески никогда еще не говорил. Мальчик повеселел. Когда обед был готов, его пригласили с собой...

По вечерам Аннушка, дождавшись Марину, усаживалась у ее постели и отводила душу, высказывая свои тайные сомнения:

— Прихлебатели-то все говорят, что вот-вот падут большевики.

— А ты как думаешь?

— Так думаю, что не падете, упорные вы, большаки. Раз взяли власть, не выпустите. Сами-то буржуи со мной не очень разговаривают, а все прихвостней подпускают.

— Ты, няня, не очень с ними задирайся, темные они.

— Не бойся, посветлеют, как вас покатыят. Вот к мальчику сначала, как к гаденку, а он весь в тебя: со всеми ласковый. Вынесешь его на кухню, всем улыбается. Я его от них прячу, а они пристают, — девки, так в драку: кому поддержать. Глаза он откроет, глянет на каждого, каждый заулыбается сам, всем сразу весело станет. Вчера сама, значит, хозяйка, меня на лестнице остановила и просит: «Покажи, няня, мальчика, все «люди» — это, значит, прихвостни ее — только о нем и говорят». — «Не могу, — отвечаю, — спит он, а потом, чтоб ты еще, старая, не оглазила». — «Какая такая я старая!» — как заверещит. «А что, молодая? — говорю, — дочери замужем, внучата. Да и потому еще старые вы, что отжили свое, наше наступает...»

— Ты, Аннушка, здесь, как вижу, все митингуешь... Только ругаться не надо, ты это так, по-хорошему...

— По-хорошему? Доброта! Вот сшибут вас, они тебе по-хорошему покажут.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

Продовольственный отдел — сердце Совета; оно рассылает по всему району питательные соки; их мало, а потому в первую очередь снабжаются рабочие и дети.

Заведующий Николай Орлов в отделе сидел мало. Рабочий день Орлова начинался на рассвете; он обходил булочные, продовольственные магазины, с лампой-коптилкой нырял в погреба, где вдруг находил копченую рыбу и невзятых на учет сибирских тетеревов и рябчиков. Основное — хлеб. Он вычитывал, сколько получит муки с мельницы, куда сам свозил полученную пшеницу и рожь, следил, чтобы не подсыпали жмыхов и отрубей выше нормы, прикидывал предполагающийся припек, сбрасывая на «усушку и утруску», и часто с замиранием сердца убеждался, что даже по четвертке дать в ближайшие дни рабочему населению не сможет.

По своей семье он знал, как живут товарищи. Еще затемно поднимается жена, намешает ребятишкам какую-нибудь болтушку, накажет старшенькому приглядеть за двумя малышами и идет в очередь. Надежды на получение хлеба почти не было, но сказать жене об этом он не мог. Остаться Орловой дома нельзя — заволнуется окраина, затараторят бабьи языки: «Чего комиссарше ходить в очередь, у них дома, поди, всего вдоль».

Ни разу в самые тяжелые часы, когда у ребят соловели глаза от истощения и их клонило ко сну, ни разу Мария Орлова не пожаловалась мужу. Да и зачем? Он сам прекрасно видел, как бледнели ребячьи щеки...

И при своих расчетах и вычислениях Орлов всегда думал о ребятишках, всегда прикидывал, как бы им что-нибудь выкроить.

Один раз он получил из центра несколько пудов яиц; удивился при этом, почему яйца идут на вес... Сам был при разгрузке, указывал, как сносить, как ставить, чтобы не побились. Он представлял себе детвору, лакомящуюся яичками... Попутно вспомнил, что где-то читал он об использовании яичной скорлупы для удобрения, и тут же высмеял себя за фантазерство.

Заведующий продовольственным складом, сталепрокатчик с Гужона, расширил мешки с кедровыми орехами — неприкосновенный запас на случай полной нехватки хлеба — и тоже интересовался яйцами. Они старались друг от друга скрыть свое волнение.

— Товарищи, да ведь это горчица, — ошеломил их продавец. Стоя у вскрытого ящика, он держал в руке беленький мешочек, стянутый сверху тесемкой. Тесемка была распущена, сыпался желтовато-зеленый порошок.

Орлов растерянно смотрел то на мешочек, то на продавца.

— Дай, дай-ка сюда попробовать.

— Какая там горчица, вроде как только, только вяжет, — после пробы назвал сталепрокатчик; он разглядывал надпись и вдруг радостно закричал: — Яичный порошок. Способ употребления: ложку состава растереть в горячей воде добела и вылить на сковороду с шипящим маслом.

— Шипящее масло!.. — Повеселевший было Орлов сызнавал поник головой. Где взять масло, как распределить этот странный, впервые попавший в рабочий обиход порошок, и что сказать матерям? Потом решил: «Порошок выгодней яиц. На всех ребят хватит, масло тоже достанем, принайдем у соседей».

Он спозаранку обошел магазины, следя за развеской яичного порошка, любовно наклеивал объявление:

*«Всем детям до шести лет выдается яичный порошок и осьмая растительно-го масла».*

Дома жена иронически спросила:

— Продовольственный комиссар, покажи, как яишеньку стряпать, тебя все ждем... Меня расспросами одолели, в очереди смеху-то было!

— Что ж, могу! Нам сколько пришлось?

— Три пакетика. Продащица всем обьясняла, как печь. Только не верят бабы, чтоб яйцо в порошок можно было стереть. Говорят, насмешка все это, и порошок поддельный.

— Давай пробовать.

Орлов сам готовил яичницу, весело наблюдал, как дети, обжигаясь, жадно глотали вкусные коржи, и причмокивал вместе с ними.

Такие дни выпадали редко. Сегодня он подсчитывал районные запасы, и из тощих цифр на него глянули зияющие полки магазинов, пустые пекарни и длинные хвосты очередей. Вчера ничего не выдавали, женщины не расходились всю ночь, среди них шныряли «добровольцы», предлагающие свои услуги для проводов на Большую Алексеевскую, где, по их словам, хлеб выдадут немедленно, стоит только на правительей крепче нажать.

Визиты голодных женщин с грудными детьми в Совет были нестерпимо тяжелы и мучительны. Приходили крикливые мешанки московской окраины, попадались и работницы, с худыми детьми на руках.

Текущая работа прекращалась, к толпе выходил весь президиум. По-особому, душевно и тепло беседовал с женщинами Орлов. Он просил выбранных проверить, как все распределено, знакомил их с планами и перспективами, ничего не скрывал; выходило, что кое-что трудящимся в ближайшие дни перепадет, в особенности детям.

В трудные минуты появлялась Марина. Пробираясь к скамейке посредине двора, с которой обычно говорили ораторы, она улыбалась ребятам, передразнивала большеньких, перемигивалась с маленькими — возраста ее сына, — задерживалась у групп, которые казались ей особенно злобными, а когда начинала говорить, то ее нельзя было не слушать.

Жизнь Лерс проходила у всех на глазах. С раннего утра и до поздней ночи она была на ногах. Вряд ли было в районе предприятие, фабрика или завод, от самого крупного до маленького,

где бы не видели в эти месяцы, — за-долго до Октября и после победы — ее маленькую фигурку, где не слышали бы ее грудного, по-детски звонкого голоса.



Сегодня было особенно трудно, и Орлов стал разыскивать Марину. В Совете ее не оказалось, он пошел в партийный комитет. Здесь ему сказали, что Марину послали на Электрический. Там что-то неладно, хорошо бы и ему туда отправиться, — его завод. Он нашел кучера и просил ехать, как можно скорее.

## 2

Большая Алексеевская впадала широким рукавом в Таганскую площадь, сдавленную выходами шести улиц, вытекала оттуда Воронцовской, шла дальше Спасской заставой, где происходил главный торг. Пуд муки уже доходил до двухсот рублей, за маленькую миску картофеля, содержимое которой вмещалось в пригоршню, кожуховские крестьяне заламывали двадцать рублей; синеватый клок мяса, весом не более фунта, доходил до ста. С'естное продавали из-под полы. Открыто продавали зажигалки. Ближе к баням размещались продавцы полусгнивших носильных вещей, нелепых вееров, битых ваз; это буржуазия выпускала на рынок свои «отходы», содержимое чердаков, кладовых... От этого ряда подымался лежальный дух, запах нафталина, тления. По рынку слонялись и рабочие, некоторых Орлов знал в лицо; завидев его, они старались юркнуть поглубже в толпу.

Незаметно миновали Окружку, потянулись пороховые склады, пустыри, свалочные ямы, и поодаль, ближе к деревне, предмет вожделения и зависти москвичей — кожуховские картофельные поля.

— Невеселое наше место, захолустье какое-то.

Орлов в душе был неисправимый романтик. Чтение Маркса и Энгельса давало ему огромный материал для мечтаний, он знал основные законы исторического развития, знал значение прибавочной стоимости в развитии капитала,

штудировал Гильфердинга и буржуазных экономистов, ясно представлял себе пути построения социалистического общества, человеческие возможности.

Может быть, в этот день, в 18-м году, 27 июня, Николай Орлов мысленно видел дымящиеся гиганты «Шарикоподшипника», а на месте злобно молчаливого Симоновского монастыря, вековыми стенами отгородившегося от рабочих, — звенящую громаду Дворца культуры!

Николай Орлов был мечтателем. Может быть, он видел фонтаны далеко раскинувшихся скверов, где играли нарядные, румяные дети, густую зелень каштанов, тени от листьев пальм, мягко лежащиеся на солнечную землю, стройные колонны домов со сплошными окнами вдоль фасадов, новую настоящую и будущую Симоновку — Ленинский подвал!

По кочковатой дороге Орлов под'ехал к Электрическому заводу. Через узкий проход между конторой и заводом вошел в штамповочный цех. Нигде не было ни души, завод казался заброшенным и пустым. При самом входе в обмоточный наткнулся на два якоря с незавершенной обмоткой, возле валялись изоляровочные материалы, паяльная лампа, обрывки наждачной бумаги, готовые секции, обмотки, стояли банки с растворенным шлаком, рабочие ящики были наспех задвинуты, некоторые и вовсе открыты.

Орлов на-ходу задвинул их. Он давно не был на заводе и не подозревал, что он в таком запустении. И сторожей нигде не было видно.

Навстречу ему несся нестройный гул, как будто в деревенской школе ребята тянули слог на верхних нотах. Гул ясен, делался отчетливее, он уже разбирал отдельные голоса. Орлов вышел во двор. Окаймляя небольшое пространство между зданиями, в некотором порядке были установлены маховики, остовы от динамомашин, трансмиссионные валики от маховиков, моторные остовы, куски листового железа и всякая мелочь. Двор тянулся изгибом внутрь и выходил к Москва-реке, заканчиваясь водонасосной станцией. Она высилась над всем берегом, величествен-

ная и изящная, выбросив красный стяг еще в феврале. Знамя осталось и в дни керенщины, и в дни корниловщины, и в ночи и дни Октябрьского восстания, и его рвущееся вверх полотно давало знак на ту сторону реки, что Симоновка на посту.

Обычное место митингов, заводской двор, был забит доотказу. Люди гроздьями свисали с крыш, заборов, станков. В правом углу, на остове штамповочного стана, стояла Марина. Орлов остановился, оглядел толпу. Это был его завод. От Электрического он пошел в управу и в Совет, — это была его семья, его дом, его партийная школа.

Сразу бросились в глаза сотни незнакомых людей, простоватого деревенского типа; они теснились по краям двора, копошились вокруг трансмиссий; несколько человек выкручивали из большой груды обрезки полосовой меди от коллекторов, других интересовали стружки из токарного цеха, сваленные в стороне.

«Барийцы» — догадался Орлов.

Котельный завод Виктора Вениаминовича Бари был ближайшим соседом Электрического. Завод производил сборку мостов, водонапорных станций, большинство рабочих жило на готовых харчах у «дядюшки Бари», — это были отсталые рабочие низкой квалификации, много было и чернорабочих, много «глухарей». Когда Электрический начинал бастовать, выводя на улицу все заводы Симоновки (в последние годы перед революцией это случалось часто), «дядюшка» запирает на большой засов ворота, обещая увеличить «племянникам» порции каши с квасом. По воротам начиналась бомбардировка гайками, болтами, шайбами: тогда поодиночке выползали и барийцы и шли с демонстрантами до первого перекрестка, тая незаметно по дороге. После Октября, проводя контроль над производством, «дядюшку Бари» заменил эсер Мухин, который по родственному осуществлял в завкоме формулу перехода.

«Это он, косоглазый, привел свою армию» — подумал Орлов, внедряясь в толпу. В прозрачном воздухе, не отя-

гощенном дымом завода, Лерс казалась совсем подростком, — это было и трогательно, и опасно. На другом конце станины в непринужденной позе сидел Мухин и с ним кто-то незнакомый. Орлов хорошо рассмотрел бледное, круглое лицо, снисходительность манер, деланно-развязную, с уверенностью в своем превосходстве. Мухин, почтительно наклонясь, что-то объяснял незнакомцу.

«Приезжий кто-нибудь, из их центрального комитета, — решил Орлов. — Выбирают момент, чтобы вмешаться, а квасная армия «дядюшки Бари», с виду безразличная, по-мужицки увлекшаяся возможностью спереть какую-нибудь медяшку, ждет сигнала».

У самой станины полукольцом сгрудились электрички; протолкаться вперед из-за сплошной стены людей было почти невозможно.

Лерс, повидимому, только-что начала говорить. Она умело нащупывала главное, сразу поставив в центр вопрос о хлебе, о голоде, о ребятах.

— Мы одолеем голод. Надо, стиснув зубы, не поддаваясь на провокации, организованно продержаться до нового урожая. Чтобы строить новую жизнь, светлую, радостную жизнь для наших детей, для всех, мы взяли власть в нашей стране; мы только головной отряд мировой революции, рабочие всех стран поднимаются, революция международная придет нам на помощь...

Ее слова дышали глубочайшей верой, искренностью и силой.

Стояла напряженная тишина.

— Ты нам про за границу голову не морочь, хлеб, хлеб зачем отымаете, — крикнул сухим, срывающимся голосом кто-то из толпы, крикнул и скрылся.

— Зачем же ты, товарищ, прячешься, — не меняя голоса, сразу же обернулась Марина. — Если что есть, выходи и говори.

В толпе сочувственно зашумели:

— Бойтся, только из подворотни может, исподтишка.

— И выйду, не запугаешь.

К остову станины протиснулся пожилой рабочий. Он кричал, голос его переходил в визг:

— Ишь, краля! Хлеб, говорю, отдайте рабочим. Последний кусок из горла рвете.

Толпа заволновалась, барийцы сгрудились и стали напирать вперед, электрички разомкнули полукруг возле трибуны. Марина глянула вниз, к ней ближе придвинулись изолировщицы; впереди всех — Воинова, руководитель октябрьских разведчиц.

Воинова вцепилась в крикуна и не давала ему влезть на трибуну.

Волна перекадилась к Мухину; он вскочил и по станине пошел на Лерс.

И сразу весь двор пришел в движение, зашевелился, задышал. Пискливый голос Мухина, сиюсья заглушить голос Марины, понесся по двору.

— Ждите, товарищи, ждите, чтобы они, большевики, — он с ненавистью поглядывал в сторону Марины, — чтобы они дали вам хлеба. Откуда им хлеб взять! Они отдали Украину немцам, продали весь украинский народ, всю украинскую пшеницу, сахар, масло, мясо...

По толпе пронесся как бы вздох, и остановившихся электрикцев смяла волна наседавших сзади.

— Врешь, косой, мы ничего не продавали, мы от войны только откупились, — неожиданно для самой себя бросила Воинова и стыдливо смолкла.

Ей на смену раздался голос Лерс, заглушая растерявшегося Мухина:

— Ды, мы пошли на тяжелый мир, чтобы купить передышку, чтобы сохранить жизнь миллионам, чтобы вернуть детям отцов.

Электрички заняли прежние места, барийцы в нерешительности замешкались посредине двора, став почти особняком.

— Ну, и передышайте все с голоду, — заорал прежний голос.

И опять началось остановившееся движение, понесся нестройный враждебный гул, отдельные выкрики; барийцы заметно смелели, размыкая электрикцев, теснили изолировщиц.

— Это ты, Краснов, с голоду пухнешь? — спросил кто-то громко и спокойно. При звуке этого голоса наступи-

ла тишина. Замолчали все. Ждала и Марина.

«Значит, орал Краснов, я сразу не узнал, молодец Вдовин» — подумал Орлов. Краснов на завод пришел во время войны, это знали все, купил на слободке домишко, имел в деревне зажиточное хозяйство.

— С голоду пухнешь, спрашиваю? — деловито продолжал свой допрос в наступившей тишине пожилой рабочий. — Неужто у тебя от привезенной свињи живот подвело, иль пружины вымененного дивана бока распирают?

По толпе понесся сочувствующий смешок.

Марина овладела собранием.

— Нам предлагают передохнуть? Кто? Кулаки, мироеды, подголоски буржуазии! Они смеют нас упрекать голодом! Они лгут, что голод принесла революция! Голод принесла война! Голод несут они, голодом спекулирует буржуазия! Мы знаем пути! Хлеб в стране есть... Нужно отнять хлеб у богатеев, у спекулянтов, у акул! Только руками самих рабочих мы получим хлеб! В поход за хлебом мы и зовем вас! Хлеб трудящимся! Вот как мы отвечаем всем врагам, вот что мы должны сказать и здесь!..

— В поход за хлебом? Насаждатели продовольственных отрядов! А кто идет в эти отряды?

Камков — это он и был почетный эсеровский гость — вскочил, как ужаленный. Лицо его перекосилось; за ним ринулся Мухин, барийцы навалились на трибуну, сминая электрикцев. За ревом почти ничего нельзя было разобрать. На мгновение толпа увлекла Орлова. Изолировщицы очутились в стороне.

— Кто пойдет в эти отряды, которые грабят крестьян, отбирают хлеб у рабочего? Я спрашиваю, кто пойдет в отряды? — жестикулируя, кричал Камков.

— Подожди немного, своими бельмами увидишь! — крикнул с крыши сарая рабочий Кузьмичев. Там сгрудилась молодежь.

Камков презрительно усмеянулся и, не ответив, продолжал:

— Мы заявляем...

— Кто это мы? — поступил немедленно вопрос с навеса.

— Мы... заявляем, что ваши продовольственные отряды выбросим из деревни за шиворот, как и те комитеты лодырей, комитеты бедноты, которые вы насаждаете. Теперь других лодырей, городских лентяев в деревню подсыпать хотите? Суньтесь только! Трудовое крестьянство вам покажет, воля народная вас сметет!..

— Воля народной делегат!.. Видали, товарищи! Да как он смеет? — угрожающе понеслось со всех сторон.

На руки женщин соскочил Кузьмичев, почти по плечам добрался до станины, неожиданно вынырнул возле Камкова и прямо:

— За шиворот, мил друг, мы лучше твоего умеем! Кто лодыри? Не мы ли, барин?

Кузьмичев наступал, как молодой бычок, опустив голову, готовый боднуть гостя. Камков попятился.

— Спокойно, товарищи! — раздался голос Марины. — Почему самозванный оратор ослеплен такой злобой на продовольственные отряды? Потому что для буржуазии и ее вольных и невольных слуг самое страшное, самое губительное — это, если мы сумеем накормить трудящихся. Их ненависть к продовольственным отрядам — лучший показатель того, как они нужны. В эти отряды мы пошлем лучших. Рабочие должны напрячь все силы, чтобы дать деревне товару...

— Заставляете работать, опять старая плеть! А жрать что? — перебил Марину Мухин. Он видел, что Камков взял слишком круто. — Товарищи, мы с вами в Октябре русских буржуев били (тогда, подхваченный общей волной, он, правда, демонстративно таскал по слободке винтовку), а теперь большевики нас немецким богачам продают, последний хлеб для кайзера отнимают...

— Долой немецких шпионов! Предатели! — взвизгнуло несколько голосов. Барийцы и кожуховские огородники ринулись вперед, пытаясь завладеть станиной, множество рук потянулось сразу

к Марине, кто-то сильно толкнул ее сзади.

Закричали женщины, где-то жалобно взвизгнул подросток. У трибуны началась рукопашная. Несколько изолированных вцепились в Краснова, а он все пытался взобраться наверх. Но у изолированных были крепкие руки.

Мухин незаметно старался столкнуть Лерс.

«Вот-вот упадет!» — встревожился Орлов, но пробиться к трибуне было невозможно. У многих барийцев в руках оказались крюки и куски железа. Орлов нащупал в кармане револьвер, но сам тотчас застыдился своего движения. Вдруг Марина зашаталась, Орлов рванулся к ней. «Теперь конец, сомнут...»

Нет, Лерс не упала. Рядом с ней очутился Вдовин. Старик был страшно бледен. Трясущимися руками он поддерживал Марину в самое последнее мгновение. Отечески прижимая ее к себе правой рукой, он левую протянул над толпой и громко, перекрывая весь шум, заговорил:

— Кто здесь большевиков предателями называл? Кто хвастал, что, в Октябре буржуев бил! Неужто ты, Мухин? Эх, бесстыжий твой последний глаз! (Мухин побагровел.) А она, Лерс, где была? Пряталась в теплой квартире или вела отряды на взятие Кремля? Ну-ка, припомни, есть ли среди вас, кто в бои ходил?

Толпа барийцев опять отхлынула. Электрийцы протиснулись вперед и решительно ответили.

— Все ходили, как же...

— А если ходили, то видели, с кем ходили?

— С большевиками, этих пучеглазых не было, — кричали десятки голосов.

— А теперь... квасников впустили, в спину лучшего товарища толкать дали...

— Правильно... Кто их звал?.. Ишь, какие хозяева нашлись! Гнать таких в шею!.. Защитнички! Долой!.. Вон с завода! — ревел со всех сторон.

Вдовин, улыбаясь, обратился к озирающимся эсерам.



— Веди обратно, Мухин, свою рать, да смотри за ними — ничего украсть не дадим!

Раздался оглушительный свист. Это трелями переливалась молодежь. Камков петушинно подтянулся, засунув руки в карманы пиджака, спотыкаясь, сходил вниз, стараясь не ронять достоинства. Барийцы, как стадо, ринулись к выходу.

— Куда, стойте! — закричали им с присвистом.

— Веди их вторыми проходными! — распоряжался Вдовин. — Это ж дорога к Москва-реке. Ну, теперь, кажись, все свои, — оглядел он облегченно двор. — Теперь можем и делом заняться и по душам поговорить. Будем выбирать в продовольственные отряды, или тому стрикулисту поверим? — указал он вслед ускоряющему ход Камкову.

Камкову давали дорогу в полном молчании.

— Поверим, что кулак смилуется, хлеб сам даст, или испугаемся, как бы он нас в деревне за шиворот не взял? — уже под дружный хохот говорил Вдовин. — Ну, да какой с меня оратор, пусть теперь партийные говорят.

— Отец, отец, — шутивно упрекнул его Кузьмичев, — ты сам партийный и есть. Вспомни, как в Тюфелеву рощу на массовку бегал!

Вдовин насмешливо прищурил левый глаз.

— Неужто? Значит, по-стариковски память отшибло. Продолжайте, товарищ Лерс, про международное, а потом к выборам приступим. Товарищ Орлов, наш кормилец, — он увидел пробирающегося Орлова, — выйди расскажи, как с хлебом?..

### 3

— Во-время ты подошел, — говорила Марина Орлову, когда они вместе возвращались в Совет. — Заедем ко мне на минутку, время малыша кормить.

Нянька встретила их во дворе, испуганная, взволнованная. В руках у нее был сверток с вещами.

— Это все мое, что из деревни привезла, а что нажила у тебя, оставила.

Бог с ним, еще придерутся. Тебя ждала, чтоб мальчика передать, — заливалась она слезами.

— Успокойся. Что случилось?

Аннушка боязливо поглядела на высокий, нарядный с внутреннего фасада дом, пробежала глазами по окнам, на которых были опущены шторы, и вполголоса сообщила:

— Прихвостни пироги пекут, в доме роляи играют, слышите?

Играли, действительно, какой-то веселый марш.

— Пусть играют. Тебе что? — начала уже сердиться Лерс.

— Пришел старший, Борис, веселый, смеется. Ну, говорит, теперь конец, крышка. Падают большевики! Сначала меня не видел, а как увидел, так тоже не замолчал. Конец, говорит, большевикам. Значит, взаправду крышка?

— Ну?

— Я от Зиминых, говорит, муж Нины приехал из Пензы. Рассказывает: чехиляки какие-то Волгу высушили, и поползли чехиляки на Москву, на большевистскую, вот-вот сюда доползут. Чехиляки — это рыбы-человеки, что бог послал на большевиков, — обьяняли в кухне.

Орлов весело рассмеялся.

— Глухая ты, Аннушка, все нянькиным сказам веришь. Ты на базаре бы послушала, да в очередях, там и про антихриста, и про бесов, и про каннову печать...

— Подожди, Орлов, старший Шляпников — парень осторожный, не станет он бреднями старух пугать. Тут что-то есть. Ступай, няня, домой, развяжи свой узелок, не бойся, жди нас, мы скоро вернемся, только в Совет заглянем.

— Одна я в дом не пойду, они на меня теперь, как змеи, шипят. Кинашка мне вслед даже в палец свистнул, а Ксюша-ябеда: «В дальний, говорит, путь — налегке чтой-то?»

— Мы их скоро облегчим.

— А что, если взаправду падаете? — Нянька испытующе глядела попеременно на обоих.

— Ладно, зайдем вместе.

— Ты почему же с парадного? Сама, надясь, велела через кухню ходить, за-

чем людей зря беспокоить, все мне выгодаривала...

— Ходи теперь только здесь, нечего с мальшом по лестнице надрываться. Не будем больше с ними церемониться.

И Марина властно нажала кнопку.

Резкий звонок пронесся по квартире. У Шляпниковых так звонили только гости. Семья сидела за кофе. Борис, студент Политехнического института, сейчас был центром внимания. Он действительно только-что пришел от Зиминных.

Поручик Зимин провел всю империалистическую войну в действующей армии, так значилось в послужном списке, но на самом деле служил в интендантстве и дальше улиц Москвы не хаживал. Зато теперь он часто отлучался в командировки по своей новой должности в военном комиссариате, выбирая хлебные губернии. Последним его маршрутом была Пенза. Здесь он узнал о восстании чехо-словаков в Челябинске, о захвате Урала, о брожении в Поволжья. Зимин немедленно повернул обратно, успев прихватить сала и муки; он решил, что, пока чехи дойдут, все это может еще пригодиться. Предстояло много хлопот, надо было очистить от рабочих особняк, разыскать вещи, составить список пропавшего. В Москве резких изменений, к своему удивлению, он не обнаружил. «Эвакуацию по ночам ведут, чтобы вывезти все поценнее и распределить между собой. Надо быть на-чеку» — поучал он Бориса, который пришел за своей долей (не даром же мамаша целый чемодан на обмен вручила). Не получив продовольствия, но обогащенный новостями, Борис помчался к родителям. В доме поднялась радостная суета, всяк по-своему толковал события. Таким образом и составила оперативная сводка, положенная Аннушкой Марине.

— Звонят! — сказал Шляпников.

— Не батюшка ли с Калитников, с поздравлением?

— Может, Юрий за советами к папаше, теперь опять все кланяться начнут, и Нина зачастит...

Старшая дочь, Шура, вскочила, чтобы переодеться к приходу шурина.

Пока горничная, набросив поскорей белый передник и заколов роговым гребнем волосы, — теперь надо подтягиваться! — бежала к парадной двери, вся семья встала навстречу гостям. Шляпников, продвинувшись в прихожую, наблюдал, как упал крюк, — разучилась прислуга бесшумно отворять, — потом звякнули задвижки, и наконец Груша, выпрямившись и посторонившись, щеголевато распахнула дверь.

Лерс стремительно вошла и, как бы никого не замечая, спокойно пошла по коридору мимо расступившихся Шляпниковых. Нянька несла ребенка. Шестивие замыкал Орлов. Они прошли, словно через строй; в раскрытые двери увидели и хрустальную сервировку на столе, и мебель, впервые после Октября освобожденную от чехлов.

Аннушка с оглядкой добралась до двери, отперла, осмотрела. Все было в порядке.

В дверь несмело постучали.

— Не буржуи ли идут извиняться? — уже развеселившись, сказала нянька.

Вошел Сокол. «Это его первый приход, и в такую минуту!» — мелькнуло у Марины. Она пригласила гостя сесть, познакомила с Орловым и недоумевающе ждала.

Сокол без смущения сказал, что давно уже собирался зайти, да ее трудно поймать. С сыном ее они «куда какие приятели», и он построил ребенку гримасу, на которую тот немедленно ответил такой же.

— Только-что вернулся из командировки, был под Пензой, услышал голоса и зашел.

Марина метнула совершенно неприятный взгляд в сторону Орлова.

— В Пензу ездили? Это откуда молодой Зимин возвратился, — вмешалась Аннушка, — а чехляков видели? Какие они собой?

— Видеть их няня пока не пришлось; в ближайшее время встретимся... Наднях выступаем на фронт. Встреча будет веселая, музыкальная, пулеметы наши и орудия бьют верно и метко.

— И.. мил друг, никакие орудия тебе не помогут! На них только наговором можно! Они, как водная саранча, так и ползут, так и ползут.

Сокол поглядел на Марину, она, наклонившись к ребенку, внимательно слушала.

— Ползут, нянечка, ползут, да и останятся. Наш наговор — рабоче-крестьянская Красная армия, — торжественно сказал Сокол.

Марина рассказала Соколу о настроениях дома, о поведении хозяев.

— Как настроены мобилизованные унтера? — спросила она.

— По-разному, пестро очень! Красногвардейцы — чудесный материал, деревенские, выслужившиеся — похуже.

— Умело с ними нужно. Большую работу надо провести. Кто у вас этим делом занимается?

— Комиссар товарищ Горлов.

— Да ведь он левый эсер?

— А левый эсер, так не человек? У него, гляди, какая дисциплина! — вмешалась Аннушка.

— Откуда тебе это, Аннушка, знать?

— Как откуда, по всему видно, небось, под боком живет.

— А я сегодня вхожу в дом, — рассказывал Сокол, — сразу чувствую, какая-то настороженность! Иду сейчас по лестнице, даже кобуру расстегнул,

честное слово. Домик у нас ненадежный, как и весь обывательский тыл.

— О тыле, Андрей Леонидович, не тревожьтесь, тыл у нас замечательный и крепкий. — Марине хотелось рассказать об Электрическом, о Вдовине, об изолировщицах, о чудесной молодежи, об испытанных стариках, но она промолчала. Воспоминание о командире казачьей сотни не уходило от нее. «Это надо преодолеть, — уверяла она себя, — ему можно доверять. Может быть, может быть, но не все и не сейчас...»

— Мне хотелось давно с вами, Марина Михайловна, о многом поговорить, посоветоваться. Давно не видались, выросли вы, возмужали, — говорил Сокол, ласково глядя на Марину.

— С радостью. Только не сейчас, спешим с товарищем Орловым в Совет.

— Бабы ко мне с очередей собираются, — застенчиво раз'яснил Орлов.

— Собирались, да отставили! Хлеб выдали! Даже продавцы удивились.

— Что ты, няня, говоришь? Откуда бы это им? Неужто кто-нибудь привез?

И они почти бегом пустились к Таганке. У булочных действительно не было очередей: только недавно прямо с баз подвезли муку и выдали по сто граммов.

Орлов снял кепку, вытер лоб, присел на столбик у дороги.

*(Продолжение следует)*

# Чучело цапли

КОНСТАНТИН ЧИЧИНАДЗЕ

Не шуметь больше взмахами крыльев,  
Хоть подруги летают вдали.  
Небольшой уголок, навсегда обессилив,  
В кабинете тебе отвели.

Смотришь взором сторожким и долгим,  
Словно в рыбу нацелила клюв,  
И зрачок свой стеклянный на книжные  
полки  
Устремляешь ты, шею согнув.

И простор вспоминается синий,  
И тростник, и болотная цветь,  
Но железными прутьями сердце  
пронзили...  
Никогда, никогда не взлететь!

Перевел с грузинского БОРИС БРИК.



# В горах Алтая

Рассказ

А. ПЕРЕГУДОВ

1

Я переживаю необыкновенные дни, похожие на страницы приключенческого романа. Я вижу, как ночами на озеро пластами ложатся туманы, а утрами в туманах скрываются берега и горы. Стоя на камне и умываясь ледяной водой, я наблюдаю, как в молочно-сиреневой мути светлеет перламутровое пятно и призрачным силуэтом возникает мохнатая шапка горы. За горой из диких дебрей всплывает солнце. Оно похоже на желтую медузу, ползущую в туманах... А через час сверкает озеро, громоздко и первобытно, — как и тысячу и сто тысяч лет назад, — возвышаются горы, одетые зеленой шубой тайги...

Мимо меня проходит человек огромного роста в лудовых сапогах и потертой кожаной куртке. Его лицо почти до глаз заросло бородой. Великан, широко шагая, идет берегом озера и скрывается за мысом, поросшим черемухой и кустами смородины. Я знаю, что он направляется в глухое ущелье и что через час в этом ущелье ударом ножа он убьет человека. Это не беспокоит и не пугает меня, потому что так должно быть и ничто не сможет остановить руку, занесшую нож. Тот, кому предназначено умереть, умрет, а убийца вечером под шатром кедра или под душистой пихтой будет хладнокровно рассказывать мне об убийстве. И мне не страшно, не больно, и раскаяние не терзает меня, — ибо так должно быть. Я сам заранее тща-

тельно обдумал это и многие другие преступления, а мои друзья, с которыми я брожу по горам и ущельям, нашли преступников и заставили их убивать людей.

Преступления не ожесточили моего сердца и не помешали мне полюбить горные дебри Алтая, туманы над Золотым озером, обомшелые скалы и водопады, цветы выше человеческого роста и старые березки высотой с четверть метра, скорбно растущие на вершинах, под которыми в ненастные дни висят облака. Меня радуют запахи пихт и черемуховых ягод, запахи увядающей листвы и влажного моха. Я карабкаюсь по скалам, спускаюсь в пади и до оскомины во рту ем малину, красную и черную смородину...

2

Лето прошло, желтеют осины и березы, ржавеют листья дубов. Вода в озере холодна и прозрачна. На зорях где-то в глуши кричат маралы. Скоро медведи будут готовить берлоги, а пока они бродят по тайге, — я часто нахожу их следы в малинниках и на берегах горных речек. Мне хотелось бы увидеть хотя одного из них, но медведи уходят, слышав или зачуяв человека.

Прекрасна земля в роскошном осеннем увядании. Любуюсь красотой ее, сидя на обломке скалы. Подо мной низвергается водопад, за ним взметнулись в небо серые скалы, а ниже — бурлит по валунам и камням речка. Мощным

гулом наполнено ущелье, и, когда долго слушаешь этот гул, начинает казаться: ревет водопад, свирепто шумит тайга, грохочут скалы. Когда-то, в дни формирования мира, в этом месте разверзлась земля, с болью и радостью вкрикнув, — и с тех пор несмолкаемо и первобытно продолжает она кричать. Человеческий голос тонет в этом крике земли, он бледен и не слышен, как звук струны в гроте духового оркестра.

По берегу речки идет девушка с косами, светлыми, как лен. Вот она остановилась, смотрит на водопад и раскрывает рот. Не слышно: приветствует ли она меня, или, смотря на тысячи тонн падающей воды, кричит от ужаса. Девушка знает, что завтра она должна броситься под водопад, и вот сейчас, любуясь голубым шелком неба, дыша ароматом тайги, она, может быть, с предельной остротой почувствовала красоту Алтая, и ей сделалось страшно: пройдет чочь, и утром — когда так же прекрасна будет земля — девушка утонет в зеленой воде омута или разобьется о скалы. Но все равно: радуйся солнцу или замирай от ужаса — прыжок неизбежен. Бледнее и закрывая глаза, чтобы не видеть кипящей воды, девушка бросится под водопад. Так должно быть.

Прекрасна земля в своем роскошном увядании. Радостна теплая ласка бледного солнца. Живописны горы, тронутые дыханием осени. Живописны леса, зажженные осенним пожаром. Яркие и свежие костры багровеющих осин и черемух. Золотиста парча берез, огромными кусками разбросанная на темной одежде тайги.

Прекрасна и радостна жизнь человека!

### 3

Люди прячутся в тайге, выслеживают друг друга, убивают. Золото сделало их безумными. Больше всего в этом виноват я; придет время, — преступления мои откроются, и наивно было бы замалчивать их. Но, может быть, не менее виноват шаман, который знал богатейшее месторождение золота и ревниво оберегал его? Может быть, не менее

виноваты Аю, Дробов, Ванька Маленький и Урнай? И уж конечно совсем не виноваты люди экспедиции, пришедшие в горы. Впрочем, по порядку...

Нити нескольких человеческих жизней, как в приключенческом романе, переплелись и затянулись в тугую узел. Случилось это в яркий день конца лета в глухой горной тайге на берегу речки. Дробов, Аю и Ванька Маленький искали золото. Они промывали в лотке песок, жадно перебирали его пальцами, злобно выплескивали остаток, — золото не попадалось. Бросив на берег лоток, Дробов сел на камень и выругался:

— Нету!.. Ничего нету, будь оно проклято!

— Может быть, все это враки, — угрюмо сказал Аю. Он стоял огромный, до глаз заросший густой бородой; его длинные, как у гориллы, руки доставали почти до колен. Звероподобного этого человека шаман звал Аю, что по-алтайски значит медведь. Настоящего его имени никто не знал. — Может, никакого золота нет.

— Как нет? — дребезжащим тенорком произнес Ванька Маленький. — Сколько лет уж толкуют во всех деревнях и кочевьях: шаман нашел золото, шаман знает, где прячется золото.

Дробов ударил кулаком по колену:

— Золото должно быть!.. Золото есть!.. Поработаем сегодня здесь, а завтра перекинемся вверх по речке, в ущелье. Надо торопиться, а то экспедиция раньше нас найдет, понаедут люди, и нам бежать придется.

— Испугаются, — ухмыльнулся Аю. Он намекал на убийство, которое он совершил несколько дней назад: ударом ножа в спину он убил геолога, подкараулив его в темном ущелье.

— Их не скоро испугаешь. — Дробов поднялся с камня и по-хозяйски крикнул: — Ну, принимайся за работу!.. Ну!

Ванька Маленький нагнулся к лотку, но в этот момент громкий свист долетел из-за деревьев. Бандиты насторожились, смотрели на крутой обрыв, с которого, потревоженные чьей-то ногой, скатывались камешки. Свист повторился. Таким же свистом ответил Дробов, и спустя минуту по крутому склону быстро спу-

стился человек в меховой ойротской шапке с красной шерстяной кисточкой. Упругим кошачьим шагом он подошел к бандитам и сказал, коверкая русские слова:

— Шаман обманывает нас. Вот что я нашел в его шалаше.

Он сунул руку в карман и достал небольшой кожаный кисет. Бандиты молча и выжидающе смотрели. Из кисета на ладонь посыпались мелкие золотые самородки.

— Золото! — ахнул Аю.

— Золото, — чуть слышно выдохнул Ванька Маленький.

— Золото, — злобно произнес Дробов. — Старый пес знает, где оно прячется. Мы заставим его показать нам место! Ну, что еще нового, Урнай? Куда идет экспедиция?

Алтаец, ссыпая самородки в кисет, ответил:

— Идут к Алтын-коль.

— К Золотому озеру? — испуганно выпучил глаза Ванька Маленький. — Сюда идут!

Аю свирепо засопел:

— Ничего, пусть идут... — Дробов беспечно махнул рукой. — Золота им все равно не найти, — у них нет геолога.

— Идет другой человек, знающий землю... Начальнику говорили сегодня по трубкам... На уши надел трубки и все узнал.

— Ну? — насторожился Дробов. — По радио передавали?

— Он с проводником уже вышел из деревни. Придет к Золотому озеру через пять дней.

— Так... Придется им помешать... Постой!.. Ты куда это прячешь? — Дробов протянул руку к кисету. — Давай!

— Это мое... Я нашел... — негромко сказал Урнай, засовывая кисет в карман.

Дробов уперся взглядом в лицо Урная и тихо шевелил пальцами.

— Мое, — прошептал алтаец.

Бандит медленно согнулся, и его рука скользнула по ноге к сапогу, из-за голенища которого торчала рукоятка ножа.

Аю отшатнулся. Ванька Маленький отбежал на несколько шагов и замер,

задыхаясь от страха. Несколько секунд Урнай смотрел в глаза бандита, потом зябко передернул плечами и протянул кисет.

— Так!.. — Дробов подкинул кисет на ладони. — У нас должно быть все общее. А теперь — идем к шаману!

## 4

Дробов — жестокий и очень волевой человек. Аю — дегенерат. Ванька Маленький — безобидный трус, случайно попавший в шайку. Урнай — проводник экспедиции, изменник и предатель. Все это я прекрасно знаю. Каждый шаг экспедиции и каждый поступок бандитов мне известны. Я знаю и шамана, безумного старика, выгнанного из селений. Революция низвергла всех богов, люди перестали верить в предсказания шамана, на его камлание смотрят с шутками и смехом, как на занятное представление комедианта. Алтайцы не приходят молиться в далекую забытую рощу, где на деревьях висят черепа животных.

Каждую весну, через горы и топи, позабытой другими тропой шаман уходит в эту рощу. Здесь в одиночестве он жжет костры, бьет в бубен и камлает у огня. Он верит: прошлое вернулось, злые и добрые боги внимают его молитвам. Несчастный шаман! Прошлое не вернется! Священная роща погибнет! Урнай сказал старику: «Чужие люди идут в эти места».

Недалеко от рощи, в ущелье, где шумит по камням ручей, шаман когда-то нашел золотую жилу. Он боится, что люди из далекого города найдут это месторождение золота и погубят рощу. Тогда погибнет все, чем он живет, погибнет родное и страстно любимое, что возвращает его в прошлое.

Бандиты идут к шаману. Я стою за густой пихтой и наблюдаю за ними. Они не видят меня, я — вне их жизни, я для них — невидимка. Да, я обладаю секретом, который делает меня невидимым, когда мне это нужно. Как это захватывающе интересно — наблюдать за самими тайными поступками людей, подслушивать разговоры, иногда предупредить события...

Шаман только-что кончил камлать, измученный, он опустился на землю. Бубен глухо стукнул о камень и откапился в сторону. Полыхает костер, голубой пахучий дым ползет в расщелину скалы. Зубы черепа на деревьях. Глаза старика закрыты, он дышит порывисто и хрипло. Он не замечает, как подошли к нему бандиты. Дробов кладет руку на его плечо. Шаман испуганно вскидывает голову.

— Покажи нам: где ты нашел золото?

Старик смотрит далеким, непонимающим взглядом.

— Где золото? Мы всё знаем. Вот что мы нашли в твоём шалаше.

Показывает кисет.

Взгляд старика так же далек и непонимающ. Может быть, в этот момент он весь в проливном дожде, а может быть, думает об экспедиции, приближающейся к Золотому озеру.

Аю трясет старика за плечо, злобно ворчит:

— Не валяй дурака, а то...

— Я покажу вам, где я нашел золото, — негромко и спокойно говорит шаман. — Я покажу вам, если вы прогоните людей, идущих сюда...

Бандиты переглянулись.

— Как же, прогонишь их... — Ванька Маленький робко кашлянул в ладонь.

Дробов свирепо посмотрел на него и нагнулся над стариком.

— Прогоним!.. Ты слышишь: мы их прогоним! А ты... если обманешь...

Он сжимает кулак и делает резкий жест, как будто всаживает нож в грудь шамана.

## 5

За большим письменным столом в кожаном кресле сидит начальник геологоразведки. Он гладко выбрит, одет в прекрасный серый костюм. Его движения неторопливы, его фразы коротки и властны. В нем нельзя узнать слесаря, каким он был пятнадцать лет назад.

Сбоку у стола сидит геолог Степанов, молодой парень, хороший спортсмен и недурной боксер.

— Вы едете завтра, — говорит начальник.

— Есть.

— Разведку во что бы то ни стало нужно закончить этим летом.

— Есть.

— Проводник вас будет ждать в деревне. Вместе с ним вы доберетесь до Золотого озера. Чем скорее вы туда попадете, тем будет лучше для дела. — И, пожимая руку геологу, начальник другим тоном, по-товарищески мягко, говорит: — В экспедиции неблагоприятно. Будьте осторожны. Ну, желаю успеха.

— Я уж постараюсь, Никита Иванович.

— Постарайтесь, дорогой... Я на вас надеюсь.

И снова начальственно и сухо:

— Можете идти. Документы и деньги получите сейчас же.

— Есть.

На следующий день Степанов вылетел на аэроплане в Новосибирск. От Новосибирска до Бийска ехал поездом в скверном и грязном вагоне. От Бийска до Ойрот-Туры добрался автомобилем. Из Ойрот-Туры до глухой деревушки его доставили лошади туристской базы. И с той минуты, когда Степанов поехал к избе проводника, начались его приключения. С этой минуты нить его жизни попала в узел, завязанный бандитами в горной тайге. Положив руку на скобу двери, геолог не думал о том, что он перешагнет порог, за которым ожидают его: изумление, радость, стечение и любовь.

В избе у стола сидели двое: старик с белой бородой и девушка. Старик накладывал заплату на продырявившийся сапог, девушка чистила ружье. Когда распахнулась дверь, девушка положила ружье на стол и встала. Геолог спросил, обращаясь к старику:

— Здесь живет проводник?

— Да, это — я, — ответила девушка.

Геолог ожидал встретить матерого охотника, угрюмого лесного человека, которому открыты все тайны гор и тайги; перед ним стояла девушка, очень молодая, очень стройная, с длинными светлыми косами. Он смотрел на нее растерянно, потом недоверчиво улыбнулся:



— Здесь должен ждать меня проводник, мы пойдем с ним к Золотому озеру.

Девушка нахмурила брови, ее щеки слегка порозовели.

— Я проведу вас до экспедиции.

— Но, знаете... Мне нужно как можно скорее добраться до озера.

— Через пять дней мы будем там. Отсюда до реки мы доедем верхами, по реке до Кобыльих Ребер — на челне, потом — пешком тайгой и горами.

— А лошади?

— Лошади уже готовы. Через час мы можем выехать.

Девушка вышла из избы.

Старик положил сапог на лавку и хихикнул:

— Сумлеваешься, парень?.. Ничего, Маринка доставит тебя до места.

— Да ведь она выдохнется через десять километров.

— Она целыми днями ходит за белой. — И, заметив взгляд Степанова, брошенный на ружье, добавил: — А стреляет Маринка лучше всех. У нас в деревне другого такого стрелка нет, а может, и нигде нет...

В искусстве маринкиной стрельбы геолог убедился вечером того же дня. Он и Маринка выехали из деревушки в полдень. Маленькие алтайские лошаденки осторожно шагали по узкой горной тропе. Местами тропа шла по самому краю обрыва, под которым глубоко внизу щетинились пихты, громоздились серые скалы и ревели на порогах быстрая речка. Девушка ехала впереди. Степанов смотрел на ее серую кофту, перетянутую ремешком, на ружье, закинутое за спину, на сумки, притороченные к седлу, и никак не мог привыкнуть к мысли, что эта девушка — проводник, что она горными перевалами и дикой тайгой сумеет провести его к Золотому озеру. Маринка ехала молча, изредка на крутых спусках оглядывалась и коротко говорила:

— Не натягивайте повод. Лошадь сама знает, как спуститься, не мешайте ей.

Геолог улыбался: этот необыкновенный проводник казался ему забавным. Улыбался он еще от какой-то неиспы-

танной раньше радости. Может быть, эта радость пришла от безоблачного неба, от мохнатых гор, живописных скал, пенных порогов, — от всей этой чудесной панорамы, которую щедро раскрывал перед ним Алтай.

— Какая красота! — громко говорил Степанов.

Маринка неопределенно кивала головой.

Ночевать остановились на берегу речки. Девушка развела костер, готовила чай и ужин. Геолог сидел на камне, смотрел на зубчатые верхушки пихт, вонзающиеся в прозрачное небо. Неожиданно над поверхностью воды метнулся небольшой куличок. Сверху ударил на него ястреб и, промахнувшись, взмыл над речкой. Маринка схватила ружье, и в тот момент, когда ястреб снова ринулся вниз, громыхнул выстрел. Хищник камнем упал в воду. Все это произошло с необыкновенной быстротой. Волны унесли убитую птицу, в воздухе плавали несколько перьев, голубой дымок от выстрела висел над берегом. Степанов взглянул на девушку. Она сосредоточенно и молча подкладывала в костер смолистые ветки кедровника.

— Однако вы здорово стреляете.

— Стреляю помаленьку, — ответила Маринка, не взглянув на него. Едва заметная улыбка тронула ее губы. — Ну, давайте пить чай... Завтра чуть свет тронемся дальше.

Эту ночь Степанов спал плохо. Укрывшись одеялом, он лежал на куче пихтовых лап, видел крупные звезды, туманы, клубившиеся над речкой, слышал шум тайги, неумолчный говор волн. Костер угасал, оранжевые угли, остывая, покрывались серым пеплом. По другую сторону костра, накрывшись брезентовой курткой, спала Маринка. С реки несло холодной сыростью.

Под утро, едва зазеленело небо, геолог встал, зябко поежился. Где-то за кустами фыркали лошади. Костер угас. Маринка лежала, свернувшись в комок, куртка сползла с ее плеч.

«Должно быть, ей холодно» — подумал Степанов и осторожно накрыл девушку одеялом.

## 6

— Какая красота! — геолог восторженно смотрел на скалистые берега, на шапки гор, покрытые сизой дымкой. Челн быстро катился вниз по реке. Река играла под солнцем ослепительными всплесками, будто по всей ее поверхности были разбросаны осколки зеркала. На порогах ревели и пенились волны, разбиваясь о камни, сверкали радужными искрами. Маринка, работая веслом, искусно направляла челн между камней, и челн стремительно летел сквозь рев и брызги. Степанов хватался за борт, каждое мгновение ожидая удара о камень. Пороги оставались позади, затихал их гул, и снова, поворачивая лицо к берегу, геолог говорил: — Какая красота!

Местами река вырывалась из скалистых стен, текла спокойно и величаво. Тогда Маринка клала весло поперек челна и тихо мурлыкала какую-то песенку. Степанову начинало казаться: он уже давно знает эту девушку, крепкая дружба связывает их. И Маринка как-то теплее говорила теперь с ним, вспоминала о своем детстве, о смерти отца, которого задрал на охоте медведь. Дальше этих гор она нигде не была, ее манили далекие, неведомые города, ей очень хотелось бы учиться, но разве вырвешься из этой тайги? Рассказывала о своей охоте на зверя, о приключениях в горах. Ее рассказы напоминали страницы из книг Купера и Майн-Рида. Да и все это путешествие напоминало Степанову старинную повесть о людях, попавших в дикую, неисследованную землю.

Неожиданно Маринка схватила его за руку и показала на берег. Геолог взглянул и замер от восторга. По берегу шла, переваливаясь, огромная медведица. Два мохнатых медвежонка торопливо бежали за ней. Иногда их внимание что-то привлекало, они останавливались, копались лапами в земле. Медведица поворачивала к ним голову, ждала. Она заметила челн, неподвижно замерла, рывнула. Медвежата подкатились к ней, легли за камень.

Река повернула вправо, за седым каменным мысом скрылись медведи, а

Степанов все еще изумленно смотрел на берег. Раньше он видел медведей только в клетках зоопарка, на арене цирка, а сейчас тайга распахнула перед ним свои дебри и показала первобытную жизнь.

Маринка засмеялась:

— Удивляетесь?.. Медведей здесь много. Ох, сколько я их видела! А вот железной дороги ни разу не видела.

## 7

Ванька Маленький сидит на скале за серыми камнями. Над его головой протянулась широкая лапа кедра, над кедром — ясное голубое небо. Внизу играет на солнце река. Слева она течет широко и спокойно, а справа волны режут на пороге Кобыльи Ребра. Пахнет смолой, хвоей, щелочным запахом нагретых камней. Хочется спать. Вот лечь бы на мягкий мох, закинуть руки за голову и позабыть обо всем: о золоте, Дробове, Аю. Но спать нельзя: Дробов велел сидеть на скале и смотреть за рекой. Боязно послушаться: у Дробова — бешеного чорта — разговор короткий: чуть что не так — сейчас хватается за нож. Чем-то все это кончится?

Из-под корней кедра выскочил бурундук, бегаёт, играет на камнях. Ванька долго смотрел на него, не удержавшись, хлопнул в ладоши, крикнул: «Брысь!» Бурундук испуганно метнулся в бурелом, пропал. В огромном куполе неба черной точкой плавают ястреб. Изредка набегают ветерок, шипит в кедровой хвое. Скучно. Уйти бы из этих гор в родную деревню, пахать бы землю. Боязно: не успеешь из тайги выйти — догонит Дробов. Чем-то все это кончится?

Белка мелькнула в ветвях кедра. Ванька Маленький нащупал камень, хотел швырнуть в нее, но вдруг испуганно присел за обломками скал. Полукоткрыт от изумления рот, он смотрел на реку, по которой плыл, направляясь к берегу, челн. Больше всего изумило его то, что челном правила девушка. «Может, это не они?» — подумал он и тут же убежденно прошептал: — Они. Больше сюда никто не зайдет.

Челн подошел к берегу. Девушка первая выпрыгнула из него. Парень, высокий и статный, перебросил ей сумки, подал топор и ружье. При виде ружья Ванька плотнее прижался к камням. Белка спустилась на нижнюю лапу кедра, сердито фыркнула на человека, но Маленький позабыл о ней. Все его внимание было устремлено вниз, где прибывшие люди вытащили на берег челн, прилаживали за спины сумки, привязывали к поясам свертки. Девушка закинула ружье за плечо и начала подниматься вверх по откосу.

Ванька Маленький отполз от обрыва и, пригибаясь, побежал рассказывать Дробову о пришельцах.

## 8

С каждым пройденным километром росло у Степанова чувство уважения к девушке. Подъем был крут и труден. Из-под ног осыпались мелкие камни, приходилось цепляться руками за кусты смородины и малины, изгибаться всем телом, чтобы сохранить равновесие и не рухнуть вниз, в хаос каменных обломков. С каждой минутой сума тяжелее давила спину. Зудели ссадины на руках. Сердце билось, как у загнанной лошади. В висках стучали быстрые молоточки. А Маринка неторопливо и споро шагала, легко перепрыгивала с камня на камень. Останавливаясь и поджидая отставшего геолога, говорила:

— Правее, правее, — там удобнее... Ну, прыгайте сразу!.. Вот так! — Лукаво улыбалась: — Не привыкли вы ходить по горам.

И снова шла, ловкая и стройная.

«Ведь я могу поднять ее одной рукой, — думал Степанов. — В ней и весу-то не больше пятидесяти килограммов, а идет, будто по бульвару гуляет. Вот тебе и выдохнется через десять километров».

Чувство уважения к Маринке начинало переходить в зависть.

Горная тайга была дика и прекрасна. Коричневые и серые скалы, прорвав густую хвою, вонзались в небо. Гигантские кедры жадно вцепились узловатыми корнями в каменистую почву; непо-

нятно было, как это на камнях — казалось, бесплодных — могли вырасти такие огромные деревья. Кусты смородины были осыпаны гроздьями красных и лилово-черных ягод. Цветы в полтора человеческого роста пышно распустили алые и желтые зонтики. Дурманен был воздух тайги, крепко насыщенный запахами смолы, трав и хвои. Глубокие и узкие пади темнели бездонными провалами.

Маринка остановилась на небольшом уступе, нависшем над пропастью, широко взмахнула рукой:

— Посмотрите, какая красота!

Геолог, тяжело дыша, ответил:

— Ничего, красиво...

А когда девушка двинулась дальше, отвязал один из свертков у пояса и бросил его вниз. Пройдя полкилометра, бросил второй сверток с консервами. И все же итти было тяжело, и ноша как будто не уменьшилась.

Солнце уходило за синие пихты, пади наливались сумраком, наступал вечер.

Ночевали на полянке, покрытой пыльным мохом. С той стороны, где заходило солнце, полянка нависла над пропастью, — там внизу клубился седой туман и неясно обозначались темные пятна скал и хвои. Сзади толпился молодой кедровник. Горячо трепетал оранжевый костер, в огне ворчал жестяной чайник. Степанов сидел у края обрыва, отдыхал в прохладе вечера, улыбался угасающей заре, первым звездам и Маринке.

## 9

За темным колючим кружевом хвои зеленеет умирающая заря. Ночь тихо и властно вступает в тайгу. Крупные звезды мерцают в вершинах и ветвях деревьев. Ветра нет, но неумолчно шумят дебри; в этом шуме: смех ручьев, ворчанье кедров, шаги и шорох зверей. Тусклый жестяной серп месяца, повитый легким туманом, вылезает из черного ущелья. Медленно движутся тени деревьев. Сухо шелкает валежник под чьим-то тяжелым телом. Пригибаясь и прячась за кустами, настороженно идут

трое: впереди—Дробов, за ним—Аю и сзади, беспокойно оглядываясь,—Ванька Маленький.

## 10

Сижу в палатке и слушаю отдаленный ропот водопада. На ящике, перевернутом вверх дном, стоит фонарь и скупо освещает мою постель, ружье, книги. Над горами и тайгой распростерлась злая ночь. Днем я тридцать километров плыл на карбасе по озеру. Озеро было спокойно и, как зеркало, стражало прибрежные горы, скалы, голубое небо. А сейчас дует «верховка», шумят сосны, и по озеру наверное ходят тяжелые, с белыми гребешками, волны.

Час поздний, но спать не хочется. Думаю о пережитых мною приключениях и о приключениях, которые переживу в ближайшие дни. Я очень ясно представляю себе эти будущие дни: все, что в них произойдет, произойдет так, как я наметил. В моей власти несколько очень хороших людей и четверо отъявленных негодяев. Они веселятся и страдают, плачут и радуются, а я равнодушно наблюдаю за ними. Иногда мне даже скучно смотреть на их страдания и радости.

Крепче налетел ветер, по полотну защелкали крупные капли дождя. Ударил ливень, в горах заиграла буря. Неожиданно заколебалось пламя свечи в фонаре. Я поднял голову и увидел человека, ходившего в палатку. Моя рука инстинктивно потянулась к ружью. Человек выпрямился, снял мокрую фуражку, передернул плечами, стряхивая воду с кожаной куртки. Передо мной стоял Дробов. Я кивнул ему:

— Садись. Не спится?

— Не спится,—угрюмо ответил бандит.— Ну и ночка! Жуть!

Он сел у ящика, взял одну из книг, полистал и бросил.

— Ну? — спросил я.

— Что? — в упор взглянул Дробов.

— Расскажи, как было дело.

Дробов оживился, его глаза весело заблестели.

— Все прошло очень хорошо... Вань-

ка Маленький выследил их у реки. От реки до Золотого озера они должны были идти пешком. Этот путь нам известен... Ночевать они остановились на обрыве. Ночью мы подкрались к ним. Геолог спал по одну сторону костра, девка — по другую. Они, должно быть, здорово намаялись,—опали крепко. Я шепнул своим: «Как только махну рукой — бросайтесь на них». Я и Аю должны были кинуться на парня, Ванька Маленький — на девуку... Этот Ванька чуть не испортил все дело. Я когда-нибудь оторву ему голову! — Дробов зло метнул взглядом по ящику и книгам.—Он этого дождется, несчастный трус!.. Мы подкрадывались очень тихо, обошли костер с двух сторон. В это время девка пошевелилась во сне. Ванька Маленький, не дожидаясь моего знака, бросился на нее. Девка закричала: «Андрей!» Геолог вскочил, отупев от сна, не понимая, в чем дело. Аю ударил его по голове. Он упал, но тут же вспрыгнул, как кошка. Я бросился на помощь Аю. Мы сшиблись и покатались к обрыву... Здоровый парень!.. Он опять вскочил на ноги и залепил мне в морду. Вот посмотри.— Дробов поднял фонарь и осветил свое загорелое, поросшее черным волосом, лицо.—Видишь синяк под глазом.

Я засмеялся. Бандит обиженно заворчал:

— Смешного тут мало.

— Ну-ну, дальше.

— Девка орала, как сумасшедшая. Я уж подумал: не режет ли ее Маленький... Мы теснили парня к обрыву. Он стоял на самом краю пропасти. Я ударил его ногой. Он качнулся и... сорвался с обрыва...

Дробов тяжело вздохнул, сказал тише:

— Теперь нужно припугнуть экспедицию. Это мы сделаем на-днях... А месяца через полтора закончу все дела и ударюсь в Москву... Что-то я о Москве соскучился...

— А девушка? Что вы сделали с ней?

— Аю озверел,—он хотел и ее сбросить с обрыва. Я не допустил это-

го. Девку мы увели в священную рощу. Мы все перебрались туда. Что с ней делать?.. Я и сам не знаю, что с ней делать. Может быть, лучше было бы швырнуть ее в пропасть... Ну, довольно об этом!.. Хочешь сыграть в шашки?

— Нет. Пора спать.

Дробов тоскливо посмотрел на огонек свечи.

— Пойду к шаману. Преступления мои тяготят меня. — Весело рассмеялся и вышел из палатки.

## 11

Дробов ошибся, — он не предвидел, да и не мог предвидеть того, что случилось после нападения...

... Рассвет мутно разливался в туманах. Затихала ночная жизнь. Прсыпались птицы.

Над пропастью, зацепившись за колючий корень сломанного бурей кедра, висел человек. Он казался мертвым, но, когда луч солнца вспыхнул багряным пламенем на серой скале, человек застонал и открыл глаза. Над ним вздымалась каменная, избитая ветрами, стена. На стене искрами вспыхивали капли росы. В бездонной глубине неба таяли лиловые пряди тумана. Несколько минут человек был неподвижен, потом повернул голову и заглянул вниз. В провале между скал жутко синела бездна, ровный глухой ропот плыл оттуда. Бездна дышала сыростью мхов, плесенью тысячелетних камней. Человек провел рукой по лицу, размазал кровь, ощупал пальцами разбитую щеку. Напрягая всю свою силу, он осторожно приподнялся и сел на узловатый корень. Корень зловеще потрескивал.

Дробов ошибся: геолог не разбился в пропасти.

Геолог долго смотрел на серую неприступную стену, — по ней невозможно было забраться на обрыв, с которого сбросили его бандиты. Тогда он осторожно начал спускаться вниз. Пальцы судорожно цеплялись за каждый выступ, ноги скользили по камню, ища опоры. Он не смотрел вниз, боясь,

что бездна ударит в глаза ужасом, ослабнет напряженное тело и... Он только один раз краем глаза заглянул вправо: в полутора метрах от него выдавался большой уступ, и ниже громоздились камни, по которым уже не трудно спуститься на дно ущелья. Уступ манил к себе, как челн утопающего, как безопасное убежище спасающегося от смерти. Но до него нужно было сделать скачок, пролететь над смертью. Прижавшись к каменной стене, Степанов старался успокоить тревожащее биение сердца. Его тело представлялось ему туго свернутой пружиной, — вот сейчас он нажмет на какую-то кнопку, приводящую в действие силу воли, — и пружина молниеносно развернется. Он так и сделал: соразмерив расстояние до уступа, он резко оттолкнулся от скалы — и через десятую долю секунды уже лежал на покрытом сухим мохом камне. Прыжок удался. Холодное дыхание ущелья уже не казалось дыханием смерти, — оно успокаивало и освежало. Отдохнув, Степанов начал спускаться вниз.

На дне ущелья бежал ручей, лежали сырые пышные мхи, обломки скал были влажны от тумана. Геолог лег у ручья, жадно и многопил холодную, как лед, воду.

Солнце не проникало в эти дебри, зеленый полусумрак висел над ними. Нога человека никогда не ступала здесь. Степанов вынул из кармана компас и жалко усмехнулся: коробка компаса смята, стекло разбито, стрелка потеряна...

Все, что происходило дальше, было каким-то страшным сном, явь перемешалась с бредом, действительность превращалась фантазией в жуткие и радостные картины. Геолог ясно помнил, как спустился он со скалы, как наполнился ледяной воды и пошел вниз по течению ручья. Зеленый сумрак светлел, золотые снопы света падали из расщелин каменных стен. Как приливы и отливы, возникал и затихал шум тайги. Где-то ревел и внезапно смолкал невидимый водопад. Геолог, шатаясь, шел между деревьями, перелезал через трупы кедров, карабкался по камням.

Иногда падал, подолгу лежал неподвижно, как мертвый...

Очнулся он ночью. Было холодно. Крупные звезды порхали в черном небе, как золотые жуки. Седые призраки плыли над землей. Скалы нависли и качались над ним. Степанов приподнялся, замирая от страха. Звезды прекратили свой безумный полет, исчезли скалы, и призраки превратились в туман. И опять кружилась голова, необыкновенное и страшное надвигалось со всех сторон. Незнакомые люди напали на него. Он слышал отчаянный крик Маринки, спешил ей на помощь и проваливался в бездну. Он видел бурную реку, пенные пороги. Он говорил Маринке о своей любви к ней. Девушка смеялась и пропадала. Он видел Маринку лежащей с перерезанным горлом на зеленом ковре моха и в отчаянии рвал на себе волосы. Как яркие вспышки молний в непроглядном мраке, были минуты просветления, когда геолог все воспринимал с потрясающей ясностью. Один раз сознание вернулось к нему, когда он стоял у куста смородины и жадно ел кислые ягоды. Не помнил, как он подошел к кусту, как отошел от куста. В памяти сохранилось только: большие, словно кровавые, ягоды, ласковый свет солнца, оскомины во рту. И еще одно навсегда запечатлелось в памяти: пологий склон горы, пихты и в пяти шагах от него — огромный бурый медведь. Заметив человека, медведь поднялся на задние лапы и заревел. Геолог поднял камень и держал его, ожидая нападения. Так стояли они друг против друга, и тайга жутко молчала. Потом медведь опустил передние лапы и медленно ушел за деревья. Камень выпал из ослабевших рук человека.

Иногда мучительно хотелось пить, и не было воды. Утоляя жажду, Степанов жевал влажный мох. Пекло солнце. Наступала тьма. Жара сменялась холодом...

Он не помнил, как вышел из тайги, но он знал, что его вывел лай собак. Он бежал на этот лай, ожидая чудесного спасения. На небольшой долине стояли два алтайских коша, дымил

костер, алтаец в меховой шапке курил трубку. Степанов громко закричал, хотел броситься к алтайцу, но ясное небо внезапно потемнело, и все исчезло.

Открыв глаза, он увидел, что лежит на мягкой кошме, над ним наклонилась старая скуластая женщина. Она протягивала большую деревянную чашку, до краев наполненную кумысом...

## 12

Дик и богат горный Алтай, богат не только своими красотами. — шумными реками, водопадами, озерами, — в недрах его прячется медь, железо, редкие металлы, золото. Недалеко то время, когда люди победят первобытную его дикость, вскроют недра, пересекут тайгу дорогами, построят города в глуши, — по-иному зашумят тогда разбуженные горы.

Победители уже пришли на берег Золотого озера, раскинули палатку, установили радиосвязь с городом, бродят по ущельям, ищут сокровища гор.

Начальник экспедиции — молодой ойрот — сидит в палатке радиста. Он, недоумевая, разводит руками:

— Сегодня седьмой день, как они вышли из деревни. Может быть, с ними что-нибудь случилось?

— Придут, — уверенно говорит радист.

— Скоро осень, а мы еще не наладили разведки, и вообще в нашей экспедиции...

Он не договаривает, как будто что-то вспомнив, встает и выходит из палатки.

У костра сидят алтайцы, варят ужию. Один из них играет на тростниковой дудочке, печальные звуки плывут в тишине вечера. Бирюзовые облака темнеют за озером. Вершины гор густо окрашены багряным золотом заходящего солнца. Земля мирно встречает идущую с востока ночь.

Начальник экспедиции проходит между палатками, внимательно всматриваясь в каждое лицо. Встретив заведующего хозяйством, дает ему задания на завтрашний день, потом садится на

берегу и смотрит на спокойную поверхность озера. Он не замечает, как рыба всплескивает в розовой от заката воде, как темнеет небо и робко загораются звезды, — он обеспокоен непонятными явлениями, происходящими в экспедиции. Как будто какая-то невидимая злая сила зорко следит за каждым ее шагом и мешает работе. Кто-то убил одного из членов экспедиции, отчего-то начали хромать лошади, из продовольственной палатки пропали двадцать банок консервов и ящик галет. Алтайцы — проводники и рабочие — чем-то обеспокоены, они таинственно перешептываются, чего-то боятся. Начальник экспедиции следил за каждым из них, но ничего подозрительного не замечал: все алтайцы казались честными и добрыми людьми. Им хорошо платили, и они хорошо работали.

Заря угасла, потемнели озеро и небо. Люди укладывались спать. Дежурный с винтовкой медленно ходил вокруг лагеря.

Начальник экспедиции ушел в палатку. Ему хотелось пораньше лечь, чтобы встать на рассвете и вместе с группой пойти на разведку. Но, едва он лег в постель и взял книгу, чтобы почитать перед сном, полог палатки откинулся, и вошел незнакомый человек. Человек, повидимому, был очень измучен, он еле держался на ногах. Его платье было изорвано и грязно.

— Что вам нужно? Кто вы? — спросил, приподнимаясь, начальник.

Незнакомец хрипло ответил:

— Геолог Степанов... Прибыл в ваше распоряжение.

### 13

Я живу в одной из палаток экспедиции, хожу на разведки с геологом, встречаюсь с бандитами, бываю в священной роще, где прячется от людей шаман. Так много впечатлений получаю я каждый день, так много переживаю приключений, что все их невозможно записать и запомнить. Коротко и бегло заносу я в свою записную книжку о наиболее интересном и важном...

Однажды ночью я услышал крик марала и вышел из палатки. У потухающего костра спали алтайцы. Один из них поднял голову, прислушался и пошел в ту сторону, где настойчиво и призывно кричал марал. В алтайце я узнал Урнай и стал следить за ним. Урнай пошел берегом озера, потом свернул вправо.

За обломками скал сидел Дробов и рывкал в берестяной рог, подражая голосу оленя. Алтайец приблизился к нему. Дробов сказал:

— Геолог не придет. Он... умер в лесу.

— Он уже пришел, — ответил Урнай.

— Не может быть? — изумленно проговорил Дробов и что-то быстро начал шептать алтайцу. Я услышал только одно слово, властно произнесенное: — Сделаешь?

— Сделаю, — наклонил голову Урнай.

Об этой встрече я ничего не сказал начальнику экспедиции, — придет время, и он сам узнает обо всем. Пусть будет так, как должно быть.

Предательство Урнай скоро обнаружилось. Случилось это на второй день после обвала. Обвал произошел в ясный и радостный день. Люди промывали песок в ущелье на берегу маленькой речки. Алтайцы пели какую-то песню, древнюю, как эти горы. Молодого парня окатила ледяной водой и весело смеялись над ним. Высокие отвесные скалы вздымались над работающими. И вдруг как будто рухнули скалы. Каменный ливень обрушился на инструменты и работающих. Парень, выжимавший мокрую рубаху, не успел отпрыгнуть в сторону и был убит на месте. Работы прекратились. В этот день все были молчаливы и подавлены...

Я знал, отчего произошел обвал. Урнай забрался на скалы и спихнул вниз огромный камень. Камень увлек за собой множество других камней. Я мог бы предотвратить это несчастье, но не сделал этого, — ибо так должно быть.

О предательстве Урнай узнал геолог. Он подслушал, как ночью Урнай говорил алтайцам:

— Бросайте работу, уходите отсюда!.. Недалеко от Золотого озера — священная роща наших предков. В ней живет великий шайтан, он посылает несчастья на пришельцев. Это он бросил камни со скал и убил нашего товарища. Вы все погибнете, если не уйдете!..

На следующий день Степанов сказал Урнаю:

— Проведи меня в священную рощу.

Алтаец растерянно проговорил:

— Какая роща?.. Я не знаю...

— Я слышал, как ты вчера говорил рабочим о священной роще, где живет шайтан. Проводи меня в эту рощу.

Через полчаса трое вооруженных сотрудников экспедиции, геолог и Урнай ушли в горы.

Вернулись они под вечер. Урнай шел, опустив голову. Его отвели в отдельную палатку и поставили около палатки молодого алтайца с винтовкой.

Я сидел с начальником экспедиции у костра. Степанов подошел к нам и сказал:

— Он завел нас в топь. Я не доверяю Урнаю. Пойдемте поговорим с ним.

«Степанов догадывается, в чем дело,—подумал я.—Прекрасно! Чем скорее все выяснится, тем лучше!»

## 14

События следовали одно за другим неожиданно и потрясающе, как горный обвал...

Утром взбунтовались алтайцы. Они подступили к палатке начальника и требовали расчета. Они не хотели больше работать. В бессвязных и озлобленных их выкриках был страх перед непонятными им явлениями. Они, как перепуганные дети, решили бежать из экспедиции. Напрасно уговаривал их начальник, — алтайцы кричали, размахивали руками, говорили о шарне, убитом обвалом, о шайтане и священной роще. И в тот момент, когда их возбуждение, казалось, достигло предела, раздался выстрел. Выстрел оборвал гомон, и в наступившей тишине все повернули головы к палатке, где стоял часовой с винтовкой. Кто-то крикнул:

— Вон он!.. Бежит!

И снова хлопнул выстрел.

Пригибаясь и прячась за камнями и стволами деревьев, бежал Урнай.

Геолог Степанов выбился из толпы и бросился за ним. Следом за геологом побежали трое сотрудников экспедиции.

Все это произошло с такой быстротой, что я не успел опомниться. Люди, словно их сдуло ветром, хлынули к часовому. Он что-то возбужденно говорил и показывал на полотно палатки, распортое ножом.

## 15

Урнай спасался от погони. Оглядываясь, он видел: за ним гонится только один человек, но этот человек был страшнее многих. Алтаец бежал по крутому склону горы, рискуя сломать себе шею. В одном месте глубокая трещина шириной в два метра раскалывала гору. Отчаянным прыжком он перемахнул ее и, отбежав шагов двадцать, оглянулся. Геолог, не замедляя бега, перемахнул пропасть.

Человек упорно преследовал человека. С каждой минутой сокращалось расстояние между ними.

Впереди расстилалась заболоченная долина, покрытая сочной зеленью. Кое-где на зеленом ее ковре блестели голубые оконца воды.

Урнай узнал это место, и надежда на спасение удвинула его силы. За топью находилась священная роща, где жили шаман и бандиты.

Под ногами, как туго натянутая парусина, зыбилась земля. Под тяжестью тела рвался травяной ковер, и грязные струйки воды били вверх. Неожиданно сзади послышался глухой всплеск. Урнай остановился и увидел геолога, по пояс провалившегося в трясины. Геолог цеплялся руками за траву, стараясь выбраться из засасывающей топи. Алтаец глубоко и облегченно вздохнул, вытащил из ножен широкий нож и шагнул к утопающему. Он подходил медленно, жадно смотря в лицо своего врага. Он ждал, что враг закричит от страха, будет просить пощады, но Степанов только мельком взгля-



нул на подходившего и, крепко стиснув челюсти, молча продолжал цепляться за траву. Трава обрывалась, но все же геологу удалось лечь грудью на твердый пласт земли. Урной наклонился, взмахнул ножом, и вдруг под ногами чмокнула топь, и он по горло провалился в трясину.

Геолог вскрикнул от неожиданности и протянул алтайцу руку, но на том месте, где несколько секунд назад стоял Урной, расплывалась грязная лужа и на ее поверхности вздувались и лопались пузыри.

## 16

Все случилось так, как я предполагал: геолог выбрался из трясины. Измученный, потрясенный смертью Урная, он долго сидел на поваленном дереве. Хорошо светило солнце, на горах багровели зажженные осенью черемухи, желтели березы. Ветра не было, и дремучая таежная тишина лежала в ущелье.

Степанов думал о Маринке. Он вызывал в своей памяти ее лицо, лукавую улыбку, светлые косы, он старался припомнить звук ее голоса, но вспоминалось не то, чем хотел он успокоить себя,—вспоминалось нападение бандитов, скитание и бред в тайге, смерть Урная. Прогоняя эти мрачные воспоминания, геолог начинал мечтать о будущем. Вот найдет он Маринку, увезет ее в Москву. Маринка будет учиться, может быть, Маринка будет его женой... Но и мечты о будущем не успокаивали. Они были неверны и призрачны, как туман над Золотым озером. Бандиты наверное убили девушку. Выследить бы этих бандитов, найти бы их логово. Конечно Урной был в их шайке. Он мог бы раскрыть многое, но Урной погиб, и все осталось невыясненным.

Степанов встал и медленно пошел по ущелью. Он шел, не отдавая себе отчета в том, куда и зачем идет. Ущелье разветвлялось на два рукава. По одному из них бежал ручей. Вода играла на камнях, и ее торопливый и радостный шум разбивал гнетущую тишину.

Иногда ручей скрывался под пышным слоем моха, затихал его говор, и снова вода просачивалась сквозь зеленый ковер, маленькие струйки собирались в широкую голубую ленту, и опять ручей, вспыхивая на солнце, бежал между камней. Несколько небольших булыжников, сложенных пирамидкой, привлекли внимание геолога. Он остановился и огляделся. Ущелье, ручей, обомшелые скалы были первобытно дикими, человек, казалось, никогда не заглядывал сюда. Но пирамидка!.. Эта кучка камней несомненно была сложена человеком. Пройдя шагов пятьдесят, Степанов увидел старую, заплывшую засохшей смолой, зарубку на дереве. Он внимательно начал осматривать берег ручья, скалы, заросли кустов — и увидел на песчаном намыве берега след человека. Отпечаток подошвы сапога на влажном песке был свеж, — кто-то не позднее сегодняшнего утра проходил здесь. И кто-то копался под коричневым обломком скалы, выдирав и разбрасывал мох. Степанов опустился на колени перед скалой. Что-то привлекло его внимание. Он начал быстро рвать мох, рыть камнями песок, отгребать мелкие камешки...

Спустя полчаса геолог сидел на камне и рассматривал на ладони золотые самородки. Потом он спрятал золото в карман, вынул блокнот и, припоминая свой путь от лагеря, наносил на листке ущелье, ручей, топь, где погиб Урной, Золотое озеро. Чертеж получился грубым и очень неточным, но все же, пользуясь им, можно было найти место, где из недр земли выходила наружу золотая жила.

«Первая удача за все время», — подумал геолог и, вздрогнув, насторожился. Из тайги долетел крик женщины. Далекий и отчаянный, он звал на помощь. Степанов, позабыв о золоте, побежал в ту сторону, откуда доносился крик. Он бежал напрямик, ломая кусты, перепрыгивая через камни.

Впереди поредели деревья, между ними виднелась небольшая полянка, над которой плыл синий дымок.

Послышался грубый мужской голос, и глухо хлопнул выстрел.

## 17

Шаман не находил себе места, он позабывал есть, почти совсем не спал ночами. В его роще, где он жил прошлым, где камлал и беседовал с богами, поселились страшные люди. Они привели с собой светловолосую девушку, и непонятно было, зачем они ее привели. У девушки всегда были связаны руки, на девушку часто кричали, что-то спрашивали у нее, но она не отвечала. Шаман ни разу не слышал ее голоса.

В первый же день, как появилась она в роще, Дробов сказал старику:

— Она из тех, что пришли к Золотому озеру. Если она убежит, то приведет сюда своих. Смотри за ней.

Днями бандиты играли в карты на золото, которое надеялись найти в горах, спорили, ругались. Когда карты надоедали, валялись в тени кустов или, забавляясь, сшибали камнями с деревьев черепа жертвенных животных. Но, играя в карты и отдыхая, они не переставали наблюдать за девушкой и следить за шаманом. Если старик уходил из роши, один из бандитов шел за ним.

Однажды между бандитами произошла ссора, едва не кончившаяся дракой. Началось с того, что Ванька Маленький сказал, тяжело вздохнув:

— Их ничем не запугаешь... Скоро сюда придут, и тогда всем нам — крышка.

Дробов молча нахмурил брови.

Аю засопел и мрачно произнес:

— Надо уходить... Разделим золото, которое дал нам Урнай, и уйдем.

— Дели всем поровну, — робко сказал Маленький и боязливо отодвинулся от Дробова.

— Выкладывай, — поднялся Аю.

— Не дам! — быстро вскочил Дробов.

— Как это не дам? — Аю сжал кулаки. — Дели сейчас же! Ванька, помогай!

Великан неуклюже прыгнул и взмахнул кулаком.

Дробов отскочил в сторону, и в его руке сверкнул нож. Аю отступил. Ванька Маленький отбежал к шалашу.

— Трусые! — хрипло проговорил Дробов. — Гады!.. Золота вы не получите!.. Вот что: подождем три дня, а потом что-нибудь придумаем.

Он сунул нож за голенище и спокойно сел у костра.

В этот день под вечер Аю схватил шамана за горло и прохрипел:

— Если ты через три дня не покажешь нам, где находится золото, я задушю тебя, как крота, старый дьявол!

На третий день после ссоры бандиты с утра о чем-то горячо говорили, бросая взгляды на девушку и шалаш. Они так увлеклись разговором, что не заметили, как шаман ушел из роши.

Старик, торопясь и оглядываясь, шел на восток, где из-за горы всплывало румяное солнце, и когда солнце начало уже припекать и значительно укоротились тени от деревьев, он спустился в ущелье.

У ручья под камнем он разрыл мох, нашел несколько золотых самородков и, успокоенный тем, что ни бандиты, ни пришельцы еще не открыли его сокровища, двинулся обратно.

— Я дам им еще золота, я покажу им, где оно прячется, — шептал он. — Пусть только они прогонят тех и сами уйдут из роши.

От недоедания и бессонных ночей у старика кружилась голова, путались мысли. Он шел, шатаясь и тяжело дыша. Какие-то голоса слышались в тайге, сердито ворчали деревья, качалась земля под ногами, — должно быть, боги сердились на него.

Он не сразу вошел в рошу, раздвинув кусты, посмотрел, что в ней делается.

Бандиты сидели у костра, о чем-то спорили.

— На кой чорт мы привели сюда эту девку! — кричал Аю. — На кой чорт!

— Отпустим ее, — сказал Ванька Маленький.

— Дурак! — злобно сплюнул Дробов. — Вот дурак!.. Отпусти — она сейчас же выдаст нас.

— А что делать? — спросил Аю.

Дробов быстро сорвал сухую былинку, переломил ее на три части.

— Кто вытащит самую короткую, тот и покончит с девкой. Тащи!

Великан вытащил из пальцев Дробова одну былинку.

— Теперь ты!

Ванька Маленький долго думал, какую из былинки вытащить.

— Ну, скорей!.. Так! Теперь посмотрим, у кого короче.

Самая короткая былинка оказалась у Ваньки.

— Тебе, — кивнул головой Дробов. — Бери ружье.

И тогда шаман впервые услышал голос девушки. У ней были связаны руки за спиной. Она медленно поднялась, прислонилась к большому серому камню и, когда Ванька взял ружье, закричала:

— Помогите!

Она передергивала плечами и изгибалась, стараясь развязать веревку, захлестывающую руки. Ее глаза были огромны и страшны.

Ванька поднял ружье, прицелился. Аю и Дробов стояли, подавшись вперед. Маленький опустил ружье, жалко всхлипнул:

— Я не могу.

— Щенок! — крикнул Дробов и ударил Ваньку по уху. Ванька закачался и сел на землю. Спросил:

— За что бьешь?

— Стреляй, мерзавец!

Ванька медленно поднимался, тер ладонью ухо. Потоптавшись на месте, наклонился и поднял ружье. В роще наступила тишина. Молча, широко раскрытыми глазами, смотрела девушка. Был слышен только треск хвороста в костре, лепет листьев и тяжелое дыхание Аю. Ружье дрожало в руках Маленького.

— Ну! — сдавленно проговорил Дробов.

Маленький зажмурился и спустил курок. Пуля хлопнула о камень над головой девушки.

Дробов спокойно — но в этом спокойствии заметно было сдерживаемое бешенство — проговорил:

— Я тебя научу стрелять. Подойди к ней ближе!

Девушка рванулась и радостно вскрикнула:

— Андрей!

Все, что за тем произошло, показалось шаману страшным видением. Стоя в кустах, он видел, как из-за деревьев выбежал высокий человек. Бандиты оглянулись, быстро сошлись все вместе, плечом к плечу. Незнакомый человек подошел к ним. Несколько секунд они стояли друг против друга. Затем незнакомый рванулся вперед. От страшного удара Маленький отлетел на несколько шагов. Дробов и Аю бросились на незнакомого.

У шамана кружилась от страха голова. Он слышал звуки ударов, видел, как Маленький неподвижно лежал у камня, как изгибалась девушка, стараясь развязать руки, как грохнулся на землю Дробов, а страшный Аю побежал по полянке.

— Стой! — крикнула девушка.

Шаман метнул в нее взглядом. Девушка держала в руках ружье, прицеливалась в Аю. Великан остановился, поднял руки. Затем незнакомый человек связал бандитам руки, и все ушли из рощи.

Бешено качались деревья, ревела тайга, чадил костер. Старик выбежал из кустов. Ему чудилось, что сейчас множество людей придут в священную рощу и погибнет все, что осталось от прошлого. В ушах звенело, в глазах мелькали огненные мухи. Роща корчилась в ужасе, роща погибала. Шаман подбежал к костру, бросил в него охапку хвороста. Он навалил в огонь громадную кучу сушья. Задыхаясь, бросил в костер бубен. В бессильной ярости кричал, потрясая руками:

— Пусть так же погибнут чужие люди, пришедшие в горы!

Огонь бежал по сухой траве. Загорались деревья. Столбы дыма вздымались над лесом.

Горела тайга. Охваченные пламенем, трещали пихты и кедры. Копны дыма тяжело ворочались в голубом небе. За дымом, багровое и тусклое, рдело солнце. Спасаясь от огня, бежали звери. Стремительно пронеслись по плоско-

горью несколько маралов. Застигнутый огнем, метался на полянке медведь. Белки перемахивали с дерева на дерево. Спасаясь от огня, бежали геолог, Маринка, Дробов, Аю и Ванька Маленький.

Вчера перед ночевкой они расположились в лесу. Геолог связал ноги бандитам. Девушка развела маленький костерик. Костер в лесу всегда создает какой-то уют, у костра хорошо вспоминать прошлое и мечтать о будущем. Степанов и Маринка вспоминали первую свою встречу. Геолог рассказал девушке о золоте, которое он нашел в ущелье. Потом говорил ей о Москве, звал в новую жизнь. Маринка хотела учиться, Маринка согласилась покинуть горы.

На рассвете девушка внезапно проснулась, как будто кто-то окликнул ее. На востоке необычно мутная светилась заря. Едкий дым плыл над землей. Маринка испуганно закричала:

— Пожар!.. Горит лес!

Она развязала бандитов, и с этой минуты началась погоня огня за людьми.

Люди бежали с горы, надеясь встретить внизу речку и перебраться на противоположный берег, но, когда они подбежали к ложбине, их встретили облака дыма, за которым сверкали мутные вспышки огня. И снова люди бросились вверх. Внизу корчилась и выла тайга. По ветру стайей птиц неслись искры и горящие ветви. Обуглившиеся пихты осыпали золотую хвою. Пламя плясало между стволами, приседая и подпрыгивая к верхушкам деревьев. Пламя настигало людей.

Аю и Дробов мчались впереди. Геолог видел, как они скрылись за стволами, но спустя несколько минут вернулись, что-то крикнули и свернули вправо. Он не последовал за ними, он бежал туда, где небо не было затемнено дымом. Неожиданно перед ним разверзлась глубокая трещина. Сверху, расколов землю, низвергался водопад. Под водопадом в зеленом омуте кипела вода. На противоположном берегу пропасти первобытно и мирно жила тайга. Там можно было спастись, но пропасть в десять метров шириной преграждала

дорогу. Ванька Маленький схватился за голову и беспомощно осел на землю.

«Конец» — подумал Степанов.

Маринка наклонилась над трещиной, вскрикнула:

— Сюда!.. Смотрите!

Исполинская сосна, поваленная бурей, свисала с берега. Ее корни цепко держались за камни, а верхушка скрылась в омуте под водопадом.

Геолог понял, что нужно делать. Он грубо толкнул Ваньку и показал ему на сосну. Он первый начал спускаться вниз по стволу. Ревел водопад, кипел зеленый омут, над омутом в водяной пыли играла радуга.

Спустившись к воде, Степанов взглянул вверх. Над ним, уцепившись за ветви, висел Ванька и выше его прижимался к стволу Маринка. Он махнул им рукой и бросился под водопад. Неуклюже спрыгнул бандит и, закрыв глаза, ринулся в зеленую воду девушки.

## 19

Два плота из толстых бревен связаны вместе. На плотах: ящики, тюки, винтовки, ружья. Сбоку на пласте земли горит неяркий костер, над которым в большом котле варится обед. Дым от костра медленно плывет к берегам, обрызганным багрецом и золотом осени.

Лоцман — широкоскулый ойрот, с темными монгольскими глазами, — зорко следит за малейшим движением плотов. Быстрая, изменчивая река за каждым поворотом готовит неожиданности. На порогах пенятся волны, подводные камни бьют о бревна. В эти напряженные минуты что-то непонятно и дико кричит лоцман, алтайцы взмахивают огромными веслами, ожесточенно борясь с бушующей рекой. Нам везет: мы ни разу не сели на «дресву» (мель), не разбились о камни.

Я сижу на одном из ящиков и наблюдаю за своими спутниками. Они все спаслись от лесного пожара. Пригретый солнцем, дремлет шаман. Дробов, Маринка, Урнай и человек в кожаном пальто и белой фуражке играют в покер. Аю и начальник экспедиции увлеклись шахматами.

Мы плывем в будущее совершать новые преступления. Через два-три месяца мы предстанем перед судом миллионов советских граждан, и они осудят или оправдают нас. Этот суд неизбежен, и поэтому я заранее честно признаюсь во всем. Я обдумывал преступления, организовывал их человек в белой фуражке. Этому человеку подчиняются все: Аю, Дробов, шаман, геолог, Маринка... Каждое его распоряжение немедленно исполняется, каждое указание выслушивалось и будет вы-

слушиваться с исключительным вниманием. По его указаниям бандиты сбросили геолога с обрыва, девушка кинулась под водопад, шаман поджег священную рощу. Я честно признаюсь во всем: я написал сценарий; человек в белой фуражке — режиссер; Дробов, Маринка, Аю, шаман, начальник экспедиции, геолог, Ванька Маленький — актеры. В горах Алтая, в тайге, на реках, водопадах и скалах мы снимали кинокартину «Золотое озеро».

# Год рождения 1905-й

Хроника одного детства

М. ЧУМАНДРИН

Часть третья

(Продолжение <sup>1</sup>)

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Наутро отец не пошел на работу, Антон сбегал за Ефимом, тот тоже оказался дома, старик сторож со свечного завода заявился сам, пришло еще двое незнакомых, по виду — рабочих.

Антон выслали наружу следить за улицей.

Улица была пустынна. На пустыре дымились от солнца кучи навоза и разных отбросов. Налево поднимались железобетонные стены староверского кладбища, между ним и пустырем по направлению к железнодорожным мастерским вилась узенькая дорожка.

На улице было попрежнему пусто, только какой-то человек торопливо шел от Суворовской в эту сторону. Антон спокойно следил за его приближением, человек быстро приближался, широко размахивал руками и, когда подошел ближе, оказался вчерашним запевалой. Он подмигнул мальчишке и, не сказав ни слова, оглядел домишко и быстро юркнул в калитку. Антон стукнул в раму и, похолодев, бросился за «Курчавым». Мальчишке казалось, что он сделал нечто страшное, пропустив человека, о котором ему не было сказано. Но гость уже стоял посреди комнаты, никто

не обратил внимания на Антона, «Курчавого» дергали за рукава, распрашивали его о какой-то забастовке, тот, радостно и широко улыбаясь, отвечал им, отец и «Главный» пересмеивались, улыбались, торопились одеваться, отец обнимал «Курчавого» одной рукой.

— Тебя, значит, Сережей звать? Ну, уж извини, брат, вчера вот я стукнул тебя...

Тут же откуда-то, ранее незамеченный Антоном, появился Космин, он стоял, покачиваясь на месте, и голос его тихонько рокотал:

Рано его от семьи оторвали,  
Горько заплакала мать...  
Горько!.. Горько!.. Горько!.. заплакала!..  
мать!..

Ефим стоял с просветленным, улыбающимся лицом, «Главный» заливался тоненьким, непохожим на обычный, смехом, один из незнакомых рассовывал всем по карманам пачки прокламаций. Отец уже, оставив Сережу, осматривал свой револьвер. Револьвер был большой и отливал синим. От квадратной металлической коробки его отходило длинное дуло.

— Поработали неплохо, теперь началось, вона что из Петрограда рассказывают!.. — возбужденно, будто грози Антону, говорил отец.

Антон насупился и отступил в сторону.

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн. кн. 1, 2, 3 и 4 с. г.

— Ну, как говорится — с богом... — усмехнулся отец, окунул револьвер в боковой карман пиджака и, не застегивая его, вышел из комнаты. За ним тронулись и остальные.

В кухне, уткнувшись в занавеску, вздрагивая от рыданий, стояла старуха Соломатина. Отец удивленно взглянул на нее, на момент его ресницы дрогнули, но, сурово поджав губы и махнув рукой, он выскочил в сени.

— Ты бы оставался дома, а, Антоша? — предложил Ефим, но Антон промолчал.

Сзади, за спиной вышедших, раздался испуганный вопль, Ажогин обернулся и задержался в калитке.

— Господи-батюшко... — испуганно причитала старуха. — Народу-то — не пройти, солдат, городовиков — царица небесная! Куда вы на скандал суетесь, дураки?!

— Ничего не будет до самой смерти! — срывающимся, мальчишеским голосом крикнул Сережа, и все очутились на улице.

Громко, не стесняясь, видимо, чувствуя себя в безопасности, все заговорили о том, что было вчера, о присылке солдат на Оружейный завод, о том, как мастеровые отказались работать при них, а в механической даже повредили электричество и выгнали солдат вон.

— И они — ничего? — спрашивал, удивленно крутя головой, Ефим.

— Ну, конечно дело, которая часть отдала ружья, а которую выгнали... — торопливо, широко размахивая руками, рассказывал Сережа. — Офицер кричит: «Стреляй!», а солдаты не стреляют...

На Суворовской стояли конки, выпряженные лошади стояли в канаве и громко шипали мокрую прошлогоднюю траву, выглянувшую из-под снега, по мостовой, по тротуару, чем дальше, тем больше, ходил и толпился народ, — откуда он только взялся в этот рабочий день? Окна лазарета были распахнуты, и почти отовсюду высывались раненые. Они виднелись и на парадном крыльце, и у ворот. Тут же с ними стояли и несколько здоровых, оборванных солдат с винтовками. Офицеров

смыло отовсюду. Полицию тоже словно поразогнали поганой метлой, ребятишки сновали под ногами, то там, то здесь пробегали мастеровые с ломиками, ручниками, кое-кто — даже с винтовками. Издалека доносились еле слышные, одиночные выстрелы, где-то, как будто в Кремле, раздалось слабое «у-а-а!»...

Улица приняла никогда ранее не виданный облик, особенно странно выглядели эти небольшие кучки рабочих с винтовками!

Группа во главе с Ажогиным свернула влево, пересекла Рубцовскую и вскоре подошла к зданию Оружейного училища. Мост был освобожден от вчерашних нагромождений, вдоль перил молча стояло человек двадцать солдат с офицером.

Вся площадь перед училищем, мостовая до самого входа в завод, двор завода, видный отсюда через решетчатую ограду, — все это было залито народом. Чем ближе подходил Антон к воротам, тем больше он видел людей, вооруженных ружьями, револьверами, шашками.

— Значит, склад готовых изделий — поделили! — недовольно сказал Сергей. — Проходил я за вами и остался ни при чем?.. Ну и народ, это уже не по-честному!..

Он сердито взглянул на Ажогина, но Иван не замечал ничего. С широкой улыбкой, с веселым, чуть-чуть растерянным лицом он пробирался вперед, кое-где навстречу попадались люди с красными ленточками на пуговицах, на фуражках. Около электрической станции кого-то качали. Взлетая вверх, человек нелепо взмахивал руками. Рядом, из окон конторы механического отдела, выглядывали обезоруженные солдаты, у дверей стояла группа рабочих с винтовками, тоже украшенными скромными красными бантиками.

Последний нынешний денечек  
Гуляю с вами я, друзья-а-а! —

пели солдаты в окнах механического отдела. Видимо, это были те самые, из-за кого загорелся сыр-бор. Рабочие посмеивались, поддразнивали обезоруженных усмирителей.

— Расступись! Раздайся! — слышались возбужденные голоса, арестованные солдаты замолкли, и лица их вытянулись: двое здоровых рабочих, по всему виду, кузнецов, с обожженными лицами и черными руками, обнаженными до локтей, везли тачку, в которой, накрытый рогожей, барахтался какой-то коротконогий человек.

— Дудкина! Валяй Дудкина на свалку! Вези! — закричали кругом.

Тачку разом опрокинули, человек покатился с боку на бок, потом вскочил, облепленный железной стружкой, обрывками проволоки, с приставшими пучками грязной пакли. Он бросился наутек, и только теперь Антон увидел его толстое, крупчатое, совершенно белое лицо.

— Дудкин! Вернись! Штаны нашлись! — кричали ему вдогонку. Его никто даже и не пытался задержать. Но все равно, он мчался, точно заяц, выпущенный из мешка.

— Мало, мало ему, гаду! — проворчал один из кузнецов, опуская рукава прожженной, блестящей от масла блузы.

Около правления завода слышалось громкое пение. Поблескивая на солнце винтовками, отсюда шла небольшая группа рабочих, возраставшая по мере приближения сюда. Когда шествие приблизилось, все увидели в центре группы важного седого человека, с незастегнутым воротником мундира, в распахнутой тонкосуконной бекеше. Он шел прямо, как бы прогуливаясь, и держал в руке палку с серебряным набалдашником.

— Заставили... Господину начальнику! Вот-вот... — оживленно заговорили отовсюду. — Попробуйте, вот-вот! Сук-кин сын, — теперь хватит!

Слева, с самого края, шла высокая темнбровая девушка, с непокрытой головой, с шашкой в руке, с ножнами, волочившимися по черному грязному месиву, покрывавшему землю.

Голодай, чтоб они пировали! —

раздавался ее чистый, сильный голос, и все кругом подхватили этот мотив. Пели уже все, кто только был здесь:

Вставай, поднимайся, рабочий народ!  
Иди на врага, люд голодный, —  
Раздайся клич мести народной:  
Вперед! Вперед! Вперед! Вперед! Вперед!

Шествие текло мимо Оружейного училища, потом свернуло на мост. Антон еще раз внимательно оглядел место, по которому проходил он вчера и которое еще вчера днем было так спокойно. И налево, и направо, куда только хватал глаз, лежала черная вода реки, от воды поднимался пар. Мост гудел от множества ног.

Когда подошли к кремлевским воротам, Иван забежал вперед и, подняв руку, остановил шествие.

— Что там? Какого лешего? Тройгай! — заговорили в толпе.

Ажогин крикнул, что в Кремле и около губернаторского дома — солдаты, и поэтому наперед следует пустить вооруженных.

— С винто-о-овками-и-и! Выходи сюда-а-а! Быстро-о-о-о! Не в хоро-о-о-де-е-е-е!

Было удивительно наблюдать, как прекратился шум, как обочиной дороги, проваливаясь в снег, пробирались вперед люди, сверкая на солнце сталью штыков. Один, десять, двадцать, уже более сотни выстроилось впереди толпы. Ажогин оглядел их и, видимо, остался доволен.

— Наследник, пошел назад!

— А я хочу-у...

— Марш назад!

Впереди на легком ветерке трепетал кое-как сделанный красный флаг. Он был невелик, не более головного платка.

Передние ряды уже вступили в Кремль, их шаги гулко отдавались под сводами ворот, по чугунным плитам. Песня загремела с удвоенной силой, потом в нее вплелись звонкие голоса гармошек, — затем песня оборвалась, впереди слышались возбужденные разговоры, кто-то вскрикнул, люди остановились.

— Родные товарищи! Братья! Мы — тоже с позиций! — раздавался в многократном эхо чуть-чуть глухой, знакомый голос Ажогина. Долой грабительскую! Войну! Пускай здравствует! Революция! Привет солдатам! Помогайте ра-



бочему классу! Разгромить власть! Веками державшую нас...

Раздалась нестройное «ура», потом его подхватили рабочие, окружавшие Антона, он видел, как сюда, без винтовок, со всех концов широкой кремлевской площади сбегались солдаты. Они бежали и кричали «ура», от противоположных ворот, из гауптвахты неслись громкие возгласы, изнутри кто-то грохотал в окна. Антон увидел отца, с группой солдат и вооруженных рабочих бежавшего к гауптвахте, скоро со стороны этого низенького грязного здания слышались тяжелые удары, распахнулись двери, и с громким привистом, с песнями, с криками оттуда вывалилось человек полтораста солдат, без шинелей, некоторые даже без шапок, они увлекали за собой солдат, стоящих на площади, — и вот вся человеческая масса ринулась к губернаторскому дворцу.

Впереди, около самого красного флага, слышались звуки гармошки, она играла марш. Но у самых ворот звуки ее замолкли, раздался резкий окрик, несколько встревоженных голосов закричали: «Разойдись!»

Рабочие загудели, окрик повторился, но уже не так уверенно. Перекачываясь по рядам, опять, но уже негромко, прогремело «ура», и вдруг, когда этого не ждал Антон, люди ринулись вперед, и тогда раздались выстрелы: один, другой, третий...

Ведь там, впереди, был отец, — не помня себя, Антон бросился к воротам. Он обгонял шествие, вот он уже ворвался в ряды вооруженных — отца не было. Антон видел на снегу несколько человек, один из них громко приговаривал что-то и прижимал к груди шапку. Около него опустилась давешняя девушка с непокрытой головой. Куда-то с крупным бульжником в руке пробежала Варя Квасцова.

Антон мчался вперед. Через мгновение он увидел отца. Ажогин и еще человек пятнадцать солдат и рабочих, лежа на снегу, стреляли по окнам губернаторского дома. Здоровая рука отца с громадным револьвером в ней поминутно дергалась, из револьвера выходила тоненькая, синяя струйка дыма. По Су-

воровской без всадника вскачь пронеслась обезумевшая лошадь, в окна губернаторского дома вспыхивали длинные огоньки, слышался треск выстрелов.

Сзади грозно кричали, слышался многослюдный топот ног, множество солдат, с винтовками наперевес, громко топоча, как на ученьи, бежало к дому, на мгновение прекратилась стрельба. Кто крушил чугунную калитку, кто грохотал прикладами в двери под'езда, кто перелезал через решетку сада, — перестрелка возобновилась опять.

Костер, покинутый городовыми, продолжал гореть, рассыпая искры. Около костра что-то делали давешняя простоволосая девушка и Варя Квасцова.

Вскоре красный флаг поднялся над крышей парадного навеса, из окна второго этажа на бечевке спустили большой белый платок.

Одним из первых Антон ворвался в дом. Лестница была устлана ковром — малиновым с желтым, на ковре то там, то здесь таял грязный снег; в самой последней комнате второго этажа, как один, желтые, молчаливые, сбившиеся в кучу городовые встретили рабочих; пол был завален винтовками, револьверами, медными стреляными гильзами, штукатурка, битое стекло были растоптаны по всему полу, и темный потолок исчеркан белыми острыми следами от пуль. С подоконника на пол спускалось несколько непчатых пулеметных лент — пулемет валялся набоку, в углу комнаты: видимо, он оказался неисправным.

— Забирай, веди на улицу! — хриплым голосом приказал Ажогин, взмахивая револьвером. — Сукины черти, фараоны, до чего испакостили помещение. Эй, убери кто!.. — крикнул он городовым.

Он, взглянув на сына и словно не заметив его, вышел в коридор. Антон направился за ним. Он никогда еще не видел отца таким измученным и точно обеспамятевшим. И в то же время отец вырос в глазах Антона на целую голову. Похоже, что это не он сидел в тюрьме, не его брали в солдаты, не он вернулся домой одноруким, не он работал в депо. Он выглядел сейчас начальником, и все слушались его.

Отец устало спустился по лестнице, швейцар в расшитой золотом ливрее вылез из-под лестницы и, дрожа, отдал ему честь, Ажогин, не замечая оказанного почтения, медленно вышел на улицу. Антон, точно преследуя его, шел за отцом сзади.

— Куда ты бродишь, ну куда ты бродишь? — устало спросил отец, вдруг останавливаясь и неприязненно глядя на сына. — Разве мы занимаемся игрой?

Он подозвал какого-то солдата, заговорил с ним, тот снял с себя шинель и обменялся с отцом: ватный пиджак Ажогина был широк солдату, но — все равно! — солдат весело махнул рукой, переложил винтовку из руки в руку, засмеялся и побежал в губернаторский дом.

Со стороны вокзала непрерывно и шумно приближались кучки веселого, возбужденного народа. Человек десять солдат катили сюда вагон конки без лошадей, на крыше вагона тоже самое развевался маленький красный флажок.

Около Ажогина появились «Главный» и Косьмин, а через мгновение — и Ефим. Он взмахнул руками, схватил Ажогина за плечи и жадно оглядел его.

— Ну-ну... — смущенно пробормотал Иван. — Жив-здоров, — ничего...

Веселый, без толку орущий что-то, на неоседланной лошади, сгорбившись, подобно собаке на заборе, промчался куда-то Сережа. Медленно, громко стуча мотором, сюда приблизился битком набитый солдатами и рабочими черный легковой автомобиль, с куском выцветшего кумача, натянутого спереди. Люди начали выскакивать из него, один из солдат подошел к Ажогину и отдал ему честь:

— Господин командир, это вам: пешком везде не поспеть.

— Садись, садись, Ажогин! — весело закричал Косьмин. Ажогин только отмахнулся.

— Чей это мотор? — восхищенный, спросил Антон.

— Ты все здесь? — не отвечая на вопрос, медленно произнес Иван и вдруг размахнулся и ударил сына по щеке. — Хочешь, чтобы убили, как щенка!

Антон взвыл от обиды и бросился прочь. Кругом захохотали, обида стала еще больней.

Он свернул на боковую улицу. Здесь было все то же, что и на Суворовской. Солдаты группами и поодиночке двигались по мостовой, пели песни. Навстречу Антону шагала небольшая кучка старших гимназистов с красным флагом, они пели медленно, точно в церкви:

Волга, Волга!  
Весной многоводной!..

Они шли неторопливо, раскачивая флаг, то и дело сбиваясь с шага.

Еще немного дальше, около самой гимназии, толпились гимназисты поменьше, сторожа выносили на улицу столы, покрывали их белой громадной скатертью, в подезде швейцары застряли с большой иконой. Поп тормошился около дверей и поминутно взмахивал руками.

— Чего копаешься? — кричал один швейцар на другого. — Брошу все к черту, делай, как знаешь!

Высокий, тонкий учитель в распахнувшейся шинели, с малиновым шелковым платком на шею, собирав вокруг себя учеников младших классов и, размахивая палочкой, кричал:

— Раз-два-три! — и, так как никто не подхватывал, он начинал один:

Да здравствует! Россия!  
Свободная! Страна!  
Свободная! Стихия!..

Гимназисты, видимо, не знали слов, они переминались с ноги на ногу и молчали.

Антон шел и шел дальше, к своей улице, к своему дому. Здесь попрежнему слепо глядели деревянные, некрашенные домишки, по глубоким зимним колеям текли ручейки, с крыш падала капель, маленькие лавчонки, как и всегда, стояли открытыми — и, как всегда, в окнах их и на полках было пусто.

Антон вышел на Техническую и взглянул на горбоносовскую лавку. Она была закрыта на два железных засова крест-накрест. Все трое братьев, точно поджидая кого, стояли в воротах. Не-

много дальше на завалинке сидел ночной сторож, и рядом с ним стоял окологородный Хрош, тревожно нюхая воздух. Окологородный был в черном, длинном пальто, в заячьей с ушами шапке. На рукаве его красовался малиновый пышный бант.

Антон вышел на свою улицу, и тут зрелище, подобное тому, что он наблюдал в Кремле, захватило его: множество солдат с оружием, зачем-то с походной кухней и фурами, набитыми сеном, шли вдоль Полевой улицы, гомоня на сотни голосов, запевая песни, продолжая уже начатую, перебивая друг друга, просто крича. Сторонкой, положив поперек седла древко красного флага, медленно покачиваясь, ехал Путилов.

Получалось, что это завоеватели взяли чужой город, разбили его, зажгли и теперь ухаживали прочь.

В комнате стояли сумерки. Антон нащупал на столе лампу, взболтнул ею, — она была пуста. Антон засветил лампадку, сел в угол под иконой, и раскрыл книгу: глаза его видели буквы, но в памяти его стояло все то, что наблюдал он сегодня с утра. Он закрыл глаза, голова его упала на грудь, и он перестал чувствовать себя. Без сновидений он проспал в своем неудобном положении до полуночи, когда вошедший в комнату отец снял его со стула и перенес на кровать.

Лунная ночь торжественно глядела в комнату.

Отец пришел не один, здесь были еще люди, один — по голосу Ефим — тихонько, не слышно, что именно, рассказывал. Кто-то негромко, мерно постукивал о пол прикладом винтовки. Телеграфист Косьмин сидел на краю постели, двое незнакомых, поминутно сталкиваясь друг с другом, расхаживали по комнате. Отец растапливал лежанку, и скоро яркое ее пламя заиграло на стене.

Потом отец засветил другую лампадку, и в комнате стало почти светло.

Теперь Антону стали видны и лица тех, двоих: один был Сережа, другой — Прокопий. Прокопий остановился перед иконами и, покосившись на лампадку, сказал:

— Приспособили гусака воду пить, — и, помолчав, добавил: — А пользы от тебя нет? Хоть бы полнаперсточка?!

— Ну, это ты теперь оставь!.. — хмуро возразил Ажогин.

— У нас уж такая поведенция...

— Надо бы забыть эту поведенцию!

— Бык, да и тот отвык! — разразился веселейшим хохотом Сережа, тормоза Прокопия. — У нас на Ружейном пить здоровья, но ты, видать, прямо с косушкой родился!

Прокопий пригорюнился, присел к печке и начал ковырять дрова.

— В Москве все это случилось вчерашний день... Там тоже запоздали... — заговорил незнакомый Антону голос. Оказывается, здесь были люди еще. Антон взглянул в угол: говорил высокий, лохматый человек в поношенной кожаной тужурке, туго перетянутой новым поясом, который скрипел при каждом движении лохматого. Лицо человека было видно плохо. Он говорил так, точно рассказывал сон: безо всяких жестов, не повышая, не понижая голоса:

— Бастуют — все. В городскую думу пришли солдаты: два или три полка, множество. Выбрали депутатов. Арестовали двоих генералов, Шебеко и еще какого-то, не помню. Ну, жандармерию конечно — по шапке, полицию... Черносотенцы начали было шуметь, погромь кое-где затевали... Однако их успокоили, решительные меры... Кстати, о черносотенцах... Как они тут у вас?

— Пугаться некого! — беззаботно отозвался Прокопий.

Ажогин взглянул на него и покачал головой.

— Железнодорожный отдел у нас — сто с лишним человек. Революеры у всех, деньги получают из Москвы... — озабоченно сказал он.

— Великое дело — сто!

— Но и теперь Иван не отозвался на хвастливый выкрик Прокопия.

— Провокации ждать можно вполне. Народ отпетый... — прежним ровным голосом говорил москвич. — Вообще сейчас надо держаться повнимательней.

— Арестовать их, — как бы про себя, сказал отец.

— И поскорее! — москвич, поскрипывающая поясом, прошел к кровати. — Сын? — Наследник... — отозвался отец и с гордостью прибавил: — Насилу прогнал домой, так и лезет под пули... Разве не паршивец?..

Так началась революция.

Отец теперь пропадал где-то целыми днями, домой он приходил, когда Антон уже спал. Проснувшись утром, Антон видел отца, заснувшего, как придется: иногда даже не сняв брюк и гимнастерки. На стуле обычно лежал его револьвер, и тут же — горсть медных патронов, короткая винтовка в углу. На столе, на полу, на стульях — повсюду валялись тоненькие книжечки, газеты, прокламации.

Один раз под утро в окна загрохотали, сюда, мелко и часто крестясь, вошла испуганная Соломатиха, отец уже проснулся и успокаивающе взглянул на Антона. Потом он долго и с удивлением слушал непрекращающийся грохот в ставню. Наконец зевнул, сунул ноги в валенки и в одном белье, с револьвером вышел в сени. Он скоро вернулся, за ним следом шли капитан Аристов, Стася Стрелецкая и незнакомый взрослый гимназист. Он покашивал губам басом и все старался быть около Стаси.

— Почему у тебя оружие? — громко и высокомерно вскрикивала Стася, распахнув свою офицерскую бекешку и играя шелковым шнурком пистолета. Отец вертел в руках свой револьвер и, зевая, говорил:

— Шли бы вы, граждане, мимо... Я — член комиссариата... Вообще — хочу спать.

— Мы — революционная милиция! — бормотал капитан.

— Нет, в самом деле, уходите... — повторял, беспрестанно зевая, отец.

Стася подозрительно оглядывала углы комнаты. Капитан молчал, гимназист, как тень, следовал за девушкой.

— Член комиссариата не обладает правом неприкосновенности! — важно сказал гимназист, когда этого никто не ждал.

— А это мне мало интересно... — отец распахнул дверь в кухню и окликнул

старуху: — Ты там посвети-ка им, тетя Даша!

Нисколько не стесняясь красивой девушки, отец скинул с ног валенки и полез под одеяло. Он уснул почти сразу, пожалуй, еще до того, как хлопнула калитка за ночными гостями.

Наутро он долго мылся, потом начал разбирать и смазывать винтовку и, как бы между прочим, спросил сына:

— А ты, видать, думаешь, что, раз революция, — ученье можно и по боку? Думаешь, нам дураки нужны? А? Наследник?

И, так как Антон ничего не ответил, отец добавил, ожесточенно протирая ствол винтовки:

— Не хочешь учиться — иди в ночлежку!

Но в этот день было как-раз воскресенье.

После чая Антон направился к Ковальчукам. Он не видел «Кривого» уже несколько дней, с тех пор, как сам собою отстал от школы. В калитке Технического училища он почти столкнулся с Верой.

— Куда ты идешь? — спросил он, мгновенно вспыхивая и опуская глаза.

— Пусти!

Тогда он неловко взял ее за плечи и втолкнул во двор.

— Я к Ковальчуку! — громко воскликнул он, оглядывая ее. Она была вся красная, со смущенным и вместе сердитым выражением лица. Но, безропотно повернувшись, она пошла рядом с Антоном по узкой дорожке, ведущей к высоким каменным ступенькам черного хода.

— Почему тебя не видно в училище? Ты думаешь, что уже знаешь все?

— Мне было некогда, — важно ответил Антон. — Ты, небось, играла в куклы, а я...

— Я не играла в куклы! — и слезы брызнули из глаз девочки. — Ты опять смеешься надо мной, Ажогин!

Но он осторожно погладил ее по спине, и они поднялись во второй этаж. Там их встретил «Кривой».

Его ничем нельзя было удивить, он даже не поздоровался с Ажогинным, сразу же, как и в первый раз,

достал из-под дивана ящик и открыл его. Ящик был уже битком набит книгами, наверху лежала одна, толстая, в ярком, красивом переплете. «Сказки братьев Grimm» — сверкали золотые буквы на нем. «Кривой» перелистывал страницу за страницей, он обращал внимание Антона на картинки, картинки были интересны, но тем не менее Антон с презрением оттолкнул книгу и скуляющим тоном сказал, что все это — для маленьких, чепуха на постном масле.

— Ты будешь сапожником, а я — студентом! — оскорбленно воскликнул Ковальчук. — Ты не дружи с ним, Верка! Он хочет быть сапожником!..

Но Антон видел, что слова приятеля не производят впечатления на Веру. Он взял ее за руку и выразительно сказал, что в то время, как «Кривой» дрожал здесь под материнной юбкой, он, Антон, видел революцию и даже стрелял из ружья в городских.

— Из правдашного ружья? — даже ахнул «Кривой», забывая свое возмущение.

— Нет, из игрушечного!.. — Антон даже не взглянул на него и снова обратился к Вере. Он начал беззастенчиво врать ей о том, как их в Оружейном училище окружила полиция, как он нашел ружье и начал стрелять, как они потом шли ночью по лесу и тоже стреляли, а затем вбежали в губернаторский дом, и там на них напал здоровенный городской, и Антон застрелил его.

— Убил? — глаза у Веры округлились, она со страхом и восхищением посмотрела на мальчишку.

— Во всяком случае я стрелял в него, — поправился Антон. Он произнес это «во всяком случае», как совсем взрослый человек, и дернул подол рубахи.

Через несколько времени в комнату зашел отец Ковальчука. Он по обыкновению повертел своей ежовой головкой, принюхался и увидел Антона.

— Ажогин? Почему это давно не видно? Я забыл — звать. Ах, да, Антоша!

Ажогин усмехнулся, услышав это «Антоша», он позволил обнять себя и погладить по голове.

— Это вашего папу выбрали в комиссариат? Да? Я же говорил!

И Ковальчук изумленно взглянул на мальчишку, точно видел его впервые.

— Смотрите, как получается: простой мастеровой, а что произошло! Коля, что же ты в самом деле, книги показал бы или — поиграй.

Скоро в дверь постучали, и сюда просунулось знакомое лицо Евгения Ажогина. Он вопросительно взглянул на Ковальчука, потом проскользнул в комнату так, словно был на коньках.

— Смотрите: получается, Ажогин — побольше и Ажогин — поменьше! Чудно! — заискивающе воскликнул Ковальчук-отец. — Милости прошу, Евгений Иванович.

Телеграфист прошел в «гостиную». Он сел, расставив ноги и упершись локтями в колени. Он пристально смотрел на мать Ковальчука, та уткой переваливалась по комнате, собирая на стол.

— У нас тоже неопределенное время... — заговорил телеграфист. — Выбрали комитет. К чему, спрашивается? Излишний шум и мартышкин труд. Например, рассыльный — в комитете, начальник конторы — вне. Теперь, предположим, начальник прикажи что рассыльному — тот может не послушаться. Комитет. Смешно!

На это Ковальчук-отец возразил, что теперь революция, государь — и тот сидит под арестом, а антошин папа теперь — в комиссариате, у власти.

— Говорите, в комиссариате? — телеграфист пристально поглядел на мальчишку. — Это который же папа? Иван Ажогин?

— Нет, ты! — резко крикнул Антон, и отец Ковальчук вдруг тоненько и ехидно засмеялся. Но, против ожидания, телеграфист не рассердился. Он достал папироску и предложил Антону.

— Не куришь? Хорошо делаешь, а вот я — не могу!

Он попытался говорить с мальчишкой, как с товарищем-однолеткой. Но Антон помнил его еще по мологоновскому двору, телеграфист был противен, и Антон не захотел оставаться здесь.

А телеграфист не оставлял его в покое. Он все расспрашивал и расспраши-

вал его, что делает отец, где он достал оружие, когда приходит домой.

Антон поднялся уходить, Вера вышла вместе с ним.

— Ты его знаешь? — спросила она уже на лестнице.

— Он жил на нашем дворе.

— ... К ковальчуковой маме ходит... Один раз я пришла... — девочка не докончила фразы и покраснела. Вообще она обладала удивительным свойством краснеть по всякому поводу.

— Ничего удивительного... — равнодушно проговорил Антон, догадываясь. И он тут же, неизвестно к чему, рассказал все, что он знал о старике Мологонове и своей собственной матери.

Вера слушала его, багровая, не решаясь даже перевести дух. Антон затем безо всякого перехода рассказал, как он работал у Юльма, как мать была его, как наконец он ездил на войну.

— В городского я не стрелял... — совсем просто сказал он наконец. — Я все ерал, а на войну, правда, ездил. Только, ты не знаешь Платошку Матросова и Юзьку Первако? Не знаешь, ведь?

Он рассказал, как разорвало Юзьку, и, хоть рассказывал он куда скромнее, чем у Веры Владимировны, впечатление было несравненно сильнее: Вера шла, опустив глаза и иногда вздрагивая, точно в ознобе.

— Только ты не пугайся, да? Хочешь, я буду заступаться за тебя? Меня и в нашем классе боятся — я сильный!

И, как бы в доказательство своих слов, он схватил с земли палку и треснул ею по забору. Звук удара разнесся по улице, как выстрел. По ту сторону забора залаяла собака, Вера пугливо поехала.

И вдруг дети прислушались: издали послышалось густое, многолюдное пение. По Суворовской через мост двигалась большая толпа, она направлялась к вокзалу. День был яркий, над толпой горели крупные золотые искры: видимо, это сверкали хоругви. Похоже, шел крестный ход.

Дети побежали к Министерской, обгоняя женщин, во множестве торопившихся туда же.

Пение уже слышалось вполне отчетливо.

«... Нико-ла-а-аю... Алекса-а-а-андро-о-о-ви-ичу-у-у!» — протяжно неслось оттуда.

Ход возглавляли братья Горбонособы, они шли в одну шеренгу все трое, впереди всех, даже впереди попов, которые шагали перед самыми иконами. Народу здесь было человек двести, двести пятьдесят. Женщины шли в самом конце хода, а кто и просто сторонкой, по тротуару. Главное ядро процессии составляли здоровые, дюжие мужики, одетые по-праздничному, по виду — кондуктора или дворники.

В первом ряду с краю, чуть не по тротуару, вышагивал тот самый машинист, что приходил в гости к Соломатихе. Лицо его было нахмурено, он переступал ногами, тяжело опираясь на толстую железную палку. Два или три ряда процессии составляли «молодцы», изпод их пальто и тужурок виднелись донельзя грязные фартуки. Один из них шел вовсе без пальто, его передник был испятнан кровью, клеенчатые нарукавники сверкали на солнце, парень поминутно потряхивал головой и жадно всматривался в лица встречаемых женщин.

— Зачем они? Куда идут? — обеспокоенно спрашивала Вера, не замечая, что крепко сжимает руку Антона.

— Я не знаю. Будут драться... — добавил он впрочем.

Дети шли уже рядом с процессией. Она направлялась к железнодорожной церкви. Справа от дороги лежало пестрое от проталин Солдатское поле, слева притулились убогие лавчонки, где главным образом торговали евреи, беженцы из Польши. С самого края гордо высился трактир «Барселонский приют». В дверях его стоял сам хозяин, маленький старичок в засаленной поддевке, и за ним — трое пожилых полowych с полотенцами на плечах.

«Спаси — го-о-о-споди — лю-у-уди теоя-а-а-а!» — снова запели впереди, и старичок подхватил своим дребезжащим, далеко слышным голосом: — «... и благо-сло-ви до-сто-я-ние-е тво-о-е!» — Он

пел, не переставая креститься, отчетливо выговаривая каждый слог.

— Шапку прочь! Скидай! — закричали вдруг передние. Виктор оторвался от братьев и, припадая на одну ногу, нелепо размахивая длинными руками, налетел на чернявого паренька, стоявшего у одной из лавчонок. Виктор взмахнул руками, паренек подскочил, перевернулся и плашмя, с громким, словно деревянным, стуком ударился оземь.

— Кроши, ничтожь! — бесновался Виктор... Он локтем, кулаками, чем попадая бил в двери, в окна, по вывескам. Сумасшествие охватило весь крестный ход, люди устремлялись к убогим лавчонкам, кто тяжелыми дровками хорувей, кто просто палками, кто чем — разносили в пух и прах все, что ни попадалось им на пути.

К одному из дворников подскочил поп, он замахивался и кричал на дворника:

— Идол проклятый, чем ты бьешь? Отдай священный предмет, негодник! — но дворник не слушал попа, свирепо ворочал своими отечными маленькими глазками и орудовал хоруговью, как оглобля. По улице разносился звон стекла, битое, оно устилало дощатый тротуар, осколки искрились на солнце, на улице летели картузы, чайные чашки, тазы, ведра, дожидавшиеся починки, молотки, клещи, — точно дьявольский ураган наскочил и хозяйничал здесь. Лишь маленькая кучка людей — стариков — стояла у икон, поминутно крестясь. Иконы были поставлены прямо на дорогу, в черный снег. Над улицей стоял стон, визги женщин, безумные вопли ребятишек. Антон похолодел: он не мог оторваться взглядом от Виктора, который громадной подбитой птицей носился среди всего этого хаоса. Лицо мясника было багрово и мокро, слипшиеся волосы свисали ему на глаза, он ревел и кричал что-то, чего невозможно было понять.

Антон оглянулся и, разумеется, не увидел Веры около себя. Он нагнулся, машинально поднял длинный молоток, валявшийся под ногами, бросился наперез к Виктору, но в этот момент раз-

дался выстрел, и мясник рухнул на дорогу прямо лицом в лужу. Он скрипнул зубами, коротко простонал и успокоился, только скрюченные его пальцы медленно шевелились, захватывая и захватывая бурый снег.

Антон почувствовал, как у него сжимается грудь, он медленно повернулся и вдруг, не помня себя, рванулся прочь. Ему казалось, что это именно за ним несутся топот многочисленных ног и жуткие крики. Ему казалось, что на него вот-вот опустится лубовая палка, и он упадет с раздробленной головой, подобно Виктору, уткнувшись лицом в грязный снег.

— Ты куда?

Сильная рука больно схватила его за плечо, и он потерял сознание. Но обморок был короток, что-то холодное легло ему на грудь, Антон вздрогнул, открыл глаза и увидел Ефима, который совал ему за пазуху грязный талый снег.

— Наследник, что с тобой? — раздался знакомый голос. Это незаметно подошел отец. Антон не успел ничего ответить, как его подхватили подмышки, швырнули в автомобиль, стоявший тут же, и автомобиль, грозно рыча, свернул направо, на Техническую улицу. В машине, на подножках, на крыльях ее, сидело человек двенадцать рабочих с винтовками, бомбами на поясах. На Суворовской осталось десятка четыре солдат, и с ними — телеграфист Косьмин. Отец обнимал Антона здоровой рукой, нагибался к нему и спрашивал:

— Много набезобразили?

Антон не мог ответить, он дрожал, не попадая зубом на зуб.

Машина обогнула угол, выскочила на Полевую и, мимо староверческого кладбища, помчалась к вокзалу. Она должна была зайти погромщикам в тыл. Минуты через две, через три автомобиль остановился поперек шоссе, ведущего к вокзалу. Люди во главе с Ажогиным повыскакивали из машины и заторопились к еврейским лачугам, где все еще слышались исступленные вопли, грохот разбиваемых окон и где в сторонке, под охраной старух и стариков, в пеструю

кучу сбились хоругви, трехцветные флаги, иконы.

Ажогин громко вскрикнул и махнул рукой: нестройный зал оглушил Анто́на, и несколько хоругвей упали наземь, рычащая толпа отхлынула от лавчонок, теперь черневших слепыми окнами. На земле, в грязном месиве, валялись двери, сорванные с петель, гремели железные вывески, по которым, не разбирая дороги, пробегали погромщики, снег под ногами был усеян рваным тряпьем, осколками стекла и посуды, то там, то здесь лежали убитые, у самой крайней лавчонки — уже затихший — Виктор Горбоносков. Одна его нога кончалась там, где приходилось колено другой. Виктор лежал, широко раскинувшись, его лицо почернело, крови нигде не было видно, пальцами он уже не шевелил, пальцы его были яростно и мертво скрючены.

Теперь люди с хоругвями и иконами пришли в себя, они медленно отступали к Технической.

— Бей!.. Бей комиссариат!.. — криковали уже в толпе. Сейчас в ней остались только здоровые мужики, уже началась оживленная и беспорядочная перестрелка. Толпа редела, с каждым шагом замедляя свое отступление. Затем, что-то такое произошло, погромщики взвыли и ринулись вперед, выдавливая Ажогина из узкого коридора улицы. Ажогин шаг за шагом уступал оправившейся, начавшей снова звереть толпе. Ещё немного, и она могла бы смять Ажогина, но в этот момент у Технической улицы раздались громкие крики, толпа бросилась врассыпную, но появившиеся солдаты везде встречали погромщиков, и через несколько минут, разбитая на мелкие кучки, разоруженная, окруженная конвоем, толпа медленно, громко ругаясь, откашливаясь, нестройно топоча ногами, шла по улице в сторону Кремля.

Братьев Горбоносовых не было здесь, они ускользнули, только Виктор, громадный и уродливый, остался чернеть на сером снегу.

Когда пленные тронулись, сюда подсаkali верхами Стася, Артемий Кудашев и капитан Аристов. У всех них

были красные, нарукавные повязки. Стася держалась, как начальник. Она начала спрашивать Ажогина, что случилось, он отвечал односложно и нехотя.

— Ну, тронули!.. — наконец хмуро приказал он солдатам.

— Освободить! — вскрикнула Стася.

— Не шумите, барышня, — строго сказал Ажогин, ударил ее лошадь ладонью по крупу, красивая гнедая кобыла попятилась на тротуар, солдаты и пленные тронулись. Люди проходили здесь, и с одного бока стояла эта тройка верхами, с другого, почти на самой панели, — Ажогин, Ефим и Косьмин с Антоном за руку. В некотором отдалении олуственный автомобиль поджидал Ажогина. Отец хмуро провожал дюжих мужиков, кое-кто из них уже успокоился и теперь шел, переключаясь и пересмеиваясь с приятелями.

— Вы у меня насмеетесь... Подождите!.. — бормотал Ажогин и вдруг насмешливо добавил: — Вы бы лучше, барышня, со своими кавалерами разыскали мне мясников-то... Горбоносовых-то... Один успокоился, сдох, а те убегли!..

Стася брезгливо поморщилась, повернула свою кобылку, ударила ее каблучками и помчалась вверх по Технической. Следом за ней, взрывая мягкий снег, заторопились оба ее «кавалера».

Отец пришел домой поздно, Антон не спал, дожидаясь его, не гасил огня: боялся, что в темноте появится убитый Виктор. Отец жадно глотал остывший ужин, Антон, таинственно понизив голос, рассказывал отцу о том, как был убит Виктор Горбоносков.

— Не врешь? Сам видел? — отец пристально посмотрел на Антона. — Вишь ты, чего видел. Был мальчишка, молокосос, — теперь уже скоро меня обгонит. А?

Потом отец взял руку Антона и стал внимательно разглядывать ее.

— Вот и пальцы в чернилах, — раздумчиво сказал он потом, — значит — писать еще не умеешь.. А в то же время...

Он усмехнулся, покачал головой, сел на край кровати и задумался.

— Куда их?



— Кого? — не понял Иван.

— Ну вот крестный ход, — в тюрьму?

— Э-э, нет! Это им слишком хорошо! — широко зевая, протянул отец. — Мы их погоним, наоборот, на позиции. Пусть их! Всех городских и потом — этих... Раз «до победного конца» — сиди там на позиции до победного, нам не жалко!

— И Ажогина? Телеграфиста?

— Где ты видал его? — отец даже вскочил с места.

Антон рассказал про встречу у Ковальчуков. Отец прошелся босыми ногами по комнате, взерошил волосы и начал было одеваться, но потом махнул рукой.

— Никуда не денется... — широко зевая, успокоившись, проговорил он. — Ах, значит, он здесь? Это хорошо, что ты сказал, понимаешь... Ну ладно, уже второй час... — отец еще раз протяжно зевнул, лег и повернулся на бок.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

Между тем время шло и шло, и вот наконец школу распустили на пасху. Погода стояла теплая и дождливая. Куда бы ни ткнулся Антон, он везде видел людей: они все куда-то шли в одиночку, целыми группами, целыми процессиями. Красные, черные, голубые флаги мелькали то там, то тут. Это сообщало городу небывало праздничный вид. Раньше флаги вывешивались только в царские дни. На улицах разводили костры, городовые до зеркального блеска начищали сапоги, — вот и все: скучные, казенные праздники. Сейчас откуда-то в городе появилось множество оркестров, они гремели с утра до ночи, их торжествующие голоса перебивали все обычные шумы города.

Кудашевский сад, теперь названный «Первомайским», стоял еще голый, но зеленая трава уже устилала землю, и здесь, на этой зеленой траве, то там, то тут, выступали каждый вечер артисты, они декламировали стихи, пели песни, танцевали в красных костюмах с картонными мечами.

Отец попрежнему приходил домой поздно, раздеваясь, слушал, что расска-

зывал ему Антон, и в свою очередь сообщал:

— Ну, сегодня я телеграфиста — того!..

— Убил? — испуганно вскрикивал Антон.

— Зачем убил? Просто арестовал, будем судить... Не шпионь, гадина!..

Или:

— Нынче целых три теплушки отправили с городовыми...

— Куда отправили?

— Погрузили, как мебель, — и на позиции. Что с ними здесь делать? Только беспокойство. А там мы покормили вшей — пускай теперь они покормят.

— Они не хотели?

— Как это ты не захочешь? — даже удивлялся отец. — У нас захочешь!.. — он упрямо взмахивал кулаком, и огромная тень кулака шевелилась на стене.

На второй день пасхи, утром, Ажогина и старуха пили чай. В глубокой эмалированной чашке лежали остатки пасхи, а на тарелке — нетронутый, ржаной кулич.

— Не думала я, что христово воскресенье встретить будет нечем. Бывало плохо-бедно, а ветчинки да колбаски достанешь. Хоть немного, а перед спасителем не стыдно глаза поднять... — говорила Соломатиха, горестно подперев рукою щеку. — Нынче свобода, а праздника встретить нечем...

На старуху уже перестали обращать внимание, и она не обижалась. Она могла часами говорить на кухне сама с собою, знакомые вовсе перестали заходить к ней. Лишь изредка во дворе появлялись деревенские женщины, тогда старуха заявлялась к жильцам и говорила:

— Картошку привезли. Взять?

Антон лез под кровать: там всегда валялась или грязное белье, или негодные голенища, или какой старый картуз. Он отдавал это хозяйке, она, озабоченная, уходила на двор и потом долго ныла:

— За исподники-то — полведерки только... Что же делается это?

Своих вещей старуха не трогала. У нее, правда, была только рухлядь, но за-

то в ее туго набитом рундуке было такое несметное количество, что, казалось, можно было заниматься меной всю жизнь. Помогая старухе иногда пере-кладывать эти запасы, Антон видел старые фуражки, топорщица, ржавые гвозди, веревки, донья от стульев, плесневелые клепки от бочек, бутылки, проржавевшую посуду, поротую одежду, рваные галоши, ламповые горелки, даже помятый, зеленый от плесени, без крышки, с прожженным поддувалом, самовар.

— Господи-батюшка, чем же это все кончится?..

Ажогин собрался было ответить ей, в этот момент звякнула щеколда калитки, невысокая женская фигура быстро промелькнула под окном и, ударив в дверь, вошла в сени и через мгновение появилась здесь, в кухне. Она стояла, щурясь на солнце, улыбаясь и беззвучно шевеля губами.

— Нина! — вскричал Антон. Он бросился к ней и уткнулся лицом ей в грудь.

— Ну что ты, что ты, глупый... — он не разбирал, чьи это были слова: стца или Нины, он не понимал ничего. Его оторвали от Нины, он поднял лицо и увидел отца, который, обнимая Нину здоровой рукой, стоял сейчас рядом с ней, помолодевший, радостный и довольно-таки глупо улыбающийся.

— Нинок... Нинок... — повторял он.

Нина осматривалась кругом. Ее громадные глаза весело перебегали с предмета на предмет. Она чуть-чуть покачивалась, стоя посреди кухни.

— Антон! Дядя Ваня... — своим знакомым, живым и глубоким голосом говорила она. — Я опять с вами, мы опять — все вместе...

Она смущенно улыбнулась, легонько прикоснулась двумя пальцами к глазам, потом тряхнула короткими, по-мужски подстриженными, волосами. Она раздевалась. Суетясь и мешая ей, отец помогал Нине.

Потом она копалась в своей корзинке и говорила:

— А у вас здесь настоящий голод, на железной дороге ничего не достать, еха-

ла я одиннадцать дней, хорошо еще, мне на дорогу дали, — ела-ела, и осталось еще...

Она снова весело и сияюще оглядела Ивана и Антона.

— Ну? Не прогоните? — хохоча спрашивала она. — Вы не забыли меня?

Антон чувствовал свежий запах ее тела, — именно так он и представлял себе эту встречу. Он пристально смотрел на нее: у нее было прежнее, приятное лицо, ямочки на щеках, крупные белые зубы.

— Забыл? Вспоминаешь?

Вместо ответа он опять уткнулся лицом в ее грудь.

— Антон, сынок, сынок, братишка... — приговаривала она, проводя ладонью по его затылку. По всему его телу проходила приятная дрожь, он сидел с закрытыми глазами, прижавшись к Нине. Он слышал громкий и возбужденный бой ее сердца.

Старуха наливала в самовар воду, скоро огонь загремел в трубе.

Отец выкладывал из корзины деревенский пшеничный хлеб, сало, громадные куски постного сахара, — розовые, белые, зеленые куски. В заключение был вынут бумажный сверток: в нем хранился сухой букет цветов, — обыкновенных полевых цветов, какие водились и здесь.

— Как все равно знала, летом набрала, засушила, берегла до сих пор. Видишь, высохли, но ничего... Как будто знала, что приеду к вам... — она смеялась, рассматривала в отдельности каждый цветок, каждую травинку, осторожно перекалывала их, нежно сдувала с них легкую пыль. — Вот это я взяла на болоте. У нас там болото громадное, все в цветах, и много «окоя». Ты не знаешь, что такое «окоя», Антон? Да ты совсем неученый, братишка! Вот например болото, итти можно, хоть ноги вязнут, но можно, а потом вдруг словно тебя кто хватает за ноги, через минуту тебе уже по колени, потом глубже и глубже, — ну, и пропал человек! Понимаешь? Говори!

Это «говори» сразу пробудило в Антоне миллион воспоминаний. Его уже не интересовал рассказ о болоте. Он сразу представил Нину в ее маленькой ком-

патке, за швейной машиной, себя самого и Платошку около нее.

Он глядел на нее: она еще с тех пор сохранила свою привычку во время разговора класть ладонь на грудь, как бы закрывать ее, и вот это коротенькое и требовательное «говори».

Потом они все трое прошли в комнату, Нина прилегла на постель и посадила Антона около.

— Понимаешь, деревня Федино. Это Енисейская губерния, Чунский уезд. Дворов — сорок, и все Рукусуевы, родственники. Только богатых там дворов шесть-семь, а остальное так, средне... Ну, как у вас, говори!?

Она подложила руку под щеку и стала слушать Ажогина. Иван рассказывал, не торопясь, причем Антону казалось, что он много выдумывает: ведь он все эти месяцы жил тут же, вместе с ним. Откуда ж отец мог поспеть везде: в казармы, в ближние деревни, на Оружейный завод? Жизнь отца была на виду, откуда ж все это?

Вдруг Иван оборвал свой разговор и осторожно, стараясь не скрипнуть стулом, встал с места: Нина спала, улыбаясь и тихонько вздрагивая веками. Отец осторожно снял Антона с постели, поставил его на пол и вдруг поцеловал, сначала в один глаз, потом в другую.

— Сын, наследник, вот мы и опять, значит, с нашей Ниной... — он опустил глаза, усмехнулся и посмотрел в сторону Нины. Он взял ее ботинки, вышел на кухню и стал чистить их. Они стали просто сверкать, но он все чистил и чистил их. Потом он достал из кармана свой револьвер, оглядел его и подкинул на ладони: он, видимо, показался Ивану тяжелым. Тогда он сунулся в боковой карман и вынул оттуда другой: маленький, никелированный.

Он разобрал его, смазал, вложил туда обойму и положил на стул, у изголовья кровати: Нина должна была увидеть револьвер сразу, как только откроет глаза.

Отец и Антон заговорили шопотом. Они оба смотрели в ту сторону, где лежала эта светловолосая женщина. Сюда, еле слышное, доносилось ее

дыхание. Отец осторожно развернул газету и стал читать.

Антон тоже раскрыл «Городскую молву», она печаталась теперь красной краской, на передней ее странице было много объявлений о разных собраниях. Здесь же, на этой полосе, под картинкой, изображавшей двух схватившихся борцов, со множеством восклицательных знаков было написано, что «Черная маска» и Збышко-Цыганевич будут смертельно бороться в цирке «Колумбия» в воскресенье, на Красной горке.

«Ленинцы объявляют войну против великой российской революции...» — так начиналась статья на следующей странице.

Антон начал читать, но слова были все непонятные, в статье упоминалось о какой-то Французской революции, о каком-то «дне», о хулиганских элементах.

— У французов тоже революция? — шопотом спросил Антон, поднимая голову.

— Где? Где? — даже забеспокоился отец и отобрал у него газету. — Ну, понимаешь... — разочарованно протянул он. — Это совсем не про то.

Но он не бросил газеты, а стал просматривать ее, статью за статьей.

— Что пишут, дьяволы! — не то с восхищением, не то со злобой говорил он. — Брось, наследник, от этого чтения умней не станешь: власть новая, а вранье старое... «Ленинцы»... Тоже, умники, — не вам бы о ленинцах рассуждать: тут понятие требуется, друзья... — точно беседуя с кем-то посторонним, насмешливо говорил отец. — Копали-копали, а не выкопали, — репка сидит довольно глубоко, а?

Он закурил, прошелся по комнате, размахивая, как солдат, правой и поскрипывая левой рукой. Потом он остановился у кровати, взглянул на спящую Нину, набросил на ее ноги уголок одеяла и снова прошел к столу.

— Но вот это например — вещь!.. — понизив голос, точно боясь разбудить Нину, заговорил он опять, встряхивая листом газеты, которую держал. — По крайней мере, настоящие люди пишут:

без вранья. Ты послушай только, Антон Иваныч:

Слишком долго мы были покорны  
И в весенние, ясные дни  
Разводили бездушные горы,  
Погашали стремлений огни.

То в заводе, то в шахте глубокой  
Гибнут юность, здоровье, умы.  
Над станком, над котлом, над опокон  
Изнываем, плененные, мы.

Он замолк, пробежал несколько страниц молча, потом продолжал вполголоса:

Есть спасение — отдых разумный,  
Солнце — людям, а ночи — для сов!  
Чтобы шквал не надвинулся бурный,  
Все мы требуем: восемь часов!

Отец вдруг остановился и покачал головой.

— Чтобы шквал не надвинулся бурный, чтобы шквал не надвинулся бурный?.. — забормотал он и вдруг забеспокоился: — Вот, понимаешь, все хорошо. «Изнываем, плененные, мы...» Очень трогательно, верно? А потом... — он еще раз перечитал последние строки и старательно подчеркнул их карандашом: «Чтобы шквал не надвинулся...» Это что же? Значит, опасаемся?

Он задумался над листом газеты, попрежнему бормоча про себя.

— Получается не то, Антон Иваныч!.. — он снова вскочил и снова прошелся по комнате. — Что-то не разберишь... Значит: дайте добровольно восемь часов, а то революцию сделаем? «Чтобы шквал не надвинулся бурный?..» Значит, дадите восемь часов, — леший с ней, с революцией? Э-э, брат, не согла-а-а-сен!!!

Он хитро прищурился, засмеялся и кому-то погрозил пальцем.

— Революция уже была... — чтобы не показаться несмысленным, возразил Антон. Он не понял, против чего возражал отец. Слова Антона как бы подстегнули отца, он хищно оскалил зубы и шевельнул жидкими усами.

— Была, говоришь? Не то, все не то! Теперь мы примемся по-настоящему!

На постели послышался шорох, отец испуганно оглянулся: Нина лежала, потягиваясь и закинув руки под голову.

— Мать честная!

Нина осматривалась, переводя взгляд со стены на стену.

— У вас здесь хорошо, это похоже, как я жила в Федине. Только у меня в комнате стояли большие часы: они были сделаны из пня. Хозяин у меня был на все руки, даром, что семьдесят девять лет. Работал, как молодой: купил будильник, выдолбил для него специально пень, и туда — будильник. Очень красиво. Меня все дочкой звал, хороший старик. Как уезжала, он письмо получил: сына у него на германском фронте убили... Что было, невозможно сказать!..

— Ну, а как там у вас революция прошла?

— А, по-моему, никак. Приходит стражник, плачет, отдает револьвер и говорит: «Поезжайте, куда хотите, госпожа политическая». Думаю, пьян или провокация. Ну, однако же, мы собрались, потолковали, и выясняется, что он заходил ко всем и, то же самое, плакал. И никто ему, как и я, не поверил.

Она уже сидела на постели, спустив ноги в грубых шерстяных чулках. Ноги ее были маленькие, с высоким подъемом. Она тихонько шевелила пальцами.

— Мы посидели, пьем чай, поем разные песни: «Марсельезу», «Варшавянку», мимо прошел опять стражник, молчит, даже не заглянул к нам. Понятно? Одним словом, двадцать шестого или двадцать седьмого февраля к ночи заходит ко мне товарищ и говорит, что да, в России — революция. Товарищ жил в соседней деревне, им сообщили. Ну, опять собрались мы все, фединские, говорим: как быть? Никто в общем ничего не знает. Говорят только, что кто-то из соседней деревни был в Канске, — это в уезде! — видел митинг, красные флаги на домах, полиция уже убралась куда-то. А газеты к нам придут чорт знает когда, узнать не от кого. Ну, разбрелись мы по всем дорогам, морозище был, я пошла на реку, через нее зимняя дорога шла, понятно? На том берегу — черный лес, летом мы туда переплывали на лодке, шли за ягодами, на охоту. Дядя Ваня, я на охоту ходила! — вдруг вскрикнула она. —

О чем это я? Да, стою на берегу, зуб на зуб не попадает, никого не видать, подходит стражник: «Вы, — говорит, — понапрасну мерзнете, все едино я сам жду сообщений, мне-то больше вашего интересно. Вам что? Вы в гору пойдете, а меня под зад лопатой...» — она вдруг тоненько и весело рассмеялась. «Ничего, — говорю, — Роман Петрович, я подожду». Но так никого и не дождалась. Прихожу к товарищам: там уже у одного австрийца купили газету: он ехал из Абана, запросил три рубля, — собрали, кто сколько, дали: шут с тобой! Да, в общем, так и узнали все...

— Тяжело было в ссылке? — осторожно присаживаясь около, спросил отец.

Нина запахла на плечах платок и приложила ладонь к груди.

— А тебе в тюрьме? Легко? говори... — вскрикнула она. — Нет, у нас было легче: газеты выписывали, журналы... Только вот эта охрана... Стражник наш, в общем, был человек ничего, но очень уж надоедливый, — торчит то у одного, то у другого. Следит, да так грубо!.. Связь с другими колониями — счень плохая. И потом жизнь. Сначала-то еще ничего, а потом, как нагнали есенноплеменных, конечно крестьяне пользовались этим. Все вздорожало. Иногда ешь картошку, пьешь кипяток, и так целыми неделями. Если б не Павел Орестыч...

— Павел Орестыч? — отец изумленно привстал с места.

Нина молча кивнула и, улыбаясь, взглянула на Ивана.

— Он мне и письма писал, потом я тебе дам почитать...

— Зачем?! — смущенно отказался Ажогин.

— Ничего, ничего, прочтешь!

Нина засмеялась и стала обуваться. Обувалась она с такой легкостью, что Антон и отец просто засмотрелись на нее. Волосы падали ей на лоб, но еле заметное движение головы — и вот они уже стремительно ложились на место. Пальцы ее молниеносно орудовали со шнурками. Она потом прошлась по комнате и остановилась посреди нее.

Она положила руки на голову Антона и на плечо отца.

— Муж. И маленький братишка. — Она сказала это таким голосом, от которого лицо отца опять стало моложе и красивее.

Он осторожно погладил ее плечи. Она привлекла к себе Антона и вместе с ним прижалась к широкой груди Ивана.

— Я всю дорогу, каждую ночь видела вас обоих во сне. Особенно тебя... Муж! — понизив голос, но с ударением добавила Нина. Лицо ее польхало резким румянцем, она продолжала прижимать к себе Антона, не отрываясь, смотрела в глаза Ивана.

— Все равно, я знаю, о чем тебе писал Павел Орестыч... — негромко сказал Иван.

— Конечно же! — воскликнула она, закрывая грудь ладонью.

Потом она оторвалась от Ажогина, вышла в кухню и вернулась с ведром кипятка. Через минуту она уже мыла полы и приговаривала:

— Боже мой, как вы только живете? Ох, мужики, мужики!..

Отец пытался помочь ей, но она была его грязной тряпкой по руке, смеялась еще веселей, — ее работа походила на радостную игру. И еще через мгновение эта скудно убранная маленькая комнатка огласилась звонкими звуками веселой ее песенки. Антон видел неловкого, радостного отца, следившего за Ниной. Ее руки проворно скользили по мокрому полу, она изредка взглядывала на Ивана, прерывала песенку, и тогда ее смех опять раздавался на весь домик.

Они все трое снова были вместе.

Они снова были вместе. Отец повеселел, Нина ухитрялась все прибрать, помочь старухе на кухне. Она звала ее «мамой», иной раз бегала по очередям.

— Ну, у вас здесь неважно... — говорила она, возвратясь с караваем сырого, непропеченного хлеба или бидоном керосина. — Выходит, голод? Если так пойдет дальше, ведь голод?

Она недоуменно смотрела на Ивана, а он жался, словно все эти очереди — от него самого.

— Сегодня собрались солдатки. Их не пускают в городскую управу, понимаешь? Они кричат, а их не пускают... — рассказывала она, торопясь, точно перебивая кого-то. — В самом деле, шесть рублей, — разве это пособие? Это нехватит даже на хлеб по нынешним ценам...

И почти всегда она заключала:

— Ну, конечно же, будет революция еще. Следующая революция! Да? Говори!

Она ничуть не изменилась с той поры, как ее арестовали. Иногда Антон присматривался к ней особенно внимательно и не замечал в ней ничего нового: та же веселая, хлопотливая девушка, певунья, — она не изменилась даже внешне.

И все же в представлении Антона отец как-то побледнел рядом с ней. Он по-прежнему много работал, уходил рано, изредка забегал домой перехватить чего-либо горячего: щей или капусты со сметками (это была почти единственная их пища), и исчезал опять, дотемна. Но если раньше в сознании Антона был только он, Иван Ажогин, отец, однорукий солдат, который делал революцию, — теперь рядом с ним появилась Нина, которая улыбалась, смеялась, рассыпала вокруг себя полные пригоршни радости и молодого возбуждения. Она также исчезала из дому на целые дни, также пропадала, — видимо, у них с отцом были общие дела, — но, вернувшись к ночи или встав чуть свет, она бесперывно пела, возилась с Антоном, орудовала на кухне и вдруг начинала спрашивать его об училище и товарищах. То вдруг, наоборот, сама начинала рассказывать ему о сибирской деревне, где она жила в ссылке.

Отец как-то сказал Антону, когда они остались одни:

— Все же так она в ссылке была. Это — страшное дело, Антон Иванович... Я бы, кажется!.. — и он не договорил.

И, как нарочно в этот же вечер, в отсутствие отца, Нина сказала, понизив голос, прикрывая прудь ладонью:

— Какой молодец этот дядя Ваня! Орловский централ — это же ужас! Что? Говори!

Отец и Нина заботились друг о друге, но так, чтобы другой не замечал этих забот. Антон в атмосфере этой хорошей дружбы чувствовал себя как нельзя более лучше. Он не мог уже обходиться без отца и Нины: он обязательно должен был проводить их утром и дожидаться их прихода вечером.

Как бы поздно ни являлась Нина домой, но, видя бодрствующего Антона, она обязательно подсаживалась к нему и говорила и говорила — обо всем, о чем только придется. Она в обращении с мальчишкой никогда не прибегала к так называемому «детскому языку», — нет, это были взрослые и всегда очень интересные разговоры. Как и тогда, еще до своего ареста, она больше рассказывала сама, но все равно: она и умела, и любила слушать его рассказы.

Иногда они заговаривались допоздна. Отец, возвращаясь домой и заставая их за разговорами, замечал:

— Вы все не спите? Нинок, ты должна отдыхать. Наследник, — спать, марш!

Но Нина вступалась за него, и тогда отец сдавался: они рассаживались за круглым столом и играли в подкидного дурака. Нина была яркой картежницей и могла резаться в дурака целыми ночами. Играла она очень плохо, постоянно проигрывала, но играла с веселым ожесточением, смеясь, дурачась, путая карты, плутуя...

Как-то, в воскресенье после обеда, в окно постучали. Нина вышла на крыльцо, раздалась громкие, возбужденные голоса, и в комнате, вслед за Ниной, показался дядя Сергей, Матросов.

— Дочка, дочка... — спотыкаясь и застенчиво посмеиваясь, говорил дядя Сергей.

Следом за ним шел рослый парень с молодым, даже, пожалуй, ребячьим лицом. Парень был в заношенной солдатской одежде, в обмотках, в тупоносых австрийских ботинках.

Это был Платошка.

Антон сразу не узнал его: Платошка был головой выше Нины, говорил хриплым голосом, руки держал в карманах латаных ватных брюк и неизвестно для чего, стоя, раскачивался на носках. Видимо, он следовал како-

му-то знакомому или выдуманному образу.

Он беспрерывно тянул махорку, с независимым видом сплевывал на пол, каким-то особенным и взрослым жестом проводил по затылку ладонью.

Нина встретила его с теми выражениями радости и любви, которые всегда отличали ее отношения к брату, но он держался с нею хмуро и покровительственно. Он скучаяще оглядел комнату, попросил перекусить чего-либо, несколько разковырнул вилкой в сковороде с жареной картошкой и отодвинул ее прочь.

— Сволочная у вас пища... — ломким голосом сказал он. — У нас, на позиции, и то было много лучше...

— На какой это позиции? — хмуро спросил Ажогин.

— А вот, где я был... — неопределенно ответил Платон. Он достал из кармана шинели папиросную коробку, перетянутую резинкой, раскрыл ее: в коробке лежал золотой перстенок, пара колец, брошка, крышка от золотых часов, еще брошка, громадная, с камнями. — На-ка, сестренка, подарок! Вез издалёка...

Он кинул ей брошку поменьше и опять спрятал коробку. Нина, не обращая внимания на подарок, пристально смотрела на брата. Она была незнакомо-серьезна, веки ее тихонько вздрагивали, и, как всегда, когда она была взволнована, правую руку она прижимала к груди.

— Чего смотришь? — грубо прикрикнул он. — Дают — бери, бьют — беги! Сменяешь на муку, небось, с голоду пухнете...

Он рассмеялся и перенес свое внимание на Ивана Ажогина:

— Что это у вас с Нинкой? С законным браком? — он подмигнул ему и вдруг, противно взвизгнув, быстро ушипнул Нину за бок.

Она отошла от стола, зябко кутаясь в платок, села около печки и, вздрагивая ресницами, опять посмотрела на брата.

— Какой ты, Платон... — она не закончила фразы и вздрогнула, точно от внезапного озноба.

— Ну, вот теперь вы его видите сами... — проговорил молчавший до последней минуты Сергей Матросов. — Теперь вы видите сами, вырастили, воспитали...

Он отвернулся и стал смотреть в окно.

— Ты не стесняйся, сестренка, бери! Но тут Ажогин подошел к столу, взял брошку, сунул ее в руку Платону и подтолкнул его к двери.

— Все же таки, знаешь, ты где-то успел обучиться... — хмуро сказал он. — Кого обчистил?

Нина вскочила со стула, сделала шаг к брату, платок упал с ее плеч, она не обратила на это внимания и схватила Платона за рукав шинели.

— Что с тобой стало? Говори! — она теребила его, Платон взглянул на нее сверху вниз, посторонним взглядом, вырвал руку и застегнулся на все крючки.

— Вырастили мы с тобою прохвоста, Нина, ты вот ходила за ним, как мать... — медленно и негромко говорил Матросов, попрежнему глядя в окно.

— Мне-то что? Хорошо, подышайте с голоду. Я думал, ты поумнела... В тюрьме сидела, а ума не набралась... — Платон вышел и хлопнул дверью.

После его ухода Нина вдруг разрыдалась. Она упала лицом на стол, и только сейчас Антон заметил, как она похудела. Он видел ее тоненькую, нежную шею, нежные жилки, шедшие от уха. Он схватил ее за плечи.

— Нинок, Нина... — дрожащими губами выговаривал он, стараясь поднять от стола ее голову. Нина судорожно обняла его и осталась сидеть так, с закрытыми глазами.

Сергей Матросов, попрежнему глядя в окно, барабанил пальцами по стеклу и глухим, рокошущим голосом говорил:

— А что я мог сделать? Мародер и жулик. В кого он такой? Конечно вы правильно сделали, что выгнали его, товарищ Ажогин. Отрезанный ломоть.

Иван расхаживал по комнате, откашливался, половицы скрипели под тяжелыми его шагами.

Нина вытерла слезы.

— Я каждый день ждала его, что он придет, подойдет ко мне...

— Он и подошел... — опять подал свой голос Сергей Матросов.

— Брат, и это называется — брат... — еще более жалобно проговорила она.

В окно виднелись клочки яркой, молодой травки, начавшей покрывать землю. Дальше, на свалке, кое-где ослепительными белыми пятнами еще лежал снег. На одном из таких пятен виднелся пес, он стоял, вытянув шею и еле слышно лая.

— Ваня, отец, братишка, пойдем в электрический театр...

Она сняла с гвоздя полотенце и пошла в кухню. Она громко плескалась, гремела рукомойником, вот она негромко начала напевать что-то, и в комнате она появилась уже свежая, с мокрыми волосами на висках и на лбу. Она ожесточенно терла полотенцем руки и напевала свою любимую, неизвестно как попавшую к ней, песенку:

Ой, у поля, в озеречке...  
Там плывало ведеречко!.

Отец причесывался перед зеркалом и тоже подпевал Нине своим рокоचущим басом.

— Ты — все равно канарейка! — весело прокричал Антон, мигом забывая Платошку.

— Канарейка, — с удовольствием повторил отец и опять стал подпевать Нине.

Иногда потом Нина вспоминала о Платоне, но тотчас же прекращала разговоры о нем, как будто воспоминания о брате были ей неприятны.

— Откуда у него все те кольца? — спросил как-то Антон.

— Мало ли, понимаешь... — Нина отвернулась и смущенно начала разглаживать скатерть ладонью. — Бывают разные: есть мародеры, понятны? Придут к тебе в дом, и раз на войне, то оберут все и уйдут, очень просто...

Весна уже по-настоящему занималась над городом. Уже давно прилетели грачи, они целыми тучами вились над пустырем, каждую ночь шел теплый, мелкий дождь, и поутру еще долго журчали под окнами ручьи, и колес дороги до са-

мого обеда весело сверкали желтой дождевой водой.

Однажды поутру, проснувшись, Антон увидел, что под окном все уже было зелено. Вот куда-то пробежали ребятишки без шапок, босиком. Прошлепал старик в опорках на босу ногу. Громко толоча, прошли трое солдат в одних гимнастерках, хотя и в лапах.

Был уже конец апреля, приближалось первое мая.

Вскоре Антону еще раз довелось увидеть Платона Матросова. Это было на улице. Платон, в шинели внакидку, стоял вместе с капитаном Аристовым. Капитан был уже без погон, во френче со множеством карманов. К телефонному столбу был привязан его жеребец, длинноногий, рыжий конь, настороженно поднявший уши, косивший глазом на прохожих.

— Проходи, проходи, большевик! — зло прикрикнул Платон и выжидающе замолк.

— Молчи, воряга... — пренебрежительно возразил Антон и принял оборонительную позицию. Разумеется, Платон измолотил бы его, но тут шли люди, рядом стоял капитан. Потом, отойдя, Антон видел, как Аристов сел на жеребца, Матросов же постоял на месте и направился в сторону Кремля.

С тех пор Платошка надолго исчез из памяти Антона.

Между тем время все шло и шло. Почти каждый вечер к отцу и Нине захаживал Сергей Матросов. Он молча присаживался к столу, в любом порядке брал газеты, — горы их валялись здесь на столе, — поднимал со лба картуз и целыми часами читал газеты. Потом он так же молча, не попрощавшись ни с кем, уходил домой.

Ажогин и Нина неоднократно пытались заговорить с ним о важнейших делах, о работе в каком-то комитете, о собраниях. Как-то раз дядя Сергей выслушал все, что они говорили ему, встал и сказал уже от двери:

— На собрания ходить — хожу. Вот газеты читаю. Слушаю вас. Вообще — присматриваюсь. Небось, не сбегу, — что найду, все ваше!..



С этими словами он и ушел домой, на этот раз — раньше обычного.

Как-то сама собою в один прекрасный день закрылась школа. Придя на уроки, Антон увидел на дверях училища записку: «Здесь сыпной тиф, школа временно закрыта».

С тех пор Вера лишь иногда попадалась Ажогину у Ковальчуков. Тогда она выходила от них вместе с Антоном, он ее до дому провожал, но теперь Антон стал чувствовать себя с Верой очень неловко.

По большей части она говорила с ним о своих снах. Видела она их множество, длинных и чудных; сны эти были однообразны, и все об ангелах. То она беседовала с ними, то они поднимали ее высоко над землей, и она ясно видела сверху весь город, до последней улицы, особенно же отчетливо ту, на которой жил Антон, — Полевою.

Все эти рассказы выглядели до того странно, что Антону иной раз приходило в голову: полно, а не врет ли ему эта тихонькая, красивая девочка?

Однажды Вера прочла ему свои стихи и робко сказала Антону, что она уже давно пишет их.

Стихи, те, наоборот, очень понравились Антону.

Друг с другом рядом  
К далекой цели  
Мы шли, смеясь,  
И птицы пели, —  
День улыбался нам золотой...

Больше Антон ничего не запомнил, но и дальше было так же «симпатично», как сказал он Вере. Она вспыхнула радостной краской.

— Хочешь, я тебе дам это? — и, не дожидаясь его ответа, продолжая краснеть, она достала из муфточки конверт, сунула его в руку Антону и стремглав сорвалась с места.

Но он бросился за ней, огляделся, — кругом никого не было, — неловко схватил Веру за плечи и торопливо поцеловал ее. Она как-то всхлипнула, ему стало стыдно, и теперь он в свою очередь бросился прочь. Он чувствовал, как горели его уши, он держал в руке конверт. Как сумасшедший, ворвавшись в

комнату, он в самых дверях столкнулся с Ниной.

— Ты! Братишка! С цепи сорвался? Говори! — она схватила его за обе руки, он молча сунул ей конверт и уткнулся лицом в ее колени.

— Ого-о-о! — с удивлением и даже как будто с восторгом пропела она. Антон удивленно поднял лицо: он увидел в руках Нины фотографическую карточку. С нее своими громадными глазами смотрела Вера, она выглядела здесь даже красивее, чем на самом деле, она своими глазами глядела прямо в глаза Антона, а на обороте ее крупным, прямым почерком было написано стихотворение, которое уже слышал Антон на улице.

Ниже стояло:

*Тоня, я люблю тебя. В.*

— «Тоня»? Боже мой, что за прозвище? Мерзавец, братишка! — давилась от смеха Нина. — Проклятый мальчишка!.. Ты уже крутишь головы девушкам!..

Ее смех раздавался по всей квартире. Она вскочила и начала трепать Антона за уши. Ему было больно, и вместе с тем он понял, что Нина не сердится на него, что она как бы даже гордится им.

— Ты ничего не говори Ивану Ажогину, Нинок... — серьезно попросил он.

— Ну, милый друг, — как можно! — снова ее смех рассыпался по маленькому домику. — Ты же первый парень по деревне, от тебя женщины сходят с ума! Боже мой, братишка, что же это делается с людьми, — говори!

Еще над староверческим кладбищем довольно высоко стояло солнце, когда Нина и Антон вышли на улицу и направились к фабрике Юльма. Сторож у проходных ворот заспорил было с Ниной, но кто-то из рабочих на дворе позвал ее, она пошла на голос, и старик сторож только развел руками: что с вами поделаешь?

— Собрались? — спрашивала Нина, быстро шагая за рабочим.

Антон не видел его лица.

— Собрать для нас — момент...

И по голосу рабочего Антон догадался, что рабочий — молод и весел.

— Начали говорить с управителем, — демократия! — да только куда там!.. — прыгая через лужи, смеющимся голосом продолжал он. — Ну, раз не хочешь по добру, мы с тобою чикаться не будем...

— Явочным порядком конечно... — подхватила Нина, поспешая за рабочим.

Из распахнутых ворот сортировки слышались громкие крики ребят, длинно и громко ругалась какая-то женщина, Антон вспомнил, как он сам приходил сюда на работу, и, как ни отдаленны, как ни коротки были эти воспоминания, — у него все же потемнело в глазах.

Нина решительно направилась к сортировке.

— Куда? Товарищ Матросова!

Но она, не слушая проводника, тащила Антона за руку. Молодой рабочий догнал их. Сейчас Антон увидел его лицо: это был одноглазый, вихрастый юноша лет восемнадцати, его громадный голубой глаз просто сиял на скулатом, добродушном лице.

Они все трое вошли в длинное и сырое помещение сортировки.

В громадном, низком сарае было прохладнее, чем на улице, — в нем было просто холодно. Сарай вовсе не имел окон, сортировка освещалась редким рядом керосиновых закопченных ламп.

У самого входа и немного подальше топились две крохотных печи из кирпича, с железными трубами, уходящими в потолок.

В сарае, в громадных кучах гнилого, вонючего тряпья, рылись ребятишки. Это была самая мелкота: по семь, по восемь, по девять лет. Закочевывшими руками они ворошили тряпье, кашляли, вытирали грязными руками слезящиеся глаза, среди них прохаживалась высокая, дородная женщина в новеньком, дубленом полушубке и мужской шапке-ушанке.

Эта-то женщина, одетая по-мужски, и ругалась на ребят.

— Скоро ли вы начнете работать, как люди? Выкидыши окаянные! Штрафовать буду, как сидоровых коз! В

дерьме роетесь, что ли? — кричала она. — Слезы? Пришли на фабрику, жрете хозяйский хлеб, да еще слезы?! — женщина в полушубке подскочила к одному из мальчишек, но остановилась, точно вкопанная, завидев Нину.

— Эй, командирша! — окликнула ее Нина, но женщина, ничего не слыша, уже мчалась к другому выходу.

— Пошла за управителем! — с комическим беспокойством сказал одноглазый парень, махнул рукой, обошел Нину и приблизился к мальчишке, который плакал. На вид тому было лет десять. Покрытые толстой коростой, его руки мелькали в смерзшемся тряпье, напоминая собою проворные части машины. Тряпье, сваленное в кучу, поднималось чуть не до потолка. Кругом, точно муравьи на куче навоза, копошились ребятишки. Немного подалше было еще тряпье, подалше еще, — тряпье лежало здесь разноцветными, источавшими зловоние, грудями, ребятишки израненными, кровоточащими пальцами раздирали смерзшиеся пласты тряпья.

— Холодно? — спросила Нина одну из девочек.

— Авось, не зима... — корчась от боли, отгирая сине-багровые руки, ответила девочка. — И девочка начала дуть на распухшие, скорчившиеся пальцы.

— Значит, тепло? — голос Нины чуть дрогнул, она быстро отвернулась и пошла вдоль сарая. Их провожали дикие взгляды детей. Антон насчитал их более тридцати человек. Нет, когда его мать привела сюда, это было другое дело: на нем была крепкая рубаха, крепкие штаны, он и сам выглядел, да и в самом деле был, крепким мальчишкой.

Сейчас же они с Ниной проходили по выставке заморышей. Здесь не замечалось обычного детского возбуждения, не слышалось смеха, даже выкриков не слышалось здесь. Похоже, что у этих детей отняли все, что напоминало об их детстве.

— И понимаете, товарищ Матросова... — подпрыгивая и размахивая руками, говорил одноглазый, — восемнадцать копеек в день. А пойдите на базар: у спекулянтов хлеб — двугривенный фунт. А разве хватит фунта? К

тому же, предположим, нужно картошки или круп... А уж одеться, обути-ся!.. — он помолчал, потом заговорил снова: — Иной раз они собирают пуговицы да продают: три или четыре к пейки в день. Это и есть «пуговичники». Но только уж если мастерица заметит — сразу же за ворота: считается воровство...

Нина шла, суровая и молчаливая, не отзываясь на слова молодого рабочего.

Они пересекли двор и прошли в следующее помещение. Это была отмывочная: в больших деревянных чанах бурлила какая-то зеленая жирная жидкость. Несколько стариков и женщин длинными весёлками размешивали тряпье, погруженное в чаны, слезы стекали по щекам рабочих: здесь стоял такой дух, что дышать можно было только широко раскрытым ртом.

Люди здесь напоминали рыб, выкинутых на сухой берег. Здесь было еще более холодно и сыро, нежели в сортировочной, дул сильнейший сквозняк. Старики мотались над чанами, то высоко вздымая, то глубоко погружая весёлки. Руки работающих здесь были обмотаны тряпками. Изредка кто-либо из них бросал весёлку наземь и в чаду, пошатываясь, пробирался к выходу.

Нина стояла с широко раскрытыми, набухшими, слезящимися глазами. Она оглянулась на Антона: мальчишка стоял, закрыв руками лицо. Она взяла его за плечо, и они пошли прочь. На дворе, на поленнице дров, захлебываясь хриплым кашлем, сидел один из стариков, уткнувшись лицом в колени.

— Не отмывочная, а измывочная... — неизвестно кому пробормотал одноглазый, сурово поджимая губы.

Ветер шевелил мокрую рубаху на спине старика, рубаха приподнималась, обнажая полоску его желтой, в нарывах и язвах, спины.

Через двор сюда торопливо шли давешняя женщина в полушубке, какой-то высокий мужчина в меховой, распахнутой шубе и сторож.

— Ну, держитесь, товарищ Матросова! — озабоченно сказал одноглазый.

— Кто пропустил? — сухо спросил высокий у сторожа.

Высокий — это и был управляющий — стоял перед Ниной, сухой, с гладко выбритым лицом, с седыми висками. Он внимательно, сверху, оглядел Нину. Взгляд его был беззастенчив, — похоже, Нина понравилась управляющему.

— Чем могу служить, барышня? — заговорил он, снимая перчатку и как бы готовясь к рукопожатию.

— Я из комиссариата. Сколько у вас часов заняты рабочие, дети? — вместо ответа спросила она. — Вы знаете постановление совета рабочих депутатов?

— С кем имею честь?

— Я из комиссариата. Где у вас восьмичасовой рабочий день? Почему у вас дети...

Управляющий передернул плечами, запахнул шубу.

— Проводи барышню до ворот! — коротко приказал он сторожу и опять взглянул на Матросову, но уже через плечо.

Сторож сделал шаг по направлению к ней. Нина отступила, крепко схватила Антона и отступила еще.

— Но-но-но! — с угрозой сказал одноглазый.

— Грозятся! — воскликнул старый сторож. — Что я могу один?

— Проводить до ворот! — прежним тоном приказал управляющий.

Старик вцепился в Нину, она оттолкнула его, он едва удержался на ногах. Но из распахнутых ворот склада выскочил широкоплечий, глазастый мужик, и втроем — сторож, женщина в полушубке и широкоплечий — они набросились на Нину. Антон растерялся, Нина яростно отбивалась от людей, насевших на нее, одноглазый бил широкоплечего, тот только хрипел, ворочал глазами и приговаривал, задыхаясь:

— Нет, вр-е-ошь! Вре-о-ошь!

Одноглазый был явно слабее своего противника. Вот он оторвался от него, бросился в дверь мастерской, его громкий голос послышался оттуда, через мгновение в дверях показались лица нескольких мастеровых и работниц. Увидев управляющего, они все разом отпрянули от двери внутрь, одноглазый попрежнему один вырвался на двор.

— Вот черти! Боятся! — жалобно вскричал он, бросаясь вдогонку широкоплечему сторожу и женщине в полушубке, уже уносившим Нину на руках. Женщина молча и жесточенно тыкала ее кулаком в спину, Антон бился в цепкой руке управляющего.

— Отпусти, это из комиссариата! — но никто не обратил внимания на слова одноглазого. Тогда он ударил широкоплечего в ухо, тот качнулся и прислонился к стене. Управляющий выпустил Антона и внимательно взглянул на молодого рабочего. Антон оглянулся и увидел вдали, в дверях мастерской, столпившихся рабочих, услышал возбужденный гул их голосов.

— Почему ты пропустил? — слышался спокойный голос управляющего за спиной Антона, уже вытолкнутого на улицу. — Три рубля вычит...

Одноглазый принял было барабанишь в калитку, но Нина остановила его.

— У меня в мастерской тужурка!..

— Не пропадет, идем к нам...

Она оглядела себя: ее черная юбка была разодрана снизу, до самых колен, рукав жакета еле держался на нескольких нитках, кроме того, юбка была вся в каких-то рыжих пятнах, точно в ржавчине.

— Ну и народ, ну и народ... — не переставал весело повторять одноглазый. — Говорю: агитаторшу бьют, — понятно? Блудливы, как коты, а трусливы, как зайцы... Говорят обо всем, а как до дела!..

Когда вошли в калитку, в окне показалось лицо Ивана. Он сидел на кухне, читал газету, жадно хлебал вчерашние, застывшие щи.

— Разогрел бы...

Он молча махнул рукой, но, заметив, как была истерзана Нина, перестал жевать и шагнул к ней.

Нина с оттенком удивления в голосе рассказала ему обо всем происшествии. Антон слушал и только удивлялся, как она так спокойно могла рассказывать. Что касается Антона, то он не мог успокоиться и посейчас: и сейчас еще он чувствовал на своем плече железные, крючковые пальцы управляющего.

Ажогин слушал, сжимая ложку в руке, стоя на держая ее на столе.

— Да, брат, плохо ты у себя орудуешь... — сумрачно сказал он, взглянув на одноглазого. — Разве это работа? Тебя не побиили, Нинок?

— Да нет, дядя Ваня! — весело рассмеялась она. — Просто: «Позвольте вам выйти вон!»

Одноглазый и Нина наперебой стали рассказывать Ажогину о юльмовских порядках, отец пощипывал хлебную корку и крохотные кусочки ее медленно отправлял в рот: похоже, он кого-то ждал, чтобы немедленно сорваться с места и опять исчезнуть до самой ночи.

Антон вышел на улицу. Он достал из кармана конверт, вынул карточку: на него глядело умное, красивое личико Веры с большими глазами и бровями, точно крылья ласточки, раскинувшимися вширь.

Он снова перечитал стихи на обороте, теперь они уже нравились ему меньше: может быть, это сегодняшние наблюдения пригнули его к земле?

Он содрогнулся, представив себе старика на куче дров. Стихи окончательно не нравились ему.

Он взглянул прямо перед собою. Перед ним растянулся громадный ярко-зеленый пустырь. Он тянулся без конца вдаль, и над краем его лежала красная полоска неба, — это означало, что солнце скоро зайдет.

В воскресенье, когда все пили перед сном чай, без стука, безо всего заявившись дядя Сергей и Ефим. Матросов сдернул с головы свою суконную ушастую кепку и стал пристально глядеть в лицо Нины. Его широкие ноздри выжидающе пошевеливались, он молча сидел на углу стола и молчал.

— Вот мы говорим с ними, Иван Ефимович, а они, думаете, верят? — показывая глазами на Матросова, по обыкновению вопросительно говорил Ефим. В противоречии с обеспокоенным тоном слов лицо Ефима было весело, и громадные зубы его ярко блестели при разговоре. — Царя свергнули, да? А жизнь? Попржежнему? Одно, что фараонов нету, — верно? А что еще?

Он, видимо, не просто передавал мысли, которые волновали отца Нины, но и вкладывал в произносимые им слова свое собственное содержание. Видимо, он больше соглашался с настроениями Матросова, чем возражал им.

Отец ничего не успел ответить, как по двору промелькнула небольшая тень человека и в кухне появился «Главный». Павел Орестович был в белом костюме, — на дворе уже стояло настоящее лето, — в тени, на полу, отсвечивали ярко начищенные носы его штаблет. Он поздоровался со всеми и в последнюю очередь, потупясь и неловко, с Нинной.

— Как я приехала, так вы и не зашли к нам, — просто сказала она, поднимая на него свой взор. — Вы скрываетесь от своих товарищей, забываете их...

Он постарел и, несмотря на новый свой костюм, выглядел очень неряшливо: давно небритый, серый с лица, худой, он или был болен, или с ним творилось что-то неладное.

Антон чувствовал неловкость и тяжесть в молчании, наступившем сразу же по его приходе. Ему пришел на память разговор Нины с отцом в день ее приезда, и Антон уже с неприязнью посмотрел на Павла Орестовича. Похоже, он пришел забрать от них Нину, а ей было все равно.

— Я понимаю, при Николае: это был царизм. Допустим, — заговорил Матросов, не переставая наблюдать за Павлом Орестовичем. — Теперь возьмем нынешнее время. Свобода. Однако ж где разница?

Он говорил отрывистыми, короткими фразами, точно жирной чертой отделяя одну от другой. Руки его спокойно лежали на столе, лишь изредка поднимался один из пальцев и, лобясь в таком положении несколько мгновений, опускался опять.

— Допустим, я был на фронте, на позиции. Ранили. Теперь так: это был царизм. А сейчас? Царя нет, а война есть. И генералы все те. Значит, поворот на старое время. Объясните: не могу понять.

Павел Орестович неприязненно посмотрел на него, потом на Ивана Ажо-

гина, на Ефима и наконец на Нину. Она опустила глаза.

— Чаю не хотите?

— Ты, видимо, недавно в партии? — ворчливо спросил Павел Орестович.

— Я же не говорю вам «ты», — неожиданно возразил дядя Сергей. — Я вам ни брат, ни сват. Почему же «ты»?

Он поднял палец и добавил:

— Я к вам, как более грамотному, а вы ко мне — будто я холуй или дурее вас. — Палец опустил.

Антон вдруг весело рассмеялся. Ему понравились и этот палец, и тон, какими были сказаны слова Матросова. Теперь-то уж «Главный» не захочет говорить Нине о том, что любит ее.

Чаепитие продолжалось вяло, только Нина, оживленно поблескивая глазами, сидела, пригнувшись над столом, посматривая то на одного, то на другого.

— Значит, по-вашему, зря делали революцию? — попрежнему спросил «Главный».

— Кто ее знает. Возможно — не зря. — возразил опять Матросов. — Только вот получилось не то...

— Плохо, значит, помогали!

— Я вообще не помогал. Я вот и сейчас еще не разобрался: что к чему, кто к кому. Возможно, отсталость.

Павел Орестович насмешливо посмотрел на Нину: дескать, видели чудака? Но Матросов, не замечая этого взгляда, продолжал рубить свои фразы:

— Теперь возьмем восьмичасовой день. Кто его видел? Или — дороговизна. Не то, что лучше, а хуже, наоборот! Вы бываете у нас на железной дороге? Послушайте наш народ. Прислонитесь к земле: гудит!

По лицу Ефима было уже совсем отчетливо видно, что он согласен со словами Сергея, только, не зная мнения Ажогина, он боялся вставить свое слово.

— Ну, товарищи, это уже глупость! — Павел Орестович вскочил со стула, растегнул свой чинный пиджак и заметался по комнате. Его большая тень перебрасывалась со стены на стену. — Сказав «а», разве мы сказали все? Дело даже не в том, чтобы даже сказать

«б», «б» — это доделка буржуазно-демократической революции. До-дел-ка!.. — он остановился у стола и укоризненно посмотрел на Нину. — Но надо прочесть весь алфавит до конца. Ничего не поделаете... — рот его скривился в язвительную улыбку. — В конце концов положение последовательной социаль-демократии обязывает!..

Он сказал «социаль-демократии».

— Значит, опять революция? — глухо спросил Матросов, поднимая свои крылатые брови.

— Не нравится? — опять ворчливо и язвительно воскликнул «Главный». — Однако этого не избежать! — он как бы с сожалением взглянул на Матросова. — Все несчастье в чем? Убрали фигуру повиднее, царя, — чтоб не бросалась в глаза! — а все остальные на месте!

Было уже поздно, глаза Антона слепались, он склонился к плечу Нины. До него смутно доносились голоса в комнате и глухой гул с улицы. Где-то далеко пели, по-деревенски растягивая окончания слов. Под окном с отрывистым лаем пробежала собака, тупо простучали копыта лошади, видимо, вспугнутая прохожим, заблела и затоптала по завалинке коза.

Антон незаметно уснул. Он проснулся в середине ночи, уже на своем сундуке, у распахнутого окна. Белая занавеска трепетала от ветра и задевала краем лицо Антона. Сквозь неплотно закрытые веки свет лампы казался ему просто желтым. Он прислушался к разговору, который происходил в комнате.

— Толкуйте с Ниной. Я же не могу распоряжаться взрослым человеком... — глухо говорил отец. Голос его то раздавался над самым ухом Антона, то от двери: отец, видимо, расхаживал по комнате.

— Я вам писал, Нина. Вы мне на последние письма не ответили.

И, сказав это, Павел Орестович выжидательно замолк.

— Разве вы не могли догадаться, Павел Орестович?

— О чем, Нина?

— Странная вещь, Павел Орестович... — Нина приглушенно засмеялась.

Потом послышался тихий и, как показалось Антону, торжествующий смех отца.

— Разве это помешает нам оставаться друзьями, Павел Орестович?

— Обычные слова, Нина, им никто не верит, и вы — не верите тоже!.. — пробормотал «Главный» — Ну... Я мешаю вам... Поздно...

И он стал прощаться с Ажогиным и Ниной.

— Живите счастливо, Нина... Нинок... — с грустью сказал он. — Мне, знаете, очень тяжело будет появляться у вас. То-есть не тяжело, но...

Он не закончил фразы, дверь в кухню скрипнула, шаги гостя раздались уже в сенях. Отец вышел проводить его. Нина подошла к постели Антона, секунду постояла молча, потом вдруг нагнулась и нежно поцеловала его. Веки Антона дрогнули, он еле удержался, чтобы не открыть глаза.

Вошел оживленный отец.

— Ваня... — тихонько позвала Нина. Послышался громкий звук поцелуя. Антон сжал зубы, крепче закрыл глаза: он боялся, что выдаст себя, — всем своим существом он ощущал радостные слезы, душившие его: ведь Нина оставалась с ними.

Проходил день за днем. Первого мая Нина опять пошла к Юльмам, но на этот раз, кроме Антона, с нею были Иван и дядя Сергей. Матросов попрежнему неразговорчив, но действовал быстро: подходя к дверям мастерской, он громко щелкал щеколдой, к дверям собирались рабочие, он молча указывал им на дверь, и они, словно того дожидались, выходили туда, на солнечный двор.

Нет, это было совсем другое дело, чем оружейники!

Ни управляющего, ни широкоплечего парня, ни женщины в мужской шапке, ни даже сторожа не было видно сейчас. С этажа, где была контора, свисали красные полотнища. По двору, покачивая крутыми боками, пробежала горничная в пышном белом переднике, с красненьким бантиком на лямке.

Потом все, кто собрался на дворе, выскочили из ворот на улицу. Справа от кудашевских ворот двигалась большая,

разношерстная толпа рабочих, она шла с небольшим флагом, с фанерным щитком, на котором было написано:

*Да здравствует свободный труд!*

Кудашевские были повеселее юльмовских: среди них нашелся гармонист, он играл бойкую полечку, его картуз был украшен веткой черемухи, перед ним, бойко танцуя, шла пара подростков-девушек. Они танцевали, поднимая за собою густую желтую пыль.

На Министерской и юльмовские, и кудашевские погнали уже в хвост железнодорожной колонны. Перед железнодорожниками шел меднотрубый, громогласный оркестр, десятки знамен колыхались над громадной толпою, шествие шло медленно, растянувшись от Полевой улицы и, пожалуй, до губернаторского дворца.

Оркестр гремел, знамена щелкали на ветру, железнодорожники пели:

Смело, товарищи, в ногу!  
Духом окрепнем в борьбе!  
В царство свободы дорогу  
Грудью проложим себе!

Пели они шестройно, хотя и громко: видимо, песню знали не все, и петь ее не привыкли. Сторонкой, навстречу процессии, торопились гимназисты, девушки, чиновники с красными повязками на рукавах, они расталкивали публику и покрикивали на нее. Получалось такое впечатление, что все люди, собравшиеся здесь и идущие по улице, мешают им, распорядителям.

Нина вышла из своего ряда. Они с Антоном пробежали вперед, к оркестру.

Впереди темного знамени цвета бордо, с двумя вооруженными солдатами по сторонам, медленно шел Иван Ажогин, немного опустив голову, чуть-чуть повернув ее в сторону оркестра: он как бы прислушивался к музыке.

Оркестр грохотал воинственный мотив, с особенным озлоблением ударяли медные тарелки, высоким голосом, не слушаясь остальных, пела какая-то труба, но если слушать все вместе — получалось стройно и очень красиво.

На углу стоял высокий одноэтажный дом, занимаемый трактиром «Люцерн».

Когда никто не ждал этого, оттуда раздался резкий треск, потом еще и еще, и вдруг пошатнулось, застилая камень, знамя, ушло на мостовую, рабочий, несший его, рухнул к ногам Ажоги-на. Кто-то из музыкантов бросился к раненому. Нина тоже ринулась к нему. Расталкивая локтями толпу, держа наготове револьвер, отец деловито заторопился к трактиру, вбежал по ступенькам, и тотчас же из окон трактира послышался его резкий, возбужденный крик, группа рабочих бросилась за ним внутрь, оттуда послышался оглушительный прохот, и на улице начали выбегать люди. Шествие остановилось, улица была уже сплошь забита народом, внутри помещения опять раздалась выстрелы, и через мгновение показался отец, волоча за собой перепуганного, бледного человека, того самого машиниста, что приходил зимой к Соломатиной в гости. Следом за ним группа рабочих вывела еще человек пять черносотенцев, в том числе самого хозяина, меднорожего, круглобородого мужика в черной визитке и синей косоворотке под нею.

— Убечь хотел? — спрашивал отец, всприхивая машиниста. — Не-е-ет, изви-и-ите!..

Машинист, белый и растерзанный, растерянно оглядывался по сторонам, как бы ища заступы.

Отец подошел к Нине, хлопотавшей около раненого, и, не выпуская машиниста, стал смотреть на то, как все более и более затихал пожилой, плохо выбритый, с землистым лицом, знаменосец.

— Убили? — вдруг раздался дикий голос Прокопия. От обычной его веселости не оставалось и следа. Он был перепуган, руки его дрожали, в глазах стояли крупные слезы. Когда никто не ожидал этого, он вдруг дал машинисту подножку, и тот сразу обрушился наземь. Через мгновение уже десятки ног, десятки кулаков работали над черносотенцем. Отец, размахивая руками, грозился, но никто не слушал его.

Тогда Ажогин трижды выстрелил вверх, толпа чуть-чуть раздалась: с расчеченным лбом и раздробленной кистью, в пальто, исполосованном вдоль и поперек, на мостовой около убитого зна-

меносца лежал машинист, широко раскрыв глаза и вздрагивая одними скулами.

Потом опять вывернулся Прокопий, он сунул машинисту в рот дуло своего револьвера, отец ничего не успел сказать, — Прокопий нажал спуск, негромко ударил выстрел. Прокопий закрыл глаза и вытер потный лоб.

Нина с удивлением и страхом огляделась кругом.

— Самосуд? Ответишь, отве-е-е-тишь!.. — спокойно и сурово говорил Ажогин. Он отобрал у Прокопия револьвер, провернул барабан, высыпал патроны на ладонь и положил револьвер в карман, патроны — в другой.

Место, где лежали убитые, было окружено громадной толпой народа. Около Нины оказался дядя Сергей. Он сжимал ее плечо и показывал на убитых.

— Это стрелял — он? Машинист? Как же так: в своего, железнодорожника? Ну, положим, стреляй, но только разве можно в своего брата-железнодорожника?

— Отстань, отец, к чертям!..

Нина не помнила самое себя.

Машиниста оттащили на траву около забора, знаменщика шестеро стариков подхватили на плечи и понесли впереди оркестра.

Около губернаторского дома, где помещался комиссариат, был сооружен красный помост, с него теперь слышались речи. Сейчас говорил высокий старик с длиннейшими усами, которые ветер раскидывал ему по плечам. Усач был в коричневой накидке. На трости, прислоненной к перилам помоста, висела его широкополая шляпа.

Старик кричал так громко, как только мог, но ветер, гуденье людского моря, гром оркестров глушили его слова.

— Демократия! Защита!.. Волеизъявление народа!.. — временами вырывалось из этого гула то или иное слово. Старик говорил с красивыми жестами, снизу были видны его руки, скачущие на фоне серого весеннего неба, и шляпа, висящая над проходящими людьми, точно готовая прикрыть их всех.

Несмотря на протесты милиционеров, убитого подняли на помост, положили

его на принесенный из губернаторского дома стол и принакрыли знаменем. Несколько рабочих с винтовками стали около. Усатый старик смущенно замолк. Люди все шли и шли мимо. Вот уже и железнодорожный оркестр, тихо прокоча, повернул в кремлевские ворота. К Ажогину торопливо подбежал Павел Орестович.

— Не дают... Боятся мужественной правды... — торопливо сказал он, наскоро здороваясь с отцом и отводя глаза от Нины. — Нас лишают голоса. Я требовал десятиминутной речи, — отказ!..

— Надо было добиться! — с силой сказал Ажогин, взмахивая искусственной рукой.

Павел Орестович зло усмехнулся.

— Нет, завтра я их разнесу в газете...

Ажогин иронически усмехнулся.

— Надо было скандалить... — будто невзначай обронил он.

— Драться?

— Драться! — жестко подтвердил отец. — По крайней мере пусть рабочий увидал бы, что за такая свобода.

— Дешевый способ... — возразил Павел Орестович.

— Дороже вашего...

— Подчиняйтесь мне как члену комитета! — резко воскликнул «Главный».

— Я и подчиняюсь, видите же! — сумрачно сказал отец.

«Главный», Ажогин и Нина от губернаторского дома шли вместе. На углу кучка гимназистов и коммерсантов с зелеными околышами качала какого-то студента, он вскидывал руками и кричал что-то, чего нельзя было расслышать. К вокзалу промчалась пара шоколадных коней, запряженных в лакированную коляску.

— Разгулялась дем-м-мократия!.. — бормотал Павел Орестович. — Губернскому комиссару — губернаторское ландо, гимназистам — право восторженно качать студентов, студентам — офицерские сапоги и слава спасителей свободы...

Проходили мимо «Люцерна»: трактир зиял выбитыми окнами, старуха в солдатской телопрежке домашним веником сметала осколки в канаву.



— Это разве здесь? — опять заговорил Павел Орестович. — Значит, черная сотня осталась... До чего проклятая вещь—Россия! Ее надо крутить, выжимать, как мокрую тряпку... — он помолчал, потрогал двумя пальцами подбородок, потом прибавил: — Вчера приходили в редакцию выборные... От Оружейного завода. Хлопочут о прибавке на дороговизну. Готовятся, в случае чего, объявить забастовку. Принесли письмо с подписями: подписалось восемнадцать выборных. Только ушли — через минуту возвращается один: «Я, — говорит, — подпись снимаю, будете печатать, моей не ставьте, не люблю, — говорит, — неприятностей: у меня жена, теща, детишки...» Совершенно чеховская психология. Потом через полчаса — другой с тем же: «На фронт меня пошлют, у меня мать-старуха, с голоду сдохнет, вы, — говорит, — ее не накормите». И таким манером — трое. Все она, Россия проклятая!..

Потом, не глядя ни на кого, Павел Орестович распрощался со всеми, даже с Антоном, и пошел наверх, к Кудашевскому саду.

— Что с ним такое? Ты не говорила с ним?

Нина покачала головой. Отец ответил самому себе:

— Заскучал человек... Это уж плохо, да...

Вечером под окошко тихонько постучали, Антон выглянул и увидел Веру. Она стояла тихонькая, в коротеньком белом платьице, в белых носочках, в сандалицах. Он выскочил к ней.

— Мы уезжаем... — тихо сказала она.

— Куда это такое?

— В другой город, в Мценск...—Она помолчала и грустно добавила: — Здесь все дорого и ничего не достать. Папа говорит, что там лучше. Там, если идешь по городу, прямо на улице растут вишни. Яблоки большие и дешевые: пять копеек ведро... Все очень дешево. — Она помолчала и заговорила: — Я там буду учиться... А ты? Ты — здесь?

Он обиженно отвернулся от нее.

— Твой папа не хочет ехать тоже в Мценск?—настойчиво спрашивала Вера.

— Я не держу тебя, уезжай! — сухо

сказал он, сунул ей свою руку, сорвался с места и скрылся в калитке.

Когда, расстроенный, он снова появился в комнате, там отец уже читал вслух газету:

Чтоб отстоять свой труд и волю  
От покушений злой орды,  
Вокруг бойцов за вашу долю  
Сомкните стройные ряды!

Украсьте, братья, знамя ваше,  
Примером став для всех времен,  
Пусть это знамя будет краше  
Всех затемненных им знамен!

Одно в сердцах рабочих пламя!  
Один порыв в одной груди!  
Пусть ваша «Правда», ваше знамя,  
Свободно реет впереди!..

— Демьян Бедный... — задумчиво, словно вспоминая близкого человека, добавил он и свернул газету.

Нина промолчала, она перевела свой взгляд на Антона: тот сидел понурый и тихий. Сегодняшний день оставил на нем очень неприятный осадок: день начался, как праздник, но никакого праздника не вышло. Он снова вспомнил «Главного», его вид, его скучные слова, — Кошатый, вот кто невольно представился Антону при воспоминании о Павле Орестовиче! Потом эта Вера, — зачем она постучала ему под окно? Пусть уезжала бы без всяких разговоров!..

Кошатого Антон увидел в тот же день. Он заявился к Ажогиным неожиданно. В старомодном длиннополом сюртуке, с белым цветком в петлице, он выглядел очень смешно.

— Мы с вами давно не видались... — заговорил он, здороваясь с отцом.

— Зачем же... Не так давно, — вежливо возразил Иван.

Нина с удивлением смотрела на незнакомого ей человека.

— Вот вы тогда обиделись на меня, а я на вас — нет... Вообще революция, — надо приветствовать... Свобода — тоже. Свобода слова например.

Он говорил тоном учителя, расхаживая по комнате, заложив пальцы в карманы жилета.

— А ведь когда-то человеком был... — задумчиво обронил Ажогин.

И когда Кошатый пытался что-то возразить ему, Иван привстал и с угрозой посмотрел на него.

— У меня ведь, знаешь, насчет вежливости!..

И по уходе Кошатога сказал, с сожалением, точно извиняясь за допущенную ошибку.

— Когда-то шрифт для наших листовок доставал... Но паршивый характер: как бы помягче, как бы потише... А так не бывает, наследник...

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На Оружейном заводе весь май и начало июня прошли довольно спокойно: на завод ежедневно пачками ездили агитаторы из комиссариата, начальство обещало прибавку, писало в Петроград, рабочих уговаривали обождать: прибавка не за горами, начальство не обманет, теперь не царский режим, — так говорили агитаторы.

Тем временем на заводе и на железной дороге начала создаваться Рабочая гвардия. Впрочем, кто ее звал Рабочей, кто Красной гвардией. Однажды Нина пришла домой с винтовкой и двумя подсумками, полными патронов. Ее выбрали в Красную гвардию, командиром, на Оружейном заводе, где она руководила большевистским кружком.

— Ты меня подучи, Ваня: смешно — командир, а ружье в руки взяла первый раз...

— Ружье! У нас это называется «винтовка»!

— Ну вот видишь!.. — посмеиваясь, продолжала она.

В этот вечер вся небольшая семья уселась в кружок, отец разобрал винтовку и говорил:

— Штык. Шомпол. Ствольная накладка. Прицельная рамка. Затвор разбирается так: берешь затвор левой рукой, правой оттягиваешь курок, — вот это, видишь? Пускай теперь сосок...

Он объяснял, и по лицу Нины было видно, что она ничего не понимает.

На другой день Нина отправилась на занятия. Она неловко придерживала винтовку локтем, словно опасаясь, что она должна сейчас обязательно выстрелить.

Неизменный спутник Нины за последнее время, Антон сопровождал ее. Нина и Антон сначала прошли в тяжелую,

сбитую железом комнату проходной конторы, — около калитки, на опрокинутом полене сидел солдат. Он спросил у них пропуск, Нина только махнула рукой, и солдат даже не задержал ее. Они шли по двору, потом приблизились ко второй калитке. Нина открыла ее, и взгляду Антона представилась большая мастерская, в которой работали сотни людей — и мужчины, и женщины. Вверху, у самого потолка, вертелись стальные блестящие валы со множеством колес и ремней на них. От колес ремни шли книзу, к станкам.

Вверх, к высокому потолку, черные от пыли и копоти, уходили квадратные кирпичные колонны, пестревшие яркими, громадными афишами. Больше всего попадались таких, где был нарисован хмурый солдат с винтовкой, указывающий пальцем вперед.

*Подписался ли ты на заем свободы?* — спрашивал солдат.

На крупном листе фанеры, в верхнем углу ее, под грубо нарисованным револьвером, крупные буквы коротко приказывали:

*Записывайся в Рабочую гвардию (Красную) инструментальной мастерской у товарища Косоуренко.*

Товарищем Косоуренко оказался тот самый курчавый запевала, который на собрании в Оружейном училище первый начал бить стекла. Здесь, около его небольшого станка с трубочками, откуда все время била мыльная вода, стоял небольшой, захватанный масляными руками столик.

Мастерскую наполнял ровный, сильный гул, который мешал Антону понимать человеческие голоса. Нина, наклонившись к самому уху Косоуренко, что кричала ему, широко раскрывая рот, смеясь и прибегая к помощи жестов. Из жестов можно было понять, что она или не понимает, или не умеет чего-то. Косоуренко убеждающе долбил ее пальцем в плечо, она отсмеивалась и снова кричала ему на ухо.

Антон видел в соседнем проходе невысокого седого офицера, который, заложив руки за спину, медленно прохаживался промежду станков. Кое-кто из рабочих, встречаясь с ним, отдавал ему

честь, кто просто уступал ему дорогу, кто совсем не замечал его. Офицер косился в сторону Нины и Косоуренко. Антон чувствовал, что сейчас произойдет столкновение. И в самом деле, офицер вдруг решительно повернулся, обошел весь пролет, остановился у станка Косоуренко и коснулся рукою его плеча. Молодой рабочий оглянулся. Антон стоял ни жив, ни мертв, точно желая вдавиться плечом в кирпичную колонну.

Офицер что-то сказал Косоуренко, тот промолчал, потом офицер обратился к Нине, она отрицательно покачала головой, он обратился вторично, — Нина, уже смеясь, опять покачала головой. Антон решительно двинулся к разговаривавшим: ему казалось, что офицер сейчас схватит Нину, — однако нет: тот просто махнул рукой и отошел прочь. У Антона, как всегда после разрядившегося напряжения, сразу ослабли ноги. Он видел смеющееся лицо Косоуренко, подмигнувшего Нине.

За инструментальной мастерской лежал небольшой, покрытый зеленью пруд. На берегу его и началось ученье: здесь пролегла широкая посыпанная песком дорожка, обнесенная низенькой оградой. Человек тридцать молодежи — впрочем с ними было и несколько пожилых рабочих — собрались здесь. Они лежали на траве. Нина сидела несколько в отдалении, положив на колени винтовку, и прислушивалась к разговорам молодежи.

Скоро пришел высокий, сухощавый старик, в офицерской фуражке без кокарды. Он часто тербил свои реденькие усы и откашливался, как человек, попавший к незнакомым. Он остановился перед Ниной и вполголоса заговорил с нею.

— Вам виднее, вы — инструктор... — коротко сказала она, и, когда старик отошел в сторону и негромко приказал построиться, она тоже вскочила вместе со всеми и встала справа, с самого края.

— Мне несколько непонятна моя задача! — громким басом, уже спокойно, как человек, привыкший говорить перед строем, начал старик. — С одной стороны, эта барышня — ваш начальник,

но, с другой, вы все, и она в том числе, не умеете даже построиться. Видимо, придется начать с азов? Что вы сказали?

— Никто ничего не знает! — крикнула Нина.

— Спокойно! Два шага вперед! — уже совсем твердо приказал старик. Нина шагнула, неловко дернув винтовкой. — Что вы имеете сказать? Никто ничего не знает? Стало быть, с азов? Что вы сказали?

Он прошелся перед строем и подравнял его.

— Я вообще не представляю вас солдатами... — Он помолчал, потрогал усы и вскинулся: — Ну-те-с, начали... Положить винтовки!

Ученье началось без винтовок. Антон увидел как-раз то, что он неоднократно наблюдал на Солдатском поле и всюду, где обучались солдаты: «шаг на месте», «ряды сдвой», «налево», «направо», «шагом марш».

— Вы недовольны?.. — сердито бубнил старик. — Однако я не занимаю вас прусской шагистикой. Строй — святое дело. Он обеспечивает войскам подвижность, командованию — управление ими, приучает солдат к организации, к экономии сил и движений...

Он оглядел строй: перед ним стояли две шеренги плохо построенного разношерстного народа: у одного подсумок был справа, у другого — слева, у левофлангового — охотничий патронташ через плечо.

— Потом вообще... Эта мадмуазель... — он сердито обернулся к Нине. Она стояла на-вытяжку, как человек, которому самое трудное — это именно стоять на-вытяжку. — Я вообще не понимаю: кто мог вас назначить командиром?..

— Ее мы выбрали! — возмущенно вскричал Косоуренко.

— Спокойно! Два шага вперед! Что вы хотели сказать? — Он выслушал Косоуренко и растерянно посмотрел на Нину. — То-есть, как это можно выбрать командира? Впервые слышу.

— Она же была в каторге, поймите!.. — тоже недовольный, заворчал Косоуренко.

Старик еще более растерянно посмотрел на Нину.

— Значит, политическая деятельница? И все же...

Он махнул рукой и вновь скомандовал «смирно».

После занятий Нина провела коротенькую беседу о текущем моменте, потом все стали расходиться. Вместе с Ниной пошли Косоуренко и старик. Он шагал рядом с нею и говорил медленно, запинаясь, точно рассказывал сон:

— Меня привлекает в вас молодость и доверчивость к людям. Откуда вы можете знать меня? Потом, признаться, мне просто интересно посмотреть на вас поближе. Вы какие-то особенные. На что вы рассчитываете?

— Знаете, война тянется, дороговизна, безобразия. Временное правительство ничем не отличается от царского... — говорила Нина.

— Должен сказать, что я согласен с вами, — перебил ее старик. — Впрочем, кроме одного: такой дезорганизации при государе не было никогда. Самый переворот еще не был катастрофой, катастрофа — впереди... Впрочем, может быть, я ошибаюсь...

— Ошибаетесь, но не больно уж сильно...

— Я — военный-профессионал, оторванный от армии. Правда, кое-что почитывал, но не командую уже с японской войны. Видимо, не нужен. Дают пенсию — молчи! Я и молчал. Вы позвали меня. Я — пожалуйста, я рад помочь молодежи.

— Дело не в том, что молодежь...

— Об убеждениях не спорят... — перебил Нину старик. — Как офицер. я не интересуюсь политическими ходами... Во всяком случае рад знакомству, — Лучинский... С кем имею честь?

Он внезапно стал прощаться, потом резко повернулся и пошел обратно. Нина взглянула ему вслед и усмехнулась.

— Чудак старик...

— Откуда его прислали? — зло спросил Косоуренко.

— Из Совета рабочих депутатов, там кто-то знает его...

— Приглашают шпионов!..

Нина только усмехнулась, потрепала Косоуренку по плечу и взяла Антона за подбородок.

— Ну, большевик, понравилось?

Антон промолчал. Он никак не мог понять, зачем рабочие занимались сегодня, в особенности, зачем было Нине, единственной женщине на занятиях, обучаться солдатскому делу. Стася Стрелецкая — другой разговор: она все с капитаном Аристовым, с Кудашевым, а Нина?

Июнь уже подходил к концу. Лето началось на-редкость удачно: каждую ночь под утро выпадал мелкий дождик, но самое утро вставало над свежей землей в ярком сиянии солнца. Правда, в конце мая случилось несколько холодных дней, — это зацвела дуб, как объяснял старуха Соломатина, — но потом опять наступили благодатные дни.

В канавах буйно росла крапива, шумел лопух, поднимался высокий татарник, в холодке сверкала мать-мачеха.

А по всем улицам, у каждой захудалой лавчонки стояли длиннейшие хвосты. Старуха просто сбилась с ног: она уходила еще затемно, часа в три ночи, возвращалась домой, похожая на выкройку, вся исписанная мелом: это значило, что она уже успела занять очередь в трех-четыре хвостах.

После карантина школьные занятия так и не начались, Антон стал помогать старухе в ее скитаниях по очередям. Это было скучное дело: часами на солнцепеке стоять, обливаясь потом, подвигаясь в час на десять-пятнадцать шагов. В хвостах обычно шли разговоры обо всем, тут же читали вслух письма, полученные с позиций, обсуждали газетные новости и разные слухи. Иногда мимо проходил кто-либо с книгой прокламаций, на момент задерживался, расковыряв кому придется десяток другой, и шел дальше. Сколько бы Антон ни читал эти плохо отпечатанные, на скверной бумаге, листки, всегда в них дело сводилось к одному: война не нужна для рабочих, надо бороться с дороговизной, начинается голод, буржуи продают народ...

В городе начались грабежи и убийства. Сначала убили милиционера, сто-

явшего у казенной продовольственной лавки. Затем среди бела дня вошли в банк вооруженные, заставили всех служащих и публику лечь на пол, очистили кассу и спокойно ушли. В разных частях города обокрали несколько квартир, в одной зарезали хозяйина и хозяйку.

Говорили, что главным бандитом был некто Платонов, еще мальчишка, но человек отчаянный и жестокий, и что милиционера убил именно он.

Сообщения о его налетах газеты стали печатать большими буквами, на первой странице, наряду с последними новостями из Петрограда и Москвы. О Платонове говорили в очередях, при встрече со знакомыми, приходя друг к другу.

И тут сразу оказалось, что город очень далек от тишины и благополучия, даже в том смысле, как это можно было понимать после переворота.

Последователей у Платонова нашлось множество. Улица только и говорила, что о новых грабежах, которые совершены «вот сегодня ночью», «у моего соседа», «у двоюродного брата», причем совершены обязательно людьми, одетыми по-солдатски.

Эти разговоры производили свое впечатление и на самое милицию, в большинстве своем набранную из гимназистов старших классов, коммерсантов, семинаристов. К ночи милиционеры стягивались с нескольких перекрестков к одному, где повеселей, и так коротали время до утра.

— Не бойшься налетчиков, тетя Даша? — спросил как-то Ажогин у старухи.

— У меня взять нечего: осталось муки на одни хлебы, а там ложись да помирай.

— Это верно...

И, как нарочно, этой же ночью налетчики пожаловали в их домик. Ночью Антон проснулся от громкого грохота: он открыл глаза, огляделся и не мог ничего понять. В одном белье отец стоял около двери и протирал глаза. Потом он схватил револьвер и выскочил в кухню, хлопнул дверью в сени, и оттуда тотчас же раздался его повелительный

оклик. Ему никто не ответил, но в дверь ударили раз, ударили два, три, потом раздался громкий выстрел, потом другой, на дворе послышались громкие ругательства, потом еще выстрел. Антон не мог уже утерпеть и помчался в сени, Нина в одной рубашке уже шарила за сундуком, куда, видимо, завалилась ее винтовка.

Отец стоял в смутном квадрате распахнутой двери, выходящей на крыльцо, опустив руку с револьвером.

Ажогин вышел за калитку. Засов отодвинут не был, — значит, перелезли через забор. Улица была пустынна, вдалеке, через пустырь, уходило трое людей, еще минута — и они спустились бы под откос, который вел к реке. Нина приложилась и выстрелила, но, видимо, промахнулась. Там в ответ вспыхнул выстрел, поднялся тоненький дымок, Антон юркнул внутрь. Его сердце громко колотилось, но ни тени страха не чувствовал он, — его все это занимало, как интересная и острая игра.

— Теперь хватит им... Побоятся, — заметил отец, запирая калитку. Он имел озабоченный — озабоченный, но не испуганный — вид.

Соломантиха, неодетая, закутанная в серую шаль, стояла за печкой.

— Ложись обратно... — важно сказал Антон. — Мы им показали...

Он ожидал, что взрослые засмеются, но Нина только едва улыбнулась, отец же был попрежнему мрачен. Он протер револьвер, потом два раза провел шомполом с масляной тряпкой в стволе винтовки и сел на кровать. Он вполголоса сказал что-то Нине.

— Что ты говоришь?! — хрипло воскликнула она.

Отец молча пожал плечами.

— Может быть, обознался?

— Я не мог обознаться...

Антону не хотелось больше спать. Он сел рядом с Ниной, она обняла его. Антон чувствовал тепло ее тела и громкие удары ее сердца.

— Может быть, он зашел так, просто? — прежним испуганным тоном спросила Нина.

— Втроем? Ночью? Через забор? В этой?.. — и он бросил к ней на ко-

лени самодельную маску из черного сатина.

Утром Соломатиха мыла в кухне посуду, солнечный день вставал над землей. На Косогоре, который поднимался вдали, за речкой Воронкой, близкая и отчетливая, стояла синяя рощица. До нее было версты две-три, но сейчас она стояла так близко, что казалось, до нее можно было дотянуться рукою.

Как-раз в это утро забастовал Оружейный завод.

Снова по улицам к губернаторскому дому потянулся народ. Люди двигались просто так, безо всякого порядка, по мостовой, по тротуарам. Около кремлевских ворот уже было невозможно протолкаться: там толпились колонны рабочих, со знаменами, с оркестрами. Около самой трибуны расположилось человек полтораста Красной гвардии, на ступеньках трибуны стояли главные: среди них Антон увидел и Нину. Там же был и Павел Орестович, без шапки, с кипой газет подмышкой. У самой трибуны стоял высокий бритый старик, обхвативший обеими руками древко малинового стяга. На стяге было написано белыми буквами:

*Да здравствует единая власть Советов рабочих и солдатских депутатов!*

*Да здравствует мир между народами всего мира!*

Старик, не мигая своими громадными, воспаленными глазами, смотрел на людскую громаду, волновавшуюся на площади. Нина что-то сказала старику, он, изгибаясь под тяжестью стяга, колеблемого ветром, медленно поднялся на трибуну и встал там, у самых перил, в прежней своей позе.

Мимо трибуны, пробиваясь сквозь толпу, торопливо прошел Путилов во главе десятка вооруженных солдат. Двое из них тащили за собою пулемет. Дуло пулемета было трогательно перевязано красным бантиком. Путилова проводили приветственными, веселыми окликами. Путилов деловито прошел дальше.

Из боковой улицы, прохоча, выехал санитарный обоз. Сбоку шли бородатые санитары — солдаты в грязных, когда-то белых халатах. Они с любопытством смотрели на то, что делалось на пло-

щади. Лошади в повозках были заморены, они шли, хрипя, покачиваясь и громко стуча подковами в щербатую мостовую. Сквозь неплотно прикрытые мешковиной задки двуколок виднелась сырая солома, от повозок несло трупным запахом, ни стонов, ни вздохов не доносилось с повозок, — точно везли покойников.

Площадь замолкла, это было несколько даже испуганное, во всяком случае тревожное молчание...

Путилов подал негромкую команду, его солдаты и добавочно человек десять вооруженных рабочих отделились от трибуны и пошли быстрым шагом вверх по улице, в сторону тюрьмы. Антон, ни минуты не раздумывая, покинул площадь: он ринулся за Путиловым.

Отряд молча, громко топоча, поднялся по улице. В полуверсте от губернаторского дома стояла старая, деревянная, давным-давно заколоченная церковь. Она стояла в глубине двора, тоже заброшенного и заросшего сорной травой. Здесь постоянно копошилась детвора, занятая своими играми.

Путилов разогнал детей, трое солдат сбили замок с покосившихся дверей часовенки, стоявшей особняком от церкви, и потащили пулемет наверх. Остальных солдат и рабочих Путилов оставил здесь, расположил их вдоль каменного цоколя ограды, сам же с одним из рабочих, держа винтовку наперевес, вышел за ворота.

Со стороны тюрьмы, вернее от казарм, расположенных по соседству, поднималась пыль. Даже отсюда было видно, что это шли солдаты. Солнечный день отчетливо позволял видеть над их головами сверкающую чащу штыков, и досюда доносился мерный топот их ног.

Путилов, покачивая громадной своей головой, направился какой-то особой, волчьей походкой навстречу им. За ним следовал рабочий, редко и крупно шагая, не отставая от Путилова, поминутно перекладывая винтовку из руки в руку.

Эти двое и те солдаты, что шли сверху, сошлись около земского склада. Громадный двор склада был заставлен

молотилками, сеялками, здесь как попало возвышались горы плугов, в глубине двора стояли мощные кирпичные сараи, в решетчатые ворота беспокойно выглядывал старик-сторож с револьвером на животе.

Запыхавшийся Антон увидел Путилова, стоявшего уже посреди мостовой, и шагах в трех перед ним в положении «смирно» — безмолвных солдат. Щеголеватый молодой офицер что-то говорил Путилову, но тот только упрямо покачивал головой.

— Взять! — вдруг крикнул офицер, отступая в сторону, но никто из солдат не сдвинулся с места.

— Взять! — уже взвизгнул офицер, его пальцы скользнули по кобуре. В этот момент рабочий толкнул его прикладом в грудь: удар был неловок, но силен. Офицер зашатался, Путилов сорвал с него револьвер, солдаты нарушили строй, вся полурота бесформенной группой окружила Путилова, поднялся шум, из него отчетливо выделялись лишь голоса Путилова и пришедшего с ним рабочего. Офицер перескочил канаву и, оглядываясь, затрусил прочь.

— Думали, война кончится! Где она кончилась? — вырывался из шума хриплый басок рабочего. — Значит, опять гуртом, как скот? На позицию?

Солдаты беспорядочно стронулись с места, Путилов подал громкую команду, уже на-ходу начал восстанавливаться строй, сбоку шел Путилов, подсчитывая шаг, рабочий, попрежнему перекладывая винтовку из руки в руку, то и дело путая шаг, шел впереди всех, шагах в десяти.

Кто-то из солдат тонким, почти бабьим голосом, по-деревенски растягивая окончания слов, затянул песню. Ее подхватили и остальные.

Песня говорила о казаке, который на своем вороном коне поехал на далекую чужбину.

А дома казачка его молодая  
И утро, и вечер в окошко глядит!  
Все ждет, поджидает с далекого края,  
Когда ее родный казак прилетит!..

Потом пение стихало, и вновь под-

нимался давешний тонкий голос запевалы:

А там, за горами, метелица вьется,  
И сильны морозы зимою стоят!..

Поджидавшие у церковной ограды есыпали навстречу солдатам, порядок был нарушен снова, пение разрасталось, прохожие останавливались, примыкали к солдатам и вместе поворачивали к Кремлю. Мимо промчался черный закрытый автомобиль, на его подножках с каждой стороны стояло по трое гимназистов, машина промчалась так, словно за ней гнались. Пулемет с колокольни уже стаскивали обратно.

Когда солдаты во главе с Путиловым — и с ними Антон — вернулись на площадь, там уже вся людская масса стояла, как один человек, подняв руки. Большой лохматый человек в кожаном пиджаке, стоявший на трибуне, махнул шапкой, площадь разом опустила руки, люди закричали «ура», вновь пришедшие солдаты подхватили этот ликующий возглас и смешались с толпой.

— Резолюция одобрена единогласно! — негромко крикнул лохматый.

— Что сказал? Громче! Как? — завоновались в задних рядах.

Лохматый, Павел Орестович, с ними Иван Ажогин и еще двое незнакомых рабочих сошли с трибуны и направились к парадному. Над парадным сияла большая вывеска:

### ГУБЕРНСКИЙ КОМИССАРИАТ,

а пониже, на небольшом куске жести, было написано скромными белыми:

*Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.*

Тем временем вновь пришедшие солдаты, как бы провожая делегацию, запели другую песню. Песня эта была много веселей первой, пели ее с ухажьем и присвистом, она была подхвачена всей площадью:

Гей-гей-гей, сына родила!

И несколько минут, пока не допели песни до конца, площадь грохотала и свистала на все лады.

Потом все успокоилось: внезапно отовсюду надвинулись тучи, зачастил мел-

кий дождик, крыши заблестели, точно их смазали салом. Снова, как и давеча, пробиваясь через толпу, проскрипел транспорт раненых. Люди на площади при виде его попрыгали еще больше, посуровели. Антон стоял рядом с Ниной, ее теплая рука гладила круглый затылок мальчишки.

Но вот по задним ступенькам трибуны послышался топот: это возвращалась делегация, и с нею важный старик с длинными желтыми усами. Один ус был закинут даже на плечо старика. Старик шел медленно, держа в руке и шляпу, и трость.

Он подошел к перилам и окинул площадь своим гордым взглядом: народ стоял спокойно. Здесь же, у подножья трибуны, расположились солдаты и рабочие с винтовками. Он покосился налево и вздрогнул: совсем около него стояла молодая женщина и тоже с винтовкой, он поморщился.

«Что это? Арест?» — можно было прочесть по его лицу.

— Попрошу внимания! — однако медленно и властно сказал он. — В качестве губернского комиссара временно-го правительства попрошу внимания! — все более громко и самоуверенно продолжал он. Он распахнул пиджак и заложил руки в карманы. Его мягкие усы шевелились на ветру.

«Как рак...» — подумал Антон и взглянул на Нину: она тоже усмехнулась, закусив губу.

— Я прямо перехожу к вопросу: у нас есть государь и великий, и могучий, — отчетливо выговаривая каждое слово уже чуть-чуть нараспев, продолжал комиссар. — Этот государь — русский народ и учредительное собрание, которое мы создадим. За него, за этого государя — мы все умрем!..

— Какой там государь? — громко сказал бритый старик со знаменем. Он вытирал красным платком свои воспаленные, слезящиеся глаза.

— У этого государя есть прекрасный дворец, — это наша свобода! — прикрикнул комиссар на старика, красиво поводя своими очами. Теперь комиссар уже казался Антону одним из тех бояр, как их описывали в «Князе Серебря-

ном». — В этом дворце, освещенном свечами, блуждаем теперь мы все, граждане. Но у нас нет того, кто мог бы отстоять этого государя...

— Ты брось про государя! — угрожающе закричал рыженький солдатик внизу, у самой трибуны. — Был государь, да весь вышел!

— Убрать его! — грозно крикнул комиссар. Кругом сдержанно засмеялись, никто не тронулся с места. Уже побавровевший, с трясутся сизым подбородком, губернский комиссар кричал:

— «Возьми крест и ко мне гряди!» — говорит спаситель. И я вот зову вас: к станкам! К работе, к работе и еще раз — к работе! Мне сейчас представляется картина нашей родины в таком виде: лежит беременная женщина, и около нее стоит опытный хирург с ножом...

— Довольно! Хватит! — закричало несколько голосов, поддержанных бурным рокотом всей массы, расстилавшимся перед трибуной. — Хирург! Поговорили, адвокаты! Будет!

Лохматый человек в кожанке подошел к усатому старику.

— Это ответ комиссариата? — спросил он, играя мускулами лица. — Значит, наше требование...

— Граждане, этот нож в руках врача — гражданская дисциплина! — не унимался старик. Он кричал уже с отчаянием в голосе, лицо его взмокло, один ус попрежнему был закинут на плечо, другой уныло опустился книзу. — Врач — временное правительство! И наконец женщина, которая мучается в родах...

— Довольно! Поговорили! Потрепались!

— ... Оператор выбран вами самими!

— Триста лет!.. Довольно! Гони!

— ... его признали знатоком дела, чтобы не погубить мать и ребенка, — уже не в силах остановиться, как ошалелая лошадь, нес и нес комиссар.

— Довольно! «Мать»!.. Покажем тебе такую твою мать! Гад!

Комиссара глушили многоголосые крики, солдаты снова запевали какую-то песню, оркестр, оказавшийся неподалеку, ударил веселым мотивом, величественный усач как-то сразу сваял, он



скользил руками по перилам и никак не мог нащупать свою палку.

— Значит, бой, господа большевики?! — прокричал он в лицо лохматому. Он что-то кричал еще, но лохматый лишь лениво, точно отмахиваясь, встряхивал головой.

Комиссар, театрально скрестив руки на груди, поглядел на площадь, площадь гремела разноголосым шумом, отовсюду слышались обрывки песен, рокоптал оркестр, — комиссар заторопился прочь. Вдогонку ему мчались свистки, крики, яростный гул возбуждения, он рушился на комиссара, он преследовал его.

Антон ничего не понимал из того, что творилось кругом, он как бы потонул в этом гуле.

— Требования отклонены! — громко объявил лохматый, перегибаясь через перила трибуны.

— Громче! Давай гро-о-омче-е-е!

— Требования наши отклонены! — сорвавшимся, хриплым голосом прокричал лохматый.

— Да — гро-о-омче-е ж-е-е-е!..

Путилов этим же вечером пришел к Ажогиным. Он держался много спокойней, чем раньше, говорил не так громко, — возможно, смущался Нины. По своей всегдашней привычке он держался обеими руками за край стола, и, когда кашлял, его громадная голова резко потряхивалась из стороны в сторону. Тут же был Ефим. Он попрежнему работал ломовиком у Твердохлебова, хотя теперь его выбрали членом правления союза служащих торговых заведений.

— Думаете, я не веду работы? В Петроград, для газеты «Правда», думаете, не собрали деньги? Сто семь рублей? Сознательность известная есть? Не у всех, но есть? А почему с Красной гвардией не получается? Отчасти — темнота, отчасти — есть холуи. Как вы считаете?

Путилов слушал его, хмурился и потихоньку гладил ладонью край стола.

— Неопределенный народ... — говорил он, хмурясь, точно в глаза ему било яркое солнце. — Сегодня видел этого, Лукьянова, ну, полового-то из «Лондо-

на». Одет, как раньше, в солдатском, а торгует какими-то вещами. Смеется. «Вы, — говорит, — занимайтесь агитацией, а я запасусь про черный день...» И запасается, очень просто. — Путилов помолчал, неприязненно огляделся и добавил: — Ну, только мы ими займемся, тряхнем их душу...

— Опять шумишь? — спросил Ефим, улыбнувшись Ажогину.

— Шуметь не буду... Я вот пощупаю таких Лукьяновых. Один бок — Лукьянов, другой — Платонов...

Отец переменялся в лице, но ничего не сказал.

Когда уже Путилов ушел, а за ним ушел и Ефим, к Ажогиным заявился Павел Орестович. Он с преувеличенной приветливостью приветствовал всех, но все же особенно внимательно посмотрел на Нину.

Он очень переменялся: наполненный раньше мудреными, даже непонятными, словами, язык его теперь ничем не отличался от того, каким говорили все, и поэтому Павел Орестович выглядел много скучнее прежнего.

— Я попрошу не сердиться... — сказал он вполголоса, обращаясь не то к Ажогину, не то к Нине. — Бывают минуты, когда человек теряет голову...

Антону показалось, что Нина улынулась, причем улынулась с некоторым оттенком самодовольства.

— Впрочем я пришел не за этим... Вы знаете, Иван Ефимыч, кое-что удалось узнать...

Он передал Ажогину сложенную четверо бумажку, Нина тоже наклонилась над ней, головы ее и Ивана касались одна другой. «Главный» взглянул на них, потемнел с лица и, вскочив, начал шагать по комнате.

— Сначала разоружить нас... Не удастся — напустить черную сотню, и уже ее руками задушить нашего брата... Идейка, а?

Отец еще раз прочитал бумагу.

— Это все — правда?

— Целиком в их характере...

— Да-да-да...

Отец забарабанил пальцами по столу. Нина вопросительно посмотрела на него, потом на Павла Орестовича.

— Напечатаю план в газете, пусть по крайней мере...

Он так и не закончил своей угрозы: в окно постучали. Отец распахнул его, взволнованный женский голос заговорил что-то, — сюда ясно доносились лишь некоторые слова.

— Ладно, ладно, хорошо... Сказано же: ладно! — успокаивающе отзывался Иван. Он прикрыл окно и вернулся к столу. — Ну вот, началось...

И, помолчав, добавил:

— Комendant станции отдал приказ: железнодорожникам сдать оружие. Вот какие дела-то, Павел Орестович... Комитет займется этим? Нет?

«Главный» уже стоял, застегнув пиджак на все пуговицы, он пристально смотрел на Нину, она или не замечала, или не хотела замечать этот беспокойный взгляд.

— Вы не сердитесь на меня за «то»? Нет, товарищи? Особенно, Нина, вы?

— Не об этом бы сейчас рассусоливать! — грубо оборвал его Ажогин.

Павел Орестович разом стряхнул с себя свою неопределенность, улыбнулся, и в лице его снова мелькнуло выражение, которое было свойственно ему раньше, когда Антон встречал его еще на Монастырке.

— Торговал я кирпичом, а остался ни при чем... Но это, вы правы, — все чепуха. Комитет соберем. Завтра увидимся?

Он попрощался лишь с одной Ниной, Ивану только кивнул и вышел.

— Все-таки он не в себе человек... Эх, Нинок, Нинок... — криво усмехнулся Иван.

— В общем начали? — испуганным тоном, прижав руку к груди, спросила Нина, не вслушиваясь в сказанные им слова.

— Начать-то, начали, да как еще кончат!..

Отец долго стоял у окна, заложив здоровую руку за спину, — похоже, обдумывал: что делать дальше? Нина стлала постели, Антон притих, наблюдая за ними, отложив в сторону своего «Капитана Гаттераса».

— Заходите, не спим... — сказал кому-то на улице Иван, и через мгновенье

в комнате появились Сергей Матросов и Прокопий. Прокопий выглядел озабоченно, даже испуганно. Матросов стоял посреди комнаты молча, с высоко поднятыми крылатыми бровями. Они оба поздоровались с Ажогиным, дядя Сергей даже Антону, точно взрослому, пожал руку.

— Поговорите с ним, Иван Ефимыч, куда ж это годно?

Матросов тяжело опустился на стул и снова поднял брови.

— Разоружился? Сдался в плен?

— Уже известно? — несколько не удивился Матросов. — Ну вот слушай, Прокопий!

Прокопий присел на краешек стула. Он посмотрел на Нину, словно ожидая от нее защиты, потом сердито — на Матросова.

— Рада бы курица — в пир не пошла, да за хохол тащат, — ворчливо возразил он. — Камень — не человек, а и тот крошат...

— «Камень»!.. — пренебрежительно бросил Матросов.

Наступило тягостное молчание. Прокопий, видимо, понимал, что всем сейчас не до его поговорки. Он надвинул картуз на самые уши и пересел поближе к двери.

— А вообще-то как? Ребята держатся? Сдали чего-нибудь?.. — сердито спрашивал Иван, поглядывая на Прокопия. Тот с'ежился под этим взглядом.

— Ну, вот Прокопий... А вообще — десяток патронов да штык... Да еще шашку, что ли...

Отец заметно повеселел, он подмигнул Нине, сел на кровать и стал разуваться.

— Как-нибудь, как-нибудь... — бормотал он. — Что ж ты, Прокопий? — уже совсем весело взглянул он на Прокопия.

Тот покраснел и снова пересел к столу.

— Позвали в контору...

— А ты сразу: будьте добры?

— Ну, знаешь, — через колено да пополам.

— Э, Прокопий, не помогли тебе словицы. Заучил много, а толку нет... —

посмеивался Иван, потягиваясь под одеялом. — Ну, ничего, не годился в цепи, сойдешь в обозе. А вообще ждем, что скажет комитет...

— Все едино: мы не сдадим! — еле слышно, угрожающе сказал Матросов.

— Я и говорю...

Нина уже расчесывала волосы, поздние гости поняли, что пора уходить. Они ушли, и, когда проходили под окнами, сквозь неплотно прикрытые окна послышался басовитый голос Матросова.

— Он у тебя настоящий мужик. Такой батька — счастье, — с уважением сказал Нине Ажогин. — А Прокопий — звонарь. Слов много, визгу больше того, а дела...

— Мы еще намучаемся с ним...

— Конечно намучаемся, Нинок. Но ведь таких много, их надо учить. Пословичник!

Отец засмеялся, точно вспомнив что-то смешное.

— Вредный человек! — возмущенно заметила Нина. — Я вообще не понимаю, как ты можешь так спокойно?!

— Говорю, не он один, Нинок... Таких много...

Нина потушила лампу, но легла не сразу. Она постояла молча у стола, потом подошла к Антону.

— Ты не спишь, братишка? — она хорошенько укрыла его. — Ты учись, братишка, видишь, какие есть люди на свете...

Она погладила его щеку тыльной стороны ладони, он схватил ее руку и сукул себе под щеку.

— Павел Орестович ходит... — начал он, стараясь разглядеть выражение ее лица. — А ты зря говоришь с ним, он...

— Нехороший? — сдавленно рассмеялась она. — Ты слышишь, Ваня?

— Нет... — смущенно продолжал Антон. — Он какой-то... Он — старый... Ажогин — не старый! — неожиданно радостным голосом добавил он.

— Ты слышишь, Ваня? — весело вскричала Нина и добавила уже вполголоса, уже для Антона: — Мы будем жить хорошо, очень, очень! Не будет ни Юльма, ни Горбоносова, ни нищих, ни ночлежек, ни ребятишек, которые

сейчас погибают у Юльма или где еще... Вот жаль только, что ты мал...

— Опять!.. Опять «мал»! — огорченно воскликнул Антон.

— Что ж поделаешь, братишка?

Она еще раз провела ладонью по его голове, прикоснулась губами к его уху и неслышными шагами отошла от сундука.

Антону, непонятно, по какой причине, припомнилась комната в мологеновском доме и жизнь его там с матерью. Сейчас Антон вспоминал эти дни с любопытством, как нечто, когда-то интересное, но со временем утратившее свое значение. Та жизнь ему представлялась в каких-то отрывочных картинах: то Мологенов кричит на мать, то она, высоко подоткнув юбку, моет окна в степанидиной лавке, то сидит на кладбище, на плесневом камне, опухшая, пьяная, с заплаканными глазами.

Ни сожаление, ни обида, — ничто не волновали теперь Антона: все, что было когда-то, ушло прочь, теперь он жил с настоящими людьми. С ними он шел всюду, куда только шли они.

На постели было тихо: утомленные за день, отец и Нина уже спали. Кто-то неверной и сбивчивой походкой, цепляясь за завалинку, медленно прошел под окнами, ворча что-то такое про себя. Издали послышался свисток ночного сторожа, с другого конца улицы отозвался другой, вдалеке, словно запоздалое эхо, засвистел третий. И опять все тихо, из раскрытого окна несло душным, ночным теплом; летняя ночь раскинулась над беспокойной землей.

Разоружение Красной гвардии или сорвалось, или просто по неизвестным причинам откладывалось до более благоприятных для комиссариата времен, — не так-то легко было взять в шоры сотни рабочих, узнавших, что такое винтовка. Видимо, комиссариат боялся Красной гвардии, тем более, что теперь почти весь гарнизон был большевистским. Только у воинского начальника во дворе, в малой казарме, стояла рота бородачей. Они словно даже и не слышали о революции, важно и тяжело ходили по улицам под командой рослых унтер-офицеров, чисто одетые, поскри-

пьющие новыми желтыми поясами, с аккуратными подсумками на поясах, с новенькими — только-что со станка — винтовками.

Бородачей никогда нельзя было увидеть на улице в одиночку: по восемь, по двенадцать, по шестнадцать человек, при винтовках, строем, они шли даже на Рубцовскую, в публичные дома, которых при новой власти стало еще больше.

И чем более беспокойными становились солдаты в 97-м, в 171-м и 13-м сводном полках, тем больше на улицах появлялось милиции. Правда, это была зеленая молодежь, гимназисты, реалисты, ученики коммерческого училища Кое-где на перекрестках мелькали красные околыши и черные шинели дворянской гимназии.

Загаженное здание лазарета уже больше ничем не напоминало когда-то чистенькое, аккуратное училище. Отовсюду из окон торчали голые головы, грязные лица, серые пятна белья раненых. У ворот уже не было веселых, краснощеких сиделок, по улицам в одном белье бродили босоногие, забинтованные солдаты, они приставали к встречным, кланчили милостыню. Все было даже хуже, чем до переворота.

На Министерской — как-никак главная улица! — была невиданная доселе грязь: никто более не подметал тротуаров; сор, кости, железные банки, всякое гнилье, даже падаль валялись повсюду.

Около закрытых, облупленных, с покосившимися ставнями, с битыми стеклами, лавок стояли длиннейшие хвосты: за сахаром, за керосином, за хлебом, за спичками, за солью, за картошкой. Это выглядело очень дико: сотни людей были словно перетаврованы громадными меловыми цифрами, один за одним люди покорно стояли в очередях.

Нина шла со своими оружейниками, отец, немного отстав от нее, шагал во главе полутора десятка железнодорожников, дядя Сергей Матросов с остальными направился в Заречье.

Антон следовал за красногвардейцами по солнечной стороне улицы, пристально наблюдая за отцом и Ниной. Он не

понимал, куда и зачем они шли. Он следовал за ними, но на перекрестке стези неожиданно остановился и приблизился к Антону.

— Отправляйся домой! — коротко крикнул он.

— Д-да... — заныл было Антон.

— Кому было сказано?

Второй окрик был настолько резок, что Антон отвернулся и озадаченно посмотрел Нине вслед. И вдруг он увидел, что ее отряд повернул влево, в то время как товарищи отца продолжали идти прямо, в сторону вокзала. Антон сорвался с места и, загребая босыми ногами пыль, понесся по мягкой дороге, в расчете боковыми улицами нагнать оружейников.

И действительно, он оказался на углу Кривоноговской и Технической как-раз в тот момент, когда, нестройно и громко топоча, отряд Нины уже поднимался в гору. Антон чуть не сшиб Нины с ног.

— Откуда ты взялся?

— Меня Ажогин прогна-а-ал..

— Тебе надо идти домой... братишка... — дрогнувшим голосом сказала Нина, впрочем совсем не настойчиво.

Он промолчал, поняв, что его дело выиграно: не следовало только вступать в пререкания. Он искоса взглянул на Нину. Она шла в легкой сатиновой синей блузке, в черной измятой юбке, в башмаках, белых от пыли, она уже привычно и без усилия поддерживала винтовку за ремень. Оружейники несли оружие кто как: на плечах, на-перевес через плечо, как охотники на картинках. Косоуренко, тот даже привязал свою к велосипедной раме и теперь медленно, едва не валясь, ехал глубокой колеей, чуть-чуть опередив остальных.

— Остаемся... — сказала Косоуренко Нина. — А ты пошел дальше.

Он послушно кивнул головой, и его люди, не останавливаясь, прошли вперед. Нина отстала, к ней присоединилось еще трое оружейников.

— Братишка, ты пошел бы домой... — предложила Нина, и, так как он промолчал, она махнула рукой и шагнула на дощатый тротуар. Они стояли у дома Горбоносых. Один из оружейников, пожилой, с веселыми глазами, осторожно по-

вернул кольцо щеколды, калитка раскрылась, навстречу им от просторной конуры рванулся седой пес, коротконогий, с могучим и хриплым басом.

Нина быстро прошла под окнами горбоносовского дома, вбежала по ступенькам крыльца и толкнула дверь. Пожилой красногвардеец остался на дворе, двое других проследовали за Ниной внутрь.

В громадных полутемных сенях пахло березовыми венниками, горячим хлебом и еще чем-то вкусным: вроде — студнем... Дверь в кухню была распахнута, ни единого звука не доносилось оттуда. Нина легкой походкой скользнула в приоткрытую дверь первой комнаты, через мгновение там кто-то громко вскрикнул, оружейники и Антон бросились туда и увидели Нину, направлявшую штык в самую грудь старика Горбоносова. Он сидел невозмутимый, слепой, его белые усы красиво спускались книзу, гладкий подбородок отчетливо выделялся на фоне черного ворота его суконной рубахи.

Увидев остальных вошедших, сразу же осели Сережа и однорукый Данила. Сережа сидел с непокрытой головой, она как бы делилась надвое: голая и словно обожженная с одной стороны, покрытая нежными кудрями — с другой.

На дворе раздался выстрел, и хрипый лай замолк. Антон подскочил к окну: пес, видимо, сорвавшийся с цепи, теперь корчился у ног старого красногвардейца.

— Кто порешил кобеля? — спокойно, не вставая с места, спросил старик. — Серёнька, поди-ко узнай! Кому сказано!? — прибавил старик, не услышав шагов сына.

— Нельзя ходить! — взволнованно трикрикнула Нина. — Сиди, Горбонос!

Она назвала Сергея так, как звали Горбоносовых все дети на улице, как звала их и она сама, будучи девочкой.

— Совет депутатов послал нас обыскать.

— Грабь, грабь, Нинка! — отдельно и попрежнему спокойно отозвался старик, узнавший Матросову по голосу. Он пригладил усы и позвал: — Софья, сбегай в милицию. Скажи — грабят...

— Я покажу милицию! — Нина стукнула прикладом об пол.

Против Нины в других дверях стояла рыжая вдова Виктора. Она стояла, поглядывая на неожиданных гостей, и потягивалась, как пышная, откормленная кошка.

«Не боится...» — с удивлением отметил Антон. Над его головой ударило четыре, он поднял голову: на стене, у самых дверей, висели небольшие часы, сделанные в виде часоушки.

И в голове его сразу же всплыл «Серолицый», пришедший несколько лет назад, и часы, куда Антон спрятал бумаги, и арест отца, арест Нины. Он произвольно вздрогнул и огляделся: наоборот, сейчас Нина была здесь, не к ней заявись с обыском, она сама пришла сюда, в этот большой дом, как хозяйка и как судья.

— Начали... — произнесла Нина, и тотчас же один из оружейников, скуластый, рябой человек, стал поудобнее к печке, чтобы держать под угрозой всех в комнате, и щелкнул затвором.

— Вы бы убрали... Ружье все ж таки... — беспокойно заворочался Данила, Сережа промолчал.

Нина с другим рабочим и Антоном, подтянув перед собою рыжую Софью, прошла в следующую комнату. Эта была велика и вся заставлена иконами: иконы большие и маленькие, с лампадами, со свечами, безо всего, они занимали всю переднюю стену и половину боковой. Несмотря на спущенные черные шторы, здесь было светло от обилия огня перед иконами. В правом углу стояла узкая деревянная кровать, накрытая черным ватным одеялом.

— Веди дальше! — почему-то полупотом приказывала Нина. — Небось, деверья-то мнут тебя почем зря...

Она рассмеялась, и ее смех не понравился Антону: какое-то бесстыдство, которого он никогда не знал у Нины, слышалось в ее словах.

— Завидки берут?! — фыркнула рыжая.

— Показывай, показывай!

Софья вела их комнатами, и казалось, не будет конца им: комнаты с мягкой мебелью, опять какая-то кухня, где воились три грязных испуганных старухи

и ярко польхала печь, потом опять чья-то спальня...

— Ну, а где спрячете нам гостинцы? — вдруг произнес спутник Нины. Ему, видимо, надоело блуждать по комнатам.

— Не знаю, про какие-такие гостинцы... — Софья улыбнулась и ласкающим взглядом погладила рабочего по лицу. Он покраснел. — И не стыдно к женщине в комнату? — певуче говорила она, тихонько посмеиваясь, оглаживая ладонями свои бока.

— Обождь, после погладишься. Покажь, что в сундуке? — рабочий легонько толкнул ее прикладом.

— Тише, черт немглый! — уже другим голосом огрызнулась она. Она подняла тяжелую, со звоном, крышку укладки.

— Посторонись!

Она выбросила на пол кипу ярких ситцев, — такие были только в мирное время, — с лодзинскими наклейками.

— Выкидывай, выкидывай!

— А ну вас совсем-навсем! Нашли работницу!

Она встала, отряхнулась и, сложив руки на груди, стала в сторонке. Рабочий, не выпуская из руки винтовки, начал выбрасывать оттуда свертки материй, поротые платья, мотки цветной шерсти, кружева. Под самым низом, на дне сундука, лежала винтовка с коротким дулом, несколько револьверов, смазанных и душно пахнувших маслом, длинный кинжал в лакированных ножнах, сотня или побольше разных патронов.

Софья стояла, попрежнему сложив на груди полные свои, слегка веснушчатые руки и поверх головы Нины глядела в окно: там виднелся густой, запущенный сад, тянулся низенький забор, с одной из яблонь, через забор, на эту сторону свисали громадные желтые яблоки.

— Это вы, что ли, пса-то убили?.. — негромко спросила она.

— Убили, да не того... — сухо возразил оружейник, выгребая из сундука и рассыпывая по карманам патроны, затем складывая револьверы в наволоку. —

Запасли, оглоеды, на старое, на новое, на год вперед.

— Ничего, разживайтесь... — посмеиваясь, говорила Софья. Она стояла, покачивая носком модного лакированного ботинка.

— Не больно обидели... — возразил оружейник.

— Все ж таки...

— Помолчала бы, кобылица!.. — он опять несильно поддал ей под зад прикладом.

В этот день было обыскано тридцать или сорок домов. Оружие сносили куда придется, но главную часть снесли на Оружейный завод, как приказал Лоддинг, — там его куда-то припрятал Ко-соуренко.

Вечером, уже перед самым сном, отец сел за стол, стал записывать что-то и замирающим голосом, как человек, говорящий спресонок, начал считать:

— Значит, у вас семь?.. И все наганы? С патронами? Да у меня восемнадцать... Да еще винтовки... У Ефима не то девять, не то десять... Это только у нас. В общем, я думаю...

— Ничего... — уже совсем сонно ответила Нина. Она погасила лампу. Антон зажмурился, он знал, что Нина обязательно подойдет к нему. Так оно и случилось: Нина осторожно приблизилась к сундуку, положила руку Антону на голову и осторожно провела по его лицу ладонью.

— Спит наш наследник... — громким шопотом объявила она, неслышно затем отходя прочь. Антон закусил губу: он с трудом сдерживал себя каждый раз, когда к нему вот так подходила Нина. Мать, — мать никогда не делала так. Впрочем она уже оставалась в памяти Антона просто как слово, заученное, потерявшее свой смысл, — не больше.

Иногда Антон, закрыв глаза, пытался представить себе облик того, кто когда-то был самым близким ему человеком, — и не мог представить. Облик этот слинял, выветрился, исчез. И рядом с ним, рядом с отцом была теперь живая, веселая, хорошая Нина.

(Окончание следует).

# Коломенский завод

(Старые годы)

Н. МХОВ

На высоком берегу Москва-реки, весь в зелени садов и золоте церквей, картинно раскинулся городок Коломна.

Был он некогда форпостом княжества Московского, заставой на татарском пути. Выплачивали здесь калым Золотой Орде; формировали здесь войско против Мамаю; держали в заточении красавицу Мнишек; принимали заморские персидские товары. Коломна была проходным двором на север и запад.

От седой древности остался высокий берег, в прошлом естественный вал. Широченная крепостная стена, некогда сложенная из расколотых валунов и известкового камня, давно сравнена с землей, и по ней бежит юлистая тропка. Рядом, с городской стороны, понастроенны деревянные и каменные дома, а с речной, по скату, пышно разросся лопух с крапивой.

Стена постепенно переходит в широкую аллею и прекрасный тенистый сквер. Сквер — потому что он кругл и с впадиной посредине — зовется Блюдечко. На Блюдечке вековые необхватные липы, могучие вязы, клумбы с табаком, тюльпанами, резедой и широкие покойные скамьи вдоль дорожек. Здесь вечерами гулянье и круглые сутки молодежное веселье.

В липовое цветение воздух благоухает пряным медовым ароматом и дрожит от пчелиного трудового гуда. Тут же, у подножья сквера, стелется река, а за ней до горизонта — ковровая зелень лугов.

Напротив, прямо за рекой, чистенькой суздальской картинкой светлеет монастырь, а возле него, как ласточкины гнезда, косоплечие, соломенно-ветхие избенки села Бобренева.

В версте от Коломны течет Ока. Из года в год веснами узкий проход на Оке у Карбачевского острова забивается льдом. Река буйно затопляет крутые берега и с гулом устремляется в Москва-реку. Тогда с хряском лопается москворецкий лед и медленно плывет вверх, назад к Москве.

Непосвященному загадочно было обратное течение, и в Коломне долго, долго жило поверье.

Перед революцией еще можно было услышать шопот какого-нибудь мещанина в чуйке, наблюдавшего обратное движение льда:

— Пошли, сердешные. Поперли, непокаянные, горемышные.

Слышавшие сочувственно вздыхали, понимая, что речь идет о «них». «Они» — крепостные князя Черкасского, родовое имение которого находилось в 15 верстах от города у села Ачкасова <sup>1)</sup>. Князь был величествен, напыщен и строг. Именем управлял немец, жестокий и глупый человек, не позволявший во время уборки даже на ночь уходить с поля. За малейшее неподчинение бил нещадно, в кровь исполосовывал спины волосяными плетками, отдавая един-

<sup>1)</sup> Теперь станция Москворецкая Каз. ж. д. В бывшем имении находится свиноводческий племяхоз, а напротив — огромный цементный комбинат «Гигант».

ственных работников семьи «в рекруты» без очереди.

Доведенные до отчаяния ачкасовские крестьяне в годы, совпавшие со ссылкой декабристов, решились «бить челом их светлости батюшке-князю на изверга, нехристя»<sup>1)</sup>, но за «хамскую наглость», выразившуюся в том, что «холопы осмелились подступить скопом», помещик не допустил их до своего крыльца. Ночью с четырех углов вспыхнул факелом венецианский особнячок управителя. Немца с женой выволокли из опочивальни с разможенными, — видать, обухом топора, — черепами.

Князь вытребовал из Москвы уланов, собрал мужиков на луг перед английским садом своего барского дома, вышел сам на террасу и опустившимся перед ним на колени крестьянам махнул кружевным платком. Распахнулись дубовые ворота двора, и кавалерийская сотня лавой бросилась на оцепеневших, беззащитных людей. Первая шашка опустилась на рваный армяк белоголового старика, — он взвыл, побежал к реке. За ним бросились остальные. Многие кидались в стороны, пытаясь ускользнуть в рощу или деревню, но их догоняли, поворачивали и стадом гнали к реке, грудями коней загоняли в воду до тех пор, пока все 200 человек не захлебнулись мутной москворецкой водой.

И с тех пор каждую весну встают со дна замученные крестьяне, из последних сил идут вверх, руслом реки в Москву, с жалобой на князя. Впереди валом, как у пароходного носа волна, катится поля вода, расчищая им путь, останавливая встречное движение, а сзади великой ратью следуют за ними льдины. Но, не дойдя до Москвы, силы покидают утопших, у Бронниц они окончательно слабеют, останавливаются (река здесь на два-три часа приостанавливает свое движение) и покорно возвращаются к своим могилам... Лед с гулом, сердясь на неудачу, мчит обратно и уходит вниз, в Оку.

Картина половодья в Коломне величественная, упоительная. Целыми днями

горожане толпятся на древней крепостной стене, любясь привольной ширью и суматошной речной колготней.

Над водой торчат соломенные крыши бобреновских изб и вымытые, блестящие постройки монастыря.

Заливало Перфентьево, Пестриково, Троицкие-Озерки, Карабчеево, и не было года, чтобы где-нибудь не тонула корова, не сносило крышу, не валило дом, не уносило льдиной людей.

Половодье считалось божьей карой, крестьяне относились к нему стойчески, как ко всей своей замордованной жизни, ограничивая всю борьбу с бедствием сколачиванием тяжелых плоскодонок да высоких поветей. Крестьяне упорно отказывались селиться выше, на бугре у леса.

В тысяча девятьсот пятом году, когда молодежь выволокла толстого настоятеля из обширных монастырских покоев на двор и «святой отец» Мефодий всенародно признался, что и от «матери Степаниды», и от «матери Анастасии», и от «пребывающей в миру» Ефросиньи у него есть дети, бобреновцы подались от монастыря в сторону, и за первым бобреновским социал-демократом Александром Воробьевым, переселившимся на бугор к лесу, последовали молодые, выделенные хозяева.

Новую стройку назвали Новым Бобреновым, а их обитателей — «выселковыми». С этих пор росло и ширилось Новое Бобреново, а старое разрушалось и догнивало у монастыря.

Из года в год шум ледоломного ветра и дробь дождя в черную стынть весенней непогоды заглушались тревожным звонком набата.

Неделями, днем и ночью, стоном стонал набат. Над просторной ширью разлива, сливаясь в одно, колокола звучали горестной жалобой на человеческую неустроенность.

На это время Коломна превращалась в остров. От Москвы отрезала ее у Бронниц Москва-река; от Рязани, у села Щурова, — Ока, от Каширы — злая весной, безобидная летом, богатая раками и вьюнами Коломенка, от Егорьевска — быстрая, по-лесному журчливая и студеная речка Велегушка. На две-три

<sup>1)</sup> Архив. «Коломенская старина».



недели половодья Коломна становилась большим портом. Приходили в Коломну каспийские грузовые караваны с нижеволжскими сияющими белянами. Случалось, лодманы, потеряв фарватер, приводили караван прямо в деревню.

В 80-х годах прошлого столетия бобреныцы в буйной темени ночи вдруг увидали огни парохода.

— Куда лезешь, дьявол! — завопили они, размахивая смоляными факелами.

— Какая пристань? — в рупор спрашивал лодман.

— До пристани три версты, лугом! Пришвартовывайся к монастырю — жди утра, а то всех нас подавишь, окаянная сила!

Утром бравый капитан убедился, что весь его караван колыхался посередине деревни, а задняя баржа доверчиво прижалась к сельскому кабаку.

Коломна расположена на редкость выгодно: по Оке, Волге, Каме, Клязьме и Тихвинке она связывалась чуть не со всей Россией.

Генерал Струве, предприниматель, немец по происхождению, русский патриот по чувствам, весьма одобрил географическое положение Коломны, восторженно отозвавшись о бескрайней шири разлива двух больших судоходных рек. Именно это заставило генерала основать здесь на правом берегу Москва-реки, за городом, ближе к Оке, свои мастерские по сборке железнодорожных мостов, вскоре преобразованные в знаменитый паровозо-вагоностроительный завод. Мастерская открылась доморощенной кузницей, с ручными мехами, которые сдвигались и раздвигались двумя силами. Над кузницей был простой железный навес, а в горнах — древесный уголь.

Кузнецы выковывали мостовые переплеты, склепывая их тяжелыми болтами, отковывали дуги, фермы, собирая их из мелких отдельных кусков, — все это производилось тут же на выжженной земле, под открытым небом, за деревянным частоколом.

Всем делом правил сам Аманд Егорович Струве.

Генерал-лейтенант и инженер-мосто-

вик, человек этот принадлежал к тем предприимчивым людям пореформенной эпохи, которые в 70-х годах из управляющих, подрядчиков, приказчиков быстро стали превращаться в дельцов-капиталистов, благотельствующих отечество промышленностью, вершащих судьбы целых округов, со всем их населением и предприятиями.

Энергичный инженер, прекрасно учитывавший экономические нужды страны и особые выгоды для промышленности «воли», обрешкой сотни тысяч людей на безземельное существование, импонируя своей звучной, нерусской (что особенно ценилось) фамилией и монументальной внешностью, взялся за крупные государственные подряды по сооружению мостов через большие реки. В то время дело это было новое, для России диковинное, и слава инженера росла в департаментах чиновного Санкт-Петербурга, а с нею рос и капитал генерала-подрядчика Аманда Егоровича Струве.

Несмотря на то, что генерал собирал в Коломне фермы для крупных Киевского и Кременчугского мостов, ставил мосты и мостики через реки, речушки, овраги и овражки от Коломны до Воронежа и от Москвы до Курска, несмотря на деятельное его участие в создании собственной кузницы у стыка рек Москвы и Оки в версте от Коломны и на ежедневное общение с коломенскими горожанами и крестьянами, об Аманде Егоровиче у знавших его лично стариков сохранилось в памяти только колена, потрепанная борода, серебряная бахрома эпюлет да молодецки-суворовский окрик:

→ Здорово, братцы-труженики!

Даже коломенский старожил, огородник Василий Иванович Абрамов, всем своим благополучием обязанный генералу, так вспоминал о нем:

— Борода у Аманда Егоровича была настоящая генеральская! Выйдет — эпюлет играет, грудь блестит, борода веером, — статур!

Василий Иванович Абрамов в свое время тоже принадлежал к классу тех китов, на которых покоилось мнимое благополучие царской Руси. Жизнь прожил он огромную — от крепостного ка-

зачка барина Северского до гражданина города Коломны: от безземельного, «вольного» человека до огородника-торгаша.

В свои 86 лет он был без малого в сажень ростом, с богатырским размахом плеч. О жизни своей говорил саркастически, как бы с многоточиями:

— Всем властям кланялся! Барину чубук набивал и пятки ногтями стрекотал! На стенку ходил — нос накладкой перешибли! Восьмипудовую казанскую хоругвь один до Иордани пер—аж хребет трещал! Подковку, вот эдак, в кольцо сжимал! К царю Александру III за 600 верст с челобитной на изверга-старосту ходил, да в Бологом полицмейстером был учен покорности власти предержавшей: в понятие был так приведен, что и поднесь мосолыги перед дождем ноют!

Уж на что крепок старый дуб Абрамов, а и тот не помнил, откуда пришел генерал Струве, как он ставил немудрящую свою кузницу в три горна и кто были те кузнецы-геркулесы, которые впервой ударили искрометными молотами по огневому железу, никто этого не помнил. Даже в «Истории Коломны» (О. П. Булич. «Коломна. Пути исторического развития города») ни звука об этом не произносится. И, как все, Василий Иванович вспоминал об Аманде Егоровиче Струве сразу с середины:

— Была у него околь самой реки кузница, и строил он для чугушки разные мосты.

К восьмидесятым годам у берега Москва-реки уже стояли копотные корпуса с выбитыми стеклами и омрачающими голубину неба дымными трубами. Уже с зари до зари плыл над лугами лязг железа, гомон людской суеты и неумолчный рокот машин.

К этому времени Струве был уже в славе, в силе, с андреевской лентой через плечо, показываясь «братцам-труженикам» так редко и так величественно, что «труженики» почти вовсе перестали видеть своего блистательного хозяина, а при встречах по команде стягивали шапки, безмолвно, руки по швам, созерцая внушительного генерала.

К этому времени «их превосходи-

тельство» уже витал в высших чиновных сферах, беспрепятственно посещал министерские кабинеты, запросто, на правах личного и старого знакомого, балагуря с секретарями и начальниками департаментов.

Изо дня в день, чуть свет, из заречных селений плелись к заводу понурые мужики длинной, чернеющей вязью по зелени лугов. Шли угрюмо и молча, с обедом в узелках подмышкой, в лаптях, опорках, самодельных, неуклюжих бахилах.

На жидких досках зыбкого понтонного моста ругали хозяев за скупость. Балансируя руками, выбирали непрогибающиеся к воде доски.

Рекой на завод гнали лес. Сплавщики в пестрядных рубахах и домотканых лортках, суетясь на колыхающихся бревнах, длинными баграми заводили лес в широкий, длинный рукав.

Лес пригоняли плотами с Камы, Белой, Чусовой, загромождая им узкое русло Москва-реки, насыщая воздух глосами разноплеменных наречий. С плотами прибывали чуваша, мордва, остяки, татары, вотяки, пермяки. Приплывали они с бабами (таков неписанный закон лесосплава, сохранившийся кое-где на верховьях уральских рек и поныне—плыть «напарником с девахой», с «медованной кралей»). Приплывали к устью реки, пестрым табором располагаясь у подножья завода на отлогом правом берегу. Днем выкатывали бревна, вечером гуляли, пропивая с путевой подругой незавидный свой сезонный барыш.

Работа на реке требовала большого навыка и ловкости. Челенья<sup>1)</sup> развязывали, освобожденные бревна баграми загоняли в рукав. Оттуда подтягивали их к берегу и с двух концов по деревянным скатам выволакивали на капище.

Рабочие, задерживаясь на понтонном мосту, любовались слаженной работой сплавщиков.

Особенно отличались белоруссы. Они казались циркачами, щеголяющими сво-

<sup>1)</sup> Квадрат бревен, насланных в два ряда и скрепленных еловой вицей.

ей ловкостью и отвагой. Но отвага была профессиональной необходимостью, за которой скрывался тяжкий, почти даровой труд.

Вот статный хлопец, балансируя багром, прыгал с бревна на бревно — они вертелись и погружались под его шустрыми ногами. Поблескивая свежелычными лаптками, трепыхая по ветру синьковой рубахой, он быстро-быстро переступал на скользком бревне, стремительно, будто жая, тыркал блестящим острием багра соседнее бревно, ловко перепрыгивал на другое, плясал, опять жалил, и ленивые бревна перемещались, медленно направляясь к рукаву. И только, когда хлопец подпрыгивал к мосту, видны были надувшиеся вены на шее, крупный пот на лбу, холодно-жесткая внимательность глаз, и слышно было частое шумное дыхание.

Угрюмые лица рабочих светлели, на серых губах возникала живая улыбка, в зрачках вспыхивали искорки увлечения.

На берегу бабы и бородатые мужики накатывали высокие, в трехэтажный дом, штабеля.

Э-эй, робя, беремсн-и!.. —

фальцетцем, с надтрещинкой, уныло выводил мужичишка с грязно-рыжей бороденкой в древнеславянской, горшком, войлочной шапке.

Два десятка баб с бородачками, ухватившись за концы каната, ухали, дергали, и бревно медленно ползло кверху...

Работали с четырех утра до восьми вечера, — Аманд Егорович Струве спешил с выполнением новых заказов и расширением мастерских. Лесу требовалось много и скоро.

\*\*\*

В 1842 году Николай I возвестил о сооружении железнодорожной линии Петербург—Москва; в 1852 году казна приступила к прокладке Петербургско-Варшавской дороги, а герцог Лихтенбергский приспособил свой гальванопластический завод под паровозостроение.

Первый русский паровоз, построенный демидовским Нижне-Тагильским заво-

дом в 1833 году, отличался от своего оригинала «Локомешона», изобретенного в 1825 году Георгом Стефенсоном, тем, что «Локомешон» тянул три вагона с замирающими от страха и 15-километровой быстроты пассажирами, а отечественный образец, едва осилив расстояние до заводских ворот, иссяк паром и «водворен быв» на место тройкой откормленных заводских коняг.

Усиление рыночного товарного хозяйства, оскудение крестьянства, выбрасывающего на базар свои последние достатки, изобилие дешевой «живой силы», дешевизна сырья, при сравнительно дорогой иностранной продукции, толкало российский капитализм на путь создания собственной промышленности. С ростом промышленности возникала острая нужда в средствах передвижения. Тогда началась та знаменитая в истории России железнодорожная вакханалия, когда, по свидетельству Кротопкина, «грабеж шел на большую ногу», «акционерные компании росли, как грибы, при постройке железных дорог» и «таким путем создавались колоссальные средства».

Министр финансов Рейтер 6 октября 1866 года объявил «высочайшее повеление» о запрещении правительственных заказов за границей и о производстве «всех заказов, как военного министерства и министерства путей сообщения, так и других ведомств, исполнять внутри государства».

Министр путей сообщения Мельников в 1867 году, исполняя повеление императора, сделал вызов российским заводчикам, желающим строить подвижные составы.

Среди изъяснивших желание 29 капиталистов значилось имя инженера Струве. Но министерство осчастливило только 7 заводов, отклонив притязания Коломенского новоиспеченного предприятия иронической резолюцией на его заявление: «Это не завод, а сборочная мастерская, не для хороших заказов, не для государственных преимуществ!»

Между тем мостовые работы кончались, — заводу предстояли либо ликвидация, либо переоборудование для другого производства.

Аманд Егорович смело начал форсировать строительство паровозных мастерских и расширять существующие цеха. В 1868 году к семи законтракованным государством заводам прибавилось еще пять, из них на первом месте значился Коломенский машиностроительный завод братьев Струве.

Первый заказ принес первую государственную субсидию и удачные сделки с государственными приемщиками.

Необходимость отстаивания заводских интересов заставляла Аманда Струве почти безвыездно находиться в Питере. Чтобы завод не оставался без «хозяйского глаза и твердой руки», он пригласил участвовать в деле брата, Густава Струве, военного инженера, прославленного укреплением подступов к Николаеву, переделкой крепости Аккермана, постройкой батарей в Одесской гавани. Густав Струве, подобно брату Аманду, для своего времени был культурным, образованным человеком. В Англии, Франции и Америке он изучал военную технику. Чин, пост, образование и непринужденная светскость открыли ему доступ в аристократические салоны, что немало способствовало развитию завода.

Если Густав был неплохой специалист, то коммерсант и администратор из него получался никудышный, что не могло не отражаться на внутризаводской жизни.

Этот пробел Аманд Егорович восполнил привлечением «в долю завода» московского купца первой гильдии, баварского подданного Антона Ивановича Лессинга — хитрого, ловкого и безжалостного дельца.

К этому времени завод уже стал мощным социально-экономическим фактором, от коего зависела экономика, политика и быт всего уезда.

Завод стал властелином жизнью своих рабочих и их семей, негласным хозяином уезда, неофициальным шефом-законодателем унылых деревень. К этому времени Коломенский завод уже отражал в себе всю чиновно-бюрократическую, промышленно-капиталистическую, аграрно-нищенскую, бесправную Россию.

Триумvirат владельцев Коломенского завода завершил в уезде ту российскую организацию управления промышленным капиталом, при которой один непосредственно «гнет в дугу» рабочего, другой технически контролирует производство, а третий между гостинными разговорами, штоссами, банкетам и раутами извлекает нужные подписи под соответствующие привилегированные заказы, субсидии и ассигновки.



В 1877 г. началась война с Турцией, потребовавшая увеличения жел.-дор. линий. По особому указу Александра II правительство снизило пошлины на импортное литье для машин, уменьшило налоги заводчикам, увеличило выдачу государственных субсидий.

Российский заводчик, почуяв деньгу, с готовностью откликнулся на царев призыв.

Аманд и Густав Струве в парадных, шитых золотом, мундирах, с лысеющими и седеющими макушками, преклонив колени, добротнo-размашистыми крестами осеяли грудь и плечи, выпрашивая у «вседержителя-творца» славу и честь «доблестному русскому воинству».

Молебствие о даровании победы служили на обширном дворе. Потрясающе гудел диакон Безвозмезднов, пел знаменитый хор Успенского коломенского собора. Угрюмой толпой, безнадежно впеврив взгляды в землю, скомкав промасленные шапочки, стояли рабочие, оборванные, грязные, испытые.

В это время в кабинете верхнего этажа конторы, запершись американским, модным, самозащелкивающимся замком, господин Лессинг заключал негласный договор с министерским контролером на приемку от завода подвижного состава и на затребование от министерства финансов дополнительных субсидий в связи с увеличением заказа паровозов и вагонов для военных нужд.

Чиновник упрямылся, настаивал на соблюдении заводом всех пунктов «правил сдачи», в особенности параграфа девятого, разрешающего «производить расчет только после полной сдачи зака-

за». Лессинг убеждал, незаметно подвигая локтем толстый белый пакет к локтю собеседника. Антон Иванович доказывал логическую несостоятельность параграфа девятого, все ближе и ближе передвигая пакет к локтю собеседника.

Наконец, когда кастор его черного сюртука едва коснулся синего сукна форменного мундира чиновника, Антон Иванович Лессинг вздохнул, мягко соглашаясь:

— Ну, не будем спорить.

— Худой мир — лучше доброй ссоры, — вежливо улыбнулся чиновник, принимая пакет. Чиновник выпрямился, протянул директору руку и, пожелав здоровья и успеха в делах, вышел из кабинета.

На дворе протонерей Иван Владыков оканчивал молебствие.

Двор был узок и грязен. Контора загода, наполовину деревянная, наполовину кирпичная, широкими окнами смотрела на низкие строения цехов. Бокон уперлась механическая мастерская в водокачку, оставляя узкий проход между слесарной мастерской. Длинным сараем тянулась деревообделочная с грудой досок и стружек у стен. Прямо против конторы распласталась закоптелая кирпичная кузница с рыжими отсветами горнов на темных квадратных стеклах окон.

Кузница, деревообделочная, механическая и контора образовывали замкнутый квадрат, на котором происходило молебствие.

В кузнечном деревянном сарае, заваленном полосами железа, колесными бандажими, ржавыми кровельными листами и всяким кузнечным материалом, за ящиками с гайками, на куче зацепочных болтов лежал полуголый, в лохмотьях и кожаном переднике кузнец. Тяжело дыша, он время от времени сплевывал, каждый раз вытирая черным кулаком кровавой след на губах. Он поднимал длинную руку, тыльной стороной ее медленно двигал вдоль губ и обессиленно сваливал руку на болты, — под обожженной, смуглой кожей пузырями перекатывались могучие мускулы.

В сарай долетал грустный напев хора и рыкающий бас дьякона Безвозмезднова. Кузнец поворачивал к воротине лохматую голову, шопотом произносил длинное, злое ругательство.

Это был знаменитый кувалдовщик Митроха Ситников.

Антон Иванович Лессинг с Густавом Егоровичем Струве любили потешать гостей ухваткой Митрохи.

Клади на наковальню яйцо — кузнец через плечо, вразмах вскидывал пудовую кувалду и неуловимым рывком так сдерживал удар, что только трескалась скорлупа, — яйцо, не вытекая, продолжало лежать на наковальне. Митроха тяжело опускал молот на землю, кривил губы улыбкой, шумно дышал. Его поощрительно, как лошадь, похлопывали по спине, ощупывали железные мускулы, иногда одаривали гривной, но чаще стаканом водки.

Ситников привык затею с яйцами считать второй своей, едва ли не самой важной, работой и потому относился к ней серьезно, по-деловому, без бахвальства и удали.

Утром перед молебствием его вызвал Густав Струве.

В кабинете сидел у стола против генерала незнакомый военный с бобриком седых волос.

— Рекомендую, — указал на кузнеца кивком головы Струве.

Военный, щурясь, вынул из кармана тяжелые золотые часы, процедил сквозь зубы:

— В Царском Селе подорожный кузнец на Питерском тракте вот эти самые часы бил молотом так, что — вот видите полосочку — только крышка луковицы треснула! Удар-с! Не правда ли-с?

— Уверю, он ударит так, что только стекло разобьется, а стрелки и не вздрогнут. Можешь? — повернулся к Ситникову возбужденный генерал.

— Могу, — мрачно согласился Митроха и, набычив голову, добавил:

— Только ослобоните денька на три по домашности.

— Зачем? — коротко бросил Густав, двигая толстые брови.

— Жена родит. И... ребятишки.

— Об этом потом. Ступай!

Кузнец повернулся, натянул было шапку до самых ушей, но, опять сняв, пробурчал:

— Ребятишки махоньки. На три б денька, покуда баба — маленько оправи-лась бы...

— Я сказал — потом.

Ситников, лотопгавшись у двери, вы-шел в коридор.

Действие перекинулось в кузницу. Ситников взял часы, повертел их за-скорузлыми, негнущимися пальцами, покачал одобрительно головой, положил крышкой на полированную сталь наковальни, отступил шаг, плюнул в ладонь, с хряском, как мясник при разделке ту-ши, взмахнул молотом. Военный с бо-бриком слабо вскрикнул: казалось, что и пятна от часов не останется... Рука медленно опустилась, и часы на наковальне попрежнему тикали, но уже в окружении блестящих стеклянных брызг.

Приезжий удивленно и радостно смеялся, бережно осматривая часы, Струве самодовольно, будто ударял он, а не кузнец, гладил свою скобелевскую бороду, а Митроха, странно скособо-чившись, вдруг покачнулся, будто с хме-ля, и ухватился дрожащей рукой за наковальню.

Приезжий с хозяином ушли, оставив на наковальне рублевую кредитку.

Кузнецы окружили Ситникова. Он тяжело осел на землю, трудно хрипя:

— Жила лопнула... Водичи...

В цеху сразу стало тихо. Трещали угли в горнах, со свистом выходил воз-дух из брошенных мехов. Все молча с-смотрели на силача, который выплыва-вал кровавые сгустки.

Кто-то звонко выкрикнул: «Душегу-бы!» Но вбежали мастера и начали выгонять рабочих на молебствие.

Товарищи, положив на кожаные фар-туки кузнеца, отнесли его в сарай на кучу болтов, — здесь было прохладно и не копотно.

Митроха Ситников умер в своей ка-морке в страшных болях на шестые сутки. Он задыхался, стонал, молил убить его, просил дать ему нож и, за-тыкая уши от крика детей огромными

ладонями, первый раз в жизни ронял крупные, редкие слезы.

На печи, мучаясь родами, выла же-на — с ней возилась хромая бабка-пови-туха. Соседи стояли под окнами, беспо-мошно соболезуя.

— Теперь трое будут — чего с ими наработаешь...

Митроха вздрогнул, услышав писк на печи и освобожденный вздох роженицы.

— С наследником, Митрофан Панте-леич! Во какой!

Поднесла бабка новорожденного, но Митроха закатил глаза, охнул и выгя-нулся.

— Царствие небесное! Какого бога-тыря господь прибрал, ведь это што! Пелагеюшка, скончался!

Умер Митроха, родился Семен. Тот самый Семен Митрофанович Ситников из села Протопопова, о котором в 1905 году коломенский социал-демократ Тарарыкин сказал:

— Если б были у нас все такие, как товарищ Семен, — революция бы была вне опасности!

До двенадцати лет Семен существовал кое-как, питаясь кое-чем. Пелагея днем огородничала на своей усадьбе, а вече-ром уходила в город набирать за гроши белье, чтоб стирать его ночью при лучи-не. Зимой бегала за водкой для старо-сты, служивала в доме попа, носила поповской скотине воду, вязала мужи-кам жесткие шерстяные шарфы — ра-ботала без отдыха, без срока, чтобы только не пустить по миру детей.

Зимой ребятишки сидели в избе — не было, в чем выходить на улицу. Летом препадали в лесу, в лугах, собирая гри-бы, ягоды, щавель.

Тринадцати лет Семена приняли на завод учеником-сподручным за пять целковых в месяц в ту самую кузницу, где работал отец.

Дома к Семену начали относиться по-другому: он стал добытчиком, мастеро-вым, «кормильцем», — мать прислужи-вала ему, как, бывало, раньше прислу-живала отцу.

К приходу Семена завод так изме-нился, так вырос и расширился, что, если бы покойный Митроха посмотрел, он многое бы не узнал в своем цеху.

Массовый выпуск машин и вагонов заставлял применять сложные заграничные механизмы. Для этого требовались прежде всего крупные суммы и настоящие, не доморощенные, специалисты.

В 1871 году было официально объявлено об образовании «Акционерного общества Коломенского машиностроительного завода», с основным капиталом в 3 миллиона рублей. Трое владельцев распределили между собой акции. Выпущенные же на 800 тысяч облигации, после трехмесячного пребывания братьев в Санкт-Петербурге, были взяты по курсу рубль за рубль казной. Братья определили себе по 35 паев, а Лессингу — 30. Жалованье каждому установили по 2.000 рублей в год, с обязательным «особым вознаграждением» в 10 тысяч рублей. Ежегодные барыши шли особо. Приглашенный из Германии инженер Бейе назначен был кандидатом директора с таким же содержанием и процентным отчислением от прибылей.

Связь с правящими верхами, интенсивный рост промышленности, проникновение в коммерцию иностранного капитала, близость Русско-Турецкой войны и российская пространственность обеспечивали надолго существование новооявленного акционерного общества.

На завод потянулись крестьяне нищих деревень.

Абрамовы Василий и Максим, русокудрые молодцы, четвертый час сидели у крыльца, ожидая управляющего. Они пришли с солнцем из села Северского, закусили лепешкой с луком, тщательно собрали с подолов посконных рубах крошки, высыпали во рты и помолились на восток.

Старик Михеич, недавний шкуродеркошатник, дергал деревянную ручку клапана и, запрокидывая голову, восторженно созерцал белую струю вылетающего из трубки пара. Свисток гудел до тех пор, пока из котельной не прибежал истопник и перед восторженным взором Михеича не возник черный, весь из костей и жил, кулак.

— Гляди-ко-сь, старый хрен свистком тешится. Весь пар спустил!

Братья Абрамовы слушали свисток, пока не зазвенело в ушах и не задрожало внутри. Тогда, как по команде, они напялили войлочные шапки-гречаники, прижали уши ладонями и опустились наземь у входа в контору завода.

Внушительный кулак унял рвение Михеича, бесконечной вереницей тянулись рабочие на завод, а два молотца, в домотканых рубахах и дерюжных портах, все еще зажимали уши.

— Кого дуже-то испужались? — толкнул сторож Василия.

Тот поднялся, снял шапку и робко спросил:

— Нам к управляющему, по извозу, товар бы возить.

Сторож осмотрел их, усомнился:

— Одежа больно не того! Ну, да ладно, ожидайте — покличу.

И ждали четвертый час северские крестьяне, братья Абрамовы, управляющего, господина Лессинга. Но судьба столкнула их с самим Амандом Струве.

Белоснежная пара коней, разбрызгивая пену, стремительно подкатила к под'езду. Тучный, в бархатной безрукавке, в круглой шапочке с павлиньими перьями, рыжебородый кучер натянул малиновые вожжи — рысаки круто осели на задние ноги. Из ландо, тяжело заваливая его набок, грузно вышел Аманд Струве. Аманд Егорович любил быструю езду и ослепительный выезд.

Максим с Василием, стянув шапки, низко поклонились.

Генерала заинтересовал богатырский: рост братьев Абрамовых, к тому же положение либерала обязывало к широкому демократизму. Задержавшись на минуту перед братьями, он спросил, откуда они и что им надо. Коротко объяснив свои желания, братья еще раз низко поклонились, прося не оставить их «сиятельской милостью».

Так состоялось первое, случайное знакомство Василия Абрамова с генералом Струве.

Через неделю братья Абрамовы подрядили тридцать подвод в Астрахань за рыбой и солью.

Акционерное общество Коломенского машиностроительного завода выдало «под имущество крестьян села Север-

ского Василия и Максима Абрамовых, состоящего из двух домов, 3 сараев, одного амбара, 2 коров, 2 телят, четырех овец и одного самовара», 1.200 рублей на покупку и доставку гужом из Астрахани в Коломну соли и астраханской сельди. Вчерашний крепостной стал подрядчиком.

Всемерно стремясь к производственной независимости, акционеры обстраивали свое предприятие подсобными, вспомогательными мастерскими, цехами и самостоятельными маленькими заводиками.

За двенадцать лет после смерти Митрохи Ситникова рядом с кузнечным корпусом, в котором он работал, вырос новый формовочный цех. Люди в нем, черные, как формовочная земля, с белками воспаленных глаз, походили на мучеников дантовского ада. В цеху была жара и, как копоть, густая пыль. Резало глаза и драло горло. Рабочие, по пояс голые, обливаясь потом, через каждый час выбегали на двор откашляться, глотнуть свежего воздуха. Раскаленные опоки перетаскивались мальчишками на вывочную площадку, где другие мальчишки метлами собирали в кучи формовочную землю. Формовали коленчатые валы, шатуны, поршни, паровые клапаны, краны, ручки и всякую машинную мелочь.

Рядом с формовочной, бок о бок, соорудили литейную в одну обжигательную печь и одну плавильню.

В печь закладывали пятипудовые болванки, раскаливали докрасна и перетаскивали на обрубной станок. Открывали чугунные створки печи, подкладывали под болванку стальную доску — «скат», нажимали на ее противоположный конец, и болванка по ней выкатывалась на землю. Тогда с балки у потолка спускали цепи с крючьями, обхватывали ими болванку, воротом тянули цепи, поднимали болванку, подвозили под нее тележку с длинными оглоблями и перевозили либо на обрубочный станок, либо на прессовальный молот.

Обрубочный и пресс были последними техническими новинками. Каждый из них проводился в действие неуклюжими

паровыми машинами с огромными маховиками и пронзительными свистками. У паровиков важно сидели немцы-мастера с толстыми трубками, попыхивая вонючим табаком.

Совсем недавно земля, занятая этими двумя цехами, принадлежала рабочим, проживающим в заводском поселке Митяеве. Здесь росли тощие кечны капусты, картошка и репа.

Дирекция завода предложила рабочим сто пятьдесят рублей, чтобы огороды были переданы заводу. Рабочие отказались, справедливо рассчитав, что какой-никакой огородик все же дороже тех 15 — 20 рублей, которые придется на каждого из них.

Тогда приехал чиновник и огласил решение городской управы, из которого рабочие узнали, что земля принадлежит не им, а городу. Управа предложила рабочим в трехдневный срок землю «освободить от незаконного пользования, во избежание привлечения к судебной ответственности за хищение чужой собственности».

Рабочие плюнули, выкопали недозревшую картошку и отступили от огородов. Через неделю завод начал строить здесь формовочную и литейную.

Но одной формовочной и литейной: полукустарного типа было мало.

Для создания машин требовалось всевозможное сырье. Кризисное положение на Урале, металлургическая юность Украины говорили о необходимости иметь собственную сырьевую базу.

Коломенский завод построил рядом с Окой кирпичный завод, где девки, нанятые преимущественно из сплавных «медованных», месили ногами красную глину за 22 копейки в день, а пропившиеся плотогоны и самосплавщики укладывали ее в формах на обжигающую печь.

В 1875 году купили Кулебакский завод в Ардатском уезде Нижегородской губернии, где прокатывали сортовое железо крупного размера и спицы для вагонных колес, а затем порешили перейти на производство стальных болванок, из которых начали вытачивать паровозные оси и колесные бандажи.

Кулебакский завод принадлежал к тем:



малоизвестным и не делающим погоды в промышленности заводам, появление которых в большинстве обязано не только общеэкономическим причинам, но и случайностям.

Говорят, некогда крепостник-самодур князь Ардатский пожелал иметь самостоятельный ход к своей фаворитке, жившей в отдельном флигеле по другую сторону пруда. И вот через пруд сооружается железный виадук со всяческими украшениями, а для виадука строится самостоятельная железопрокатная мастерская. Такова история возникновения Кулебакского завода. Позже, с оскудением именитого дворянства, когда родовые поместья начали переходить в лапы промышленников-купцов, мастерская выросла в завод, поставляющий железо на сторону.

Но дороговизна и сложность транспортировки сырья и изделия пожирала все вырученные суммы — завод всегда был дебитором крупных заказчиков. Нужно было либо расширить его, либо совсем ликвидировать.

Братья Струве, неуклонно следуя политике независимости от поставщиков, считали, что выгоднее Кулебаковский завод сделать своим филиалом, нежели переплачивать за литье на сторону, и очень быстро сговорились о цене с кулебабскими владельцами.

Две стороны оказались одинаково довольными — одни потому, что избавились от убыточного предприятия, другие потому, что приобрели предприятие, от которого зависели.

Но больше всего завод беспокоило топливо. Каменный уголь с Дона шел невероятно долго, портился в пути и обходился втридорога, древесный уголь требовал огромного транспорта и складов для хранения; дрова не давали нужного коэффициента полезного действия и заставляли держать специальный транспортный и обделочный штат. Подмосковный уголь, в то время уже начавшийся разрабатываться князем Бобринским, был доступен, дешев, но крайне сернист, влажен и для российского машиностроительного завода, не знакомого в то время ни с агломерацией, ни с извлечением выгоды непосредственно из самой серы,

был убыточным. Его покупали в незначительных размерах для отопления квартир и подсобных заводских помещений.

Топливо, таким образом, долго оставалось для Коломенского завода крайне острой, неразрешенной проблемой.

Коммерсант Голпинг, занимавшийся маклерством и комиссионерством, узнав о топливном кризисе завода, за бесценок приобрел торфяное болото в 12 верстах от огромного окского села Белоомута, никогда не знавшего ни барщины, ни помещицкой плетки. Господин Голпинг предложил белоомутским мужикам работать на болоте. Белоомутцы отказались. Тогда Голпинг, с помощью старосты и волостного старшины, уплатив за пять крестьянских семей многолетние податные долги, вынудил их переселиться на болото, — крестьян прозвали «переселенцами», а болото «Сельцами». Но белоомутцы все-таки на торфу не работали, и Голпингу пришлось вербовать торфяниц в Скопинском уезде Рязанской губернии.

Торф добывали вручную, лопатами. Из вязкого болота извлекали ржавые сшметки крутой гущи, клали рядами высушивать на бугре.

Жили в землянках и дощатых сараях. Низкорослые, кряжистые девки, укутанные до глаз толстыми платками, чтобы «комарь не заедал», с зари до зари топтались по колено в болоте. Заработок был мизерный, труд изнурительный. На торф шли самые захудалые, зашибленные нуждой крестьянки.

Приходили скопинские на торфоразработки гуртом, с котомками за плечами, предводительствуемые хозяйским приказчиком, который обычно ехал впереди в тарантасе, с очередной избранницей из завербованных торфяниц.

На дорогу торфушкам выдавались кормовые, приказчик обязан был на стоянках кормить их щами и кашей, но обычно вместо обеда выдавал по рублю «на рыло» на весь путь, выгадывая для кармана кругленькую сумму.

На болоте тот же приказчик разводил девчат по баракам, назначал из них стряпуху, задавал «урок», и торфяницы передавались десятнику.

Но, несмотря на тяжесть работы, грязь, неустроенность, произвол приказчиков и десятников, скопинки охотно бросали свое хозяйство и уходили на болото. В деревне жизнь была так беспросветна, так нищенски-голодна и безрадостна, что самая возможность независимого существования от домашней маяты рисовалась настоящим счастьем. Вечерами до полночи плыли в болотном тумане унылые рязанские песни, пилакала гармоника, и взметывались девичьи визги. Белоомутские парни ходили гулять на болото и, щеголяя ластиковыми рубашками, сокрушали сердца неприхотливых девушек.

Работницы жестоко страдали от малярии. Лихорадка трепала сутками. Подруги знали, что, ежели кожа вся зажелтела, а глаза замутнели, до смерти недалеко.

Лечились ромашкой, муравьиными яйцами и березовым соком. Умерших хоронили в Белоомуте. Поп встречал у кладбища, наскоро отпевал, девчата опускали ящик в яму, вырытую собственными руками, и отправлялись к писарю, который за гривенник отписывал на деревню, что «раба богия представлена сего дня, месяца и года».

Немало кончали жизнь самоубийством, вешались на чистеньких березках, травились серой, исходили кровью от неудачной операции повитухи.

В эти дни в бараках, на работе властвовала мрачная, затаенная злоба. Девки дерзили приказчику, не слушались десятников, грозили «бросить каторгу» и скопом уйти домой.

Начальство на время пряталось по своим избам, милостиво жертвовало ведро водки, — торфяницы напивались, из Белоомута приходили ребята с гармонью, и в надрывном разгуле топлила душевная тягота.

И все-таки торф Голпингу не приносил выгоды. Он был маклер, комиссионер, ростовщик, а не промышленник. Он не умел и не хотел возиться с наймом, расчетом рабочих, оборудованием производства, заказчиками, транспортом. Нажива шла в руки приказчиков, десятников, конторщиков. Хозяину перепадали только крупиды.

Он предложил акционерному обществу Коломенского завода приобрести у него огромное, с богатейшими залежами, знаменитое и в наши дни, Селецкое торфяное болото.

Аманд Егорович сидел у себя наверху в кабинете, украшенном бухарским ковром, портретом императора в золотой раме от потолка до пола и пышной, стрельчатой пальмой. Не успел служащий подать почту, как к парадному подъехал тарантас на железном ходу, пыльный, грязный и облезлый. Тройка разномастных коняг, бряцая колокольцами, понуро встала.

Мешок с сеном на козлах, синяя рубашка кучера и ящик на рессорах сзади кузова для овса свидетельствовали о дальнем пути и незнатности приехавших.

Обивая пыль с крылатки и с сапог, из тарантаса вылез господин Голпинг. Не обращая внимания на вопрос швейцара и на подчеркнуто-медленное открывание перед ним двери, господин Голпинг обер клетчатый платком лицо и, шумно высморкавшись, независимо застучал каблуками по каменной лестнице.

Он знал о топливном кризисе завода и не сомневался в удаче и желательности своего визита.

Приобретением болота завод одним выстрелом убивал двух зайцев: становился собственником топлива и ликвидировал топливный голод завода.

Сделка состоялась быстро и легко.

В механической мастерской устанавливали германский токарный станок и новую трансмиссию. Инженер Гейе, попыхивая трубкой, наблюдал за рабочими, поднимающими блоком тяжелый вал. У потолка на лебедке шумели монтеры.

Мастер, толстый, напыщенный, коверкая русские слова, ругался, грозя кулаком вислоусому, костлявому шорнику: неправильный шов стягивал гармонью ремень, и он не лез на маховик.

— Запишу штрафовать!..

Шорник мял в руках грязный картуз, молчал, угрюмо смотря на валяющийся широкий ремень. Мастер вынул тетрадь, негромко произнес:

— Семин, дрей гольден!.. — записал и пошел к станку.

Шорник плюнул на ремень и, провожая удаляющуюся спину мастера свирепым взглядом, злобно выругался. Он зарабатывал 85 коп. в день.

Семен Ситников приходил в механическую за напильником. Он остановился у большого точила и, раскрыв рот, смотрел на мастера и шорника. Это было первое сильное впечатление, оставшееся у него от завода.

Канат тянули неровно. Блоки заедали — трансмиссия то поднималась одним концом, то выравнивалась, то вдруг канат соскальзывал с блока, и трансмиссия застывала на месте.

Гейе, покусывая янтарный мундштук, презрительно щурил серые глаза, тонко ухмыляясь концами губ. Мастера кричали, грозили, рабочие исходили потом.

Трансмиссию не могли поднять второй день. Гейе докладывал дирекции о необходимых мерах воздействия.

— Лучший механизм для русских — штраф! Им выгодно вместо работы проводить дни, уцепившись за канат! Разрешите применить штрафную систему и, смею заверить, — Гейе улыбался, щурился, — вал сам поднимется к кронштейнам!

К концу дня обессиленные рабочие бросили канат. Вал попрежнему висел между закоптелым потолком и землей.

Мастер, строго оглядев поверх очков ммурные лица, без комментариев прочел распоряжение дирекции:

«За ленивое, небрежное отношение к подьему трансмиссии оштрафовать каждого рабочего, занятого на блоке у каната, в размере двухдневного заработка. Предупредить: если завтра — 8 июля — вал не поднимут, означенные рабочие будут уволены.

Главный инженер Гейе.

В воротах цеха стояли стражники в черных папахах с плетками в руках и шашками на боку.

# Илья Репин

(Воспоминания)

К. ЧУКОВСКИЙ

## I

Когда выходишь, бывало, с Репиным из каких-нибудь дверей или ворот, он никогда не выйдет первым, но с самыми почтительными жестами предоставит эту честь тебе. Любила кланяться, благодарить, восхищаться. Когда в 19-м году, в голодное время, финский крестьянин Осип Костийнен прислал ему со своей дочерью в подарок немного муки, он встал перед нею на колени и повторял: благодарю, благодарю! Это вышло у него изящно, по-художнически, — наполовину шутка, наполовину игра, но вообще такая умеренность жестов и слов была стилем его поведения.

Стоило посмотреть на него рядом с каким-нибудь второстепенным писателем, музыкантом, актером, чтобы понять, до какой степени была велика у него жажда восхищаться людьми: «Это гениальный певец!», «Это гениальная натура!» Кажется, не было дня в его жизни, когда он не считал бы кого-нибудь из своих окружающих гением.

Он вообще любил в людях только талант и льнул только к талантам, и слово бездарность было в его устах величайшим ругательством. «Баба, взявшаяся готовить нам пищу, оказалась невообразимой бездарностью» — писал он в своих воспоминаниях о поездке на Волгу.

Я любил читать ему вслух: он слушал не только ушами, но всеми порами,

не пропуская ни одной запятой и вскрикивая в особенно горячих местах.

Когда набиралась книга его мемуаров, у наборщиков нехватало восклицательных знаков. В его письмах, особенно в последнее время, восклицательные знаки были в каждой строке — иногда по три, по четыре под ряд. Первая же статья в его ненапечатанной книге так и называлась: «Мои восторги».

И вот например в каких выражениях писал он о своих музыкальных восторгах:

«Хотелось скакать, кричать, смеяться и плакать, безумно катаясь по дороге! О, музыка! Она всегда проникала меня до костей».

Дальше в этой статье он описывал восторг своей первой любви:

«Я был влюблен до корней волос... Огонь внутри сжигал меня. Остолбенев, я горел и задыхался».

В последнее время эти восторги доводили его до слез. Незадолго до революции я стоял вместе с ним в Русском музее перед брюлловской «Помпеей». Он влюбленно и страстно смотрел на нее, призывая и меня восхищаться. А потом отошел к дверям, отвернулся от обступившей его толпы ротозеев, и глаза у него стали мокрые.

В «Последнем дне Помпеи» его, как известно, восхищала брюлловская техника, к которой смолodu он был так равнодушен. Но не только любозане эстетическое доводило его до восторга. Я и художник Бродский были с ним однажды в Гельсингфорсском музее. Гневно потопав ногами перед ненавистным ему

в ту пору Галленом, Репин вдруг с неожиданной нежностью кинулся к картинам Эдельфельта. Такого сентиментального голоса я не слышал у Репина ни раньше, ни после. Я даже не предполагал, что у него есть такой голос.

— Бедная! — говорил он с необыкновенным участием по адресу плачущей девушки, которая была изображена на картине.

Такое умение восхищаться чужими произведениями, чужими талантами было связано у Репина с величайшей, я сказал бы: неестественной, скромностью. Когда на Волге в 1870 году он собирал материалы для своих «Бурлаков», вместе с ним был пейзажист Васильев. И вот, вспоминая то время, Репин пишет о Васильеве с таким пиететом, будто Васильев был Репиним, а Репин — Васильевым. «Феноменальный юноша», «гениальный мальчик», — иначе он не называет Васильева.

«Меня даже в жар начинает бросать, — пишет он, — от этого дарового спектакля дивного молодого художника, так беззаветно увлекающегося своим творчеством... Вот откуда весь этот невероятный опыт юноши-мастера; вот где великая мудрость и зрелость его искусства... Долго, долго глядел я на него в обаянии».

Когда же он говорит о Куинджи, он весь со всеми своими картинами тает без остатка в лучах его славы:

«Чародей... счастливый радостью победы своего гения, обводил глазами умиленных поклонников».

А когда я однажды, довольно бес тактно, позволил себе сказать ему, что ставлю его выше Крамского, он буквально накинулся на меня с кулаками и фыркал на меня в поезде всю дорогу домой из Петербурга в Куоккалу и на другой день прислал мне письмо, испепеляющее меня презрительной яростью.

О себе же он писал мне в таком стиле:

«Моя картина все еще стоит у меня на мольберте, и я, как вечно неудовлетворенная посредственность, погоняю свою старую клячу Россинанта вдогонку кровных рысаков».

«Разумеется, кляча не выдрессируется (и с большими годами работы) в рыска, и этому никакие колдовства не помогут».

Эта потребность самоуменьшения часто сказывалась в его письмах ко мне.

«Трудолюбивая посредственность, много натворившая ошибок» — говорил он о себе в одном письме.

«Тьма и холод ограничивают даже ограниченностей вроде меня».

И когда я похвалил его картины, «Иова» и «Бурлаков», он ответил на мои похвалы (в одном из предсмертных писем):

«А ведь «Бурлаки» прижарены, «Иов» скомпанован младенчески».

«Вообще о моем таланте, — писал он в другом письме. — Сколько помнится, всегда это был спорный вопрос. И должен сознаться, что сам я был в числе не признающих за собой таланта. И теперь, когда на 83 году жизни я с особою ясностью понимаю, что такое талант, я припоминаю, что еще в Чугуеве в 1856 году своему брату двоюродному я говорил уже трагически, что у меня нет таланта. Он слегка оспаривал, а я плакал внутри».

И вот характерное место из его мемуаров:

«Баронесса В. И. Иксуль умела собирать у себя цвет русской интеллигенции. Здесь бывали кн. Урусов, Короленко, Н. К. Михайловский, С. А. Андреевский, В. Н. Герард, В. Д. Спасович, И. Л. Горемыкин (?), И. А. Вельяминов, Д. С. Мережковский, Э. Н. Гиппиус, Е. П. Султанова, Н. М. Минский и еще другие, все люди интересные, — и я. Какой счастливец! Я даже сам себе завидую: какого общества сподоблялся иногда».

Можно подумать, что это пигмей говорит о титанах и что в самом деле для него, Ильи Репина, было высокой и незаслуженной честью общество Вельяминова, Герарда и Спасовича. Но такая была его натура, и вот характерные отрывки из его писем ко мне:

«Если бы я был красивой молодой женщиной, я бы бросился вам на шею и целовал бы до бесчувствия».

«Радуюсь вашей феноменальной прозорливости...»

«Вы неисчерпаемы как гениальный человек...»

«Вы человек такой сверхъестественной красоты и таланта, вы так щедро изливаетесь ароматным медом...» и проч., и проч., и проч.

Я привожу эти отрывки без смущения: я знаю, что, когда будут собраны тысячи репинских писем к тысячам разных людей, большинство его адресатов окажется «людьми сверхъестественной красоты и таланта».

Во всех этих восторгах была искренность, хотя людям, не знавшим Репина, в них чудилась порою аффектация. Признаюсь, и я поначалу считал его энтузиазмы подогретыми, мне казалось, что за иными его славословиями крылось порой равнодушие, и прошло немало времени, прежде чем я мог убедиться, что в каждом своем восклицании Репин был предельно правдив.

Открылась в Ленинграде выставка художников-формалистов под названием «Салон Издебского». Этот Издебский, человек разбитной и учтивый до наглости, в очень туго накрахмаленной манишке, был у Репина в Финляндии и пригласил его на вернисаж своей выставки. Репин кланялся, благодарил, провожал его до ворот и еще раз кланялся и прижимал обе руки к сердцу. В назначенное время он приехал на выставку. Издебский, сверкая манишкой, встретил его на лестнице и стал рассыпаться в любезностях, и Репин снова кланялся, снова прижимал руки к сердцу и говорил ему приятные слова.

А потом вошел в залу, шагнул к одной картине, к другой и закричал на всю выставку:

— Сволочь!

И затопал ногами, и стал делать такие движения, будто хотел истребить все кругом. Издебский было разлетелся к нему, но Репин в исступлении мог выкрикивать только такие слова, как «карлик», «мазила», «скопец», «лакейская манишка», «холуй», и слова эти сдували Издебского, как буря бумажку.

О таких приступах гнева можно говорить, что угодно, но фальши в них не было ни единого грамма.

Помню, у меня на террасе во время мирного чаепития Репин в присутствии Судейкина, Маяковского, Бориса Григорьева заспорил с футуристами Пуни и Кульбиным о Пикассо — и все порывался в ослеплении гнева схватить руками жаркий самовар, и я несколько раз отводил его руки, а он тянулся к самовару опять и опять и даже ударил меня по руке, а потом всхлипнул — и, не прощаясь ни с кем, выбежал без шляпы из дверей, побежал на берег моря и, когда я кинулся его догонять, отмахнулся от меня с такой злобой, будто я, по меньшей мере, был Пикассо.

Издатель Сытин приобрел у него большую книгу его мемуаров, приобрел очень дешево, но потом устыдился и решил немного прибавить. Эту прибавку должен был передать ему один из сотрудников «Нивы». При деньгах была такая записка: «Ознакомившись с вашим прекрасным трудом, мы считаем приятным долгом препроводить вам дополнительное вознаграждение в сумме 500 рублей».

Эта скарденная щедрость издателя оскорбила Илью Ефимовича. Он выхватил деньги, скомкал их и начал топтать: — Бездарность! — кричал он. — Хам... Бородка!.. Сапоги бутылками: вот, вот, вот...

И сотрудник насилу вырвал у него из-под ног разорванную, мятую бумажку.

Вообще, если у него была величайшая способность восхищаться людьми, то такая же способность была ненавидеть. «Филосошка!» — кричал он о Философове. — «Сошка!», «Куриная головка на ходулях!». «Бенуашка!» — об Александре Бенуа. — «Шарлатан, не ведающий правды!» Этих двух представителей «Мира искусств» он ненавидел свирепо, и когда однажды, в день смерти Толстого, фотограф Булла снял его с номером «Речи» в руках, которая вышла тогда в траурной рамке, он запретил выставлять этот снимок, потому что ненавистный ему «Бенуашка» состоял сотрудником «Речи».

Впрочем, я думаю, что инстинктивно он ненавидел «Речь» и за ее кадетизм. Тот туловатый, близорукий, самодовольный, пиквиккоподобный профессор, с благоухающей розовой лысиной, который являлся, так сказать, эманацией «Речи», был Репину ненавистен, как гроб. Я помню, когда порезали картину «Иоанн Грозный», «Речь» поместила по этому поводу большую статью, где выразила сочувствие Репину. Репин из учтивости выразил ей благодарность. И вот приехали к нему в Куоккалу столпы кадетизма, и Репин повел их к себе в мастерскую и показывал им свои новые полотна, но я видел, что он превозмогает себя, ибо эти люди были враги, или, по его ощущению, «бездарности». И вот, когда один из гостей стал лепетать какой-то трафаретно-эстетический вздор, Репин вдруг задержал портьерой картину, которую тот любовался, а потом другую и третью и сказал скороговоркой: «Идите, идите, уходите, пожалуйста, я боюсь, вы опоздаете на поезд», и буквально вытолкал их из своей мастерской. Напрасно, идя по лестнице, они повторяли ему, что до их поезда еще два с половиной часа, что за ними еще не приехали заказанные ими извозчики, он глядел на них ненавидящим взором и успокоился только тогда, когда закрыл за ними дверь на какой-то специальный засов.

И про этого человека печатали, будто он «лукавый мужичонка», «флюгер», «дипломат», «низкопоклонник», «нашим и вашим».

Слово «флюгер» относится к изменчивости его убеждений. Убеждения его порою действительно круто менялись, но, каковы бы они ни были, он вкладывал в них всю свою искренность.

Выше я говорил, что он топал ногами перед картинами ненавистного ему финского художника Галлена. «Это образчик одичалости художника» — писал он о Галлене в одной из своих давнишних статей. «Его идеи — бред сумасшедшего, его искусство близко к каракулям дикаря».

И вот через 30 лет он написал мне о том же Галлене большое покаянное письмо:

«Я теперь без конца каюсь за все свои глупости, которые возникали всегда — да и теперь часто — на почве моего дикого воспитания и необузданного характера... И вот: Аксель Галлена я увидел впервые на выставке в Москве. А был я преисполнен ненавистью к декадентству. Оно меня раздражало, как фальшивые звуки во время какого-нибудь великого концерта (вдруг какой-нибудь олух возьмет дубину и по стеклам начнет выколачивать в патетических местах). А эти вещи были вполне художественны. И он, как истинный и громадный талант, не мог кривляться. Будучи в Гельсингфорсе, я познакомился с его работами... и гстов был провалиться сквозь землю. Это превосходный художник, серьезен и безукоризнен в отношении к форме: Судите теперь: есть от чего, проснувшись часа в два ночи, уже не уснуть до утра — в муках клеветника на истинный талант... Ах, если бы вы знали, сколько у меня на совести таких пассажиров».

## II

И всю эту чрезмерность страстей вложил он в свое искусство.

Утром, едва проснувшись, он бежал в мастерскую и там буквально истязал себя творчеством. Ибо труженик он был величайший и даже немного стыдился той страсти к работе, которая заставляла его от рассвета до сумерек, не покидая кистей, отдавать все силы огромным полотнам, обступившим его в мастерской. В течение многих лет я был в этой мастерской завсегдаем и могу засвидетельствовать, что он замучивал себя работой до обморока, что каждая картина переписывалась им вся без остатка по десять-двенадцать раз, что во время создания той или иной композиции на него нередко нападало такое отчаяние, такое горькое неверие в свои силы, что он в один день уничтожал всю картину, создававшуюся в течение нескольких лет, и на следующий день снова принимался, по его выражению, «кочевряжить» ее. «Вы ближайший многолетний свидетель, — писал он мне, — моих больших усилий и потуг над писанием моих неталантливых картин. Весь

процесс труженика-самоучки у вас был на виду. От вас я ничего не скрывал. Вы живой свидетель, сколько раз я перестраивал свои картины».

Но в этом самоистязании было все его счастье. Когда только я познакомился с ним, четверть века тому назад, я увидел у него на мольберте картину «Пушкин над Невой», над которой он работал в то время, и когда я был у него незадолго до его смерти, уже во времена революции, все та же картина стояла у него на мольберте. Двадцать лет он мучился над нею, написал по крайней мере сотню Пушкиных, то с одним поворотом головы, то с другим, то над вечерней рекой, то над утренней, то в одном сюртуке, то в другом, то с элегической, то с патетической улыбкой, — и чувствовалось, что впереди у него еще многие годы работы над этой «незадавшейся» картиной. А кругом были десятки холстов, и я знал, что, если на каком-нибудь, скажем, восемь фигур, то в самом деле там их восемьдесят или восемь раз восемьдесят. А в «Черноморской вольнице», в «Чудотворной иконе», в «Пушкине на экзамене» он у меня на глазах переменял такое множество лиц, постоянно варьируя их, что их вполне хватило бы, чтобы заселить целый губернский город. И когда от утомления, от старости у него стала сохнуть правая рука и он не мог держать ею кисть, он сейчас же стал учиться писать левой, чтобы не оторваться от работы ни на миг. А когда от старческой слабости он уже не мог держать в руках палитру, он повесил ее, как камень, на шею при помощи особых ремней и работал с этим камнем с утра до ночи. И когда, бывало, ни войдешь в ту темную, тесную, низкую комнату, которая была расположена под его мастерской, всегда слышишь топот его слабеньких ножек: это значит, что после каждого мазка он отходит поглядеть на свой холст, потому что мазки были у него рассчитаны на далекого зрителя, и ему приходилось проверять их на большом расстоянии, — значит, он ежедневно вышагивал перед каждой картиной по нескольку верст, и только тогда отставал от нее, когда изнемогал до бесчувствия.

Порою мне казалось, что не только старость, но даже и самая смерть он побеждает своей страстью к искусству. Когда я посетил его в Финляндии в 1925 году, я отчетливо видел, что этот «полуразрушенный полужилец могилы» только и держится здесь на земле своей сверхчеловеческой работой, что он только ею и жив. А когда смерть вплотную подступила к нему и он почувствовал, что победа за нею, он написал мне письмо, где весело благодарил уходящую жизнь за то счастье, которым она баловала его до могилы, счастье творческой и страстной работы.

Вот это письмо:

«... Я желал бы быть похороненным в своем саду, в указанном мною месте — быть закопанным — с посадкою дерева в могиле же. По словам опытного финна, ящика, то-есть гроба, не надо... Дело уже не терпит отлагательства! Вот, например, сегодня: я с таким головокружением проснулся, что даже одеваться и умываться почти не мог: надо было хвататься за печку, за шкапы и прочие предметы, чтобы держаться на ногах.

Да, пора, пора подумать о могиле, так как Везувий далеко, и я уже не смог бы доползти до кратера. Было бы весело избавить всех близких от расходов на похороны. Это тяжелая штука...

Пожалуйста, не подумайте, что я в дурном настроении по случаю наступающей смерти. Напротив, я весел — даже в последнем сем письме к Вам, милый друг...

Я уж опишу все: в чем теперь мой интерес к остающейся жизни, чем полны мои заботы.

Прежде всего я не бросаю искусства. Все мои последние мысли о Нем, и я признаюсь: работал все, как мог, над своими картинами... Вот и теперь, уже, кажется, больше полугода я работаю над — (уж довольно секретничать!) над картиной «Гопак», посвященной памяти Модеста Петровича Мусоргского. Такая досада: не удастся кончить. А потом еще и еще: все темы веселые, живые...

А в саду никаких реформ... Скоро могилу копать буду. Жаль, собственноручно не могу, не хватит моих ничтожных



сил, да и не знаю, разрешат ли? А место хорошее, под Чугуевской горой. Вы еще не забыли?

Ваш Илья Репин».

Даже в этих предсмертных словах одряхлелого Репина, когда, казалось, дунь на него, и он рассыплется в пыль,— то же упорное труженичество и та же неукротимая страстность. Вы видите, что каждой каплей своей умирающей крови этот человек боролся со смертью — и побеждал ее. Омертвевшими руками, по пояс в могиле, пишет он мажорную картину, прославляя счастье молодости, веселую пляску и смех. Каков же был этот человек в полном расцвете всех сил, когда на одном мольберте стоял у него «Крестный ход», на другом — «Не ждали», на третьем — «Иван Грозный, убивающий сына», на четвертом — «Исповедь перед казнью», на пятом — портрет Стасова, на шестом — портрет Гаршина, а на седьмом — тайно от всех — «Запорожцы», когда Крамской писал о нем: «Он точно будто вдруг осердится, распалится всей душой, схватит палитру и кисти и почнет писать по холсту, словно в ярости какой-то. Никому из нас не сделать того, что делает теперь он». Эта ярость, это бешенство, эта напористость творчества, эта прожорливая жадность к живому человеческому мясу, к человеческим лицам, глазам, волосам, к человеческим позам и жестам, ко всем «предметам предметного мира», эта безмерная влюбленность в осязаемую, зримую плоть, которую с чувством неиссякающего счастья он запечатлевал у себя на холстах, придавая ей такую выразительность, такую, я сказал бы, громогласность, что на каждой его картине, на каждом портрете она буквально кричит о себе — вся эта могучая темпераментность творчества и сделала его великим реалистом. Это не был бесстрастный копировальщик природы, он писал ее восторженно, благодарно и нежно, и я тысячи раз подмечал у него сладострастное и алчное выражение лица, с которым он вглядывался в то, что писал. Он сам говорил мне, что чаще всего, когда он пишет чей-нибудь портрет, он — на короткое вре-

мя — влюбляется в того человека, испытывает к нему удесятенное чувство благожелательности и почтительной нежности, и, я думаю, это происходило от той страстной любви, с которой он относился ко всякому объекту своего мастерства. В тот период, когда он писал мой портрет, он ездил в город на все мои лекции, преувеличенно хвалил мои тогдашние книги, и вообще то был медовый месяц наших отношений, никогда не повторявшийся. Такой же медовый месяц был у него с академиком Бехтеревым, с Владимиром Короленко, с Вильгельмом Битнером, с Сергеем Городецким, с Семеном Грузенбергом, с артисткой Яворской, с Шаляпиным, со всеми, кого писал он при мне. Эта временная влюбленность портретиста в натуру всегда поражала меня своей внутренней — я сказал бы: профессиональной — целесообразностью, неясной ему самому. В 1908 или в 1909 году он читал мне наизусть многие стихотворения забытого Фофанова, написанные еще в восьмидесятых годах — именно в тот самый период, когда Фофанов позировал ему для портрета. Эти стихи остались в Репине от его медового месяца с Фофановым. И всем памятна его влюбленность в Канина, в того бурлака, которого он увидел на Волге.

«Я иду, — сообщает он сам в своей книге, — рядом с Каниным, не спуская с него глаз. И все больше и больше нравится он мне. Я до страсти влюбляюсь во всякую черту его характера и во всякий оттенок его кожи и посконной рубахи. Какая теплота в этом колорите!»

И на следующей странице опять:

«Мне казался он величайшей загадкой, и я так полюбил его».

И дальше:

«Целую неделю я бредил Каниным».

И через несколько страниц опять:

«Я писал наконец этюд с Канина! Это было большим моим праздником».

Драгоценна в этих мемуарах та строка, где он говорит, что влюбился не только в живописные качества Канина, не только в теплый колорит его кожи и его посконной рубахи, но и «во всякую черту его характера». Репин потому-

то и был величайшим портретистом-психологом, что умел восхищаться натурой не только как сочетанием таких-то линий и таких-то красок, а раньше всего как характером, который открывался ему во всей своей сути именно в этот краткий период влюбления.

Но конечно чисто художническое любовование линиями, красками, пятнами было свойственно ему в огромных размерах. Помню, как-то зимою, в Куоккале, у него в саду, разговаривая с ним, я увидел, что у меня под ногами на белом снегу какая-то из репинских собак оставила узкую, но глубокую желтую лужу. Я, сам не замечая, что делаю, стал носком сапога сгребать окружающий снег, чтобы засыпать неприятное пятно... и вдруг Репин застонал страдальчески:

— Что вы! Что вы! Я три дня хожу сюда любоваться этим дивным янтарным тоном... а вы...

И посмотрел на меня так укоризненно, словно я у него на глазах разрушал высокое произведение искусства.

То была не прихоть, но основа основ его творчества, и он не был бы великим реалистом, если бы самые низменные пятна и краски нашего зримого мира не внушали ему такой любви.

Тот же влюбленный голос, восхищавшийся «дивным янтарным тоном» неприличного собачьего пятна, с той же самой интонацией нежности, прошептал мне однажды, когда мы шли с Репиным об руку в деревне по скользкой февральской дороге.

— Си-ри-ус. Ну есть ли где звезда лучше этой? Остальные рядом с нею — как стеклушки. Си-ри-ус.

Однажды он рассказывал мне, как он влюбился в солнце.словно впервые увидел его ранним утром на востоке в деревне. И в глазах завертелись кружки, зеленые, красные, синие — эти-то кружки он и воспроизвел на холсте, чтобы передать во всей точности очарование восходящего солнца. Я как-то напомнил ему об этом этюде, и он прислал мне письмо, где между прочим писал:

«... Не «эюд», а картина, с кружками в глазах от солнца — писалась мною все лето в Здравневе, забыл, в котором году. Всякий солнечный день — к вос-

ходу солнца, я бежал на берег Западной Двины, от дому шагов 30. Алчно глотал: и тон неба, и розовых перистых облаков над солнцем, это, к досаде, редко повторялось, и, как дополнения: обмелевшую, в продолжение лета Двину (над порогами против нас), и лес сейчас же за рекой. Однажды в Москве я нечаянно увидел ее [эту картину] уже на стене; она была в хорошей широкой раме — и я сам залюбовался на нее; и у меня началось в глазах движение маленьких дисков — зеленых, красных, синих...»

Великолепно здесь выражена эта жадность репинского глаза: «алчно глотал и тон неба, и обмелевшую в продолжение лета Двину, и лес сейчас же за рекой».

Алчное глотание зримого чувствовалось у него в каждом этюде. Уже когда он был стариком, доктора запретили ему работать без отдыха и потребовали, чтобы хоть по воскресеньям он не брал в руки ни карандашей, ни кистей. Для него это было мукой. Он приходил каждое воскресенье ко мне, и я, повинувшись его докторам, прятал от него карандаши и даже перья. Он покорно переносил эту тяготу, но стоило войти ко мне в комнату какому-нибудь живописному гостю, стоило мне зажечь мою вишечную лампу, которая по-новому освещала присутствующих, — и Репин с тоскою оглядывался, нет ли где карандаша или пера. И, не найдя ничего, хватал из пепельницы папиросный окуроч, макал его в чернильницу и на первой же попавшейся бумажке начинал рисовать.

Таких рисунков сохранилось у меня около дюжины. Многие вошли в мою «Чукоккалу». Некоторые из них изумительны, хотя после окончания каждого он приговаривал удрученным, виноватым, разочарованным басом: «Ради бога, никому не показывайте. Ох, какая вышла банальщина». Он действовал окурком, как кистью, и чернильные пятна чудодейственным образом создавали впечатление живописи. Вглядываясь в эти чернильные пятна, сделанные размякшим и разбухшим окурком, я всегда восхищался их изощренной тональностью,

и мне вспоминались слова одного враждебного Репину критика: «Есть одна область, где одаренность Репина почти несравненна: это область тональных определений. Точность и легкость, с которой он фиксирует световые градации цвета в зависимости от его положения в пространстве, быть может, самая высшая черта репинского таланта».

В «Чукоккалу» он набросал, между прочим, портрет одной ничем не замечательной женщины. В ее портрете чернильные пятна, благодаря своим богатым тональностям, воспринимаются, как самые разнообразные краски, и ими артистически переданы: и фактура ее одежды, и начинающаяся дряблость ее стареющей кожи, и рассыпчатость ее каштановых волос.

Но дело этим отнюдь не кончается, ибо сила Репина вовсе не в этом, не в механическом воспроизведении зримого. Сила его в том, что и телом, и лицом, и руками, и всей своей элегической позой эта женщина выражает собою на рисунке одно:

Ту кроткую улыбку увяданья,  
Что в существе разумном мы зовем  
Возвышенной стыдливостью страданья.

Сила его в этом непревзойденном умении выражать психическую сущность человека каждой морщинкой у него на лице, каждой складкой у него на одежде, малейшим поворотом его головы, малейшим изгибом мизинца. Ведь «кроткою улыбкой увяданья» у этой женщины улыбается не только лицо; такая же улыбка сказала и в том, как она держит свои безвольные руки и как обвисли волосы у нее за спиной. Тут не только психология, тут лирика, и заметить во всем этом одни лишь тональности — значит просто ничего не заметить.

Сколько персонажей в «Крестном ходе», и, хотя все они сбиты в густую толпу, которая ползет по раскаленной дороге, укутанная дымовую завесой пыли, там нет ни одного человека, который и походкой, и прической, и одеждой, и жестом не выражал бы самого существа своей личности, из которого, так сказать, не перла бы его биография. О том, как игриво и франтовато, и ко-

кетливо машет щеголь-дьякон кадилом и с какой коровьей покорностью шагают скудоумные, тощие странницы, и как монументально-увесисто шествует рядом с иконой мясомордый разопревший кулак, и какая важная и в то же время смиренно-подобострастная, семенящая походка у двух богомолок, которые благоговейно несут пустой деревянный футляр от иконы, и какой раздувшейся вошью выступает во всей своей славе коротконогая и потная помещица, — все это с такой же экспрессией мог бы изобразить лишь один человек: Лев Толстой. Лишь у Льва Толстого нашлись бы слова, чтобы описать каждого из этих людей: так сложны и утонченны характеристики их, сделанные репинской кистью. По своей композиции эта картина выше всего, что было написано Репиным, ибо, несмотря на всю рельефность и яркость отдельных ее персонажей, ни один из них не выпячивается из общего целого: все это множество походок, бород, животов, и низкие лбы, и хоругви, и нагайки, и потные волосы, — все это так естественно склеилось и переплелось в одну массу, как нигде, ни на одной картине. Рядом с этим изображением толпы все другие кажутся фальшивыми. Здесь предельная степень реалистической правды. И правда тональностей тут так велика, что, если смотреть на эту процессию десять минут, стереоскопичность ее дойдет до иллюзии, и задний план ее отодвинется далеко в глубину, по крайней мере на четверть версты. И я никогда не пойму, каким приемом достигнуто то, что вся эта процессия движется, словно в кино: движутся даже те верховые, у которых не видно коней: только туловища их торчат из толпы, и эти туловища мерно колыхаются, каждое своим собственным ритмом.

Воображаю, с какой радостью лакомки писал Репин все эти сотни фигур. Вот настоящее слово: он лакомился в этой картине людьми, для него был истинный пир: запечатлеть на холсте всю эту многообразную плоть — и кажется, если бы ему предоставить возможность, он мог бы растянуть эту толпу не на четверть версты, а на два-

дцать, на сорок, и все же не утолил бы художнического своего аппетита. Вообще глаза у него были ненасытные. Едешь с ним в вагоне, в трамвае, и видишь: с любопытством иностранца, впервые попавшего в нашу страну, вглядывается он в каждого сидящего перед ним человека и мысленно пишет его воображаемой кистью. Или встанет в театре, в фойе, или в «Пенатах» во время съезда гостей и, подняв одно плечо и прищурившись, хватает, хватает глазами и игру светотени, и компоновку фигур, и позы, и гримасы, и улыбки, и лицо у него становится, как у лакомки во время еды. В этом смотре, в этом восприятии зримого была для него творческая радость. «Мои лучшие картины — ненаписанные» — говорил он обычно с преувеличенным вздохом, едва только замечал уголком глаза, что я настиг его за этой потаенной работой. И куда бы ни шел, — хоть в столовку, хоть в оперу, — брал с собою альбом для этюдов и при малейшей возможности (порою на ветру, на морозе) заносил туда, что бросалось в глаза. Рисовать было для него все равно, что дышать: потому что, хотя большие картины давались ему ценою величайших усилий, рисование с натуры было таким естественным проявлением его организма, как, скажем, еда или сон. И вряд ли был на земле человек более счастливый, чем Репин, когда быстро-быстро, с неизменной удачей, он лепил карандашом на бумаге рельефы человеческих лиц. В это время у него в глазах было такое выражение счастья, будто он всю жизнь того лишь и ждал, чтобы воспроизвести именно это лицо.

Об этом счастье он и сам говорит в своей книге:

«Весь мир забыт, ничего не нужно художнику, кроме этих живых форм: в них самих теперь для него весь смысл и весь интерес жизни».

Все свои старые альбомы с рисунками он сохранял при себе, так что у него к старости составила целая библиотека альбомов (несколько книжных шкафов), которую он почти никому не показывал. Когда в 15-м году, в виде особой милости, он позволил мне перелистать эти альбомы, предо мной открылся новый

Репин, заслонивший даже того Репина, которого я знал по картинам.

Самый штрих его карандаша, самый почерк, — железный, когда передает он железо, и бархатный, когда передает он бархат, воспроизводящий самое существо каждой вещи, ее основную природу, — очаровал меня своей артистичностью.

В этом штрихе был весь Репин: как будто податливый, как будто уступчивый, как будто неуверенный, как будто безвольный, а на самом деле несокрушимо напористый. В его рисунке не было одной лаконической линии, все больше тонкие и как бы слабые черточки, но хватка у него была мертвая, и какая бы вещь ни попала под его карандаш, он транспортировал ее к себе на страницы со всеми ее индивидуальными качествами, во всей ее корявой неказистости.

Одних только этюдов к «Запорожцам» было у Репина несколько сот, — квинт-эссенция тогдашней украинской жизни, — и мне чудилось, что в них даже штрих украинский: мягкий, музыкальный, лиричный, и по своему мастерству, по своей пластике, по своей выразительности они показались мне гораздо выше самих «Запорожцев», но, когда я попробовал заикнуться об этом, Репин сердито нахмурился: он не придавал этим этюдам самостоятельной ценности и видел в них лишь черновые наброски для задуманных им картин. И ему было даже как будто неловко, что этих набросков так много, хотя он и любил повторять, что так называемое вдохновение есть, в сущности, награда за каторжный труд.

«На девятом десятке лет моих усилий, — писал он мне незадолго до смерти, — я прихожу к убеждению, что мне надо вообще очень долго, долго работать над сюжетом (искать, менять, передельвать, не жалея труда), и тогда в конце концов я попадаю на неожиданные клады, и только тогда чувствую и сам, что это уже драгоценность... нечто небывалое, редкость».

Где теперь его рисунки, неизвестно. Говорят, разворованы мелкими хищниками, окружавшими его в годы его старческой дряхлости.

## III

Весь стиль его жизни был под-стать его великому труженичеству. У него была теория, что, если он позволит себе какую-нибудь житейскую роскошь, его творческая сила захиреет. Горькая участь Крамского, который, поддавшись соблазнам запоздалого комфорта и барства, так и не написал одной из самых заветных картин, постоянно стояла у него пред глазами, и он держал себя в ежовых рукавицах, не позволяя себе ни на миг превратиться в «баловня славы». Не то, чтобы в каретах, но и на извозчиках ездил он редко, а все больше в трамвае или в конке. Очень много ходил пешком. Приезжая из Куоккалы в Питер, обедал не в ресторане, а в дешевых столовых, тратя на свою еду копеек сорок или пятьдесят, не больше. Сам убирал свою комнату, сам чистил свою палитру. Ненавидел, чтобы ему угождали, и горе было тому человеку, кто пытался поддержать ему пальто. Со своими учениками и вообще с молодыми чувствовал себя на равной ноге, по-товарищески. И каждую свободную минуту учился: на восьмидесятом году своей жизни снова взялся за французский язык, который изучал когда-то в юности. (Впрочем это произошло оттого, что он влюбился в одну молодую французенку, ибо влюбчив был всегда, как подросток.)

И тогда же, или годом раньше, в декабре 1923 года, — семидесяти девяти с половиною лет, — вздумал ехать из Финляндии в Америку с выставкой своих стариковских картин. Какой-то импрессарио прислал ему оттуда приглашение, и он согласился немедленно.

«Буду собираться к от'езду» — сообщил он мне в тогдашнем письме.

И меня приглашал с собою.

«Вам-то при вашей героической подвижности—что вам стоило бы перемахнуть чеерз океан—ведь вы там были бы, как дома, и там (переезжая из города в город) по указанному нам маршруту вы, красавец, вашим ангельским голосом читали бы [лекции] по-английски!? А?»

«А назад на самолете — через весь океан».

В семьдесят девять с половиною лет! Но встретились препятствия, и вот через два месяца (в феврале 1924 года) он пишет мне такую невероятную строчку:

«Относительно Америки это, пожалуй, было бы немножко рано».

Не позволял себе никаких сколько-нибудь значительных трат, и в этом отношении доходил до чудачества: узнав например, что билеты в петербургских трамваях стоят по утрам пятак, а не гривенник, старался приезжать в Петербург спозаранку, чтобы сберечь пятак. И, хотя был горячим любителем дорогого китайского чая, довольствовался ежедневно дешевой, а хороший заваривал только по торжественным дням для гостей. И, получив какой-нибудь перевязанный бечевкой пакет, не торопился резать бечевку ножом, но медленно и терпеливо разматывал, чтобы сохранить ее в целости.

Был ли он скуп? Познакомившись в Куоккале с одним высланным из Петербурга литератором, который очень нуждался, он дал мне новенькую сторублевку и сказал:

— Передайте ему... Мундштуку... Скажите, что аванс из редакции.

Литератор назывался у нас Мундштуком, так как от долгого курения пропах никотином, и если он жив до сих пор (а я встретил его недавно в Москве), то исключительно благодаря тем «редакционным авансам», которые в то время выдавал ему Репин.

Всякую физическую работу уважал чрезвычайно и, когда у него в саду бурили артезианский колодезь, громко восхищался латышами-бурильщиками и сердился, если мы не восхищались. И, покуда у него хватало силы, ежедневно работал в саду лопатой, пилой, топором. Спал всегда на воздухе, у себя на балконе, даже в январе и феврале. Аккуратен был во всем до педантизма. И если брал у вас взаймы, скажем, восемь копеек, шагал потом три километра по лужам, чтобы отдать этот долг.

На все обращенные к нему письма (кого бы то ни было) считал своим дол-

гом ответить, тратя на это по несколько часов каждый вечер. Чтение книг и журналов было его ежедневной привычкой. Каждую книгу он воспринимал, как событие. И разнообразием литературных своих интересов превосходил даже профессиональных писателей. Это разнообразие сказалось во многих его письмах ко мне.

«Перечитываю Короленку, — писал он мне на 83-м году своей жизни. — Какая гениальная вещь его «Тени». Я удивлен, поражен и никогда не мог представить себе, откуда у него такое знание греков, — и так универсально! Ах, что за вещи! (Сократ, Олимп, граждане Эллады.) Как мог он так близко подойти к святой святых язычества. Такие живые портреты, нет, это выше всяких портретов! И подумать только: это сделал наш простоватый полтавец — чудеса!.. А его мелкие жанры. А помните наши сеансы здесь: он образец скромности и правды».

И вот отрывок из другого письма:

«На днях Юра дал мне на прочтение «Врубеля» Грабаря. Прекрасная вещь: умно, интересно и даже с художественностью написано. Bravo, Грабарь! И Врубеля мне стало еще жальче и еще жальче. Ах, что это было за бедствие — вся жизнь этого многострадальца! И какие есть перлы его гениального таланта».

«А я принялся читать Луначарского — и удивлен, за что его ругают. У него очень много интересного в «Критических этюдах», особенно о Горьком... И большая смелость и пронзительность в мыслях. Вообще в новой литературе теперь так много талантливости, совсем неожиданно. Да, Россия еще жива».

И через несколько дней:

«Есть чудо! это чудо — Д. И. Яворницкий, «Две поездки в Запорожскую Сечь» Яценко-Зеленского, монаха полтавского монастыря в 1750—1751 г.». Выпишите скорей эту брошюру. Это такой шедевр литературного искусства. Этот монах Яценко, уже почти 200 лет назад, был экспрессионистом в нашей литературе, и его книжку прочтете, не отрываясь. Его небезукоризненная грамота Екатерининского времени с неве-

роятной живостью рисует Запорожье. Уверен, что вы, как и я, старый дед, будете танцевать от радости — от писаний Яценко-Зеленского».

Здесь, в этих случайных отрывках, диапазон его литературных интересов: Луначарский и — старинный монах, биография Сократа и — Врубеля.

Плясовая рецензия о «Двух поездках в Запорожскую Сечь» была написана им на 84-м году его жизни.

Помню то волнение, с которым читал он «Письма из Сибири» Чернышевского. Одно время он даже картину хотел написать: «Казнь Чернышевского» и собирал для нее материал. Похоже, что культ Чернышевского остался в нем от юношеских лет, от шестидесятых годов, когда слагалась его духовная личность. И он уже был генералом, превосходительством, ректором императорской Академии художеств, а имя Чернышевского произносил с пиететом. Особенно ценил он «Что делать?» и знал оттуда несколько страниц наизусть — главным образом «Сон Веры Павловны».

Однажды он вошел ко мне в комнату, когда я кому-то читал знаменитый пасквиль Достоевского «Крокодил или пассаж в Пассаже», где, как полагали когда-то, высмеян сосланный в Сибирь Чернышевский. Вошел и тихо присел на диванчик. И вдруг через пять минут диванчик сделал широкий зигзаг и круто повернулся к стене. Очутившись спиной ко мне, Репин крепко зажал оба уха руками и забормотал что-то злое, покуда я не догадался перестать.

Вообще прослойки радикализма шестидесятых—семидесятых годов, оставшиеся в нем от студенческих дней и сильно отразившиеся в его лучших картинах, давали себя знать и в позднейшее время.

Вот например, как отзывался он в одном из своих писем ко мне о русском павильоне на Всемирной выставке в Риме:

«Как не стыдно строить и тут, в изящной, живой Италии, — острог. Самый рабовладельческий вкус времен Очакова и покоренья Крыма. Так и чувствуешь крепостных строителей [работающих] из-под плетей помещиков, — толстопу-

зых, как эти безвкусные колонны. Все это рабское кажделение тьме».

Такой народнический радикализм в оценке произведений искусства был свойственен Репину далеко не всегда, но я помню десятки случаев, когда он напал например на модных французских художников за то, что их искусство — порождение буржуазной пресыщенности, потрафляющее вкусам «финансовой сволочи».

Уже в 25-м году, когда он жил в эмиграции, в печати появилось двухтомное издание переписки Победоносцева и Александра III, где, между прочим, Победоносцев отзывается с большой неприязнью о картине Репина «Иоанн Грозный, убивающий сына». Я переписал это письмо и послал его в Финляндию Репину.

Репин отозвался немедленно:

«Строки Победоносцева и выписывать не стоило: в первый раз я вижу, какое это ничтожество, полицейский. А Александр III — осел во всю натуру. Все яснее и яснее становится приготовленная ими самими для себя катастрофа»<sup>1)</sup>.

Таких отзывов я слышал от Репина множество, особенно об Александре III и Николае II. Помню, как обрадовался он тому дерзкому памятнику, который поставил в столице Александру III скульптор Трубецкой. «Верно! Верно! Толстозадый солдафон! — кричал Репин. — Тут он весь, тут и все его царствование!» И, невзирая на травлю черносотенной прессы, бурнопламенно прославляя эту карикатуру на «царя-миротворца».

— Я поздравляю себя, всю Россию и все потомство наше с гениальным произведением искусства, — сказал он в одной из приветственных речей Трубецкому, когда в печати раздался голос, что надо бы взорвать этот памятник пороком.

К нему приезжали от министерства дѣора уговаривать, чтобы он отказался от своих славословий, так как они оскорбительны для вдовы «солдафона» и для

его сына, Николая II, но Репин от этого только сильнее распалился и устроил смелому скульптору такое демонстративное чествование, что многие побоялись принять в нем участие. Было приглашено около двухсот человек, а явилось всего только двадцать, и огромный стол в ресторане Контана, накрытый для этого праздника, показался еще более пустынным, когда к его углу прилепилась крошечная кучка людей, возглавляемых Репиным.

Таких эпизодов я помню не мало: в 1913 году он вместе с Натальей Борисовной Нордман помогал переправлять за белоостровский кордон одного поднадзорного, которому угрожала тюрьма: предоставил ему лошадь, деревенские сани и своими руками онарядил его в путь.

Конечно неустойчивость убеждений Репина каждому бросается в глаза. Кроме радикального народничества, сформировавшего его дарование, в его мировоззрении парадоксальнейшим образом смешивались и толстовство, и порывания мистические, и эстетизм, утверждающий «искусство для искусства». То была очень своеобразная смесь, объясняемая зыбкостью его социальной позиции, но преобладающим ее элементом был радикализм семидесятых годов. Репин «Бурлаков», «Ареста в деревне», «Крестного хода», «Не ждали» сказывался в нем беспрестанно. За год до мировой войны он затеял создать у себя на родине в Чугуеве Трудовую рабочую академию художеств, основанную на таких демократических принципах, которые осуществимы лишь нынче.

— К чорту эти подлые рисовальные школы, плодящие бездарных карьеристов, — грохотал он у себя в мастерской, когда я позировал ему для его «Черноморской вольницы». — Нам нужны не чиновники живописи, бегущие в школу за казенным дипломом, а чернорабочие, мастера, подмастерья. Мы создадим Запорожье искусств, приходи, кто хочет, и учись, чему хочешь. Никаких рангов — ни высших, ни низших, ни этих проклятых дипломчиков! Принимаются люди сбоего пола, всех возрастов, всех наций и званий».

<sup>1)</sup> Приводя это письмо в «Правде», я, к сожалению, допустил при его переписке большую неточность, и теперь воспроизвожу его вновь.

К 70-летию его юбилею я написал в «Русском слове» об этом его проекте небольшую статью и предложил читателям присылать в редакцию газеты пожертвования на Народную академию имени Репина. Прочитав мое воззвание, Репин написал мне в тот же день:

«Вашим лебединым криком на всю Россию в пользу моего Делового двора даже я сам возбужден и подпрыгнул до потолка! Уже полез в карман доставать копейки!».

Копеек в редакцию «Русского слова» посыпалось много, но правительству эта Рабочая академия художеств, естественно, пришлась не по вкусу, и были приняты очень тонкие меры, чтобы затея Репина превратилась в ничто. Местные чугуевские власти повели себя в этом деле дипломатично, политично, лукаво, уклончиво, все больше благодарили и кланялись, а потом пришла война, и все заглохло.

В сущности, это был новый бунт Ильи Репина против Академии художеств, — через сорок лет после первого.

Он так и написал в своем проекте чугуевского Делового двора:

«Самая отвратительная отравка всех академий и школ есть царящая в них пошлость.

К чему стремится теперь молодежь, приходя в эти храмы искусства?

Первое: добиться права на чин и на мундир соответствующего шитья.

Второе: добиться избавления от воинской повинности.

Третье: выслужиться у своего ближайшего начальства для получения постоянной стипендии».

Вооставая против этих бюрократических мерзостей, Репин задумал создать нечто вроде фаланстера Фурье в духе романа «Что делать?». На старости лет он на минуту поверил, что в гнилых недрах тогдашнего общества возможно взрастить такую немислимую в то время коммуны производственно-учебного типа, участники которой делили бы между собою всю прибыль, соответственно с количеством и качеством сделанной ими работы, причем эта коммуна долж-

на была, по замыслу Репина, обеспечить им и пищу, и жилье, и одежду.

Этот запоздалый фурьеризм, не осуществимый в то время нигде на земле, чрезвычайно характерен для Репина, до старости сохранившего нежную память о знаменитой коммуне Крамского, из которой выросло потом передвижничество.

Прослойка радикализма шестидесятых — семидесятых годов сказалась в Репине и позже, во время войны, хотя конечно и он был обманут на первых порах ее живо-либеральными лозунгами. Помнится, в одно из воскресений я предложил моим гостям написать мне в «Чукоккалу», чего они ждут от войны, и все они написали один за другим:

«Ждем полного разгрома тевтонов».

«Уверены, что Берлин будет наш».

И прочее в этом роде.

А Репин, наперекор всем, написал:

«Жду федеративной германской республики!»

Когда же мы спросили у него объяснений, он придвинул к себе чернильницу и тут же в «Чукоккале» набросал небольшую картинку, сохранившуюся у меня до сих пор, как победоносный германский рабочий вывозит Вильгельма Второго на тачке, то-есть пророчески выразил (казавшуюся в то время безумной) уверенность, что конечным исходом войны будет победа пролетариата над старым режимом.

Я не говорю, что эта уверенность была в нем устойчива: он тут же высказывал другие мечты и стремления, но все же такое сочувствие трудящимся массам было органически связано со всем радикализмом его юности, с той, так сказать, стасовской линией, которая, то скрываясь под спудом, то возникая опять, жила в нем до самых октябрьских дней.

#### IV

После Октября я надолго потерял его из виду.

Чукоккала во время революции сделалась заграничною местностью, и он, безвыездно оставаясь в «Пенатах», оказался отрезан от родины.



Лишь в 1925 году, после восьмилетней разлуки, довелось мне снова увидеться с ним.

Но лучше бы этому свиданию не быть, ибо я вспоминаю о нем, как об одной из самых мучительных неудач моей жизни.

Это началось еще в Райоках, на пограничной станции между СССР и Финляндией. Здесь во время таможенного осмотра моих чемоданов подошел ко мне финский чиновник, которого я знал еще в старые годы, и, усмехаясь игриво, сказал, что третьего дня (или несколько раньше) к Илье Ефимовичу приезжали «из вашей Совдепии» два большевистских агента, которые пытались лишить его жизни... но он остался цел и невредим.

— Лишить его жизни?

— Да. Но они сплеховали, и он уцелел.

— Да за что же им лишать его жизни?

— Не знаю, вам лучше знать, вы и сами оттуда.

Я не придавал значения этому бреду, и, чуть только таможенные возвратили мне мой чемодан, помчался по знакомой дороге в Куоккалу.

При встрече со мною Репин не выказал особенной радости и во время утреннего чаепития глядел на меня таким подозрительным взглядом, словно я приехал к нему с камнем за пазухой.

Я конечно не ждал такой встречи, так как незадолго до того он писал мне:

«Ваша доброта невыразима: вы намереваетесь приехать сюда. О, как это восхитительно!»

И вот мы сидим друг против друга, и он глядит на меня с демонстративной холодностью, — и говорить нам решительно не о чем.

После завтрака он чуть-чуть разогрелся, повел меня к себе в мастерскую и показался мне настолько похожим на прежнего Репина, что, когда я упомянул о той странной истории, которую только-что слышал в Райоках, я был уверен, что он попрежнему захохочет и заклемит эти бредни каким-нибудь насмешливым словом, но, к моему изумлению, он

серьезнейшим образом и даже с каким-то укором закивал головой:

— Да, да, приезжали... двое: мужчина и женщина... Оттуда, от вас... И хотели меня отравить.

— Отравить?!

— Да, отравить... но я спасся...

И сейчас же заговорил о другом. Тут только я заметил, до какой степени он одряхлел. С трудом поднимает красноватые веки, и в глазах его старческий голубовато-дымчатый студень. Дряхлый Репин! — неестественное сочетание слов, потому что для всех, кто знает его по картинам, имя его — синоним неиссякающих сил и жаркой темпераментности творчества. А это скопление старческих немощей, — даже странно, что оно называется: Репин.

И картины, которые он пишет теперь, — такие же старчески-немощные. Вот скрипачка Цецилия Ганзен, большой портрет на малиновом фоне, вот старый портрет Шалаяпина, теперь превращенного в голую женщину, вот «Голгофа» (эта лучше других), вот «Финские знаменитости», вот «Радость воскресшего», — можно себе представить, с каким неимоверным трудом дался ему каждый мазок на этих пожухлых полотнах. Подслеповатые, почти незрячие глаза, шаткие ноги, дрожащие руки, обморочный туман в голове, — сколько нужно гениального упрямства, чтобы с такими ресурсами все же принуждать себя к творчеству. И при этом — полное отсутствие памяти. «Теперь у меня никакой памяти, — жаловался он мне в одном из писем. — Когда возьму краску на кисть, то в тот же момент забываю место в картине, куда надо положить краску с кисти. Я и кладу ее обратно на палитру».

Все это подействовало на меня угнетающе.

О своих «Финляндских знаменитостях» он сам рассказал мне со всеми подробностями, как эта картина провалилась на выставке и какое потерпел он фиаско, когда попытался продать ее в Гельсингфорсский музей.

— Ах, мы так бедны, — сказали ему. — У нас нет денег, чтобы заплатить за такую большую картину.

— Так возьмите ее даром. Я жертвую ее в ваш «Атенеум».

— Ах, — отвечали ему, — у нас нет места, чтобы повесить ее: в «Атенеуме» такая теснота!

— Вот до какого позора я дожил: и даром не берут моих картин, — сказал Репин без малейшей аффектации, просто констатируя факт.

Я ушел от него опечаленный. Через два-три дня, когда я пригляделся к его окружающим, мне стала ясна и другая происшедшая в нем перемена: его — беззащитного, хилого — захватила в свои руки верхушка военщины, кишащей в этих пограничных местах. К сожалению, его ближайшие родственники тоже принадлежали к военным кругам. Один из них поселился в «Пенатах» и состоял теперь его секретарем: врангелевский штабс-капитан, участник многих антисоветских кампаний, адъютант белогвардейских генералов, который, по собственному его выражению, «только и ждал, чтобы кликнули клич». Он был теперь ближайшим советником Репина, ежедневно читал ему «Новое время», записки Деникина и многое другое в этом роде.

Впоследствии я убедился, что нигде эмиграция не была так дика и темна, как именно здесь, в двух шагах от советской границы. Чем безумнее был какой-нибудь слух, тем охотнее верили в него эти одичалые люди, да и не смели не верить, так как жили под неусыпным контролем тех врангелевцев, — или, как здесь говорили: галлипольцев, — которые гнездились тогда в этих местах, ожидая, чтобы «кликнули клич».

Всякий инакомыслящий подвергался бойкоту, и его лишали единственного источника жизни: тех скудных и все более скудеющих продовольственных благ, которые выдавались эмигрантам из иностранных «благотворительных» фондов. Естественно, эти люди состязались друг с другом в публичном высказывании невероятных «лыгэнд» о «Совдепии», нисколько не заботясь об их истинности.

Вот «лыгэнды», которые довелось мне услышать в «Пенатах» от людей, окружающих Репина:

— В Москве расстреляны Нестеров, Виктор Васнецов и Поленов за то, что они писали иконы... Красная армия взбунтовалась от голода и взорвала на Неве все мосты...<sup>1)</sup> Русская икра, продающаяся теперь за границей, отравлена, и все, кто решились отведать ее, скончались в мучительных корчах.

Других сведений о Советском Союзе у Репина не было. Все эти годы от самых близких и любимых людей он только и слышал такие легенды. Если бы он не был так стар, он мог бы добраться до истины, но восемьдесят лет — не тот возраст, когда люди бросаются в жизнь, чтобы на собственном опыте проверить, где правда, где ложь.

Впрочем, порою, несмотря ни на что, в нем все же пробуждался прежний Репин. В первый же день моего пребывания в Куоккале в числе тех отвратительных мифов, которые я услышал в «Пенатах», оказался конечно и миф о рожаящих девочках, то-есть о том, что в советских школах, где оба пола обучаются вместе, маленькие девочки будто бы то и дело рожают — тут же в классах, на школьных скамьях.

Я взглянул на Репина. Он, к моему изумлению, сочувственно кивал головой и поддакивал.

И тут я вспомнил, что лет двенадцать назад он в этой самой комнате, за этим самым столом, доказывал мне и Евреינוву, что обучение непременно должно быть совместным, что разделение казенных гимназий на мужские и женские внедряет в детские души разврат, что будущая свободная школа покончит с этим разжиганием похоти и т. д., и т. д., и т. д.

Я напомнил ему эти прежние речи, он, к моему изумлению, опять сочувственно закивал головой.

— Верно, верно, еще бы! А эти рассказы о рожаящих девочках — такая мизерная пошлость!

Две прямо противоположные мысли живут в нем рядом и даже не сталкиваются! Прежний Репин мирно соседствует с новым!

<sup>1)</sup> Так были истолкованы в этих местах те пушечные выстрелы, которые гремели у нас в Ленинграде во время наводнения 1924 года.

Прежний, например, был горячим гонителем всякой церковности и не мог без негодования слышать о «законе божьем», преподаваемом в школе.

А нынче, слушая вопли какого-то гнилозубого юноши, что советские дети воспитываются в духе безбожия, он горестно качает головой. Когда же я напоминаю ему его прежние прямо противоположные мнения, он говорит неожиданно:

— Да, все эти катехизисы — такая византийская мерзость!

Пришла к нему одна антропософка и стала читать реферат «Об эзотерическом значении молитвы господней», он поддакивал и очень хвалил, а потом сказал с раздражением:

— Невозможно слушать эту гиль! К чорту проклятую мистику!

И ушел из комнаты, не дав ей закончить.

А сам каждое воскресенье ходил в новоотстроенную деревянную церковь и пел там на клиросе с певчими.

Двойственность, расщепленность сознания! Сильнее всего она выразилась в его рассказе о подосланных к нему отравителях, о которых я расспрашивал его с большим любопытством.

Я записал этот рассказ слово в слово, стенографически точно и полностью привожу его здесь:

«— В тот четверг, в неурочное время, явились ко мне незнакомые двое, мужчина вот с такими щеками и дама — приятная дама, считая по самому дамскому счету, не старше тридцати лет, милая дама, очень воспитанная. И вообще оба такие учтивые. Говорят: «Простите, что мы явились не в указанный день. Но мы здесь проездом, и наше время не зависит от нас. Мы прибыли от общества Куинджи поднести вам приветственный адрес». И держат в руках эту папку: видите, видите, кожа — и хорошая кожа... Ну самый адрес — банальнейший, обыкновенные фразы: «ты такой-сякой, немаянный...»

Эти два посетителя были: ленинградский доктор Штернберг и его молодая жена. Оба — любители живописи, собиратели картин, друзья художников. Получив возможность побывать за грани-

цей, они простодушно решили посетить оторванного от родины Репина и передать ему привет от его почитателей.

«— Смотрю я на этого Штернберга, — после длительной паузы продолжает рассказывать Репин, — морда у него — вот: комиссарская (хотя держится он очень симпатично), и спрашиваю: разве вы художник? Нет, говорит, я не художник, я — доктор. Это меня разъярило. (Хотя вот и Ермаков — не художник, а тоже был куинджистом, вы помните? <sup>1)</sup>). И я как с цепи сорвался... (мой проклятый характер!) и разругал их во-всю... Они встали, поклонились и ушли, а я сидел, как истукан, и не сдвинулся с места и даже не пошел провожать их... невежа, невежа! [смеется.] А они очень учтивые, благородные, оставили мне чудесный презент: великолепную корзину плодов. Дивная корзина, прямо Рубенс: персики, мандарины, груши... Они ушли, а я съел мандарину и лег. Проснулся с ощущением, что отравлен. Фрукты были пропитаны ядом! Не то, чтобы расстройство желудка, а вот тут, под самую грудь, подперло. Я встал, вышел в сад, пошел побродить у фонтана (а на снегу следы темные, темные!) — потом вернулся, выпил стакан молока. И чувствую: фрукты были пропитаны ядом. Потом приходит ко мне моя модель, — жена офицера Хлопушина, вы ее скоро увидите, я отдаю ей фрукты: везите их в лабораторию в Выборг, нужно сделать им химический анализ».

— А может быть, они были зелены, мандарины и персики?

— Нет, прекрасные... Говорю же вам: Рубенс...

— Итак, Илья Ефимович, вы думаете, что известный, заслуженный доктор, явившийся к вам с приветственным адресом от любящих вас художников, зачем-то захотел сократить вашу жизнь... ради каких выгод? во имя чего?

— Да, да, глупая фантазия, — говорит он уныло, но я по глазам его вижу, что он притворяется рассудительным

<sup>1)</sup> Николай Дмитриевич Ермаков, полковник, собиратель картин — близкий знакомый Репина в предреволюционные годы. Был председателем «Общества А. И. Куинджи».

только из вежливости, а на самом деле верит в эту фантазию твердо.

Впрочем, верит ли? Как будто и нет. Двоеверие. Раздвоение мысли. Излагая весь этот патологический вздор, он, как видно из его собственных слов, какою-то частицею мозга понимает, что это вздор. Скажет фразу, и сам же опровергнет ее. Трегирует своих посетителей, как низкопробных убийц, и тут же, как бы в скобках, сообщает, что лица у них были симпатичные и побуждения добрые. И снова говорит о них со злобой. И тут же, порицая эту злобу, называет себя варваром, невежей и тем как бы зачеркивает все, что сейчас говорил.

Но конечно его близкие приняли меры, чтобы из двух убеждений в нем возобладало наиболее дикое. Когда вечером того же дня я встретился с ним опять, он был уже неколечко убежден, что к нему были подосланы убийцы. Вообще я заметил, что всякий раз, после долгой беседы со мною, в нем как будто пробуждался прежний Репин, но стоило ему остаться наедине со своими, как он опять становился чужим.

На следующий день из Выборгской лаборатории ему сообщили в официальной бумаге, что в присланных им плодах нет ни минеральных, ни растительных ядов, а неофициальная приписка гласила, что, может быть, в той восточной стране, откуда присланы эти плоды, существуют такие яды, которые еще неизвестны европейской науке.

Куоккала загудела об ужасной опасности, которой подвергают великого Репина приезжающие к нему отравители. Лично я этой бумаги не видел, так как тогда же покинул Куоккалу, но впоследствии мне в Ленинграде показывал ее точную копию известный скульптор И. Я Гинзбург, посетивший «Пенаты» через несколько дней.

Остаться в Куоккале я не мог. Обнаружилось, что близкие Репина, давно знавшие о моем предполагаемом приезде в «Пенаты», заранее позаботились о том, чтобы подорвать его добрые отношения ко мне. Потому-то всякую нашу беседу он начинал настороженно, хмуро, с опаской, лишь постепенно оттаивая. Для меня это было мучительно, тем более,

что я хорошо сознавал, что не могу один в два-три дня разрушить до основания ту ложь, которую в течение нескольких лет окружили его.

Раз или два он побывал у меня, раза три я был у него в мастерской, и когда мне почудилось, что он относится ко мне с прежней доверчивостью, я заговорил с ним о том, что надо бы издать в СССР ту замечательную книгу его мемуаров, которую он, по моей усиленной просьбе, написал лет двенадцать назад. Мне хотелось, чтобы эта правдивая и пылкая книга дошла наконец до советских читателей.

Он обрадовался и стал выражать мне свою благодарность, утверждая в своем гиперболическом стиле, что будто бы вся эта книга «взмурована» мною. И мы так воспламенились, что тут же составили план этой книги, и Репин просил меня печатать ее возможно скорее, чтобы он мог дожить до ее появления в свет.

А на следующий день он явился смущенный и сказал, что этой книге не быть. Из разных его недомолвок я понял, что его окружающие, не желая выпускать эту книгу из рук, наговорили ему всяких клеветнических вздоров обо мне и о советском Госиздасе (как он выражался) и тем самым лишили его предсмертного счастья — увидеть свою книгу в печати.

Два часа я доказывал ему, что прятать такую книгу под спуд невозможно, что никакое другое издательство, кроме «Госиздаса», не в силах напечатать ее, но этим я только пуще разжег его ненависть...

Все эти споры и разочарования так огорчили меня, что я внезапно уложил чемодан и уехал.

## V

Уехал я в Гельсингфорс и оттуда прислал ему большое письмо, где пытался объяснить свой внезапный отъезд. Но прежде чем послать это письмо, я разыскал в университетских кругах одного ученого юдаиста, профессора, и попросил его начертать мне еврейскими литерами ту надпись, которая согласно

евангелию была начертана якобы над головой Иисуса. Эта надпись нужна была Репину для его картины «Голгофа».

Он ответил мне горячим письмом, как будто и не было между нами размолвки. «Какое счастье — не нахожу слов. Десять лет ищу эти строки, столь драгоценные для меня: и вот завтра же начну на доске там. Вот радость! Что вы, не заедете ли ко мне [на обратном пути]? Неужели проскочите? Заезжайте. Теперь ведь уже в последний».

Но я «проскочил», не заехал. Через несколько времени наша переписка разгорелась опять, и горечь последнего свидания забылась.

«Как жаль, что вы так скоро исчезли отсюда, — писал он мне в марте 1925 года. — Теперь я припоминаю слова Достоевского о безнадежном состоянии человека, которому «пойти некуда». Я здесь уже давно совсем одинок. Да, если бы вы жили здесь, каждую свободную минуту я летел бы к вам...»

И в январе 1926 года:

«Да, а я, с какой раскрытой душой прибежал бы к вам и через поле, и на край города, чтобы наговориться с вами... О, сколько вопросов спрессовалось в отдельные глыбы!»

Тут только я понял вполне всю беспредельность его одиночества — в плену у чуждых ему, одичалых людей. Всю жизнь он прожил на вершинах культуры: в дружеском и творческом общении с такими людьми, как Лев Толстой, Менделеев, Тургенев, Мусоргский, Римский-Корсаков, Владимир Стасов, Антокольский, Крамской, Гаршин, Чехов, Короленко, Серов, Горький, Леонид Андреев, Шаляпин, Игорь Грабарь и др., — это было его привычное общество. А тут какие-то поручики, антропософы, попы...

Он попытался было сблизиться с финнами. Подарил им деревянное здание театра на станции Оллила (театр назывался «Прометей» и некогда был

куплен им для Наталии Борисовны Нордман), пожертвовал в Гельсингфорский музей всё бывшее у него в «Пенатах» собрание картин (две картины Шишкина, несколько собственных, относящихся к лучшей поре его творчества, бюст Толстого своей работы, и т. д., и т. д., и т. д.).

Подарок был принят с большой благодарностью, финские художники почтили его фестивалем. Покойный поэт Эйно Лейно публично прочитал ему стихи:

Репин, мы любим тебя,  
Как Россия — Волгу.

Вилли Вальгрем, Винкстрем, Галлонен, Ярнфельд, Аксель Галлен — выражали Репину самые лучшие чувства, но все же общих интересов у них не нашлось, и возникшая было дружба заглохла.

Ему оставалось одно: его великое прошлое. И я, чтобы как-нибудь скрасить его сиротство, нарочно уводил его мысли к былым временам и в своих письмах расспрашивал его о прежних его друзьях и картинах. Он охотно откликался на такие вопросы, его письма ко мне приобрели понемногу автобиографически-мемуарный характер, и от этого стали еще драгоценнее.

Благодаря этим письмам предо мною снова возник прежний Репин, — Репин «Крестного хода», «Государственного совета», «Запорожцев», «Не ждали», — непревзойденный драматург нашей живописи, проникновеннейший из русских портретистов и, главное, прелестный человек, о котором еще Гаршин когда-то писал: «Такое милое, простое, доброе и умное создание божье этот Илья Ефимович, и к тому еще, насколько я мог оценить, сильный характер, при видимой мягкости и даже нежности...» «Я рад, что живу [в то время], когда живет Илья Ефимович Репин».

Этот Репин совершенно заслонил предо мною того, которого я увидел в Куоккале в 1925 году.

# Люди и факты

## ЧАРОДИНСКАЯ ДОРОГА

В. Канторович

### Джигит Пантус

**М**олодые чародинцы не хранят в своей памяти преданий о прошлом Тлоха, — так именовали раньше аул Чароду. Жизнь шагает торопливо через горы, катится на дутых шинах по новой дороге, — до старых ли заплесневелых преданий?

Я собрал вокруг себя стариков. Мусаев Али казался среди них патриархом. Как с огромной вершины, с высоты его 80-летнего возраста сглаживались различия в 15 — 20 лет; в разговоре он назвал меня и своего 50-летнего сына молодыми людьми.

Я просил стариков покопаться в памяти, вспомнить, какими событиями, какими людьми замечательна история Тлоха.

Старики поговорили между собой; потом Мусаев Али ответил за всех:

— Скучно жил Тлох. Скучно жил Тлох. Не помнят старики никаких великих событий. И людей знаменитых на всю страну гор тоже не могут вспомнить старики.

Я не падал духом.

— Может быть, все же знаменит был Тлох каким-либо великим ученым, арабистом?

— Нет! — отвечали старики, — беден аул Тлох. Не воспитал он ни одного известного ученого. Кади, и тех приглашали всегда из чужих аулов. Каждое поколение тлохцев воспитывало трех-четырёх полуграмотных людей, ко-

торые читали затверженные наизусть песни корана. Не было в Тлохе своих ученых людей.

— Так, может быть, святой жизнью прославился какой-либо житель Тлоха?

Оказывается, людей святой жизни аул Тлох тоже не воспитал. Так далеко в горы забрался Тлох, что путь в Мекку казался его жителям слишком длинным. Никто из тлохцев — сколько ни вспоминали старики — не прославился хаджем<sup>1)</sup>. Без знаний, без большой исламистской образованности не открывается правдивому вся истина, а образованных людей в Тлохе не было.

— Так, может быть, кто-либо из мюридов Шамиля был родом из Тлоха? И не прославились ли тлохские юноши в войне против гяуров?

Переглянувшись, пошушукавшись, старики с сожалением признали, что ни одного героя не помнит история серенького, бедного аула, забравшегося высоко в горы. И так же безрадостны были ответы на все остальные мои вопросы. Ни одним врачом, сведущим в болезнях людей и животных, ни одним выдающимся мастером, лудильщиком или ткачом не прославился за всю свою историю горный Тлох.

Но внезапно старики всполошились. Я услышал впервые странное имя: Пантус. Старики радостно вспоминали какие-то эпизоды из жизни этого чело-

<sup>1)</sup> Паломничеством в Мекку.

века. Они даже недоумевали: как же это память затеряла биографию велико-лепного тлохца? Мне перевели:

— Был в Тлохе знаменитый на всю страну вор — Пантус.

И в самом деле, примечателен был Пантус, тлохский вор. Его жизнь, как и жизнь всякого знаменитого человека, превратилась в легенду. Пожалуй, легенды о Пантусе были похожи одна на другую; пожалуй, такие же легенды рассказывают и у чеченцев, и у осетин, и у соседних лаков: грабеж — феодальная доблесть.

Пантус был героем, джигитом, храбрым, необыкновенно ловким вором. О Пантусе сложены песни. Конечно Пантус обкрадывал и своих ближайших соседей, тружеников. Но легенда облюбовала себе активный политический сюжет. Пантус украл быка у самого страшного человека — воинского начальника в Гунибе. Бык этот обладал неслыханной силой и был строптивого нрава. Четверо служителей едва могли совладать с ним. Пантус совершил воровство без помощников. Он выкрал быка, связал, укротил его. Он пригнал его в аул Тлох; на горных тропах бык от страха стал послушнее ягненка. Пантус зарезал быка, изжарил, и два месяца, запершись в сакле, в одиночестве пожирал его.

О воре пошел слух по горам, и слух этот дошел до русского начальника. Он вызвал к себе Пантуса. Вор не отпирался, — его рук дело. Русский начальник спросил, были ли у Пантуса сообщники. «Как же ты смел, однако, украсть быка у меня?» — сказал он, выслушав ответ. — Вот я велю тебя за это повесить». — «Ты самый большой начальник, — ответил будто бы Пантус, — джигиту окажут большой почет, если ему удастся обокрасть такого важного человека». И тут легенда окончательно отрывается от земли — русский начальник, подкупленный таким славословием, отпустил храброго вора на все четыре стороны.

Стоит ли рассказывать другие легенды? Менялись только объекты воровства: то Пантус пробирается в конюшню генерала и обрезает хвост его лошади,

обесчестив хозяина; то возвращает он, согласно адату, вместо одной украденной лошади целый табун, пригнав его из Закаталл, из-за хребта.

Легенды о тлохском воре Пантусе отличались однообразием.

Старики увлеклись этими убогими воспоминаниями о единственном прославившемся жителе родного аула. Они радовались: хоть одного знаменитого человека породил и воспитал в прежнее время горный аул Тлох.

### Аульский вор Шали

Вхожу в мечеть. Час поздний и глухой.  
Не в жажде чуда я и не с мольбой:  
Когда-то коврик я стянула отсюда,  
А он истерся, — надо бы другой.  
Омар Хайям.

Перед сельсоветом — очар, завалинка, местный клуб. Мы, приезжие, сидим здесь, окруженные активом и почтенными стариками. Кругом снег, но солнце светит в упор... В горах носят двойную баранью шубу-сигул, на которую идет семь бараньих шкур... Тепло... шубы сами собой распахиваются. Старики нежатся в лучах горного солнца. Старик Мусаев Али медленно растирает грудь, будто ловит рукой эти быстрые блестящие весны и равномерно распределяет их тепло по иссохшемуся, истосковавшемуся по солнцу стариковскому телу. Восемьдесят раз на протяжении его жизни возвращалось солнце в эти горы, и еще много весен предстоит встретить старику, прежде чем смерть посмеет приблизиться к порогу его дома.

— Ты звал меня, председатель? — говорит сорокалетний аварец, обладатель гигантского сигула и мохнатой папахи, с башню величиной. Он только что пришел и встал перед председателем боком, чтобы, разговаривая, не упустить своей доли весеннего солнечного пайка.

Старики, поглядев на положение солнца, поднялись с места и разошлись по домам.

— Ты звал меня, председатель? — повторил пришедший.

— Ты опять украл, Шапи! — укоризненно говорит председатель.

Звонкий, гортанный крик непрошено врывается в наше сознание. С крыши

высокой сакли-мечети будун<sup>1)</sup> поет свой призыв.

На очаре никто не пошевельнулся. Здесь остались молодые активисты. Старики во-время ушли, они предпочитают теперь разговаривать с богом у себя на дому, наедине, подальше от своенравной молодежи.

Не ответив на вопрос председателя, Шапи Асабеков с сосредоточенным и, пожалуй, вызывающим видом сбрасывает с плеч себе под ноги сигулу, бормочет молитвы и отбивает положенные поклоны. Кто его знает, не выбрал ли он намеренно час намаза<sup>2)</sup> для неприятного разговора с предсельсоветом?

Председатель смущен. Неприятно. В аул приехали гости с плоскости, а горец проявляет свою несознательность, да еще перед самим сельсоветом!

— Эй, послушай-ка, Шапи! У тебя другого места молиться нет? Уходи, пожалуйста, отсюда!

Но Шапи отмахивается от слов председателя, как от приставаний назойливой мухи. (Впрочем не совершает ли он грех уже тем, что замечает во время молитвы суетные слова безбожника?) Шапи кланяется положенное число раз, целует землю и, как ни в чем не бывало, вновь предстает перед местной властью.

— Ты опять украл, Шапи! — повторяет свое обвинение председатель.

Лицо Шапи не изображает ни пегодования, ни смущения. Он просто заинтересован разговором.

— Что я украл, председатель? — спрашивает он нейтрально.

— Сам знаешь, украл лесоматериалы, их хранили для нового моста на дороге.

— Нет, я не крал леса.

Шапи и теперь невозмутим.

— Ты все не можешь отвыкнуть от воровства! — говорит, сокрушаясь о несознательности Шапи Асабекова, председатель. — И еще говоришь — не крал! Копну сена украл зимой у Абдурахмана?

— Копну сена украл. Правда. Но зачем вспоминать о том, председатель? Я

поступил по адату. Дед ходил к обиженному вместе с уполномоченным джамаата<sup>1)</sup>. Сельсовет приказал — я отдал три копны сена.

— А чуху<sup>2)</sup> ты разве не украл у Гаджиева Али, Шапи?

— Украл! — соглашается опять Шапи. — Но ведь я ему отдал чуху и по приказу сельсовета отдал еще телку.

— Видишь, Шапи, ты все не можешь бросить старой привычки. Теперь опять украл лесоматериалы.

Шапи отрицает свою вину.

— Как не крал? Тебя видели, ты нес бревно. Ты потолок сделал из этих досок в своей сакле, Шапи!

Впервые лицо Шапи Асабекова выдает чувство досады. Он молчит некоторое время и вдруг выпаливает:

— Хорошо, председатель, у меня два ишака, — возьми одного в сельсовет.

— Под прошлогодний дождь бурку не одевают, Шапи. Теперь уже ишаком не выкупишься. Знаешь пословицу: «Если время — лисица, беги за ним, как собака на охоте». А ты даже на ишаке не годишься за временем, Шапи. Прежде вора действительно уважали, а теперь разве кто за вора постоит? Старая, плохая привычка у тебя, Шапи!

— Сказал тебе, председатель: возьми ишака. Или корову возьми.

— Нет, Шапи! Раньше не было судьи в районе — тебя сельсовет штрафовал. Но прошел хабар, — едет судья по новой дороге к нам в горы. Я не могу взять у тебя ишака. Будут тебя теперь судить по советскому закону, строгому закону.

— Лучше я по адату<sup>3)</sup> поступлю! — говорит Шапи умоляюще. — Хочешь, возьми корову. Зачем об этом знать судьбе?

Председатель не дает окончательного ответа на этот вопрос. Он хочет переубедить Шапи, заставить его изменить свое поведение. Сначала он доказывает, что воровством в нынешнее время заниматься невыгодно. Почета вору теперь

<sup>1)</sup> Общества.

<sup>2)</sup> Черкеску.

<sup>3)</sup> Адааты — нормы обычного права. По старым адатам вор наказывался штрафом в пользу пострадавшего или джамаата.

<sup>1)</sup> Муэдзин по-аварски.

<sup>2)</sup> Молитва.



не оказывают. Вора не укрывают. Если Шапи не бросит воровать, он скоро разорится — штрафы платить, по суду обрабатывать, — разве это легко?

Шапи слушает со вниманием: кто знает, может быть, этот довод доходчивее других? И потом, не служит ли поучительная речь председателя признаком будущих милостей? Известно: гнев впереди, разум позади; раз поучает, значит, не сильно гневается.

Но вдруг кто-то из молодых, сидящих на очаре, разражается хлесткой репликой:

— Когда неудачник купается, даже лягушка прилипает к его заднице.

На очаре становится весело — очень уж смешон этот вор, который никак не может отучиться красть!

Но председатель недоволен. Эта реплика, этот смех снижают его поучение. Он взывает теперь к совести вора.

— И не стыдно тебе, Шапи? Ты украл лес у дороги. По новому мосту и ты будешь ездить на своем коне. Все общество помогало строить дорогу. Женщины снимали хухи<sup>1)</sup> с головы, браслеты с рук, — жертвовали на строительство дороги. Мужчины дарили баранов. Ударники работали сверх положенных шести дней трудповинности. Потом приходит Шапи из Чароды и крадет лес, общественный лес, приготовленный для дороги!

— Я тоже три барашка пожертвовал на дорогу! — неожиданно, и притом с гордостью, произносит Шапи. — Пророк сказал: «Помогай соседу строить дороги и отводить воду в арыках». И я, следуя святым словам пророка, пожертвовал на постройку дороги.

— Опять ты вспоминаешь аллаха. Речь идет о воровстве, а ты заговорил об аллахе. И так всегда, Шапи! Разве меня лягнула лошадь в голову и отшибла память? Конечно я помню: ты жертвовал на постройку дороги. Ты добивался почета, и чауш<sup>2)</sup> трижды прокричал твое имя всему аулу в числе крупнейших жертвователей. Тебе воздали честь. Но ты не исправился. Десят-

ник жаловался — ты плохо работал на дороге. Только три человека из нашего аула, отработав норму, ушли со строительства, и в их числе — ты. Другие жители работали 15 — 20 дней добровольно. Магома проработал целое лето. Он спас человека, его сделали десятником, теперь он уже мастер. Вот кем гордится аул, а не тобой, кто подарил трех барашков, а потом опозорил Чароду кражей. Иди, Шапи, доставь сам с гор столько леса, сколько украл, и помни: ты пойдешь в Цуриб, как только приедет судья...

Шапи, этот неудачник, вздумавший продолжать умершие традиции, этот вор-выродок уходит с очара. Его провожают недоброжелательными, насмешливыми и укоризненными взорами.

В старину даргинцы сочинили песню о трусливом Хаджи, инсценировавшем воровство, чтобы прослыть джигитом. Вот она, эта стихотворная притча, так анекдотически звучащая сегодня в советской Чароде.

Разве поют песни о храбрости Хаджи?  
Как плохой бык лежит среди телят,  
Так Хаджи проводит время с женщинами  
И вынимает кинжал, только чтоб резать  
куруцу.

Но разве не поет о себе Хаджи, как о храбреце?

Он рассказывает женщинам небылицы.  
И даже женщины улыбаются в платок,  
И дети смеются над хвастуном, похищающим  
коней только в мыслях!

Но разве не хочет Хаджи прослыть  
храбрецом-вором?

Он покупает быка в соседнем ауле,  
Прячет быка в лесу, но так, чтоб видел  
прохожий,  
Чтобы хабар разнес весть о славном  
воровстве.

И разве откажется кто от хинкала<sup>1)</sup> у Хаджи,  
смелого вора?

Гости пришли к Хаджи на хинкал и бузу<sup>2)</sup>,  
Которую пророк забыл запретить правоверным.  
И славят гости хозяина, хитрого вора.

Но разве может скрыться под шкурой льва  
трусливый Хаджи?

Открылась дверь, владелец быка спросил:  
«Прилежен ли купленный был на новой  
работе?»

И крепко потом смеялись в ауле, и даже  
дети распухли от смеха.

Но тут в беседу вступает опять Му-  
саев Али, — сотворив намаз, он вер-

1) Горское кушанье: клёцки, отваренные в густом бараньем бульоне.

2) Хмельной напиток, не запрещенный кораном.

1) Серебряная цепь.

2) Аульский глашатай.

нулся на очар. Он бросает вслед уходящему Шапи недоумевающую и негодующую реплику:

— Умылся хитростью, обманом рот сполоснул, думает молитвой бога обмануть, — таков Шапи. Скалы под откос полетели, жизнь новые корни в земле укрепила. Если слепой не видит, прости! Но что сказать, когда зрячий глаза закрывает и утверждает: «Ничего нет!» Что сказать? Что сделать?

И председатель, не прощая Шапи его намаза перед сельсоветом, на глазах у гостей, добавил в сердцах:

— Кто аллаха теперь поминает? Убогий, кривой, косою, вороватый и богатый.

В этом вопросе старик Мусаев Али конечно расходился с председателем, но он привычно промолчал — ведь и в семье у него коммунисты. Он думал так: молодое дерево растет под защитой старого: настанет время, само протянет ветви навстречу ветру. Такова жизнь. Голыми руками горы не заставишь расступиться. Молодые взрывают горы порохом чудесной силы. Пусть старость и молодость делают общее дело вместе, и, чтобы избежать розни, старость оставит при себе некоторые мысли и обычаи.

Может быть, не все старики думают так, но Мусаева Али жизнь утвердила в этом мнении.

### Геронка Чароды

Малая река впадает в большую. Большая еще в большую. И та наконец несет свои воды в море.

Всякая дорога должна иметь цель, конец. В те времена спираль Чародинской дороги внезапно обрывалась в неприступных утесах левого берега Кара-Койсу. Она прошла уже много километров от Гуниба, но, не дойдя до аула Кула, застряла в скалах. Не дорога — бессмысленный тупик.

Слоистый камень не позволял вести плотно дороги полутоннелем, — потолок ненадежен. Приходилось снимать сверху, пласт за пластом, до 25 метров горной породы. Дорога надолго застряла в этих каменных кручах. Строительство переживало тяжелые дни. Злая

сплетня шла по стопам строителей. Говорили: немыслимо построить здесь дорогу, пропадет затраченный труд. Добровольцы-строители в большинстве разошлись по домам. Немногие энтузиасты, не считаясь с нормами трудоёмности, продолжали неравную борьбу с горами.

Асалиев Магома не унывал. Он твердо верил в науку. Он побывал в городе, видел паровоз, автомобиль, самолет. Он знал: горы уступят человеку. К тому же Магома был молод, жизнерадостен, удачлив. Его любили вещи, всякий инструмент признавал в нем своего хозяина. Он научился читать горную породу, как книгу. Ему нравилась эта работа на строительстве дороги в родной аул.

Магома пытливо разглядывал скалу, преграждавшую путь, изучал замысловатый узор прожилок, трещины в камне. Он выбрал точки, где следовало пробурить шпур, чтобы аммонал произвел наибольшее разрушение. Подхватив привычным движением инструмент, Магома ударил молотком по затылку бура и вслед затем сильным движением рук повернул его рукоятку. Бур врезался в породу на первые сантиметры. Методически работая с молотком и буром, Магома все больше углублял шпур. И, как всегда во время работы, он пел тут же сочиненную песню без начала, без конца, порой бессловесную.

— Поёшь, Магома? — спросил техник. Он уже успел из-за спины бурильщика разглядеть скалу. Он одобрил расположение шпуров и теперь дружелюбно разглядывал певца.

— Буришь правильно, — покровительственно сказал он. — Ты грамоту знаешь?

— Латынски грамотный, русски учиться немного буду, — ответил Магома, улыбаясь. Русская речь давалась ему в то время нелегко.

— Ну, тогда слушай. Назначу тебя десятником, позднее пошлем учиться в город. Согласен?

От радости Магома заговорил аварски: «Согласен ли? Разве от счастья убегают?..»

Техник понял ответ.

— Приходи вечером в дорожную казарму, — сказал он в заключение, — там договоримся. — Он продолжил обход строительства.

Дух захватывало у Магомы от радости. Он, десятник, скоро поедет учиться в город! Вот куда увела его Чародинская дорога.

И в такт ударам по буру Магома выкрикивал слова новой, торжествующей песни. Он пел об ученом Магоме, о технике Магоме, который придет из города, чтобы протянуть Чародинскую дорогу в самые Закаталлы, в Грузию.

Шпуры пробуровлены. Магома сходил за аммоналом, осторожно уложил патроны в глубокие отверстия, вдавил затравку в пистон, соединил ее конец с фитилем. Подготовив все для взрыва, он вернулся на площадку, где суетились рабочие, выравнивая полотно. Магома ощущал себя начальником; он проследил за тем, чтобы люди и ослы надежно укрылись. Потом он вернулся к себе на головной участок, зажег фитиль и, удостоверившись, что огонь принялся, побежал вперед по пешеходной тропе, — он давно облюбовал безопасное прикрытие от шальных камней сверху.

Магома сразбегу вбежал в нишу, образовавшуюся в соседней скале, и прижался к стенке. Время на сгорание шнура было хорошо рассчитано. Он мог бы спокойно дойти до ниши. Но такова дань страху — теряешь спокойствие, оставляя за плечами смертоносный снаряд.

Магома затаил дыхание. В ту же секунду его сознание восприняло знакомые звуки, — так стучит о камень кирка. Магома вынырнул из ниши, взглянул наверх и отчаянно вскрикнул.

С высокого увала свешивался канат с привязанным к нему рабочим. Магома тотчас же узнал Абдулаева Наби. Не годозревая опасности — страшнее всего было его спокойствие — Наби долбил киркой породу, мурлыкая песенку. Раньше с рабочего места Магомы он не был виден: его скрывал выдавшийся вперед утес, а шум потока заглушал удары кирки.

Песенка оборвалась. Отчаянный крик Магомы испугал Наби. Он натянул ка-

нат и стал карабкаться по отвесному склону вверх — навстречу опасности.

Десятки мыслей яростно промчались в сознании Магомы. На мгновение возник в памяти образ раздавленного камнями Асхата, как-то стороной пронеслась мысль об обещанной техником городской школе. Раньше, чем все эти представления пришли в логическую связь друг с другом, раньше, чем мысль о страхе, более страшная, чем сам страх, успела овладеть сознанием Магомы, ноги вынесли его обратно на пешеходную тропу.

Сумасшедшими прыжками приближался он к скале, заряженной аммоналом. Подбегая к ней, он видел: тлеет уже не только фитиль, но и затравка, и языки пламени лизали отверстие нижнего шпура. Он смял руками огонь, даже не почувствовав ожога, и оборвал фитиль. Но дым и огонь остались в отверстии шпура. Огонь подкрадывался, вероятно, к самому пистону.

Ничтожную долю секунды Магома колебался. Слепой инстинкт гнал его прочь от скалы. На этом пути гибель ждала и его, и Наби, висящего на скале. В следующий момент Магома сорвал с себя папаху и дрожащей рукой заткнул ею отверстие шпура, — без притока свежего воздуха огонь задыхается, как и человек.

Прошли первые мучительные секунды. Как далеки языки пламени от пистона? Инстинктивно отстранившись телом от скалы, но все еще придерживая папаху, Магома ждал. В любую секунду смерч мог вырваться из-под его рук, похоронить под обломками скалы его тело, разорванное на куски. Но с каждой секундой крепла надежда. Наконец она превратилась в уверенность: огонь задохся там, в шпуре, не взорвав пистона.

Так он простоял еще долго, не смея оторваться от скалы, заряженной смертью. В этой позе застали его рабочие и десятник. Только тогда Магома отнял папаху. Из шпура сочился густой дым. Магома выскреб оттуда протом истлевшую затравку.

В тот же вечер хабар о событии на дороге достиг Чароды. Хабар сам собой

сложился в большую взволнованную аварскую песню о герое и храбреце Магоме, о лучшем бурильщике, который так хорошо читает горную породу, что русский техник без его совета не взрывает ни одной скалы.

Эту песню пропели мне на очаре, когда я спросил, воспитала ли Чарода своих героев на смену Пантусу из Глоха.

### Кладбище

Старые и молодые наперебой называют имена тех, которыми сейчас гордится Чарода. Магома — не единственный герой аула.

Двое чародинцев кончили педтехникум, двое учатся в вузах, — вот каких ученых воспитывает Чарода, посмеиваясь над Глохом, пригласившим арабистов из других аулов!

Чародинец избран секретарем комсомола в Махач-Кале! Трое чародинцев достигли большой силы в соседнем Цурибе, в районном центре. И среди них первый — сын Мусаева Али, инструкторика.

— Вот сколько у нас ученых! — торжествует по этому поводу председатель сел.-хоз. товарищества и не забывает добавить, что и он тоже учился в городской совпартшколе.

Потом мне называют еще одного героя — Сугурбекова Абдул-Шалима. Он похоронен на чародинском кладбище, и мы идем осматривать его могилу. На маленьком мусульманском кладбище всего 20 — 30 памятников, доказательство короткой и мирной жизни советской Чароды. (Аул Глох расположен был выше в горах. В 1920 г. его забросили, построились в Чароде.) Огромные иры — каменные бабы — размалеваны цветными арабскими надписями, сделанными майоликой. Сверху на иру положена каменная плита, чтобы защитить краску от дождя. Мне переводят арабский текст: «Эта могила принадлежит Сугурбекову Абдул-Шалиму; он был славным воином и ученым<sup>1)</sup> человеком». Мне поясняют еще, что Сугурбе-

ков был работником ГПУ; он отважно преследовал бандитов. На ире нарисованы арабские полумесяц и звезда. Но рядом еще и вторая звезда, красноармейская, пятиконечная. Возле могилы — шест, ветер треплет белую тряпку на его верхушке. Это знак особого уважения и любви к умершему. В прежние время белый стяг устанавливали только у могилы человека святой жизни.

На соседней могиле ира разукрашена обильными рисунками. Наверху беспредметный орнамент; пониже — все виды оружия: пистолет, кинжал, обойма патронов, винтовка; совсем внизу надломанный утрет<sup>1)</sup> — символ чистой, то-есть молодой, жизни. К винтовке протянута рука, собственно, кисть руки, обращенной ладонью к зрителю. И это символ — трогательный, наивный, — юноша случайно застрелил себя из винтовки.

В конце кладбища — крохотная деревянная будка, немногим больше собачьей. Это — кармаш, молельня. Здесь по закону 40 дней и ночей читают коран по усопшему.

Я спрашиваю между делом, читали ли коран по Сугурбекову?

— Как же, хоронили Сугурбекова по обычаю! — отвечает Мусаев Али.

— Так он давно умер! — говорит смущенно предсельсовета. — Теперь уже не обращают внимания на такую глупость.

На памятнике сохранилась дата: 1932 год.

Быстро течет время в Чароде! Два три года назад хоронили советских работников по мусульманскому обычаю. Три-четыре года назад даже коммунисты соблюдали посты и праздновали байрам. А в 1922 году в горах бывало так: коммунисты и партизаны просили ериезжего агитатора прервать на полчаса свой доклад, чтобы сотворить намаз.

Быстро течет время в Чароде! Но иначе и быть не могло. Чтобы за 15 лет забыть все песни о Пантусе и пропеть новые о Магоме, строителе

<sup>1)</sup> То-есть грамотным.

<sup>1)</sup> Кувшин.

автомобильной дороги в горы, надо топиться. И впереди — огромный путь, его ишаками темпами не пройти. Надо догнать советскую страну, от которой горы отстали еще на десятилетия.

### Спор в ликбезе

Кладбище — мысль о мертвых. Наискосок от него школа — забота о живых. Густо-густо сидят школьники, дагестанские школьники, взрослые мужчины и женщины. Женщин здесь, пожалуй, больше. Все-таки из аульских мужчин кое-кто успел изучить грамоту раньше.

Вспоминается мучительная процедура обучения мертвой для аварцев арабской грамоте. Вместо 3—4 полуграмотных начетчиков — десятки грамотных горцев, десятки грамотных горянок.

Из осторожности прошу одну ученицу — она закрывается от меня платком, по голосу судя, ей нет 30 лет — пересказать прочитанное только-что вслух. Преодолев минутное смущение, женщина бойко и даже многословно говорит по-аварски. Учитель кивает головой: «Верно, все верно, Аминат, садись, пожалуйста!»

Ученики чародинского ликбеза свободно, осмысленно читают, делают на доске четырехзначные числа и бойко отвечают на вопросы из политграмоты. Некоторые из них не довольствуются коротким ответом, они пускаются в длинные рассуждения, — культура аварской речи создана непрерывной практикой на очаре.

Но и женщины не отстают в этом искусстве от мужчин.

Молоденькая горянка — мне думается, ей немного за 20 лет, — вскакивает с места и что-то долго, горячо говорит.

Мужчины в классе снисходительно посмеиваются и покачивают головой, — вот, дескать, какие боевые женщины завелись в Чароде!

Моему соседу даже немного льстит, что аул может продемонстрировать приезжему русскому Ассирову Зобид. Все-таки он не может удержаться, чтобы не вспомнить старинную посло-

вицу, двусмысленно звучащую на этот раз:

«Что мужчину одежда делает, что стройным лошадь делает, — все это вранье. Жена мужчину делает».

Я начинаю вникать в тайный смысл этой реплики только после того, как узнаю, что Ассирова Зобид недавно взяла развод. Муж не совладал с ней и этим заслужил, повидимому, насмешку.

Один из соседей переводит мне слова Зобид так:

— Она говорит: муж еще плохой есть, старую власть не забыл. Селям алейкум<sup>1)</sup> женщине и теперь не скажет. Она говорит: женщина — не ишак, чтоб воду, дрова таскать, пока муж на очаре сидит. Скандальный он, — закончил с усмешкой переводчик.

— Достоинство ишака палка оценивает! — ехидничает сосед справа. — Старики говорили так: «Ты бьешь жену, она кричит. Так непокорная лошадь брыкается, когда одеваешь узду». Попробуй-ка, тронь Зобид, — сразу развод, а то еще на тебя пожалуется!

Он продолжает плести паутину двусмысленностей, не оставляющих все же сомнений в том, что речь Зобид ему не по нраву. Между тем еще недавно учитель задал ему вопрос: как бороться с кулаками в горах, чего они добиваются? И он отвечал тогда горячо, убежденно, правильно.

— Она с мужем развелась! — продолжает неодобрительно переводчик. — Сказала мужу: неси сам воду. Вот какая!

Воду берут внизу, в 300 метрах от аула. Женщины и девочки — иногда 11—12 лет — тащат воду в огромных утрегах, подвязанных за спиной. Ни разу я не видел, чтобы мужчина или хстя бы мальчик тащил на себе кувшин с водой. На всякий случай я спрашиваю соседей: есть ли в ауле хотя один мужчина, который сам изредка ходит за водой?

Соседи по партам дружно смеются и даже переводят мой вопрос другим, не понимающим по-русски.

<sup>1)</sup> Общесульманское приветствие.

— Разве может найтись такой мужчина? Если и найдется, его засмеют! Это — не мужское дело. От стыда он бросит упрет, не донесет воды до саки.

Я прикидываю: в ауле несколько коммунистов, комсомольцев; здесь же размещены некоторые риковские учреждения, а во главе их стоят конечно ответственные работники районного масштаба...

Но Зобид не унимается. Она не растерялась перед аудиторией, так откровенно ее осмеивающей. Она говорит опять с места:

— Зачем дорогу строили? Зачем на бесшумном колесе ездят? Теперь недолго ждать справедливых обычаев.

### Дорога нартов

Цуриб, районный центр Чароды, возник недавно на голом месте. Высокая площадка, на которой построился поселок, уже не похожий на аул, открыта ветрам. Они дуют крест-накрест из всех ущелий, подымая пыль с земли. Ветер — враг горца: разъярившись, он способен сбросить всадника с горной тропы. Ветер пригоняет тучи. Сначала появляется облачко, но проходят минуты — и тучи опрокидываются на землю ливнями. Койсу мгновенно собирает воды, стекающие по камням. Койсу надувается, бурлит; седыми, сердитыми гребешками бугрится вода в реке. «Поет, как петух!» — говорят тогда горцы, прислушиваясь к рёву потока. Наутро население аулов выходит к реке — строить снесенные за ночь мосты. Вот что делает ветер! А Цуриб расположен в гнезде ветров.

Безветренный день в Цурибе — редкость. Его стараются использовать. К тому же прошел хабар: в Цуриб прикатила опять машина — пятая машина со времени окончания горной дороги (для автомобильного движения дорога еще не открыта).

На площадку перед риком высыпало все население Цуриба, вплоть до двухлетних младенцев. В стороне, понуриив голову, стоят ослы и мелкие горные лошадки, — это значит, что из соседних аулов приехали гости. Стариков катали

на машине, машину со всех сторон оглядели, ощупали, оценили всячески. Вот уже четвертый час, как в порядке дня очара — танцы.

Зурнист отчаянно раздувает щеки, тоскливо поет горская дудка, барабанщик выбивает из кали — натянутой барабанной шкуры — шумные стоны. Лезгинка. Привычная заунывная мелодия, подчиненная четкому ритму. Все тот же извечный горский мотив с незначительными модуляциями, переходящий от народа к народу, из аула в аул.

— Музыкантов мало, — огорченно констатирует заврайоно Омаров. — Бедный район, все никак не можем сделать музыку, такую, как в Сталинауле. Слышал, как готовятся в Сталинауле к празднику (то-есть к 15-летию советского Дагестана)? Целый оркестр репетирует на конях!

Четыре часа подряд надрывается зурна. На круг, посыпанный половой, выходит одна пара за другой. Из рук в руки переходит прутик — символический жезл танцора. То женщина, то мужчина попеременно овладевают прутком. Легкий удар по чувякам или сапогам, — так выбирают себе партнера. Выбор танцора — бытовое новшество, проявление женской самостоятельности. Пожалуй, не во всяком ауле горной Чароды женщины так же смелы, как здесь, в Цурибе, в районном центре, где живут главным образом служащие.

Зрители хлопают в ладоши, возгласами одобряют танцующих, кое-кто разнообразит танцы сравнительно сложными фигурами. Молоденькая 19-летняя учительница плывет по кругу, будто катится на роликах по скетингу. Время от времени молодежь подхватывает добродушно упирающегося старика и тащит его на круг. Ступив на площадку, утоптанную тысячько ног, старик тотчас же перестает сопротивляться и к общему удовольствию выкидывает свои стариковские коленца. Один из стариков споткнулся — трое молодых бросились его подымать. Ни один человек на очаре не улыбнулся, — над старостью здесь никому не придет в голову потешиться. И старика сменяли подчас пятилетние младенцы; они

ловко переступали ногами и грациозно несли перед собой согнутую в локте руку.

Четыре часа под ряд в томительном однообразии сменялись пары на круге. Это не было похоже на наши деревенские и городские танцы. Эрос, подлинный бог танца, дремал где-то за горами. Это не был и грубоватый вихрь массовой, возбуждающей пляски. Это была общедоступная, едва ли не единственная пока в горах, форма отдыха и условного веселья. Лезгинку танцевали не четыре часа, не четыре года и даже не четыре столетия, — больше!

Но вот в танцах наступает перерыв. Вероятно, зурнист потребовал отдыха. Омаров приносит гумуз, горскую балалайку. Очар замолкает, настораживается. Внезапно резкий гортанный звук вырывается изо рта певца. Он поет мажорную горскую песню в ритме разорванной стихотворной строки. Несколькое однозвучных музыкальных фраз, и за ними неожиданная, внезапно обрывающаяся на высокой ноте, концовка. В аварской песне нет рифмы. В ней нет жесткого размера, хотя обычно преобладают 7-, 8- и 11-сложные строки. Но в ней есть свой внутренний, неповторимый в переводе, ритм. Может быть, это — ритм чабана, шагающего перед отарой, погонщика ослов или всадника, пробирающегося по горной тропе? Аварская песня родилась в пути, и первыми слышали ее горы.

— Очень трудно перевести! — жалуется Омаров. — Это любовная песня, ее давно поют у нас. У меня и слов нет таких, чтобы перевести.

Омаров все же пытается рассказать содержание песни. Он говорит что-то об английской принцессе, о певце, коснувшемся рукой своей невесты. Узнаю эту песню, стих великого Махмуда из Бетль-Кахаб-Россо:

... Только ползать мог, я ходить не мог,  
На двух ногах не мог стоять.  
Я пристыл к земле, я не мог подняться,  
А она смотрела с крыши.

У этой стены, в тупике, измученный,  
Подав я сам на себя мировому судье  
За то, что рукой я коснулся ее.

На три года решили в Сибири  
Сердце приняло!

Там сказали:

— На весь мир знаменита царевна  
английская,

И нельзя ее трогать руками!  
Этот приговор бог приведет в исполнение!  
Я поднялся, вдоль стен, ковьяля, пошел.

Песнь — крик души. Песня греет горца. «Отдай бурку певцу, думай словами песни — станет жарко». Такова мудрость поэта и влюбленного. Махмуд, величайший из аварских лириков, погиб всего 16 лет назад. Дагестан поет Махмуда на всех языках; повсюду в горах молодежь принимает его в свои ряды. Легенда идет по стопам памяти о Махмуде.

Рассказывают: Махмуд так любил песню, что однажды, услышав на перевале пение случайного прохожего, отдал ему своего единственного коня.

Песня греет, песня бережет труд, срганизуя его, и сохраняет память о содеянном отцами.

— Теперь слушай! — говорит певец, обращаясь ко мне. — Я спою тебе песню о нашей дороге.

Певец поет песню, выгношенную под сердцем каждого чародинца, принявшую в себя идейные струи других, более ранних песен о дороге, как Сулак несет воды четырех Койсу.

Я записал эту песню, восполнив пробелы перевода словами и образами, навеянными голосом певца.

#### Песня о чародинской дороге

Времени того не помнят старики,  
Самые старые деды наших отцов.  
Время то скрылось во тьме памяти.  
Но из этой тьмы, как месяц из-за хребта,  
Возникает песня о великане.

Жил в горах великан.

Привстав в долине,

Доставал рукой до самого высокого  
пика,

Названного в честь орла, —

Он один чертил крылом эти высоты.

Когда ложился поперек речки нарт<sup>1)</sup>,

В арыках обнажалось дно.

А когда вставал,

Вода вновь устремлялась в арыки,

Как после грозы в горах.

Песни пели о том великане:

Утром встанет, посмотрит на ноги,

<sup>1)</sup> Сказочный великан восточного эпоса.

Скажет: «Хорошо бы вымыть в морской воде!»  
И пойдет, зашагает через горы к морю  
И, вымывшись в море, к дневному намазу вернется.

Так поется в песнях,  
Но кто видел того великана?  
Сказки рассказывают нам старики,  
Старость тешится вымыслом,  
Молодость творит жизнь.

Слепая старуха слышит шум:  
Грохочет в горах и пахнет порохом.  
Плачет старуха, жалуется дочери:  
Зачем скрывают от старой —  
Войну опять затеяли дети.

Не плакать, старуха, радоваться надо!  
Не убивают друг друга братья,  
Большевики задумали переделать горы,  
Заставить горы поклониться человеку, —  
Войнут люди с горами за Человека.  
Горец ударяет ломом по камню,  
Бурильщик бурит камень,  
Рабочий укладывает снаряд в камень,  
Человек прячется за дальний камень,  
Взлетает в воздух птицей и  
рассыпается пометом камень!

Песни поют рабочие,  
Веселые песни победивших.  
Горы расступились.  
Над ущельями повисли мосты.  
И колесо вехало, торжествуя, в горы.  
Ты не плачь, слепая старуха!  
Вернулся великан из древних сказок.  
Садись к нему на руки,  
К обеду отвезет тебя к морю, —  
Может, в радости увидишь солнце!

Дружно хлопает очар певцу. Эта европейская форма одобрения певца и поэта подчеркивает особую роль горской песни. Она звучит, как патетическая речь на митинге. Так ее спели в тот день, когда Цуриб впервые увидел автомобиль. Так ее поют и слушают сейчас, когда по дороге привычно двигаются люди, лошади, ослы, быки, запряженные в арбы.

— Повинюсь перед народом! — говорит вдруг один из стариков, сидевших на очаре и окруженных приличествующим возрасту почетом. Он даже встает с места и кланяется — не то народу, не то представителям местной власти.

— Не верил, что дорогу закончат! Говорил, не может быть, чтоб при нашей жизни закончили. Как вспоминал упрямые скалы, говорил опять: не кончат дороги при нашей жизни. Забыл мудрое слово дедов: на дне терпения лежит золото. Виноват перед народом.

Молодежь почтительно усаживает старика на место. Узнаю у соседа: этот старик агитировал против дороги, говорил, что дорогу никогда не кончат, что даром положат свои жизни. Сам — бедняк, он пел песню кулаков, — дорога строилась против их воли. Старик каялся уже не в первый раз и, повидимому, всем надоел своими покаянными речами.

Я вспомнил ленту дорожного полотна, высеченную в камне. Дорога строилась четыре года. Пятнадцатью тоннами аммонала начинили чародинские скалы. Полтора миллиона рублей стоили государству 30 километров дороги! Канаты свешивались с отвесных утесов. К ним привязывали себя рабочие. Изменение профиля гор потребовало жертв, — память о погибших хранит несколько могильных ир.

Но вот она выстроена, большевистская дорога, дорога нартов!

### Дорога сменяет тропу

— Опускай повод, конь сам пойдет! — так кричит мне Асалиев Магома, дорожный ремонтный мастер из Чароды.

Лошадь нервно переступает с ноги на ногу. Тропа сужается еще больше. Развернуться нам негде. Магома трусит позади на своем сером коньке, но обехать меня нельзя: слева — каменная стена, справа — скользкий, крутой склон. В ту сторону я стараюсь не смотреть: там — пропасть, унижительный страх.

Послушно опускаю поводья и шенкелями чуть-чуть подбадриваю лошадь. Мне передается ее мелкая дрожь. Острое сожаление на секунду овладевает сознанием: зачем я упрашивал Магому показать мне трудные горные тропы?

Лошадь опускает голову и несколько раз втягивает в себя воздух. Потом начинает казаться, что она худеет, вытягивается. Лошадь вступает на самое узкое, скользкое место тропинки. Лошадь состязается в точности движений с канатными плясунами.



Опасное место — всего 20—30 метров — пройдено. Я вздыхаю шумно, освобожденно и почтительно поглаживаю влажную шею лошади.

На площадке появляется улыбающийся Магома.

— Ну, как, видал, какой-токой горный дорога в Дагестане? Видал? — спрашивает он.

Мы даем пятиминутный отдых лошадам. Магома смеется:

— Это — хороший дорога. На Закаллы перевал есть, ой, дорога! Чтоб враги по нему ездили! Спуск — 20 метров, ни один конь не возьмет. Бурку расстилаем, коня кладем. Трах-тах-тах-тах! Летит бурка сам, на нем конь лежит и прямо в снег: там много снега, — сразу конь пробивает в снегу тоннель. Вскочит конь, уши над головой трясутся, сердце бьется. Правда! Вот какой у нас дагестанский дорога!

Старая тропа в Гуниб — единственная прежде связь с плоскостью для целого высокогорного района. В пяти-шести местах она едва проходима. Старики помнят о жертвах — ослах, конях и даже людях, жизни которых взяли себе горы и злобная по временам Кара-Койсу.

Магома опять смеется:

— Слушай, старики рассказывают, в 20-м году бандиты Гоцинского заперли Чароду. Облили водой тяжелые места на тропе из Гуниба. Вода замерз. Скользко. Коню красноармейца не пройти. Обморозили, будто заперли Чароду на замок. Такой дорога!

Пауза — эффекта ради — и потом концовка:

— Красноармейцы всех удивили, старики еще до сих пор головами качают. Перевадили через хребты по этим горным тропам и сразу со всех сторон свалились в Чародинское ущелье. Вот! Партизаны их вели, из Чоха, из других мест.

Мы поворачиваем наконец в сторону новой дороги. Видно: она бьется по другую сторону ущелья, — лента, высеченная в скалах! Но, чтобы попасть туда, надо сначала спуститься вниз, а потом, спешившись, подыматься в гору. Дьявольски трудная, жаркая работа!

Пот катит градом, каждая площадка настойчиво зовет к отдыху, но, взглянув наверх, я вижу перед собой размеренно качающиеся копыны сена, — расстояние между нами не уменьшается. Мне становится стыдно. Неужели я, подымающийся в гору налегке, не могу догнать женщин, несущих на себе по целой копне сена?

Наконец выбираемся на дорогу. После горной тропы кажется, что достиг обетованной земли, так широко, гостеприимно полотно аробно-автомобильной Чародинской дороги. Женщины уже здесь. Передохнув минутку, они шагают дальше, переваливаясь, как утки, с ноги на ногу. Ни лица, ни туловища не видно под грузом сена. Видны только ноги — до колен, одетые в толстые шерстяные чулки и чупяки. Чтобы нести целую копну сена, ловко перевязанную ремнями, надо согнуться под прямым углом. Ни один мужчина не в состоянии нести 5—6 километров по горным дорогам такой тяжелой, громоздкий груз, да еще в таком нелепом положении тела.

Магоме неловко. Он не смотрит в сторону женщин.

— Видишь, какие порядки еще живут в ауле? — огорченно говорит он. — Женщины работают у нас, как ишаки. В городе — я видел — с женщинами иначе обращаются. Когда-то у нас будет по справедливости?

И, помолчав немного, отвечает себе вопросом на вопрос:

— Зачем же дорогу строили? Теперь недолго ждать.

Лошади, отдохнув, бодро трусят по дороге. Мы давно обогнали женщин-носиальщиков, но дорога делает вираж, набирая высоту, и вдали опять мелькают покачивающиеся копыны сена.

Магома переключился целиком на привычные думы о дороге. Он любит и понимает цифры. Я узнаю от него: осел подымает полтора, вьючная лошадь — три с половиной пуда; арба тянет по новой дороге зараз 30, грузовик — 100 пудов. Пеший и конный, уходя в Гуниб, покидали дом на 3—4 дня. Теперь на добром коне можно дважды за сутки побывать в Гу-

нибе, а пеший, собравшись в путь по первому свету, вернется назад до темна. Об автомобиле — что говорить! Пожалуй, в полдень к самому морю доставит, как поют в песне. И Магома, торжествуя, дополняет свои сопоставления еще одним весомым расчетом. Кооператив в Чароде платил за доставку грузов рубль с килограмма. Нынешний тариф в 15 раз ниже. Вот что принесла дорога Чародинскому району!

Но многое, и, пожалуй, главное, не вмещают цифры. В них нет души. Вот например Магома — молодой дорожный мастер, который вырос на строительстве, которого комсомол посылает учиться в город на техника. Или русский врач, которого мы встретили на дороге, — он перебирался со всей семьей в горы. И не права ли Ассирова Зобид из Чароды: она ждет вместе с Магомой, что по новой дороге — теперь уже недолго! — придут справедливые обычаи, свобода для женщины. Как измерить значение всех этих фактов цифрой!

А баранта? Мы перегоняем несколько отар, предводительствуемых чабана-

ми. Густо, одна к другой, теснятся овцы: пища, одежда, надежда горца. Только теперь, с постройкой дороги, массовыми стали откочевки баранты на плоскость, где окот происходит в культурных условиях, где степное солнце на месяц раньше, чем в горах, выманивает из земли сочную молодую траву.

Но что за странный состав стада! Чуть не треть отары составляют козлы. Их величественные закругленные рога создают сплошной живой вензель, за которым не сразу разглядишь наивные головки овец. Козел — вожак стада. Но зачем же их здесь такое множество?

— Не понимаешь? — смеется в ответ Магома. — Очень просто! Раньше каждый сам был хозяином свой отара. Отары-то у каждого почти столько, сколько щенят у суки, — 8, 10, 12 голов. Хозяин держал двух-трех козлов, — без козла как отару поведешь? Дорога сделал большой стадо, соединил аульцев, козлов заменить не успел. Молодой дорога! Все сразу разве успеет?

Да, молода еще Чародинская дорога!

# За рубежом

1. АНАТОЛИЙ КАНТОРОВИЧ—Америка и Китай. 2. Международная хроника

## 1. АМЕРИКА и КИТАЙ

Анатолий Канторович

Дальневосточная политика Соединенных Штатов переживает серьезный кризис. Общеизвестные события последних трех с половиной лет резко нарушили к невыгоде Америки сложившееся в Китае и Тихом океане соотношение империалистических сил. Важнейшее значение этих событий для Америки заключается в том, что они, во-первых, имеют своей исторической тенденцией закабаление всей Восточной Азии японским империализмом и воздвижение последним непреодолимых барьеров на путях дальнейшей экспансии американского капитала на этом театре и, во-вторых, наглядно обнаруживают банкротство традиционной дальневосточной политики Соед. Штатов, направленной в основном именно на расчистку этих путей. В результате Америка стоит на Дальнем Востоке перед проблемой утраты своих наличных и перспективных позиций не только в самом Китае, но и во всей Восточной Азии, включая конечно и Филиппинские острова, — проблемой, имеющей огромное значение и для мирозыких устремлений американского капитала.

Избрание того или иного выхода из создавшегося тупика (война, сговор с Японией или приспособление прежней политики к новым условиям) будет иметь конечно определяющее значение для всей дальневосточной обстановки. Анализ каждого из этих путей требует однако предварительного ответа на два вопроса: 1) каковы действительные аме-

риканские интересы в Китае, наличные и перспективные, и 2) что представляет собой традиционный дальневосточный курс американского империализма.

### 1. Экономические интересы Соединенных Штатов в Китае

Проблема экономической заинтересованности Соединенных Штатов в Китае складывается из трех основных элементов: 1) Китай как рынок сырья, 2) Китай как рынок сбыта и 3) Китай как рынок приложения американского капитала.

Китай как рынок сырья имеет для Америки наименьшее значение, так как Китай не является монопольным поставщиком ни одного из важнейших видов сырья, потребляемых Соединенными Штатами. Доля Китая (вместе с Гонконгом и Квантунской арендованной территорией в Манчжурии) в американском импорте составила в 1929 г. 4,2 проц. (8-е место), в 1932 г. — 2,4 проц. (14-е место), а в 1933 г. — около 3 проц. (11-е место); максимальная цифра ввоза (1928 г.) составила 182 млн. долларов, в кризисные годы этот ввоз сократился в несколько раз (в 1932 г. — 31 млн., в 1933 г. — 43 млн. долл.). Крупнейшие его статьи — текстильное сырье (шелк-сырец, шерсть, хлопок-сырец), кожевенно-меховое сырье (козлиная, необработанные меха) и олово. В соотношении

с общим ввозом этих товаров в Соединенные Штаты доля Китая незначительна (по шелку-сырцу в предкризисный период — до 13 проц., а в годы кризиса — всего 3 — 4 проц., по олову соответственно — 4 проц. и 10 проц., только в импорте ковровой шерсти Китай дает 20 — 30 проц.). Китайские бобы в Америку не вывозятся. Китай является полным или почти полным монополистом в поставке Соединенным Штатам только деревянного масла (до кризиса на 10 — 12 млн. долл. в год) и яичных продуктов (до кризиса на 4 — 7 млн.); сверх того он поставляет почти  $\frac{2}{3}$  американского ввоза шетины, от четверти до половины ввоза сурьмы и половину ввоза вольфрама, но последние две статьи ничтожны по абсолютной величине, и все эти статьи исчисляются в процентах общего американского ввоза. Таким образом, хотя в Китае как сырьевом рынке заинтересованы в той или иной степени американская шелковая, кожевенная, шерстяная, ковровая, а также хлопчатобумажная промышленность (дешевый китайский хлопок с его коротким волокном подмешивается к американскому для выработки грубого качества ткани) и потребители деревянного масла, олова, сурьмы, вольфрама, — Соед. Штаты не находятся в серьезной зависимости от этого рынка, и американский капитал только подходит к будущей серьезной эксплуатации китайских сырьевых и минеральных ресурсов.

Китай как рынок сбыта. В предкризисные годы Китай (вместе с Гонконгом и Квантунгом) стоял в системе американского экспорта на 7-м месте (1929 г. — 3 проц.); в период кризиса он передвинулся на 6-е место: (1931 г. — 4,7 проц., 1932 г. — 4,2 проц., 1933 г. — 3,8 проц.). Максимум (1928 г.) составлял 165 млн. долларов, за годы кризиса вывоз сократился больше чем в 2,5 раза (1932 г. — 67 млн., 1933 г. — 63 млн. долл.). Китай за последнее время становится важным по значению из числа колониальных или

полуколониальных рынков американского экспорта, он уступает только Канаде, Японии и 3 крупнейшим западно-европейским странам.

Характерно, что в последнее время около половины всего американского вывоза в Китай приходится на сырье, 10 — 15 проц. на продовольствие, и только около трети — на готовые фабрикатy. Крупнейшие статьи этого вывоза — нефтепродукты (Китай поглощает около одной четверти американского вывоза керосина, но лишь от 3 до 7 проц. всего экспорта нефтепродуктов, папиросы (5 — 6 проц.), хлопок-сырец (от 2 до 10 проц.), лес (от 3 до 6 проц.), пшеница (до кризиса около 1 проц., позднее — больше), пшеничная мука (до 25 проц. всего вывоза), железо и сталь (до 7 проц.). Только по вывозу пшеничной муки Китай занимает первое место в американском экспорте. Как рынок для сбыта американских промышленных изделий Китай все еще не имеет серьезного значения. В текстильном вывозе США и в частности в вывозе хлопчатобумажных тканей он все не фигурирует, — этот рынок целиком захвачен Японией и Англией. По другим основным категориям промышленного вывоза доля Китая не поднимается выше 1 — 3 проц. В частности по вывозу электроаппаратов Китай в 1930 г. стоял на 9-м месте, позади даже Кубы и Колумбии; по вывозу промышленного оборудования — на 18-м месте; по вывозу автомобилей и авточастей — на 23-м месте (позади даже Турции, Филиппин и Явы).

По общей сумме своего вывоза Соед. Штаты занимают одно из первых мест на китайском рынке. С учетом вероятной американской доли в торговле через Гонконг Америка поставила в 1929 г. около 20 проц. всего китайского импорта, а в 1931 г. — даже 25 проц.; в том же году вся Британская империя дала приблизительно 27 проц., а Япония вместе с колониями — тоже около 25 проц. При этом к прямой американской торговле с Китаем нужно присчитать еще около 20 проц. этой торговли, проходя-

щей транзитом через Японию и числящейся вывозом в последнюю. Однако в составе английского и японского вывоза в Китай промышленные изделия играют более значительную роль, и, соответственно, английская и японская промышленность заинтересована в его рынке относительно больше американской.

Картина торговых интересов Соед. Штатов в Китае дополняется двумя моментами:

а) Китай, будучи единственной крупной страной, сохранившей серебряную валюту, до последнего времени являлся наряду с Индией крупнейшим мировым потребителем серебра, производство которого в значительной мере контролируется американским капиталом. Импорт в Китай серебра составил в 1930 г. 105,1 млн. таэлей (в том числе из США — 40,7 млн.); в 1931 г. — 75,9 млн. (из США — 20,1 млн.), в 1932 г. — 62,3 млн. таэлей (из США — 19,6 млн.)<sup>1)</sup>, б) в области судоходства Америка весьма сильно отстает от своих соперников. Доля американского флага во внешнеторговых и каботажных перевозках Китая не превышает 4—5 проц., тогда как доля английского флага составляет 35—40 проц., а японского — 25—30 проц.

Китай как рынок приложения капитала. В общей системе американских инвестиций за границей не только Китай, но и вся Азия все еще занимают третьестепенное место. В 1931 г. из общей суммы американских капиталовложений за границей — 24,7 млрд. долларов (а за вычетом меж-

союзных военных долгов — 17,7 млрд.) — на Азию и Океанию приходилось меньше миллиарда, а на Китай всего 240—250 млн. долларов. Насколько ничтожна эта последняя цифра, видно из сравнения ее с суммой американской инвестиции в Канаде (4.600 млн. долларов), на Кубе (1.233 млн. долларов), в Аргентине (855 млн. долларов), в Бразилии (624 млн. долл.), или хотя бы в Колумбии (341 млн. долл.). Английские и японские инвестиции в Китае в 4—5 раз превышают американские капиталовложения, которые составляют не более 6 проц. всего помещенного в Китае иностранного капитала. В составе американских инвестиций около 160 млн. долл. составляют прямые вложения, около 40 млн. — займы китайскому правительству и столько же — имущество религиозных миссий и благотворительных обществ. Свыше  $\frac{2}{3}$  прямых инвестиций сосредоточены в Шанхае. Около  $\frac{1}{3}$  американских прямых инвестиций связаны с импортом и экспортом (около 50 млн. против 240 млн. Англии и 180 млн. Японии); до  $\frac{1}{4}$  приходится на коммунальные предприятия (главным образом на силовую станцию шанхайского международного сеггльмента). Американские интересы на китайских железных дорогах совершенно незначительны; американская доля китайских жел.-дор. займов составляет примерно 15 млн. долларов, т.-е. меньше, чем доля Бельгии или Голландии. Промышленные интересы Соед. Штатов в Китае также ничтожны: они вообще отсутствуют в угольной и вообще добывающей промышленности, так же, как и в текстильной промышленности. Американский капитал вложен лишь в табачную промышленность (в которой однако решающее влияние принадлежит Англии) и в отдельные предприятия второстепенных отраслей легкой индустрии. Вся сумма промышленных инвестиций Соед. Штатов в Китае не превышает 20 млн. долларов против 173 млн. английских и 166 млн. японских. Хотя в числе четырех американских банков, имеющих отделения в Китае, числится такой гигант, как «Нешиональ Сити Банк», однако ни по объему своей местной эмиссии и

<sup>1)</sup> В дальнейшем однако обострение кризиса в Китае привело к тому, что приток серебра в эту страну сменился утечкой. Последняя приняла сугубые размеры под влиянием новой серебряной политики американского правительства, приступившего, в интересах владельцев серебряных рудников, к скупке серебра в крупных масштабах. Китай вынужден был тогда (осенью 1934 г.) ввести повышенные пошлины на вывоз серебра и фактически оторвать свою валюту от серебряного стандарта. Несмотря на это, утечка серебра продолжается и вызывает дальнейшее серьезное обострение переживаемого Китаем жестокого кризиса. Серебро стало, таким образом, одним из важных конфликтных вопросов американо-китайских отношений.

вкладных операций, ни по влиянию на валютный рынок, ни по масштабам кредитных операций с туземными банками и промышленностью американские кредитные учреждения в этой стране не могут идти в сравнение с английскими или японскими.

Таким образом, различные экономические интересы США в Китае, сколь бы значительны они сами по себе ни были, не занимают крупного места в системе внешних интересов американского капитализма (это особенно верно применительно к политически наиболее важным интересам финансового капитала) и не имеют для него на сегодняшний день жизненного, решающего значения. Сами по себе они не могут служить причиной военного конфликта с Японией. Этот вывод подкрепляется следующими дополнительными соображениями:

а) Бесспорно, что монопольное господство Японии в отдельных частях Китая и тем более во всей этой стране нанесет удар как американским капиталовложениям, так, в некоторой части, и торговым интересам Соед. Штатов. В этом отношении показательны данные о постепенной ликвидации и свертывании операций американских фирм в Манчжурии после ее захвата и данные о падении прямого американского вывоза в Манчжурию. Но японцы недаром при каждом случае подчеркивают, что экономические интересы Америки и Японии вовсе не сталкиваются друг с другом. По важнейшим статьям своего сырьевого вывоза в Китай (пшеница, хлопок, табак, нефтепродукты, лес) американская торговля не конкурирует с японской, а, наоборот, в значительной части (по некоторым данным, до 40 проц.) проходит через руки японских маклеров и посредников (транзит через Японию и пр.). В части, касающейся вывоза сырья, Америке и Японии было бы несомненно нетрудно договориться.

б) Наличие интересы, связанные с японским рынком, представляют для американского капитала большее значение, чем интересы, связан-

ные с рынком Китая. В импорте Соед. Штатов Япония занимает второе место, поставляя около 10 проц. всего этого импорта (в 1929 г. 429 млн. долларов, в 1932 г. — 134 млн. долларов, в 1933 г. — 128 млн. долларов). Главной статьёй этого ввоза является шелк-сырец (Япония поставляет 85—90 проц. всего импорта в США этого товара). Бойкот Японии или разрыв с ней парализовал бы всю американскую шелковую промышленность. По вывозу из США Япония в 1929 г. стояла на 5-м месте (экспорт в Японию—259 млн. долл., в Китай — 156 млн. долл.), в 1931 г. на 4-м месте, в 1932 и 1933 гг. на 3-м месте (после Англии и Канады). В каждом из этих двух лет на долю Японии пришлось 8,5 проц. всего американского вывоза (1932 г. — 134 млн. долл., 1933 г. — 143 млн. против 63 млн. вывоза в Китай). В докризисный период Япония забирала около 12 проц. всего американского вывоза хлопка-сырца, а за последние годы около 25 проц. этого вывоза, она забирает около  $\frac{1}{6}$  всего американского вывоза леса и нефтепродуктов. Промышленный вывоз в Японию также значительно превышает вывоз в Китай. Наконец американские капиталовложения в Японию в 1931 г. исчислялись в 450 млн. долларов, — значительно больше капиталовложений в Китае. В японском рынке непосредственно заинтересована притом самая головка американского финансового капитала, чего нельзя сказать о китайском рынке. Японский государственный заем 1924 г. и ряд муниципальных займов были размещены в Америке в основном через фирму Моргана; крупнейшие электрические концерны Японии (задолженность их Америке на 1 января 1929 г. исчислялась в 150 млн. долларов) непосредственно связаны с такими американскими гигантами, как «Гаранти Трест Компани», «Дженерал Электрик», «Вестингауз» и т. д. Хотя влияние Соед. Штатов на техническое развитие Японии было в общем невелико (Орчард отмечает, что «японская промышленность более европейская, чем американская»), все же американский капитал имеет непосредственные интересы в японском про-

изводстве автомобилей, швейных машин, граммофонов и киноаппаратуры.

Разумеется, все это не имеет абсолютного значения. Основная масса американских капиталовложений в Японии — займы, с которыми не связываются контрольные права и которые представляют собой наиболее ликвидную форму инвестиций. (По некоторым данным, значительная часть облигаций этих займов уже перекечевала обратно в японские руки). Торговые связи с японским рынком частично представляют собой, как уже указано, скрытый вывоз в Китай (в докризисные годы этот экспорт из США в Китай транзитом через Японию оценивали в 25 млн. долл., и сверх того, около 10 проц. всего японского вывоза в Китай представляли собой товары, произведенные в Японии из американских материалов). С другой стороны, характер торговых отношений Японии и Соед. Штатов таков, что экономическая зависимость Японии от Америки (хлопок, железо и сталь) значительно больше, чем зависимость Америки от Японии (шелк), и один из аспектов японской агрессии в Китае как-раз и заключается в стремлении Японии освободиться от этой зависимости путем создания собственной сырьевой базы на Азиатском материке. И все же конкретная экономическая заинтересованность американской буржуазии в японском рынке имеет определенное политическое значение, ибо она является фактором, тормозящим развитие японо-американского конфликта из-за Китая.

Китай как рынок будущего. Но ключом к этому конфликту, как и к политике Соед. Штатов в Китае, не могут служить одни только наличные интересы американского капитала в Китае. Китай с его полумиллиардным населением (пусть даже эта цифра, как подозревают статистики, преувеличена) все еще не целиком вовлечен в сферу капиталистической эксплуатации и мирового товарооборота. Характерно, что по развитию внешней торговли, соотносительно с количеством населения и производственными возможностями страны, Ки-

тай далеко отстает не только от полуколоний, какими являются государства Южной и Центральной Америки, но и от соседних с Китаем европейских и американских колоний в Азии. Действительно, на душу населения импорт Китая составляет всего 1,8 золотых долл. против например 4,9 долл. в Индии, 8,0 долл. в Сиаме, 24,7 долл. на Филиппинах, 26,8 долл. в Цейлоне, 25,7 долл. в Венецуэле, 44,0 долл. в Чили, 59,0 долл. на Кубе и 73,4 долл. в Аргентине. Китайский хинтерланд, почти лишенный железных дорог, представляет собой едва затронутый, но гигантский по своим перспективам важнейший резервный рынок мирового капитализма. Ясно, что в политике всех империалистических держав по отношению к Китаю огромное место должен занимать именно учет этой потенции. Ясно также, что, каково бы ни было соотношение наличных интересов империалистов в Китае, ни одна из руководящих держав не может «отказаться» от Китая, не отказываясь вместе с тем от своей мировой роли.

Эти аксиомы сугубо очевидны применительно к американской политике. Вплоть до настоящего времени главными сферами американской активности остаются: 1) Канада (10 млн. населения, 15 — 17 процентов вывоза США и около 25 процентов американских капиталовложений за границей), не являющаяся однако колониальным рынком с повышенным уровнем прибыли, и 2) Южная и Карибская Америка (около 100 млн. населения, 13 — 17 проц. американского вывоза и около трети всех инвестиций за границей), важнейшие ресурсы которых уже в немалой степени освоены американским и английским капиталом. По сравнению с ними густо населенный Китай занимает еще третьестепенное место в системе внешних интересов Соед. Штатов (4 — 5 проц. вывоза, меньше 1½ проц. инвестиций). Китайский рынок, даже в пределах нынешней его емкости, освоен Америкой в гораздо меньшей степени, чем хотя бы рынки некоторых британских доминионов и Японии. Действи-

тельно, по расчету, приведенному в американских экономических справочниках, в 1929 г. Соед. Штаты поставили только 18 проц. китайского ввоза, тогда как их доля в импорте Новой Зеландии составила 19 проц., Австралии — около 25 проц., Аргентины — 26 проц., Японии и Бразилии — по 30 проц., Перу и Колумбии — 40 — 45 проц., Венесуэлы — 55 проц., Кубы — 61 проц., Филиппин — 63 проц., Канады и Мексики — около 70 проц. По абсолютным размерам американского экспорта Китай в 1929 г. занимал 7-е место, но по степени освоения рынка он оказался в том же году на 16-м месте. Характерно также, что как по ввозу, так и по вывозу торговля Соед. Штатов с Китаем развивалась в предкризисные годы быстрее всей американской внешней торговли в целом. Если по сравнению со средней цифрой предвоенного пятилетия весь вывоз Соед. Штатов в 1929 г. обнаружил рост на 142 проц., то вывоз в Китай увеличился на 396 проц. В годы кризиса экспорт в Китай сокращался медленнее, чем в другие страны (с 1929 г. по 1932 г. общий вывоз сократился на 70 проц., а вывоз в Китай — только на 57 проц.). В годы кризиса, следовательно, Китай оставался для Соед. Штатов одним из наименее подорванных и относительно наиболее сохранившихся экспортных рынков.

Из всего этого явствует, что наличные экономические интересы США в Китае представляют собой лишь малую часть грандиозных потенциальных возможностей китайского рынка, учет которых должен играть особенно крупную роль именно в политике американского капитала, тем более, что этот последний не имеет собственных колоний и других, кроме Китая, опорных пунктов на Азиатском материке. В американской политике китайская проблема равнозначна проблеме всей Восточной Азии. Не будет преувеличением утверждать, что главное поле своей будущей экспансии Америка видит именно в Китае. Соответствующее признание содержалось, между прочим, в интервью Генри Форда с редактором «Уолл Стрит Дженерал» в 1923 г.

Признание это является лейт-мотивом большинства высказываний американской публицистики относительно Китая; оно пронизывает собой историческое развитие американской политики на Дальнем Востоке. На протяжении нескольких последних десятилетий эта политика заведомо руководствуется (помимо заботы о защите и укреплении наличных американских позиций и интересов в Китае) настойчивым и возведенным в принцип стремлением воспрепятствовать захвату китайского рынка другими империалистами или разделу его между ними и сохранить, таким образом, расчищенными пути будущей экспансии США.

Политическое значение этого факта огромно. То обстоятельство, что речь идет не столько об интересах сегодняшнего дня, сколько о перспективах дальнейшего развития, не ослабляло и не ослабляет принципиальной непримиримости американских установок в отношении Китая. В частности совершенно очевидно, что именно это положение вещей предопределяет собою нынешнюю остроту японо-американского конфликта из-за Китая, ибо если наличные экономические интересы Соед. Штатов допускают в известных пределах соглашение с Японией, то утверждение монопольного японского господства над Китаем создает непреодолимое препятствие для дальнейшей экспансии американского капитала. Захват Манчжурии и распространение японского господства в Китае представляют собой величайшую угрозу, с какою Америке пришлось сталкиваться со времени провозглашения доктрины Монроэ. Но, с другой стороны, ясно, что в конкретной капиталистической действительности интересы будущей экспансии и наличные капиталистические интересы представляют собой несоизмеримые величины. Америка знает, что на азиатском театре борьбы военно-стратегические и политиче-



ко-стратегические преимущества находятся на стороне ее противников и соперников. В том параллелограмме сил, который в каждое данное время складывается в Америке вокруг любого крупного вопроса внешней политики, давление в сторону открытой агрессии к Китаю должно быть поэтому значительно слабее, чем к той «собственной сфере» американского капитала, в которой его наличные интересы представляют крупную величину. И действительно, анализ исторического курса американской политики на Дальнем Востоке не оставляет сомнения в том, что эта политика — до сих пор по крайней мере — была политикой «ограниченного действия».

## 2. Политика „открытых дверей“

Торговые связи США с Китаем насчитывают полтора столетия существования. Уже около столетия Китай является важным объектом американской политики. Развитие этой политики, находившееся под влиянием, с одной стороны, процессов, происходивших в экономике самих Соед. Штатов, а, с другой, общей обстановки на Дальнем Востоке, характеризовалось, разумеется, известными зигзагами в смысле смены периодов относительно большей или меньшей активности США на Дальнем Востоке и переходов от наступления к обороне и наоборот. При всем том курс американской политики в Китае обнаруживает — по крайней мере в пределах эпохи империализма — поразительную последовательность. Во-первых, неизменным остается материальное содержание политических домогательств Америки в Китае, отражающих точно очерченную специфику положения Америки по отношению к этой стране. Во-вторых, столь же до сих пор неизменным остается ограниченный арсенал тех методов, с помощью которых американский империализм пытается добиться своих целей.

Предпосылки американской политики на Дальнем Востоке связаны со следующими важнейшими моментами.

1) В доимпериалистическую эпоху внешняя экспансия американского капитала в течение долгого периода дополнялась и заменялась своеобразной внутренней экспансией — громадным расширением внутреннего рынка, за счет освоения, с помощью иммигрантов из-за границы, все новых нетронутых районов собственной территории. Этот процесс закончился в основном к середине 90-х гг. прошлого века, но он наложил глубокий и в некоторых отношениях не вполне еще углажившийся отпечаток на последующее развитие американского империализма. С этим связан в частности важнейший факт, что на Дальнем Востоке Америка упустила период «свободно-захватного» занятия земель: в то время, как европейские державы делили между собою огромные территории Азиатского материка с прилегающим архипелагом и позднее захватывали вассальные провинции одряхлевшей Китайской империи (Или, Тонкин, Бирма, Корея и т. д.). Соед. Штаты были целиком заняты освоением собственной территории. На рубеже эпохи империализма они успели захватить на Тихом океане только Филиппинские, Гавайские и часть Самоанских островов.

2) С того самого момента, когда развернулась борьба между решающими империалистическими державами за господство над Китаем, Америка оказалась в особом и невыгодном положении ввиду отсутствия у нее достаточных баз и опорных пунктов на далеком дальневосточном театре. Филиппинские острова не могли идти в этом смысле в сравнение ни с колониальной империей Англии, ни с французскими владениями на Дальнем Востоке, ни с естественными географическими преимуществами царской России, ни наконец с исключительно благоприятным расположением Японии у самых ворот Азиатского материка. Этот «географический» фактор получил огромное военно-стратегическое и политическое значение, ибо на Дальнем Востоке «удобства грабежа», в частности удобства применения военной силы, оказались целиком на стороне соперников и

противников американского империализма.

3) Соответственно этому интересы США в Китае противопоставляются английским, французским и японским — в том особом смысле, что интересы эти не связаны с проблемой сохранения господства над близлежащими колониями в Азии, которых у Америки нет (кроме Филиппин). Отчасти поэтому аппарат военного насилия, который Америка, подобно другим империалистам, содержит в Китае, не может идти в сравнение с соответствующим аппаратом английского и японского империализма.

4) Тот же общий фактор, создавший специфику положения Америки на Дальнем Востоке, предопределил (наряду конечно с другими моментами) основное направление последующей (империалистической) экспансии Соед. Штатов. Несмотря на то, что в первые двадцать пять лет государственного существования США и затем вновь в середине XIX столетия именно Китай привлекал к себе особое внимание молодого американского капитала и именно китайская торговля была одним из крупнейших источников его накопления — в эпоху империализма, с ее характерным сплетением финансов и политики, — главным объектом экспансии этого капитала стала не Азия, а страны Нового Света, в которых военные-политические преимущества находились и находятся на стороне Северной Америки. Американская «дипломатия доллара» в Китае была только бледной тенью соответствующей политики империализма США в этой «его собственной» сфере, охраняемой доктриной Монроэ в ее позднейшем монополистическом выражении. Китай, в котором американский капитал пока сравнительно менее активен, был и остается для него главным образом резервом на будущее время.

Отсюда существеннейший негативный элемент в политике Соед. Штатов в Китае: забота о поддержании территориального и политического статус-кво в Китае, сочетаемая, разумеется, с позитивными целями внедрения американского капитала, утверждения американского

политического господства. Отсюда «доктрина открытых дверей», являющаяся (подобно доктрине Монроэ в отношении Латинской Америки) специфическим орудием американского империализма в борьбе за Китай.

Сущность политики «открытых дверей» сводится именно к поддержанию статус-кво во взаимоотношениях между империалистами, к охране территориальной целостности и административного единства Китая, к сохранению его колониальной зависимости от всего мирового империализма в целом (общий для всех империалистов договорный режим, недопущение исключительных привилегий отдельных держав, интернационализация финансового и политического контроля над Китаем). Она противопоставляется устремлениям к отгораживанию частей китайской территории в качестве монопольных «сфер влияния» отдельных держав, территориальным захватам со стороны этих держав и присвоению ими «специальных прав» и монополии политического контроля над всем Китаем или его частями.

Доктрина эта вовсе не имеет универсального применения в политике США (в их собственных колониях «двери» плотно закрыты) и отнюдь не обнаруживает отличного от других империалистов существа этой политики. Однако в данных условиях борьбы на дальневосточном театре американский капитал прямо заинтересован, во-первых, в том, чтобы его резервный рынок в Китае не был захвачен другими империалистами, а во-вторых, в том, чтобы было исключено применение тех методов прабеза Китая, в которых Америка слабее (военная сила, захват территории), и узаконено применение таких методов, которые составляют его силу (экономический, финансовый и политический контроль, осуществляемый в международных формах). Отсюда решительная борьба США с попытками территориального раздела Китая, при котором Америка неизбежно осталась бы обделенной (и который к тому же противоречит американским устремлениям к перспективному господству над всем Китаем в целом); отсюда стрем-

ление США в опоре на центральную власть в Китае, в противовес местным властям, зависимым от империалистов, хозяйничающих в данном районе; стсюда же тот факт, что индивидуальным захватам и монополии в Китае и в отдельных его частях Америка все более настойчиво противопоставляет связывающий ее наиболее опасных соперников принцип интернационального закабаления этой страны на началах «равных (для империалистов) возможностей», в условиях которых крупнейшее значение приобретает экономическая мощь Соед. Штатов. Борьба за Китай и за Манчжурию велась и ведется Америкой в течение всей эпохи империализма именно на этой платформе, эволюционировавшей, разумеется, за протекшие десятилетия — особенно в связи с гигантским ростом экономической мощи и политического могущества Соед. Штатов в результате мировой войны, — но в основе оставшейся неизменной.

Политика открытых дверей выросла, по существу, из того курса, которого Америка придерживалась еще в доимпериалистическую эпоху, когда она неизменно домогалась полного распространения на нее всех привилегий и преимуществ, полученных другими державами в результате тех или иных актов агрессий и военного насилия по отношению к Китаю. Она была впервые сформулирована в 1899 г. (циркулярное обращение США к крупнейшим державам) в обстановке, когда «битва за концессии», захват в «аренду» опорных пунктов на китайском побережье и провозглашение капиталистическими державами целых обширных частей китайской территории своими исключительными «сферами интересов», вплотную пододвинули угрожающую для Америки перспективу территориального раздела Китая.

В первоначальном своем виде доктрина «открытых дверей» имела весьма скромное содержание. Америка предложила, чтобы державы, претендующие на сферы интересов в Китае, обязались в пределах этих сфер не изменять существующего договорного режима открытых портов, не затрагивать чужих «ве-

стированных (т.е. уже закрепленных) интересов», не нарушать порядка взимания таможенных пошлин и не присваивать своим товарам и гражданам льгот в отношении этих пошлин, портовых и жел.-дор. сборов. Американское выступление, на первый взгляд, как будто не только не отрицало, а, наоборот, подтверждало существование «сфер интересов» и воплощенную в них тенденцию к разделу Китая. Но, поскольку создание «сфер интересов», как предварительный шаг к аннексии соответствующих частей китайской территории, диктовалось в конечном счете именно стремлением к монопольному экономическому господству над данными районами, — против чего как раз и была направлена американская доктрина, — эта последняя с самого начала оказывалась политическим орудием, заостренным против тенденции к разделу Китая. К тому же она быстро эволюционировала: если в 1899 г. речь шла только о торговом режиме, а промышленные вопросы вовсе не затрагивались, то уже в начале 1902 г. американское правительство официально протестовало перед правительством царской России по поводу попытки последнего закрепить за Русско-Китайским банком монополию горных разработок в Манчжурии. В дальнейшем первоначальное торгово-политическое содержание доктрины все в большей степени затмевалось ее гораздо более широким общеполитическим смыслом. Гибкость американской доктрины позволила ей из оборонительного орудия, каким она вначале была, превращаться по мере надобности в оружие ярко наступательное, — в тот таран, которым в разное время американский капитал пытался пробить стены, ограждавшие европейские и японские вотчины в Китае. Доктрина стала не только средством борьбы с монопольным господством того или другого соперника Америки в том или другом районе Китая, но и знаменем того политического «собрания» этой страны, которое в наибольшей степени отвечало и отвечает (особенно со времени утверждения господства гоминдановской реакции) специфическим интересам американского капитала.

Несмотря на то, что выступление США в 1899 г. шло вразрез с исторической тенденцией к разделу Китая, столь ярко засвидетельствованной событиями той эпохи, американская доктрина получила тогда же лицемерное признание со стороны всех империалистов. Это объяснялось в частности стремлением каждой из империалистических группировок (Англия и Япония, Россия и Франция, Германия) использовать эту доктрину против враждебного ей лагеря. Утвреждение или хотя бы упоминание о принципе открытых дверей на Дальнем Востоке многократно повторялось затем в дипломатических документах, в том числе и в таких, которые в действительности были прямо направлены против американской доктрины (например в русско-японском соглашении о Манчжурии 1907 г.). Новое торжественное и международное признание эта доктрина получила в Вашингтонском договоре девяти держав (1922 г.), согласно которому «сферы интересов» полностью отменялись и державы обязывались не только соблюдать территориальную и административную целостность Китая, но и воздерживаться от соискательства каких-либо специальных привилегий или монополий как для себя, так и для своих граждан. События последних лет наглядно продемонстрировали все лицемерие и условность этого признания. Доктрина открытых дверей была и остается не закрепленной и общепризнанной базой взаимоотношений между империалистами в Китае, а лишь тенденцией, отвечающей специфическим устремлениям американского империализма и реализуемой в той или другой степени, в зависимости от конкретного соотношения и группировки империалистических сил.

На всем протяжении своей истории американская доктрина открытых дверей была двойное существование и переживала двоякого рода кризисы:

1) Как практическая норма, обеспечивающая действительное «равенство возможностей» в экономической эксплуатации Китая, недопущение монополии и в частности свободу доступа американского капитала, она, по существу, никогда не могла быть полностью реализована.

Это засвидетельствовано, между прочим, неизменным провалом всех последовательных попыток американских капиталистов финансировать и контролировать осуществление различных проектов железнодорожного строительства в Китае и Манчжурии (проекты ж.-д. концессии в Манчжурии 1896—1898 гг., концессия на Кантон-Ханькоусскую ж. д. 1898—1905 гг., договор на постройку Трансманчжурской ж. д. 1909—1910 гг., концессия 1916 г. на постройку 1.500 миль железных дорог в разных районах Собственного Китая — все это потерпело крах из-за противодействия «хозяев» соответствующей сферы интересов в Китае), а также и импотентностью возглавляемого американскими финансовыми магнатами послевоенного банковского консорциума, созданного для финансирования Китая. В этом плане кризис политики открытых дверей носил перманентный характер, обнажаясь и обостряясь каждый раз, когда ее приходилось проверять на практике.

2) Как принцип «высокой политики», как фактор, сдерживающий тенденцию к индивидуальной «вгрызанию» в Китай других империалистов, доктрина открытых дверей имела и имеет реальное бытие и сыграла крупнейшую историческую роль. Но и в этом плане американская политика в Китае на протяжении последних десятилетий знала ряд серьезных кризисов, ни один из которых не получил вполне благоприятного для США разрешения.

Первый кризис 1900—1905 гг. имел своим главным фокусом Манчжурию. Военная оккупация этой области царской Россией под предлогом борьбы с боксерами и явная подготовка царизма к полной аннексии этого края и к передвижке русской «сферы интересов» на весь Северный Китай поставили вплотную вопрос о компенсациях для других империалистов и, стало быть, о разделе Китая. Этот кризис разрешился Русско-Японской войной, в которой Америка, не нарушая своего нейтралитета, морально и в финансовом отношении поддерживала Японию, а затем посредничала в мирных переговорах в интересах такого

мира, который противопоставил бы и взаимно нейтрализовал бы Россию и Японию в Манчжурии. Непосредственная угроза раздела Китая отпала, но расчет на дальнейший антагонизм Японии и царской России оказался ошибочным, — они быстро столкнулись насчет совместной обороны своих манчжурских вотчин, и последующие попытки непосредственного наступления в Китае и особенно в Манчжурии американского финансового капитала («дипломатия доллара») потерпели полный крах.

Второй кризис (1915—1922) явился следствием громадного усиления японской агрессии в Китае в обстановке мировой войны (захват Японией германских владений и концессий в Шаньдуне, закрепленный секретным сговором с европейскими союзниками относительно оставления этого германского наследства за Японией; 21 требование; договоры 1915 г. о Шаньдуне и Манчжурии; «нишихаровские займы», с помощью которых Япония подчинила своему полному контролю продажное пекинское правительство и одновременно закрепила за собой ценные концессионные объекты; наконец интервенция в Сибири и появление японских войск в Северной Манчжурии). Америка при всей своей огромной послевоенной мощи оказалась тогда перед перспективой утверждения в Китае монопольного японского господства, опирающегося на укрепленные форпосты Японии в Манчжурии и Шаньдуне, а стало быть, перед угрозой потери китайского рынка. Кризис «разрешился» — с помощью использования имевшихся тогда в распоряжении Америки рычагов воздействия на европейские державы и в частности на английский империализм (военные долги, антияпонская позиция доминионов) — гнилым компромиссом, заключенным на Вашингтонской конференции 1921—1922 г. На этой конференции: а) был расторгнут англо-японский союз, б) была торжественно подтверждена политика открытых дверей и в) Япония вынуждена была эвакуировать свои войска из Шаньдуна и отдать Китаю «арендованную территорию» Киао-Чао; однако: г) принцип открытых дверей не получил

обратной силы и не затронул «вестированных интересов», д) позиции Японии в Манчжурии остались, по существу, непоколебленными, и, главное, е) договор о морских вооружениях обеспечил Японии полное господство в азиатских водах (запрет перевооружения и укрепления морских баз Америки и Англии в этой части Тихого океана). В итоге Япония была вынуждена к временному отступлению, но одновременно были созданы предпосылки для последующего возобновления открытой агрессии японского империализма на азиатском континенте. Если вашингтонский компромисс просуществовал все же девять лет, то это в значительной мере объясняется не входившей в расчеты империалистов китайской революцией, которая вплоть до поражения первого ее этапа (1925—1927 гг.) вынуждала империалистов придерживаться в Китае маневренной и оборонительной тактики.

Третий кризис американской политики в Китае разразился в 1931 г., с захватом Японией Манчжурии, и с тех пор продолжает углубляться. Этот кризис, развивающийся в условиях мирового экономического кризиса, наиболее серьезен, ибо: а) он сочетает в себе угрожающие элементы обоих предыдущих кризисов (перспектива японской монополии в основных районах Китая с компенсацией европейских империалистов за счет Западного и Южного Китая; б) он развивается в сугубо неблагоприятной для США международной обстановке (фактический англо-японский сговор — по крайней мере в рамках манчжурского вопроса — в противовес англо-американскому сотрудничеству в первом туре борьбы за Манчжурию и на Вашингтонской конференции); в) он разворачивается параллельно с нарастанием угрозы новой мировой войны, тающей в себе огромную опасность для всего капиталистического мира; г) он разворачивается на фоне борьбы двух систем и нового подъема революции в Китае.

Проблема выхода из этого нового кризиса американской политики в Китае бесспорно является острейшей внешнеполитической проблемой США.

### 3. Политика „ограниченного действия“

Заклочения американской доктрины открытых дверей нельзя не поставить в непосредственную связь с отмеченным выше фактом ограниченности средств, с помощью которых американский империализм осуществлял свою дальневосточную политику. Красной нитью через всю историю этой политики проходит сознание военной слабости США на дальневосточном театре борьбы, учет максимально неблагоприятных для Америки условий на этом театре и вытекающий из этого заведомый отказ Соед. Штатов от применения в своей борьбе за Китай военных методов. Видимые исключения (захват и покорение Филиппин в 1898 и последующих годах, участие в боксерской войне 1900 г., участие в международной интервенции на советском Дальнем Востоке в 1918—20 гг.) только подтверждают это правило, так как ни в одном из этих случаев не было речи о серьезной войне. Дело не в том, что Соед. Штатам не пришлось воевать на Дальнем Востоке<sup>1)</sup>. Вопрос о войне на Дальнем Востоке был поставлен еще в период борьбы за Манчжурию против царской России и был тогда же разрешен отрицательно. С тех пор, вплоть до самого последнего времени, не было такого периода, когда американский империализм всерьез ставил бы перед собой перспективу войны на Тихом океане и к ней активно готовился. Вот несколько авторитетных — и не предназначенных в свое время для огласки — высказываний по этому вопросу, которые, разумеется, нельзя принимать буквально, но которые все же чрезвычайно характерны.

Государственный секретарь Хэй в письме к своему заместителю Ади 14/IX 1900 г.:

<sup>1)</sup> Им не пришлось вести «большой войны» и в Латинской Америке, но в отношении последней перспектива такой войны всегда учтывалась, к ней всегда велась серьезная подготовка и война несколько раз предотвращалась благодаря отступлению противников США; из-за Венецуэллы — с Англией в 80-х и 90-х годах, с Германией — в самом начале XX века.

«Когда я пытался побудить китайцев не предоставлять другим державам привилегий, которые не будут одинаково распространены и на нас, они мне отвечали буквально следующее: «Если они применят силу, мы не сможем сопротивляться. Даете ли вы нам гарантию против них?» На это я не мог дать ответа. Существенная слабость нашей позиции заключается в следующем: мы не хотим грабить Китай сами, и наше общественное мнение не позволит нам вмешаться с армией, чтобы помешать другим его грабить. Кроме того, у нас нет армии. Газетная болтовня о том, что «наша преобладающая моральная позиция ставит нас в положение, когда мы можем диктовать свою волю миру», — попросту чепуха... Если бы не наша внутренняя политика, мы могли и должны были бы объединиться с Англией, интересы которой идентичны с нашими, но при нынешних настроениях... об этом не может быть и речи».

Разумеется, терминология Хэя отдает дань дипломатическому лицемерию. Речь шла не о том, грабить ли Китай или нет, а о том, как его грабить. Сущность заявления Хэя сводится к тому, что Америка не может и не хочет отстаивать свой способ грабежа Китая военной силой.

Меморандум Хэя 1/II 1901 г. (в ответ на запрос японского посланника о позиции США в случае нарушения царской Россией ее обязательств в отношении Манчжурии):

«Мы не собираемся в настоящее время ни в отдельности, ни в сотрудничестве с другими державами пытаться настаивать на осуществлении этих взглядов на Востоке (т.е. отстаивать целостность Китая) посредством какой-либо демонстрации, которая будет иметь враждебный характер по отношению к какой-либо другой державе».

Этот ответ предопределил собой не только англо-японский союз, но и Русско-Японскую войну.

«Это было настоящее испытание, что именно представляет собой китай-

окая политика САСШ...» — пишет американский историк <sup>1)</sup>. — «В значительной части наша дальневосточная политика оказалась неустойчивой. Мы не собирались драться за то, что мы считали правом. Так предопределились будущие судьбы Дальнего Востока на ближайшие четверть столетия. Россия, а затем Япония стали стремиться к эксплуатации Манчжурии... Соед. Штаты не могли и не хотели воевать для защиты Китая. Все, что мы могли сделать, — это время от времени освещать положение проектором дипломатической ноты. Временами это моральное давление оказывалось успешным. Но это был в лучшем случае паллиатив, и политика открытых дверей осталась подверженной веяниям времени».

Президент Теодор Рузвельт в письме к Спринг-Райсу 27/XII 1904 г. (в разгар Русско-Японской войны):

«Было совершенно невозможно взять на себя от имени этой страны обязательство выполнять какую-либо политику, кроме той политики, которая стала уже наследственной традицией вроде доктрины Монроэ. Я лично например мог бы взять на себя такое обязательство лишь на четыре года, да и то должен был бы считаться с возможностью свержения меня в связи с настроениями масс и со множеством различных условий. В результате моя политика по необходимости носит несколько оппортунистический характер».

Теодор Рузвельт (после ухода с президентского поста) в полемике против «дипломатии доллара» государственного секретаря Нокса (письмо Тафту 22/XII 1910 г.):

«Я не верю в политику блефа в национальных и международных делах, как и в частных, и равным образом считаю недопустимым нарушение старого пограничного правила: «Никогда не вынимай револьвера из кобуры, если ты не намерен стрелять...» Что касается Манчжурии, то, если японцы

решатся на действия, против которых мы высказываемся, мы не сможем остановить их, если мы не будем готовы воевать, но успешная война за Манчжурию требует такого же флота, как английский, и в дополнение такой же армии, как германская».

Гос. секретарь Нокс — в письме Тафту с ответом на возражения Рузвельта (декабрь 1910 г.):

«Я не могу утверждать, пойдет ли когда-нибудь американский народ воевать в защиту наших интересов в Китае. Это будет зависеть вероятно от характера той провокации, которой мы подвергнемся. Во всяком случае нам нечего заранее обречь наши дела на провал признанием, что мы ни при каких обстоятельствах не будем воевать... Было бы в высшей степени нецелесообразно свертывать наши знамена в настоящее время, даже если бы мы вообще думали это сделать, и во всяком случае, я считаю, что нам выгодно последовательно защищать наши принципы, даже если нам не удастся настоять на их ближайшем признании».

Применительно к позднему периоду, — к первым послевоенным годам, которые как-раз характеризовались сильнейшим обнажением и обострением японо-американского конфликта на Тихом океане, уже тогда непосредственно угрожавшего военной развязкой, — нижеследующие факты иллюстрируют степень политической и военной неподготовленности Соед. Штатов к этой войне:

1) В петициях, поступивших перед созывом Вашингтонской конференции 1921—1922 гг. требование сокращения морских вооружений собрало 11 миллионов подписей; требование урегулирования дальневосточных вопросов — всего только 6 тысяч. Это — свидетельство не только стихийного пафоса американских масс, но и чрезвычайной слабости подготовительной военной пропаганды.

2) Небольшие кредиты на переоборудование Кавита (Филиппинские острова) и острова Гуама были ассигнованы только перед самой Вашингтонской конференцией. К моменту заключения Ва-

<sup>1)</sup> Dennis. Adventures in American Diplomacy, 1895—1905, p. 243.

шингтонского договора о морских вооружениях, запретившего дальнейшее укрепление этих баз, Гуам был почти вовсе беззащитен, а в трех морских крепостях на Филиппинах мало что изменилось со времени Испано-Американской войны. Американский флот при посещении островов должен был бы привезти с собой все ему необходимое, включая ремонтные средства.

3) На всем американском побережье Тихого океана и на Гавайских островах не было ни одной морской базы, которая могла бы полностью обслужить американский флот даже в мирное время, не говоря уже о военных нуждах.

4) До 1921 г. американский флот не имел ни одного легкого крейсера современного типа (Япония имела их 10). Из 12 лучших американских подводных лодок, посланных в Европу в июле 1917 г., ни одна не оказалась работоспособной. В части личного состава недобор в апреле 1920 г. составлял 3.765 офицеров и 68.000 матросов; из-за недостатка кочегаров суда подолгу задерживались в портах и могли делать на маневрах не больше 10 узлов в час.

5) Осуществление программы нового морского строительства, принятой еще в 1916 г., сильно задержалось. К моменту созыва Вашингтонской конференции, т.е. спустя почти три года после окончания мировой войны, из 16 новых линкоров в строй вступил только один, два были спущены в воду, семь стояли на эллингах, готовые на 40 проц., а остальные шесть существовали только в проекте.

Все это до очевидности не похоже на серьезную расценку перспектив тихоокеанской войны и на соответствующие военные приготовления. Крах Вашингтонской конференции застал бы Соед. Штаты почти врасплох. Между тем, как известно, американский флот и американское военно-морское строительство и в годы после Вашингтонского договора оставались в значительной мере в заго-не.

Как показывает весь ход событий последних лет—уклонение США от открытых враждебных демонстраций по отношению к Японии и от попыток бойкота

или экономических репрессий, которые были бы для Японии чрезвычайно чувствительны (заявление сенатора Бора в феврале 1932 г. «бойкот—это война») — политика ограниченного действия сохраняется вплоть до настоящего времени. Это, само собой разумеется, не предрешает вопроса о будущем. И все же отмеченный исторический факт полезно фиксировать, ибо он является, во-первых, отправным пунктом дальнейшего развития, а во-вторых, отражением условий и тенденций, сохраняющих известное значение и на будущее время.

#### 4. Перспективы выхода из современного кризиса американской политики на Дальнем Востоке

В создавшемся ныне положении на Дальнем Востоке нужно считаться со следующими вариантами американской политики: I) стовор с Японией, II) война, III) обновление и приспособление к новым условиям политики «ограниченного действия».

##### 1. Соглашение с Японией

Возможность простого отказа Соединенных Штатов от своих позиций и своих перспектив в Китае и на Азиатском материке можно оставить без рассмотрения хотя бы потому, что подобный «выход» радикально противоречит самой природе империализма. Более правдоподобным вариантом мирного исхода явилось бы соглашение с японским империализмом на базе существенных уступок последнему (иначе говоря, отказа США от политики открытых дверей в Китае), не при условии определенных компенсаций с японской стороны.

Не подлежит сомнению, что достижение такого соглашения является одной из важнейших и давнишних задач японской внешней политики, цель которой в отношении Соед. Штатов состоит именно в обеспечении невмешательства последних в китайские и азиатские дела. Об этом красноречиво свидетельствует настойчивое выдвигание с японской стороны проектов соглашения с США о «разделе Тихого океана», проекта пакта



о ненападении (который имеет тот же политический смысл) и т. д. В прошлом однако все эти попытки сговора или хотя бы компромисса на базе японских домогательств — поскольку они вообще встречали поддержку со стороны США — оказывались на поверку либо тактическим американским маневром, либо тенденцией, идущей вразрез с генеральной линией американского империализма. Это положение иллюстрируется следующими фактами:

а) В ноябре 1917 г., в момент, когда Япония находилась в зените своего могущества на Дальнем Востоке, а у Соед. Штатов, только-что вступивших в войну, руки были связаны, по японской инициативе было заключено так называемое соглашение Лансинг-Ишии, в котором наряду с подтверждением политики открытых дверей и территориальной и административной целостности Китая содержалось признание американским правительством «специальных интересов Японии в сопредельных областях Китая». Японская пропаганда широко использовала это соглашение как свидетельство отступления Америки от ее прежних позиций и признания ею господствующего положения Японии в Китае. В действительности однако американская уступка была только маневром, и соглашение 1917 года с самого начала толковалось японской и американской сторонами по-разному. Это соглашение (отмененное по инициативе США в 1923 г.) не изменило ни на ноту курса американской политики в Китае и не являлось действительной базой для японо-американского сговора.

Показательно также, что Вашингтонские соглашения 1922 г., при всем их компромиссном характере, не содержали никаких принципиальных уступок со стороны США. Компромисс заключался в том, что Соед. Штаты не настаивали в ряде вопросов на немедленных практических выводах из сформулированных ими и принятых остальными державами принципов, соблюдение которых к тому же не обеспечивалось реальным соотношением сил; в этих принципиальных установках Америка не колебалась.

б) Еще более конкретную иллюстрацию дает эпизод, имевший место в конце 1927 г. после провала первого тура тогдашней японской «позитивной политики» в Китае: так называемые манчжуро-монгольские переговоры в Мукдене и Пекине, в которых Япония предъявила в манчжурском вопросе ряд требований, оставшихся неудовлетворенными. В целях нейтрализации враждебного Японии американского влияния в Манчжурии с японской стороны был задуман план выпуска на американском рынке крупного (30 млн. долл.) займа обществу ЮМЖД — главному орудию японской экспансии и японского господства в Манчжурии. Заем должен был носить ярко политическую окраску, ибо он по существу превратил бы американский капитал в партнера японского империализма в Манчжурии. Предварительная договоренность о выпуске займа была достигнута с фирмой Моргана. Проект займа вызвал однако бурные протесты не только в Китае, но и в Америке; против него решительно высказался государственный департамент, дом Моргана от него отступился, и в результате заем не получил осуществления. Столь же бесплодным оказался выдвигавшийся перед этим судьей Гэри (один из американских стальных магнатов) проект перевода на Японию американских долговых требований Китаю — с предоставлением Японии свободы рук по части выколачивания этих долгов. (Этот проект впрочем серьезно даже не обсуждался.) История проектов 1927 г., без сомнения, обнаружила наличие в лагере американского финансового капитала соглашательских тенденций по отношению к Японии, но она засвидетельствовала также, что эти тенденции отнюдь не являются определяющими. Характерно, что носителем их выступает в послевоенный период тот же дом Моргана, который во времена Русско-Японской войны, в силу своих связей с парижской биржей, был — вразрез общей линии тогдашней американской политики — сторонником сговора с царской Россией.

Для оценки перспектив сговора с Японией в настоящее время нужно учесть, что после уже совершившегося захвата

Манчжурии и частей Монголии и Северного Китая зговор этот возможен только на базе значительного повышения требований японского империализма. Официальная программа-минимум Японии на первых порах сводилась к требованию признания Америкой Манчжоу-Го, т.е. санкционирования ею безвозвратного отторжения Манчжурии от Китая. Соглашение с Японией на этой базе в конечном счете тоже означало бы полный крах политики открытых дверей — хотя бы потому, что окончательная потеря Манчжурии колоссально ускорила бы процесс дальнейшего распада и раздела Китая. Но объектом японо-американской борьбы и тогда являлась ведь не одна Манчжурия, и манчжурский вопрос не мог быть изолирован от остальных элементов китайской проблемы. Борьба за Манчжурию фактически продолжалась на территории Собственного Китая; в Центральном и Южном Китае японская торговля от бойкота и революционного движения понесла огромные потери, и было совершенно ясно, что японский империализм не удовлетворится таким разрешением вопроса, которое оставит ему Манчжурию ценой потери остального китайского рынка.

Но японские домогательства к настоящему времени уже заведомо не ограничиваются Манчжурией и Монголией. Япония фактически оккупирует часть Северного Китая («нейтральная зона» к югу от Великой стены), она занимает господствующее положение в Пекине и в ряде северных провинций, она в своей декларации 17 апреля 1934 года открыто провозгласила своего рода протекторат над всем Китаем и свое право монопольного контроля над его отношениями с внешним миром. Военно-политическое наступление Японии в Китае зашло так далеко и было связано с такими огромными жертвами, что нельзя рассчитывать хотя бы на короткий срок остановить это наступление у границ Манчжурии или даже Северного Китая.

Отсюда следует, что Америка не может «откупиться» от Японии признанием Манчжоу-Го, ибо: а) соглашение в рам-

ках изолированного манчжурского вопроса не обеспечит американских интересов и будет неспособно даже на короткое время приостановить развитие японо-американского конфликта, б) Япония вряд ли согласится в обмен на это признание восстановить и поддерживать прежнее «статус-кво» в остальном Китае, а если бы даже такое соглашение было заключено, оно в действительности не остановило бы наступления японского империализма и не разрешило бы кризиса американской политики на Дальнем Востоке. Выходом из этого кризиса явилось бы только соглашение с Японией в масштабе всей китайской проблемы, иначе говоря, соглашение, которое похоронило бы политику открытых дверей, в той или иной форме признало бы за Японией господствующее политическое положение в Китае и в порядке естественной компенсации создало бы предпосылки для тесного сотрудничества американского финансового капитала с японским.

Рисовать перспективы подобного соглашения можно только условно, — учитывая и его малую правдоподобность, и, главное, невозможность применительно к капиталистической действительности какого бы то ни было «прогноза» на длительный срок в условиях общего кризиса капитализма.

Экономические перспективы подобного соглашения сводились бы к следующему:

1) Японская экспансия в Китае создала бы несомненно значительный спрос на американский капитал. Этот капитал был бы однако сведен на положение «молчаливого партнера» японского империализма, монополично контролирующего все наиболее прибыльные объекты эксплуатации в Китае, и его функция ограничилась бы либо кредитованием японских капиталистов из низкого процента с тем, чтобы американские средства были затем переинвестированы Японией в Китай на условиях гораздо большей прибыльности, либо ролью вкладчика в совместные предприятия в Китае, хозяевами и единственными распорядителями которых оставались бы японцы.

2) Этого рода «сотрудничество» с Японией могло бы в течение известного периода значительно стимулировать определенные отрасли американского вывоза как в Японию, так и в Китай (сырье, железо и сталь, машины, военные материалы). При этом американская торговля с Китаем перешла бы целиком в руки японских посредников и в американском вывозе окончательное преобладание получили бы только те статьи, по которым Америка не конкурирует с Японией, — и то лишь до тех пор, пока соответствующие товары не начнут производиться в Японии или под ее контролем в Китае. Ибо совершенно очевидно, что ближайшей задачей Японии явилось бы именно прекращение зависимости от Соед. Штатов в отношении важнейших категорий сырья и полуфабрикатов, в частности хлопка, с одной стороны, и железа и стали — с другой. В итоге, следовательно, несмотря на временные преимущества для отдельных отраслей американского хозяйства, сговор с Японией на условиях, продиктованных ею, означает в конечном счете все ту же потерю китайского рынка. К этому надо добавить, что монопольный контроль над огромными сырьевыми ресурсами Китая и Манчжурии, увеличив экономическую мощь японского империализма, вызвал бы громадное дальнейшее обострение и придал бы еще более угрожающий характер той японской конкуренции, с которой американский капитал уже сталкивается в Южной и Центральной Америке и других мировых рынках.

Не менее угрожающими представляются и конечные политические перспективы сговора. Утверждение японского господства на Азиатском материке при наличии СССР и в обстановке подъема китайской революции практически возможно только на основе и в процессе военного насилия. Соглашение с Америкой не приостановило бы роста японского милитаризма, как и японского навализма. Неслучайно японская авантюра в Манчжурии и Северном Китае, ложащаяся столь тяжелым бременем на японские финансы, сопровождается тем не менее огромным параллельным ростом морских вооруже-

ний и все большей требовательностью Японии в отношении предоставленной ей нормы военно-морских вооружений. Она уже привела к разрыву Японией Вашингтонского морского договора, установившего соотношение военно-морских сил Англии, Америки и Японии (линейные корабли и авианосцы) в пропорции 5 : 5 : 3. Правда, требование паритета, выдвигаемое сейчас японским империализмом, имеет в себе элементы политического маневра, ибо при наличии у нее исключительных военно-стратегических преимуществ на азиатском театре и при наличии «независимого» Манчжоу-Го, на которое можно «записать» сверхкомплектные суда, Япония вовсе не нуждается в арифметическом равенстве военно-морских сил. Не подлежит однако сомнению, что каждый шаг в деле укрепления японского господства на Азиатском материке будет вместе с тем ступенью к повышению претензий Японии как мировой державы. Японское господство над Китаем поставит под угрозу интересы Соед. Штатов не только в этой стране, но и во всем Тихоокеанском бассейне, включая даже Латинскую Америку, в которую исподволь продолжают проникать японский капитал и японское влияние. Разумеется, Америке нет ничего легче, как получить самые широкие обещания и гарантии относительно японского невмешательства в латинско-американские дела в обмен за американское невмешательство в дела азиатские (к этому и сводится настойчиво выдвигаемый Японией проект «раздела Тихого океана»), но, чем сильнее будет Япония, тем сомнительнее будет ее верность принятым на себя обязательствам и тем меньше будут обеспечены громадные американские интересы в собственной «сфере влияния» США.

Какую бы близорукость ни обнаруживали отдельные группы американских капиталистов, сговор с Японией мало правдоподобен. Тем не менее в Соед. Штатах несомненно имеются довольно значительные группы, высказывающиеся за соглашение с Японией о Китае. К этому лагерю принадлежат, как уже отмечалось, некоторые круги монополистического капитала, связанные тесно с япон-

ским рынком; ему сочувствуют те аграрные круги, которые слабее заинтересованы в китайском рынке, и потому высказываются против всяких авантюр на Тихом океане. Эти соглашательские тенденции сильно представлены в американской публицистике и прессе (газеты Херста) и создали уже целое движение — ревизионистское по отношению к принципу «открытых дверей». Более пристальный анализ этого движения<sup>1)</sup> показывает однако, что оно в основном является лишь маскировкой своеобразного американского «макиавеллизма», предлагающего перемену тактики и «вывод Америки с первой линии боя» для лучшего достижения тех же неизменных целей американской политики, совершенно не совместимых с монопольным господством Японии в Китае. Характерно, что разнобразные миролюбивые и соглашательские высказывания, которыми изобилует американская пресса, почти неизменно сопровождаются оговорками о необходимости всемерного усиления морского флота — лихорадочных вооружений на море и в воздухе, направляемых именно против Японии. В таком сочетании толки о соглашении представляют конечно не действительное стремление к радикальному повороту американской политики в Китае, а лишь политический маневр, не изменяющий существа положения.

## II. Война с Японией

С американской стороны нередко выдвигается утверждение, будто война на Тихом океане вообще технически невозможна или, во всяком случае, невозможна для Америки после заключения Вашингтонского договора. Такое утверждение явно абсурдно. Война эта просто представляет для США огромные технические трудности (неизмеримо большие, чем те, которые вставали перед Америкой при ее вступлении в мировую войну), и разрешение этих технических вопросов в значительной ме-

ре упирается в неблагоприятную политическую обстановку. Рассмотрим сначала условия единоличного (без союзников) выступления Америки против Японии, хотя, разумеется, вариант этот является абстрактным, ибо в современных условиях война, начавшаяся между Японией и Америкой, неизбежно переросла бы в мировую войну.

### А. Вариант столкновения с Японией один-на-один

В этом варианте фактором, благоприятствующим Соединенным Штатам, является их огромное экономическое, финансовое и техническое превосходство над Японией и их сравнительное экономическое самодовление — в противовес экономической слабости и крайней зависимости Японии от внешнего мира. В конечном счете этот фактор, сочетающийся с относительно большей социальной уязвимостью японского капитализма, должен оказаться решающим, но в остальном конкретные условия конфликта на азиатском театре складываются неблагоприятно для Соединенных Штатов.

Важнейшее из этих условий — состояние. Могущественными союзниками Японии являются, с одной стороны — громада Тихого океана, а с другой — географическое расположение Японских островов, занимающих командное положение в отношении подступов с моря ко всему азиатскому побережью от Камчатки до Гонконга. Радиус действия современного линейного флота не превышает, по общему мнению экспертов,  $1\frac{1}{2}$ —2 тыс. миль от его базы. Между тем расстояние по прямой линии между американским побережьем и Японией составляет свыше 4,5 тыс. морских миль (Сан-Франциско—Токио=4.530 миль), и даже Жемчужная Гавань на Гавайских островах (от Сан-Франциско — 2.100 миль), представляющая собой передовой укрепленный форпост американского империализма на Тихом океане, находится на расстоянии свыше 3 тыс. миль от Японии (Гонолулу—Токио = 3.374 мили). С другой стороны, близость Японии к Азиатскому материку делает для США чрезвычайно затруд-

<sup>1)</sup> См. например, сборник статей «Empire in the East». (Империя на Востоке), New York, 1934 г., и нашу рецензию на него в журнале «Тихий океан», Москва, 1934 г., № 1.

нительной — если не невозможной — сколько-нибудь эффективную морскую блокаду западного побережья Японии и перерыв коротких, легко контролируемых японским флотом, коммуникаций с континентом. Следует добавить, что географическое расположение более или менее исключает для Америки возможность самостоятельных военных операций в Китае, куда не удастся перебросить сколько-нибудь значительные экспедиционные силы.

В этих условиях крупнейшее значение приобретает вопрос о морских базах, также складывающийся для США неблагоприятно.

В западной части Тихого океана Америка располагает Филиппинскими островами (архипелаг из 3.100 островов и островков с общей территорией 115.000 кв. миль и населением 10—12 млн. чел.) и островом Гуамом (площадь — 200 кв. миль, узкая полоса земли шириной от 4 до 10 миль). Филиппины (от Маниллы до Гонолулу — 4.840 миль, до Сан-Франциско — 6.940 миль), тянущиеся с севера на юг на тысячу миль, запирают выход из Тихого в Индийский океан (т.-е. блокируют японские коммуникации с Индией и Европой) и, будучи расположены в расстоянии всего лишь 1.300—1.700 миль от японского побережья (от Маниллы до Сасебо — 1.318 миль, до Йокосуки — 1.741 миль), являются удобнейшей базой для операций американского флота против Японии. Гуам, расположенный как-раз на пути между Филиппинами и Гавайскими островами (от Маниллы — 1.510 миль, от Гонолулу — 3.330 миль, от Сан-Франциско — 5.430 миль, от Йокосуки — 1.360 миль) имеет важнейшее стратегическое значение как ключ к господству США над Филиппинами и как база для американских крейсеров, подводных лодок и авиации. Но, каково бы ни было в действительности значение Филиппин и Гуама в японо-американской войне<sup>1)</sup>,

<sup>1)</sup> Морские эксперты расходятся во мнениях по вопросу о том, можно ли вообще укрепить эти американские владения настолько, чтобы предотвратить захват их Японией на первом же этапе войны.

сно обусловлено, по крайней мере, наличием у них: а) мощных укреплений, способных противостоять попыткам захвата их Японией до появления главных сил американского флота; б) средств (доки, склады, краны и т. д.), необходимых для обслуживания и ремонта этого флота. Можно спорить, достаточны ли оба эти условия, но факт тот, что они отсутствуют, и в настоящем своем беззащитном (Гуам) или почти беззащитном (Филиппины) положении эти американские форпосты, во-первых, не могли бы обслужить американский линейный флот в степени, обеспечивающей сохранение им полной боеспособности, а во-вторых, были бы, несомненно, захвачены Японией в самом начале войны. Согласно Вашингтонскому договору, эти базы не подлежат дальнейшему перевооружению и на них не могут быть установлены новые ремонтные средства. Хотя договор этот прекратит свое действие в 1936 г., время нужно считать безнадежно упущенным ввиду того, что приступ к производству грандиозных работ, потребных для действительного укрепления и оборудования Филиппин, сам по себе оказался бы, вероятно, в настоящих условиях «казусом белли» и форсировал бы войну.

В северной части Тихого океана Америка может опереться на побережье Аляски и Алеутские острова (последние также запрещено укреплять по Вашингтонскому соглашению). Укрепленной базой в этом районе является Голландская Гавань (Dutch Harbour от Сан-Франциско — 2.053 мили, от Гонолулу — 2.037 миль, от Токио — 2.533 мили). Несмотря на неблагоприятные климатические условия, как этот порт, так и стоянки на Алеутских островах будут вероятно использованы во время войны как ценные базы для американского подводного и воздушного флота, но они по самому характеру этого района не представляют собой серьезного козыря в морской войне США с Японией, — войне, в которой крупнейшую роль будут играть линейный и крейсерский флот. К тому же пространство между Японией и Аляской фланкируется с юго-запада

японскими Курильскими островами, которые с легкостью могут быть превращены (и вероятно уже превращены, несмотря на запрет Вашингтонского договора) в контрбазы для японских подводных лодок и японской авиации.

В южной части Тихого океана Америке принадлежит часть Самоанского архипелага: остров Тутуила с гаванью Паго-Паго и несколько мелких островков. Но Самоа расположены слишком далеко от театра будущих военных действий (от Панама — 5.660 миль, от Гонолулу — 2.310 миль, от Гуама — 3.120 миль, от Токио — около 5.000 миль) не будет в состоянии сыграть серьезную роль в этих операциях.

В центральной части Тихого океана американский флот прочно господствует на Гавайских островах. Судя по имеющимся сведениям, Жемчужная Гавань близ Гонолулу превращена действительно в перворазрядную военно-морскую базу и крепость. Но Гаваи расположены все же в восточной — прилегающей к Америке — половине Тихого океана. Дальше к западу Соед. Штаты не имеют никаких опорных пунктов, если не считать отдельных, лишенных самостоятельного значения, островков (остров Уэйк — 2.100 миль от Гонолулу и 1.300 миль от Гуама; остров Мидуэй — 1.126 миль от Гонолулу и 2.300 миль от Гуама). Напротив, Япония располагает в этих водах огромным архипелагом, в который входят: 1) Маршалские острова (к юго-востоку от Гуама, остров Джалауит расположен от него в 1.480 милях), 2) острова Палао, или Пелью (к юго-западу от Гуама); 3) Бонинские острова (между Японией и Гуамом); 4) Мариански, или Ладроские, острова (к северу от Гуама); 5) Каролинские острова (на юго-восток от Гуама). Эти островные владения, несомненно укрепленные японцами, несмотря на запрет Вашингтонского трактата, расположены на самых путях предположительных наступательных операций американского флота или во фланге этих путей и представляют собой важные наблюдательные

и опорные пункты для японских морских подводных и воздушных сил, значительно осложняющие положение американского флота.

Невыгоды географического расположения и соотношения морских баз на театре будущей войны могли бы быть компенсированы только огромным превосходством американского военно-морского флота над японским. Во времена Вашингтонской конференции считалось, что для нанесения решающего удара на том расстоянии, которое отделяет Гавайские острова от Японии, необходимо располагать силами, в два или три раза превосходящими силы противника. Таким превосходством США заведомо не обладают. Вашингтонский договор 1922 г. зафиксировал соотношение американского и японского флота (по линейным судам и авианосцам) в пропорции 5 к 3. Лондонский договор 1930 г. зафиксировал соотношение тех же флотов по так называемым вспомогательным категориям (крейсеры, эсминцы, подлодки) в пропорции 100 к 69. Фактическое соотношение еще гораздо менее выгодно для США. По данным, опубликованным японским морским министерством, по окончании всех утвержденных уже в Японии и Америке строительных программ (кроме новейшего американского закона Винсона), японский флот составит в процентах по отношению к американскому:

	Все суда	Суда, не достигшие предельного возраста
	(в процентах)	
Линейные суда . . . . .	60	62
Авиаматки . . . . .	60	65
Крейсеры тяжелые . . . . .	71	71
» легкие . . . . .	89	89
Эсминцы . . . . .	70	156
Подводные лодки . . . . .	100	161
Вспомогательные суда . . . . .	78	100
Всего . . . . .	68	81

Поскольку американское военно-морское строительство возобновилось в крупном масштабе только недавно (пер-

бая программа Рузвельта была утверждена в июне 1933 г.), в настоящее время соотношение сил представляется еще менее отвечающим договорным нормам. В итоге в настоящее время нужно считать, что, за исключением несомненного количественного превосходства США в линейном флоте и в тяжелой артиллерии, соотношение американского и японского флотов скорее приближается к равенству, чем к серьезному превосходству первого.

Крупнейшее значение имеют темпы морского строительства. Само собой разумеется, что финансовые и технические возможности Японии в этом отношении никак не могут сравниться с американскими и что, однажды начав всерьез гонку вооружений, Америка быстро оставит Японию позади. С приходом к власти Рузвельта в марте 1933 г. совпал значительный сдвиг в этом отношении, ибо события на Дальнем Востоке повелительно требовали активизации морского строительства. В июне 1933 г. была окончательно утверждена (и тотчас же начала осуществляться) программа постройки 37 военных судов стоимостью (вместе с текущими ассигнованиями) 238 млн. долл. Весной 1934 г. принят закон Винсона о постройке 102 новых судов, что должно довести американский флот до полной договорной нормы. Усиление военно-морской мощи США пропагандируется большей частью американской прессой. Но на первую программу Рузвельта Япония ответила усилением своей «второй программы пополнения» японского флота, так что программа Рузвельта не дает еще сколько-нибудь заметного преобладания США. Закон Винсона был сам по себе простой демонстрацией, ибо он не предусматривал непосредственного ассигнования средств на постройку новых судов; этот закон проводится в жизнь, но с большой постепенностью. В итоге, при взятых Америкой темпах, потребуется во всяком случае несколько лет, прежде чем новые суда, вступающие в строй, заметно изменят соотношение военно-морских сил, а до серьезного перевеса американского флота при столкновении в

западной части Тихого океана еще весьма далеко.

Остается еще новый и важный фактор стратегического положения на Тихом океане — авиация. В этой области Соед. Штаты несомненно далеко опередили Японию. По данным, которые были оглашены в английской палате общин 9/III 1934 г., США располагают 1.800 самолетами первой линии, тогда как у Англии их только 850, а у Японии — 800. Закон Винсона предусматривал сооружение новых 1.200 самолетов первой линии. Новейший доклад федеральной комиссии по авиации, поступивший в конгресс 31/I 1935 г. и энергично поддерживаемый Рузвельтом, предусматривает увеличение в течение 5 лет военно-воздушных сил США на 80 проц. с доведением военной авиации до 2.320 самолетов и морской до 1.910 самолетов. Независимо от этого на рассмотрении Конгресса находится проект создания 10 сверхмощных авиационных баз стоимостью 190 млн. долл. Как раз в области авиации подготовка к войне происходит в Америке наиболее быстрыми темпами. Быстро движется вперед и техника воздушной войны, прогрессивно увеличивается мощь и особенно дальность воздушного удара, — время тут явно работает в пользу США. Все же нельзя забывать, как огромны пространства Тихого океана, которые предстоит преодолеть американскому воздушному флоту. На данном этапе, включающем и ближайшие годы, в войне один-на-один, при огромных расстояниях, отделяющих американские форпосты от Японии, и без возможности использовать чьи-либо оборудованные и укрепленные воздушные базы на континенте, авиационный фактор, при всей его значительности, пока еще не представляется решающим.

Отсюда еще далеко до вывода, что Америка не имеет никаких шансов на выигрыш войны «один-на-один». Суть дела в том, что в существующей обстановке она не может выиграть ее легко и быстро путем разгрома военно-морских сил противника. Война «один-на-один» с Японией явится для Соед. Штатов затратным и трудным предприятием,

основная стратегия которого будет заключаться в постепенном и медленном продвижении путем захвата островных форпостов японского империализма и в постепенном расстройстве внешней торговли Японии в целях ее экономического удушения. Это предприятие тем более разорительно для США, что оно на первой же стадии повлечет за собой потерю Филиппин и полную изоляцию Америки от всех дальневосточных рынков, на которых за время войны успеют несомненно укрепиться конкуренты США во главе с Англией. То обстоятельство, что условия этой войны не допускают никаких иллюзий относительно возможности ее быстрого и легкого завершения, является несомненно одним из факторов, затрудняющих — хотя, разумеется, не исключаящих для американского капитала военный выход из кризиса, создавшегося ныне на Дальнем Востоке.

#### Б. Вариант союзников против Японии

Условия тихоокеанской войны резко изменились бы в случае, если бы Соед. Штаты имели мощного союзника на азиатском континенте или в азиатских водах. В неизбежной перспективе перерастания японо-американской войны в войну мировую решающее значение приобретает именно международно-политическая обстановка столкновения с Японией. Проблема войны как выхода из дальневосточного кризиса США есть проблема не столько стратегическая, сколько политическая. Важнейшее значение имеют следующие моменты.

Позиция английского империализма. Само собой разумеется, что в случае совместного выступления Англии и Америки против Японии технические трудности, охарактеризованные выше, в значительной мере отпали бы. Опираясь на Сингапур и на поддержку английских военно-морских сил, удалось бы, вероятно, воспрепятствовать захвату Японией Филиппин, даже при нынешнем состоянии их обороны, или во всяком случае отбить эти острова у японцев после их захвата. При участии

Англии проблема блокады Японии может быть разрешена неизмеримо быстрее и эффективнее. Имея против себя Англию и Америку и будучи, таким образом, отрезанной и от Индии, и от Америки, т.-е. от главных источников своего снабжения хлопком и металлом, Япония в современных условиях (т.-е. пока она еще не создала себе надлежащей сырьевой и металлической базы в Китае и Манчжурии) не имела бы с самого начала не только шансов на победу, но и иллюзий относительно ее возможности.

Но позиция, занятая английским империализмом перед лицом захвата Японией Манчжурии, вторжения ее в Шанхай в 1932 г., захвата Жэхэ и вторжения в Северный Китай в 1933 г., и провозглашения японского протектората над Китаем весной 1934 г., — не дает Америке оснований рассчитывать на поддержку Англии. Вплоть до настоящего времени английский империализм искал путей разрешения своих — в остальном весьма острых и серьезных — противоречий с Японией не в разрыве с нею, а в укреплении англо-японского сговора и в маневрах, имеющих целью изменить в выгодную для Англии сторону направление японской агрессии. Ярким свидетельством этой английской политической линии может служить в высшей степени сдержанная и примирительная позиция, которую английское правительство неизменно занимало на всех последовательных этапах японского наступления в Китае, начавшегося захватом Манчжурии в 1931 году. Эта позиция тем более показательна, что, во-первых, японские претензии направлены как против американских, так и против английских интересов в этой стране, а во-вторых, английское соглашение по отношению к Японии в политической сфере имело место, несмотря на параллельное резкое обострение англо-японской экономической борьбы на мировых и особенно на дальневосточных рынках. По существу соглашение в манчжурском вопросе не помешало Англии оказаться фактически в состоянии экономической войны с Японией.



При этом курсе английской политики позиция Англии в войне между Японией и Америкой способна вызвать в американском лагере больше опасений, чем надежд. Бесспорным явится лишь громадное усиление нейтральной Англии за счет США (Америка и Англия переменились бы своими ролями в предыдущей мировой войне). Война Японии с Америкой также открывает наибольшие перспективы для английского империализма по линии военного снабжения именно Японии (Америка в этом снабжении в столь большом масштабе не нуждается). Во всяком случае блокироваться будут японские, а не американские порты, и самая блокада японских островов американским флотом будет в немалой мере заключаться именно в захвате английских и индийских грузов. Таким образом, по мере развития операций американского флота по этой блокаде Англия и Америка могут очутиться в тех же взаимоотношениях, какие создались во время мировой войны 1914—1918 гг. между Америкой и Германией, не говоря уже о том, что на этот раз Англия будет выступать на защиту «свободы морей», попираемой Соед. Штатами. По этой и по другим причинам США вынуждены, следовательно, учитывать и возможность последующего вовлечения Англии в японо-американскую войну на стороне Японии. Во всяком случае перспектива войны Англии с Японией является для Америки рискованным «прыжком в неизвестность». Из множества факторов, мешающих Америке взять прямой курс на войну на Тихом океане, этот английский фактор, без сомнения, является наиболее сильным, ибо война с Японией при сомнительном нейтралитете Англии трудна и опасна; война же с Японией в союзе с Англией излишня, так как перед лицом эффективного англо-американского единого фронта Япония, изолировавшая себя от всего остального мира, должна была бы капитулировать без войны.

Другие западно-европейские державы, кроме Англии, не могут сыграть сколько-нибудь серьезной роли в войне, которая должна будет развер-

нуться на Дальнем Востоке. Только Франция располагает там более или менее значительными владениями (Индокитай, острова), но на Тихом океане она представляет собой в военно-морском и военном отношении лишь третьестепенную силу. Со времени прихода к власти германского фашизма и развертывания им своей программы территориальной экспансии, лихорадочных вооружений и войны Франция, целиком поглощенная европейскими проблемами, заняла пассивную позицию в дальневосточных делах и, разумеется, несколько не заинтересована в каких-либо военных авантюрах на Тихом океане. В случае перерастания тихоокеанской войны в мировую Франция во всяком случае будет целиком поглощена делами европейского театра.

Естественным союзником США в войне с Японией мог бы явиться Китай, если бы он представлял собой действительную и серьезную силу. Правда, подступы к Китаю с моря целиком контролируются Японией, но, даже изолированный от Америки, фронт сухопутной войны в Китае уже потому явился бы важным подспорьем для Соед. Штатов, что он затруднил бы использование Японией естественных ресурсов ее континентального «хиндерланда» и, стало быть, облегчил бы основную задачу американской стратегии — блокаду противника.

Стремление опереться на Китай против Японии является после 1905 г. одним из элементов «политики открытых дверей», правда, тем именно ее элементом, который в сильнейшей степени отразил внутреннюю противоречивость (усиление Китая противоречит колониальным устремлениям американского, как и всякого другого, империализма), робость и двусмысленность американской политики. С 1927 г., когда американский капитал обрел в лице реакционного гоминдана новое орудие своего политического господства в Китае — и особенно конечно с 1931 г., когда началось японское вторжение в Манчжурию, — этот элемент в американской политике получает несколько более последовательное и заметное

выражение. В первые годы японской авантюры в Манчжурии и Китае Америка бесспорно работала над укреплением нанкинского режима, над созданием предпосылок для перехода Нанкина к активной обороне против японской агрессии. Не случайно выступление японского империализма весной 1934 г. с претензиями на протекторат над Китаем приняло форму именно протеста против финансовой и политической акции извне, направленной на военное и политическое усиление Китая против Японии. Но, несмотря на это, попытки Америки (которые, впрочем, не следует переоценивать, так как они осуществлялись в довольно скромных масштабах и к тому же не затрагивали основных условий полукolonиального существования Китая и, стало быть, основных причин его военной слабости), гоминдановский Китай успел уже обнаружить свою полную непригодность в качестве опоры и союзника США в войне с Японией. Процессы разложения в гоминдановском лагере ускоряются, а не замедляются. Не только в Манчжурии, но и в северных провинциях китайская реакция потеряла всякую способность к сопротивлению японцам. В самом штабе гоминдана, в Нанкине японское влияние стало уже господствующим, и гоминдановская реакция во главе с Чан Кай-ши все более вовлекается в его орбиту. Крупнейшим показателем тяжкого поражения, понесенного американским империализмом в Китае, является именно этот факт постепенной утраты Америкой своего политического влияния в правящих классах Китая, и этот же факт свидетельствует, что об эффективном военном союзе Америки с Китаем против Японии в данной обстановке не может быть и речи. Само собой разумеется, что американская буржуазия по классовым мотивам не в состоянии так направлять свою политику в Китае, чтобы обеспечить сотрудничество с единственной силой, способной к действительному сопротивлению японским захватчикам, — китайскими советами, — непримиримым врагом которых американский империализм был и остается. Все сказанное не предвещает вопроса о том,

как сложилась бы обстановка в Китае, если бы Америка оказалась втянутой в войну с Японией, но пока что Китай остается для американской стратегии всего лишь неизвестной величиной.

В общем итоге проблема нахождения Америкой союзников остается для настоящего времени неразрешенной. Политические факторы тихоокеанской войны оказываются еще менее благоприятными для США, чем рассмотренные выше географические и стратегические условия. Но, разумеется, все это опять-таки не исключает возможности вооруженного столкновения Америки с Японией, которое ведь может быть форсировано и самой Японией. Раскачка антагонистических сил на Тихом океане, как и в Европе, зашла настолько далеко, что они легко могут вырваться из-под контроля американской буржуазии. Пока что американская буржуазия с своей стороны не форсирует, а, наоборот, скорее тормозит развитие конфликта, угрожающего войной, хотя одновременно, как мы видели, довольно интенсивно готовится к войне по линии военно-морского и воздушного строительства, разработки стратегических проблем, проведения подготовительных маневров и т. д.

### III. Развитие политики «ограниченного действия»

Вплоть до настоящего времени американский империализм, избегая обоих рассмотренных выше радикальных решений (сговор и война), держится, по существу, прежнего политического курса, пытаясь лишь приспособить к новым условиям свою традиционную политику «ограниченного действия». В развитии этой политики со времени захвата Манчжурии Японией можно наметить два различных периода — до и после смены правительства в Вашингтоне, весной 1933 г.

Первый период — при правительстве Гувера — характеризовался значительной активностью Соед. Штатов. Американское правительство не только отказалось признать захват Манчжурии

японским империализмом, но активно стремилось сколотить и возглавить направленный против Японии единый фронт империалистических держав. В течение всего этого периода Америка систематически работала над международно-политической изоляцией Японии. Именно под влиянием Америки былработан (международной комиссией, посланной Лигой Наций в 1932 г. на Дальний Восток) доклад Литтона, который предложил по существу американский путь разрешения манчжурского вопроса (интернационализация) и был составлен несомненно при активном содействии американских экспертов. Именно под влиянием Америки Лига наций в феврале 1933 г. приняла этот доклад и резолюцию, отказывающую Манчжоу-Го в международном признании. Именно под влиянием Америки эта резолюция не была пока открыто нарушена ни одной из европейских стран, несмотря на все усилия японской дипломатии и пропаганды. Наконец именно под влиянием Америки и в результате занятия ею принципиально непримиримой позиции («доктрина непризнания») Япония оказалась фактически изолированной в смысле отсутствия финансовой помощи извне.

Поскольку ключом к международно-политическому положению Японии остается позиция английского империализма, американская дипломатия проявляла особую активность в своих настойчивых попытках разрыва фактического англо-японского сговора и воссоздания того англо-американского сотрудничества, которое в 1921—1922 гг. обеспечило Америке частичную победу на Вашингтонской конференции. Многократно на протяжении этих лет американское правительство, в официальной или неофициальной форме, непосредственно обращалось в Лондон с предложениями о возобновлении этого сотрудничества. Американский расчет строился конечно на обострении англо-японских политических и экономических противоречий в процессе самого японского вторжения в Китай, ибо японский сверхдемпинг, приведший уже Англию и Японию в состояние экономической войны, является

необходимым спутником японской агрессии на континенте. Действия Японии в Собственном Китае, несмотря на все ее успокоительные заверения по адресу Англии, вызывают все большее негодование влиятельных английских кругов, связанных интересами в этой стране. До сих пор однако этот расчет Америки, как известно, ни в какой мере не оправдывался, и в этом важнейшем узлом пункте политика Соед. Штатов продолжала терпеть поражения.

Проявлением той же «политики ограниченного действия» нужно считать и уже упомянутую выше активность Америки в Китае — авиационные поставки, инструктаж, негласные субсидии и вся совокупность мероприятий, направленных на укрепление нанкинского режима (включая посильное содействие ему в войне против советского Китая) и заострение его политики против Японии. И в этой сфере усилия Америки дают весьма скудные результаты. Как-раз за последнее время снова обнаружилось, что и на территории Собственного Китая и даже в лагере самого гоминдана наступающей стороной является Япония, приобретающая все новые политические козыри (укрепление японского контроля в Северном Китае, усиление японского влияния в гоминдане, японо-китайские переговоры начала 1935 г.).

Обозначившаяся с годами бесплодность усилий американской дипломатии в деле организации отпора японскому империализму как в Китае, так и на международной арене вынудила правительство Рузвельта, пришедшее на смену правительству Гувера, к определенной перемене тактики. Отсюда — второй период в развитии политики с ограниченного действия, характеризующийся, с одной стороны, пассивностью в дипломатической сфере, а с другой — величайшей активностью в деле морских и воздушных вооружений. Не идя ни на какие уступки по существу, правительство Рузвельта заняло в дальневосточном вопросе сугубо выжидательную позицию и, в отличие от своего предшественника воздерживалось от каких-либо широковещательных декла-

раций и дипломатических протестов по адресу Японии. Молчание Вашингтона не было однако таково, чтобы в Токио его могли принять за знак согласия: Рузвельт категорически отверг все попытки Японии заключить с Америкой двустороннее соглашение на базе невмешательства США в азиатские дела и дал резкий отпор попыткам Японии провозгласить свой протекторат над Китаем (японская декларация 17 апреля 1934 г.). В остальном однако правительство Рузвельта стремится — и чем дальше, тем это стремление более ярко выражено — ликвидировать положение, при котором Америка выступает одиноким застрельщиком борьбы против Японии, тогда как Англия, интересы которой на Дальнем Востоке значительно американских, имеет возможность занимать промежуточную позицию и играть на американско-японских противоречиях. Суть новой тактики Рузвельта заключается как раз в том, чтобы, так сказать, вывести Америку с первой линии боя и вытолкнуть вперед английский империализм, а тем временем значительно укрепить военно-морскую и воздушную мощь Соед. Штатов. Эта тактика не изменяет конечно существа американской позиции в дальневосточном вопросе. Происходящий при правительстве Рузвельта рост морских вооружений США еще далеко недостаточен для того, чтобы считать Америку подготовленной к войне, но он во всяком случае является важным политическим фактором и вместе с тем свидетельством, что Америка не отказалась от защиты своих интересов и попрежнему готовится сказать свое решающее слово.

В итоге американская политика складывается из: 1) сохранения принципиальной и непримиримой позиции по отношению к захвату Манчжурии и другим результатам японской агрессии («доктрина непризнания», выдвинутая Стимсоном, фактически воспринята правительством Рузвельта), 2) воздержания от враждебных демонстраций по отношению к Японии, способных непосредственно обострить конфликт и даже привести к войне, 3) усиленной военной подготовки.

Новым моментом, несомненно приближающим Америку к прямому столкновению с Японией, но на данном этапе столь же несомненно укрепляющим «политику ограниченного действия», является разрыв Японией Вашингтонского морского договора 1922 г. и японское требование морского паритета с Англией и Америкой, приведшее к краху лондонские морские переговоры в последнем квартале 1934 г. Эти факты японской политики не только подкрепляют собой японскую агрессию на континенте, но вместе с тем предвещают параллельное осуществление Японией программы морской экспансии, непосредственно угрожающей как США, так и Британской империи. Соответственно они создают новую базу для американских усилий в направлении воссоздания единого фронта с Англией. Действительно, 1) эти акты наглядно обнажают и обостряют японо-американский конфликт на Тихом океане, усиливают антияпонские настроения в США и способствуют ослаблению тех внутренних тормозов в Америке, которые служили серьезным препятствием не только для непосредственной ее подготовки к столкновению на Тихом океане, но и для эффективного участия в направленной против Японии международной комбинации, 2) эти акты ставят определенные пределы британской политике балансирования между США и Японией и игры на противопоставлении их друг другу, приближают необходимость выбора и тем самым способствуют мобилизации в самой Англии сил и кругов, считающих необходимым во что бы то ни стало избежать разрыва с Америкой (выступления Сметса, Лотиана, Гарвина, Ллойд-Джорджа и т. д.), 3) создавая непосредственную угрозу расширения японского морского господства на большую часть Тихого океана, эти японские акты не могут не оказать решающего влияния на позицию британских доминионов, до сих пор поддерживавших соглашательскую по отношению к Японии политику их метрополии, а отныне толкаемых под знамена американской политики; они создают весьма реальную, хотя, быть может, и не столь

близкую, угрозу раскола Британской империи.

Самый ход лондонских переговоров не обнаружил, правда, какого-либо сдвига в позиции британского империализма, который и перед лицом японского требования морского паритета не отказывался от своей сугубо маневренной и соглашательской линии (английские компромиссные предложения предоставить Японии паритет «в принципе», но не на деле). В Вашингтоне однако, по всей видимости, укрепляется убеждение, что в ходе дальнейших событий Англия силою вещей должна будет занять более резкую антияпонскую позицию, особенно в том случае, если ей не удастся больше, как в прошлом, выталкивать вперед Соед. Штаты в роли застрельщика борьбы против Японии. Соответственно морские переговоры и разрыв Вашингтонского морского договора послужили дополнительным фактором к заострению отмеченной выше «новой тактики» правительства Рузвельта, к занятию им еще более сдержанной и выжидательной позиции в китайском вопросе. Расчет, повторяем, строится на том, что, чем сдержаннее будет политика Америки, тем более активной — в сторону, направленную против Японии, — должна будет стать политика Англии. Оправдается ли этот расчет — вопрос особый. За последний год-два расстановка сил на Дальнем Востоке колоссально осложнилась в результате политического кризиса в Европе, центром которого являются вооружения и политика германского фашизма. Этот европейский фактор сугубо осложняет политику британского империализма и в частности, сугубо связывает ему руки на Дальнем Востоке. Отнюдь не исключена возможность, что на американские тактические маневры Англия вынуждена будет ответить новым укреплением своего сговора с Японией, — хотя, разумеется, исторически противоречия между британским и японским импе-

риализмом в Азии остаются неразрешимыми.

В общем итоге — политика Соед. Штатов сведется, таким образом, к выжиданию, к подготовке (без того, чтобы Соед. Штатам пришлось теперь же открыто бросать вызов Японии) и к мобилизации различными, подчас прямо противоположными методами всех факторов, способных затруднить положение Японии, затормозить ее выступление или воспрепятствовать реализации плодов японской агрессии. В основе этой политики лежит надежда на то, что японская агрессия исчерпает себя и потерпит крах либо в силу перенапряжения внутренних противоречий и взрыва (в форме ли финансового краха или активного проявления недовольства масс), либо в результате растущего обострения международных противоречий и все большего накопления конфликтных моментов в отношениях между Японией и другими странами.

К этому надо добавить, что стратегия американского империализма по отношению к японскому несомненно учитывает такие кардинальные факты, как, с одной стороны, неуклонная мирная политика СССР, а с другой, агрессивные антисоветские устремления японских империалистов и проистекающая из них опасность нападения на СССР и войны на Дальнем Востоке. Этот момент в общем подкрепляет в Америке тенденцию в пользу продолжения и развития «политики ограниченного действия», ибо: 1) определенные круги в Америке несомненно возлагают надежды на то, что японская агрессия на континенте обратится в конце концов против СССР и будет остановлена силами последнего; 2) с другой стороны, политика Советского Союза является мощным фактором мира и базой для мирного же коллективного международного сотрудничества, направленного против поджигателей войны.

## 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА

19 апреля. В Голландии состоялись выборы в областные органы местного самоуправления. Правительственные партии потерпели весьма значительное поражение. Компартия имела значительные успехи во всех городах. Так, например, в Амстердаме коммунисты собрали 47.300 голосов против 24.700 голосов на выборах в 1931 г.

20 апреля. Болгарский кабинет Златева вышел в отставку.

22 апреля. Опубликовано сообщение аг. Гавас о временном прекращении франко-советских переговоров. Агентство сообщает, что в момент отъезда тов. Литвинова из Женевы «оставались еще некоторые затруднения, касающиеся редакции текста договора».

23 апреля. В Японию прибыла торговая миссия СССР во главе с тов. Киселевым для закупок товаров в счет суммы, причитающейся за продажу КВЖД.

24 апреля. Аг. Гавас сообщает: «После краткого перерыва в связи с пасхальными праздниками французский министр иностранных дел Лаваль возобновил сегодня свою деятельность. Это обстоятельство, совпадающее во времени с возвращением Литвинова в Москву, позволит франко-советским переговорам, в которых намечалась в последнее время некоторая задержка, вступить в более активную фазу».

«Эр ну вель» в статье, посвященной франко-советским переговорам, пишет: «Надо действовать. Малая Антан-та обеспокоена и удивлена. Она имела большое доверие к организации безопасности, которую подготавливала Франция... Было бы недопустимо, если бы вследствие ложных маневров, непонятных колебаний и, может быть, даже из-за увлеченного самолюбия был скомпрометирован огромный психологический эффект франко-советского договора, который сторонники мира считают необходимым ответом на угрожающий и вызывающий акт Германии от 16 марта».

Чехословацкий министр иностранных дел Бенеш, выступая на молодежной конференции, заявил: «Если осуществит-

ся пакт с СССР, то это будет означать новую ориентацию в европейских отношениях и обеспечение мира на многие годы, а также и спокойное развитие для Чехословакии. Задача чехословацкой внешней политики — установить с СССР такие же отношения, какие мы имели с Францией».

25 апреля. Американский флот, сосредоточенный в тихоокеанских базах, занял исходные позиции к большим маневрам, которые будут происходить в треугольнике Гавайские острова — Аляска — Панама.

Китайская красная армия в районе Гойчжоу и Юньнань нанесла решительное поражение войскам Чан Кай-ши.

26 апреля. Возобновились франко-советские переговоры о пакте о взаимной помощи.

В органе национал-лейбористов «Нью леттерс» опубликована статья Макдональда, резко критикующая политику Германии.

В статье говорится: «Германия своими действиями подорвала чувства взаимного доверия в Европе. Она взорвала дорогу к миру и заполнила ее страхами. Она требует для себя такого уровня вооружений, при котором большинство европейских стран зависело бы от ее милости». «Берлинер тагеблатт», комментируя статью Макдональда, пишет: «Не подлежит никакому сомнению, что в Стресе, как и позже в Женеве, произошел поворот английской политики, заслуживающий внимательного изучения... В Англии теперь победил французский тезис безопасности».

Парижская «Эвр» сообщает по поводу переговоров Бека с Сувичем в Венеции: «По нашим сведениям, дело идет о весьма серьезных усилиях, которые в настоящий момент делает Польша, чтобы если не помешать заключению франко-советского пакта, то по крайней мере ограничить его результаты. Муссолини в Стресе не скрывал от Лавала своего желания, чтобы Польша присоединилась к пакту Центральной Европы. При этом Муссолини дал понять, что, по его мнению, чем меньше Москва бу-

дет вмешиваться в европейские дела, тем будет лучше».

27 апреля. По сообщению аг. Рейтер, германское правительство сообщило английскому морскому аташе в Берлине о своем решении заложить 12 подводных лодок по 250 тонн каждая. Это решение германского правительства является прямым нарушением ст. 191 Версальского договора.

Открылся съезд американских революционных писателей. В работах съезда участвовали около 200 делегатов, в том числе много видных писателей, драматургов, поэтов и критиков. Съездом получены поздравления от Максима Горького, от Союза советских писателей и т. д.

29 апреля. Опубликовано сообщение ТАСС о ходе франко-советских переговоров. В сообщении говорится: «Вопреки сообщениям различных органов печати вопрос о т. н. «автоматизме» (речь идет об автоматическом вступлении в действие обязательств об оказании помощи стране, подвергшейся нападению. — Прим. ред.) никаких разногласий не вызывал и не вызывает. Обе стороны с самого начала согласились в том, что взаимная помощь должна быть оказана на основании решения совета Лиги наций... Несколько затруднительным оказалось подыскание соответствующей формы. Со своей стороны, советская сторона стремится к тому, чтобы: 1) обеспечить полную взаимность обязательств; 2) придать пакту такую форму, при которой он не толковался бы, как направленный своим острием против одной какой-либо стороны; 3) заранее установить одинаковое понимание обеими сторонами пределов обязательств, которые они принимают на себя. Нет оснований думать, что эти стремления не соответствовали также желаниям французского правительства и чтобы оказались непреодолимыми препятствия к достижению полной договоренности о редакции всех статей пакта».

Палата представителей США утвердила без всяких сокращений бюджет морского министерства в размере 457 млн. долларов. Бюджет предусма-

тривает постройку новых двух крейсеров, одного авианосца, 15 контрминоносцев, 6 подводных лодок. Помимо этого, уже находится в постройке 56 судов. Бюджет предусматривает постройку 300 новых самолетов.

2 мая. Подписан советско-французский договор о взаимной помощи. В официальном сообщении говорится: «Этот документ содержит договор, состоящий из 5 статей, и один протокол. Обязательства, которые в них содержатся, базируются на статьях 10, 15 и 16 устава Лиги наций. Они содержат обязательства для обеих сторон — консультироваться в случае угрозы агрессии и оказывать поддержку в случае неспровоцированного нападения. Они имеют также целью обеспечить действительность положения устава Лиги наций и рекомендации, которые надлежит принимать совету. Эти обязательства, предназначенные для поддержания мира в Европе и принятые в полном соответствии с прежними обязательствами обеих правительств, не исключают никоим образом возможность для них участвовать с их взаимного согласия в региональном соглашении, заключение которого остается желательным».

Текст советско-французского договора о взаимной помощи и протокол подписания, а также заявление Лавалля и полпреда СССР во Франции т. Потемкина опубликованы в советской печати 4 мая.

5 мая. «Известия» опровергают измышления части французских газет о том, будто во время франко-советских переговоров советское правительство требовало представления СССР займа.

7 мая. Опубликована речь Бенеша, произнесенная им в Братиславе, в которой он заявил: «Мы ведем переговоры о пакте о взаимной помощи с СССР и в ближайшее время его осуществим. Это будет новая ориентация, которая действительно сможет сохранить мир на долгие годы и обеспечить спокойствие и развитие нашей республики».

Аг. Гавас опубликовало официальное сообщение французского министерства иностранных дел, в котором категори-

чески опровергаются сообщения иностранной печати, будто франко-советский договор сопровождается какими-либо секретными оговорками. Равным образом французское министерство иностранных дел опровергает, что предполагалось соглашение о советском займе во Франции.

На выборах в югославскую скупщину (парламент) за правительственный список подано 1.738 тыс. голосов, т.-е. 62,6 проц.; несмотря на жесточайший террор, оппозиционные национальные буржуазные партии собрали 983 тыс. голосов — 35,4 проц.

Венгрия согласилась участвовать в дунайской конференции. Италия обещала поддержать ее требования о довооружении. Венгрия, со своей стороны, оговорила свое согласие на дунайский пакт тем, что это участие не лишает ее права добиваться пересмотра границ, установленных Трианонским договором.

Итальянское правительство объявило частичную мобилизацию. Мобилизованы одна армейская дивизия и две дивизии фашистской милиции. Призваны к оружию родившиеся в 1913 году и прошедшие шестимесячную военную службу. В общей сложности в итальянскую армию включены все призывники 1913 года рождения, как и призывники 1911 и 1914 годов.

В Испании реорганизован кабинет Леруса. В новый кабинет вошло 8 фашистов. Кандидат в фашистские диктаторы Хиль Роблес получил портфель военного министра.

8 мая. Китайская красная армия вновь одержала победу. Сопrotивление сычуаньских войск сломлено. Командир 24-й армии нанкинских войск генерал Лю Вень-гуй со всеми подчиненными ему войсками перешел на сторону красной армии.

9 мая. Французский министр воздушного флота генерал Денен вылетел из Парижа в Рим. Цель посещения Рима — разработка подробностей франко-итальянского воздушного пакта о взаимной помощи.

Официоз чехословацкого правительства «Лидове новины» сообщает, что после заключения советско-француз-

ского договора, а также ввиду предполагаемого аналогичного договора между СССР и Чехословакией, Румыния считает необходимым «войти в более тесный контакт с Советским Союзом».

10 мая. Лаваль прибыл в Варшаву.

12 мая. Опубликовано официальное коммюнике о пребывании Лавала в Варшаве, выдержанное в оптимистических тонах. Это официальное коммюнике по своему тону расходится с пессимистической оценкой, которую дает руководящая европейская печать итогам варшавских переговоров Лавала. Эта печать утверждает, что Лаваль не добился успеха в Варшаве и что Польша сохраняет свое отрицательное отношение к восточному пакту о взаимной помощи.

Умер маршал Пилсудский.

13 мая. В Москву прибыл французский министр иностранных дел Лаваль.

14 мая. Опубликовано сообщение ТАСС, в котором говорится о готовности советского правительства в рамках и на основе действующей советско-японской рыболовной конвенции приступить немедленно к переговорам, имеющим целью самым дружественным образом урегулировать отдельные вопросы, возникшие в ходе применения конвенции за прежние годы.

14 мая. Министр иностранных дел Франции Лаваль был принят гг. В. М. Молотовым и И. В. Сталиным. Беседа продолжалась около двух часов. В беседе принимали участие тов. Литвинов, генеральный секретарь французского министерства иностранных дел Леже, посол Франции в СССР Альфан и полпред СССР во Франции тов. Потемкин.

15 мая. Лаваль выехал в Варшаву.

Опубликовано сообщение о беседах гг. Сталина, Молотова и Литвинова с Лавалем. В этом сообщении говорится: «Во время переговоров, имевших место в Москве 13, 14 и 15 мая, гг. Сталин, Молотов и Литвинов и г-н Пьер Лаваль выразили свое удовлетворение подписанным в Париже 2 мая 1935 г. договором, который определил обязательства взаимной по-



мощи между СССР и Францией и установил надлежащее их истолкование. Представители СССР и Франции имели возможность констатировать наличие дружественного доверия, созданного между их странами вышеупомянутым договором, оказавшим свое благотворное влияние на рассмотрение всех вопросов как советско-французских отношений, так и общеевропейского порядка, возникающих в плане сотрудничества обеих правительств.

Обе стороны приступили к вышеупомянутому рассмотрению с полной искренностью, причем могли убедиться, что их постоянные усилия, проявляющиеся во всех намеченных дипломатических начинаниях, с полной очевидностью направляются к одной существенной цели — к поддержанию мира путем организации коллективной безопасности.

При обмене мнений было констатируемо полное совпадение взглядов обеих сторон на те обязательства, которые, при создавшемся международном положении, вытекают для государств, искренне преданных делу сохранения мира и уже давших беспспорные доказательства своего миролюбия путем готовности участвовать в создании взаимной гарантии.

Именно в интересах сохранения мира эти государства обязаны прежде всего ничем не ослаблять свои средства государственной обороны. При этом в частности тов. Сталин высказал полное понимание и одобрение политики государственной обороны, проводимой Францией в целях поддержания своих вооруженных сил на уровне, соответствующем нуждам ее безопасности.

Представители СССР и Франции подтвердили, с другой стороны, свою решимость не оставить неиспользованным, в процессе дальнейшего своего сотрудничества, ни одного средства, способного, при содействии всех правительств, придерживающихся политики мира, создать политические условия, без которых невозможно восстановление доверия между государствами, столь необходимого с точки зрения материаль-

ных и моральных интересов народов Европы.

Представители обоих государств установили далее, что заключение договора о взаимной помощи между СССР и Францией отнюдь не уменьшило значения безотлагательного осуществления регионального восточно - европейского пакта в составе ранее намечавшихся государств и содержащего обязательства ненападения, консультации и неоказания помощи агрессору. Оба правительства решили продолжать свои совместные усилия по изысканию наиболее соответствующих этой цели дипломатических путей.

Предавая гласности вышеуказанные совместные решения, представители СССР и Франции со всей ответственностью заявляют, что тем самым они демонстрируют объединяющую их преданность созидательному делу, которое, отнюдь не исключая ничего участия, может найти свое полное осуществление лишь при условии истинного сотрудничества всех заинтересованных стран».

Перед отъездом в Польшу Лаваль в беседе с представителями московских газет заявил: «Во время моего пребывания в Москве я имел неоднократные длительные беседы с руководителями советского правительства. Тот откровенный и открытый обмен мнениями, который имел место, создал среди нас атмосферу доверия и дружбы. Таким путем мы укрепили узы, соединяющие наши обе страны. Установленное, таким образом, сотрудничество между двумя великими народами будет служить также делу всеобщего мира».

Прощаясь с провожавшими его на вокзале в Москве, Лаваль заявил: «Я уезжаю с убеждением, что мой визит в Москву еще более укрепит узы франко-советской дружбы. Да здравствует эта дружба!»

16 мая. В Праге подписан советско-чехословацкий договор о взаимной помощи.

В Москве подписано советско-чехословацкое соглашение об установлении регулярного воздушного сообщения между столицами обеих стран.

# Наука и техника

## АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

Б. Кукаркин

### I. Новые звезды и кометы

**Е**ще сто лет назад всякое неожиданное явление на небе могло остаться либо совсем незамеченным, либо не охваченным продолжительными и полными наблюдениями. Часто случалось, что явление замечалось уже в последних стадиях своего развития, и в распоряжении человека просто не было времени исследовать его. Три основные причины делают почти невозможным в настоящее время не заметить и оставить без всесторонних наблюдений неожиданные небесные явления. Этими причинами являются наличие большой армии друзей неба, применение фотографии и возможность быстрой связи.

Сто лет назад и ранее друзья неба насчитывались единицами, фотографии не существовало, а лучшим способом связи являлась почтовая карета с упряжкой лошадей... Всем астрономам того времени представлялось совершенно невысказанным и чудесным узнать, какие стадии развития проходило данное явление до своего «открытия». Теперь все это доступно.

В настоящее время на земном шаре насчитываются тысячи друзей неба, систематически посвящающих свои досуги посильной помощи астрономии по наблюдению метеоров, переменных звезд, Солнца, новых комет и т. д. Почти ни

одно заметное небесное явление (например яркая комета или яркая новая звезда) не ускользает от внимания того или иного любителя астрономии. Интересно отметить, что в XX столетии 80 процентов ярких комет и 90 процентов ярких новых звезд были открыты именно друзьями неба. Наличие такой большой армии людей, следящих за небом, почти полностью гарантирует, что данное явление будет своевременно замечено. Весьма характерным является например тот факт, что за все прошлое столетие была открыта 21 новая звезда (из них лишь пять видимых невооруженным глазом), в то время как за треть нашего столетия открыто уже 50 новых звезд (из них восемь видимых невооруженным глазом). Такое увеличение числа новых звезд объясняется, разумеется, не тем фактом, что в XX столетии их стало больше, а тем, что в прошлом веке пять-шесть новых звезд не были замечены и навсегда потеряны для человечества.

Фотография, завоевавшая в восьмидесятых годах прошлого столетия повсеместное применение в астрономии, сыграла и играет большую роль в деле регистрации неожиданных явлений. Полученный в данный момент негатив того или иного участка неба навсегда запечатлевает его состояние. Увеличивая время фотографирования (экспозицию), астро-

ном может получить на негативе все более и более слабые объекты, часто совершенно недоступные непосредственному рассмотрению глазом даже в самые сильные инструменты. На ряде обсерваторий (на Гарвардской обсерватории в США с восьмидесятых, на обсерваториях в Гейдельберге и в Москве с девяностых годов) началось систематическое фотографирование всего неба с целью своеобразного «патруля». Эта грандиозная работа (в Гарварде в июню ночь начинали более двухсот негативов) сразу же себя оправдала. Она дала возможность осуществить «чудо»: вернуть время назад и изучить поведение того или иного недавно открытого объекта на старых фотографиях. Приведем несколько примеров.

Открытая 8 июня 1918 г. почти одновременно несколькими любителями астрономии новая звезда в созвездии Орла (самая яркая новая звезда за последние триста лет) была обнаружена на снимках Гарвардской обсерватории за день и за три дня до своего открытия, а кроме того, на более чем трехстах фотографиях за промежуток в тридцать лет до вспышки. Оказалось, что до своего возгорания новая звезда была слабой звездочкой десятой-одиннадцатой величины (доступной телескопу средней силы), немного менявшей свой блеск. За три дня она имела еще «нормальный» блеск, а накануне открытия уже увеличила его в сорок раз и была на пределе доступности невооруженному глазу.

В 1930 г. на обсерватории Лоуэлла в США молодой ассистент Томбэф открыл новую большую планету, Плутон, расположенную за Нептуном. Она оказалась очень слабой — всего шестнадцатой величины, доступной лишь мощным инструментам. Несмотря на это, вскоре на ряде обсерваторий ее нашли на фотографиях 1914, 1919, 1921 и 1927 гг. Таким образом, получились непрерывные наблюдения планеты за 16 лет, давшие возможность точно вычислить ее путь (орбиту) вокруг Солнца. Не будь старых фотографий, пришлось бы ждать 1946 г., чтобы получить такой же длинный ряд наблюдений.

Наконец появление телеграфа, радио и авиации сделало возможным о всяком выдающемся астрономическом явлении тотчас же извещать все основные астрономические обсерватории. Это дает возможность сразу же организовать изучение данного объекта самыми разнообразными средствами, так как среди сотни обсерваторий, могущих вести наблюдения и разбросанных по всему земному шару, всегда найдется несколько, где в данный момент стоит ясная погода. Для урегулирования рассылки телеграфных извещений об астрономических открытиях учреждено специальное международное бюро экстренных извещений. Это бюро находится в Копенгагенской обсерватории. Каждая обсерватория немедленно после обнаружения того или иного нового объекта на небе (комета, новая звезда) телеграфирует в Копенгаген, а оттуда тотчас же рассылаются телеграммы всем наиболее крупным обсерваториям.

В ночь с 12 на 13 декабря прошлого года английский любитель астрономии Джон Прентис в небольшом городке Стоумаркете занимался своим любимым делом — наблюдением метеоров. Он следил за небом и, заметив метеор, заносил пройденный им путь между звездами на звездную карту. Под утро он наблюдал метеоры в созвездии Дракона, Лиры и Геркулеса. Нанося метеоры на звездную карту, он обнаружил, что на небе в созвездии Геркулеса горит звезда третьей величины (в месте скрепки ручки в ковше Большой Медведицы), не помеченная на карте. Убедившись, что это действительно новая звезда, он тотчас же отправился на междугородную телефонную станцию и соединился с главной английской обсерваторией в Гринвиче (предместье Лондона). Он сообщил дежурившему там астроному Мартину о своем открытии. Несмотря на то, что до рассвета оставалось очень мало времени, Мартин успел направить на новую звезду мощный рефлектор (так называются телескопы с вогнутым посеребренным зеркалом вместо объектива) и получить ее спектр. Спектр оказался характерным для новых звезд. Днем 13 декабря директор Гринвичской обсервато-

рии Спенсер Джонс дал телеграмму в Копенгаген, а 14 декабря все основные обсерватории мира уже знали о новой звезде и приступили к ее наблюдениям. В Москве небо прояснилось лишь 20 декабря, и тогда появилась возможность видеть новую звезду. Немедленно же старший научный сотрудник Астрономического института им. П. К. Штернберга, Б. А. Воронцов-Вельяминов, и пишущий эти строки сфотографировали спектр новой звезды и получили прямую фотографию для определения точного положения. В ту же ночь, сравнив свежий негатив со старой коллекцией негативов, они обнаружили на месте новой звезды, достигшей к тому времени второй величины (как Полярная звезда), слабую звездочку четырнадцатой-пятнадцатой величины. Такие же поиски были предприняты и на других обсерваториях: в Гарварде в США, в Гейдельберге и Зонненберге в Германии, в Гринвиче в Англии. Везде нашли на месте новой звезды слабую звездочку, повидимому, слегка менявшую свой блеск. Последний снимок относился к 14 ноября (за 28 дней до открытия); на нем звезде все еще оставалась «нормальной». После этой даты фотографирование этого места неба было прекращено, так как оно заходило под горизонт вскоре после Солнца. Таким образом, начало вспышки установить не удалось. Блеск новой звезды продолжал расти до 22 декабря, и, достигнув первой величины (немного ярче наиболее яркой звезды в Большой Медведице), звезда начала медленно ослабевать, испытывая резкие колебания.

Что же заставляет слабую звезду, светившую слегка колеблющимся светом, внезапно разгореться в десятки тысяч раз и затем снова медленно гаснуть, достигая, как правило, прежнего блеска? Какие катастрофические процессы происходят со звездой, заставляющие ее проделывать такое странное перерождение? Современное состояние наших знаний, построенных на богатом опытном материале многочисленных и всесторонних наблюдений новых звезд за последние пятьдесят лет, дает достаточно полные ответы на поставленные вопросы.

Характер изменения блеска всех новых звезд отличается тем, что в течение короткого промежутка времени — от нескольких десятков часов у одних и двух-трех десятков дней у других — блеск увеличивается в несколько десятков тысяч раз и, достигнув максимума, медленно уменьшается, достигая через несколько лет прежней величины. Фотографирование спектра новых звезд рисует определенную картину явления. Фотографии спектров показывают, что внешняя оболочка всех без исключения новых звезд с громадной скоростью улетает от звезды. Скорость движения оболочки достигает у разных новых звезд от 500 до 2.000 километров в секунду. Известный английский астроном-теоретик Е. А. Милн объясняет появление новых звезд тем, что при известном состоянии звезда начинает внезапно сжиматься, как бы «спадая» внутрь себя. При таком быстром «спадании» выделяется огромное количество лучистой энергии, которая оказывает давление на внешние части звезды — оболочку — и с огромной скоростью выбрасывает ее во все стороны в пространство. Оболочка начинает быстро расширяться. Внутренние же части звезды продолжают сжиматься. Оболочка расширяется в сотни раз. Поверхность же оболочки, создающая блеск звезды, увеличивается в квадрате, т. е. в десятки тысяч раз. Вскоре оболочка, расширяясь все более и более и улетая в мировое пространство, начинает рваться. Сквозь оболочку становится видимой поверхность сжавшейся внутренней части звезды. Она очень горяча, и теоретические расчеты показывают, что ее плотность в 10—20 тысяч раз больше плотности воды! Через несколько лет последние следы светящейся оболочки исчезнут, и звезда достигнет прежнего блеска.

Ленинградский астроном проф. В. А. Амбарцумян сделал несколько лет назад попытку теоретически подсчитать, на основе опытных данных, какую долю своей массы теряет новая звезда, сбрасывая оболочку. Оказалось, что вспышка новой звезды уносит в пространство во всяком случае не более одной стотысячной доли пер-

воначальной массы. Другими словами, можно считать массу звезды практически неизменившейся. Однако размеры «остатка» значительно меньше размеров звезды до вспышки. Повидимому, новая звезда до своего возгорания обладает чрезвычайно протяженной оболочкой, и именно нарушение равновесия в этой оболочке и вызывает последующий «взрыв» с катастрофическим увеличением блеска.

По статистическим подсчетам, ежегодно в нашей вселенной — Млечном пути — вспыхивают в среднем около двадцати новых звезд. Наблюдения за соседними вселенными-туманностями в созвездиях Андромеды, Треугольника показали, что там тоже каждый год вспыхивают двадцать-тридцать новых звезд.

Большинство новых звезд, вспыхивающих в нашем Млечном пути, расположены так далеко от Солнца, что даже в максимуме своего блеска они доступны лишь сильным инструментам. Они просто ускользают от взора астрономов. Часто слабые новые звезды обнаруживаются через много лет после своей вспышки при сличении старых небесных фотографий с новыми. Яркие новые звезды, достигающие в максимуме своего блеска первой-второй величины, расположены сравнительно близко к нам: свет от них идет всего лишь несколько сотен лет. По сравнению с диаметром нашего Млечного пути, свет которого проходит в 70—80 тысяч лет, эти расстояния не велики. Кроме того, внутри нашего Млечного пути в межзвездном пространстве расположено много поглощающего свет вещества (космическая пыль, облака кальция и натрия). Чем дальше находится небесное светило, тем большую толщу поглощающего вещества проходит его свет, тем еще более слабым оно кажется. Поэтому вполне понятно, что яркие новые звезды — это звезды, вспыхнувшие в небольшом, близком к Солнцу, объеме пространства, очень малом по сравнению с размерами Млечного пути. Вполне ясно, почему яркие новые звезды вспыхивают редко, несмотря на то, что ежегодно в среднем во всем Млечном пути вспыхивает от 10 до 30 новых звезд.

Много интересных работ в области изучения новых звезд произведено московским астрономом проф. Б. А. Воронцовым-Вельяминовым. Особенно интересны его работы в области изучения «новоподобных» звезд. Дело в том, что на небе существует несколько десятков звезд, напоминающих новые на том или ином этапе их развития. Часто такие «новоподобные» звезды вовсе не меняют своей яркости, а годами и даже столетиями светят постоянным блеском. Воронцов-Вельяминов считает, что все «новоподобные» звезды являются своего рода «неудавшимися» новыми звездами. Другими словами эту мысль можно выразить так: звезда, способная быть новой, находится в неустойчивом состоянии и в известный момент вспыхивает. В процессе вспышки возможно такое состояние, при котором звезда станет на некоторое, часто очень продолжительное, время устойчивой. Она как бы застывает на данной стадии развития, сохраняя все особенности спектра.

Английский астроном-теоретик Милн, рассматривая вопрос о строении звезд, из чисто теоретических соображений пришел к заключению, что могут существовать лишь три определенных типа звезд. К первому типу принадлежат обыкновенные звезды, подобные нашему Солнцу и чаще всего встречающиеся во вселенной. Они представляют огромные газовые шары, обладающие температурой на поверхности от двух-трех до нескольких десятков тысяч градусов, а в центре — нескольких десятков миллионов градусов. В центре эти звезды имеют небольшое чрезвычайно плотное ядро из так называемого «вырожденного газа», т.-е. газа, состоящего из атомов, потерявших благодаря чрезвычайно высокой температуре свои электроны. Милн показал, что такое строение звезд обеспечивает их длительное существование. Однако, рассматривая звезду подобного строения, теряющую с течением времени свою массу и светимость (в силу непрерывного излучения), Милн нашел, что такие звезды имеют определенную судьбу. Должен наступить момент, когда звезда первого типа превращается в звезду нового типа, так называемую

«диффузную», или «рассеянную», звезду. Звезда с таким строением длительно существовать не может и должна катастрофически начать «спадаться», т.е., проходя через стадию новых звезд, превратиться в звезду третьего типа — белого карлика. Это — звезды, состоящие почти целиком из вырожденного газа и обладающие чрезвычайно большими плотностями. Спичечная коробка, наполненная веществом белого карлика, весила бы целую тонну. Звезды этого типа находятся в устойчивом состоянии и могут существовать чрезвычайно долго.

Эта картина, составленная Милном, весьма неутешительна для человечества. Действительно, Солнце представляет звезду первого типа. Следовательно, рано или поздно с нашим Солнцем должна произойти катастрофа, — быстро вспыхнув и пройдя стадию «новой звезды», оно превратится в белого карлика. Светимость новых звезд в максимуме блеска превышает светимость Солнца в несколько десятков тысяч раз. Естественно, что если Солнце пройдет через стадию новой звезды, т.е. залетит на Землю в десятки тысяч раз более сильным светом, жизнь на Земле погибнет, океаны испарятся, поверхность расплавится. Однако простой арифметический расчет может показать, что Милн неправ. Нам известно, что каждый год в Млечном пути вспыхивает в среднем двадцать новых звезд. Всего в Млечном пути около 30 миллиардов звезд. За полтора миллиарда лет все звезды должны пройти стадию новых. По геологическим данным известно, что возраст Земли (а следовательно, и Солнца) во всяком случае не менее двух миллиардов лет. Остальные звезды Млечного пути также не могут обладать более молодым возрастом, так как смешно предполагать, что Солнце — скромная рядовая звезда — образовалась значительно раньше всех остальных звезд нашей вселенной. Отсюда следует, что все звезды нашего Млечного пути должны быть продуктом новых звезд, т.е. белыми карликами. Однако процент белых карликов во вселенной очень невелик, во всяком случае не больше одного процента. Поэтому

вся нарисованная Милном картина должна быть забракована. Остается сделать лишь простой, логический вывод: новые звезды являются звездами особого строения.

Если бы нам был известен процент новых звезд (вернее, звезд, способных быть новыми) среди всех остальных нормальных звезд, мы, зная, что каждый год в среднем вспыхивает 20 звезд, могли бы рассчитать среднюю периодичность вспышек. К сожалению, этого нам не известно. Этот вопрос разрешился бы очень просто, если бы нам удалось наблюдать вторичную вспышку какой-либо уже вспыхнувшей ранее новой звезды. Но на памяти человечества не осталось случая вторичного возгорания ярких новых звезд. Есть впрочем несколько вспышек. Спектры этих звезд чрезвычайно напоминают новые звезды. Старший научный сотрудник Астрономического института им. П. К. Штернберга, П. П. Паренаго, совместно с автором этого очерка обратили внимание на очень интересный факт. Собрав весь наблюдательский материал относительно звезд, вспыхивавших несколько раз, они обнаружили, что между продолжительностью пребывания в «нормальном» состоянии и интенсивностью последующей вспышки существует тесная связь. Чем дольше звезда оставалась нормальной, чем дольше она «отдыхала», тем большего блеска она достигала при вспышке. Продолжительность «отдыха» и интенсивность последующей вспышки оказались связаны простым математическим соотношением. Это соотношение дает возможность легко определить среднюю продолжительность «отдыха» ярких новых звезд. Оказалось, что соседние вспышки ярких новых звезд должны происходить через промежутки времени порядка десяти тысяч лет. Вполне естественно, что до сих пор люди не наблюдали второй вспышки ни одной яркой новой звезды. Однако имеются некоторые новые звезды, вспыхивавшие в прошлом столетии и имевшие такую интенсивность вспышки, что у них можно ожидать «отдыха» порядка ста лет. Астрономы будут с нетерпением ждать очередных вспышек этих звезд, которые

должны сказать свое окончательное за или против обнаруженного соотношения.

Зная среднюю продолжительность «отдыха» типичных новых звезд (десять тысяч лет), мы можем легко подсчитать, какое количество звезд, способных быть новыми, должно находиться в Млечном пути, чтоб обеспечить двадцать вспышек ежегодно. Всего 200.000 звезд! Какое ничтожное число по сравнению с тридцатью миллиардами звезд, заключенных в Млечном пути. Пусть приведенная цифра, основанная лишь на грубых расчетах, ошибочна в 10 или даже в 100 раз. Это не меняет дела. Все равно, процент звезд, способных быть новыми, остается ничтожным. Таким образом, отпадает необходимость каждой звезде проходить через стадию новых, отпадает опасение, что наше Солнце в один прекрасный день может вспыхнуть, подобно новой звезде, уничтожив своим горячим дыханием жизнь на Земле.

Более полное разрешение загадки новых звезд является боевой задачей советской астрономии, так как с разрешением этой загадки связаны принципиальные вопросы о строении звезд и развитии их во времени.



9 января 1935 г. астроном Иоганнесбургской обсерватории в Южной Африке, Джонсон, рассматривая полученный накануне негатив, обнаружил на нем слабое туманное пятнышко. На другой фотографии, снятой вскоре после первой, это пятнышко также обнаружилось, но слегка смещенным относительно соседних звездочек. Стало совершенно очевидным, что здесь мы имеем дело с движущейся между звезд слабой кометой. Тотчас же была послана телеграмма в Копенгаген и оттуда разослана по всему миру. К сожалению, комета была открыта на южном небе, не доступном наблюдениям европейских и североамериканских обсерваторий. Впрочем после того, как в Иоганнесбурге было получено несколько наблюдений, удалось вычислить пути кометы около Солнца (орбиту) и предсказать ее ожидаемое положение на небе. Оказалось, что комета быстро дви-

жется на север и скоро будет доступна обсерваториям северного полушария. В начале февраля ее впервые в СССР увидел ташкентский астроном Н. Ф. Флоря, затем киевский — С. Д. Черный и симеизский (Крым) — С. И. Белявский. Наконец в начале марта московскому астроному С. К. Всехсвятскому удалось получить не только прямую фотографию этой кометы, но и сфотографировать ее спектр. На основе анализа всех многочисленных наблюдений оказалось, что комета Джонсона движется по очень вытянутой замкнутой кривой — эллипсу, с периодом порядка тысячи лет. Через ближайшую к Солнцу точку (перигелий) она прошла 26 февраля.

Появление кометы не является редкостью. Каждый год в среднем открывается четыре-пять комет, а в иные годы даже более десятка. Но все эти кометы обычно очень слабы, доступны лишь довольно сильным инструментам или даже только фотографии. Но иногда появляются и яркие кометы (например в 1910, 1914 и в 1927 гг.), не только доступные невооруженному глазу, но даже видимые днем, при полном солнечном свете. У таких комет обычно развивается мощный хвост, тянущийся по небу в сторону, противоположную Солнцу. Правда, хвосты наблюдаются и у небольших комет, но эти хвосты невелики, достигают в лучших случаях по своим видимым размерам нескольких лунных диаметров.

Изучение структуры комет показывает, что они представляют очень разреженные туманности, часто более густые в центре. По мере приближения к Солнцу их блеск растет и растет — не по закону обратной пропорциональности квадрату расстояния, а значительно быстрее. Создается впечатление, что по мере приближения к Солнцу, под действием его лучей, у комет создаются новые источники излучения. По мере приближения к Солнцу у комет также начинает расти хвост, достигающий наибольшего развития около времени наименьшего расстояния.

Теория кометных форм была, в основном, разработана в восьмидесятих годах прошлого столетия русским астрономом

Бредихиным. Чрезвычайно много нового и ценного в этом вопросе было сделано московским астрономом проф. С. В. Орловым. Известно, что свет оказывает давление на освещаемые им предметы. Если размеры данного предмета чрезвычайно малы, давление солнечного света может превзойти силу тяготения. В этом случае предмет будет отброшен солнечными лучами. Вот почему хвосты комет, состоящие из отдельных атомов и молекул, притом чрезвычайно разреженных, направлены прочь от Солнца. Простое рассмотрение комет показывает, что они состоят из очень разреженного вещества. Неоднократно приходилось наблюдать, как комета, двигаясь в пространстве, закрывает собой ту или иную звезду. Никогда не отмечалось какого-либо заметного уменьшения блеска закрытой звезды. Сквозь комету она казалась такой же яркой, как и до покрытия. Это доказывает, что вещество кометы очень прозрачно, — следовательно очень разрежено. Плотность хвоста еще меньше. Подсчеты показывают, что в кубе (со стороной в 1.250 километров) наполненного веществом хвоста находится такое же количество материи, как в кубическом сантиметре комнатного воздуха. Голова и ядро комет, хотя гораздо более плотны, состоят все же из чрезвычайно разреженного скопления осколков твердых веществ, космической пыли и газовых молекул.

Откуда берутся кометы, какова их судьба, опасны ли встречи пути комет и Земли? Вот вопросы, которые всегда возникали и возникают у всех людей, видящих комету или читающих о ней.

В вопросе о происхождении комет существуют две резко противоположные точки зрения: 1) кометы образуются в мировом пространстве вне нашей солнечной системы и лишь встречаются и захватываются ею, 2) кометы образуются внутри нашей солнечной системы. Очень много интересных и ценных заключений по вопросам происхождения комет было сделано молодым советским астрофизиком С. К. Всехсвятским. Он исследовал блеск целого ряда комет, вращающихся вокруг Солнца. Он доказал, что после каждого обращения их яркость ослабе-

вает. Под влиянием действия солнечного излучения после каждого прохождения вблизи Солнца кометы теряют часть своего вещества. Высчитав вековое изменение яркости комет, Всехсвятский показал, что очень недавно все исследованные им кометы должны были быть очень яркими, обладать хвостами. Однако нет никаких указаний на их появление до самого последнего времени. Отсюда можно заключить, что все эти кометы — молодые. Всехсвятский считает, что кометы являются продуктом извержения больших планет Солнечной системы — Юпитера, Сатурна, Нептуна. Эта теория объясняет много наблюдаемых явлений, но не свободна от возражений. В настоящее время над вопросами происхождения комет, кроме самого Всехсвятского, работает целая школа проф. Н. Д. Моисеева в астрономическом институте им. П. К. Штернберга в Москве.

Совершенно неоспоримыми являются наши представления о строении комет. В процессе своих обращений вокруг Солнца кометы разрушаются, и весь их путь заполняется их «остатками» — космической пылью и более крупными осколками твердых тел. Эти тела часто встречаются с Землей, и мы замечаем их как падающие звезды. Падающие звезды можно видеть каждую ночь. Но бывает время, когда их особенно много, и летят они, как кажется наблюдателю, из одной точки. Это бывает в тех случаях, когда путь Земли пересекается с путем кометы. Когда Земля встречается с более густой частью, наблюдается не только значительное увеличение числа падающих звезд, но часто бывают видны целые дожди метеоров. Например 9 октября 1933 г. во всех местах европейской части СССР, где стояла ясная погода, наблюдался дождь падающих звезд. Оказалось, что Земля пересекла путь недавно прошедшей кометы Джиакобини-Циннера.

Вопрос о том, что произойдет в случае встречи Земли и кометы, разрешается очень просто: мы увидим дождь падающих звезд, тем более эффектный, чем более плотную часть кометы мы встретим. Некоторые наиболее крупные метеоры могут достигнуть земной по-



верхности. Их изучение чрезвычайно важно, так как метеориты являются единственными космическими телами, которые мы можем исследовать в наших лабораториях. Вопрос о кометах, метеорах и метеоритах заслуживает особого очерка. Ограничимся здесь лишь указанием, что ни в одном метеорите не было обнаружено ни одного вещества, не известного на Земле.

Вопросы изучения комет и связанные с этим вопросы изучения метеоров представляют большой интерес. Они могут дать прямые ответы на вопросы происхождения Солнечной системы, ее возраста и т. д.

Хочется отметить, что рядовая армия друзей неба может оказать в затронутых нами областях астрономии большую пользу специалистам-астрономам. На За-

паде существует несколько буржуазных ассоциаций друзей неба. Эти ассоциации работают по указаниям крупных обсерваторий. Однако все основные особенности капиталистического строя характерны и для этих ассоциаций. Ассоциации разных стран работают, совершенно не считаясь с наличием вредного параллелизма. В работе часто отсутствует плановость, целеустремленность.

В СССР существует Всесоюзное астрономо-геодезическое общество (Москва, Планетарий). Одной из основных его задач является объединение друзей неба в соответствующие ячейки, которые могли бы противопоставить Западу плановую работу и четкое выполнение плановых заданий. А заданий для друзей неба найдется неограниченное количество.

# Литература и искусство

1. А. СТАРЧАКОВ — Заметки об историческом романе. 2. В. БОГДАНОВ - БЕРЕЗОВСКИЙ — Б. В. Асафьев. 3. Письма Стендаля о литературе

## 1. ЗАМЕТКИ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ

А. Старчаков

### I

Споры об историческом романе уже имеют свою устойчивую традицию, — неясно, что, собственно, является объектом спора?

Вопрос специфики исторического романа занимал участников трех диспутов: двух московских и одного, развернувшегося недавно в Ленинграде. Наиболее значительным и по богатству высказываний, и по своему содержанию был диспут, организованный в свое время журналом «Октябрь». В нем приняли участие историки, литературоведы, писатели. Но в последнем счете диспут дал меньше, чем он мог бы дать, — в самом начале не был точно определен объект суждения.

«Основные проблемы исторического романа», — так назвал свой доклад на диспуте историк Цезарь Фридлянд. Однако в «Основных проблемах» мы не найдем не только точного, но даже приблизительного определения исторического романа.

«Изображение эпохи в целом на конкретном частном материале — эпохиальность — есть та весьма неопределенная, но более или менее общая характеристика, которая дает возможность сказать, что мы имеем перед собой исторический роман» — читаем мы в стенограмме доклада Цезаря Фридлянда.

В романе «Анна Каренина» нашла яркое выражение целая эпоха русской

истории, — Ленин всячески подчеркивал эпохиальность романа. Однако навряд ли кто-нибудь согласится, что «Анна Каренина» — роман исторический. Видимому, эпохиальность не является признаком только исторического романа.

Но, быть может, неясность сопутствовала началу диспута, и после интересных и обширных прений вопрос был решен с совершенной определенностью? Однако в заключительном слове, обобщая прения, докладчик снова вернулся к исходному положению.

«Эпохиальность является одной из характерных для меня особенностей исторического романа» — говорит он. И тут же признает, что это определение достаточно расплывчато.

Трудно представить себе произведение более эпохиальное, чем «Клим Самгин». Гигантское полотно охватывает целых сорок лет русской истории, ряд незабываемых исторических эпизодов разбросан по страницам повести. Но в то же время «Клим Самгин» не является произведением исторического жанра в том особом значении, в каком являются «Петр I» Толстого и «Степан Разин» Чапыгина.

В другом месте своего доклада Цезарь Фридлянд говорит:

«Подлинный исторический роман — это роман, который поднимает индивидуальное, частное событие на огромную высоту, раскрывая сущность эпохи, сущность

трагической коллизии эпохи, ибо существо прошлых эпох классового общества, — это трагическая коллизия».

Совершенно очевидно, что слова эти относятся не только к историческому роману. Каждый великий художник начинает с того, что поднимает индивидуальное, частное событие на огромную высоту, раскрывая сущность эпохи. Крушение феодальной аристократии, ее распад и вырождение, торжество молодой буржуазии, — вот те трагические коллизии, которые живут в романах Бальзака. Однако автора «Человеческой комедии» мы не относим к числу исторических романистов.

Случайным кажется и определение следующего рода:

«Жанр исторического романа по существу своему глубоко оптимистичен, и исторический роман только тогда играет свою роль, когда трагическое прошлого разрешается не пессимистически, а оптимистически, раскрывая перспективы завтрашнего дня».

Непонятно, в силу каких обстоятельств оптимизм безотносительно становится функцией исторического жанра, своего рода его «скрытым теплом». Оптимизм является качеством мироощущения, мироопределения.

В согласии со своей скептической философией Анатоль Франс в романе «Боги жаждут» объявляет тщетной человеческую попытку исправить общество путем революционного насилия, — роман заканчивается апофеозом любви. Лишь она одна неизменна в этом мире, где все условно, призрачно, — в последнем счете торжествует биология, но никак не разум. Вывод, далекий от оптимизма. Но вместе с тем в романе «Боги жаждут» правдиво и ясно запечатлены суровые, ригористические образы лучших и последовательных деятелей великой буржуазной революции.

## II

Исторический романист начинает с опрощения, вытеснения вымысла. Рядом с вымышленными героями живут, действуют герои, существовавшие в действительности, их судьбы сталкиваются,

переплетаются в движении, в развитии романа. Подлинные исторические события конструктивно вырастают в ткань повествования, они сливаются с элементами вымысла, историческое событие рассматривается романистом как типическая ситуация, определяющая судьбу и характер героев.

Даже вымышленный герой исторического романа обычно является псевдонимом одного или нескольких лиц, существовавших в действительности. Образ Гринева в «Капитанской дочке», по всему вероятию, был подсказан следственными материалами или устными рассказами о дворянах, вольно или невольно примкнувших к Пугачеву. В своих заметках к «Истории Пугачевского бунта» Пушкин упоминает о Шванвиче, приходившем «из хороших дворян» и приставшем к самозванцу. В этом смысле интересно замечание Шкловского, отметившего, что в первоначальной наброске «Капитанской дочки» Гринев и Швабрин, добровольно примкнувший к Пугачеву, были одним и тем же лицом.

Виктор Гюго в романе «93-й год» наделяет своего Симурдена чертами Марата и Робеспьера. И, быть может, потому подлинные Марат и Робеспьер в романе Гюго утрачивают свою жизненную яркость.

В романе Диккенса «Два города» маркиз Эвремон при всем своем исключительном благородстве вызывает в памяти образы эмигрантов великой буржуазной революции, действовавших по указаниям Питта, руководивших из пограничного Кобленца контрреволюционными выступлениями внутри Франции.

Но для того, чтобы роман назывался историческим, необходимо, чтобы лица, подлинно существовавшие в действительности и выступающие на страницах романа, были не просто реальными персонажами, но лицами, имена которых берегла нам память народа, лицами, мысли и дела которых в той или иной мере определяли судьбу народа.

В одной из своих статей, относящихся к 1924 году<sup>1)</sup>, тов. Сталин писал о том, что Ленин, «этот несомненный марксист», не боялся слова «народ», — цитируя известное письмо Маркса к Кугельману, относящееся к апрелю 1871 года, Ленин говорил:

«В Европе 1871 года на континенте ни в одной стране пролетариат не составлял большинства народа. «Народная революция», втягивающая в движение действительно большинство, могла быть таковой, лишь охватывая и пролетариат, и крестьянство. Оба класса и составляли тогда народ. Оба класса объединены тем, что бюрократически-военная государственная машина гнетет, давит, эксплуатировает их. Разбить эту машину, сломать ее — таков действительный интерес народа».

Народность, понимаемая как отображение событий, волновавших широчайшие массы, является неотъемлемым признаком исторического романа. История борьбы широчайших народных масс за свое национальное и классовое раскрепощение — вот откуда черпали материал крупнейшие исторические романисты за последние сто лет. Бесплезно было бы рассматривать исторический жанр с точки зрения вечности, с точки зрения неизменных его признаков, — не станем же мы заниматься изучением романов Амадиса Галльского, которыми когда-то зачитывался Дон-Кихот. Но если брать исторический роман таким, каким он сложился на фоне определенных общественных отношений, примерно за последние сто лет, то мы без труда установим, что борьба широчайших народных масс становится в центре внимания исторического романиста.

Вальтер-Скотт стоит на рубеже двух эпох. История часто давала ему богатый материал для авантюрного романа в духе XVIII столетия. Но вершина творчества Вальтер-Скотта не в бытовых деталях, не в знании археологии,

не в его постижении «духа истории», но в изображении таких широких народных движений, как борьба саксонцев с норманами, — именно эта сторона его творчества обогатила буржуазную историческую науку.

Мировоззрение писателя, занимаемая им классовая позиция определяют отношение художника к изображаемым событиям. В «Капитанской дочке» Пушкина мы видим глубокое понимание народного характера пугачевского движения. Столбовой дворянин, глубоко затаивший ненависть к чиновной бюрократии, Пушкин в «Капитанской дочке» в какой-то мере запечатлел свое любованье стихией народного мятежа. Не случайно Покровский писал, что первым «идеализатором» Пугачева был именно барин Пушкин. «Пушкин любил этого архизлодея» — пишет Покровский. Но какой-нибудь Данилевский, писатель из полтавских помещиков, изображал движение Пугачева как божью кару, обрушившуюся на голову ни в чем неповинных дворян.

Восторженный Виктор Гюго отразил величие и пафос великой буржуазной революции в образах Симурдена, сержанта Радуба. Диккенс в романе «Два города» запечатлел смертельный ужас английского буржуа перед террором и в событиях 93-го года увидел всего лишь неправосудную расправу обезумевших рабов, торжество Молоха гильотины. Вот как описывает Диккенс восставший Париж:

«Обнаженные до пояса мужчины, тело которых было покрыто кровавыми пятнами, женщины, укутанные в кружева, ленты и шелк, тоже залитые кровью, — все теснилось и толкалось, пробираясь к точильному колесу, и кровь рдела на ножах, топорах, кинжалах и саблях, принесенных сюда для точения. С диким беснованием вырывали они свое оружие из костра искр, струившихся с колеса, и бросались назад, к прерванной резне. И такие же кровавые искры сверкали в их глазах».

Роман «Два города» проникнут одним стремлением: его задача — внушить

<sup>1)</sup> И. Сталин «Вопросы ленинизма». О некоторых особенностях тактики большевиков в период подготовки Октября. Стр. 121 — 122.

ненависть к великой буржуазной революции, к террору.

Эти примеры можно было бы легко продолжить. Можно без труда назвать имена романистов, черпавших в истории свое вдохновение. Если история рассматривалась ими не как летопись дворцовых интриг, если они обращались к истории не только в поисках занимательной фабулы, то содержанием их произведений становились события, волновавшие широкие народные массы.

Романист не просто монтирует исторические документы, но говорит о событиях, имевших определенное влияние на судьбы народа. Он не просто рассказывает о действиях тех или иных исторических лиц, но занят изображением характеров таких исторических персонажей, память о которых неистребимо живет в сознании народных масс.

Когда мы говорим, что «Степан Разин» Чапыгина и «Петр I» Ал. Толстого являются романами историческими, — это прежде всего потому, что и лица, и события, описанные в них, определяли судьбу широчайших народных масс, крепко вросли в народное сознание.

В «Степане Разине» Чапыгина показана попытка народа сломать угнетающую его бюрократически-военную государственную машину. В «Петре I» с огромной силой показано, как эта же машина поработывает широкие народные массы. Нарастание народного гнева в «Петре I» дается симфонически, в непрерывном подеме, — в первой части недовольство крестьян прорывается в отдельных оценках и разговорах, во второй части мы уже видим самосожжение раскольников, в третьей будет дана широкая картина булавинского бунта.

Народность исторического романа определяет не только его содержание, но и лексику, язык. Отображение широких народных движений неизбежно приводит к демократизации исторического романа. «Степан Разин» Чапыгина и «Петр I» Толстого глубоко народны по своему содержанию и по языку.

Исторический роман является прежде всего романом реалистическим. В про-

тивном случае история не ночевала в нем вовсе, — одного оперирования именами и событиями, которые сберегла нам человеческая память, еще недостаточно.

Когда в плане исторического романа рассматривают «Подпоручика Киже» Ю. Тынянова, то забывают, что перед нами не роман, но небольшая по размеру анекдотическая повесть. Однако особенностью «Подпоручика Киже» является не его анекдотизм. Особенность повести в том, что в ней рассказан один из многочисленных дворянских анекдотов о безумии Павла.

Еще П. Вяземский знал, что Павел был убит не потому, что он был деспотом, но потому, что деспотизм его неожиданно обернулся против могущественной дворянской партии. (Закон об ограничении барщины, изданный Павлом, породил среди дворянства «отражение, которое превосходит все, что можно сказать», — говорил Вяземский.) Покровский писал: «Павел не мог изменить законов истории и, сделавшись врагом господствующего класса, стал воплощением надежд и чаяний класса угнетенного». Своими мероприятиями Павел совершенно неожиданно разбудил «тщетную надежду среди простонародия и крестьян».

Не случайно в ночь на 11 марта 1801 года заговорщики, проникнувшие в Михайловский дворец, больше всего боялись солдатского караула, и в самом деле караул едва не помешал им.

Безумие Павла, противопоставление его деспотизма памяти предыдущего царствования были когда-то излюбленной темой дворянской исторической беллетристики. «Подпоручик Киже» — последний дворянский анекдот о сумасшествии Павла, но рассказанный уже в наши дни.

В этом смысле весьма интересна попытка Всеволода Иванова в его новом произведении «Двенадцать молодых из табакерки» распутать сложный узел событий, которыми было ознаменовано кратковременное царствование Павла, Всеволод Иванов собирается показать легендарного безумца в свете реальных исторических отношений.

Мастер исторического романа облакает в поэтические образы явления классовой борьбы в ее наиболее зрелых, разительных выражениях.

Когда один из теоретиков исторического романа говорит, что возможен роман, в котором нет ни одного исторического лица и ни одного подлинно исторического эпизода, и все же роман этот будет историческим, если он даст нам представление об эпохе, то наш теоретик ошибается. Это будет просто реалистический роман, но не роман того жанра, который является предметом нашего обсуждения.

Мастер исторического романа ищет в истории типических ситуаций, и для него исторический персонаж является типическим характером, — в этом одна из существенных особенностей жанра. Именно с этими требованиями подходили к оценке исторического жанра Маркс и Энгельс, указывая Лассалю на недостатки его трагедии «Франц Зикинген».

### III

Известно определение, которое дал историческому роману Белинский. Он рассматривал исторический роман как одну из форм эпоса. Отличительной чертой эпоса, как мы знаем, и является его народность, эпос возникает в самой толще народных масс, народное сознание является колыбелью эпоса.

Именно здесь лежит водораздел между историческим романом и романом-биографией, различие между которыми стирается, если стоять на точке зрения одной лишь «эпохальности». Не случайно у нас в ряду исторических романов рассматривают такие произведения, как «Кюхля» Тынянова, «Фуше» Стефана Цвейга, романы-биографии Моруа. Роман-биография может отобразить характер и событие, которые лежат за пределами народной памяти. Личность героя, его внутренний мир, — вот что занимает мастера романа-биографии.

Исторический романист занят изображением широких движений. Он уделяет меньше внимания внутреннему миру своих героев. Психология героя, углублен-

ное раскрытие его душевного мира — задача, стоящая перед автором романа-биографии.

Для того, чтобы понять «Смерть Вазир-Мухтара», нужно раскрыть тот глубокий психический конфликт, который положен в основу романа. Только вскрыв внутреннее противоречие, которое движет действием, мы сможем понять и характер героя, и его трагическую историю.

Умирание Грибоедова дано уже в первых страницах «Вазира». Уже встреча Грибоедова с Ермоловым не предвещает ничего хорошего. Но это только первые предвестники надвигающейся катастрофы, — она завершится гибелью надменного, сухого человека во фраке, чей образ знаком нам со школьной скамьи. Восставшие обитатели Тегерана пронесут по улицам на копье его слепую голову и бросят в ров его тело. Это будет физическим уничтожением героя. Социально он погиб раньше, — на Сенатской площади, в день 14 декабря 1825 года, — кинжалы персиян добьют уже мертвого человека.

Грибоедов в беседе с Булгариным говорил:

— Умею ли я писать? Ведь у меня есть что писать? Отчего же я нем, нем, как проб?

Роман и является ответом на этот вопрос: не физическая гибель, но творческое бесплодие, смерть художника — центральная тема романа.

В «Смерти Вазир-Мухтара» есть сцена — обед у начальника гвардейской артиллерии генерала Сухозанет. За столом сановники империи — графы Чернышев и Левашев, князь Долгоруков и Белосельский, петербургский военный генерал-губернатор Голенцев-Кутузов. И среди них — автор «Горя от ума».

Гости пьют, рассказывают круто посолненные солдатские анекдоты. Но Тынянов дает не случайную сцену пира: Грибоедов, в прошлом декабрист и чуть ли не соучастник «печального происшествия», сегодня пирует с судьями своих вчерашних друзей.

Хлебосольный хозяин дома Сухозанет в день 14 декабря 1825 года палил на Сенатской площади из пушек по вос-

ставшим друзьям Грибоедова. На другой день ему были пожалованы генерал-адъютантские аксельбанты. Левашев допрашивает Грибоедова, арестованного за связь с декабристами. Голенищев-Кутузов, человек крепкий, с жесткими густыми баками, вешал на кронверке Петропавловской крепости главарей восстания. Но сегодня Грибоедов — за одним столом с Голенищевым-Кутузовым. Грибоедов не в ссылке, не в каторжных инорах, не «во глубине сибирских руд». Он искусно замел следы и переметнулся в лагерь победителей. Когда тут же, на обеде, Депрерадович, отец сосланного на Кавказ декабриста, с холодным презрением спрашивает Грибоедова: «С сыном моим не встречались?», Грибоедов молчит. Красноречивый Чацкий, без усталости обличавший в бессмертной комедии, не находит слов для ответа. Правда, ему не по себе от солдатски-грубых речей Голенищева-Кутузова. «Тыфу, Скалозуб, нехватало только Молчалина» — отплевывается Грибоедов. И Ю. Н. Тынянов ремаркой краткой, но ослепительной, озаряет эту сцену, вскрывает ее внутренний смысл:

Нехватало. Ну, что ж, дело ясное, дело простое, — он играл Молчалина...

Мы знали Грибоедова-Чацкого. Мы знали Грибоедова-декабриста, автора комедии. В «Вазире» мы узнаем Грибоедова-Молчалина, изменившего идеалам своей юности, предавшего своих друзей и соратников. Грибоедов-Молчалин — внутренний конфликт, на котором построен роман.

Но, быть может, сцена за обедом у генерала Сухожанет случайна и выпадает из общего замысла замечательного романа?

Облаченный в шитый золотом мундир полномочного посла и министра, Грибоедов присутствует в Тифлисе на параде войскам. Неожиданно с балкона внизу, в толпе, он узнает высокого пехотного капитана с лицом розово-смуглым, «как тронутая тлением ветчина». Это капитан Майборода. Когда-то он донес в Петербург на заговорщиков из «Южного общества». Сегодня он привозит в Тифлис и персидское золото — «куруры», и шахскую библиотеку, и знамена, взятые у

персов по Туркманчайскому договору, едочновителем и автором которого являлся Грибоедов. Именно он, Майборода, увенчивает и завершает то дело, которое начал Грибоедов. Тынянов говорит: «Он никогда не знал, что его куруры привезет человек с лицом цвета сизой, лежалой ветчины, тонкий, прямой человек, шутовское имя коего произносится шопотом... Капитан Майборода — предатель, доносчик, который погубил Пестеля».

Отныне Грибоедов и Майборода служат одному делу. И Грибоедову становится дурно, не то от встречи с предателем, не то от нестерпимой тифлисской жары.

Ночью, после парада, в солдатской палатке, сосланные на Кавказ декабристы Берстель и Кожевников будут вспоминать Грибоедова. Они видели его сегодня, он стоял в вызолоченном мундире на балконе. Грибоедов был не только другом, но и учителем, идиолом молодежи. Его комедия идейно подготовила восстание, его комедия была пересыпана лозунгами декабризма.

Вспоминая пережитой день, ссыльный декабрист Кожевников говорит:

— А кто с террасы на нас смотрел в позлащенном мундире? Там наш учитель стоял, идол наш. Я до сей поры один листочек из комедии его храню. Уцелел. А теперь я сей листок порву и на дыгарки его скурю.

Ученики отрекаются от изменившего учителя, они не могут ему простить отступничества. Философский замысел романа подчеркнут еще одной художественной подробностью. В глубине романа все время мелькает тень Пушкина. Тынянов показывает Пушкина не только потому, что он не мог обойти величайшего современника Вазир-Мухтара. Образ Пушкина органически связан с общим замыслом романа. Ю. Н. Тынянов пишет: «Грибоедов читал, как все, «Стансы» Пушкина. Пушкин смотрел вперед безбоязненно, в надежде славы и добра. В этих «Стансах» казни прощались Николаю, как и Петру. Ни одного друга не приобрел Пушкин этими «Стансами», а сколько новых врагов?.. Александр Сергеевич Пушкин был тонкий дипломат. Сколько подводных камней миновал он с

легкостью танцевальной, но жизнь простей и грубей всего. Она берет человека в свои руки. Пушкин не хотел остаться за флагом, вот он кидает им кость».

Пушкин, не захотевший остаться за флагом, повторил путь, пройденный Грибоедовым. Он тоже из числа тех, кто не принял боя в день 14 декабря 1825 года:

Когда за призраком свободы  
Нас Брут отчаянный водил...  
... Когда я, трепетный шкрит,  
Бежал, нечестно бросаю щит,  
Творя обеты и молитвы.

Летом 1829 года, следуя за русской армией, по дороге из Тифлиса в Карс, Пушкин у Бузобдальского перевала повстречал сопровождаемый проводниками гроб с останками Грибоедова. Это — заключительная сцена «Вазир-Мухтара». Но пройдет восемь лет, и февральским днем на одной из станций под Петербургом жена цензора Никитенко встретит простые, крытые соломой сани и в санях сопровождаемый жандармами гроб.

— Что это такое? — спросит Никитенко у находившихся во дворе крестьян.

— А бог его знает что! Вишь, какой Пушкин убит. Его и мчат на почтовых в рогоже, в соломе, прости господи, как собаку.

Пушкин тоже пробовал примириться с империей Николая I. Но, «нечестно бросаю щит» в день 14 декабря 1825 года, поэт не разрешил ни одного противоречия. Спор не был окончен. Напрасно Данзас, секундант поэта, на пути к месту дуэли ронял на снег пистолеты в последней надежде привлечь внимание знатной черни, возвращавшейся с прогулки. Поэту пришлось принять бой — не на Сенатской площади — на Черной речке для того, чтобы посчитаться с целым светом или погибнуть.

И Грибоедов не просто уехал в Персию «под ножи персиян». Однажды предав, он был предан в свою очередь. Его прошлое не было забыто. Нессельроде, его начальник и министр, спешит обрядить Грибоедова в роскошный, расшитый золотом мундир полномочного посла. Скромного коллежского советника в течение нескольких дней награждают сле-

дующим чином. Беседу Нессельроде и Грибоедова Ю. Н. Тынянов расшифровывает ремаркой: «Карл Васильевич Нессельроде, граф, вице-канцлер империи, проболтался. Они отправляли его на с'едение. Провожая Грибоедова, Нессельроде шепчет: «Какое счастье, какое счастье, что этот человек наконец уезжает».

«Смерть Вазир-Мухтара» — не только история гибели Грибоедова, это история одной измены. Самая гибель писателя тончайшими нитями связана с историей этой измены. Его гибель физическая и творческая — последнее и логическое звено его биографии.

Поведение Вазира (при всем своем субъективно-неповторяемом своеобразии) — поведение либерала в обстановке разбитой революции, в обстановке торжествующего самовластия. Бессмертную характеристику этой позиции дал Ленин в своей статье «Памяти графа Гейдена» (т. XII, стр. 5—11). Накануне 14 декабря 1825 года Чацкий полон гражданского гнева, он ратоборствует против насилия и тирании. Но после разгрома либерал Чацкий ищет примирения внутри того государственного строя, на который он еще недавно восставал. Чацкий подает руку Голенщеву-Кутузову, он добровольно надевает на себя личину Молчалина. Заслуга Ю. Тынянова в том, что он сумел (вольно или невольно) раскрыть подлинное содержание позиции Чацкий — Молчалин.

Правда, Ю. Тынянов движущий конфликт склонен объяснять борьбой «отцов и детей», борьбой поколений. «На очень холодной площади в декабре месяце 1825 года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой».

Автор пишет: «Отцы пригнулись, дети зашевелились». Людям двадцатых годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их. Но логика истории непреодолима, и хочет ли того, или не хочет автор, он обнажает в своем романе социальную причину катастрофы. Биография Грибоедова вырастает в глубокий социальный роман, в историю гибели художника и общественного деятеля, изменившего своему идеалу.



## IV

Забвение того, что роман исторический и роман-биография являются отражением действительности в специфической образной форме, приводит к неожиданным и часто невероятным выводам. Так, в не-евклидовой геометрии, оперирующей условным пространством, содержание теорем иное: параллельные пересекаются, и сумма углов треугольника не равна двум прямым.

Некоторые товарищи на московском и ленинградском диспутах выдвинули положение, что исторический роман является своего рода «системой иероглифов» о делах современности, что исторический роман в его чистом виде не существует.

Эта точка зрения на исторический роман свое наиболее полное выражение на диспуте, организованном журналом «Октябрь», получила в выступлении Ваганяна. Исторический роман, по мнению Ваганяна, является своеобразным инсказанием о делах современности. Искать исторической правды в историческом романе, по его мнению, по меньшей мере смешно.

«Какая разница между «Петром I» и, скажем, «Энергией» Гладкова? — глубокомысленно спрашивает Ваганян. — Они одинаково ставят перед собой задачи сегодняшнего дня, одинаково решают их, один на материале первой пятилетки, другой на материале XVII—XVIII веков».

Правда, Ваганян находит возможным существование исторического романа, доподлинно реставрирующего бытие и мышление далекого прошлого. Он готов признать историческими романы Тынянова, поскольку они не подсказаны современностью, но «идейно обусловлены изображаемой эпохой, идейно имманентны ей», как говорит Ваганян.

Однако Д. Мирский, который стоит приблизительно на той же точке зрения, что и Ваганян, идет дальше своего единомышленника. Став на сомнительный путь исторических аналогий, Д. Мирский обвиняет Тынянова в тех же грехах, в которых Толстого обвиняет Ваганян. Для Ваганяна и «Кюхля», и «Ва-

зир-Мухтар» имманентны изображаемой эпохе и в какой-то мере являются историческими романами. Но Д. Мирский и Тынянова обвиняет в злокозненном намерении «развернуть современность» на фоне событий первых трех десятилетий прошлого века. Правда, он не ставит знака равенства между «Энергией» и «Вазиром». Зато, обьявив и «Кюхлю», и «Смерть Вазир-Мухтара» романами «з высшей степени современными», романами о послеоктябрьской интеллигенции, Д. Мирский обвиняет Тынянова в чудовищных искажениях. Мирский пишет:

«Получается колоссальное искажение, потому что судьба Кюхли после 14 декабря конечно весьма искаженным образом отражает судьбу старого интеллигента после Октябрьской революции».

Ваганяна и Мирского на ленинградском диспуте повторили тт. Цирлин и Бескина. Но здесь необходимо сделать небольшое отступление в сторону и сказать несколько слов по поводу «слезинки замученного ребенка», которая, по мысли выступавших товарищей, глубоко волновала Ал. Н. Толстого в процессе его работы над историческим романом.

Как известно, у Достоевского Иван Карамазов «мира не приемлет». Он требует абсолютной гармонии. Но абсолютной гармонии не существует, а бунтовать он не намерен. Потому Иван «почтительно возвращает богу билет». Возвращению билета предшествует разговор Ивана с братом Алешей о «слезинке замученного ребенка». Иван спрашивает брата — ужели он мог бы простить убийце слезы замученного ребенка? Алеша отвечает на вопрос взволнованным «расстрелять» и тем самым приводит в неописуемый восторг брата: христианин, чуть ли не монах, требует казни.

Слезинка эта позаимствована автором «Братьев Карамазовых» у Белинского. Хотя Достоевский, порвав с революционной демократией, в исступлении своем называл Белинского «смрадным явлением русской жизни», все же слезинку позаимствовал он у него.

Белинский говорил, что и на верхней ступени лестницы развития он потребовал бы у истории отчета во всех жертвах случайности, суеверия, инквизиции.

— Иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови!

В те дни Белинский порывал с объективизмом и примирением с действительностью и обращался к социализму.

По мысли тт. Цирлина и Бескиной тема «Петра I» в плане философском — это тема «слезинки», с той поправкой, что Ал. Н. Толстой не возвращает обратно свой билет, но, наоборот, требует себе билета для вхождения в нашу действительность. По мысли товарищей, выступавших на ленинградском диспуте, тема «Петра I» — расставание с гуманизмом, то расставание, которое пережили в свое время Роллан, Барбюсс.

Все это очень интересно, хотя и не совсем понятно, зачем понадобилось тт. Цирлину и Бескиной идти окольными путями и обращаться к «слезинке». Если уже искать философских корней «Петра I» у Белинского, то следовало бы обращаться не к поре его разрыва с действительностью, не к поре его восстания за личность против истории, но к более раннему периоду «Бородинской годовщины», когда Белинский искал примирения с действительностью, когда он писал:

«Я понял, что нет дикой материальной силы, нет владычества штыка и меча, нет произвола и случайности, — и окончилась моя опека над родом человеческим, и значение моего отечества открылось мне в новом виде».

Трудно судить о том, что побудило художника обратиться к эпохе Петра, — никаких показаний у нас на этот счет нет. Правда, мы знаем — обращение к петровской эпохе наметилось накануне самой революции и было выходом из творческого кризиса, в котором находился Ал. Н. Толстой в то время. Последний роман из цикла «Заволжье» был сконструирован из обломков, из еще неиспользованных фамильных преданий и анекдотов, — дальше на этом материале работать было нельзя. Наступило «полное истощение», — пишет Ал. Н. Толстой по поводу «Хромого барина». Тогда-то наметился впервые поворот к истории, причем в начале интерпретация исторического факта шла в плане все той

же, характерной для раннего периода, антитезы: жизнь — сон, юдольный плен и любовь — пробуждение. Эпиграф к последнему роману из цикла «Заволжье»

С престола ледяных громад,  
Родных высот изгнанник вольный,  
Спрядает вольный водопад  
В теснинный мрак и плен юдольный.  
А облако, назад — горе, —  
Путеводимое любовью,  
Как агнец, жертвенною кровью  
На снежном рдеет алтаре.

(Вяч. Иванов. — «Кормчие звезды».)

не только определял пройденный путь, но и был той исходной точкой, с которой началось овладение историей.

Однако с домыслами выступавших товарищей можно соглашаться или спорить, но нельзя не признать их интересными.

Но дело в том, что тт. Цирлин и Бескина идут дальше в своих обобщениях, заявляя, что в «Петре I» отразилась не одна действительность, а целых две: не только петровская, но и наша, и что в этом смысле «Петр I» является романом об «издержках революции».

Здесь тт. Цирлин и Бескина дословно повторяют Ваганяна, который на диспуте, организованном журналом «Октябрь» по поводу «Петра I», заявил:

— Основная идея не порождена эпохой Петра, она — продукт наших дней, нашей революции, нашей практики. Петр с его эпохой — лишь материал для удобного поднесения этой идеи читателю и, по мнению Толстого, неподходящий синоним.

О какой же идее идет речь?

Позволительно ли вообще принести столько жертв ради революции, ради какой угодно революции? — вот, по мысли Ваганяна, идея «Петра I».

— Об издержках революции, о «слезинке замученного ребенка» говорит Ал. Н. Толстой в своем романе «Петр I», — твердят вслед за Ваганяном его ленинградские единомышленники.

О каких же, собственно, издержках идет речь в «Петре I»?

Новым качеством романа «Петр I» является изображение военно-феодальной эксплуатации крестьянства. Только во-

плотив художественно всю тяжесть этой военно-феодальной эксплуатации, Ал. Н. Толстой и сумел создать образ Петра, совершенно новый по своему качеству. Это не великодушный просветитель, насаждающий в дикой России прелести западной культуры, но воинствующий царь феодалов и купцов, воздвигнувший на костях поработленного крестьянства свое могущество. Не о «слезинке» здесь следует говорить, но о том море крови и слез, которое было пролито русским крестьянством в годы петровской реформы.

Одно из двух — или тт. Цирлин и Бескина злобно клеветают, об'являя, что наша действительность нашла свое отражение в романе, или же они должны признать роман Ал. Н. Толстого клеветническим и враждебным. Именно к такому выводу и приходит Ваганян, заявляя, что при чтении романа Ал. Н. Толстого «нужно говорить не о Петре, не о солдате, не о торговом капитале, а о том — в самом ли деле можно провести аналогию между нашим отношением к тем жертвам, которые мы приносим и сейчас приносим во имя социализма, и отношением Петра к жертвам, которые он приносил во имя создания бюрократически-абсолютистской монархии. Между нашей целью и той? Между нашими жертвами и теми?» «И вовсе не исключено, — говорит Ваганян, — что у нас с Толстым по этому поводу возник бы крупный разговор».

На такой же путь становится и Д. Мирский, заявляя, что «и Толстой, и Тынянов в какой-то мере люди, которые не вполне дома в советской действительности».

Но как-раз от такого «крупного разговора», с неумолимой логикой вытекающего из их позиции, тт. Цирлин и Бескина уклоняются, предпочитая отделаться «слезинкой замученного ребенка».

Значит ли это, что исторический роман является произведением объективистским, летописным, что исторический романист с холодным сердцем летописца фиксирует события, занимается фотографией прошлого, заботясь о наибольшем

правдоподобии? Конечно нет! На материале истории художник дерется за свое понимание прошлого. Он выступает как судья прошлого, подобно художнику, работающему на современном материале. Чапыгин не просто изображает Степана Разина, но в то же самое время он полемизирует с буржуазными историографами, видевшими в движениях Степана Разина всего лишь бессмысленный анархический бунт. Как справедливо отмечает Б. Вальбе, автор работы о Чапыгине, в «Степане Разине» дается бой таким корифеям буржуазной историографии, как Соловьев и Костомаров. В изображении Костомарова и Соловьева Степан Разин прежде всего «вор», стихийный бунтовщик, которому совершенно безразлично, с кем и за что драться. В романе Чапыгина Степан Разин выступает прежде всего как вождь народного движения.

В течение семнадцати лет обращается Ал. Н. Толстой к эпохе Петра. Но в своем «Навождении» он выступает еще как ученик символистов, в повести «День Петра» и в трагедии «На дыбе» он во многом ученик Мережковского. И только в «Петре I» история впервые воспринимается в плане борьбы классов. Эта новая точка зрения во многом обусловила пафос «Петра I», — мир ощущался с новой философской высоты.

Не две действительности получают свое отражение в историческом романе, как полагают тт. Цирлин и Бескина, но далекое прошлое исторический романист судит с высот своего сегодняшнего дня. Современна не действительность, получившая свое отражение в историческом романе, но всегда современно мышление художника, познающего прошлое со своих сегодняшних идейных позиций.

## V

Марксистское литературоведение не знает только личной полемики художника с эпохой. Марксистское литературоведение видит в личной полемике борьбу классов, получающую свое отражение в литературе. Откуда же проникла в наше литературоведение сомнительная теория исторических соответствий? В сущности,

перед нами осколки формалистской теории «литературного быта». Основоположники этой теории видели например в творчестве и деятельности Льва Толстого не отражение, не «зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции», как писал Ленин, но личную полемику Льва Толстого с эпохой, своеобразную форму «литературного быта». Когда некоторые наши критики заявляют, что в своих романах Толстой и Тьнянов полемизируют с современностью, решая «лично их волнующие проблемы», то тем самым воскряшают не только терминологию, но и философию забытой теории.

Исторический роман является наиболее яркой формой политического мышления, раскрытого в художественных образах. Обращаясь к прошлому, исторический романист расширяет наше понимание настоящего, — здесь, а не в сомнитель-

ных аналогиях, переключая исторического романа с современностью. «Петр I» Ал. Толстого дает не только ярчайшую картину военно-феодальной эксплуатации крестьянства, но он еще раз напоминает с огромной силой читателю о том, что только как союзник социалистического пролетариата крестьянство становится субъектом истории, свободным создателем своей жизни. Романы Тьнянова не только говорят о трагической судьбе высокообразованного интеллекта, не находящего себе применения в обстановке азиатской деспотии, но они напоминают, что только в социалистическом обществе ненасытная фаустовская жажда творить и создавать может быть насыщена в полной мере.

Именно потому исторический роман и является могучим средством воспитания, могучим орудием ликвидации пережитков капитализма в сознании широких народных масс.

## 2. Б. В. АСАФЬЕВ

(Опыт характеристики<sup>1</sup>)

### В. Богданов-Березовский

1

Дать исчерпывающую характеристику деятельности художника, живущего и работающего среди нас и вместе с нами, — дело ответственное. Рост советского художника, последовательное воспитание в нем отдельных черт и свойств, ведущих к становлению художника нового типа, — процесс необыкновенно сложный и протекающий у каждого по-разному. Чередование достижений и срывов, завоеваний и заблуждений образует подчас трудно уловимую динамику этого роста. Легко можно упустить на первый взгляд мало заметную, но на самом деле потенциально значительную черту, которая может привести в дальнейшем к образованию характернейшего свойства. В сплаве разнообразных влияний, образующих «почву» для выращивания индивидуального стиля художника, не всегда

бывает легко отыскать ведущие, решающие влияния, не всегда бывает возможно определить степень их интенсивности, предугадать меру возможного их преодоления.

В отношении заслуженного деятеля искусств Б. В. Асафьева такая характеристика тем сложнее, что творческая деятельность его чрезвычайно многообразна и охватывает самые различные области музыкального мышления — от сферы научной, теоретической работы до композиторского творчества, от музыкально-общественной деятельности до публицистической и критической работы.

Данный очерк не претендует на полноту и значение исчерпывающей характеристики. Его задача заключается скорее в том, чтобы по возможности полнее собрать и методологически правильно «расположить» весь материал, относящийся к многообразной деятельности

<sup>1</sup>) Печатается в дискуссионном порядке.

Асафьева — ученого, теоретика, педагога, общественника и композитора.

Основное, что отличает все различные формы деятельности Б. В. Асафьева, — это живое, творческое отношение к музыке и такое же ее восприятие, это отсутствие бесстрастности и сухости в исследованиях, это борьба за определенное понимание музыки как мышления, музыкального искусства как формы выражения определенного мировоззрения.

Биографическая «канва» жизни Асафьева очень конкретно намечена им самим в автобиографическом очерке «Мой путь» (см. № 8 журнала «Советская музыка». Музгиз. М. 1934). Привожу выдержки оттуда:

«Я родился в Петербурге 17 июля (ст. ст.) 1884 года в семье мелкого чиновника (отец из деклассированных дворян, мать из крестьян). Учился сперва в 6-й петербургской, а потом в кронштадтской гимназии, которую окончил в 1903 г., и в том же году поступил на филологический факультет Петербургского университета (окончил по историческому отделению в 1908 г.). Способности к музыке (абсолютный слух, память, импровизация) обнаружилась в детстве очень рано, но систематические занятия долго не налаживались, и первоначальные знания по музыке и опыт добывались большей частью автодидактическим путем. Кроме того, нужда и необходимость с 11—12 лет добывать заработок весьма препятствовали правильным занятиям. В 1904 г. знакомство с В. В. Стасовым и Н. А. Римским-Корсаковым послужило толчком к решающему сдвигу в моей музыкальной деятельности. Стасов включил меня в круг всесторонних идейных интересов и впечатлений (встреча и знакомство с Горьким, Репиным, Глазуновым, Лядовым, Шаляпиным и др.), а Римский-Корсаков, по испытании моих композиторских данных, определил меня стипендиатом в Петербургскую консерваторию.

По окончании университета начинаю усиленные занятия по истории и теории искусств, подкрепляемые летними поездками за границу на сбережения от зимних заработков — уроков и службы.

Таких рабочих поездок с посещением театров, музеев и библиотек Германии, Франции, Италии и Австрии было четыре — в 1911, 12, 13 и 14 гг.

Весной 1914 г. я начал печатать свои обзоры и статьи в московском журнале «Музыка» под псевдонимом Игорь Глебов. К этому времени мной были написаны два романтических балета: «Дар феи» и «Белая лилия». С 1916 г. я работал в журнале «Музыкальный современник», потом редактировал и писал статьи в сборнике «Мелос» (1916 — 1917 гг.). Отдельные издания моих трудов начались с 1915 — 16 гг. После Октябрьской революции я поступил в Ленинградское отделение Музо Наркомпроса и работал там до его реформирования, одновременно участвуя во всех важнейших областях общественно-музыкальной жизни, включая работу в театральном отделе Наркомпроса и в редакционной коллегии газеты «Жизнь искусства» с первого года ее существования. В б. Мариинском театре я участвовал в работах дирекции, а затем в художественно-политических советах и художественных коллегиях, где состою и до сих пор, заведую репертуарным сектором. Точно так же я работаю консультантом в Малом оперном театре (б. Михайловский), принимая участие в его жизни с момента начала оперных постановок.

Основная моя научно-исследовательская и педагогическая работа с 1919 г. была тесно связана с музыкальным отделением Гос. института истории искусств (до 1930 г. включительно), а с 1925 г. — с Ленинградской гос. консерваторией (профессура и кафедра). Вместе с Э. А. Купером я участвовал в организации Ленинградской государственной филармонии. К 1919—1928 гг. относится моя количественно значительная работа как критика-публициста («Жизнь искусства», «Вечерняя красная газета» и др.).

В годы революции моя композиторская деятельность выразилась в редакции и инструментовке балета на музыку из сочинений Грига — «Ледяная дева» («Сольвейг»), выполненной в 1918 г., и ряде «музык» к пьесам в

драматических театрах, особенно в Ленинградском большом драматическом (музыка к «Дон-Карлосу», «Шейлоку», «Разрушителю Иерусалима» и т. д.). В 1931 г., почти через десять лет, я вновь вернулся к композиторской деятельности (балет «Пламя Парижа»), уже добиваясь органического слияния моей исследовательской историко-теоретической и культуроведческой работы с творческой практикой композитора.

Уже этот краткий, сухой перечень фактов рисует неумолимо плодотворность Б. В. Асафьева (Игоря Глебова), перу которого принадлежат и оригинальные композиции, и редакции, и обработки музыки других композиторов, и глубокие аналитические исследования об исторических данных развития музыкального творчества, исполнительства и любительства (слушания, восприятия музыки и музицирования), прослеженных на протяжении целых эпох, и музыкально-теоретические труды, и работы по музыкальной эстетике, и отдельные многочисленные монографии, и статьи о западноевропейских и русских композиторах.

Список музыкальных произведений Асафьева не очень велик. Это объясняется прежде всего тем, что непосредственной музыкально-творческой, композиторской деятельности Асафьев стал уделять много времени и внимания только в самое последнее время. Зато сейчас в короткий промежуток им создано два больших балета («Пламя Парижа» и «Бахчисарайский фонтан») и творчески запроектировано несколько крупных музыкально-сценических произведений. Чрезвычайно интересны и поучительны творческие методы, утверждаемые Асафьевым в его произведениях.

В противоположность композициям научные труды Б. В. Асафьева (Игоря Глебова) составляют обширнейший список. Назову главные из них: «Русская музыка от начала XIX столетия» (Л. 1930), «Музыкальная форма как процесс» (М. 1930), «Симфонические этюды» — сборник статей о русской опере и балете (П. 1922), «Книга о Стравинском» (Л. 1929), «Инстру-

ментальное творчество Чайковского» (П. 1921), монографии о Люлли, Листе, Шопене, Козловском, Бортнянском, Глинке, Бородине, Римском-Корсакове, А. Рубинштейне, Чайковском, Ганееве, Скрябине, Глазунове, ряд работ о Мусоргском, редактора и комментарии к «Руководству по истории западноевропейской музыки» Карла Нефа, ряд статей во временниках «De Musica», редактора сборников и серий, содержащих исследования по истории западной и русской музыкальной культуры (серия «Новая музыка», сборник «Русский романс», сборник «Музыка и музыкальный быт старой России», «История оперы» Кречмара и мн. др.).

В большинстве работ Асафьева присутствует оригинальность мышления и независимость своей точки зрения, иногда побуждающей автора идти вразрез с установившимися взглядами на некоторые музыкальные явления, обнаруживать более глубокую, до него не открытую природу этих явлений и соответственно по-новому их истолковывать.

## 2

Музыковед — это термин, родившийся в практике строительства советской музыкальной культуры. Музыковедения, музыкознания как науки, как научно-обоснованной системы в дореволюционное время в России не существовало. Наиболее выдающиеся мыслители в области русской музыки — Серов, Ставов, Ларош, в последние годы В. Г. Каратыгин, — были не более как выдающимися критиками, рассматривавшими каждое данное музыкальное явление, как «вещь в себе», изолированно от общих связей музыкальной культуры и их взаимобусловленности социальными факторами.

Б. В. Асафьев является одним из первых и основных создателей музыкознания как науки. С его именем неразрывно связан целый ряд крупнейших начинаний в области разработки вопросов философии музыки, т. е. определения и анализа самых свойств, форм и видов музыкального мышления, а также ряд новых исследований в области исто-

рии музыки — культурной, профессиональной и бытовой — и наконец в области собирания, научной классификации и расшифровки народного национально-музыкального фольклора. В этом последнем вопросе за последнее время у нас сделано очень много, и почин здесь принадлежит именно Асафьеву, впервые научно подошедшему к «музыке, творимой массами, которая относится к отдельным памятникам музыкального искусства письменной традиции так же, как человеческие языки, классовые по содержанию и национальные по форме, относятся к записанным литературным произведениям» (Б. Асафьев — Игорь Глебов, «Мой путь»).

В области собирания, записи и расшифровки «музыки быта» самых различных, населяющих Советский Союз, народностей много работают непосредственные «преемники» и продолжатели асафьевской «теории музыки устной традиции», его ученики — Е. Гиппиус и Э. Эвальд, создатели богатой фонетики при Академии наук. В других областях музыковедения «выдвинулись» и «эмансипировались» другие ученики и соратники Асафьева — С. Л. Гинзбург, Р. И. Грубер, П. В. Грачев, А. С. Рабинович, А. Будяковский и другие.

С первых лет революции (это было связано с деятельностью музыкального отделения Гос. института истории искусств, ныне — ГАИС) Асафьев был центром притяжения музыкально-научных сил. Можно сказать без преувеличения, что почти все значительное, что имеет в настоящее время место в разработке вопросов музыкальной науки в Ленинграде и в значительной мере в Москве, Киеве, Тифлисе и других крупных музыкальных центрах Союза, так или иначе связано с именем Асафьева, возникло в результате «отпочкования» от его школы.

Что же такое представляет собою «глебовская школа»? Представляет ли она собою какую-нибудь единую, стройную, законченную систему? На протяжении двадцатипятилетней научно-музыкальной деятельности Б. В. Асафьев неоднократно «менял» основную направленность своего учения. Но на это

были свои причины. Вспомним, что за спиной его не было никакой системы, никакой школы, что только на Западе имелись отдельные, хоть и крупные по значению, но разрозненные, не собранные воедино, научные высказывания буржуазных музыковедов, что, таким образом, ему приходилось создавать свое учение непосредственно и прямо «на пустом месте». Отсюда — обилие переходов от утверждений к откзам ради новых утверждений, отсюда — отдельные срывы, полоса формализма, следование теоретической мысли буржуазных исследователей.

Грубо говоря, противоречия шли по линии борьбы «кантианства» с «гегельянством». Идеалистическими установками отмечено большинство ранних работ Игоря Глебова. Здесь находят свой отклик и теория «орфического происхождения музыки», и эстетские «мирискуснические» определения и оценки, здесь доминируют лично-вкусовые критерии в оценке тех или иных музыкальных явлений. В большинстве из этих ранних работ И. Глебов еще ничего качественно не противопоставляет своим предшественникам. Я бы сказал, что это был период накопления, собирания и распределения материала. Именно на этот период падает наибольшее количество монографий о самых различных композиторах. Но даже детальнейшее изучение творчества отдельных композиторов, взятых самих по себе, не давало еще повода к подлинному научному общению и отысканию общих закономерностей развития музыкальной культуры. Отсутствие методологической базы для восприятия музыкальных явлений в их социальной обусловленности связывало, ограничивало кругозор исследователя. Еще в 1925 году И. Глебов писал:

«Эмоциональное или идеологическое содержание музыки не поддается конкретному изложению, а тем более строгому научному анализу».

«Предположение, что эмоциональная насыщенность музыки заключается в ней самой и непосредственно передается слушателю, недоказуемо». («Современное русское музыковедение и его

исторические задачи», сборник «De Musica», изд. ГИИИ, вып. I, Л. 1925.)

Колебания и перемена позиций не однажды служили причиной отхода от Асафьева его сотрудников и учеников. Нередко играли здесь роль и условия момента, общественная обстановка. Научная и теоретическая работа Асафьева сочеталась с деятельной общественной практикой (о последней скажу ниже), нередко приводя не только к заостренным дискуссиям и спорам, но и к личным разрывам. Как на пример смелой принципиальной борьбы Асафьева можно указать на историю постановки и издания первоначальной авторской редакции музыкальной драмы М. П. Мусоргского «Борис Годунов», вызвавших отчаянное и яростное сопротивление музыкально авторитетной группы сторонников редакции Римского-Корсакова (А. К. Глазунова, М. О. Штейнберга и др.). Эта живая связь с музыкальной практикой в работе ученого не всегда была по душе и по силам окружающим Асафьева ученикам и последователям. Иногда отпугивала смелость и даже дерзость независимого нового взгляда на музыкальное явление.

В период РАПМ Асафьев обвинялся в формализме, в буржуазности своей концепции. В стенах Института истории искусств, этой «цитадели формализма», где Асафьев и его группа работали рука об руку с «вождями литературоведческого формализма» — Тьяняновым, Шкловским, Эйхенбаумом, — естественно было заподозреть в общем «формалистическом блоке» и музыкальный разряд. И, понятно, музыкальный разряд, хотя и имевший свои отличительные признаки, обусловленные спецификой «предмета», все же не составлял в этом смысле исключения. Но нужно подчеркнуть, что, даже будучи одним из вождей музыкального формализма и «современничества», даже в период своего увлечения неокантианством и именно в его «марбургском» направлении (Наторп — Кайген — Эрнст Кассирер), Асафьев стремился быть прогрессивным в своем учении. Именно это и привело его в дальнейшем к осознанию своих ошибок, к изучению диалектиче-

ского и исторического материализма и к музыковедческой и творческой практике уже на основе этого изучения. Понятно, многие из его «собратников» не отличались такой глубиной и принципиальностью. Для некоторых формализм оказался не этапом, а «конечным пунктом» музыковедческого маршрута, т.-е. тупиком. После ухода Асафьева из института группа музыковедов, окопавшаяся в «чистом музыкознании» и оторванная от новой музыкальной практики советской действительности, пришла к обнаженно-формалистическим позициям в области музыкознания, и нынешнему ГАИС только теперь удастся с большими усилиями выкорчевывать это наследие «современничества» Музо ИИИ.

Асафьев начал свою работу в Институте истории искусств интересным докладом на тему «Данте в музыке», докладом на тему не о дантовском сюжете в музыкальной литературе, а о музыкальном содержании самой «Божественной комедии» с точки зрения динамики идей, образов, формы поэмы. Уже в этом сказалось напряженное искание нового в отношении к музыке, попытка толкования ее не в изолированности, не в плане законов ее «имманентного» развития, а в живой связи ее с жизненным процессом и другими областями и формами мышления.

Идеалистические позиции (с мистико-утопическим уклоном) молодого Асафьева действительно содержали в себе большие опасности идеологического порядка. Но в процессе активных исканий они постепенно преодолевались Асафьевым. Асафьев сам рассказывает о своих длительных утопических блужданиях и о том, что он «обязан своим выпрямлением только изучению диалектического и исторического материализма, а главное — творческому государственному строительству нашей страны, возглавляемому ВКП(б) и ее гениальными вождями» («Мой путь»).

Именно за последнее время, в связи с перестройкой мировоззрения, Асафьевым достигнуты крупные результаты в области марксистской постановки некоторых проблем музыкальной науки.



В предисловии к книге Курта «Основы линейного контрапункта» Асафьев пишет:

«Музыка — целиком интонационный язык, и потому реальная связь хотя бы между двумя тонами есть уже интонационное существо, форма, явленная в непрерывном интонировании. Благодаря этому в нашем сознании запечатлеваются не две отдельные точки и количественное отношение (расстояние, интервал) между ними, а звучит звукоединство той или иной степени напряжения. Какова степень этого напряжения? Она зависит от относительного положения данной интонации в общей интонационной системе конкретной исторической эпохи. В свою очередь эта общая система звукоотношений является сферой интонаций, обусловленной не психикой как первопричиной, а структурой данной общественной формации. Интонационная система становится одной из функций общественного сознания».

Это утверждение заключает в себе чрезвычайно ценные предпосылки. Оно наглядно и конкретно подводит и подготавливает нас к разработке вопроса о понятии реализма и реалистического в музыке, вопроса о музыкальном выражении, о музыкальном языке.

В ряде высказываний Асафьева даны предпосылки для научной марксистской разработки истории музыкальной культуры, понимаемой не в смысле изолированно рассматриваемой эволюции профессионального музыкального творчества, исполнения, восприятия, любительства и всех других форм музицирования, типичных для данного исторического момента, в их связи и обусловленности с общественно-политическим развитием человечества в процессе классово-борьбы.

Совершенно правильно в предисловии к своей книге «Русская музыка от начала XIX столетия» Асафьев указывает на ограниченность буржуазной музыкально-исторической науки. Он пишет:

«Чтобы построить музыкально исторический процесс, нельзя ограничиваться ни отдельным перечислением смен

стилей, произведений, композиторов и т. д., ни механической подстановкой под эти смены экономической базы. Таким путем не найти моста между эволюцией музыки как надстройки и между обуславливающей ее экономикой. Мост можно построить, если включить в музыкально-исторический процесс обычно упускаемое звено: формы музицирования, т. е. социального показателя, проявления музыки в классовом обществе».

«Постоянно имея перед собою формы музицирования, как созидующую и впитывающую музыку социальную среду, историк уже не отсечет исполнительства и восприятия музыки (изучение слушателя) от творчества и не будет беспомощно делить свое изложение между описанием произведений или жизни композитора и между оценкой и формальным анализом, между перечислением инструментов и между характеристикой эпохи и быта, потому что все факторы, составляющие в целом музыку как социальное явление, объединяются и осознаются в процессе и формах музицирования».

Особенно важное для советского музыковедения значение имеет проблема семантики музыкальной речи, проблема связи понятий мелоса и интонации с выявляемым в музыке образным содержанием, поставленная Асафьевым в заключительной части его книги «Музыкальная форма как процесс» (М. 1930).

«Каждая эпоха, — пишет он, — вырабатывает и в оперном, и симфоническом, и романсовом творчестве некую сумму «символических» интонаций (звукокомплексов). Эти интонации возникают в постоянстве созвучания с поэтическими образами и идеями или с конкретными ощущениями (зрительными, мускульно-моторными), или с выражением аффектов и различных эмоциональных состояний, т. е. во взаимном «сопутствовании». Так образуются чрезвычайно прочные ассоциации, не уступающие словесной семантике. Звуковой образ — интонация, получившая значение зримого образа или конкретного ощущения, вызывает сопутствующие ему

представления... Здесь перед нами как-раз процесс конкретизации музыкальных образов и превращения музыки в полную значимости живую, образную речь... Для учения о музыкальном содержании и для установления взаимодействия между словесной речью и музыкальными интонациями... изучение, анализ и своего рода систематика проявлений музыкальной семантики были бы чрезвычайно ценными и просто необходимыми опорными данными».

К сожалению, Асафьев ограничился постановкой вопроса. Правда, и в этом заключается громадная заслуга — подготовки возможностей вскрытия социально-значимых закономерностей музыкального мышления в присущей ему специфической форме выражения.

Хотя Асафьев и пишет: «что касается моей музыковедческой работы, то, не прекращая ее, я пока свел ее к «устному» методу передачи и обмена мнениями в семинарах, лекциях и т. д.» («Мой путь»), все же это скорее можно толковать как педагогическое проявление музыковедческой деятельности. Научная же, философская, я бы сказал, изобретательская работа Асафьева в последнее время в значительной степени уступила место творческой работе. Нужно полагать, что одно не вытеснит другого. Об этом говорит сам композитор-ученый: «В сочетании теории и практики в своем творчестве музыковед и композитора я вижу одно из основных заданий на остающиеся годы моей жизни» («Мой путь»).

### 3

С первых же лет революции Асафьев отдал себя практической и общественной музыкальной работе. Иначе говоря, он был одним из представителей того «меньшинства», которое осознало необходимость коренной перестройки общественного сознания музыкантов и музыкальной среды в целом и отдало себя трудному и ответственному делу этой перестройки. С момента образования Музо и Тео Наркомпроса он активно включился в их деятельность, совмещая руководство педагогическим сектором

Музо (национализация школ, отбор педагогов, введение общего музыкального образования) с деятельностью театрального композитора и консультанта (работы в Большом драматическом театре, Опере и Нардоме) и с организационной, редакторской и критической работой в прессе (организация газеты «Жизнь искусства», первую редколлегию которой составляли М. Ф. Андреева, М. А. Кузьмин, покойный Левенсон и Б. В. Асафьев). Это были годы необычайно бурной, интенсивной и многообразной деятельности Асафьева. В каждой отрасли шла борьба, перековка сознания людей, утверждение новых принципов, нового понимания музыкальной деятельности. Параллельно всему перечисленному Асафьев принял деятельное участие в концертной работе Музо, разрабатывая программы симфонических концертов в Павловске и камерных «концертов-выставок» из произведений новых молодых композиторов в Малом зале Консерватории и сопровождая их объяснительными аннотациями. С основания Государственной академической филармонии, первым директором которой был Э. А. Купер, Асафьев нес ответственные функции ее ответственного методиста. «Листовки», писавшиеся в те годы Асафьевым к концертам, представляли значительный интерес и ценность в смысле анализа и оценок исполняемых произведений. Впервые в России здесь получило подробное освещение творчество Густава Малера, был дан подробный тематический и психологический анализ всех симфоний Чайковского, дан ряд монографических очерков о Листе, Вагнере, Григе, Танеэве, Римском-Корсакове, Лядове, Глазунове и других композиторах. К сожалению, большинство этих «листочков» пропало, так как замысел объединить их в одну книгу (как это было сделано с «листочками» об операх и балетах, собранных в книге «Симфонические этюды») не осуществился. Тогда же Асафьевым были составлены два ценных музыкальных справочника, представляющих сейчас библиографическую редкость, — «Путеводитель по концертам» (словарь наиболее необходимых музыкальных

технических обозначений) и «Русская поэзия в русской музыке».

К первым же годам революции (еще до создания Государственного института истории искусств) относится теоретическая работа Асафьева с Я. Гандшином, составивших первую в России «Музыковедческую ячейку».

В 1921 году Музо расформировалось, разбившись на самостоятельные музыкально-производственные организации. Филармония централизовала концертную практику. Консерватория и муз. техникум отошли в непосредственное ведение Профобра. Оперные театры получили самоуправление. С этого же времени начинается напряженная работа Асафьева в Институте истории искусств, работа ученого, исследователя и педагога, «выраживающего сильную смену — ряд поколений первых советских музыковедов».

Именно на эти годы (примерно до 1928 года) падает также большая критическая работа Асафьева в прессе. В течение ряда лет каждое значительное музыкальное событие советской действительности освещалось, а иногда и заранее «подготавливалось» Игорем Глебовым на страницах «Вечерней красной газеты». Здесь можно отметить целый ряд кампаний, сопровождавшихся яростной полемикой, из которых наиболее крупной была кампания за постановку «Бориса Годунова» М. Мусоргского в оригинальной редакции, — постановку, расцененную всей советской музыкальной общественностью как крупная победа в деле правильного освоения классического наследия.

Асафьев по природе своей всегда был и остался до сих пор пропагандистом. Вспомним, с какой стойкостью он отстаивал ценность дарования молодого С. Прокофьева, будучи (вместе с В. Г. Каратыгиным) совершенно одиноким среди представителей специальной и общей печати, травившей талантливейшего юношу-композитора. Вспомним последовательно проводимую им пропаганду музыки М. Стравинского и Н. Я. Мясковского. В 1924 году, еще до образования АСМ (Ассоциация современной музыки), Асафьев был

инициатором «концертов Института истории искусств», в которых впервые в советской России прозвучали новые тогда произведения Стравинского, Прокофьева, современных французских («шестерка») и немецких (Шенберг, Шрекер и др.) композиторов. Естественно, что в АСМ Асафьев играл одну из руководящих ролей, вплоть до того момента, когда руководство организации встало на путь «всеядности», объявив музыкой современной все то, что хронологически подпадает под это определение. Здесь лежат корни явления, обозначенного впоследствии названием «современничества». В оппозиции к асовской группе вокруг Асафьева сплотилась группа музыкантов (Буцкой, Попов, Тюлин, Рязанов, Малько, Дранишников и др.). Эта группа отстаивала тезис, что современная музыка качественно отлична от музыки предшествовавших эпох. Так образовался «Кружок новой музыки», проявивший себя в организации ряда концертов и в издании серии сборников «Новая музыка», редактируемых Асафьевым.

В деятельности «Кружка» несомненно были положительные стороны. Эти положительные стороны были в широком ознакомлении советских музыкально-профессиональных и любительских кругов с современным состоянием буржуазного музыкального творчества на Западе. Результатом влияния деятельности «кружка» на широкие музыкальные круги явились постановки современных западноевропейских опер — оперы Альбана Берга «Водцек» на сцене Гатоба (б. Мариинского театра), опер Э. Кшенека «Прыжок через тень» и «Джонни» на сцене Малегота (б. Михайловский театр) и целого ряда симфонических произведений современных западноевропейских композиторов в Филармонии (Кшенека, Вейля, Хиндемита, Казелла, Малиньеро, Онеггера и мн. др.) и в Капелле («Свадебка» Стравинского, «Царь Давид» Онеггера). Если даже та или иная постановка не была непосредственно «делом рук» «Кружка новой музыки» и его руководителей, то несомненно являлась следствием того общего перелома в отношении к «современной»

музыке, которого добился в широком музыкальном общественном мнении этот кружок.

Но здесь же необходимо со всей определенностью отметить отрицательные стороны деятельности «Кружка». Увлечение современными технически передовыми произведениями буржуазных композиторов капиталистических стран приняло характер нетерпимости и групповщины. При этом техническая прогрессивность письма превращалась в абстрагированный фетиш. В послевоенные годы, годы гражданской войны, интервенции, блокады, когда советский музыкальный мир был совершенно отрезан от общеевропейской и мировой музыкальной жизни, в буржуазной музыке зарубежных стран особенно разительно обозначился рост технического процесса. Увлеченные этим техническим прогрессом, наши «современники» стали пропагандировать западную буржуазную музыку без учета ее внутреннего идейного содержания, без выявления своего отношения к нему. Так, наряду с идейно и художественно ценными произведениями типа «Воцдека» Альбана Берга или некоторых произведений Пауля Хиндемита, самым «Кружком» и под его воздействием другими организациями пропагандировались и идейно пустяковые, а иногда и вредные и художественно низкокачественные произведения претенциозного толка. Примером последнего может служить постановка Малым оперным театром оперы Дресселя «Колумб» — оперы незрелой, но чрезвычайно сложной для разучивания, что, по видимому, и было понято как признак «прогрессивности» этого типично авантюрно-спекулятивного опуса.

Игнорирование классового содержания западной буржуазной музыки привело «современничество» к заблуждениям и — в дальнейшем — к краху. Субъективно сводившееся к увлечению модным техническим прогрессом, объективно это направление приводило подчас к пропаганде классово-чуждых и враждебных настроений через музыку.

«Современничество» болезненно отразилось на творческом развитии совет-

ских композиторов, отдавших в своем творчестве дань заблуждениям этого направления. Ответственность за ошибки направления должна быть возложена, понятно, на руководство движением. И в этом смысле Б. В. Асафьев должен разделить свою долю ответственности.

Здесь следует указать на ряд колебаний и сомнений, вскоре определивших отказ Асафьева от современнических тенденций. Еще в конце 1924 года в статье «Композиторы, поспешите» («Современная музыка». Декабрь. 1924) Асафьев призывал композиторов отойти от «профессионального аристократизма», заполнить разрыв между «кабинетным творчеством и общественной потребностью в музыке». «Иначе, — предостерегал он, — соприкоснувшись с государственной и культурной работой массы пройду мимо «высокого» музыкального творчества и создадут музыку, отвечающую их потребностям».

Тогда же в статье «Кризис личного творчества» («Современная музыка». Ноябрь. 1924) Асафьев писал:

«Композиторы, считавшие до сих пор творчество самоцелью и личностью, осуществляющую творческий акт, самостоятельной единицей, теряют под ногами почву с того момента, когда над их волей встает государственная или общественная необходимость, требующая от них выполнения своих заданий... Сознывая, что музыка в общественном плане стоит перед новой эпохой взаимоотношения с жизнью, я не скрою своих опасений за композиторов, не идущих с современностью... Реакцией на данное течение могло бы служить только появление композитора, который рос бы сам в своем творчестве вместе с массой и вел ее за собой, музыка которого была бы всем и каждому понятна, песни которого пели бы и на улице, и в поле... Мне кажется, такого порядка композитор нужен сейчас нашей жизни. Потому что, чем меньший круг людей заинтересован в появляющихся операх, симфониях, сонатах и романсах, тем несомненнее кризис музыки. Симфония или опера сочиняются в кабинете, но, кинутые в мир, они должны огнем охватить сердца множества людей. «Индивидуалистиче-

ские» сочетания не живут не потому, что они сложны, а потому, что о них не спорят, они никого не волнуют».

Обе эти статьи вызвали в то время сильное недовольство многих представителей АСМ (в особенности в Москве). Они как бы перекликались с основными положениями и практикой РАПМ (Ассоциации пролетарских музыкантов), сыгравшей впоследствии положительную роль в смысле выявления, определения и разгрома «современничества» и формализма. Последующие левачьи загибы в теории и практике РАПМ, приведшие в итоге к ликвидации этой организации историческим постановлением ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года, общеизвестны.

Асафьев продолжал усиленную самостоятельную работу ученого и педагога, стремясь к овладению марксистско-ленинским методом. Он старался не отрываться от жизни, учитывая практическое значение происходящих музыкальных событий. За эти годы Асафьевым создаются наиболее ценные музыкально-исторические и музыкально-философские труды и первое крупное музыкальное произведение, являющееся синтезом его ученой и композиторской деятельности, — балет «Пламя Парижа».

## 4

Ранние композиции Асафьева не сохранились. В 1904 году, при поступлении в консерваторию, Асафьевым на испытании демонстрировались романсы. Годом позже была написана (только в фрагментах, не доведенная до конца) детская опера «Красная шапочка», в 1906 году летом другая детская опера — «Золушка» (по сказке Перро). В 1908 г. — «Снежная королева», также детская опера, на сюжет одной из сказок Андерсена. В 1909 и 1910 гг. сочинялись романсы на тексты А. Толстого. Таков хронограф первых годов композиторской деятельности Асафьева, еще целиком замкнутой в кругу личных настроений, о которых свидетельствуют избранные жанры (детские оперы, которые в те годы могли быть поставлены только в обстановке домашнего спек-

такля). Ни одно из этих сочинений не сохранилось даже в рукописи.

С 1910 года начинается концертмейстерская работа Асафьева в балете Мариинского театра. Здесь происходит известный перелом. Ряд встреч с Фокиным, с Павловой, с Нижинским, с Романовым и другими выдающимися деятелями хореографического искусства определяет дальнейшее тяготение композитора к жанрам балетной музыки. В те годы, годы влиятельного положения русского балета в общеевропейском искусстве (фокинские постановки, некоторые дягилевские спектакли), тяга к балету широко охватила передовые музыкальные круги. Морис Равель, Игорь Стравинский подняли балетную музыку как жанр на громадную художественную высоту, и за ними с энтузиазмом шла молодежь — Н. Черепнин («Павильон Армиды», «Нарцисс и эхо»), М. Штенберг («Метаморфозы») и др.

Первым большим балетом Асафьева был написанный в 1909 — 10 гг. балет «Дар феи», шедший в любительском спектакле с участием Павловой и Нижинского. В следующем году появился балет «Белая лилия» — последний дар наивному романтизму, принятый уже к постановке в Мариинском театре и — в клавире — изданный Юргенсоном.

Параллельно с концертмейстерской работой и сочинением в эти годы (1908 — 1912) шла усиленная композиторская учеба в классе А. К. Лядова, с большим вниманием, бережностью и любовью отнесшегося к своему талантливому ученику. Кругозор расширяли и ежегодные заграничные поездки.

В первые годы войны Асафьев все больше и глубже «осваивает» область балетной музыки, выполняя ряд работ по инструментовке старых балетов — «Царь Кандавл» и «Баядерка» — и сочиняя вставные дивертисментные номера в некоторые из них («Конек Горбунок»).

В 1916 году сочиняется музыка к панораме «Пьеро и маска» и ряд танцевальных «композиций», написанных для Романова. К сожалению, и эта музыка

в большинстве своем оказалась утраченной, будучи увезенной Романовым, Павловой, Нижинским за границу.

Уже в революционные годы (1918) Асафьев завершает эту полосу своего увлечения балетом и танцевальной музыкой в своеобразной работе над балетом на григговской музыке, монтажно подобранной, отредактированной и инструментованной Асафьевым («Сольвейг», или «Ледяная дева»). Далее, с 1918-го и по 1921 год был написан ряд «театральных» композиций для Большого драматического театра (к «Севильскому обольстителю» Тирсо де-Мolina, к «Леди Макбет» Шекспира, к его же «Шейлоку», к «Дон-Карлосу» Шиллера, к «Разрушителю Иерусалима» и другим пьесам).

Вслед за тем произошел длительный, почти десятилетний, перерыв в композиторской деятельности.

В 1930 году Асафьев возвращается к композиторской деятельности уже совершенно другим человеком, обладая громадными знаниями и эрудицией исследователя и ученого, обладая практическим опытом научного обобщения и синтеза, широким культурным кругозором. Возвращение к композиторской деятельности ознаменовалось с самого начала созданием своеобразного «синтетического произведения» — балета «Пламя Парижа», которым Асафьев коренным образом реформирует любимый им еще с юношеских лет жанр. В этой композиции нашел практическую расщепку и творческое применение «закон интонации» (о котором мы уже говорили), открытый Асафьевым. Здесь мы имеем впервые применяемый в творческой практике опыт переинтонирования музыкального материала прошлых эпох, опыт возврата жизни отошедшим произведениям прошлого. Содержанием балета служит эпизод Великой французской революции, — поход отряда марсельцев в Париж, — события, связанного с взятием Тюильри (10 августа 1792 г.) и революционной ликвидацией феодального режима. Музыкальными первоисточниками произведения послужили придворная опера Франции XVII и XVIII вв., французская улич-

ная песня, танец, комическая опера XVIII столетия и, главное, музыка эпохи Великой французской революции в самых разных ее образах и проявлениях. Люлли, Глюк, Гретри, Керубини, Госсек, Мегюль, Лесснер, Бертон, — таковы различные, подвергшиеся обобщению в творческом синтезе, французские композиторы XVII и XVIII вв., на основе подбора, монтажа, инструментовки и редакции которых Асафьевым найдена равнодействующая общего стиля эпохи.

В авторском высказывании к премьере (брошюра Ленинградского театра оперы и балета) композитор пишет:

«Я смотрел на эту музыку глазами историка. Не отдельные произведения, не индивидуальные достижения того или иного композитора интересовали меня, а музыкальное творчество великой эпохи во всем богатстве ее содержания, как исторический документ и как живая, убедительно страстная, эмоциональная речь, доносящая до нас героический пафос, величие скорби и бурную радость народного ликования.

Я и работал над данным заданием не только как драматург-композитор, но и как музыковед, историк и теоретик и как литератор, не чуждаясь методов современного исторического романа.

Музыкально-археологические и музейно-классификаторские интересы я оставил в стороне. И все же, поскольку в моем «музыкальном повествовании» представлено в цитатах и пересказах все наиболее характерное для музыки эпохи высших точек революционного подъема французского «третьего сословия», балет является своего рода наглядной музыкальной хрестоматией.

Беру на себя смелость сказать не только за себя — музыка эпохи Великой французской революции была нам плохо известна. При формально эстетском подходе к ней, при внимании только к индивидуальным поименным достижениям и при поисках оригинально-автономных концепций выходило, что музыка, звучавшая тогда в театрах, салонах, в кафе, на площадях, на бульварах и улицах, на полях сражений, на массовых празднествах, на различно-

го рода демонстрациях и т. д., мелко-вата и недостойна величавого пафоса эпохи.

Но стоило только путем длительных и внимательных исследований музыкального творчества как идейно-эмоционального речевого комплекса раскрыть во всех его проявлениях диктуемые классово-вой борьбой эпохи глубокие и сложные противоречия; стоило уже в итоге подобного раскрытия нащупать явные признаки и тенденции музыкального творчества «третьего сословия» (особенно помогли мне в данном отношении «документы» музыкального театра Франции XVIII века) и сопоставить эти данные с музыкой феодально-абсолютистской, причем обе эти «музыки» конечно сложно переплетены в конкретной исторической действительности, — как в результате вырвали совсем иные оценки, иное понимание, иное раскрытие музыкальных событий и явлений того времени».

Этот совершенно новый вид не только освоения, но и активной переработки классики дает в результате некий художественный комплекс совершенно нового идеологического качества.

Если бы Асафьев ограничился только одним научно выверенным подбором музыкальных документов эпохи, если бы он только связал эти разрозненные материалы в одно музыкальное целое, — это не было бы современным художественным произведением и тем более не было бы произведением прогрессивной тенденции, типичной для мировоззрения советского художника. Но Асафьев соединяет в себе крупного музыкального ученого с живым, современно чувствующим художником. Поэтому отобранные им для своего задания музыкальные документы (а для рационального и правильного отбора их и их «размещения» необходимо иметь знание ученого историка) перестали быть только документами. Объединенные композитором стилистически и подчиненные единому драматическому развитию, спаянные вновь сочиненной музыкой композитора, они обрели новую значимость, зазвучали новыми для слуха и восприятия интонациями, как музыка, остро

пронизанная динамикой современности, активно воздействующая на восприятие современного слушателя. Балет оказался тем более новаторским, что в партитуру и в действие был введен хор, но не пассивный хор, играющий роль звукового фона, своего рода инструментальной краски, встречавшийся и в старых импрессионистских балетах, а хор — актерский коллектив, активно участвующий в действии. На сцене впервые получили действенную роль пантомимно и танцевально организованные поющие массы. Этим конкретно намечались пути к будущему синтетическому спектаклю. В «Пламени Парижа» впервые хореографическими средствами был реалистически раскрыт революционный сюжет без обращения к символике отвлеченных образов и вместе с тем без утраты романтической природы балета. И предпосылки к этому создала музыка Б. В. Асафьева.

Другой балет Асафьева, «Бахчисарайский фонтан» (1933—1934), во многом принципиально родственен балету «Пламя Парижа». Он так же утверждает исторический жанр в музыкально-хореографическом искусстве. Он так же в деталях своих документален по музыкальному материалу, отражающему стиль и дух музицирования отдаленной эпохи прошлого.

Но есть и большая принципиальная разница между этими двумя произведениями. В то время как «Пламя Парижа» построено на материале современных сюжету подлинников, «Бахчисарайский фонтан», за исключением двух цитат, о которых речь идет ниже, в основном содержит оригинальную музыку, сочиненную Асафьевым. В то время как «Пламя Парижа» было широко обобщающим массовым действием, «Бахчисарайский фонтан», несмотря на отдельные имеющиеся в нем массовые сцены, является в основном лирико-романтической поэмой. Наконец, и это самое главное, в то время как «Пламя Парижа» музыкально-стилистически отражало дух взятой сюжетом эпохи, «Бахчисарайский фонтан» стилистически преломляет не столько эпоху взятого в нем сюжета, сколько эпоху, этот сю-

жет создавшую. Иными словами, это не столько поэма о Гирее, Зареме и Марии в окружающей их исторической обстановке, сколько поэма о Гирее, Зареме и Марии Пушкина, поэма о романтических идеях, устремлениях и чаяниях России двадцатых годов прошлого столетия. Это поэма о молодой русской культуре кануна декабризма, смыкающейся в под'еме романтического движения с культурой западноевропейской и идейно перерастающей среду, породившую ее носителей, возвещающей о близком становлении прогрессивной буржуазной культуры.

Именно поэтому в «Бахчисарайском фонтане» Асафьева совершенно нет описательной «бутафории» и театрального фольклора «восточных балетов». Гирей и его войско, Крым, гарем — все это дано не в тонах обычной в балетах при подобных сюжетах условной «восточной» экзотики. Все это дано через призму эпохи Пушкина, Глинки и Мицкевича, обращено в своеобразную «пушкиниану», расширяющую рамки сюжета, выводящую сюжет за пределы поэмы, отражающую передовые идеи и устремления века. Рядом с романтикой Пушкина здесь «созвучит» романтика Байрона и Мицкевича и, в еще большей степени, романтика Шелли.

Наряду с возрождаемым музыкой молодым Глинкой звучат и образчики бытового музицирования эпохи. Пример последнего — увертюра к балету, кипуче-жизнерадостная, взятая в энергичном темпе классического allegro, построенная на оборотах и приемах «привозной», импортной традиции Моцарта и Россини, создающая атмосферу светского музицирования спектаклей большого петербургского света.

Балеты эпохи Пушкина и Грибоедова, постановки «достославного» Дидло, — вот с чем ассоциирует эта увертюра, а не с личной драмой Марии и Заремы, не с завоевательным, воинственным пылом всевластного Гирея. При слушании этой увертюры невольно вспоминаются многочисленные высказывания Пушкина — театрала и балетомана, — обильно насыщенные им в строфах «Евгения Онегина», представляется эпоха, в которую

эпикурейски настроенное светское общество так легко и вместе с тем так близко к сердцу принимало «пестрые судьбы мельпоменина дома», не подозревая, что и через посредство Мельпомены к нему проникают угрожающие феодальному строю идеи.

Из музыкальных источников, играющих роль «документов эпохи», в партитуру включен только глинкински-пластичный романс Гурилева на стихотворение Пушкина, посвященное Бахчисарайскому фонтану:

Фонтан любви, фонтан живой,  
Принес я в дар тебе две розы,  
Люблю немолчный говор твой  
И поэтические слезы...

Этот документальный музыкальный источник как бы устанавливает стилистическую линию, вокруг которой идет наложение и разнообразное развитие музыки. Мелодия гурилевского романса, стилистически являясь синтезом мелоса пушкино-глинковой эпохи, обрамляет действие балета, как своего рода воспоминание. Поэтому романс Гурилева дан как заставка, как музыкальная виньетка. Он проходит в качестве интродукции первого акта в виде инструментального дуэта с сопровождением (две солирующие виолончели, аккомпанирующая арфа) и в самом конце балета в качестве эпилога, его заключающего. В последнем случае романс-ноктюрн дан уже в пении со словами в сопровождении оркестра. Таким образом, этой музыкальной «рамкой», в которую «вправлена» поэма, как бы подчеркнута легендарность писанного в ней сюжета, как бы придан ему оттенок вымысла или неясного воспоминания об отдаленном прошлом.

Что же представляет собою музыка внутри самого действия?

Как известно, в поэме Пушкина действия почти не дано. Дана картина ханского дворца, его гарема, даны яркие образы Гирея, Заремы, Марии, но само действие происходит «между строк», о нем можно только догадываться, его можно варьировать, дополнять воображением. Музыка «Бахчисарайского фонтана» симфонически раскрывает эти



«недоговоренные» в поэме Пушкина места. Она подробнее останавливается на прошлом Марии, на сцене, последовавшей после страстной исповеди Заремы перед Марией, она сталкивает Гирея и Марию в заключительном конфликте. Наконец она в сильной степени акцентирует стихийно-волевой образ кочевников-татар в контраст феодально-эпикурейской Польше. То, что было бы невозможно в опере, где пришлось бы доказывать словами недоговоренное Пушкиным, становится выполнимым в балете, где эмоциональные состояния раскрыты звуковыми и пантомимно-танцевальными средствами.

Оба балета Асафьева с успехом идут на сцене Ленинградского театра оперы и балета, а балет «Пламя Парижа» уже успел обойти крупные балетные сцены в других городах Союза — Москве, Одессе, Днепропетровске.

В настоящее время Асафьев занят разработкой целого ряда творческих замыслов балета «Утраченные иллюзии» (по Бальзаку), балета «Партизанщина», охватывающего эпоху гражданской войны, оперы «1812 год» (по отрывкам одноименной трагедии Грибоедова) и синтетически оперно драматического спектакля «Царь Эдип» (по софокловой трагедии).

### 3. ПИСЬМА СТЕНДАЛЯ О ЛИТЕРАТУРЕ

(Перевод, предисловие и примечания Н. Славятинского)

(Окончание<sup>1</sup>)

#### 14. Господину Стричу, в Лондон.

Париж, 28-го ноября 1836 г.

Что за странный романист! Госп. Фреми в произведении, вышедшем в свет под названием «Фея салона» (два тома in-8), осмеливается дурно отзываться о своем герое. Герой этот, Оливье де-Приёр, вовсе не является образцом совершенства и изящных манер, как в пресных дамских романах. Что касается манер, то у него их нет, а что до недостатков, то снисходительный автор не украсил его теми благородными и исполненными меланхолии недостатками, которые являются предметом тайной гордости человека, хорошо воспитанного, и о которых женщина, предпочитаемая им, любит рассказывать вечерами. Если бы, по крайней мере, при отсутствии благородных и подражательных недостатков Рене, Оливье де-Приёр готов был признаться нам в сатанических, странных, противоположных склонностях, вызывающих изумление читателя и являющихся гордостью немецкого романа, то он мог бы еще, пожалуй, вызвать чье-либо изящное восхищение и

стать предметом любезных фраз. Но г. Фреми лишает нас и этой, последней, возможности. К его роману трудно приложить какую-либо заранее готовую фразу. Пошлым читателям он создаст странное затруднение, к которому они вовсе не приучены. Эти бедные читатели не смогут даже сказать, читая его книгу: этот роман похож на тот или на этот, что значительно облегчает понимание. Они вынуждены будут поставить следующий вопрос: мыслимо ли на свете подобное существо? И, предположив, что, пожалуй, да, мыслимо, спросить, надо ли было делать из такого человека счастливого героя романа? романа, весь интерес которого сосредоточен вокруг него?

Молодую девушку из очень богатой банкирской семьи, воспитанную умным отцом, вызвала к себе тетка, которая живет в горах Дофинэ, в ста сорока лье от Парижа. С того времени, как этим краем управлял Людовик XI, тогда еще дофин, почти мятежно настроенный к своему отцу, Дофинэ остался полуреспубликой. Там не очень-то подчиняются готовым истинам, идущим из Парижа. В этих горах, полгода покрытых снегом, жители от нечего делать забавляются

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн. 4 с. г.

придумыванием всевозможных идей, там имеют несчастье быть оригинальными.

Находясь возле тетки, мадмуазель Берта де-Бельсонн приобретает скверную привычку вникать в то, что ей говорят, и придавать мало веры всякого рода преувеличениям, составляющим сгедо высшего общества. Но природа наделила Берту впечатлительным сердцем, умом, который не засыпает лениво в сомнениях и невежестве, пылкой головой. Все это в соединении с мыслями, навеваемыми ей прекрасными уединенными уголками Дофинэ, сообщает ей один недостаток, недостаток очень дурного тона для девицы, которой тетка оставляет в приданое миллион: она умна.

Отсюда естественное, но весьма фатальное следствие: она не боится узнать и признать своим двоюродным братом Оливье, незначительного и очень бедного, хуже того, захиревшего в своей бедности молодого человека, который служит в Гренобле секретарем у генерала, командующего округом.

Госп. де-Бельсонн, отец Берты, этот богат, с большими родственными связями, такой влиятельный в Париже, располагает тысячами всевозможных способов поставить на ноги своего племянника, но, видя, что тот робок, подавлен своей бедностью, лишен хороших манер, Бельсонн держится совсем не по-родственному, он страшно резок с этим беднягой, у которого тот недостаток, что он появляется в гостиной в дурно шитом платье и хранит там печальное молчание или же говорит странные вещи, которые вносят диссонанс в разговор, на которые нужно отвечать, подумавши, и которые ведут к осуждению принятых в обществе обычаев, даже действий богатых людей, и в которых наконец он подвергает сомнению законность восхождения к власти. Ведь как и все люди, которые стремятся сделать себе большое состояние или увеличить его, г. Бельсонн ярый сторонник золотой середины.

Судите же о взглядах г. де-Бельсонн, он поступает по общей мерке.

Две его старших дочери вышли замуж за богатых людей. Одна за г. М., знаменитого маклера, прославившегося в осо-

бенности талантами гастронома. Другая за еще большего пошляка, судью в каком-то трибунале, большого любителя тюльпанов и садоводства.

Госп. де-Бельсонн, несмотря на свое преклонение перед приличиями, скучает со своими зятями и даже слегка презирает их. Жены их обладают прекрасными манерами, но понемногу, как это часто случается, они забывают воспитание, полученное в родительском доме, и усваивают идеи и манеру разговаривать, свойственные их мужьям.

Госп. де-Бельсонн страшно тяготится вульгарностью того, что его окружает в великолепном замке де-Бельсонн, выстроенном им на опушке леса Фонтенебло, в котором он живет с великолепием человека, прибавившего к имени отца названия своих земельных владений и который хочет принимать у себя всю окрестную знать. А та, будучи несправедливой из зависти, видит лишь нового Тюркаре в госп. де-Бельсонн, светском человеке, который в сто раз умнее ее.

Так, несмотря на все свои преимущества и огромные расходы замка де-Бельсонн, в котором даже ставятся оперы, госп. де-Бельсонн немного скучает. Но, на свое счастье, он вспоминает, что надо выдавать замуж свою дочь Берту, которой скоро семнадцать лет. Он вызывает ее из Дофинэ. Она приезжает. Но все те лица, которые толкуются в салоне ее отца, кажутся ей довольно скучными куклами, лишенными идей. Когда отец говорит ей: «Я выдам вас замуж, как ваших сестер, и вы будете так же блестящи и счастливы, как они» — «боже меня сохрани, — отвечает Берта. — Я хочу любить или, по крайней мере, уважать моего мужа. А я зеваю уж при виде того, как эти господа гуляют в саду. Зачем мне выходить замуж? Я счастлива с вами, мой отец, и все ко мне очень внимательны, зная, что у меня миллион приданого. Будемте жить, как жили».

Госп. де-Бельсонн открыто осуждает свою дочь. Но, что бы он ни говорил, этот свободный образ мыслей, такой гордый и, в сущности, справедливый, вызывает в нем интерес и нравится ему. Он не может скрыть от себя, что госпо-

да зятя, их жены и все, что их окружает, немного тошнотворны, немного плоски, немного в у л ь г а р н ы. Несмотря на ужас, который вызывает в них это фатальное слово, это, в сущности говоря, их царство.

Мало-помалу госп. де-Бельсонн привязывается к своей дочери Берте. Он совершает с ней длинные прогулки по своему парку. В этом месте романа много тонких наблюдений и благородных мыслей.

Некий госп. Гольтье, человек богатый и принадлежащий к одной из самых знатных фамилий Сен-Жерменского предместья, пришел послушать «Дон-Жуана» Моцарта, которого решили петь, уж бог знает как, дочери госп. де-Бельсонн. Этот граф де-Гольтье — в высшей степени порядочный светский человек. Простой, без аффектации, он чужд тех утрированных суждений по ряду предметов, которых заставляло бояться его высокое происхождение. У него достаточно ума, чтобы видеть, что Берта — существо совсем другого рода, чем ее сестры, существо, в котором было бы приятно вызвать к себе чувство предпочтения, существо, возле которого немислима скука, если только удастся заинтересовать собой ее сердце. Он безумно влюбляется. Берта отвечает просто, без тени аффектации и кокетства. на чувства, которые доставляют ей честь, но которые она никак не разделяет. При всех своих манерах, отличных и весьма благородных, граф Гольтье, с его двумястами тысяч ливров ренты и портретами предков-крестоносцев, кажется ей столь же незначительным, как ее зять — биржевой маклер и как другой ее зять — судья, выстроивший оранжерею стоимостью в восемьдесят тысяч франков и прожужжавший о ней уши всему свету.

Видно, что автор знает общество и умеет изображать его правдиво и искренно, что мне кажется гораздо более трудным, чем описывать времяпровождение английского сеньора тринадцатого века или схватку возле д'Ашби де ла Зуш («Ивангое»). Наименьший недостаток этих картин и социальных обычаев тринадцатого века — это их полная и смеш-

ная фальшь. Эти вспыльчивые, эгоистичные, грубые и так глубоко рассудительные герои железного века, в котором малейшая ошибка в расчете могла быть наказана смертью, подменены искусственными существами, напичканными великодушием восемнадцатого века, единственным делом которых, кажется, является стремление подчеркнуть ужасную гримасу, которую они должны делать, появляясь в своих латах.

У современного романа есть та большая трудность, что нужно добиваться правдоподобия, иначе найдешь себе читателей лишь среди подписчиков библиотек самого последнего сорта.

Госп. Фреми очень счастливо преодолел трудности изображения салонов теперешнего слоя очень богатой буржуазии и великолепие скуки, заставляющей их коверкать «Дон-Жуана» Моцарта.

Представление этого шедевра в замке Бельсонн заканчивается неожиданным большим балом, возвращающим улыбки на все лица, которые оставались вытянутыми в течение трех часов скверной музыки.

Все шло прекрасно, пока, часам к одиннадцати, не появился в салоне высокий молодой человек с печальным, незнакомым лицом, который осмелился показаться в сапогах и платье, сшитом в провинции, среди новых, изощреннейших туалетов. Этот незнакомец, у которого только и было замечательного, что странные глаза, слонялся некоторое время по бальным залам, разыскивая госп. де-Бельсонн. Он, наконец, отыскал его и был принят как нельзя более холодно. Его лицо со странным выражением еще более омрачилось. Все смотрели на него с удивлением. Незнакомый, хотя и был очень смел, как он это еще докажет, был, к несчастью, робок и скрылся в сад. Это был Оливье де-Приер, двоюродный братец, секретарь генерала, командующего в Гренобльском округе. Благородная Берта, возмущенная обращением отца с родственником, у которого лишь та вина, что он беден, извиняется перед госп. де-Гольтье, который собирался танцевать с ней галоп, и бежит в сад. Она находит там Оливье, который неприветливо встречает ее.

«Что вам тут нужно? Возвращайтесь к этим счастливым людям, к которым мне не следовало приближаться».

— Вы страдаете, я вижу это, вернемся, мы будем вместе танцевать.

— Я вижу, кузина, что вам кажется, будто вы кое-что понимаете в переживаниях других, в том зле, которое может мне причинить свет! Но если вы разбегаетесь в том, что происходит в моем сердце, то как можете вы настаивать, чтобы я вернулся на этот бал? Разве вы не видите, что я там не на месте? Что мне там делать, незначительному человеку, бедняку и даже более, чем бедняку, среди этих людей в лентах, которые могут разговаривать о своем богатстве, своих лошадях, своих титулах! Я, у которого никогда не было даже приличного платья. Понимаете ли вы этот род несчастья, осмелитесь ли вы принизить ваше воображение до понимания этого, вы, дочь миллионера и сами миллионерша! Нет, оставьте меня, бегите, оставьте меня одного с моим несчастьем.

— Вернитесь, я буду танцевать только с вами; весь вечер я только с вами буду говорить.

— Нет, того, что вы хотите сделать там, чересчур много и для вас, и для меня. Я вам очень за это признателен, но я не мог бы согласиться на это. Подумайте, ведь я ничего не смог бы предложить вам взамен..

— Взамен! Какое слово! Я допускаю все, Оливье. Пусть свет вас отталкивает. Но, скажите мне, разве я не всегда одинакова с вами? Когда вы страдали, я находилась возле вас; когда на вас нападали, я вас защищала; вы страдаете, и вот я снова тут.

— Эта-то именно привязанность и погубила меня. Вы видите перед собой человека, недостойного разговаривать с вами. После вашего отъезда из Гренобля, несчастный, всеми покинутый, не имея друга во всем свете, я вообразил себе, что обрел бы немного покоя возле моей покровительницы; меня потянуло в Париж, я не смел написать вам; и знаете, до какой низости я дошел? Я украл шесть луидоров из конторки генерала, и вот я здесь».

Сцены, которые следуют за этим роковым признанием, можно считать лучшими среди самых прекрасных сцен современного романа. Госп. Фреми осмелился быть правдивым, и он вознагражден. Ни в каком другом месте его стиль не отличается такой простотой и трогательностью; его перо всегда находит правдивое, полное страсти и естественности слово.

Несмотря на ужас перед воровством и перед платьем, сшитым в Гренобле, кузина в конце концов влюбляется в него и первая говорит ему это. И с тех пор, как ее опьянило это чувство, испытанное ею впервые, г. граф де-Гольтье, со всеми своими богатствами, предками, огромным уважением, нежными и благонамеренными чувствами, кажется Берте скучнейшим из людей. Избранник, который создал бы ей жизнь, подобную жизни ее сестер, не подошел бы к сердцу подобного закала.

«Счастье моих сестер вызывает во мне зевоту и внушает мне ужас к богатству» — сказала она однажды госп. де-Бельсонн, своему отцу, описавшему ей род жизни, которым она будет наслаждаться, когда станет графиней де-Гольтье,

Берта торжественно заявляет, что она никого не полюбит, кроме Оливье. Госп. де-Бельсонн судит свою дочь по сердцам всех женщин, которых он видит в своем салоне.

— Ну, так что ж, моя дочь; вы составите себе хорошую партию, и никто не подумает запретить вам радости дружбы. Кто помешает вам принимать Оливье?

— Как, мой отец! — воскликнула Берта в негодовании.

Эта великодушная девушка доходит до энтузиазма в своих благородных и бескорыстных чувствах, и, однако, Оливье, никогда не стремясь к тому, чтобы ее соблазнить, напротив, постоянно критикуя ее действия, заставляет ее делать самые странные промахи; правда, что он не щадит и себя и благородно гибнет в ту минуту, как он готов был упрочить счастье своей подруги. Я не стану рассказывать о некоторых из этих странных приключений. Роман, представляю-

щий собой странное смешение острой сатиры и трогательной нежности, читается с любопытством.

Теперь я хочу перейти к критике. Не хорошо, когда стиль своей блещущей красотой, своим непрерывным остроумием бросается в глаза, то-есть пытается отвлечь внимание читателя от сущности вещей. В шестнадцатом веке эти *сопцетти*, это остроумие, основанное на игре слов, было славой, ложной славой Италии.

Еще теперь этот императивный стиль, который будит читателя вопреки всему, приятен и даже необходим в газетной статье. Благодаря ему можно с большим удовольствием прочесть страницы три; но на десятой он утомляет. Это слуга, явившийся с поручением, который вместе того, чтобы ясно передать то, что было велено ему хозяином, хочет казаться любезным и затемняет смысл того, что он должен сказать. Я посоветовал бы г. Фреми осмелиться доверять свои мысли более простому стилю. Человек из порядочного общества уверен в том внимании, которое ему оказывают, он не нуждается в том, чтобы усиливать шансы и, будто силой, удерживать внимание лиц, которые его окружают. Его разговор абсолютно противоположен разговору в кафе, где говорящий должен прибегать к оригинальничанью, чтобы не дать иссякнуть вниманию; как уличный фокусник, он должен беспрестанно пробуждать его; ни один контраст не является для него чересчур сильным, бедняга должен все делать для того, чтобы ежеминутно ловить ускользающее внимание. Публика привыкла к этому нарумяненному, утрированному стилю, и это правда, что нужно большое мужество, чтобы осмелиться быть простым, почти такое же, как для того, чтобы сметь быть самим собой.

Одно соображение должно ободрять г. Фреми в той карьере, которую он начинает с таким блеском. То общество, которое мы видим катающимся в блестящих экипажах по Булонскому лесу, с каждым днем все более распадается на два явно различных класса: богатых людей, отцы которых читали Вольтера

около 1783 г., и богатых людей, родившихся всего с сорока экю ренты. Последние — лучшие дельцы, и часто даже они обладают большим умом. Но небеса, предоставив им столько преимуществ, отказали им в понимании явлений литературы; практицизм убивает остроумие. Остроумие часто задевает соседа. Во всяком случае оно заставляет обращать на вас внимание, оно мешает вам незаметно занять выгодные позиции. Разве один необычайно остроумный русский не говаривал не так давно: в Париже веселое остроумие обратно пропорционально состоянию.

Надо выбирать: нравиться людям хорошего тона, которые наслаждаются стилем г. де-Ламенэ, или нравиться тем богатым людям, которые всегда найдут какое-либо темное место в первых сценах прелестных комедий г. Скриба и добиваются до смысла лишь на третьем представлении. Некогда фарсы Пирона и Колле ценились порядочным обществом; оно, не думавшее о своем происхождении, не боялось аплодировать низменным или лишенным остроумия вещам. Надо ежеминутно повторять эту старую фразу, которая доминирует над всем в современной литературе.

В тот бессмертный день, когда аббат Сийес опубликовал свой памфлет, озаглавленный: «Что такое третье сословие? Мы на коленях падаем к нему», он думал произвести нападение на аристократию и создал, сам не зная этого, аристократию литературную. А эта последняя еще смеет любить простые фразы и естественные чувства.

15, Господину G . . . S . . . . Париж

Париж, 20-го января 1838.

Я повторяю вам то, о чем писал мне лорд Байрон. Я сообщу вам свое мнение, *though unasked*. Госпожа Эмили сооблаговолила прочесть мне несколько страниц вашего «Дон-Жуана», показавших мне очень хорошими.

Позвольте мне высказаться со всей откровенностью, так как я хочу, что-

бы вы добились успеха, который был бы на уровне ваших реальных достижений.

Человек, которого зовут Дон-Жуаном, не должен предаваться банальным похождениям. Настоящий Дон-Жуан — это маршал де-Рэ, а в Риме это Ченчи. Он, лишь бросая вызов людскому мнению, находит удовольствие в том, что вообще доставляет удовольствие.

Ваше предприятие может стать безуспешным в том отношении, что Дон-Жуан Байрона — это лишь Фоблаз, которому жареные голуби сами собой падают в рот.

Вы найдете в «Извлечениях публичной библиотеки» анализ процесса де-Жилля, маршала де-Рэ.

Слава лорда Байрона и сверкающая красота его стихов скрыли слабость его «Дон-Жуана». Гете сделал дьявола другом доктора Фауста, и при поддержке такого могущественного покровителя Фауст сделал лишь то, что все мы делали в двадцать лет, он соблазнил модистку.

Постарайтесь отыскать такие действия, которые сами по себе полны глубокого чувства бравады против всего, к чему толпа испытывает почтение.

Я рассказывал госпоже Эмили: Дон-Жуан прибыл во Францию. Он находился в одной из комнат дворца 5-го октября 1789 года, когда народ ворвался в Версальский замок. Дон-Жуану угрожала величайшая опасность; в кармане у него был маленький пистолет; один из патриотов нашел его в укромном уголке, где он прятался. Дон-Жуан стреляет в него в упор и убивает. Он снимает с него платье, передевается и выходит из кабинета, подражая крикам толпы; постепенно он достигает ворот и спасается.

Но вот убивают швейцара большого дома на улице Сент-Онорэ, принадлежащего герцогу Р... и крадут у него четыре тысячи пятьсот франков, полученных им для жильцов. Дон-Жуана принимают за этого низкого вора: он приговорен к смертной казни, и его утешают священник-ханжа и великосветская потаскушка. На эшафоте он ведет себя с большим мужеством и простотой. Он устал от

вызывающего отношения к людям, так как он презирает их.

Чтобы взять верный тон, вам следовало бы перечитать статью «Жиль де-Рэ», биографии лицемера Мишо, Ченчи и процесс названного выше маршала де-Рэ. Пользуйтесь французским языком, употреблявшимся в переводах господ из Пор-Рояля, опубликованных около 1660 года. По их мнению, следовало говорить не о страсти «на сердце», а «в сердце». Это в «Шаривари» говорят на сердце. Но «Шаривари» восхитителен из-за смеха, им вызываемого, а не из-за своего претенциозного стиля.

Все эти рассуждения, написанные наспех, по возвращении от госпожи Эмили, покажут вам, что я сердечно желаю вам успеха. Будьте уверены в том, что Дон-Жуан Байрона — это всего лишь Фоблаз; пусть ваш проявляет более необычные действия.

Примите уверения в моем почтительнейшем уважении.

Дюран-Робер.

## 16. Господину G . . . . C . . .

Париж, 19-го февраля 1838.

Тысячу извинений за опоздание; чтобы читать подобные вещи, нужно быть в настроении.

В этом подражании невероятно много остроумия; на полях вы найдете мои замечания.

Скажу вам откровенно, что для того, чтобы написать книгу, которой посчастливилось бы найти четыре тысячи читателей, надо:

1. В течение двух лет изучать французский язык по книгам, сочиненным до 1700 года. Я не исключаю из их числа маркиза Сен-Симона.

2. Изучать истину по Бентаму или по книге Гельвеция «О духе» и по сотне с лишним томов Турвиля, госпожи Мотвиль, д'Обинье и т. д.

В романе, со второй страницы, надо уметь сказать что-то новое или, по меньшей мере, индивидуальное относительно места, где происходит действие.

С шестой страницы или, по крайней мере, с восьмой надо вводить события.

Разбогатевшие буржуа придают больше энергии порядочному обществу, как варвары в одиннадцатом столетии тому, что оставалось от Рима. Мы очень далеки от дряблости, которая была свойственна нам при Людовике XVI. Тогда манера рассказывать могла преобладать над содержанием, теперь наоборот.

Прочтите процесс Жилля де-Лавала, маршала Реца, в королевской библиотеке; придумайте события, равные тем по энергии.

Мой привет.

Комартэн.

### 17. Госп. Оморэ де-Бальзаку

(1839).

Фабрис заходил несколько раз, и он огорчен, что покидает Париж, не повидавшись с господином де-Бальзаком. Этого любезного человека просят вспоминать, что у него есть восторженный почитатель и, смеют прибавить, друг в Чивита-Веккья.

### 18. Ему же

17 мая 1839.

Мой портье, при посредстве которого я хотел было послать «Пармскую обитель» вам, как королю романистов текущего столетия, не хочет идти на улицу Кассини, № 1; он будто бы не понимает моего объяснения: «недалеко от обсерватории, расспрашивая», — вот что мне было сказано.

Оставьте мне точный адрес, например у книготорговца (вы возрадите, что у меня такой вид, будто я подыскиваю эпиграмму).

Или пришлите за упомянутым романом на улицу Годо де-Моруа, 30 (гостиница Годо де-Моруа).

Если вы мне скажете, что пошлете за нею, я оставляю ее у моего портье. Если вы прочтете ее, скажите свое искреннее мнение о ней.

Я почтительно обдумую ваши критические замечания.

Преданный вам Фредерик.

Пятница, 27.

Улица Годо де-Моруа, № 30.

### 19. Господину Полю де-Мюссе

Июнь 1839

Я думаю, что вам довольно безразлично, нравиться еще одному читателю или нет, но доставьте мне удовольствие сказать вам, как я восхищен «Взглядом». Это прелестно, это кажется мне совершенством. В таком скабресном и дающем естественный повод к напыщенности сюжете нет ни одной из тех возвышенных строчек, которые внушают читателю желание закрыть книгу.

Мадмуазель Рашель сумела пленить публику, потому что в век «преувеличенного» она сумела проявить страсть, не утрируя ее. Ваша повесть, прочитанная мной сегодня, отличается точь-в-точь тем же достоинством. Если у вас хватит духу продолжать, не впадая ни разу в эмфатический тон, то вы достигнете без всякого усилия и без единого утрированного образа положения, которое окажется почти исключительным в нашей литературе.

Но вы ведь скажете, что вам это письмо не нужно? Но зато мне нужно вам сказать, как я удивлен подобным отсутствием напыщенности, и в Париже, быть может, найдется много лиц, которые думают, как я. Держайте оставаться простым.

Чуждаясь модной аффектации, можно показаться холодным, но что может быть комичнее, чем [неразборчивое слово] прошлого года, и человек, который осмеливается пренебрегать этим, приобретает приятный блеск оригинальности. Я думаю, что вас часто искушает появление в вашем уме какой-либо красивой, напыщенной фразы, не забывайте же в такую минуту, что существует очень много людей, любящих простоту, естественность, стиль «Писем Плиния», переведенных г. де-Саси. Со времен Жан-Жака Руссо все стили отравлены напыщенностью и холодны.

Примите уверения в уважении и поклон.

Котонэ.

### 20. Господину Оморэ де-Бальзаку

Чивита-Веккья, 30 октября 1840 г.

Вчера вечером я был изумлен. Я думаю, ни в одном «Обзрении» никогда и

никому не давалась такая высокая оценка и притом лучшим знатоком дела. Вы сожалели над сиротой, брошенным по дороге улицы. Ничего нет легче, как написать вам вежливое письмо, мы с вами умеем это делать. Но ваш поступок по отношению ко мне исключителен, и я хочу, подражая вам, ответить искренним письмом. Примите мою благодарность не столько за похвалы, сколько за советы.

Я прочитал «Обозрение» вчера, а этим утром я свел к четырем или пяти страничкам пятьдесят четыре страницы введения. И должен вам признаться, что я испытывал очень большую радость, когда писал эти страницы; я говорил о том, что обожаю, и вовсе не думал об искусстве сочинять романы.

Я не думал, что меня будут читать раньше 1880 г., и отложил до этой поры радости, доставляемые напечатанным произведением. Какой-нибудь литературный штопальщик, говорил я себе, откроет со временем произведения, достоинства которых вы так преувеличиваете.

Ваши иллюзии заводят вас очень далеко, пример — «Федра». Признаюсь, я был шокирован, хотя я довольно расположен к автору.

Раз вы потрудились трижды прочесть этот роман, то у меня появился злодейский замысел — забросать вас множеством вопросов при первой же нашей встрече на бульваре.

1. Позвоительно ли называть Фабриса наш герой? Дело шло о том, чтобы не повторять чересчур часто слово Фабрис.

2. Не надо ли выбросить эпизод с Фаустой, слишком растянутый? Фабрис пользуется тут случаем показать герцогине, что он нечувствителен к «любви».

Первые пятьдесят четыре страницы романа казались мне изящным вступлением. Сознаюсь, мне было очень приятно говорить об этой счастливой поре моей юности. Я испытал некоторые угрызения совести за чтением корректуры, но я подумал о первых, обычно таких скучных, главах романов Вальтер-Скотта и о таком длинном введении к чудесной «Принцессе де-Клев».

Не спору, я составил планы нескольких романов. Но когда мне приходится составлять план, я леденею от ужаса. Обычно я диктую двадцать пять или тридцать страниц; затем, с наступлением вечера, я испытываю потребность в полном отвлечении; нужно, чтобы на следующее утро я ничего не помнил. Когда я перечитываю три или четыре страницы главы, написанной накануне, у меня складывается глава на сегодняшний день. На мое несчастье, ничто не возбуждает здесь мысль. Какое можно найти развлечение среди пяти тысяч торговцев Чивита-Веккья? Поэтичны здесь только тысяча двести каторжников: невозможно составить себе из них общество. Женщины только о том и думают, как найти способ, чтобы получить от мужа в подарок парижскую шляпку.

Я ненавижу вычурный стиль и признаюсь, что многие страницы «Пармского монастыря» были напечатаны с продиктованной рукописи. Скажу, как говорят дети: больше не буду. Всего было что-то шестьдесят или семьдесят диктовок: мои мысли подгоняли меня, я затерял весь эпизод, относящийся к тюрьме, и мне пришлось написать его заново. Но что вам до этих подробностей! Мне кажется, что с того времени, как двор прекратил свое существование, с 1792 г., роль формы становится с каждым днем всё меньше. Если бы г. Вильмену, о котором я упоминаю как об одном из самых почтенных академиков, пришлось переводить «Пармский монастырь» на французский язык, то ему понадобилось бы три тома, чтобы выразить то, что дано в двух. Большинство мошенников напыщенны и велеречивы, и скоро декламаторский тон будет вызывать ненависть. Семнадцати лет я чуть было не подражал на дуэли из-за «неопределенных вершин леса» Шатобриана, у него было много поклонников в шестом драгунском. Я ни разу не читал «Индийской хижины»; я не выношу г. де-Мэстра. Мое презрение к Лагарпу граничит с ненавистью. И вот без сомнения, почему я так плохо пишу: от чрезмерной любви к логике.

Мой Гомер — это «Мемуары» маршала Гувьон де-Сен-Сира. Монтескье и



«Диалоги мертвых» Фенелона, по-моему, хорошо написаны. Недели две тому назад я плакал, перечитывая «Аристаноюс», или «Невольник Альсины».

Кроме госпожи де-Морсоф и ее коллег, нескольких романов Жорж Санд и новелл Сулье, напечатанных в периодической печати, я ничего не читал из того, что написано за последние тридцать лет. Я часто перечитываю Ариосто, мне нравятся его описания. Герцогиня — это копия с Корреджо (то-есть она производит на мою душу такое же впечатление, как Корреджо).

Я вижу будущее французской литературы в истории живописи. Сейчас мы находимся в полосе развития, соответствующей живописи учеников Пьера де-Кортоне, работавшего быстро и утрировавшего выразительность, подобно госпоже Коттэн, у которой движутся каменные глыбы с Борромейских островов.

Работая над «Пармским монастырем», я каждое утро прочитывал две-три страницы Гражданского кодекса, чтобы взять верный тон, чтобы всегда быть естественным; я не хочу обольщать искусственными средствами душу читателя. Этот читатель пропускает бьющие на эффект фразы, вроде таких, как «ветер, вырывающийся с корнем волны». Но в минуты спокойствия они всплывают. Наоборот, я кочу, чтобы читатель, думая о графе Моска, не нашел ничего, что следовало бы сократить.

У меня появятся в фойе Оперы Расси и Рискара, посланные в Париж в качестве шпионов после Ватерлоо Ранусом — Эрнестом IV. Фабрис, возвращаясь из Амьена, заметит их итальянский взгляд и их подлинно миланскую речь, которая, как думают эти осведомители, никому не понятна.

Я отовсюду слышу, что надо подготавливать появление действующих лиц, что «Пармский монастырь» напоминает мемуары и что его персонажи появляются по мере надобности в них. Моя ошибка кажется мне вполне извинительной, ведь я описываю жизнь Фабриса? Немыслимо «убрать совсем» доброго аббата Бланеса; но я сокращаю его роль.

Я полагал, что нужны персонажи, ничего не делающие, а только трогающие душу читателя и отнимающие «романтический привкус».

Я покажусь вам чудовищем гордости. Как! — подскажет вам ваше внутреннее чувство, — этому животному мало того, что я сделал для него нечто беспримерное в этом веке, оно ждет еще и похвал за стиль! Но не надо ничего скрывать от своего врача. Я часто раздумывал по четверти часа над тем, поставить ли прилагательное до или после определяемого им существительного. Я стремлюсь к тому, чтобы правдиво и ясно рассказать о том, что происходит в моем сердце. И я вижу тут лишь одно средство: быть ясным. Если я неясен, весь «мой мир» уничтожен!

Я хочу говорить о том, что происходит в глубине души Моска, герцогини, Клелии. Это такой край, куда едва проникает взгляд разбогатевших выскочек, как латинист, директор монетного двора, граф Руа и т. д., и т. д.; взгляд лавочников, добрых отцов семейства, и т. д.

Если к неясности изображаемого я присоединю неясность стиля г. Вильмена, госпожи Санд и т. д. (предположив за собой редкую привилегию писать, как эти корифеи красивого языка); если я присоединю к затруднениям, вытекающим из сущности изображаемого, неясность этого прославленного стиля, то решительно никто не поймет борьбы герцогини против Эрнеста IV.

Стиль г. де-Шатобриана и г. Вильмена словно говорит мне:

1. Много приятных, но ненужных мелочей (как стиль Авзония, Клавдиана и др.).

2. Много мелкой «фальши», слушать которую приятно.

По мере того, как увеличивается число вещей, которые должны быть поняты с полуслова, доля «формы» уменьшается. Если бы «Пармский монастырь» был переведен на модный французский язык госпож Жорж Санд, его успех был бы обеспечен; но для того, чтобы передать содержание двухтомов, ей понадобилось бы три или четыре тома. Взвесьте это оправдание.

Полузнайка превыше всего ставит стихи Расина; ведь он понимает, что значит незаконченная строчка. Но с каждым днем на долю стиха приходится все меньшая часть в заслугах Расина. Круг читателей расширяется, они становятся понятливее, и они ищут все большего количества «мелких правдивых фактов» о страстях, о жизни.

Вольтеры, Расины и т. д., разве все они, исключая Корнеля, не были вынуждены сочинять стихи, как наряд для рифмы? Так вот, эти стихи занимают то место, которое по праву должно принадлежать мелким правдивым фактам.

Через пятьдесят лет г. Биньян или Биньяны прозы до того наскучат своей элегантною и лишенной всякого другого достоинства продукцией, что полузнайки будут в большом затруднении. Тщеславие требует от них, чтобы они говорили о литературе и притворялись мыслящими людьми, но что с ними станет, когда им нельзя будет цепляться за форму? Их богом в конце концов сделается Вольтер. Одно и то же состояние умов может длиться не более двухсот лет. В 1778 г. Вольтер станет Вутюрмом. Но «Отец Горю» всегда останется «Отцом Горю». И полузнайки, быть может, до того будут удручены, что у них уже нет столь дорогих их сердцу правил, что, может статься, литература опротивеет им, и они станут ханжами. Всем мошенникам-политикам свойственны декламация и велеречивость, но они успеют надоесть до 1880 г. Тогда-то, быть может, и станут читать «Пармский монастырь».

Повторяю, роль «формы» уменьшается с каждым днем. Вспомните Юма. Предположим, что существует история Франции, с 1780 по 1840 г., написанная со здравым смыслом, свойственным Юму. Ее читали бы, будь она даже написана на каком-либо областном наречии. «Пармский монастырь» написан, как Гражданский кодекс. Я готов исправить его стиль, если он вас корбит; но мне это будет нелегко сделать. Я далек от восхищения стилем, который сейчас в моде: он вызывает во мне досаду. Я вижу Клавдианов, Сенек, Авзониев. Целый год мне толкуют о том, что

надо иногда давать отдых читателю и описывать пейзажи, одежду... Но это так надоело мне у других. Я пересолою.

Что же касается до успеха в настоящее время, о котором я не думал бы, не приди мне на помощь «Парижское обозрение», то добрых пятнадцать лет назад я сказал себе: «Я стал бы кандидатом в академики, если бы получил руку мадмуазель Б..., она устроила бы так, что меня расхваливали бы раза по три в неделю». Когда общество не будет больше «загрязнено» присутствием грубых богачей, превыше всего ставящих знатность (именно потому, что они сами незнатны), оно перестанет склонять колени перед газетой аристократов. До 1793 г. люди хорошего тона были настоящими судьями книг. Теперь они бредят ужасами 1793 г., они боятся, они больше не смеют иметь собственных суждений. Взгляните на каталог какого-нибудь мелкого книготорговца возле церкви святого Фомы Аквинского, который он предлагает знати, живущей по соседству. Этот аргумент сильнее всего убедил меня в невозможности понравиться трусам, отупевшим от безделья.

Я не копировал Меттерниха, я не видел его с 1810 г., когда он, это было в Сен-Клу, носил браслет из волос Каролины Мюрат, такой прекрасной в ту пору. Я не испытываю никакого сожаления о том, чего не должно было случиться; я — фаталист, и я прячусь в тени. Я мечтаю о возможном успехе в 1860 или 1880 гг. Тогда будут очень мало говорить о г. Меттернихе и еще меньше о маленьком принце. Кто был премьер-министром в Англии во времена Малерба? Если я, по несчастью, не назову Кромвеля, то я могу быть уверен, что это неизвестный. Со смертью этих людей роли меняются. Они всеильны над нашим телом, пока живы. Но в смертный час они навеки погружаются в забвенье. Кто станет говорить о г. Вильеле или о г. Мартиньяке через сто лет? Имя самого г. Талейрана уцелеет лишь благодаря его «Мемуарам»: если они будут хороши, а «Комический роман» является сегодня тем, чем «Отец Горю» будет в 1980 г.

Только благодаря Скаррону нам известно имя Ротшильда того времени, Монторона, ставшего покровителем Корнеля с помощью пятидесяти луидоров.

Вы почувствовали с таким человека действия, что в «Пармском монастыре» не могло быть нападок на большое государство, как Франция, Испания, Вена, по соображениям административного характера. Оставались маленькие германские и итальянские государи.

Но немцы так низкопоклонничают перед орденской лентой, они так тупы! Хотя я провел среди них несколько лет, но из презрения забыл их язык. Как видите, персонажами моего романа не могли быть немцы. Если вы проследите эту мысль, вы найдете естественным, что я остановился на измельчавшей династии, на одном из Фарнезе, наименее безвестном среди этих «и з м е л ь ч а в ш и х»; благодаря полководцам, его дедам.

Я беру лицо, которое мне хорошо знакомо; я оставляю свойственную ему привычку каждое утро отправляться на охоту за счастьем; затем я придаю ему больше ума. Я никогда не видел госпожи Бельджойзо. Расса был немцем; я говорил с ним сотни раз. Я изучил князя в период моего пребывания в Сен-Клу, в 1810 и 1811 гг.

Уф! Надеюсь, вы прочтете это послание в два приема. Вы говорите, что не знаете английского языка, но в Париже образцом «буржуазного» стиля Вальтер-Скотта является тяжелая проза г. Делеклюза, редактора «Дебатов». Проза Вальтер-Скотта не изящна, а главное, претенциозна. В нем виден карлик, не желающий терять ни одного дюйма своего роста.

Вашу изумительную статью, какой не получал ни один писатель от другого писателя, я прочел, смею признаться, поминутно разражаясь хохотом. Всякий раз, как я встречал несколько преувеличенную похвалу, — а я наткнулся на них на каждом шагу, — я представлял себе мину, которую скорчили бы мои друзья, читая это.

Мой почерк становится так плох, когда мне приходится писать умному человеку, мои мысли мчатся с такой бы-

стротой, что я решил отдать переписать письмо.

## 21. Господину де-Боннэру

Издателю «Обозрения двух миров»,  
Париж

Париж, 21 марта 1842 года

Я получил письмо, которое вы потрудились написать мне 7-го марта. За исключением нескольких мелких деталей, я соглашаюсь со всеми вашими условиями.

Вы даете мне ваше честное слово в том, что не измените ни одного выражения в рукописи (вроде «разбитого сердца» в «Аббатисе из Кастро».)

Через год я передам вам рукопись двух томов повестей и романов, объемом в два таких тома, как «Пармская обитель», то-есть, примерно, 16—17 листов «Обозрения».

За эти два тома будет уплачено пять тысяч франков.

Через каждые два месяца я буду присылать вам по одной повести, подписанной: Стендаль. Вы сможете напечатать ее в «Обозрении двух миров». Вы в праве затем соединить эти романы в тома in-8, с тиражом в семьсот экземпляров. Кроме того, после этого издания in-8 вы будете иметь право выпустить издание распространенного формата in-18, тиражом в 3.000 экземпляров, все за подписью Стендаля.

За право этих изданий вы немедленно уплачиваете тысячу пятьсот франков.

Затем, по напечатании каждой новеллы, она будет оплачена пятьюстами франков; недостающая до 5 000 франков сумма будет выдана по выходе издания in-8.

В момент выхода каждого из этих изданий вы будете мне вручать всякий раз по 12 экземпляров или же 60 франков.

Мне дается право, в целях исправления литературных ошибок, выбрасывать страницу и прибавлять две-три новых.

Прилагаю квитанцию на тысячу пятьсот франков.

Примите и т. д.

А. Бейль.

## ПРИМЕЧАНИЯ

## Письмо 14

Рене — герой одноименного произведения Шатобриана (1768—1848), главы французского дворянского романтизма. Один из вариантов «лишнего человека», представитель «мировой скорби» в литературе.

«Ивангое» — знаменитый исторический роман Вальтер-Скотта (1771—1832).

Concetti — внешне блестящие, но по существу пустые мысли.

Ламене (1782—1854) — французский философ и богослов («Речи верующего»), проповедывавший идеи христианского социализма, друг Беранже и Жорж Санд.

Э. Скриб (1791—1861) — плодовитый французский драматург. Ему между прочим принадлежит «Стакан воды» (Малый театр). В сотрудничестве с Эрнестом Легуве им написана другая пьеса, тоже идущая на московской сцене, «Адриенна Лекуврёр» (Камерный театр).

Пирон (1689—1773) — автор многочисленных оперетт и фарсов, писавший одно время для «Комической оперы», которая была тогда парижским ярмарочным театром. Блестящий эпиграмматист.

Шарль Колле (1709—1783) — знаменитый поэт-песенник и драматург, автор многочисленных оперетт и водевилей. Он был связан тесной дружбой с Пироном.

Аббат Сийес (1748—1836) — французский политический деятель, выпустивший в 1789 г. брошюру, озаглавленную «Что такое третье сословие?». На этот вопрос брошюра отвечает: «Все. Чем оно было до сих пор в политическом отношении? Ничем. Чего оно хочет? Быть чем-нибудь». Вторая половина названия брошюры, приводимая Стендалем, не встречается ни в одном ее издании.

## Письмо 15

Though unasked — хотя и непрошенное (мнение).

С... С... сообщил Стендалю 1-ю песню сочиненного им продолжения «Дон-Жуана» Байрона с просьбой сделать свои критические замечания. Эта песня спустя пять лет была напечатана в журнале «Иллюстрация» (май 1843 г.).

Жиль де-Лаваль — маршал де-Рэ или Рец.

Дон-Жуан, на которого намекает здесь Стендаль, это герцог де-Лозон, приговоренный к смертной казни революционным трибуналом 1 января 1794 года. Он носил тогда имя герцога де-Бирона. Его мемуары в одном томе in-8 появились в 1822 г.

«Шаривари» — сатирический журнал, основанный в декабре 1832 г. Шарлем Филиппом; боролся своими карикатурами с июльской монархией Луи-Филиппа.

## Письмо 19

Поль де-Мюссе — брат поэта Альфреда де-Мюссе; его роман «Взгляд» («Un Regard») вышел в 1839 г.

Элиза Рашель (1820—1858) — знаменитая французская трагедийная актриса.

## Письмо 20

Это письмо — ответ на восторженную статью Бальзака, напечатанную 25 сентября 1840 г. о вышедшем за полтора года до этого романе Стендаля «Пармский монастырь». Перевод сделан с текста, опубликованного в последнем издании переписки Стендаля (Пон-Шерами) и представляющего комбинацию всех трех вариантов этого письма Стендаля к Бальзаку. Окончательный текст письма, опубликованный в 1917 г., значительно короче; в нем смягчены резкие отзывы о ряде писателей-современников и оно не столь откровенно в том, что касается признаний Стендаля о собственных ему методах работы. В отдельном издании переписки Стендаля следует дать все три варианта этого столь важного для понимания литературных взглядов Стендаля документа, чтобы, с одной стороны, избегнуть ряда недостатков публикации А. Пона, а с другой — явной неполноты окончательного текста по сравнению с другими вариантами. При этом письмо потребует обширного комментария.

«Обозрение» — дело идет о «Парижском обозрении» (номер от 25 сентября 1840 г.). Бальзак был почти единственным редактором этого журнала, прекратившего свое существование на третьем номере. «Я прочитал «Обозрение» вчера...» и т. д. — речь идет об исправлениях, от которых Стендаль потом отказался.

Фауста — одно из действующих лиц «Пармского монастыря».

«Принцесса де-Клев» — роман писательницы де-Лафайет (1634—1692), оставившей интересные мемуары.

Шатобриан — см. примеч. к письму 14, «Рене». К словам «неопределенные вершины леса» сделана сноска — «Атала», рассказ охотников».

Граф Ксавье де-Мэстр — французский писатель (1763—1852).

«Индийская хижина» — философская повесть Бернардена де-Сен-Пьера (1737—1814), автора экзотического романа «Поль и Виргиния». Тема повести — кастовое деление Индостана (1791).

Лагарп (1739—1803) — критик и драматург, историк литературы и теоретик вырождавшегося классицизма, автор семнадцатитомного «Лицея».

Гувьон де-Сен-Сир (1764—1830) — французский маршал и политический деятель, автор нескольких работ по истории наполеоновских войн.

Фенелон (1651—1715) — французский писатель, епископ, автор романа в прозе «Телемак» и нравоучительных «Диалогов мертвых». «Аристоноус» принадлежит к циклу бубликовских произведений Фенелона.

Госпожа де-Морсоф — героиня романа Бальзака «Лилия в долине» (1836 г.).

Сулье, Мельхиор-Фредерик (1800—1877) — французский драматург и романист, автор восьмитомного романа «Мемуары чорта» (1837—1838), некоторые мотивы которого позднее разрабатывались в «Парижских тайнах» Э. Сю.

Пьетро Берреттини да-Кортоне (1596—1669) — итальянский художник, архитектор и писатель.

Коттэн, Софья-Ристо (1773—1807) — французская писательница, на которую сильно повлияла манера Шатобриана.

Борромейские острова — группа из четырех крохотных островов на оз. Лаго-Маджоре, названных по имени графов Борроме, владевших ими с XIII в.

«У меня появятся в фойе Оперы...» Речь идет о двух неизданных главах «Парм-

ского монастыря» (опубликованных клубом Стендаля).

Вильмен (1790—1870) — французский историк и литературный критик, умеренный либерал.

Авзоний и Клавдиан — римские поэты IV века, эпохи упадка латинской литературы.

Биньян (1795—1861) — французский поэт, писавший в духе ненавидимого Стендалем позднего классицизма.

### Письмо 21

Это письмо вероятно последнее из писем Стендаля, так как 23 марта с ним случился апоплексический удар, от которого он скончался в два часа утра.

## Книжное обозрение

### 1. ВОЛЬТЕР. „Орлеанская девственница“ — С. Иванов. 2. А. К. ВАЛЬТЕР. „Атака атомного ядра“ — С. Балезин

Вольтер. — «Орлеанская девственница». Перевод под редакцией М. Лозинского. Вступительная статья С. Мокульского. Издание «Academia». 1935 г. Цена 15 руб.

До Октябрьской революции нельзя было и думать об издании «Орлеанской девственницы» Вольтера в России. Буржуазная Франция также всеми силами боролась против распространения этой поэмы.

В течение всего девятнадцатого столетия «Орлеанская девственница» с невероятным упорством замалчивалась представителями официальной критики и науки. А если и говорили о ней, то не было для нее других названий, как «гнусная», «подлая», «позорная», «отвратительная» и т. д. «Орлеанскую девственницу» публично сжигали, вносили в «Указатель запрещенных книг», всячески преследовали издателей, сажали в тюрьмы даже типографчиков, набравших эту книгу.

И до наших дней в буржуазных странах не оставлены эти преследования. В некоторых научных трудах поэму считают «громоздкой кучей нечистот» (Фэг), «неприличной выходкой» (Лансон), «не уважающей ни благоприличия, ни чести науки, ни элементарной исторической правды» (Круле).

И в то же время лучшие умы человечества являются горячими поклонниками Вольтера и его «Орлеанскую девственницу» ставят в число лучших произведений мировой литературы.

Пушкин в своем «Городке» так характеризует Вольтера:

Он все; везде велик  
Единственный старик.

А во вступлении к неоконченной поэме «Бова» обращается к Вольтеру:

Будь теперь моею музой.

В письме к К. Ф. Рылеву (от 25/1—1825 г.) Пушкин объявлял «Орлеанскую девственницу» лучшим произведением XVIII века, ставил ее наравне с такими классическими образцами сатирической и комической поэзии, как «Сказки» Лафонтена, «Неистовый

Роланд» Ариосто, «Гудибрас» Бетлера, «Рейнеке-Лис» Гете и басни Крылова.

Темой поэмы Вольтер взял легендарную «спасательницу» Франции Жанну Д'Арк, ставшую во главе королевской армии во время войны с Англией. Имя Жанны в течение нескольких столетий с успехом служило пропаганде клерикальных и национально-монархических идей.

Духовенство объявило Жанну посланницей небес, спасшей Францию при помощи чуда. — Жанна была превращена в полумифическую личность, облик ее принял иконописные черты. С другой стороны, поэты XV века (Франсуа Виньон, Марсиаль д'Овернь, Октавье де Сен-Желе и др.) подняли Жанну на щит в своих произведениях.

После некоторого упадка ореола Жанны в XVI веке — периоде ожесточенной борьбы с суевериями и мистицизмом — культ Жанны снова поднимается на невиданную высоту и достигает апогея при кардинале Ришелье. В этот период образ Жанны должен был служить двум богам: воплощать борьбу за католическую веру и разжигать повиннистические настроения французов против постоянной соперницы — Англии.

Завершение культа Жанны мы находим уже в позднейшее время; в 1909 г. папа римский объявил ее блаженной, в 1920 г. Ватикан канонизировал Жанну как «святую», и одновременно правительство Франции объявило день 30 мая, посвященный Жанне, общенациональным праздником патриотизма.

В 1755 году, когда культ Жанны стоял наиболее высоко, появляется «Орлеанская девственница» Вольтера.

Поэма эта является крупнейшим и наиболее острым антиклерикальным произведением во всей мировой литературе, произведением, в котором под видом остроумного и игривого сюжета дан злейший памфлет на всю средневековую Францию. Недаром Вольтер боялся опубликования «Орлеанской девственницы», как «бомбы, которая должна рано или поздно разорваться и погубить его».

По церковной легенде было предсказано, что «Францию спасет невинная девушка». И

вокруг этой основной темы — оберегания героиней своей девственности — и развертывается главное действие поэмы.

Жизнь за нее отдать согласен каждый,  
И в то же время каждый одержим  
Мечтой о славе, благородной жаждой  
Отнять тот клад, что ею так храним.

Монахи соревнуются с погонщиками мулов, волшебники с английскими генералами, и даже осел Жанны, в которого вселился дьявол, не отстает от всех. Но Жанну спасают или собственный кулак, или чудо.

Духовные лица показаны в поэме Вольтера, как дураки, плуты, сдостоистнейши. Отец Бонифаций размышляет «над действием и происхождением приятного греха, чье имя блуд». Не оставлены в покое Вольтером и женские монастыри. Когда святому Денису понадобилась девственница для спасения Франции, он не мог найти ее ни в одном монастыре.

Нельзя обойти чрезвычайно остроумные примечания, приложенные поэтом к каждой песне поэмы: Об Агнесе Сорель, любовнице Карла VII, Вольтер говорит: «У нее было двое детей от короля, ее любовника, хотя он — согласно историографам Карла VII, людям, говорящим всегда правду при жизни королей — не позволял себе с нею вольностей».

Вольтер боролся с попами, и его «Орлеанская девственница» — сильное антипоповское произведение, но сам он не только не отрицал бога, но и боролся с атеизмом, употребляя свое красноречие и популярность на доказательство существования бога. Вольтер был выразителем идеологии буржуазной аристократии и либерального дворянства. Сам крупный помещик, Вольтер видел идеал в английской конституции с ее «неправящим королем» и парламентом, где ведущую роль играют землевладельцы и капиталисты. В то же время Вольтер решительно отрицал социальное равенство. Он презирал грубую непросвещенную массу и не скрывал этого. В его произведениях можно найти много таких мыслей: «Простой народ всегда груб и туп. Это воля, которым нужно ярмо, погонщик и корм».

Нельзя не согласиться с общей характеристикой мировоззрения Вольтера, данной С. Мокульским во вступительной статье, как «системы идей, очень последовательно отражающих практику верхушки буржуазного класса, направленную к захвату ею социально-политической власти, к утверждению ею своего классового господства во французском обществе».

В дооктябрьской России переводы поэмы в рукописном виде имели хождение буквально в десятках тысяч экземпляров, при чем первым переводчиком Вольтера был Ломоносов. Поэма имела громадное влияние на ряд русских поэтов — Хераскова, Радищева, Майкова. Под ее влиянием находился и Пушкин. Достаточно сослаться на «Руслана и Людмилу», где Пушкин воспроизводит многие

приемы, примененные Вольтером в «Девственнице» — общий тон, введения к каждой песне, вставные примечания автора и т. п. Б. В. Томашевский отмечает в «Гаврилиаде» ряд текстуальных параллелей с «Девственницей».

В 1924 г. появился полный русский перевод поэмы в издании «Всемирная литература» — давно уже ставший библиографической редкостью.

Переиздание поэмы «Академией», положившей в основу издание 1924 г., текст которого заново проверен и обработан М. Лозинским, нужно только приветствовать.

С. Иванов.

**А. К. Вальтер. — «Атака атомного ядра».**  
ДНХВУ: Стр. 192. Цена 3 руб. Тир. 3.000 экз.

«Электрон так же неочерпаем, как и атом, природа бесконечна, но она бесконечно существует».

Ленин, т. VIII, стр. 215.

Наш век называют эпохой электричества и химии. Электричество и химия — это не простое совпадение развития двух мощных областей полученных знаний, а прежде всего их взаимная обусловленность.

Интересно отметить, что впервые на это (зависимость в развитии химии от развития физики и в частности учения об электричестве) обратил внимание гениальный друг и соратник Маркса — Ф. Энгельс.

Разбирая работы немецкого физика Видемана о действии электрической искры на химическое разложение, он писал:

«Таким образом, и те, и другие (химия и физика. — С. Б.) признают свою некомпетентность в месте соприкосновения молекулярной и атомной наук, между тем как именно здесь приходится ожидать величайших результатов» (подчеркнуто Энгельсом. — «Диал. пр.», стр. 151—152). Можно смело утверждать, что сейчас одной из самых жгучих и интересных проблем, к которой приковано внимание не только специалистов физиков и химиков, но самых широких масс, является проблема строения атома.

Особенно большой интерес проблема строения атома вызывает у трудящихся Советского Союза. Этот интерес вызывается не только возможностью практического решения давней мечты пытливого человеческого ума, — превращение одних элементов в другие, — но тем, что при разрушении ядра выделяется неизмеримо огромное количество энергии.

На основании предположительных расчетов и соображений процесс распада ядра лития под ударом нейтрона дает две альфа-частицы, обладающие энергией 17,2 млн. вольт.

Сказывается, что при образовании 1 ядра гелия из 4 ядер водорода и 2 электронов выделяется энергия в 0,00004 эрга, что в пересчете на граммы гелия дает энергию в 150 млн. больших калорий, или 170.000 кило-

ватт-часов, что равносильно получаемой энергии от сжигания 20 тонн лучшего твердого топлива.

Один грамм и 20 тонн! Сравнение, говорящее само за себя. Вряд ли самой смелой же доведческой фантазии доступны те горизонты, которые открывает перед нами решение ядерной проблемы.

За последние 20—30 лет сделаны громадные успехи в области познания строения атома. Здесь наука обязана прежде всего развитию техники. Найти инструменты, с помощью которых можно было бы проникнуть в атомы, радиус которых колеблется в пределах  $10^{-8}$  сант., видеть «невидимое» даже при помощи самых мощных микроскопов, и не только видеть, но и фотографировать это невидимое, разрушать, что считалось еще три десятка лет тому назад неделимым, — вот задачи, которые стояли перед учеными, в первую очередь физиками.

Человечество может с гордостью отметить, что эти невероятно рудные и сказочно чудесные задачи в основном разрешены. Камера Уильсона, дающая возможность фотографировать невидимое; счетчик Гейгера, который автоматически может отсчитывать вылетающие из ядра частицы, масс-спектрограф Астона, три помощи которого можно взвесить «невесомые» частицы; токи сверхмощных напряжений, с помощью которых можно направлять «ураганный огонь» снарядов на атомное ядро (ионные пушки), — вот чем вправе гордиться наука наших дней.

Рассказать об этих достижениях советскому читателю и показать результаты и пути развития советской науки в данной области — основная задача, которую ставит перед собой автор разбираемой книжки.

«Перед нами, физиками Союза, — пишет он, — стоит задача не только ожесточенно бороться за первенство в деле исследования ядра, но и широко популяризировать проблему ядра среди трудящихся масс нашей страны, осветить перед ними всю важность и глубину этой проблемы, рассказать о тех трудностях, которые стоят перед нами, о том, как мы их преодолеваем, о достижениях зарубежных ученых, о тех этапах, которые нам предстоит пройти и которые нами уже пройдены» (стр. 15).

К сожалению, автор недостаточно подчеркивает, что только в условиях Советского Союза имеются полные возможности для успешного продолжения этих работ.

Рассказать о достижениях в области ядерной проблемы в яркой и легко доступной форме — для мало подготовленного рабочего, активиста-колхозника, учащихся средней школы, рабфаковцев, пролетарского студенчества (не-специалистов) — бесспорно в одной брошюре невозможно.

От автора прежде всего требуется не только литературное (я бы сказал даже, художественное), но строго научное изложение.

К сожалению, литературы подобного рода, за исключением ряда брошюр Ходакова и от-

части Андреева, у нас не создано. Нам думается, что к созданию литературы подобного рода должны быть привлечены прежде всего высококвалифицированные специалисты.

Такие научные книжки, как «Изотопы» Астона, «О природе вещей» Брэгге, «Строение атома и теория Бора» Криммера-Гольста, «Атомы» Перрена, написанные творцами (или их ближайшими соратниками) рассматриваемых научных теорий, бесспорно являются первыми образцами необходимой для нас литературы.

В отличие от указанной переводной научной литературы к нашей советской литературе предъявляется еще одно требование — показать роль и значение той или иной проблемы в развитии социалистического хозяйства.

Это значит не только описать те или иные достижения и научные работы, мобилизовать вокруг них широкие слои трудящихся, заинтересовать этой проблемой, побудить их к дальнейшему поднятию уровня своих знаний, а «выловить» лучших из пролетарской молодежи для серьезной работы в этой области, а для этого рассказать, где и как и какие ведутся у нас работы в той или иной области.

Хотя книга Вальгера полностью этим задачам далеко не отвечает, но все же ее появление необходимо приветствовать. Во-первых, это одна из первых книг, где в достаточной степени (для данного типа книги) излагается история развития учения об атоме, современные взгляды на его строение, опыты над разрушением ядра. Автор пытается создать у читателя представление о технической вооруженности лаборатории по изучению ядра, сравнительно подробно описывая методы работы и аппаратуру.

Во-вторых, книга написана автором, который является одним из работников научно-исследовательской бригады по ядру, следовательно, вполне владеющим материалом.

И, наконец, в отличие от многих книг, автор рассказывает о работе советских научно-исследовательских учреждений и об их задачах.

Несмотря на указанный ряд положительных сторон, книга Вальгера, как мы уже указали, полностью не отвечает тем задачам, которые перед ней ставятся.

Прежде всего необходимо отметить, что материал несколько уже устарел. Книга была написана до ядерной конференции, и поэтому новые данные об ядре не вошли в излагаемый материал.

Так, автор утверждает:

«Все то, что на сегодняшний день известно об атоме и его ядре, приводит к убеждению, что известные нам атомы состоят из двух сортов частиц — протоны и электроны». Это было «известно» до 1933 года, сейчас уже у нас иные сведения об ядре.

Открытие Ирен Кюри и Жолио о выделении ядрами некоторых элементов при их бомбардировке — позитронов — и ряд еще других соображений заставили отказаться от старой гипотезы о структуре ядра. По гипотезе Иваненко, наиболее полно развитой



Гейзенбергом, атомное ядро не содержит электронов.

«Опираясь наконец на экспериментальный факт открытия новой ядерной частицы — нейтрона, — пишет Иваненко, — можно было окончательно выставить положение, что в ядре электронов как индивидуальных частиц вовсе нет и что ядра состоят только из протонов и нейтронов». («Атомное ядро», стр. 53, стеногр. доклады 1-й конфер. по ядру).

Конечно мы не собираемся это ставить в какой-либо мере в вину автору.

Большим недостатком книги является топорность изложения материала, что затрудняет понимание и содержание книги. В качестве примера можно привести следующую фразу:

«Эти трудности отпугивают некоторых экспериментаторов от построения высоковольтных разрядных трубок, в результате чего например явилась изящнейшая трубка Лауренса, представляющая обход «узкого места», заключающегося в необходимости введения в вакуум напряжения порядка миллиона вольт (конструкция этой трубки мы коснемся в конце этой главы); но все же целый ряд экспериментаторов в десятках лабораторий Америки, Европы и СССР работают над осуществлением новых типов сверхвольтных трубок и улучшением существующих, в результате чего число удачных конструкций все увеличивается, напряжение, подведенное к трубкам, быстро растет, и уже настал тот час, когда экспериментаторы, вооруженные мощными ионными пушками, направившие ураганный огонь подвлетнутых миллионами вольт ионов по оставшимся неразрушенными ядрам» (стр. 110).

Высоковольтные разрядные трубки, трубки Лауренса; работа над ними в СССР и Америке; ионные пушки и наконец утверждение о том, что настал час победы, — это все в одной фразе, за один присест! Нужно отметить, что такие фразы не курьез, а обычный прием автора излагать свой материал.

Благодаря небрежности в изложении иногда даже трудно понять, о чем идет речь. Так, на стр. 151-й автор пишет:

«К нижнему концу медной 7,5-сантиметровой трубы, которой заканчивалась главная разрядная трубка, было прилеплено доннышко, на котором с помощью пропущенного через него штифтика укреплялся экран, покрытый слоем лития А».

Сначала даже трудно понять, что же это за слой лития А? Оказывается, здесь речь идет просто о слое лития, а А есть обозначение экрана на приведенной схеме. Автор посвящает целую главу (46 стр.) описание аппаратуры, при помощи которой можно получить сверхмощные напряжения.

На этих 46 страницах дается описание: «Как измерить скорости заряженных частиц в вольтах», трансформаторы различных видов, каскадное включение трансформаторов, трубки Лауритсана-Вериста, трубки Кулиджа, трансформатор Тесла, Брейта, трубки Брейгта и Ланге, установки Лауренса для тяжелых и легких ионов, машину вега Граафа, устройство кенотронов.

Автор нагромождает большое количество технических терминов, понятий и ряд расчетов.

Необходимо отметить, что текст снабжен довольно хорошо выполненными чертежами, схемами и рисунками. К сожалению, большинство из них имеют недостаточно хорошие объяснения в тексте.

Замечаний подобного рода можно было бы привести достаточно большое количество. Но этого достаточно, чтобы иметь суждение об «Атаке атомного ядра».

Кдита Вальтера является первым вкладом в серию научной литературы. Но с полным правом она сможет занять это место лишь при тщательной ее обработке как с языковой (литературной) стороны, так и со стороны ее оформления (рисунки, чертежи, их объяснение и т. д.).

С Базелин.

### ПОПРАВКИ К СТАТЬЕ «ДВА С'ЕЗДА» В № 3 ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»

1. На странице 200-й, 2-я колонка, 2-й абзац сверху, 1-я строка,

указано: «Умерова Джериме»,  
следует читать: «Умерова Джемиле».

2. На странице 203-й, 1-я колонка, 2-й абзац, 10-я строка,

написано: «Шестопалова»,  
следует читать: «Шапавалова».

3. Там же, 18-я строка,  
написано: «Старобельской МТС»,  
следует читать: «Старобешевской МТС».

Кроме того, на стр. 200-й, 202-й и 203-й приведены слова делегатов съезда гг. Умеровой, Джемиле, Танкина, Бекена и Шапаваловой, взятые не из выступлений на съезде, как ошибочно указано в статье, а из их статей, опубликованных в «Правде» от 16 и 17 февраля 1935 г.

Г. СТРЕЛЬЦОВ.

Редакция:

А. И. Безыменский.  
Ф. В. Гладков.  
В. В. Григоренко.  
И. М. Гронский.  
Л. М. Леонов.  
А. Г. Малышкин.  
В. П. Ставский.

Отв. редактор И. М. Гронский.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».